

**Н О В Ы Й
М И Р**

4-5

МОСКВА

1940

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1940 г.

№ 4 — 5

Год издания XVI

★ ★ ★

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Вкладка:

Портрет В. И. ЛЕНИНА

	Стр.
Степан Щипачев — Дворец Советов, стихотворение	3
Алексей Толстой — Хмурое утро, третья часть романа «Хождение по мукам»	4
Владимир Луговской — Стихи о Белорусском фронте	48
Конст. Федин — Санаторий Арктур, роман	50
А. Твардовский — Письмо, стихотворение	121
Вл. Лидин — Дорога на Запад, рассказы	123
Старинные грузинские народные песни, перевод Арсения Тарковского	141
Сергей Крушинский — Теплые горы, роман	143
Джангар — калмыцкий народный эпос, перевод Семена Липкина	194
К. Бадигни — На корабле «Георгий Седов» через Ледовитый океан	208
Иван Меньшиков — Ненецкие рассказы	280
Степан Щипачев — Земля якута, стихотворение	287
И. Экслер — Камчатка	288
Вас. Кудашев — Смышленный заяц, рассказ	313

Г. Бровман, Ю. Оснос — Ленин и зарождение советского искусства	321
Ник. Асеев — Сила Маяковского	335
Л. Тимофеев — Поэтика Маяковского	343

А. Пальчунов — Лучистая энергия и война	361

★



*22 апреля 1940 г. исполнилось 70 лет со дня рождения
Владимира Ильича ЛЕНИНА.*

Дворец Советов

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

На сто кварталов ляжет тень косяя.
Стряхнув леса, он встанет над Москвой
сверкающий, почти-что звезд касаясь
открытой ленинскою головой.

Полет мечты, упорство и терпенье
с гранитом, с мрамором соединим.
Я на широкие взойду ступени, —
все человечество пройдет по ним.

Белея, чайки пролетят от порта,
и мрамора коснутся облака,
и вечно будет над землей простерта
стремительная Ленина рука.

★

Хмурое утро

РОМАН

Третья часть «Хождения по мукам»

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Книга первая

★

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

У костра сидели двое — мужчина и женщина. В спину им дул из степной балки холодный ветер, посвистывая в давно осыпавшихся стеблях пшеницы. Женщина подобрала ноги под юбку, засунула кисти рук в рукава драпового пальто. Из-под вязаного платка, опущенного на глаза ее, только был виден худой подбородок и упрямо сложенные губы.

Огонь костра был не велик, горели сухие лепешки навоза, которые мужчина давеча подобрал — несколько охапок — в балке у водопоя. Было нехорошо, что усиливался ветер.

— Красоты природы, конечно, много приятнее воспринимать под трещание камина, грустя у окошечка... Ах, боже мой, тоска, тоска степная...

Мужчина проговорил это не громко, ехидно, с удовольствием. Женщина повернула к нему подбородок, но не разжала губ, не ответила. Она устала от долгого пути, от голода и от того, что этот человек очень много говорил и с каким-то самодовольством угадывал ее самые сокровенные мысли. Слегка закинув голову, она глядела из-под опущенного платка на тусклый, за едва различимыми холмами, осенний закат, — он протянулся узкой щелью и уже не озарял пустынной и бездомной степи.

— Будем сейчас печь картошечку,

Дарья Дмитриевна, для веселия души и тела... Боже мой, что бы вы без меня делали?

Он нагнулся и стал выбирать коровьи лепешки поплотнее, — вертел их и так, и сяк, — осторожно клал на угли. Часть углей отгрел и под них стал закапывать несколько картофелин, доставая их из глубоких карманов бекешки. У него было красноватое, невероятно хитрое — скорее даже лукавое — лицо, с мясистым, на конце приплюснутым носом, скудно растущая борода, растрепанные усы, причмокивающие губы.

— Думаю я о вас, Дарья Дмитриевна, дикости в вас мало, цепкости мало, а цивилизация-то поверхностная, душенька... Яблочко вы румяное, сладкое, но незрелое...

Он говорил это, взясь с картошками, — давеча, когда проходили мимо степного хутора, он украл их на огороде. Мясистый нос его, залоснившийся от жары костра, мудро и хитро подергивал ноздрей. Человека звали Кузьма Кузьмич Нефедов. Он мучительно надоедал Даше разглагольствованиями и угадыванием мыслей.

Знакомство их произошло несколько дней назад в поезде, тащившемся по фантастическому расписанию и маршруту и спущенном белыми казаками под откос. Задний вагон, в котором ехала Даша, остался на рельсах, но по нему резанули из пулемета, и все, кто там находился, кинулись в степь, так как,

по обычаю того времени, надо было ожидать ограбления и расправы с пассажирами.

Этот Кузьма Кузьмич еще в вагоне присматривался к Даше, — чем-то она ему пришлась по вкусу, хотя никак не склонялась на откровенные беседы. Теперь, на рассвете, в пустынной степи, Даша сама схватилась за него. Положением было отчаянно: там, где под откосом лежали вагоны, была слышна стрельба и крики, потом разгорелось пламя, погнав угрюмые тени от старых репейников и высохших кустиков полыни, подернутых инеем. Куда было итти в тысячеверстную даль?

Кузьма Кузьмич так примерно рассуждал, шагая рядом с Дашей в сторону, откуда из зеленеющего рассвета тянуло запахом печного дыма. «Вы, мало того, что испуганы, вы, красавица, несчастны, как мне сдается. Я же, несмотря на многочисленные превратности, никогда не знал ни несчастья, ни — паче того — скуки... Был попом. За вольнодумство расстрижен и заточен в монастырь. И вот брожу «меж двор», как в старину говорили. Если человеку для счастья нужна непременно теплая постелька да тихая лампа, да за спиной еще полка с книгами, — такой не узнает счастья... Для такого оно всегда — завтра, а в один злосчастный день нет ни завтра, ни постельки. Для такого — вечное увы... Вот, я иду по степи, ноздри мои слышат запах печеного хлеба, значит: в той стороне — хутор, услышим скоро, как забрешут собаки. Боже мой! Видишь, как занимается рассвет! Рядом — спутник в ангельском виде, стонущий, вызывающий меня на милосердие, на желание топотать копытами. Кто же я? — счастливейший человек. Мешочек с солью всегда у меня в кармане. Картошку всегда стяну с огорода. Что дальше? Боже мой! — пестрый мир, где столкновение страстей... Много, много я, Дарья Дмитриевна, рассуждал над судьбами нашей интеллигенции. Не русское это все, должен вам сказать... Вот и сдуло ее ветром, вот и — увы! — пустое место... А я, расстрига, иду, играючись, и долго еще намерен озорничать...».

Без него бы Даша пропала. Он же не терялся ни в каких случаях. Когда на восходе солнца они добрались до хутора, стоящего в голой степи, без единого деревца, с опустевшим конским загонем, с обгоревшей крышей глинобитного двора, — их встретил у колодца седой злой казак с берданкой. Сверкая из-под двинутых бровей бешено светлыми глазами, закричал: «Уходите!». Кузьма Кузьмич живо оплел этого старика: «Нашел поживу, дедушка, ах, ах, земля родная!.. Бежим день и ночь от революции, ноги прибили, язык от жажды треснул, сделай милость — застрели, все равно итти некуда». Старик оказался не страшен и даже слезлив. Сыновья его были мобилизованы в корпус Мамонтова, две снохи ушли с хутора в станицу. Земли он нынче не пахал. Проходили красные — мобилизовали коня. Проходили белые — мобилизовали домашнюю птицу. Вот он и сидит один на хуторе, с краюшкой прозеленевшего хлеба, да трет прошлогодний табак...

Здесь отдохнули и в ночь пошли дальше, держа направление на Царицын, откуда легче всего было пробраться к югу. Шли ночью, днем спали, — чаще всего в прошлогодних ометах. Населенных мест Кузьма Кузьмич избегал. Глядя, однажды, с мелового холма на станицу, раскинувшую привольно белые хаты по сторонам длинного пруда, он говорил:

— В массе человек в наше время может быть опасен, особенно для тех, кто сам не знает, чего хочет. Непонятно это и подозрительно: не знать чего хотеть. Русский человек горяч, Дарья Дмитриевна, самонадеян и сил своих не рассчитывает: стоит гора, подошел, нажал плечом, — гора-то и покачнулась, хотя ни в каких книгах этого не было сказано... Задайте ему задачу, — кажется, сверх сил, но богатую задачу, — за это в ноги поклонится... А вы спуститесь в станицу, с вами заговорят пытливо. Что вы ответите? — интеллигентка! Что у вас ничего не решено, так-таки ничего ни по одному параграфу...

— Слушайте, отстаньте от меня, — тихо сказала Даша.

Сколько она ни крепилась, — от самолюбия и неохоты, — все же Кузьма Кузьмич повыспросил у нее почти все: об отце, докторе Булавине, о муже, красном командире Иване Ильиче Телегине, о сестре Кате, «прелестной, кроткой, благородной». Однажды, на склоне ясного дня, Даша, хорошо выпавшись в соломе, пошла к речке, помылась, причесала волосы, свалявшиеся под вязаным платком, потом поела, повеселела и неожиданно сама, без расспросов, рассказала:

— ...Видите, как все это вышло... У отца в Самаре я больше жить не могла... Вы меня считаете паразиткой, — да, да, да... Но — видите ли — о самой себе я гораздо худшего мнения, чем вы... Но я не могу чувствовать себя приниженой, последней из всех...

— Понятно, — причмокнув, ответил Кузьма Кузьмич.

— Ничего вам не понятно... Ну, вот... — Даша прищурилась на огонь. — Мой муж рисковал жизнью, чтобы только на минутку увидеть меня. Он сильный, мужественный, человек окончательных решений... Ну, а я? Стоит из-за такой цацы рисковать жизнью? Вот, после этого свиданья я и билась головой о подоконник. Я возненавидела отца... Потому что он во всем виноват... Что за смешной и ничтожный человек! Я решила уехать в Екатеринослав, разыскать сестру, Катю, — она бы поняла, она бы мне помогла: умная, чуткая, как струнка, моя Катя. Не усмехайтесь, пожалуйста, — я должна делать обыкновенное, благородное и нужное, вот чего я хочу... Но я же не знаю, с чего начать? Правда там, где Иван Ильич, — это твердо знаю... Только вы мне сейчас не разглагольствуйте про революцию...

— А я, душенька, и не собираюсь разглагольствовать, слушаю внимательно и сердечно сочувствую.

— Ну, сердечно, — это вы оставьте... В это время Красная Армия подошла к Самаре... Правительство бежало, — очень было гнусно... Отец потребовал, чтобы я ехала с ним. Был у нас тогда разговор, — проявили себя во всей красе — он и я... Отец послал за стражни-

ками: «Будешь, милая моя, повешена!». Конечно, никто не явился, все уже бежало... Отец с одним портфелем выскочил на улицу, а я в окошко докрикивала ему последние слова... Ни одного человека нельзя так ненавидеть, как отца! Ну, а потом — с головой в платок, на диван и реветь. И на этом отрезана вся моя прошлая жизнь...

Так они шли по степи, мимо возбужденных гражданской войной сел и станиц, почти не встречаясь с людьми и не зная, что в этих местах разворачивались кровопролитные события: семидесятипятилетняя армия Всевеликого Войска Донского, после августовских неудач, во второй раз шла на окружение Царицына.

Ковыряя в золе картошку, Кузьма Кузьмич говорил:

— Если вы очень утомлены, Дарья Дмитриевна, можно эту ночь передохнуть, над нами не каплет. Только стойбище выбрали неудачное. Ветерок из оврага нам спать не даст. Лучше поплетёмся-ка потихоньку под звездами. До чего хорош мир! — Он поднял хитрое красное лицо, будто проверяя: все ли там в порядке, в небесном хозяйстве? — Разве это не чудо из чудес, душенька, вот ползут две букашки по вселенной, пытливым умом наблюдая смену явлений, одно удивительнее другого, делая выводы, ни к чему нас не обязывающие, утоляя голод и жажду, не насылая своей совести... Нет, не горопитесь поскорее окончить путешествие, поскорее кинуться в водоворот страстей...

Он достал из кармана мешочек с солью; побросал на ладони картошку, дуя на пальцы, разломил ее и подал Даше.

— Я прочел огромную массу книг, безо всякой системы. И этот груз лежал во мне, как мусорная куча. Революция освободила меня из монастырской тюрьмы и не слишком ласково швырнула в жизнь. В удостоверении личности, выданном мне одним умнейшим человеком — саратовским начальником районной милиции, — у которого я просидел недельки две под арестом, — проставлено им собственноручно: профессия —

паразит, образование — лженаучное, убеждение — беспринципный. И вот, Дарья Дмитриевна, когда я очутился с одним мешочком соли в кармане, абсолютно свободный, я понял, что такое чудо жизни. Беспольные знания, загромождавшие мою память, начали отсеиваться, и многие оказались полезными даже в смысле меновой стоимости... Например — изучение человеческой ладони, или хиромантия, — этой науке, исключительно, я обязан постоянному пополнению моего солевого запаса.

Даша не слушала его. Оттого ли, что ветер бездомной тоской тоненько пошептывал в стеблях пшеницы, — ей очень хотелось плакать, и она все отворачивалась, будто глядя на тусклый закат. Безднажность охватывала ее от того бесконечного пространства, по которому предстояло пройти в поисках Ивана Ильича, в поисках Кати, в поисках самой себя. Наверно, в прежнее время Даша нашла бы даже усладу, пронзительно жалея себя, такую беспомощную, маленькую, заброшенную в холодной степи... Нет, нет!.. Взяв у Кузьмы Кузьмича картошку, она жевала ее, глотая вместе со слезами... Вспоминала слова из катиного письма, полученного еще тогда, в Петрограде: «Прошлое погибло, погибло навсегда, Даша». Все прошлое, всю себя за эти годы Даша с омерзением отталкивала.

— Помимо полнейшей оторванности от жизни, — бесцельная торопливость, ёрничество — один из пороков нашей интеллигенции, Дарья Дмитриевна... Вы когда-нибудь наблюдали, как ходят люди свободной профессии, — какой-нибудь либерал топчет козими ножками в нетерпении, точно его жжет... Куда, зачем?..

Этот несносный человек все говорил, говорил, бахвалился.

— Нет, надо итти, конечно, пойдете, — сказала Даша, изо всей силы затягивая вязаный платок на шею. Кузьма Кузьмич пытливо взглянул на нее. В это время в непроглядной тени оврага блеснуло несколько вспышек и раскатились выстрелы...

★

Едва только раздалась первые выстрелы, — ожила безлюдная степь, над которой смыкалась в далеких тучах узкая щель заката. Предупреждающей угрозой застучал пулемет. За холмами полыхнули заревом пушки. Даша, держась за концы платка, даже не успела вскочить. Кузьма Кузьмич с невероятной торопливостью начал затаптывать костер, но ветер сильнее подхватил и погнал искры. Они озарили мчавшихся всадников. Нагибаясь к гривам, они хлестали коней, с тяжелым топотом уходя от выстрелов из оврага.

Все пронеслось, и все стихло. Только отчаянно билось дашино сердце. Из оврага что-то начали кричать — и тотчас повалили оттуда вооруженные люди, — около полусотни. Они двигались настороженно, растянувшись по степи. Ближайший свернул к костру, крикнул ломающимся молодым голосом: «Эй, кто такие?». Кузьма Кузьмич поднял руки над головой, с готовностью растопырив пальцы. Подошел юноша в солдатской шинели. «Вы что тут делаете?». Темнобровое лицо его, готовое на любое мгновенное решение, поворачивалось к этим людям у костра. «Разведчики? Белье?». И, не дожидаясь, он ткнул Кузьму Кузьмича прикладом: «Давай, давай, расскажешь по дороге...».

— Да мы, собственно...

— Что, собственно! Не видишь, что мы в бою!..

Кузьма Кузьмич, не протестуя далее, зашагал вместе с Дашей под конвоем. Пришлось почти бежать, так быстро двигался отряд. Совсем уже в темноте подошли к соломенным крышам, где у прудочка фыркали кони среди распряженных телег. Какой-то человек остановил отряд окриком. Бойцы окружили его, заговорили:

— Отступили, пришлось... Невозможно ничего сделать. Жмут, гады, с флангов... Вот тут совсем рядом — в балочке — напоролись на разезд.

— Драпанули, хороши, — насмешливо сказал тот, кого окружили бойцы. — Где ваш командир?

— Где командир? Эй, командир, Иван!.. Иди скорей, командующий полком зовет, — раздались голоса. Из темноты появился высокий сутуловатый человек:

— Все в порядке, товарищ командир полка, потерь нет.

— Размести посты, выстави охранение, бойцов накормить, огня не зажигать, после приходишь в хату.

Люди разошлись. Хутор, как будто, опустел, только слышалась негромкая команда и окрики часовых в темноте. Потом и эти голоса затихли. Ветер шелестел соломой на крыше, подвывал в голых ветвях ивы на берегу прудка. К Даше и Кузьме Кузьмичу подошел тот же молодой красноармеец. При свете звезд, разгоревшихся над хутором, его лицо было худощавое, бледное, с темными бровями. Вглядываясь, Даша подумала, что это — девушка... «Идите за мной, — сурово сказал он и повел их в хату. — Обождите в сених, сядьте тут на что-нибудь».

Он отворил и затворил за собой дверь. За ней слышался грубовато-низкий бубнящий голос командира отряда. Это длилось так долго и однообразно, что Даша привалилась головой к плечу Кузьмы Кузьмича. «Ничего, выпутаемся» — шепнул он. Дверь опять отворилась, и красноармеец, нащупав рукою обих сидящих, повторил: «Идите за мной». Он вывел их на двор и, оглядываясь, куда бы запереть пленников, указал на низенький амбарчик, придавленный соломенной крышей. На нем была сорвана дверь. Даша и Нефедов зашли вовнутрь, красноармеец уселся на высоком пороге, не выпуская винтовки. В амбарушке пахло мукой и мышами. Даша сказала с тихим отчаянием:

— Можно сесть рядом с вами, я очень боюсь мышей.

Он неохотно подвинулся, и она села рядом на пороге, — спиной ко двору. Красноармеец вдруг зевнул сладко, поребачьи, покосился на Дашу и стукнул зубами:

— Значит — разведчики?

— Слушайте, товарищ, — Кузьма Кузьмич из темноты придвинулся к нему, — позвольте нам объяснить...

— После расскажешь.

— Мы же мирные обыватели, бежавшие...

— Эге, мирные... Это как же так — мирные? Где это вы мир нашли?

Даша, прислонившись затылком к дверной обочине, глядя на темнобровое, с тонким очертанием приподнятого носа, маленького припухлого рта, нежного подбородка, чудно красивое лицо этого человека, — неожиданно спросила:

— Как вас зовут?

— Это к делу не относится.

— Вы — женщина?

— Вам от этого легче не станет...

На том разговор бы и кончился, но Даша не могла оторвать глаз от этого прекрасного лица, такого чуждого и такого чем-то ей близкого.

— Почему вы разговариваете со мной, как с врагом? — тихо спросила она. — Вы же меня не знаете. Зачем заранее предполагать, что я — враг? Я такая же русская женщина, как и вы... Наверно, только больше вашего страдала...

— Как это — русская?.. Откуда это — русские?.. Мы — интернациональные, — с запинкой и от этого нахмурясь, проговорил красноармеец.

У Даши раздвинулись губы. Порывисто, как все было в ней, она придвинулась и поцеловала его в шершаво-горячую щеку. Этого красноармеец не ждал, — заморгал ресницами на Дашу... Ее осунувшееся лицо с огромными глазами тоже, должно быть, показалось ему чудным. Он поднялся, подхватил винтовку, отошел, перекинул ружейный ремень через плечо.

— Это вы оставьте, — сказал угрожающе, — это как понять? Это вам, гражданка, не поможет...

— Что, что мне не поможет? — страстно ответила Даша. — Вы вот пришли, что делать, а я еще нешла... Я без памяти убежала от той жизни, — да, да, от белых. Убежала за своим счастьем... И мне завидно... Я бы тоже так — перетянула ремнем шинель!

Она так взволновалась, что откинула с головы платок, изо всей силы стискивала в кулачках его концы.

— У вас все ясно, все просто... Вы за что воюете? Чтобы женщина без слез могла смотреть на эти звезды... Я тоже хочу такого счастья... Мне не мягкая перина нужна, — оставьте!.. Только уверенность, такой покой, как в ваших глазах... У моего мужа вот такое лицо, как у вас...

Она говорила, и он слушал не пытаясь ее остановить, смущенный этой непонятной страстностью, а может быть, сквозь слов чувствуя, что городская бабенка пытается рассказать какую-то настоящую правду. В это время из хаты вышел высокий, сутуловатый ротный командир и пробасил:

— А ну, Агриппина, давай сюда гадов.

Командир полка, с широко расставленными блестящими глазами, с трубкой в зубах, и ротный командир, обветренный, как кора, — оба в шинелях и картузах, — сидели в хате у стола, положив локти перед огоньком светильни. Ротный велел остановившимся у двери Даше и Кузьме Кузьмичу подойти ближе.

— Почему были в степи в расположении войск?

Глаза его усталились не куда-нибудь, а прямо в их глаза. От этого взгляда Даша вдруг изнемогла, прошелестела сухими губами:

— Он расскажет. Можно — я сяду?

Она села, держась за края лавки, и глядела на огонек, плавающий в глиняном черепке. Кузьма Кузьмич причмокивая, переступая с ноги на ногу, начал рассказывать о нападении белых казаков на поезд, о том, как он подобрал в степи Дарью Дмитриевну и как они семь ночей шли к Дону, размышляя, преимущественно, о высоких материях. Об этой стороне их путешествия он говорил подробно, захлебываясь, торопясь, чтобы его не перебили. Но командиры за столом сидели, как две глыбы.

— Великое дело, граждане командиры, мыслить большими категориями. Что хочу сказать? Спасибо революции за то, что оторвала нас от унылых мелочей. На картинах Рафаэля сушили горох. Богоравное существо, человек, предназначенный к совершению высоких за-

дач, — как Орфей струнами лиры оживлять камни и усмирять бешенство дикой природы, — человек этот при коптящем ночнике муслил кредитки и ум свой изощрял, как бы ловчее объегорить соседа... Спасибо вам, — разбили убогое житие, будь ему нелегкая память... Муслил больше стало нечего, хочешь, не хочешь — перестраивайся на высокие темы... В доказательство моей искренности — вот... (Он вытащил мешочек с солью.) Вот — единственная моя собственность, больше мне ничего не надо, остальное или прощу, или ворую. Но, граждане командиры, хочу с вами поспорить... Боретесь вы часть ради человека, а человека-то часто забываете, он у вас пропадает между строк. Не отрывайте революции от человека, не делайте из нее умозрительной философии, ибо философия — дым: приняв чудный облик, он исчезает... Вот чем объяснимо мое участие в судьбе этой женщины: в ней я перелистываю увлекательную и поэтическую повесть, как, впрочем, и в каждом человеке, если подойти к нему с любопытством, с жадой... Ведь это вселенная ходит перед вами в драной бекеше и в опорках.

— Загнуто, — путив дымок, сказал командир полка.

— А ну, покажите документы, — вслед за ним сказал ротный. Взяв у Кузьмы Кузьмича и Даше паспорта, он придвинул светильню и низко нагнулся, муслил палец, осторожно перелистывая паспортные книжки. Командир полка изредка тяжело вздыхал, посасывая обгоревшую трубочку, которая дымила у него под усами уже пятый год войны.

— Кто ваш отец? — спросил ротный у Даше.

— Доктор Булавин.

— Это что же, не министр бывшего самарского правительства?

— Да.

Ротный взглянул на командира полка и протянул ему дашин паспорт. Хмурясь, спросил у Кузьмы Кузьмича:

— Вы что же сами — из жеребьячьего сословия?

Кузьма Кузьмич, будто давно ожидая этого вопроса, с восторгом зашаркал опорками:

— Дважды был изгоняем из семинарии — за осквернение пищи и за сочинение вольнодумных куплетов. Отец мой, саратовский благочинный, дважды отеческой рукой спускал мне шкуру со спины и ниже... Дальнейший послужной список приложен при паспорте...

Не слушая его, ротный покосился на Дашу:

— Тяжелое ваше дело... Придется вам рассказывать всю правду. — Он сморщился и закричал, листая паспорт. — Это еще, пожалуй, может вас спасти... Да, тяжелое дело.

Даша, молча, глядела на него расширенными глазами. Тогда Агриппина, стоявшая у двери, сказала с упрямством:

— Иван, ей можно верить, я с ней говорила...

Ротный, подняв большой нос, уставился на Агриппину. Командир полка усмехнулся. Кузьма Кузьмич часто-часто закивал красным, веселым лицом. Ротный проговорил медленно:

— Это — где мы, на посиделках? (Кудрявые усы командира полка запрыгали, глаза зашурелись.) Красноармеец Чебрец, на каком основании встречаете в допрос?..

Агриппина даже задышала от злости, не будь здесь командира полка, она бы не задумалась, ответила ротному, как баба на перелазе... Но он пробашил:

— Красноармеец Чебрец, выдь за дверь.

Агриппина только полыхнула темными глазами, стукнула прикладом, поджав губы, вышла из хаты. Ротный, сопя, полез в карман за табаком.

— Так, значит, и тут успели, агитировали?..

Опустив голову, Даша ответила:

— Я прошу мне верить. Если не верите, — мне незачем говорить. Мой отец, Булавин, ваш враг, он и мой враг... Он хотел меня казнить, я убежала из Самары...

Ротный развел большими руками перед светильней:

— Гражданка, как же вам верить, вы же сказки рассказываете.

Тогда командир полка вынул трубоч-

ку изо рта, обтер ее о рукав и сказал солидно:

— Не горячись, Гора, она, может, дело говорит... Ваша фамилия Телегина? (Даша — чуть слышно: «Да».) Имя, отчество вашего мужа помните?

— Иван Ильич.

— Штабс-капитан царской службы?

— Кажется... Да...

— Был ротным командиром в Одинадцатой Красной армии?

— Вы его знаете?

Даша кинулась к столу, щеки ее залил румянец; только-что сидела увядшая, мертвая, — расцвела:

— Я видела Ивана в последний раз, когда он под выстрелами бежал по крышам...

— А вы сядьте, успокойтесь, — сказал командир полка. — Знаю Ивана Ильича, вместе были в германской войне, вместе бежали из плена. Мельшин моя фамилия, Петр Николаевич, может, он вам поминал когда-нибудь? И в Красной Армии его хорошо знают. — Он повернулся к ротному: — Жинка твоя правильнее тебя этот орешек раскусила. — И — Даше: — Когда отдохнете, завтра поговорим. Выйдете в сени, там будет кухня, можете устроиться. — И, когда Даша была у двери, крикнув, добавил: — Лучше не раздевайтесь, казачки нас иногда беспокоят, хотя до рассвета можете спать спокойно...

Даша и за ней Кузьма Кузьмич — которого командиры как будто перестали замечать — вошли через сени в тепло натопленную пустую хату...

Кузьма Кузьмич посоветовал Даше залезть на печь: «Косточки прогреете, в одну ночь за неделю отоспитесь. Дайте-ка я вас, душенька, посажу...».

Даша с трудом влезла на печь, размотала платок, подложила его под щеку, прикрылась пальто, подобрала ноги. Здесь было хорошо, пахло теплыми кирпичами, хлебным дымком. Тырчал сверчок, неизменный сожитель. Он-то и не давал Даше заснуть сразу: сон только пленкой покрывал ее, сверчок — тырк, тырк — простегивал ее сон серой строчкой...

То ей представлялось, что стучит метроном, она сидит у рояля, в оцепе-

нении опустив руки, прислушивается... От ожидания сердце тревожно начинает биться, но не шаги какого-то человека, любимого, обожаемого, — снова слышно тырканье сверчка — стежка за стежкой...

«Какой покой, какой покой, — повторял в ней голос...—Вернулась на родину бедная Даша... Но ты же никогда не знала родины, Даша, Даша... Ах, отстаньте от меня... Не мешайте мне... Ну, конечно, это дирижер стучит костяной палочкой, сейчас раздастся музыка...». И снова — тырк, тырк...

Кузьма Кузьмич пристроился на лавке, под печкой, и тоже не мог сразу заснуть, — причмокивая, бормотал:

— Поверили, поверили... Простые сердцем... На их месте я бы так скоро не поверил, — почему? Сам себя не знаешь, темен человек... Поверили — сильные люди всегда просты... В этом их сила... Теперь-то уж нам паспорт дан, — поверили. Ну да, вам нужен смысленный человек? Революции он нужен? Нужен... Вот вам — я... Дарья Дмитриевна... Я спрашиваю — революции нужен смысленный человек?..

2

Иван Ильич Телегин после военных операций под Самарой, — где он временно командовал полком, — получил новое назначение.

Десятая Красная армия в августовских боях под Царицыном израсходовала и без того скудное боевое снаряжение. На запросы и требования — снабдить Царицын всем необходимым перед неминуемым новым наступлением Донской армии — Высший Военный Совет Республики отвечал с крайней медлительностью и неохотой, как будто дело шло о каком-нибудь захоластье, где «бузили» местные большевички. Но в Москве сидел боевой товарищ командарма Ворошилова, посланный туда со специальной задачей — толкать и прошибать непопятную медлительность и писарскую волокиту снабженческих учреждений Высшего Военного Совета. Ему удавалось перебрасывать кое-что для цари-

цынского фронта, разбросанного от Камышина до Сальских степей.

Ивану Ильичу было поручено погрузить в Нижнем на буксирный пароход ящики и доставить их в Царицын. Снова, как этим летом, как много лет тому назад, он плыл по ленивой, необъятно могущественной пустынной Волге. Низенький коричневый буксир шлепал огромными колесами по безветренной воде. Впереди всегда виднелся берег, будто там и кончалась река, — за широким поворотом открывалась новая даль, глубокая и ясная под осенним солнцем. В эти месяцы Волга была очищена от белых, все же пароход держался подальше от берегов, где над крутизной раскидывалось потемневшими срубамми большое село или на лысом бугре сквозь золотую листву виднелась колоколенка, откуда удобно резануть из пулемета.

Десять балтийских моряков—команда парохода — балагурили на корме около пушки. Там же, обычно, полеживал на боку и Иван Ильич, — то охая и обмирая, то до слез хохоча над их рассказами. Слушатель он был простой, доверчивый, а моряку другого и не нужно: только гляди ему в рот. Иной загибал такую басню — у Ивана Ильича волосы шевелились, а другие, переглянувшись, только крутили головами, хлопали себя по ляжкам.

Ежедневно самый молодой из моряков, комсомолец Шарыгин, высокий и степенный, шел к судовому колоколу и бил аврал: все вверх! Моряки садились вокруг, из люка вылезал машинист, скрытный старичок, потерявший в революции, говорят, не малые деньги; высывался до пояса из люка чочегар, неуживчивый, озлобленный человек; из камбуза, вытирая руки, появлялась женщина-кок. Шарыгин садился на свернутый канат, самоуверенным голосом начинал просветительную беседу. За молодостью лет он не успел много прочитать, но успел понять главное. Под матросской шапочкой носил он темные кудри, были у него светлые красивые глаза, и только подгадил нос — маленький, торчком, попавший, казалось, совсем из другой организации.

Задача его был не легкая. Моряки понимали революцию, как люди, давно оторванные от своего хозяйства, от горемычной сохи, от рыбацкой лодки на Поморье. Прошли они тяжелую флотскую службу; когда настал час, — выкинули офицеров за борт и подняли флаг всемирной революции. Мир они выдали, обегали его, зубами на него скрипели. Это была вещь широкая, понятная морской душе (не то, что где-нибудь у себя в волости запалить помещика, поделить землишку). Раньше все имущество моряка было в сундучке. Теперь нет и сундучка, теперь хозяйство моряка — винтовка, пулеметная лента да весь мир... Будь сейчас времена Степана Разина, — каждый бы из них, загнув на ухо шапку с алым верхом, пошел бы — во весь размах души — вольно гулять по необъятным просторам, оставляя позади себя зарево до самого неба... «Эй, царские, боярские холопы, горе-несчастье, голь кабацкая, дели землю, дели золото, — все твое, живи!..». Пролетарская революция потребовала от них программы более сложной, потребовала ограничения размаху чувств.

— Революция, товарищи, это — наука, — самоуверенным голосом говорил им Шарыгин, — ее развивает Владимир Ильич и нас заставляет учиться. У тебя хоть семь пядей на лбу — не превзошел ее, и ты всегда сделаешь ошибку. А что такое ошибка? Лучше ты отца с матерью зарежь: ошибка приведет тебя к буржуазной точке зрения, как мышь в мышеловку, — влетел и сиди, грызи хвост, все твои заслуги зачеркнуты, и ты — враг...

Моряки ничего на это не могли возразить, — без науки и корабля не поведешь, не то что справиться с такой контрреволюцией. Разве кто-нибудь, обхватив татуированными могучими руками колено, спрашивал:

— Хорошо, ты вот на что ответь: без таланта и печь в бане не сложишь, без таланта тесто у бабы не взойдет. Нужно это?

Шарыгин отвечал:

— Видите, товарищи, куда загибает Латугин? Талант — эта вещь нам свой-

ственная, эта вещь опасная. Она может человека привести к буржуазному анархизму, к индивидуализму...

— У, понес, — отчаявшись, махал на него рукой Латугин. — Ты сперва эти слова разжуй да проглоти, да до ветру ими сходи, тогда и употребляй...

А кочегар сердито хрипел из люка:

— Талант, талант! Ногти насандалит. штаны — клешем, на шее — цепочки... Видали вашего брата... Талант!

Тогда среди моряков поднимался ропот. Кочегар, прохрипев насчет того, что «вам бы годиков десять попотеть у кочегарки», от греха скрывался вниз. Шарыгин бесстрастно улаживал грозно возникающую зыбь. «Действительно, — он говорил, — есть среди нас такие товарищи с насандаленными ногтями, но это отброс. Они добром не кончат. Есть и такие, кто гуляет с батькой Махно. Есть и зараженные эсерами. Но вся масса моряков беззаветно отдала себя революции. Про талант надо забыть, его надо подчинить. Гулять будем после, кто жив останется. Я лично — не рассчитываю...».

Шарыгин встряхивал кудрями. Некоторое время было слышно, как журчала вода под кормой. Суровость слов хорошо действовала на слушателей. Русский человек падох до всего праздничного: гулять — так вволю, чтобы шапку потерять, биться — так уж, не оглядываясь, вгрызаясь. Смерть страшна в будни, в дождь без просвета, — в горячем бою, в большом деле смерть ожесточает, тут русский человек не робок, лишь бы чувствовать, что жизнь горяча, как в праздник, а шлепнет тебя вражеская пуля, налетел на сверкнувший клинок, — значит, споткнулся, в широкой степи раскинул руки-ноги, захмелела навеки голова от вина, крепче которого нет на свете.

Морякам нравились эти слова Шарыгина, что живым он быть не рассчитывает. И они прощали ему и книжную речь, и юношескую самоуверенность, и даже вздернутый носишко его казался подходящим. А он рассказывал о хлебной монополии, о классовой борьбе в деревне, об империалистической войне и мировой революции. Сивоусый маши-

нист, полузакрыв глаза, сложив пальцы на животе, кивал утвердительно, особенно в тех местах, когда Шарыгин, сбиваясь с мысли, начинал выражаться туманно. Женщина-кок, Анисья Назарова, взятая в прошлый рейс в Астрахани, никогда не садилась с мужчинами, стояла в сторонке, глядя на уплывающие берега. Истошное страданиями молодое лицо ее, с выпуклым лбом, с красивыми пепельными волосами, окруженными косой вокруг головы, было покойно и бесстрастно, лишь иногда в горле ее с трудом катился клубок.

Телегин также принимал участие в этих беседах, — рассказывая про военные дела, чертил мелом на палубе расположение фронтов.

— Контрреволюция, как видите, задумана по единому плану: окружить центральную Россию, отрезать ее от снабжения хлебом и топливом и сдавить. Вся контрреволюция поднимается на окраинах, на тучных землях. На Кубани, например, полтора миллиона казаков, сидящих на земле, и полтора миллиона безземельных крестьян-арендаторов, — «иногородних». Между ними вражда не на живот, а на смерть. Деникин это отлично учел и с горстью офицеров-добровольцев смело кинулся в самое пекло, разгромил стотысячную армию прохвоста Сорокина, — которого в самом начале надо было расстрелять за анархию и дикую жажду предательства, — и сейчас Деникин создает себе крепкий тыл, помогая казакам вырезать красных на Кубани. Деникин умный и опасный враг. Его стратегический план ясен: овладеть Северным Кавказом, Астраханью, Азербайджаном. Тогда у него будет и хлеб, и нефть, и рыба, и флот, и англичане — под бок... Тогда, думать надо, он повернется лицом к Москве...

Моряки глядели на Телегина, ноздри у них раздувались, синие жилы проступали под смуглой кожей. А машинист все кивал: «Так, так...».

— У атамана Краснова задача много уже, — потому что казаков за границы Дона поднять трудно. Знаете поговорку: потому казак гладок, что поел — да на бок. Казак удал, когда дерется за

свою хату. Но зато красновская контрреволюция в настоящее время для нас опаснее всех. Если мы будем оттеснены от Волги и потеряем Царицын, Краснов и Деникин через самарские степи соединятся с уральским и оренбургским казачеством, с чехословаками и всей сибирской контрреволюцией. На наше счастье между Красновым и Деникиным договоренности полной нет: Краснов ориентируется на императора Вильгельма, Деникин — на англичан... Донцы называют добровольцев «странствующими музыкантами», а добровольцы донцов — «немецкими проститутками»... Но этим нечего утешаться. Плану контрреволюции мы должны противопоставить свой большой план, а это, в первую голову, правильная организация Красной Армии, без партизанщины на колесах...

Шарыгин, ревниво поглядывая на Телегина, вставлял:

— Вот это правильно... Итак, товарищи, мы вертаемся к тому, с чего я начал... Что ж такое революционная дисциплина?..

В одну из таких бесед Анисья Назарова, неожиданно протянув перед собой, как слепая, руку, сказала ровным голосом, но таким значительным, что все обернулись к ней и стали слушать.

— Извините, товарищи, что я вам скажу... Вот про такие дела я вам расскажу...

Рано утром, чуть завиднелось, Анисья Назарова пошла доить корову. Но, только открыла теплый хлев, — откуда из темноты просительной замычала Буренка, — послышались выстрелы совсем близко, из степи. Анисья поставила ведро, поправила на голове платок. Сердце у нее билось, и, когда пошла к калитке, ноги обмякли. Все же она открыла калитку, — по станичной улице бежали люди за тачанкой, на ходу влезая в нее. Выстрелы теперь слышались ближе и чаще, и со стороны степи, и со стороны пруда, и с одного конца широкой улицы, и с другого. Тачанка с товарищами из станичного совета не успела скрыться, — ее окружили верхоконные. Они крутились, как собаки, к-

гда рвут собаку, стреляли и рубили шашками.

Анисья закрыла калитку, перекрестилась и пошла было за ведром, но вдруг ахнула и кинулась в хату, где спали дети, Ваня и Маша. Глядя их по головкам, шепча на ухо, она разбудила их, одела и повела на двор за коровий сарай, где стояла скирда кизяков, сложенная высоким муравейником, внутри пустая. Анисья разобрала несколько кизячных плиток и велела детям залезть в скирду и там сидеть, не подавать голоса.

Теперь вся улица гудела под конскими копытами, раздавались окрики, звякало оружие. Наконец в ворота анисьиного двора начали бить прикладом: «Отворяй!». И когда Анисья открыла, ее схватили двое станичников, горячих от злости и самогона. «Где Сенька Назаров, где муж, говори — шлепнем на месте». А муж Анисьи — не казак, иногородний — был в Красной Армии, и она даже не знала, жив ли он теперь. Так она и сказала, что не знает, где муж, — летом какие-то люди его увели. Бросив трепать Анисью, казаки вошли в хату, там все перевернули, переломали и, выйдя, опять схватили Анисью и поволокли на улицу к станичному совету, где прежде жил атаман.

Солнце уже было высоко, а станица стояла с закрытыми ставнями и воротами, — будто и не просыпалась. Только перед советом крутились станичники на конях и подходили пешие, ведя связанных, иных избитых в кровь, крестьян и казаков. Потом узналось, что брали по списку, всех, кто еще весной голосовал за советскую власть.

В атаманской избе сидел узколицый непрспаный офицер с нашитой на рукаве мертвой головой и двумя костями. И рядом с ним — хорошо всем известный хорунжий Змиев, полгода тому назад бежавший из станицы. О нем все и думать забыли, а он — вот он, с висячими усами, налитой, здоровый, красивый, как медь. Когда Анисью впихнули в избу, хорунжий кричал арестованным, — а их под охраной стояло здесь более полсотни...

— Краснопузая сволочь, помогла вам

советская власть? Ну-ка, рассказывайте теперь — чему вас научили московские комиссары?..

Офицер, глядя в список, говорил тихо каждому, кого вытаскивали к столу: — Имя, фамилию признаешь? Так. Сочувствуешь большевичкам? Нет? Голосовал в мае месяце? Нет? Значит, врешь. Всыпать. Следующий, казак Родионов. — И, поднимая бледные, пегие, как у овцы, глаза: — Стать по форме, глядеть на меня! Был делегатом на крестьянском съезде? Нет? Агитировал за Советы? Опять нет? Значит, врешь полевому суду. Налево! Следующего...

Казаки подхватывали людей и, столкнув с крыльца, валили на землю, сдерживали шаровары, заголяли, один садился на дергающиеся ноги, другой коленями прижимал голову, и еще двое, вытащив из винтовок шомпола, били лежащего, — со свистом, наотмашь, как рубят сверха.

Офицер в избе не мог уже разговаривать тихим голосом, — так страшно выли и кричали люди за окнами. Экзекуцию обступила толпа конных и пеших станичников из налетевшего отряда и тех из местного казачества, кто выскакивал из хаты навстречу отряду, крича: «Христос воскрес!»... Они тоже орали и матерились: «Бей до кости! Бей до последней крови! Будут знать советскую власть!».

Наконец в атаманской избе остались только Анисья и молоденькая учительница, этим летом приехавшая из Екатеринодара. Она была из чиновничьей семьи, приехала в станицу по своей охоте, все старалась просветить местных жителей: собирала женщин в школе, читала им Пушкина и Льва Толстого, с детишками ловила жуков, — это в такие-то времена ловить жуков!

Хорунжий Змиев закричал на нее:

— Встать! Жидовская морда!

Учительница встала, некоторое время беззвучно трясла губами:

— Я не еврейка, вы это хорошо знаете, Змиев... И если бы даже была еврейкой, — не вижу в этом преступление...

— Давно — в коммунистической партии? — спросил офицер.

— Я не коммунистка. Я люблю детей и считаю долгом учить их грамоте... В станице девяносто процентов не умеющих читать и писать, вы представляете...

— Представляю, — сказал офицер. — А вот мы вас сейчас выпорем.

Она побелела, попятилась. Хорунжий заорал на нее: «Раздевайся!». Хорошенькое личико ее задрожало, она начала расстегивать клетчатое пальтишко, стащила его, как во сне...

— Слушайте, слушайте! — и замахала на офицера рукой. — Да что вы, что вы! — А за окном кто-то нестерпимо затянул истошным голосом. А хорунжий все свое: «Снимай панталоны, стерва!».

— Мерзавец! — сказала ему учительница, и глаза ее загорелись, лицо залилось гневным румянцем. — Расстреливайте меня, звери, чудовища... Вам это так не пройдет...

Тогда хорунжий схватил ее, приподнял и грохнул об пол. Два станичника задрали юбку, прижали ей голову и ноги; офицер, не спеша, вылез из-за стола, взял у казака плетъ, на серое лицо его напозла усмешка. Занеся плетъ, он сильно ударил девушку по стыдному месту; хорунжий, перегнувшись со стула, громко сказал: «Раз!». Офицер, не спеша, сек, она молчала... «Двадцать пять, довольно с тебя, — сказал он и бросил плетъ. — Иди теперь, жалуйся на меня окружному атаману». Она лежала, как мертвая.

— Вставай! — бешено, в первый раз, закричал он. — Или еще хочешь?

Станичники подняли ее и унесли в сени. Очередь дошла до Анисьи. Офицер, подтягивая кавказский поясок, только мотнул головой на дверь. Анисья была худая, но сильная баба. Обезумев от ненависти, она начала выбиваться, — когда ее потащили, хватала за волосы, выламывалась, кусала руки, била коленками. Вырвалась и, простоволосая, ободранная, сама кинулась на станичников, и потеряла сознание, когда ее ударили по голове. Ей спустили кожу со епины шомполами и бросили у крыльца, — должно быть, думали, что скверная баба кончилась.

Карательный отряд ротмистра Немешаева навел в станице порядок, поставил атамана, нагрузил несколько подвод печеным хлебом, салом и кое-каким реквизированным барахлом и ушел. Весь день станица стояла тихая, — не топили печей, не выпускали скотину. А ночью занялось несколько иногородних дворов, в том числе запылал анисьин двор.

Соседи побоялись тушить пожар, потому что, когда показался первый огонь на краю станицы, туда поскакало несколько казаков и были слышны выстрелы. Анисьин двор сгорел дотла. Только наутро соседи спохватились: а где же ее дети? Дети Анисьи, Ваня и Маша, сидевшие до ночи в кизяковой скирде, и корова, овцы, птица — сгорели все. Потом рассказывали, что ее двор вспыхнул сразу с четырех углов.

Добрые люди подобрали Анисью, стонущую в беспамятстве у атаманова крыльца, положили ее у себя и выходили. Когда, спустя несколько недель, она стала понимать, — рассказали ей про детей. В станице Анисье делать было больше нечего, — так она и сказала добрым людям. Была уже осень. От мужа — никаких вестей. Жить ей не хотелось. Она ушла, — от станицы к станице, побираясь под окнами. Добралась до железной дороги и попала, наконец, в Астрахань, где ее взяли на пароход коком, потому что в прошлый рейс кок сошел на берег и не вернулся.

Такой случай из своей жизни рассказала Анисья Назарова.

— Спасибо вам, товарищи, — сказала она, — узнайте мое горе, спасибо вам...

Вытерла передником глаза и ушла в камбуз. Моряки, обхватив жиливатыми руками колени, нахмурясь, долго еще молчали. Иван Ильич отошел и лег в сторонке. Сдерживая вздохи, думал: «Вот, встречаешь человека и проходишь мимо рассеянно, а он перед тобой, как целое царство в дымящихся развалинах...».

Понемногу от впечатлений рассказа этой женщины он перекинулся к своим огорчениям, — их он глубоко прятал ото всех, от самого себя в первую оче-

редь. Мало у него было надежды когда-нибудь еще раз встретиться с Дашей. Правда, человек живуч, ни один зверь не вынесет таких ран, таких бедствий. Но ведь пространство-то какое! Где теперь искать Дашу в потоке миллионов, хлынувших на восток. Старый дурень, доктор Булавин, чего доброго, еще махнет с ней за границу.

Покачивая головой, вздыхая от жалости, он вспоминал дашины пристрастия к душевному комфорту, к изяществу, ее холодноватую пылкость, как кипение ледяного вина. «Не по силам ей было, не по силам... Выращена в теплице, и — на вот тебе — подул такой мировой сквозняк... Бедная, бедная, тогда в Питере, после смерти ребенка, упрямо отказывалась жить, не хотела принимать даже ломтика лимона, кусочка шоколада, — угасала в холодных сумерках...».

О том, что случилось с ней после Питера, Иван Ильич знал только по наспех прочитанному ее письму (когда доктор Булавин, думая, что зять не слышит его, вызывал полицию по телефону). Несомненно, Даша много пережила после Питера, многое поняла... С какую страстью тогда подтащила его к окошку: «Верна буду тебе до смерти». Запах ее тонких русых волос, когда прильнула к нему, Иван Ильич не забыл и никогда не забудет. Странная, чудная, обожаемая женщина... «Ну, что ж, на том и покончим с воспоминаниями...».

Погода начала портиться. Волга потемнела, с севера поднялись грядями скучные, холодные тучи, засвистел ветер в тросах низенькой мачты. Не пришвартовываясь, проплыли Камышин, заолустный деревянный городок с оголенными садами на холмах. Сейчас же за Камышином начинался царицынский фронт.

3

Насыщенные холодом тучи ползли над Царицыном, ветер подхватывал пыль, вихрями застила деревянные домишки, — они тесно и кое-как — то задом к реке, то передом — вместе с нужниками и заборами громоздились на сыпучих обрывах. Иван Ильич пробирался вверх по крутой улице, где булыжни-

ки были выворочены дождевыми потоками. На набережной, на скрипящих пристанях и здесь, в городе, не видно было ни души. И только на площади, где сквозь пыль проступала серая громада кафедрального собора, он встретил вооруженный отряд. Одетые кто во что попало, шли молодые и пожилые, с остервенением отворачиваясь от ветра.

Впереди шагала худая сердитая старуха в красноармейском картузе и так же, как и все, с винтовкой через плечо. Когда она поровнялась, Иван Ильич спросил у нее, где находится штаб. Старуха свирепо покосилась на него, не ответила, и весь отряд торопливо прошел, заволокая пылью.

Ивану Ильичу нужно было явиться в штаб армии, рапортовать о прибытии парохода с огнеприпасами и передать накладную. Но, черт его знает, где искать этот штаб! Заколоченные магазины, нежилые окна, гремящие железом, вот-вот готовые сорваться вывески: «Кафе «Танго», «Покупка случайных вещей», «Варшавская кондитерская Розалия»... Внезапно Иван Ильич налетел на какого-то военного с подвязанной рукой — тот болезненно потянул воздух через зубы и шопотом проматерился. Иван Ильич, извинившись, спросил его все о том же. И тут только увидел, что перед ним — Сапожков, Сергей Сергеевич, его бывший командир полка.

— Ну, что ты носишься, как оцумелый, — сказал Сапожков. — Ну, здравствуй. — Иван Ильич примерился было обхватить, обнять его, — Сапожков отстранился. — Ну, брось в самом деле, держись спокойно. Ты откуда взялся?

— Да, понимаешь, пароход сюда пригнал.

— Вот чудак — жив! Щеки от здоровья лопаются!.. Вот — порода расейская! Тебе штаб нужен? — так вот это и есть штаб. Где остановился-то? Нигде, конечно. Ладно, я тебя подожду.

Он вместе с Телегиным зашел в подъезд каменного, с декадентскими разводами, купеческого дома и указал во втором этаже штабные комнаты.

— Ванька, я жду, смотри...

Иван Ильич видел штабы и у Сорокина, и в армиях южного фронта, где

никогда не найдешь нужную тебе дверь, все врут, будто уговорились, всюду табачный дым, до одурения натопленные печи, паническая трескотня машинисток, шнырянье из двери в дверь значительных адъютантов в галифе с крыльями. Здесь было тихо. Он сразу нашел нужную дверь. У пыльного окна, едва пропуская свет, сидел дежурный; он поднял костлявое малярийное лицо и, не мигая красными веками, уставился на Телегина:

— Никого нет, штаб на фронте, — ответил он.

— Разрешите связаться с командующим, — груз надо сдать срочно.

Дежурный, с легкостью истаявшего от бессонницы человека, приподнялся и поглядел в окно. Там кто-то подъехал.

— Подождите, — сказал он тихо и продолжал раскладывать на несколько кучек донесения и рапорты, иные написанные такими карандашными загогулинами, что из их содержания можно было понять только величие простой и мужественной души.

Вошли двое. Один в смушковой бекеше, с биноклем через шею и с тяжелой, на черной сырмятной портуpee, кавалерийской шашкой. Другой — в длинной солдатской шинели, в теплой шапке с наушниками, какие носят питеерские рабочие, и без оружия. Лица у обоих были темны от пыли. Дежурный сказал:

— Прямой провод на Москву исправлен.

Тот, кто был в смушковой бекеше, — сложаивый, с круглыми карими веселыми глазами, — сразу остановился: «Вот это — отлично!». Другой, в шинели, закиданной землей, вынул платок, отер худощавое лицо, смахнул — сколько возможно — пыль с черных усов, и Телегин почувствовал на себе пристальный взгляд его блестящих глаз с приподнятыми нижними веками.

— Товарищ к вам с рапортом, — сказал дежурный.

Иван Ильич первый раз видел этих людей, не знал — кто они такие, и насколько замаялся. Дежурный наклонился к нему:

— Говорите, товарищ, это Военсовет фронта.

Телегин вынул документы и рапорт-вал. Услышав, что им только-что пришвартован пароход с огнеприпасами, эти люди переглянулись. Тот, кто был в шинели, взял накладную, другой из-за его плеча с жадностью бегал по ней зрачками, и даже губы его маленького рта шевелились, повторяя цифры количества патронов, снарядов, пулеметных лент...

— Сколько у вас команды на пароходе? — спросил человек в шинели.

— Десять балтийских моряков и два волевых орудия.

Они опять переглянулись.

— Заполните анкету, — опять сказал тот же. — К семнадцати часам будьте со всей командой в распоряжении командующего фронтом. — Неторопливым движением, тут же за столом дежурного, он завертел сухо визжащую ручку телефонного аппарата, соединился с кем-то, вполголоса сказал несколько слов и положил трубку: — Товарищ дежурный, организуйте немедленно как можно больше ломовых подвод. Для разгрузки мобилизуйте рабочих с орудийного завода. Проверьте исполнение и скажите мне.

Оба человека ушли в соседнюю комнату. Дежурный принялся накручивать телефон и сдавленным голосом повторять: «Транспортный отдел... Товарища Иванова. Нет такого? Убит? Давайте другого дежурного. Говорит штаб фронта...». Иван Ильич сел заполнять анкету. Дело было ясное: явиться к командующему — значит прямо в окопы. Иван Ильич разлеился на пароходе, оброс жирком и вот сейчас, поскрипывая цепляющимся за бумагу пером, чувствуя знакомое, столько раз повторявшееся за эти годы волевое движение, когда все, что есть в человеке покойного, теплого, бытового, охраняющего свою жизнь, свое счастье, со вздохом отодвигается, и невидимым разводящим ставится другой Иван Ильич — упрощенный, жесткий, арифметический...

До трех часов оставалось много времени. Иван Ильич передал анкету и вы-

шел в коридор. Сапожков быстро поднялся с деревянного дивана.

— Освободился? Пойдем, приткнемся куда-нибудь.

Он с усмешкой глядел на затуманенного Телегина. Он был все тот же: неспокойный, напряженный, как будто знающий что-то, чего другие не знают, только внешне сильно сдал: розовое лицо его стало маленькое, как у молодого старичка. Телегин объяснил, что — вот такое дело — надо бежать на пристань, собрать команду, выгрузить орудия.

— Жаль. Ну, что ж, пойдем на пристань. Я три месяца молчал, Ваня, дошел до того, что в госпитале едва начал писать «Записки бывшего интеллигента»... И не пью, брат, забыл...

Сапожков весь был потрясен встречей с Иваном Ильичом. Они вышли. Ветер погнал их по улице — вниз к темной Волге, махающей длинными пенными волнами.

— Где полк, Сергей Сергеевич? Каким образом ты от него отбился?

— От нашего полка остались рожки да ножки. Нет больше такого полка в Одиннадцатой армии.

Телегин молча, с ужасом, взглянул на него. Сапожков начал рассказывать, прикрываясь рукой от пыли:

— Кончились мы на хуторе Беспойном. Известна тебе трагедия Одиннадцатой армии? Главком Сорокин навдворил таких дел, — мало ему трех казней, сукиному коту. Скрыл от армии приказ Царицынского Военсовета — пробиться на соединение с Десятой армией. Одна дивизия Шелеста выполнила приказ и повернула на Царицын, и то потому только, что Дмитрия Шелеста он хотел расстрелять и объявил вне закона. Представляешь: от Минеральных Вод мы отрезаны, от Ставрополя, где гибнет Таманская армия, — отрезаны. Огнеприпасы Сорокин в панике бросил еще в Тихорецкой... Справа на нас нажимает конница Шкуро, слева — конница Врангеля. И мы уходим на восток, в безводную степь... От полка моего осталась одна сводная рота. Спим на ходу, лишь бы оторваться от противника, пробираемся балочками, жрать не-

чего, воды нет, ледяной ветер, — будь она проклята, эта степь! Были случай — человек и конь окоченеют, и засыпает их песком, как скифским курганом... Добрались до хутора Беспойного, — ни души, ни куренка, даже собак увели казачишки. А хаты, понимаешь, не заперты, — нараспашку... Ребята и давай пить молоко. Понимаешь? Начали кататься по земле, да уж поздно, — в живых осталось десятка три душ... И тут нас на утренней зоречке, как полагается, окружили с пулеметами и кончили...

Слушая его: Иван Ильич, шел все шибче, покуда не споткнулся:

— Ну, а ты как же?..

— Чорт его знает. Подвезло... Ранили меня в самом начале, — в руку, нерв, что ли, какой-то задело, — потерял сознание... Вернее тебе сказать — многое я с того момента начал пересматривать... У бойцов моих выбора ведь не было: умирать, кидаясь на пулемет, или умирать как-нибудь тяжелее, — казачки нас живыми в землю закапывали, такой у них появился милый обычай... Покуда я валялся кверху воронкой, — бойцы, оказывается, перевязали мне руку, отнесли к омету, закидали соломой... В такой обстановке, видишь ты, позаботишься... Утверждаю: нашего народа мы не знаем и никогда не знали... Иван Бунин пишет, что это дикий зверь, а Мережковский, что это хам, да еще грядущий... Помнишь — мы в вагоне ночью разговаривали? Я был пьян, но я ничего не забываю. В чем была ошибка: философия-то, логика-то корректируется, как стрельба, видимой целью, глубоким познанием жизненных столкновений... Революция — это тебе не Эммануил Кант!

— Сергей Сергеевич, ну а дальше что было?..

— Дальше-то... Ночью вылез я из соломы. На хуторе орут песни, значит, победители уже пьяны. Наткнулся на изувеченный труп, на другой, — все ясно... Поймал лошаденку, ушел в степь, где провел несколько мучительных дней... Подобрал меня конный отряд Буденного, — есть у них в Сальских степях такой всадник... Доставили меня на станцию Куберле и, значит, — сюда.

Здесь околачиваюсь в госпитале... Послужной список, документы — все осталось на гумне, в бекеше... Помнишь мою бекешу? Такой теперь не построишь...

— Слушай, и Гымза там же погиб?

— Нет, Гымзу мы давно потеряли, вместе с обозом, у него сыпняк был жестокий...

— Жалко Гымзу.

— Всех жалко, Иван... А впрочем, вру, не жалостью это называется... Привык я к полку, неудобно как-то одному оставаться в живых... Места себе не нахожу, Иван... Ходил в штаб — просить роту, хотя бы... Вполне их понимаю, человек я им не известный, у меня один воинский билет на руках... Ты уж меня в штабе аттестуй, пожалуйста...

— Ну, о чем говорить, Сергей Сергеевич...

— Хотя самое лучшее — бери меня в отряд, честное слово. Хоть помощником, хоть связистом... Вот, stalkивает нас судьба... Помнишь, как у тебя на квартире стихи писали, пугали буржуев? Ничто не проходит даром, все отзывается: пошалил и забыл, — смотришь — а ты уж стоишь перед грандиознейшей картиной, так что волосы встают торчком. Слушай, а помнишь, как я нашел тебя в сарае у немцев? Вот был налет, вот была рубка! Я еще тогда шашку сломал... Это очень хорошо, что мы — опять вместе... В тебе, Иван, есть какое-то непроторимое здоровье... Привязался я, что ли, к тебе... Слушай, а где твоя жена?

Разговаривать им дальше не пришлось. Их перегнали ломовые телеги, рысью прогромыхавшие вниз к пристани. Началась разгрузка парохода.

★

За городскими крышами сквозь вихри пыли проступал закат, огромный и мрачный, насыщая кровавой силой ползущие тучи. Над Волгой закрутился редкий снег. Нагруженные телеги, охраняемые вооруженными рабочими, давно уехали. Набережная опустела. Пароход отошел от конторки и, не зажигая

огней, пришвартовывался где-то ниже по течению.

Моряки в перепоясанных бушлатах, с гранатами, с вещевыми мешками, с винтовками сидели на конторке за ветром, — не курили, помалкивали. Из рассказов рабочих им уже было известно, что делалось в этом пустынном городе, озаренном мутно-красавым закатом. Дела тут были невеселые.

Иван Ильич ждал конных упряжек для выгруженных орудий, с тревогой поглядывал на часы, несколько раз звонил в штаб. Выяснилось: упряжки уже высланы, отряду приказано идти вместе с орудиями прямо на вокзал. Преодолевая наваливающийся на дверь ветер, он вышел на палубу конторки. Перед ним стояла Анисья Назарова.

— Вы зачем здесь?

Она молчала, поджав губы; под его взглядом опустила голову. Ветхая, заплатанная шаль, видимо, единственная защита от стужи, была повязана у нее на плечах, за спиной — дерюжный мешок.

— Нет, нет, нет, — сказал Иван Ильич, — ступайте на пароход, Анисья, вы мне в отряде не нужны...

Покуда по сходням скатывали пушки на песок да возились с упряжками, — тучи угасли и река слилась с потемневшими берегами. Отряд тронулся в город, понукая лошадей, впряженных в орудия. К Ивану Ильичу подошел Шарыгин и сказал вполголоса:

— Что нам с Анисьей-то делать? Товарищи просят оставить при отряде...

Сейчас же, отделившись от колеса орудия, к Ивану Ильичу с другой стороны подошел Латугин.

— Товарищ командир, она вроде нам, как мамаша. В таких делах, — фронт, знаешь, — добежать, принести там чего-нибудь, рубашечку простирнуть... Да она воинственная, только так, с виду, тиха. Пристала и пристала, как собачонка, что ты сделаешь...

Анисья оказалась тут же, позади Ивана Ильича, — она шла за отрядом все так же — с опущенной головой. Шарыгин сказал:

— Определим ее сестрой милосердной, без квалификации... Милое дело...

Иван Ильич кивнул: «Правильно, я и сам хотел ее оставить». Латугин побежал опять к орудийному колесу, ухватился за него, гаркнул на лошадемок, выбивавшихся в гору из последних сил: «Но, добрые, вывози!». Песок, сорванный с откоса, обрушился на отряд, закрутился, как бешеный. Наконец колеса покатались по улице. В едва различимых домишках не светилось ни одного окна; страшно выли провода на столбах, да громыхали вывески. Иван Ильич шел и усмехался.. «Вот, получил урок, шлепнули по носу: эй, командир, невнимателен к людям... Правильно, ничего не скажешь... От Нижнего до Царицына валялся на боку, развесив уши, и не полюбоществовал: каковы они, эти балагуры... Видишь ты — шагают вразвалку, ветер задирает ленточки на шапочках... Почему анисьино горе, жалкую судьбу ее, они, не сговариваясь, вдруг связали со своей судьбой, да еще в такой час, когда приказано покинуть легкое житье на пароходе и сквозь песчаные ледяные вихри итти, чорт знает, в какую тьму, — драться и умирать?.. Храбрецы, что ли, особенные? Нет, как будто, — самые обыкновенные люди... Вот, вот про какую философию говорил Сергей Сергеевич... (Телегин давеча рассеянно слушал его, а теперь, как будто, начал понимать.) Да, неважный ты командир, Иван Ильич... Серый человек... И Сапожков это утверждает. Эка штука—предождать в себе неохоту итти стоять под пулями,—долг, долг!.. Опять-таки это интеллигентская вещь — долг... Трусость это и душевная лень, серость, вот и появляется «разводящий»: Иван Ильич, пожалуйста к исполнению долга... Тот хорош командир, кто при самых тяжелых обстоятельствах держит в памяти сложную душу каждого бойца, доверенного тебе... Вот это командир...».

Давешний разговор с Сергеем Сергеевичем и этот, как будто незначительный, случай с Анисейю очень взволновали Ивана Ильича. Первым делом он обрушился на самого себя и корил себя в эгоизме, байбачестве, невнимательности, серости... В такое время, когда люди всего себя бросают в огонь борьбы, когда у иного чайным стаканом спирта не

залить ненависти, — он, видите ли, развел себе щеки, даже Сергей Сергеевич это заметил... Так размышляя, Иван Ильич поймал себя еще на одной мысли, — ему вдруг стало жарко и сердце будто на секунду окунулось в блаженство, — во всем этом подтягивании себя была и тайная задача: вернуть дашину былую влюбленность... Но он только фыркнул в налетевший из-за угла пыльный вихрь и отогнал эти совершенно уже неуместные мысли.

На вокзале Иван Ильич получил приказ: немедленно погрузить орудия и выступить на артиллерийские позиции в район станции Воропоново. Приказ передал ему комендант — рослый детина с черными, как мартовская ночь, страшными глазами и пышной растительностью на щеках, вроде бакенбард. Иван Ильич несколько растерялся, начал объяснять, что он не артиллерист, а пехотинец и не может взять на себя ответственность командовать батареей. Комендант сказал тихо и угрожающе:

— Товарищ, вам понятен приказ?

— Понятен. Но я объясняю же вам, товарищ...

— В данный момент командование не нуждается в ваших объяснениях. Вы намерены выполнить приказ?

«Ох ты, чорт, как тут разговаривают, — подумал Иван Ильич и невольно подбросил руку к козырьку: «Слушаю», — повернулся и пошел на пути...»

В этом городе были совсем не похожие ни на что порядки. На вокзалах, например, в иных городах, если нужно пройти куда-нибудь, — шагай через лежащих вповалку переодетых буржуев, дезертиров, мужиков и баб с мешками, откуда торчит петушиный хвост либо сопит поросенок. Здесь было пусто, даже подметено, хотя пыль, гонимая ветром через разбитые окна, густо устилала плакаты на стенах и давно покинутый буфетчиком прилавок. Здесь и разговаривали по-особенному — коротко, предостерегающе, точно положив палец на гашетку.

Иван Ильич без лишней беготни и без крику быстро получил паровоз и наряд на погрузку. Позвонил в штаб о Сапожкове, и оттуда ответили: «Хоро-

шо, берите его на свою ответственность...». Команда уже грузила орудия на две платформы под раскачивающимися фонарями. Иван Ильич стоял и всматривался в лица моряков. Вот Гагин, новгородец, с глубокими морщинами жестокого лица, с черными волосами, падающими из-под бескозырки — «Беспощадный» — на лоб до бровей; вот помор Байков, с широкой, будто подвешенной к маленькому лицу, забитой пылью бородой, с круглой головой, крепкой, как орех, балагур и запивоха. Все девять товарищей ухватились за колеса пушки, вкатывая ее по круто поставленным доскам, а Байков то тут прыснет, то с другой стороны взглянет: «Идет, идет, ребята, поднажми, давай...». Кто-то даже пхнул его коленкой: «Да берись ты сам, чудо морское...».

Вот нижегородец, из керженских лесов, великолепный артиллерист Латугин, с широким, дерзким лицом, ястребиным, должно быть, перебитым в драке, носом, среднего роста, силач, умница, опасный в споре и «ужасный лютый» до женского сословия... Вот — Задуйвитер...

— Иван Ильич, — к нему подошел Шарыгин, — вы знаете, где это Воропоново?

— Ничего я тут не знаю.

— Да вот тут же, рядом, под самым Царицыном, — здесь и фронт... Белые, говорят, так и ломят... Артиллерии — сила, и танки, и самолеты... Да за войском еще тысяч сто мародеров-казаков едут на телегах...

Шарыгин говорил тихо и возбужденно, синие глаза его блестели, улыбаясь, красивые губы дрожали. Иван Ильич нахмурился:

— Вы что, в серьезных боях еще не бывали, Шарыгин? — У того вспыхнуло лицо, и краска перелилась на маленький нос, он так и остался красным. — Мой совет: поменьше слушайте разных разговоров... Все это паника... Вы позаботились о продовольствии отряда?

— Есть! — Шарыгин подкинул ладонь к бескозырке, чего никогда обычно не делал. Лицо у него просветлело. Парень был хороший, чересчур впечатлительный, — но обломается... Иван Ильич

пошел к товарному вагону, который прицепляли сзади платформ с пушками. По перрону бежал возбужденный Сапожков, с мешком и шашкой подмышкой...

— Иван, устроил?

— В порядке, Сергей Сергеевич... Грузись.

Сапожков полез в товарный вагон. Там, в углу, на матросском барахлишке, уже сидела Анисья.

★

Неподалеку от Воропонова — станции Западной железной дороги — еще до света орудия были выгружены и установлены в расположении одного из артиллерийских дивизионов. Здесь Телегин и его отряд узнали, что дела на фронте очень тяжелые. Под Воропоновым строилась линия укреплений, она шла полуподковой всего в каких-нибудь десяти верстах от Царицына, начинаясь на севере, у станции Гумрак, и кончаясь у Сарепты — на юге от Царицына. Эта дуга укреплений, протяжением всего около сорока верст, была последней защитой. За ней тянулась невысокая гряда холмов и дальше — покатая равнина до самого города. Отступать можно было только в широкую Волгу, в ледяные волны.

Вчерашний ветер разогнал тучи, свалил их за краем степи в непроницаемый мрак. Поднялось негрешее солнце. На плоской бурой равнине копошилось множество людей; одни кидали землю, другие вбивали колья, тянули колючую проволоку, укладывали мешки с песком. Со стороны Царицына подъезжали товарные составы, выгружались мужчины и женщины, разбредались, исчезали под землей. Другие вылезали из складок земли и устало брели к станции. Было похоже, что сюда призвано на работы — хочешь или не хочешь — все население города, способное держать лопату...

Одна из таких партий, десятка в полтора разношерстных граждан обоего пола, подошла к расположению телегинской батареи; их привел маленький старенький военный инженер.

— Граждане! — осипшим голосом крикнул он, высовывая седые усы из

толсто замотанного верблюжьего шарфа. — Ваша задача проста: мне нужно поднять бруствер до четырнадцати вершков, берите землю отсюда и бросайте сюда до отметки на колышке... Разойдитесь на шаг и — дружно за работу!

Он ободрительно похлопал лиловыми от холода маленькими руками и бодро полез из выемки. Граждане проводили его взглядами, полными возмущения. Одна из женщин, точно наевшись соли, затряса круглым лицом — ему вдогонку:

— Стыдитесь, Григорий Григорьевич, стыдитесь!

Остальные продолжали стоять, держа лопаты так, будто именно эти лопаты и были гнусными орудиями пролетарской диктатуры. Только один — кадыкастый, большегубый юноша, которому было очень интересно попасть на боевые позиции, — принялся было ковырять землю, но на него сейчас же зашипели:

— Стыдно, Петя, перестаньте сию же минуту...

И все заговорили, обращаясь к человеку с молодым, желтым, нервным лицом, стоявшему до этого, закрыв глаза, слегка покачиваясь; форменное пальто на нем — ведомства народного просвещения — было демонстративно подпоясано веревкой.

— Ну вы-то что же молчали, Степан Алексеевич? Мы выбрали вас... Мы ждем от вас...

Он мученически поднял веки, щека его дернулась тиком:

— Я буду говорить, господа, но буду говорить не с Григорием Григорьевичем. Мы все должны надеть траур по нашему Григорию Григорьевиче...

В это время с бруствера полетели комья, над выемкой появилась лошадиная морда, катающая в зубах удила, и сверху, с седла, перегнулся широкий, краснощекий, бородатый всадник в кубанской шапке. Прищуря глаза, он спросил насмешливо:

— Ну, что ж, граждане, не можете договориться — чи работать, чи нет?

Тогда нервный Степан Алексеевич, в пальто, подпоясанном веревкой, выступил несколько вперед и, задрвав голову к всаднику, ответил ему с убедитель-

ной мягкостью, как говорят с детьми на уроках:

— Товарищ, вы здесь старший начальник, насколько я понимаю... («Эге» — всадник весело кивнул и рукой в перчатке похлопал коня, сторожившегося над обрывом.) Товарищ, от имени нашей группы, насильственно мобилизованной сегодня ночью на основании каких-то никому неизвестных списков, выражаем наш категорический протест...

— Эге, — повторил, но уже угрожающе, бородатый всадник.

— Да, мы протестуем! — голос у Степана Алексеевича сорвался вверх. — Вы принуждаете людей, не приспособленных к физическому труду, рыть для вас окопы... Ведь это же худшие времена самоуправления!.. Вы совершаете насилие!..

Обе щеки у него задергались, он закрыл глаза, так как сказал слишком много, и замотал поднятым желтым лицом... Всадник глядел на него, прищуриясь, большие ноздри у него задрожали и раздулись, рот сложился твердо, — прямой, как разрез. Потом он усмехнулся, слез с лошади, соскочил в выемку и, отряхнув одним ударом кавалерийские штаны, сказал:

— Совершенно точно: мы вас принуждаем оборонять Царицын, если вы не желаете добровольно. Почему же это вас возмущает?.. А ну-ка, дайте лопату кто-нибудь.

Он, не глядя, протянул большую руку в коричневой перчатке, и та же полная, круглолицая женщина торопливо подала ему лопату и уже все время не сводила с него изумленных глаз.

— Зачем нам ссориться, это же чистое недоразумение. — Он вонзил лопату, подхватил землю и сильно кинул ее наверх, на бруствер. — Мы воюем, вы нам подсобляете, враг у нас один... Казачки же никого не пощадят, — с меня сдерут кожу, а вас ограбят, переполят поголовно, а которых порубят шашками...

От него, как от печи, дышало здоровьем и силой. Кинув несколько лопат, он быстро оглянул стоящих: «А ну, — и хлопнул по плечу кадыкастого юношу

и другого — милovidного, глуповатого, с соломенными ресницами, — а ну, покажем, как надо работать». Они, смущенно улыбаясь, начали копать и кидать; за ними, пожав плечами, взялось за лопаты еще несколько человек. Круглолицая дама сказала: «Ну, позвольте уж и я» — и споткнулась о лопату. Бородатый командир сейчас же подхватил ее и, должно быть, сильно тиснул, — она покраснелась и повеселела. Степан Алексеевич рисковал остаться в одиночестве.

— Позвольте, позвольте, — сказал он очень высоким голосом, — но революция и — насилие, товарищи! Революция, прежде всего, отвергает всякое насилие.

— Революция, — раскатисто ответил бородатый начальник, — революция осуществляет насилие над врагами трудящихся, и сама осуществляется через это насилие...

— Позвольте, позвольте... Это антиморально...

— Пролетариат только для того и совершает над вами насилие, чтобы освободить весь мир от насилия...

— Позвольте, позвольте...

— Нет, — твердо сказал начальник, — не позволю, вы начинаете озорничать, это саботаж, берите лопату... Товарищи, я, значит, могу надеяться — к одиннадцати часам бруствер будет готов. В добрый час, до свиданья...

Моряки, слушая издали этот разговор, помирали со смеху. Когда начальник уехал, они пошли к интеллигенции — подсобить, чтобы у них не остыл энтузиазм.

4

Полк Петра Николаевича Мельшина вместе со всей дивизией отходил по левой стороне Дона, день и ночь отбиваясь от передовых частей второй колонны Донской армии. Вторая колонна состояла из хорошо снаряженных и сформированных по-регулярному восьми конных и одиннадцати стрелковых казачьих полков. У Мельшина в полку не было и девятисот бойцов, измотанных боями и ночными переходами, без горячей еды, без сна и отдыха.

Казачи хорошо знали каждый овраг, каждую водомонну в этих степях и отесняли противника в такие места, где им было удобно тайно подойти для атаки. На рассвете, обычно, их стрелковые части начинали перестрелку, отвлекая внимание, а конные сотни пробирались оврагами и балочками во фланги и неожиданно атаковывали с яростью, свистом, воем. Бойцы встречали их бережливыми очередями, а иногда и поднимались навстречу, уставя штыки. И поворачивали казаки, оставляя стонущих, кусающих сухую полынь раненых и бьющихся на земле коней.

Мельшин говорил командирам и бойцам: «Выдержка, товарищи, — это главное. Единодушие — это наша сила. Нам эти укусы не страшны. Мы знаем, за что сражаемся, смерть нам легка. А казак удал, да жаден; — ему добыча нужна, жизни он терять не хочет, и больше всего ему жалко коня. Чья стратегия должна победить?»

Рота Ивана Горы шла в арьергарде, прикрывая обоз, где на каждой телеге лежали раненые, а те, кто мог сидеть, тряслись, свесив ноги. Оставить их было нельзя и негде: казаки в плен не брали, — уцелевших после боя всех, на ком красная звезда, раздевали донага и рубили и сверху, и пешие; натешась, отъезжали, оглядываясь на страшно разрубленные трупы, вытирали клинки о конскую гриву.

Ни в какие времена на Дону не слышали такой бешеной ненависти, какая поднялась в богатых станицах Курмоярских, Есауловской, Потемкинской, Нижне-Чирской, Усть-Медвединской... Туда приезжали агитаторы из Новочеркасска, а в иные станицы и сам атаман Краснов; колокольным звоном собирали «Круг спасения Дона» и, по старинному обычаю снимая шапки и кланяясь, звали казачество наточить шашки и вздеть ногу в стремя: «Настал твой час, вставай, вольный Дон... Грозной казачьей тучей двинемся на Царицын, уничтожим проклятое гнездо коммунистов, выметем с Дона красную заразу... Не хотят они, чтобы Дон жил богато и весело! Хотят они увести наши табуны и стада, земли наши отдать

пришлым тульским да орловским голодным мужикам, жен наших валять по своим постелям, а вас, — станичники, богатыри, соль земли донской, — послать в шахты навечно... Не дайте ободрать храмы божи, постоит за алтарь нашей родины. Не пожалейте жизнью... А уж атаман Всевеликого Войска Донского отдает вам Царицын на три дня и три ночи».

Ротный командир Иван Гора, длинный и сутоловатый, с большеносым обросшим лицом, почерневшим от бессонницы, привык за эти дни к маячившим на краю степи верхоконным казакам, узнал их повадки и не клал цепь без толку, велел бойцам итти, не оборачиваясь.

Впереди двигался обоз—сотня телег—тесно, ось к оси; позади шла цепь тяжелой развалкой—ободравшиеся, осунувшиеся, глядящие под ноги бойцы. Последним шагал Иван Гора — винтовка через плечо, картуз, пробитый пулей, — на затылке, длинные ноги, как опоенные. Еще полгода тому назад был он могучим человеком, но сказывалось ранение в голову, когда этим летом его рубили топором в сарае, сказывалась контузия, полученная в бою под Лихой. Он то бодрился, когда и не надо, то на ходу начинал задремывать: перед мугнеющими глазами выплывало какое-нибудь приятное воспоминание — люди в летних сумерках сидят на бревнах, над головами летает мышь... Или — зеленый подорожник, на нем ситцевая подушка, на ней смеющаяся Агриппина. Он гнал эти мечты, приостанавливался, поправляя на плече винтовку, раззевал тяжелые веки, оглядывал идущих людей, худые телеги с мотающимися ранеными, ровную выгоревшую степь, плывущую ему в душу, — шаром по ней кати, ни деревца, ни телеграфного столба, плывет бурая, бесцветная, тоскливая, покачивается... Споткнувшись, встряхивал носом... Эх, хорошо сейчас итти за телегой, положив руку на грядку, — минутку подремать, передвигая ноги!

Вот — опять! Съезжаются на краю степи малюсенькие всадники, и отту-

да — выстрелы, и пули посвистывают, как безвинные.

— Приободришься, товарищи, внимательно! Эй, в обозе, не спать!..

В обозе ехала Агриппина, жена его, раненная в руку. Там же за одной из телег шли Даша и Кузьма Кузьмич. Они так и остались тогда при полку. В ту ночь неожиданно обнаружилось, что в соседней красной кавалерийской дивизии несколько сотен перемахнули к белым, обнажив фронт и создав опасность окружения, и полку приказано было отступать.

★

В темноте начались протяжные крики. Обоз остановился. Даша сейчас же привалилась грудью к обочине телеги, положила голову на руки. Сквозь забытие она слышала, как подошел Иван Гора и негромко заговорил с Агриппиной, сидевшей в той же телеге...

— Покурить бы, с ног валюсь.

— Почему остановились?

— До пяти часов — отдых.

— Кто тебе сказал?

— Проезжал вестовой.

— Положи ко мне головушку, Ванюша, поспи.

— Ну да, поспи. Он тебе поспит. Ребята наши — как где стоял, там и повалился... Ты чего не спишь, Гапа, рука болит?

— Болит.

Телега слабо закрипела, — он привлек к себе Агриппину. Глубоко, как усталая лошадь, вздохнул.

— Вестовой говорит: ох, и силы у него переправляется через Дон под Калачом да под Нижне-Чирской. За полками идут попы с хоругвями, везут бочки с водкой. Казаки летят в атаки пьяные, чистые мясники...

— Поешь хлеба, Ванюша. На заре бой будет?

Он медленно начал жевать. С трудом глотая, неясно проговорил:

— Скоро скажут... Мы у самого Дона. Неподалеку здесь должен быть паром, казаки его на ту сторону угнали. Вот из-за этого остановка, пожалуй.

Телегу опять качнуло, — Иван Гора отвалился и ушел, тяжело толая. Все

затихло — и люди, и лошади. Даша дышала носом в рукав... Все бы, все отдала за такую минуту суровой ласки с любимым человеком. Завистливое, ревнивое сердце! О чем раньше думала? Чего ждала? Любимый, дорогой был рядом, — просмотрела, потеряла навек... Наверное, навек... Зови теперь, кричи: Иван Ильич, Ваня, Ванюша...

...Дашу разбудил Кузьма Кузьмич. Она лежала, уткнувшись под телегой. Слышались выстрелы. Занималась зеленая заря. Было так холодно, что Даша, стуча зубами, задыхалась на пальцы.

— Дарья Дмитриевна, берите сумку скорее, идем, раненые есть...

Выстрелы раздавались далеко внизу по реке, гулкие в утренней тишине. А здесь было тихо. Даша с трудом поднялась, она совсем отупела от короткого сна на холодной земле. Кузьма Кузьмич поправил на ней санитарную повязку, побежал вперед, вернулся:

— Переступайте, душенька, бодрее... Наши тут, неподалеку... Не слышите — где-то стонет? Нет?

Забегая, он отстаивался, вытягивал шею, всматривался. Даша не обращала внимания на его суетливость, только было противно, что он так трусит...

— Душенька, пригибайтесь, слышите — пульки посвистывают?

Все он выдумывал, — не стонали раненые, и пули не свистели. Свет зари разгорался. Впереди виднелась белая пелена, будто река вышла из берегов. Это над рекой и по голым прибрежным тальникам лежал густой, низкий осенний туман. В нем, как в молоке, по пояс стоял Иван Гора. Подальше — боец в высокой шапке и — другой и третий, видные по поясу. Они глядели на правый — высокий — берег Дона, куда не доходил туман. Там, за черными зарослями, поднималось в безветрии множество дымков.

Увидел их и Кузьма Кузьмич, — будто захлебнувшись от восторга, раскрыл глаза:

— Смотрите, смотрите, Дарья Дмитриевна, что делается! Это же грабить приехали за армией — сто тысяч телег... Это же Батый, кочевники, полов-

цы!.. Видите, видите — кони распряженные, телеги... Видите — у костров лежат — бородатые, с ножами за голенищами... Да глядите же, Дарья Дмитриевна, один раз в жизни такое приносится...

Даша не видела ни телег, ни коней, ни станичников, лежащих у костров... Все же ей стало жутко... Иван Гора обернулся и рукой показал им, чтобы присели в туман. Кузьма Кузьмич, будто впиваясь в страницу какой-то грандиозной повести, забормотал:

— Это показать бы да нашей интеллигенции. А? Это — сон нерассказанный... Вот тебе — конституции захотели! Русским народом управлять захотели... Ай, ай, ай... Побасенки про него складывали — и терпеливенький-то, и ленивенький-то, и богоносный-то... Ай, ай, ай... А он вон какой... По пояс в тумане стоит, грозен и умен, всю судьбу свою понимает, очи вперил в полвецкие полчища... Тут такие силища подпоясались, натянули рукавицы, — ни в одной истории еще не написано...

Внезапно оборвалась вдалеке ружейная и пулеметная стрельба. Кузьма Кузьмич споткнулся на полуслове. Стоящий впереди Иван Гора повернул голову. Ниже по реке раздался два глухих взрыва, и сейчас же там начало разливаться в тумане мутное пунцовое зарево. Донеслись отдаленные крики и — снова зачастили выстрелы, как злая барабанная дробь.

— Ей-богу, паром подожгли наши на том берегу, — Кузьма Кузьмич высовывал голову из тумана, — ох, резня там сейчас, ох, резня!

Иван Гора и цепь его бойцов, нагнувшись, побежали к берегу и скрылись в зарослях. Заря широко полыхала над степью. Туман, редая, шевелился и рвался между голыми ветками тальника. Там, под берегом, под покровом тумана, на реке внезапно раздался такие страшные крики, что Даша прижала кулаки к ушам, Кузьма Кузьмич лег ничком.

Удары, лязг, выстрелы, вопли, плеск воды, разрывы ручных гранат.

Затем из зарослей появился Иван Гора. Он шел, заглатывая воздух, тя-

жело отдуваясь. На голове его не было фуражки, зато в руке он нес два казацких картуза с красными околышами. Подойдя к Даше, сказал:

— Пришло носилки, а вы бегите к воде, — перевязать надо двоих товарищей...

Он взглянул на картузы, один из них бросил, другой порывисто надвинул на лоб.

— Обойти нас хотели, сволочи, на лодках... Идите, не бойтесь, там всех кончили...

5

Шумели берега Дона между станицами Нижне-Чирской и Калачом, — по трем плувучим мостам, на паромах и лодках переправлялись конные и пешие полки Всевеликого Войска Донского. В походном строю шли конные сотни в новых мундирах, в заломленных бескозырках с выпущенными, по обычаю, на лоб чубиками, воспетыми в песнях. Пестрели флажки на пиках, брызгала меж мостовыми досками вода из-под копыт молодых коней, боязливо косившихся на мутный Дон.

Плыли поперек реки длинные лодки, нагруженные пехотинцами — безбородой молодежью; разинув рты, озирались они на невиданное скопление казаков, коней, телег; выпрыгивали из лодок в воду, карабкались на обрывистый берег, строились — ружье к ноге, — срывали шапки; дьякона со взвезающимися космами звероподобно ревели, звякая кадилами, протопопы, подобные золотым колоколам в ризах с пышными розами, крестами благословляли воинство.

На кургане — впереди полковников и конвойцев — стоял под своим знаменем командующий, генерал Мамонтов, наблюдая за переправой. Он был хорошо виден всем, как влитой, в походном казацком черном бешмете, на серебристом коне, царапающем копытом курган. Войска проходили с песнями, гремели литавры, в воздух подлетали конские хвосты бунчуков. На востоке бурой степи, заволоченной пылью идущих войск, перекатывался пушечный гром.

Командующий, подняв руку с вися-

щей нагайкой, заслонился от солнца, глядя, как плыли аэропланы со слегка откинутыми назад крыльями, он сосчитал их и следил, покуда они, снижаясь, не ушли за горизонт. Мимо кургана прошли только-что сгруженные с парохода тяжелые гаубицы, их щиты и стволы были размалеваны изломанными линиями, упряжки разномастных, тяжелоногих, низких, косматых лошадей проскакали тяжелым галопом, бородатые ездовые, лихачествуя, били их плетями. Еще не осела пыль — пошли танки, огромные, из клепаных листов, с задранными носами гусеничных передач. Он сосчитал их — десять стальных чудовищ, чтобы давить красную сволочь на улицах Царицына. Он рысью съехал с кургана и поскакал вдоль берега, знаменосец, — за ним на полкорпуса позади, — осеняя его треплющимся черно-синим знаменем.

Подходили и грузились в лодки новые войска, плыли паромы с возами сена и всякого войскового добра. Близ переправ стояли телеги, брички, большие фуры, на которых возят снопы с поля. Около них спокойно постаивали в ожидании переправы, похаживали почтенные казаки, иные закусывали, сидя у костров. Это были посланные станицами к своим частям — сотням и полкам — торговые казаки. Они вели хозяйство, брали добычу — будь то деньги, скот, хлеб, фураж, или всякие нужные вещи — одежда, одеяла, тюфяки-перины, зеркала, оружие; из этой добычи снабжали свои сотни фуражом и довольствием, если надобно — одеждой и оружием, а все остальное переписывали, укладывали на воза и с поростками или с бабами отправляли в станицы.

Мамонтов проехал хутор Рычков, где половина дворов была сожжена и гумна чернели от пепла, и свернул вдоль железнодорожного полотна, дожидаясь, когда с правой стороны Дона подойдет бронепоезд.

★

Донская армия, численностью в двенадцать конных и восемь пехотных ди-

визий, наступала пятью колоннами: первая шла на Камышин, отрезая северные части Десятой армии; вторая колонна двигалась вдоль Московской железной дороги, направляя удар на узловую станцию Гумрак, где стыкались две, окружающие Царицын железнодорожные ветки, по которым оперировали красные бронепоезда; третья и четвертая колонны, переправлявшиеся под Калачом и Нижне-Чирской, — цвет казачьего войска, — наносили удар с запада на восток, в лоб, на станцию Воропоново; пятая колонна под командой генерала Денисова, подходила с юго-запада к Сарепте, отрезая от Царицына все части, расположенные в районе Сальских степей.

Все пять колонн двигались стремительным маршем к последней черте оборонных укреплений Царицына. Десятая Красная армия, потерявшая связь с северными и южными частями, отступала, уплотняясь на все более сужающемся фронте. Ее пять дивизий малого состава, — в каждой не более трех-четыре тысяч бойцов, — не успевшие поглотиться и отдохнуть после августовских боев, расходовали последние пули и последние силы.

Высший Военный Совет Республики, который должен был оказать в эти дни решительную помощь, двинув с севера под Царицын Девятую армию, не оказал этой помощи: Военный Совет Республики был парализован тайным, хорошо замаскированным предательством, — оно выражалось в крайней медлительности всех движений и в том, что царицынские дела истолковывались, как второстепенные, ничего не решающие, а настроение царицынского Военного совета — паническим.

Царицыну было предоставлено отбиваться от казаков своими силами. На все телеграммы в Москву о неминуемой катастрофе, если немедленно не будет оказана помощь огнеприпасами и людьми, председатель Военного совета Республики отвечал успокоительно и неопределенно. Батареи Мамонтова и Денисова вспахивали наскоро вырытые окопы, где редущие цепи красных, жа-

лея патроны, ждали штыковых атак. Морские орудия, привезенные из Новороссийска, громили станцию за станцией, взрывая на воздух целые эшелоны. Казачьи лавы, сменяя одна другую, кидались с такой дикой яростью в кровавую сечу, что пять красных дивизий, к середине октября, пятась, отбиваясь, устилая трупами степь, были прижаты к последнему рубежу, полукольцу — Гумрак, Воропоново, Сарепта.

В эти дни Военсовет Десятой отдал два приказа: первый — угнать из Царицына на север все пароходы, баржи, лодки и паромы, дабы не было и мысли об отступлении войск на левый берег Волги, и — второй — по армии: с занимаемых позиций не отступать до распоряжения; отступившие подлежат расстрелу.

★

На батарее Телегина первая половина дня прошла спокойно. Грохотало где-то за горизонтом, но равнина была безлюдна. Моряки копали убежище. Анисья, никого не спрашивая, ушла на станцию и часа через три вернулась с двумя мешками, — сдва донесла: хлебушко и арбузы. Постелила опростанные мешки на земле между пушками, нарезала хлеб, разрежала каждый арбуз на четыре части: «Ешьте!». И сама стала в стороне, скромная, удовлетворенная, глядя, как голодные моряки уписывают арбузы. — по щечкам течет. Моряки ели, похваливали:

— Ай да Анисья!

— Дорогого стоит такую найти.

— Моря объездишь...

Степенный и ревнивый ко всякому разговору, Шарыгин сказал:

— С инициативой она, вот что дорого. — Моряки, подняв головы от арбузных ломтей, враз захохотали. Он нахмурился, встал, взял лопату. — Предлагаю, товарищи, вырыть для Анисьи отдельное убежище, таких товарищей надо беречь, товарищи...

Моряки отселились и вырыли позади батареи в овражке небольшой окопчик для Анисьи, — отсиживаться на случай обстрела. Делать больше было не-

чего. Сотня снарядов, выгруженных с парохода, рядками уложена около пушек. Винтовки смазаны. Сапожков наладил связь с командным пунктом дивизиона. Моряки разлеглись в котловане, на солнце. Теперь: жалуй к нам, генерал Мамонтов!

Иван Ильич сидел на лафете, вертел, поламывая, сухой стебель. Иван Ильич не размахиваясь на какие-нибудь большие рассуждения, ему дорог был этот маленький мирок людей, сошедшихся из разных концов земли, не похожих друг на друга и так дружно соединивших судьбы свои. Вон — Сергей Сергеевич, уж, кажется, никаким клеєм его ни с кем не склеишь, вечно ошестинен всеми мыслями, — сразу всем стал нужен, сразу обжился, устроился у колеса, чтобы не беспокоила больная рука, и посапывает. Шарыгин, — честолюбец, парень не большого ума, но упорный, с ясной душой без светотени, — тихо спит на боку, подсунув кулак под щеку. Задуйвитер вельможно раскинулся на песке, подставив солнцу грубо сделанное, красивое лицо: мужик хитрый, смелый, расчетливый даже в бешеной злобе, — жив будет, вернется домой хозяином. Другой богатырь, из керженских лесов, Латугин, могуче всхрапывает, прикрыв лицо безкозыркой, — этот много сложнее, без хитрости, — она ему ни к чему, — он еще сам не знает, в какое небо карабкается с наганом и ручной гранатой...

Двенадцать человек вверили Ивану Ильичу свою жизнь. Военсовет поручил ему батарею в такой ответственный момент... Правда, он кое-что смыслил в математике, но, все же, следовало твердо заявить, что батареей он командовать не должен...

— Послушай, Гагин, кто-нибудь из вас умеет вычислять эти самые углы прицела? Дальномера-то у нас нет...

Гагин, стоявший на приступке, откуда через бруствер глядел в степь, обернулся.

— Дальномер? — мрачно переспросил он и уставился на Телегина черным взором. — А зачем тебе дальномер? Угол, прицел нам по телефону скажут с командного пункта.

— Ага, правильно...

— Углы, прицелы, дистанционные трубки — это мы все умеем, не в этом дело, товарищ Телегин... Бой будет страшный, без дальномеров, на злость... Кишки на руку наматывай, а бей до последнего снаряда, вот о чем думай... Иди-ка сюда, я тебе покажу.

Телегин взобрался к нему на приступку. Артиллерийская канонада усилилась, как будто приблизилась, горизонт на западе и на юге заволокло дымной мглой. Следя за пальцем Гагина, он различал на равнине ползущие с севера кучки людей и вереницы телег.

— Наши бегут, — сказал Гагин и кивнул на огромный дым, поднимающийся грибом на юге в стороне Сарепты. — Я давно гляжу: по этому курсу тысячи, тысячи пробежали... Разрывы видишь? А давеча их не было. Из тяжелых он бьет. Наутро жди сюда генерала.

Иван Ильич еще раз осмотрел хозяйство батареи. Пересчитал снаряды, патроны, — их приходилось всего по две обоймы на винтовку. Его особенно тревожило, что батарея была оголена. Саженях в двухстах отсюда виднелись свежескопанные окопчики, но в них не замечалось никакого движения, — части красных войск проходили гораздо дальше. Он присел около Сапожкова, — лицо у него было сморщенное, страдающее, будто сон для него тоже не был легок.

— Сергей Сергеевич, извини, я тебя потревожу... Свяжи меня с командиром дивизиона...

Сапожков медленно открыл мутные глаза:

— Зачем? Указания даны точные — не стрелять. Когда надо, скажут... Чего ты волнуешься? — Он подтянулся к колесу, зевнул, но явно притворно. — Лег бы, выспался — самое знаменитое.

Иван Ильич вернулся на приступку и долго стоял неподвижно, положив руки на бруствер. Огромное холодное солнце садилось во мглу, поднятую где-то за горизонтом копытами бесчисленных казачьих полков. Ночная тень на двигалась на равнину, — больше уже

нельзя было различить на ней движенье войск. Ниже колюче замигавшей звезды небо в закате стало прикидываться фантастической страной у безбурного моря, там строились китайские башни, одна отделилась и поплыла, превратилась в коня с двумя головами, стала женщиной и заломила в отчаянии руки, склоняясь над зеленой лагуной...

Казалось: только вылезти из котлована — и, перебирая ногами, как бывает во сне, долетишь до этой дивной страны. Для чего же нибудь она показывается, что-нибудь она значит для тебя в час смертного боя?..

— Эх, черная галка, сизая полянка, — сказал Сергей Сергеевич, положив ему руку на спину, — это же чистый идеализм, Ванька, пялить глаза на картинки... Махорочки свернем? В госпитале украл пачку, берегу — покурить перед смертью...

Он, как всегда, говорил насмешливо, хотя в горьких морщинах у рта, в свежих глазах затаилась тоска. Свернули, закурили: Телегин — не затягиваясь, Сапожков — вдыхая дым со всхлипом.

— Ты, что похоронную-то запел? — тихо спросил Телегин.

— Смерти стал бояться... Пули в голову боюсь, в другое место — не убьет, а в голову боюсь. Голова — не мишень, для другого сделана. Мыслей своих жалко...

— Все мы боимся, Сергей Сергеевич, — думать об этом только не следует...

— А ты когда-нибудь интересовался моими мыслями? Сапожков — анархист и спирт хлещет, — вот что ты знаешь... Тебя я, как стеклянного, вижу до последней извилинки, от тебя живым людям я передам записочку, а ты от меня записочки не передашь... И это очень жаль... Эх, завидую я тебе, Ванька.

— Чего же, собственно, мне завидовать?

— Ты — на ладошке: долг, преданная любовь и самокритика. Честнейший служака и добрейший парень. И жена тебя будет обожать, когда пере-

бесится. И потому еще тебе жизнь легка, что ты старомодный тип...

— Вот, спасибо за аттестацию.

— А я, Ванька, жалею, что тогда летом Гымза меня не расстрелял... Революции ждали, дрожа от нетерпения... Вышвырнули в мир кучу идей, — вот он — золотой век философии, высшей свободы! И — катастрофа, катастрофа самая ужасная, распротак твою раз-эдак...

Он так шлепнул себя ладонью по глазам, что фуражка съехала на затылок...

— Хотел по этому поводу сделать сообщение человечеству, — никак не меньшей аудитории, — сообщение исключительно злое, и не для пользы, — к чорту ее, — а для зла... Но рукописи нет, не написал еще... Извиняюсь...

Было уже темно. По горизонту разгорались пожары, дымно-багровые зарева вскидывались все выше и шире, в особенности на юге, в стороне Сарепты. Горели хутора, освещая путь быстро наступающему врагу. Телегин слушал теперь одним ухом, — далеко, прямо на западе, как будто змеи высовывали светящиеся головы из-за горизонта, поднимались зеленые ракеты по три враз.

Сергей Сергеевич, упрямо не желая замечать всей этой иллюминации, говорил высоким вздрагивающим голосом, от которого Ивана Ильича нетнет да продирали мурашки.

— Или человек — только мыслящий зверь, и мы живем для того, чтобы есть? Тогда пускай пуля разmozжит мне башку, и мой мозг, который я совершенно ошибочно считал равновеликим всей вселенной, разлетится, как пухырь из мыльной пены... Русские люди чорт знает до чего могут договориться!.. Жизнь, видишь ли, это цикл углерода, плюс цикл азота, плюс еще какой-то дряни... Из молекул простых создаются сложные, очень сложные, затем — ужасно сложные... Затем — крак! Углерод, азот и прочая дрянь начинают распадаться до простейшего состояния. И все. И все, Ванька... При чем же тут революция?

— Что ты несешь, Сергей Сергеевич? Революция, именно, и поднимает человека над обыденщиной...

— Оставь меня в покое! Да я и не с тобой разговариваю, много ты понимаешь в революции. Она кончена... Она раздавлена, — гляди вперед носа... Советская Россия — в пределах до Ивана Грозного... Скоро все дороги будут белы от костей... И будет торжествовать мыслящий зверь... Будут циклы углерода и азота, — вот те самые, что придут сюда утром на конях...

Телегин молчал, стоя прямо, руки за спиной. В темноте трудно было разглядеть его лицо, красноватое от зарева.

— Ты можешь меня расстрелять, но с батареей я не уйду, — сказал Сапожков, понизив голос. — Иван... Жить стоит только ради фантастического будущего, великой и окончательной свободы, когда каждому человеку никто и ничто не мешает сознавать себя равновеликим всей вселенной... Сколько вечеров мы разговаривали об этом с моими ребятами. Звезды были над нами те же, что при великом Гомере. Костры горели те же, что освещали путь сквозь тысячелетия. Ребята слушали о будущем и верили мне, в глазах их отсвечивали звезды, и на боевых штыках отсвечивал огонь костров... Они все лежат в степях... Мой полк я не привел к победе... Значит, обманул!

Справа, шагах в полтораста, послышался сторожевой окрик и затем негромкий разговор. Телегин обернулся, всматриваясь, — должно быть, к Гагину, стоящему с той стороны в охране, кто-то подошел из своих.

— Иван, а если это будущее — только волшебная сказка, рассказанная в российских глухих степях? Если оно не состоится? Если так, — тогда в мир входит ужас... Он уже пришел, — никто еще по-настоящему не верит этому. Четыре года истребления человечества — это пустяки перед тем, что готовится. Ужас только примеряется к силе сопротивления... Ужас — это не какие-нибудь персональные господа с бульдожьими глазами... Личностей больше нет, ничего человеческого больше нет, числа — и только... Числа, ко-

торые рождаются в недрах верховной касты — Черного Интернационала... У них вся программа вычислена, выверена и переведена на фунты стерлингов: регистрация человечества, каждому — жестянка с номером... Живи, чтобы есть, или умри... Разум, гений, мечта, закаты с плывущими женщинами, вера и гнев — изымаются из жизни... На оборотной стороне жестянки это напечатано... Так уж лучше я погибну от горячего удара казацкой шашки...

В котлован спустился Гагин вместе с каким-то высоким сутуловатым военным. Телегин несказанно обрадовался — кончить наконец невыносимо тяжелый разговор. Высокий, сутуловатый человек, весь облепленный грязью, с оторванной полой шинели и, почему-то, в казацком картузе, сказал так густо, точно он неделю просидел по шею в болоте:

— Здорово, товарищ командир, ну, как у вас дела, снаряды-то имеются?

— Здорово, — ответил Телегин, — а вы кто такие?

— Качалинского полка — рота, приказано перед вами занять позицию. Я командир.

— Очень приятно. А я тревожился, — окопчики-то вырыты, а охраны-то у нас нет...

— Вот мы их и заняли. Мы тут раненых привезли, грузим в эшелон. У коменданта хлеба хотел попросить, говорит — весь, утром будет... Легко сказать — утром, — рота третий день не ела... У вас-то нет? Хоть по кусочку, запах-то его услышать... Завтра бы отдали... А то можем коровенку вам подарить, уж очень тощая только.

— Иван Ильич... — Телегин обернулся, Анисья, как тень, подошла и слушала... — Хлебушка я на три дня запаса, — можно им дать... Завтра опять достану...

Телегин усмехнулся: «Хорошо, выдайте товарищу ротному четыре каравай». Ротный не ждал, что так легко дадут ему хлеб. «Ну? — спросил. — Вот, спасибо». И, взяв принесенные Анисьей караваи — плотно под обе руки, засовестился сразу уйти с ними. Подошли моряки, поживаясь со сна и разглядыв-

вая такого запачканного и ободранного человека. Он стал им говорить про подвиги полка, десять дней выходявшего из окружения, не потерявшего ни одного орудия, ни одной телеги с ранеными, но рассказывал до того отрывочно и неясно, что кое-кто из моряков, махнув рукой, отошел.

Латугин сказал, холодно глядя на него:

— Ты выпишься, тогда расскажешь... А вот не знаешь ли, почему там яркое освещение? — И он протянул ладонь в сторону Сарепты.

— Знаю, — ответил Иван Гора, — на вокзале я встретил одного человека оттуда... Генерал Денисов штурмует Сарепту и пониже ее село Чапурники. Говорит — в германскую войну такого огня не было, артиллерия начисто метет, Казачьи лавы напускают из оврагов, ну, — ужас, — пьяные, аж бороды у них в пене... Ну, такое крошево, — живых не берут... От Морозовской дивизии половина осталась. А он — видишь ты — к Волге жмет, чтоб ему промеш Сарептой и Чапурниками к Волге выскокить, — тогда аминь!

Он кивнул морякам и полез из котлована, Телегин спросил его:

— Кто у вас командует полком?

Иван Гора ответил уже из темноты:

— Мельшин Петр Николаевич...

6

Под натиском пятой колонны всю ночь и следующий день Морозовская дивизия медленно отступала к Сарепте и к приозерному селу Чапурники. Сотни трупов лежали на равнине между оставленными линиями полевых укреплений. Раненые, кто мог еще держаться, перебивая триплицей руку, ногу, обмотав голову, возвращались в бой. Генерал Денисов не давал красным перевести дыхания. За каждой отбитой атакой немедленно начиналась новая. Над окопами лопалась и визжала шрапнель; землю сотрясали взрывы, бойцов заваливало вихрями земли. Смолкали казачьи пушки. Бойцы высовывали из окопа лица, искаженные злобой, болью, вымазанные кровью...

Из-за холмов, из оврагов появлялись густые кучи всадников, на скаку раскидывались лавой, — пыль у них курилась под копытами... Крутя клинками, визжали они по древнему татарскому обычаю, наводя ужас. Дрогну тут, побеги хоть один боец в ужасе перед налетающей лавой рыжих грудастых коней и черных всадников, вытянувшихся над гривами в стремительном движении, — поскорее напоить горячей кровью клинок, — цепь бойцов сбита, зарублена, затоптана... Не успевало сердце отсчитать несколько ударов, уже лава — вот она. Из окопа выскакивал командир, припав на колено, разевал черный рот: «Огонь». Несколько коней взвизвалось, опрокидываясь вместе со всадниками, и казачья лава круто раскакивалась вправо и влево, — всадники, припав к гривам, мчались назад...

Тогда на опустевшей равнине поднимались залегшие цепи пластунов и, — перебежками и — подконец — уставя штыки, — в полный рост кидались на окопы.

Фланги морозовцев, прижатые к садам Сарепты и к гумнам села Чапурники, держались стойко, но центр прогибался к Волге, — так же неумолимо, как разгибаются мускулы руки, когда навалившаяся тяжесть свыше силы. Начдив, вместе с комиссаром, адъютантом и вестовыми, сидевшими на корточках у поваленных верховых лошадей, находился здесь же, в центре, на передовых линиях. Дело было ясное: каждый боец знал, что нужно выполнить приказ Военсовета, настойчиво повторенный сегодня дважды: держать фронт до последней крови. Для того и перенес начдив свой штаб в этот ад, чтобы разделить с бойцами участь.

Убитых и раненых он замещал все более жидкими пополнениями, снимаемыми с флангов. Но резервов он не требовал у командарма: в Царицыне взять больше было нечего.

Там сегодня утром на главной линии обороны случилось несчастье: два полка, Первый и Второй Крестьянский, мобилизованные по хуторам и ближним селам, неожиданно вылезли из окопов и, подняв над головами винтовки, пошли:

сдаваться в плен белым. Чорт их разберет, как произошла эта чепуха! В штабе Первого полка несколько командиров, собравшись у походной кухни, окружили полкового комиссара и коммунистов и в упор расстреляли их. Кинулись по ротам, крича: «Измена, спасайся!». В тот же час и во Втором полку были застрелены командир, комиссар и несколько коммунистов, — точно так же там были расставлены повсюду свои люди. Только две роты не поддались провокации и открыли огонь по изменникам, бегущим в плен с белыми флагами. Цепи пластунов, издали увидев эти толпы, приняли их за атакующих и, в свою очередь, открыли отчаянную стрельбу по ним, а затем и артиллерия белых вмешалась в эту кашу. Остатки двух полков, заметавшись, бросая оружие, повернули назад. Их окружили и увели. Фронт почти на пять верст оказался открытым.

В Царицыне тревожно заревели гудки на оружейном, механическом и всех лесопильных заводах. Коммунисты, посланные Военсоветом, не собирали митингов, — обходя цеха, они говорили:

— Товарищи, бросайте работу, берите оружие, спасай фронт.

Рабочие — а на заводах оставались пожилые, калеченые да подростки — бросали работу, прятали инструменты, останавливали станки, гасили горны и бежали в пакгаузы, где хранилось их именное оружие. За воротами строились и шли на вокзал.

Из окраинных домишек выбегали жены и матери, совали им в руки узелки с едой, и много женщин шло за нестройно и сурово шагающими отрядами до вокзала, и многие провожали дальше, до самых позиций. И там матери и жены долго еще стояли на буграх, пока не подъехал командарм и, прикладывая руку к душе, жалостно просил итти домой, потому что здесь они не нужны и даже мешают, — изображая собой на буграх отлично различимую цепь для наводчиков мамонтовской артиллерии.

Еще до конца дня три тысячи царицынских рабочих заслонили прорыв на фронте, куда уже начали вливаться белые, и с тяжелыми для себя потерями отбросили их.

Это было в часы, когда Морозовская дивизия выдерживала небывалый по отчаянности натиск кавалерии и пехоты. Центр дивизии был оттеснен почти к самой Волге. Снаряды уже рвались на улицах Сарепты. Татарское село Чапурники занялось, и пламя гуляло по соловьиным крышам, горели камыши по обоим берегам плоского степного озера. Раненные металась в огне.

На этот раз положение было спасено жестокой, молчаливой, обреченной атакой конного полка дивизии. Белые отхлынули и залегли, как волки вокруг затравленного оленя, что стоит еще, грозно опустив рога.

Начдив оглядывал в бинокль равнину. Солнце было уже на ущербе. Он видел, как съезжались и разъезжались казачьи сотни, перестраиваясь открыто и нагло. Опытным глазом он определил по бойкости коней, что это свежие части, готовившиеся к последней атаке. Видимо, к закату солнца уже вся Морозовская дивизия пойдет суровым маршем по полям истории во главе со своим начдивом.

Он опустил бинокль, вынул почерневшую трубочку, неспеша насыпал в нее щепоть саратовской махорки, стал искать спичек, хлопая себя по карманам шинели. Спичек не было, — вот это досада! Он поглядел направо и налево, — в нескольких шагах впереди него лежали перед накиданными кучками земли бойцы: у одного расплывалось на боку по суконной рубашке черное пятно, другой хрипел, как дурной, трясь щекой о ложе винтовки.

Начдив осторожно бросил трубочку на землю, она закатилась в полынью. Снова взялся за бинокль. И руки его невольно задрожали...

На юго-западе были видны новые огромные скопления конницы... Она откуда-то взялась, пока он набивал трубочку... Много тысяч всадников выезжало из-за холмов, поднимая пыль, озаренную косым солнцем. Этакая силаща одним махом сомнет и потопчет! Начдив на мгновение оторвался от бинокля... В окопах все замерло, все наступоржилось, бойцы поднялись, стоя во весь рост, сжимая винтовки. Начдив не

успел раскрыть и рта, чтобы сказать им горячее слово, — издали докатился грохот орудий. Начдив снова прилип к биноклю. Что за чертовщина! Десятка два разрывов взметнулось на равнине вблизи съезжающих казачьих сотен... Казачьи сотни на рысях быстро разворачивались в лаву, — в ее гуще плеснуло атаманское знамя. Казаки поворачивали навстречу этим мчавшимся с холмов конным массам... Плотная казачья лава, ошетиленная пиками, пятилась, строилась и враз послала коней, — две лавы, эта и та, с холмов, сближались и сошлись... Огромная туча пыли встала над этим местом...

Начдив повел биноклем ближе и увидел, как панически поднимаются залегшие цепи пластунов...

«Эге, — сказал сам себе начдив, — значит, вот почему предвоенсовета так нажимал по телефону, чтоб нам держаться до последней крови... Так то ж подошла Стальная дивизия Дмитрия Шелеста...».

Вслед за конницей, налетевшей на казаков, поднялись из-за холмов густые ряды стрелковых цепей Стальной дивизии. А дальше, на самом горизонте, уже виднелись сквозь пыль — верблюды, телеги, толпы народа. Это были огромные обозы дивизии, тащившей за собой, как вскоре выяснилось, десятки тысяч пудов пшеницы, бочки со спиртом, сотни беженцев, стада коров и овец...

★

Много казаков легло в этом бою. Разбитая конница ушла на запад, пехота, заметавшись между цепями Стальной дивизии и морозовцами, частью была побита, частью сдалась. Когда все кончилось, — а бой длился около часу, — начдив сел на коня и шагом поехал по равнине, усеянной павшими людьми и конями. Еще кое-где дымилась земля и стонали неподобранные раненные. Навстречу начдиву выехала группа всадников. Передний из них, одетый по-кубански, с гозырями, с большим кинжалом на животе и башлыком за плечами, загорячил вороного коня, подскакал к начдиву и, осадив, сказал резким, повелительным голосом:

— Бывайте здоровы, товарищ, с кем я говорю?

— Вы говорите с начальником Морозовско-Донской дивизии, зовут меня Ефим Афанасьевич Щаденко, здравствуйте, товарищ, а вы кто будете?

— Кто буду я? — усмехаясь, ответил всадник. — Вглядиись. Буду я тот самый, кого главком Одиннадцатой объявил вне закона и хотел расстрелять в Невинномысской, а я — видишь — пришел в Царицын, да, кажется, во-время...

Начдиву не слишком понравилась такая длинная и хвастливая речь, нахмурился, он сказал:

— Значит, вы будете Дмитрий Шелест...

— Так будто меня звали с детства. Ну, здорово.

— Здорово...

— Укажи — где мне поговорить по телефону?

— Я говорил только-что с Военсоветом. Ему уже все известно

Дмитрий Шелест усмехнулся:

— Ну, а теперь я хочу говорить с Военсоветом.

Они повернули коней и рысью пошли в сторону Сарепты...

7

Тогда же, поздно вечером, Иван Ильич послал полковнику Мельшину записку: «Петр Николаевич, я здесь, очень хочу тебя видеть...». Мельшин ответил с тем же посланным: «Очень рад, управляюсь — приду, много есть чего порассказать... Между прочим здесь...».

Но карандаш ли у него сломался, или писал впотьмах, только Иван Ильич не разобрал последних слов, хотя и сжег несколько спичек...

Мельшин так и не пришел. После полудни степь начала освещаться ракетами. На батарее был получен приказ — приготовиться.

— Ну вот, товарищи, надо считать, что начинается, — сказал Иван Ильич команде. — Значит, давайте стараться, чтобы уж ни один снаряд не разорвался даром... И еще, значит, вам известен приказ командарма, чтоб без особого распоряжения ни на шаг не отступать. В бою всякое бывает, значит... («Вот

чорт,—подумал,—что ко мне привязалось это «значит».) В пятнадцатом году у нас в тылу ставили пулеметы, генералы не надеялись, что мужичок всю кровь отдаст за царя-батюшку... Хотя, надо сказать, уж как, бывало, в окопах честят Николашку, а Россия-то все-таки своя... И страшнее русских штыковых атак ничего в ту войну не было...

— Командир, ты чего нам поешь-то?—вдруг грубо, сипло спросил Латугин.—К чему? Ну?

Иван Ильич,—будто не услышав это:

— Нынче за нашей спиной пулеметов нет... Страшнее смерти для каждого из нас—продать революцию, значит — чтоб своя шкура оставалась без дырок... Вот как надо понимать приказ командарма: он не запугивает, а напоминает: в решающий час следи за собой и своим товарищем, чтобы не ослабеть, когда земля под тобой закипит... Говорят — есть люди без страха, пустое это... Страх живет, головочку поднимает, чтобы затомить тебя, а ты ему головочку сверни... Позор сильнее страха... А говорю я к тому, товарищ Латугин, что у нас есть товарищи, еще не испытывшие себя в серьезных боях... И есть товарищи с большими нервами... Им я говорю: бой — вещь серьезная. Бывает — самый опытный человек вдруг растерялся... Так вот, если я, командир, ослабел, скажем, пошел с батареей, — приказываю застрелить меня на месте... И я со своей стороны застрелю такого, значит... Ну, вот и все... Курить до света запрещаю...

Он опять кашлянул и некоторое время шагал позади орудий. Хотел сказать много, а как-то не вышло...

— Разговаривать не запрещаю, товарищи... Связист у нас на месте...

— Товарищ Телегин,—позвал опять Латугин, и Иван Ильич подошел к нему, заложив за спину руки.—Вот еще до военной службы походил я по людям... Батяка мой крестьянствовал, да в девятьсот шестом его убили стражники, мать — у чиновника в кухарках, а я — гол и бос, и неуживчив — и на пристанях грузчиком, и по купцам дрова рубил, нужники чистил, у архиерея был конюхом, да поругался с его преосвя-

щенством, из-за пустых шей... С ворами одно время связался... Всего видел, ох, и дурак же был, драчун, бивали меня пьяного, мало сказать, что до полусмерти...

— Из-за баб, надо понимать,—сказал Байков, и слабый свет далеко лопнувшей ракеты осветил его мелкие зубы в густой бороде...

— Из-за баб тоже бивали... Не к тому речь. А вот к чему: ты, товарищ Телегин, нам не то сказал,—вокруг да около, а не самую суть... Революционный долг, — ну что ж, правильно. А вот почему долг этот мы на себя приняли добровольно? Вот ты на это ответь. Не можешь? Другую пищу ел. А нас в трех щелоках вываривали, душу из нас вытряхивали — уж, кажется, ни одно животное такого безобразия не вытерпит... А ты с малых лет в сапожках ходил, — не поймешь. Да ты бы на нашем месте давно, как мерин, губу повесил и тянул хомут. Постой, не обижайся, мы разговариваем по-человечески. Почему моя мать — у чиновника в кухарках? Чем она хуже королевы греческой?

— Эй, загнул!—опять перебил Байков. — В тринадцатом году мы королеву греческую видали в Афинах, чего ж ты ее вспомнил, баба нестоящая...

— Почему мой батяка жил, как свинья, и пришибли его в поле да еще плюнули? Почему звание мое — сукин сын?

— Так не годится, — проговорил Шарыгин, приподнимаясь с колен, — сидел он на своем месте у снарядов. — Латугин, неорганизованный разговор ведешь. При чем тут — сукин сын, при чем — королева греческая? Это все надстройка. А суть в классовой борьбе. Ты должен себя определить четко — кто ты: пролетарий или ты деклассированный элемент...

— А ну тебя к чорту! Я царь природы, — крикнул ему Латугин. — Понятно это тебе, или ты еще молод?.. Прочел я одну книжку, там сказано: человек — царь природы. У меня в груди вся кровь спеклась... Вот отчего стою у этого орудия. Вот почему страшны были русские штыковые атаки. Жив в

нас царь природы. Трясли и вытрясти не могли... Долг, долг, страх, страх! Я в господа бога тарарахну сегодня очередь, не то что по генералу Мамонтову, — вот тебе надстройка! Зубами хрящи буду перегрызать...

— Тихо, товарищи! — крикнул из темноты прикрытия Сергей Сергеевич, сидевший у полевого телефона. — Сообщаю: под Сарептой у нас большой успех. Разбиты два полка кавалерии и полк пластунов, полторы тысячи убитых, восемьсот пленных...

★

Слух об успехе под Сарептой облетел фронт. Одна из частей Десятой армии, отрезанная наступлением пятой колонны, — конная бригада Буденного, — пробивалась в то время из Сальских степей на Царицын. Поход был тяжелый: и люди, и кони притомились. А когда на одном из полустанков нечаянно — как это часто бывало — удалось соединиться по телефону со штабом морозовцев и чей-то веселый голос, пересыпая речь крепкой солью приговорок, гаркнул в трубку: «Так что ж вы спите, не знаете, что под Сарептой изрубили в собачье крошево две кавалерийских дивизии гадов, приходите пленных считать...», — услышав про такое знаменитое дело, хотя бы даже и сильно преувеличенное, бригада оставила под охраной свои обозы и стоверстным маршем пошла на север — навстречу гадам генерала Денисова.

Но успех под Сарептой все же был местный, и на главных царицынских позициях не стало от этого легче, а стало труднее. Мамонтов со всей быстротой учел счастливый случай с двумя крестьянскими полками, в ночь перестроил штурмовые колонны и с зарей все напряжение атак перенес на этот наиболее уязвимый пятиверстный участок фронта, жидко заслоненный рабочими дружинами.

Равнину, по которой наступал цвет Донского войска, прорезали с запада на восток два огромных глубоких оврага, — они пересекали фронт и тянулись до самого города. По ним-то казачья конница стала подбираться вплот-

ную к красным окопам. Вся равнина, как муравейниками, была покрыта кучечками земли ползущей пехоты. Перед нею взад и вперед слепыми гусеницами ползали огромные танки. Аэропланы кружились над батареями, над вереницами обозов, тянувшихся по степи из Царицына и в Царицын, сбрасывали небольшие грушевидные бомбы, рвущиеся с ужасающей силой.

Бронепоезд Мамонтова дымил на горизонте. Справа и слева от него вся степь наполнилась телегами станичников. Теснясь ось к оси, они двигались вплотную за войсками. Торговым казакам уже был виден город с куполами, фабричными трубами и дымами пожаров на окраинах. Ох, и глаза ж горели под насупленными бровями у этих дымом, салом и дегтем пропахших людей.

Над степью, надавливая воздух, суюкая и попевая, неслись снаряды и с грохотом опоясывали красные укрепления взметающимися и падающими фонтанами черной земли. Из глубоких оврагов с визгом выносилась конница и, не глядя ни на что, шла через проволоки и окопы с такой пьяной яростью, что иного казака уже шлепнула пуля и в глазах — смертная тьма, а он все еще на скаку режет воздух шашкой, покуда не завалится в седле и, вскинув руки, будто от бешеного смеха, покатится с шарахнувшегося коня.

Пехотные цепи, подползая, кидались вперед. У красных окопов мешались в схватке конные и пешие. Мамонтов в этот день всем казакам приказал повязать белые ленточки на околыши фуражек, чтобы сгоряча свои не рубили своих. И тем страшнее, упорнее был бой, что с обеих сторон дрались русские люди... Одни — за неведомую, новую жизнь, другие — за то, чтоб старое стояло нерушимо.

И каждый раз волны атак отливали, отброшенные красными бронелегучками. Эти оборудованные наспех на царицынских заводах бронепоезда — из двух бензиновых цистерн или из двух товарных платформ с паровозом посредине — курсировали по окружной дороге частью впереди, частью позади фронта. С пулеметами и пушками они врзались порой

в самую гущу свалки. Выжимая из старых паровозов-кукушек последние силы, они сквозь взрывы, в облаках пара из простреленных паровозных боков, носились по развороченным путям, развозя в окопы воду, хлеб и огнеприпасы.

★

— Ложись!

Рядом рвануло так, что свет потемнел и тело вдавило, и сейчас же по спицам, по головам, обхваченным руками, забарабанили падающие комья.

— К орудию... По местам! — кричал Телегин, вскакивая и смутно сквозь пыль различая задранный одним колесом сверху пушку и людей, злобно подскочивших к ней... «Все целы, — Латугин, Байков, Гагин, Задуйвитер.. нет Шарыгина... здесь... цел... Второе орудие — в порядке, — Печенкин, Власов, Иванов, Иванов второй... головой мотает... ранен...».

— Левее шесть восемьдесят, прицел шесть ноль, батарея огонь! — хрипел Сапожков, высовываясь с телефонной трубкой из завалившегося прикрития.

Кашляя пылью, Телегин повторял команду. Шарыгин кидал снаряд Байкову, тот осматривал взрыватель и перебрасывал заряжавшему — Гагину, Задуйвитер откидывал замок, Латугин, устанавливая наводку, поднимал руку.

— Огонь...

Стволы орудий дергались, снаряды уносились... Торопливые движения людей замирали, как в остановленной киноленте... Так и есть, — снова метнулась свирепая тень — молния в землю, рядом.

— Ложись!

И все повторялось, — грохот, вихрь земли, удушье... Злоба была такая, — жилы, кажется, лопнут... Но что можно было сделать, когда с той стороны снарядов не жалели, а здесь оставалось их — счетом, и на дивизионном наблюдательном пункте сидел слепой чорт, не мог как следует нащупать тяжелую батарею...

На этот раз ранило Латугина. Он сидел, скрипя зубами. Около него мягко и проворно двигалась Анисья, — непо-

нятно, куда она пряталась, откуда появлялась, — живо стащила с него бушлат, тельник, перевязала плечо: «Батюшка, — сказала она, присев на корточки перед его глазами, — батюшка, пойдем, я сведу на пункт». Он, голый по поясу, окровавленный, ощеренный, будто действительно, грыз хрящи, оттолкнул Анисью, кинулся к орудию.

Наконец случилось то, чего нестерпимо ждала злоба, томившая всех уже много часов, с начала этого неравного артиллерийского поединка. Сапожков только-что сообщил на запрос командира дивизиона о количестве оставшихся снарядов и ждал ответа; грязные слезы из воспаленных глаз его ползли по лицу, время от времени он отнимал от уха телефонную чашку и дул в нее. В самом воздухе внезапно что-то произошло: наступила тишина и загудела в ушных перепонках. Телегин, обеспокоенный, полез животом на бруствер, и — как-раз во-время... Началась решительная всеобщая атака. Простым глазом можно было различить темные массы казачьей кавалерии и пехоты и кое-где среди них — блеск золотых хоругвей, — это подвезенные на автомобилях попы благословляли войско, в открытом поле, на виду у красных батарей...

Моряки тоже вылезли — животами на бруствер. Дышали тяжело. Байков сказал, чтобы насмешить:

— Эх, по ангелам прямой бы наводкой.

Никто не засмеялся. Латугин сказал резко, повелительно:

— Командир, давай выкатывать орудия на открытое, — что мы тут, как крысы, в яме...

— Без упряжек не справиться, Латугин.

— Справимся...

— Не смеешь, не смеешь ты в бою спорить с командиром, это анархия, — закричал Шарыгин до того неожиданно, некрасиво, по-ребячьему, что моряки угрюмо оглянулись на него. Он схватил в обе горсти песок и начал тереть себе лицо изо всей силы. Вернулся на место, на номер, и стал неподвижно, только большие ресницы его дрожали над натертыми щеками.

Телегин слез с бруствера, подошел к пушке, тронул ее за колесо. Покачал головой.

— Осмотрите холодное оружие, товарищи, у нас должно быть шесть бебутов и две шашки. Гагин, возьми шашку у Сергея Сергеевича, она ему бесполезна. — Он пошел к боковому краю котлована и попробовал ногой грунт. — Латугин внес правильное предложение, товарищи... На всякий случай давайте-ка вот здесь раскидаем землю...

Моряки, до этого следившие за всеми его движениями, молча кинулись к лопатам и начали раскидывать уступ в котловане в том месте, где легче всего можно вытащить орудие на открытое место.

— Телегин, — закричал Сапожков, — Телегин, командир спрашивает — возможно ли своими силами выкатить орудия на открытое?

— Ответ: возможно.

Телегин сказал это спокойно и уверенно. Латугин, работая лопатой, хотя нестерпимо жгло и ломило раненое плечо и кровь сочилась сквозь повязку, толкнул локтем Байкова:

— Люблю антилигентов. А?

Байков ответил:

— Поучатся еще решетом воду носить, кое-чему у мужика и научатся.

— Еще, Телегин! — надрывая осипшее горло, кричал Сапожков. — Командир напоминает: стрелять только при крайности.

— Есть...

Внезапно тишина разодралась грохотом ураганного огня. Телегин кинулся к брустверу. Равнина вся наполнилась движущимися войсками. Справа — наперерез им — по невысокому полотну, завывая, дымя, выбрасывая ржавые дымки, неслись бронелетучки прославившегося в этот день командира Алябьева. Внимание Ивана Ильича было сосредоточено на ближайшем прикрытии — роте качалинского полка, лежавшей за проволокой даже не в окопах, а в ямках. Только-что им повезли бочку с водой. Лошадь забилась, повернула опрокинула бочку и умчалась с передками. Телегин увидел вчерашнего чудака-верзилу Ивана Гору. Он, точно вприсядку,

бегал на карачках вдоль окопов, — раздавал патроны, должно быть, по последней обойме на стрелка...

Левее расположения роты (и телегинской батареи), ближе чем в полуверсте, залегал тот самый овраг, прорезавший фронт до самого города. Весь день овраг был под обстрелом, и казацьи лавы выносились из него далеко отсюда. Сейчас Иван Ильич, следя за особенной тревогой бойцов Ивана Горы, понял, что казаки непременно должны пробраться оврагом поглубже — атаковать окопы с тылу и батарею с фланга и наделать неприятностей. Так и случилось...

Из оврага, совсем близ укреплений, вынеслись всадники, раскинулись, часть их стала поворачивать в тыл Ивану Горе, другие мчались на батарею. Телегин кинулся к орудиям. Моряки, сопя и матерясь, вытаскивали пушку из котлована на бугор, колеса ее увязали в песке.

— Казаки! — как можно спокойнее сказал Телегин. — Навались! — И схватился за колесо так, что затрещала спина. — Шарыгин, живо, картечь!

Уже слышался казачий вой, дикий визг, точно с них с живых драли кожу. Гагин лег под лафет и приподнял его на плечах. «Давай дружно!». Пушку выдернули из песка, и она уже стояла на бугре, криво завалась, опустив дуло. Гагин взял в большие руки снаряд и, будто даже неспеша, всадил его в орудие. Всадников тридцать, нагнувшись к гривам, крутя шашками, скакало на батарею. Когда навстречу им вылетело длинное пламя и визгнула картечь, — несколько лошадей взвилось, задние наскочили на них, сбиваясь и падая. Но десяток всадников, не в силах уже сдержать коней, вылетело на бугор.

Тут-то и разрядилась накипевшая злоба. Голый по пояс Латугин, хрипло вскрикнув, первый кинулся с кривым кинжалом-бебутом и всадил его под наборный пояс в черный казачий бешмет... Задуйвитер попал под коня, с досадой распорол ему брюхо и, не успев всадник соскользнуть на землю, ударил и его бебутом. Гагин, уклоняясь от удара шашки, схватился в обнимку с дюжим хорунжим, — новгородец с донцом, —

сташил его с коня, опрокинул и зако-
стенел на нем. Другие из команды, стоя
за прикрытием орудия, стреляли из ка-
рабинов. Телегин замедленно-спокойно,
как всегда у него бывало в таких про-
исшествиях (переживания начинались
потом уже, задним числом), нажимал
гашетку револьвера, закрытого на пре-
дхранитель. Схватка была коротка, ка-
заки повернули коней обратно, четверо
осталось лежать на бугре, двое, спешен-
ных, побежали было и упали под вы-
стрелами.

★

Последняя атака отхлынула так же,
как прежние в этот день. Не удалось
прорвать красный фронт, лишь в одном,
самом уязвимом, месте цепи пластунов
глубоко вклинились между двумя крас-
ными дивизиями. Наступал вечер. Рас-
калились жерла пушек, примахались ко-
ни, отупела злоба у конницы, и пехоту
все труднее стало поднимать из-за при-
крытий. Бой окончился, затихали вы-
стрелы на опустевшей равнине, где лишь
ползали санитары, подбирая раненых.

На батарее и в окопы потянулись
бочки с водой и телеги с хлебом и ар-
бузами, — на обратном пути они за-
хватывали тяжело раненых. Потери во
всех частях Десятой армии были ужа-
сающие. Но страшнее потерь было то,
что за этот день пришлось израсходи-
вать все резервы, — город ничего уже
больше дать не мог. В классный вагон,
стоявший позади станции Воропоново,
вернулся командарм. Он медленно слез
с коня, взглянул испытующе на быстро
подошедших к нему начальника артил-
лерии армии — того рослого, румя-
ного, бородатого человека, приезжавше-
го разговаривать с интеллигенцией на
телегинскую батарею, — на возбужде-
нного, похожего на студента, вернув-
шегося с баррикад, начальника броне-
поездов... Оба верных товарища ответи-
ли ему на взгляд улыбками: они рады
были его возвращению с передовых ли-
ний, где командарму пришлось несколь-
ко раз в этот день участвовать в шты-
ковых атаках. Бекеша его была про-
стрелена и ложе карабина, висевшего на
плече, раздроблено.

Командарм пошел в салон вагона и
там попросил воды. Он выпил несколь-
ко кружек и попросил папиросу. Заку-
рил, — сухие глаза его затуманились,
он положил папиросу на край стола,
придвинул к себе листки сводок и на-
клонился над ними. Да... Потери тяже-
лы, чрезмерно тяжелы, и огнеприпасов
на завтра оставалось мало, отчаянно
мало. Он развернул карту, и все трое
нагнулись над ней. Командарм медлен-
но повел огрызком карандаша линию, —
она лишь кое-где изломилась за этот
день, но незначительно, а под Сарептой
далеко даже загнулась к белым; но на
том участке, где вчера произошла не-
приятность с крестьянскими полками,
линия фронта круто поворачивала к Ца-
рицыну. Все медленнее двигался каран-
даш командарма. «А ну-ка, — сказал
он, — проверим еще...». Сводки были
точны. Карандаш остановился в семи
верстах от Царицына, как раз по руслу
оврага, и так же круто повернул обрат-
но, к западу. Получался клин. Коман-
дарм бросил карандаш на карту и ты-
лом ладони ударил по этому клину:

— Это все решает.

Начальник артиллерии, насупясь в
бороду и отведя глаза, сказал упрямо,
потому что он был упрям:

— Берусь сгрызть этот клин, под-
кинь за ночь снарядов.

Начальник бронепоездов сказал:

— Настроение в частях боевое: по-
едят, поспят часок-другой, — выдер-
жим.

— Выдержать мало, — ответил коман-
дарм, — надо разбить, а линия фронта
для этого неблагоприятна. Скажи, па-
ровоз прицеплен? Ладно, я еду... — Он
сидел еще с минуту, скованный устало-
стью, поднялся и обнял за плечи това-
рищей:

— Ну, счастливо...

★

Начальник артиллерии и начальник
бронепоездов вернулись на наблюда-
тельный пункт, на одиноко торчащую
железнодорожную водокачку, которую
весь день усиленно обстреливали с зем-
ли и воздуха. Поднявшись наверх, где

помещались телефоны, они нашли принесенный им ужин: два ломтя черствого хлеба и на двоих половину недозрелого арбуза. Начальник артиллерии был человек полнокровный и жизнерадостный, и такой скудный рацион его огорчил.

— Дрянь арбуз, — говорил он, стоя у отверстия, проломанного в кирпичной стене, — если арбуз режут ножиком, это уже не арбуз, — арбуз нужно колоть кулаком; раскололся — вот это арбуз... — Выплывывая косточки, прищуриваясь, он поглядывал на равнину, видную, как на ладони, под закатным солнцем. — Горячих галушек миску, вот это было бы сытно. А как ты думаешь, Василий, похоже на то, что в ночь будет приказ — отступить...

— То-есть как отступить? Отдать окружную дорогу? Да ты в уме?

— А ты был в уме, когда допустил прорыв, — чего дремали твои бронелетчики?

Начальник артиллерии, разговаривая, нет-нет да и подносил к глазу два раздвинутых пальца или вынимал из кармана спичечную коробку и, держа ее в вытянутой руке, определял углы и дистанции с точностью до полусотни шагов.

— Да у них же саперы специально шли за цепями, во время атак подрывали путь и успели подорвать в десяти местах.

— И все-таки клина нельзя было допустить, — упрямо повторил начальник артиллерии. — Тьфу ты, черт, последнюю папироску отдал командарму. Слушай, взгляни-ка, ты ничего не замечаешь?

Только очень острый, наметанный глаз мог бы заметить, что на бурой равнине, уходящей на запад, не было безлюдно и спокойно, но происходило какое-то осторожное движение. Все неровности земли, все бугорки, похожие на тысячи муравьиных куч, отбрасывали длинные тени, и некоторые из этих теней медленно перемещались.

— Сменяются цепи, — сказал начальник артиллерии. — Ползут гады... Возьми-ка бинокль... Замечаешь, как будто поблескивают полосочки?..

— Вижу ясно... Офицерские погоны...

— Это понятно, что офицерские погоны поблескивают... Ух, как поползли, мать честная, гляди, как пауки!.. Что-то много офицерских погон... Других и не видно...

— Да, странно...

— Третьего дня Сталин предупреждал, что б мы этого ждали... Вот, пожалуй, они самые и есть...

Начальник бронепоездов взглянул на него. Снял картуз, провел ногтями по черепу, взъерошив слипшиеся от пота волосы сзади наперед, серые глаза его погасли, он опустил голову.

— Да, — сказал, — понятно, почему они так рано сегодня успокоились... Этого надо было ждать... Это будет трудно...

Он быстро сел к телефону и начал названивать. Затем надвинул картуз и скатился по винтовой лестнице.

Начальник артиллерии наблюдал за равниной, покуда не село солнце. Тогда он позвонил в Военсовет и сказал тихо и внятно в трубку:

— На фронте офицерская бригада сменяет пластунов, товарищ Сталин.

На это ему ответили:

— Знаю. Скоро ждите пакет.

Действительно, скоро послышался треск мотоцикла. По скрипучей лестнице затопали каменные шаги, в люк едва пролез мужчина весь в черной коже. Начальник артиллерии был не мал ростом, а этот мотоциклист — навис над ним:

— Где здесь начальник артиллерии армии товарищ Кулик?

И, услышав: «Это я, Кулик», — мотоциклист потребовал еще и удостоверение, чиркнул спичку и, загоразивая свет, читал, покуда она не догорела до ногтей. Тогда только он с величайшей подозрительностью вручил пакет и затопал вниз.

В пакете лежала половинка четвертушки желтой буграстой бумаги, на ней рукой предвоенсовета было написано:

«Приказываю вам в ночь до рассвета сосредоточить все («все» было подчеркнуто) наличие артиллерии и боеприпасов на пятиверстном участке в районе Воропоново — Садовая. Передвижение

произвести по возможности незаметно для врага».

Начальник артиллерии читал и перечитывал неожиданный и страшный приказ. Он был более чем рискован, выполнение его — неимоверно трудно, он означал: сосредоточить на крошечном участке (в районе прорыва) все двадцать семь батарей—двести орудий... А если противник не пожелает полезть именно на это место, а ударит правее или левее, или, что еще опаснее, — по флангам, на Сарепту и Гумрак? Тогда — окружение, разгром!..

В глубоком душевном расстройстве начальник артиллерии сел к телефону и начал вызывать командиров дивизионов, давая им указания — по каким дорогам идти и в какие места передвигать все огромное и громоздкое хозяйство: тысячи людей, коней, двуколки, телеги, палатки, — все это надо было нагрузить, отправить, передвинуть, разгрузить, поставить на место, окопать орудия, протянуть проволоку и все это — за несколько часов до рассвета. Не отрываясь от телефона, он крикнул вниз, чтобы принесли фонарь да сказали бы всем вестовым — держать коней наготове. Расстегнув ворот суконной рубахи, поглаживая начисто обритую голову, он диктовал короткие приказы. Вестовые, получая их, скатывались с водокачки, кидались на коней и мчались в ночь. Начальник артиллерии был хитер, — он велел, чтобы на местах расположения батарей — после того как они снимутся — разожгли бы костры, не слишком большие, а такие, чтоб огонь горел натурально, — нехай враг думает, что красные в студеную ночь греют у огня свои босые ноги.

Еще раз перечтя приказ, он размыслил, что не годится совсем обнажать фланги, и решил, все же, оставить под Сарептой и Гумраком тридцать орудий. Когда командиры дивизионов ответили ему, что упряжки на местах, люди на орудиях, снаряды, фураж и санитарное хозяйство погружено и костры, как приказано, запалили кое-где, — начальник артиллерии сел в старенький автомобиль, ходивший на смеси спирта и керосина и гремевший кузовом, как цы-

ганская телега, и поехал в Царицын, в штаб.

Он прогромычал по темному и пустынному городу, остановился у особняка в декадентском вкусе, взбежал по неосвещенной лестнице во второй этаж и вошел в очень большую комнату с готическими окнами и дубовым потолком, освещенную лишь двумя свечами: одна стояла на длинном столе, заваленном чертежами и бумагами, другую высоко в руке держал командарм, — он стоял у стены перед картой. Рядом с ним председатель Военсовета цветным карандашом намечал расположение войск для боя на завтра.

Хотя в комнате были только эти двое старших товарищей, — друзей, — начальник артиллерии со всей военной выправкой подошел, остановился и рапортовал о предварительном исполнении приказа (Наиболее отдаленные батареи уже двинулись.) Командарм опустил свечу и повернулся к нему. Предвоенсовета отошел от карты и сел у стола.

— Двадцать батарей до рассвета будут передвинуты на лобовой участок, — сказал ему начальник артиллерии, — семь батарей я оставил на флангах, под Сарептой и Гумраком.

Предвоенсовета, зажав трубку, отмахнул от лица дым и спросил тихо и сурово:

— Какие фланги? При чем тут Сарепта и Гумрак? В приказе о флангах не говорится ни слова, — вы не поняли приказа.

— Никак нет, я понял приказ.

— В приказе сказано (нижние веки у него дрогнули, и глаза сузились), — в приказе сказано ясно: сосредоточить на лобовой участке всю артиллерию, всю до последней пушки.

Начальник артиллерии взглянул на командарма, но тот тоже глядел на него серьезно и предостерегающе.

— Товарищи, — горячо загворил начальник артиллерии, — ведь этот приказ — ставка на жизнь и на смерть.

— Так, — подтвердил предвоенсовета.

— Так, — сказал командарм.

— Ну что из того, что на лобовом участке мы соберем мощный кулак да

начисто обнажим фланги. Где уверенность, что белые полезут именно на лобовой участок? А если поведут бой в другом месте? Одной пехоте атак не выдержать, пехота вымоталась за сегоднешний день. Шутка ли — по шести, по восьми штыковых контратак. А снова перестраивать батареи будет уже поздно... Вот чего я боюсь... Бронелетучки нам уже не подмога, пехоту все равно придется оттянуть за ночь от окруженной дороги... Вот чего я боюсь.

— Не бояться! — Предвоенсовета стукнул пальцем в стол один и другой раз. — Не бояться! Не колебаться! Неужели вам не ясно, что белые все силы должны бросить завтра именно на лобовой участок... Это неумолимо продиктовано всей обстановкой вчерашних боевых операций. Их серьезнейшая неудача под Сарептой, — сунуться туда во второй раз они уже не захотят, им известно движение бригады Буденного в тыл пятой колонны. Затем, — их вчерашний успех на центральном участке — удачное вклинение в наш фронт. И нец, вся выгодность плацдарма под Воропоново — Садовая, — овраги и кратчайшее расстояние до Царицына. Вы сами сообщили мне о смене пластунов офицерской бригадой. Делайте отсюда вывод. Офицерская бригада — это двенадцать тысяч добровольцев, кадровых офицеров, умеющих драться. Мамонтов не станет бросать такую часть для демонстрации... У нас все основания быть уверенными в атаке на лобовой участок.

— Вечерняя сводка подтверждает это, — сказал командарм, — белые сняли с южного и северного направления четырнадцать или пятнадцать полков и передвигают их грунтом... Это — не считая офицерской бригады...

— Таким образом, — сказал предвоенсовета, — противник сам для себя создает обстановку, в которой — если мы без колебаний будем решительны и смелы — он сам подставит нам для разгрома свои главные силы. И наша задача завтра — не отразить атаку, а уничтожить ядро Донской армии...

Начальник артиллерии широко усмех-

нулся, раздвинув бороду, сел, стукнул себя кулаком по колену:

— Смело! — сказал, — смело! Выразить нечего. Так я ж ему такую баню устрою, аж до самого Дона будет бежать без памяти.

Предвоенсовета неспешным движением придвинул свечу к трехверстной карте, обвел карандашом участок и от свечи прикурил потухшую трубку. Начальник артиллерии начал давать разъяснения, как он намерен расположить батареи, — тесно, ось к оси, в три, а местами в четыре яруса.

— Не закапывайся в землю, — сказал ему командарм, — ставь орудия на открытых буграх. Пехоту придвинем вплотную к батареям. Иди, звони командирам да подтверди, чтоб передвигались без шума.

Через несколько минут на всем сорокаверстном фронте началось молчаливое и торопливое движение. По темной равнине, над которой вывездило небо и Млечный путь мерцал так, как бывает только в редкие осенние ночи, мчались конные упряжки с пушками и гаубицами, ползли — о восемь пар коней — тяжелые орудия, вскачь проносились телеги и двуколки. Незаметно снимались и отступали пехотные части, уплотняясь на суженном полукольце обороны.

★

На седой от инея равнине горнисты заиграли зорю, поднимая на бой казачьи полки. Выкатилось солнце из-за волжских степей. Загремели вдали орудия. Застучали пулеметы. Красный фронт молчал, он был весь в тени, против солнца. Всем батареям было сказано: ждать сигнала — четырех высоких разрывов шрапнели.

Атака белых началась ураганным огнем с линии горизонта. Все живое прилегло, поджалось, притаилось, каждая кочка, каждая ямка стала защитой. Сквозь грохот слышался иногда дикий вскрик, да вместе с комьями рванувшейся земли взлетало тележное колесо или дымящаяся солдатская шинель. Сорок пять минут длилась артиллерийская подготовка. Когда люди смогли поднять

головой, — вся равнина уже колыхалась от двигающихся войск. Шли в несколько рядов, уставя штыки, офицерские цепи, не торопясь и не ложась, за ними двенадцатью колоннами шли офицерские батальоны, с интервалами, как на параде. Развевались два полковых знамени, поднятые высоко. Надрывно трещали барабаны. Свистали флейты. А позади, за пехотой, колыхались черные массы бесчисленных казачьих сотен...

— ...Иван Ильич, вот это — классовые враги! Вот это вояки!

— Обуты... Одеты... Мясом кормлены...

— Ох, жалко будет такую одежду рвать...

— Товарищи, перестаньте балагурить, насторожите внимание.

— Так мы же со страху заговорили, товарищ Шарыгин...

... Передние ряды ускорили шаг, они были уже в пятистах шагах... Можно было разглядеть лица... Не дай господи увидеть еще раз такие лица, — с залавшими, белесыми от ненависти глазами, с обтянутыми скулами, напряженные перед тем, как разорвать пасть ревом: «ура!».

... Начальник артиллерии высунулся по пояс в пролом в кирпичной стене водокачки, вытянул позади себя руку, чтобы ею подать сигнал телефонисту: четыре шрапнели! Ждал еще минутку, чтобы колыхающиеся в мерном шаге, под барабаны и флейты, цепи и колонны перешли линию окружной железной дороги... Еще минутка... Только бы они, дьяволы, не перешли с шага на бег...

— ... Товарищ ротный... Не могу больше... Ей-богу...

— Лезь в окоп обратно, так твою...

— Тошнит... Я ж отойду только...

— Убью, так твою так...

— Товарищ Иван Гора... Не надо!

— Бери винтовку!

...Начальник артиллерии загадал: вот эти передние дойдут до столбика... Передняя часть уже изгибается, колышется, уже люди ступают косолапо, кое-как... Сощурясь, он четко видел этот покосившийся столбик с обрывком проволоки... Он-то и решал судьбу всей атаки, судьбу сегодняшнего дня, судьбу Царицына,

судьбу революции, чорт возьми!.. Вот, усатый, кривоплечий офицер шагнул за него... Начальник артиллерии разжал за спиной кулак, растопырил пальцы, высунулся из пролома, крикнул телефонисту: «Сигнал!..».

Высоко над идущими колоннами в ясном небе лопнули ватными облачками четыре шрапнели. Тяжелый, никем никогда не слышанный грохот потряс воздух. Зашаталась каменная водокачка. Телефонист уронил трубку и схватился за уши. Начальник артиллерии топал ногами, точно плясал, и руки его помахивали, будто перед оркестром... Равнина, по которой только-что стройно и грозно двигались серо-зеленые батальоны, стала похожа на дымно кипящий гигантский кратер вулкана. Сквозь пыль и дым можно было разглядеть, как, пораженные, залегли наступавшие цепи, смешались задние. С севера по оставшейся незанятой кольцевой дороге уже неслись им в тыл бронелетучки. Из окопов поднялись красные роты и бросились в контратаку. Начальник артиллерии выхватил у телефониста трубку: «Перенести огонь глубже!..». И, когда огневой шквал загородил отступление белым, в гущу их врезались грузовики с пулеметами, и начался разгром.

8

Даша сидела на дворике, на ящике с надписью «медикаменты», опустила на колени руки, только-что вымытые и красные от студеной воды, и, закрыв глаза, подставляла лицо октябрьскому солнцу. На голой акации, там, где кончалась тень от крыши, топорщились перьями, чистились, хвастались друг перед другом воробьи с набитыми зобами. Они только-что были на улице, где перед белым одноэтажным особняком валялось сколько угодно просыпанного овса и конского навоза. Их спугнули подъехавшие телеги, и воробьи перелетели на березу. Птичье щебетанье казалось Даше невыразимо приятной музыкой на тему: живем во что бы то ни стало.

Она была в белом халате, испачканном кровью, в косынке, туго повязанной

по самые брови. В городе больше не дребезжали стекла от канонады, не слышалось глухих взрывов аэропланых бомб. Ужас этих двух дней закончился воробьиным щебетаньем. Если глубоко вдуматься,—так это было даже и обидно: пренебрежение этой летучей твари с набитыми зобами к человеку... Чик-чирик, мал воробей, да умен, — навозцу поклевал, через воробьюху с веточки на веточку попрыгал, пискнул вслед уходящему солнышку и — спать до зари, вот и вся мудрость жизни...

Даша слышала, как за воротами остановились телеги... Привезли новых раненых, вносили их в особняк. От усталости она не могла даже разлепить век, просвечивающих розовым светом. Когда надо будет — доктор позовет... Этот доктор — милый человек: грубовато покрикивает и ласково посматривает... «Сию минуту, — сказал, — марш на двор, Дарья Дмитриевна, вы никуда не годитесь, присядьте там где-нибудь, разбужу, когда нужно...». Сколько чудных людей на свете! Даша подумала — было бы хорошо, если бы он вышел покурить и она рассказала бы ему свои наблюдения над воробьями,—чрезвычайно глубокомысленные, как ей казалось... А что же тут плохого, если она нравится доктору?.. Даша вздохнула, и еще раз вздохнула уже тяжело... Все можно вынести, даже немыслимое, если встречаешь ласковый взгляд... Пускай мимолетный, — навстречу ему поднимаются душевные силы, вера в себя, туманные ожидания. Вот и снова жив человек... Эх, воробьишки, вам этого не понять!..

Вместо доктора вылез из подвала, где помещалась кухня, гражданин с желтоватым нервным лицом и трагическими глазами. Он был одет в пальто ведомства народного просвещения. Поднявшись на несколько ступеней кирпичной лестницы, он вытянул тонкую шею, прислушиваясь. Но только щебетали воробьи.

— Ужасно! — сказал он. — Какой кошмар! Бред!

Он зажал уши ладонями и тотчас отнял их. Низкое солнце сбоку освещало его лицо с тонким хрящеватым носом и

припухлыми губами, как на рисунках Бирдслея.

— Этому нет конца, боже мой!.. У вас когда-нибудь был звуковой бред? — неожиданно спросил он Дашу. — Простите, мы не знакомы, но я вас знаю... Я вас встречал до войны, в Петербурге, на «Философских вечерах»... Вы были моложе, но сейчас вы красивее, значителнее... Звуковой бред начинается с отдаленной лавины, она еще беззвучна, но близится с ужасающей быстротой. Нарастает разноголосый гул, какого нет в природе. Он наполняет мозг, уши. Вы сознаете, что ничего нет в реальности, но этот шум имманентен... Он в вас... Вся душа напряжена, кажется: еще немного — и вы больше не выдержите этих иерихонских труб... Мозг разлетится... Вы теряете сознание, вас это спасает... Я спрашиваю — когда конец?

Он стоял перед Дашей против солнца, перебирал тонкими пальцами и хрустел ими.

— Я должен где-то накопать глины, замесить ее и починить печь, потому что нас выселили в подвал, как нетрудовой элемент... Мой отец всю жизнь прослужил директором гимназии и построил этот дом на свои сбережения... Вот вы им это и скажите... В подвале валяются обгорелые кирпичи, два окошка на тротуар, такие пыльные, что не пропускают света. Мои книги свалены в углу... У моей матушки неокардит, ей пятьдесят пять лет, у моей сестры от малярии — паралич ног. Надвигается зима... О, боже мой!

Даша подумала, что он, как душа Сахара в «Синей птице» из Художественного театра, сейчас отломает себе все десять пальцев.

— Кто не работает, тот не ест!.. Окончить историко-филологический факультет, почти закончить диссертацию: «Причины отмирания определенного члена в славянских языках»... Три года преподавать в женской гимназии, в этом роковом городе, в этой безнадежной дыре, где я скован по рукам и ногам болезнью матери и сестры... И — финал всей жизни: кто не работает, тот не ест! Мне суют в руки лопату, насильственно гонят рыть окопы и грозят, чтобы

я поклонялся революции... Насилию над свободой!.. Торжеству мозолей!.. Надругательству над наукой!.. Я не дворянин, не буржуй, я не черносотенец. Я ношу на себе шрам от удара камнем во время студенческой демонстрации... Но я не желаю поклоняться революции, которая загнала меня в подвал... Я не для того изощрял свой мозг, чтобы из подвала через пыльное окошко глядеть на ноги победителей, топающие по тротуару... И я не имею права насильственно прекратить свою жизнь, — у меня сестра и мать... Даже в мечтах мне некуда уйти, некуда скрыться... «Унесем зажженные свечи!»... Их некуда уносить, на земле не осталось больше уединенных пещер... По всему миру человек режет человека, все объято огнем, ужасом...

Он проговаривал все это необыкновенно быстро, глаза его блуждали. Даша слушала его — не удивляясь и не сочувствуя, как будто этот выскочивший из полуподвальной кухни нервный человек был таким же необходимым завершением ужаса этих дней — грохота, пожаров, стонов раненых, как воробы на голой акации...

— Что вас привело к ним? — неожиданно бытовым, ворчливым голосом спросил он. — Недомыслие? Страх? Голод? Так знайте же — я следил за вами эти два дня, я вспоминал, как в Петербурге на «Философских вечерах» безмолвно любовался вами, не смея подойти и познакомиться... Вы — почти блоковская незнакомка... (Даша сейчас же подумала: «Почему почти?».) Царевна, вышивающая золотые заставки, — в грязном халате, с красными руками, таскает раненых... Ужас, ужас!.. Вот — лицо революции...

Даша вдруг так рассердилась, что, поджав губы, ни слова не ответив этому желто-бледному неврастенику, пошла в дом, где после свежести двора в лицо ей тяжело пахнул запах иодоформа и страдающего человеческого тела. В каждой комнате лежали раненые на тесно уставленных койках из неструганых досок. В операционной, где — до выселения — учитель женской гимназии писал свою диссертацию, она нашла доктора. Он вытирал полотенцем оголенные выше

локтя волосатые руки и, увидев Дашу, подмигнул ей карим глазом!

— Ну как, успели посопеть носиком? А у меня тут была интересная операция: отрезал парню аршин пять тонких кишек и через месяц буду с ним пить водку. Тут еще привезли одного командира, тяжелый случай шока... Впрыснул камфору, сердце работает, но сам пока без сознания... Последите за пульсом, если начнет падать, сделайте еще одну инъекцию...

Перекинув полотенце через плечо, он подвел Дашу к дощатой койке. На ней навзничь лежал Иван Ильич Телегин. Глаза его были с усилием зажмурены, точно в них бил ослепительный свет. Растянутые губы сжаты. Левую руку его, лежавшую на груди, доктор взял, попробовал пульс, мягко встряхнул:

— Видите, а была стиснута, как судорогой... Шок, я вам скажу, дает иногда любопытнейшую картину... Штука мало изученная... Тут такая же механика, как родимчик у младенцев... Центральная нервная система не успевает выставить защиту против неожиданного нападения...

Доктор оборвал на полуслове, потому что, хотя и в слабой степени, сам получил неожиданный шок... Дарья Дмитриевна мягко опустилась на колени перед койкой и всем лицом прижалась к брошенной доктором руке этого командира...

9

В начале ноября полк Мельшина стоял в резерве для пополнения и отдыха. В нем по окончании боев осталось едва три сотни человек. Петр Николаевич Мельшин, получивший неожиданно для себя бригаду, говорил в Военсовете, и по его предложению командиром Сорок четвертого был назначен Телегин, лежавший в госпитале, заместителем — Сапожков и полковым комиссаром — Иван Гора. Телегинская батарея вошла в состав полковой артиллерии.

Стояли сырые деньки, пахнущие печным дымом и мокрой псиной шерстью. Сырость капала с потемневших крыш, землю развезло, и бойцы, возвращаясь с ученья, волокли пуды грязи на сапо-

гах. Настроение у всех было, как в праздник. Окончилась страшная страда: Донская армия была отброшена далеко за правый берег Дона. По слухам, атаман Краснов в Новочеркасске бился головой о стену, узнав об этом своем втором страшном разгроме под Царицыном. Когда кончался день строевых занятий, политучебы и ликвидации неграмотности, бойцы в сумерках, поживаясь от измороси, разбрелись по селу, — кто к знакомцам, кто к новоявленной куме, а те, у кого не было ни знакомых, ни кумы, просто ходили с песнями или, забравшись в сухое место, балагурством приманивали девчат. И часто, начиная с шуток и смеха, кончали спорами, иной раз жестокими, потому что души у всех были взъерошены и взволнованы.

Из десяти моряков телегинской батареи двое были тяжело ранены, трое убиты. Осталось пять человек. Расквартировались моряки на хорошем казачьем дворе, брошенном убежавшим хозяином. С ними жила и Анисья, формально зачисленная в нестроевую роту. Наравне с бойцами она проходила строй и стрельбу, и политпросвещение. Носила теперь опрятную красноармейскую форму и только не хотела стричь вьющихся красивых волос. Увидев столько страстей и смертей, она в эту октябрьскую страду перешла, как переходят вброд по горло, через свое непоправимое горе. Морщины больше не безобразили ее помолодевшего, погрубевшего лица; с тыловых харчей щеки у нее налились, стан выпрямился, походка стала легкой. Вся она приумялась. По ночам, когда моряки могуче храпели в натопленной хате, она секретно стирала на них, штопала и чинила, иной раз за этим делом ее заставлял рожок горниста, игравший протяжную зорю в седом рассвете.

При полку остался и Кузьма Кузьмич Нефедов на внештатной должности писаря. В самые тяжелые дни, шестнадцатого и семнадцатого, он проявил не то что мужество, а даже особую отчаянность, вытаскивая раненых из огня. Это было отмечено всеми. Не отставал он и в дальнейшем, когда остатки Сорок четвертого полка перешли в контрнатупление, не отстал и за Доном, когда

полк был сменен и отведен в тыл. Иван Гора, встретив его однажды у полевой кухни, — промокшего, грязного, худого, возбужденного, — поманил пальцем:

— Что мне с вами делать, Нефедов?.. Никак не пойму — что вы за человек?.. Поп-расстрига, и года ваши почтенные. Чего вы к нам привязались?

Кузьма Кузьмич шмыгнул, потому что с облупленного носа его капал дождь, и рыжими веселыми глазами взглянул на комиссара:

— Привязчивый, Иван Степанович, — привязываюсь я к людям... Куда пойду, какое мне еще искать человеческое общество? Ведь я же мыслящий... Ведь мысль простора просит, в просторе живет...

— Да не в том дело, слушайте...

— Что касается полкового пайка (Кузьма Кузьмич указал на полный котелок), — так этот кулеш с салцем я заработал честно, шкуры своей как будто не жалел... Штаны, сапоги, как видите, сам добыл у врага на поле брани... Ничего не прошу, никого не обременяю. И в дальнейшем надеюсь быть полезным... Ведь революции смысленый человек нужен? Нужен... У вас в полку грамотного писаря нет. А я пишу даже по-латыни и гречески... Да мало ли на что я еще пригожусь...

Иван Гора подумал: «Отчего же в самом деле не использовать человека, если он смыслен и хочет работать...».

— Да вот, — сказал, — происхождение ваше смущает, как бы вы туман не стали разводять...

— Был, был когда-то соблазнен миражами, скрывать нечего, — проговорил Кузьма Кузьмич, — окунулся в их пустыню... Нет, агитации мовей не бойтесь, с богом я в ссоре...

— В ссоре? — спросил Иван Гора. — Так ли? Ну, ладно, вечером зайдите ко мне в хату, потолкуем...

В сумерках Кузьма Кузьмич явился в хату к комиссару, который сидел у окошка в шинели и фуражке и читал газету, шевеля губами. Иван Гора сложил газету, встал, запер дверь:

— Садитесь. Тут одно дело такое, некрасивое... Вы язык-то умеете держать

за зубами? А впрочем, вам же будет хуже, если начнете болтать лишнее: мне все известно, даже кто из бойцов что во сне видел...

Он стал отрывать от белого края газеты узкую полоску, кряхтя, свертывая ее плохо сгибающимися пальцами:

— Народ убрался, хлеб свезли, с молотьюбы маленько запоздали из-за военных дел. Но народ нам доверяет, это главное, — хочет верить, что советская власть стала прочно... Хорошо... А ведь скоро — Покров...

Иван Гора чуть приподнял глаза на Кузьму Кузьмича, большой нос его смущенно потянул ноздрей...

— Скоро Покров... Суеверия-то в народе еще живут... Декретом их в один день не отменишь... Нужна, так сказать, длительная... Ну, ладно... А девки ходят недовольные, ждут Покрова, а сватов никто не засылает... Вчера был в селе Спасском. Бабы остановили мою бричку и давай плакать, и ругают, и смеются... Настроение вполне советское, но дался им этот Покров... Село богатое, хлеба много, хлебной разверстки у них еще не было... Подойти к ним надо умно, чтобы сознательно дали хлеб... Но как там проагитируешь, когда бабы выдернули у меня вожжи и кричат: дай им попа... Я их стыдить: мало вы, говорю, нагладелись, как ваши попы генералу Мамонтову кадилами махали... «Так то ж, говорят, были белые попы, мы их сами из села повыгоняли, а ты нам дай красного попа... Нам нужно свадьбы гулять, у нас девки застоялись, да у нас, говорят, еще полторы сотни дитенков по люлькам кричат некрещенные...». Тьфу ты, право, даже голова у меня болит другой день... Так меня расстроили эти бабы... Не могу же я им попа ставить? А вопрос надо решать. Они подумают, подумают, да и пошлют в Новочеркасск за старым попом... Значит — конфликт... Ты, Кузьма Кузьмич, в этих делах смышлен. Выручи меня. Возьми бричку, съезди в село, поговори с бабами... Только, чтобы я ничего не знал. А девок этих я видел, ужас: каменные. — Иван Гора показал себе на грудь. — Медом налиты... Дело-то человеческое ведь... Поедешь?

— С удовольствием, — ответил Кузьма Кузьмич, трясая лицом и складывая губы трубочкой.

★

— Скучно ты говоришь, Шарыгин, такая мозговая сухотка, прямо беги от тебя без памяти...

Латугин взял фуражку, надел ее криво — козырьком на ухо — и двинулся на лавке, но не встал, а, подзакатив зрачки, взглянул на Анисью.

Она сидела, нахмуренная от внимания, уставясь, как всегда в часы занятий, на один какой-нибудь предмет, скажем, на гвоздь в стене. Неприученный мозг ее с трудом впитывал отвлеченные идеи, — они, как слова чужого языка, лишь частицами, искорками, проникали к ее живым ощущениям. Слово «социализм» вызывало в ней представление чего-то сухо шуршащего, как красная лента, цепляющаяся ворсом за шершавые руки. Эта лента ей снилась. «Империализм» был похож на царя Навуходносора с лубочной картинки, засиженной мухами, — с короной, в мантии, окрашенной мазком кармина, — царь ронял скипетр и державу при виде руки, пишущей на стене: мене, текел, ферес... Но Анисья была трудолюбива и упорно преодолевала эти несовершенные представления.

Она почувствовала на себе взгляд Латугина, но не оторвалась от гвоздя в стене, только медленно сжала раздвинутые было колени.

— Чем же я скучно говорю, Латугин? Статья, которую мы разбираем, напечатана в «Известиях». Она, что ли, тебе скучной кажется? — спросил Шарыгин. — Если ты воин революции, то, заряжая свою винтовку, ты должен четко представлять себе как текущий момент, так и общие задачи.

Сказав это, Шарыгин перевел томный взгляд синих красивых глаз своих на Анисью. Она продолжала глядеть на гвоздь. Байков проговорил тонким голосом без смеха:

— На что волку жилет, все равно обкусты обдерет. Озорнику наука — скука.

— Складно!—сейчас же ответил Латугин тоже без усмешки. — Да не так уж верно. Нет, не наука озорнику скука. Я науку уважаю, если от нее дети бывают... А там скука, где человек не знает — с какой стороны у слова ноги растут, а с какой голова... Да будет вам меня сердить. Настоящее слово, как баба, обнимет тебя и обожжет, за ним босиком по угольям побежишь... Вот какими словами говори со мной, Шарыгин... А то заладил, как в берестяную дуду: «мировой пролетарьят да социализм...». Я за него на смерть пошел! Я хочу, чтоб мне про него рассказывали, я бы слушал и верил: когда, где, по какому дереву я в первый раз топором ударю, — этот дом рубить... По каким лугам я гулять пойду в шелковой рубашечке... Эх, стукнуть тебя земным шаром по голове, чтоб ты научился, как разговаривать о мировой революции...

Анисья взглянула на его широкое сильное лицо со сломанным носом, с глазами, расставленными, как у племенного быка, взглянула и с тоской подумала, что уж лучше бы вытекли глаза ее.

Ни Гагин, ни Задуйвитер, ни Байков не одобрили поведения Латугина. Беседовали хорошо, мирно, под тихий шум дождя по соломенной крыше. Правда, Шарыгин по молодости лет, еще не освоюсь с наукой, тяжеленько иной раз размышлял, боясь простых слов, как бы не завели они его куда-нибудь в капкан. С иностранными, проверенными, ему было вольнее. Но все же не следовало Латугину, здорово живешь, поднимать на смех честного товарища, да и петушился-то он и форсил по другой, конечно, причине, — это все понимали, — и причину эту тоже не одобряли.

— Комиссар собирает продовольственный отряд, вот ты сходи к комиссару и попросись, — сказал ему Гагин. — Без дела тебе скучно, хорошего от тебя ждать не приходится, — застоялся, милоч...

Байков затряс бородой и засмеялся. Задуйвитер тоже понял намек и, разинув рот с крепкими зубами, громыхнул. Анисья залилась таким горячим румянцем, что выступили слезы. Взяла шинель, отвернувшись, оделась, туго перепоясалась и вышла из хаты. Получалось совсем уже нехорошо. Шарыгин, усмехаясь, медленно сложил газету:

— Пойдем, поговорим, — сказал он Латугину. Тот прищурился:

— Поговорим.

И они вышли на двор в темноту, под мелкий дождичек, щекочущий лицо. Шарыгин чувствовал, что Латугин с усмешкой только ждет начала разговора, чтобы хлестко и нагло ответить... Шарыгин хотел со всем спокойствием поставить вопрос о нарушении товарищеской дисциплины и о том, как нужно изживать в себе гнилое буржуазное наследство... Вместо этого, глубоко втянув ноздрями ночную сырость, сказал:

— Оставь Анисью... Нехорошо это... Грязно это... Баловство это...

Сказал и замолк. И Латугин, никак не ожидавший такого поворота, стоял перед ним неподвижно. Ничто не годилось, никакой ответ: ни то, что, мол: «тебя, сопляка, девственника, гувернантку, я не просил мне свечку держать», ни то, что, мол: «многие меня об этих делах просили, да мало от меня целыми уходили...». Кругом получалось, что он, Латугин, грязный человек... Поднималась в нем жгучая обида... В прежнее время тут бы и лезть на рожон... Он даже зажмурился, скрипнув зубами... Нельзя!..

— Да-да, — сказал, — вот когда ты меня попрекнул, значит, я кровь свою проливал напрасно, значит — как был я бродяга, бандит, сукин сын, так и остался?.. Ну, спасибо тебе Костя...

Он пошел к воротам, бешено ударил кулаком в калитку и вышел на улицу, — сапоги его зачавкали по лужам, удаляясь.

(Продолжение следует)

Стихи о Белорусском фронте

ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ

★

ГРАНИЦА

Пограничники
переползли
границу,
Еле-еле приподняв штыки.
Чуть белест польская стражница.
Кровь звенит и бьется о виски.

Много лет они
туда
глядели,
Притаившись
возле рубежа.
Стрелевые пасмурные ели
Онемели,
Польшу сторожа.

Каждая травинка здесь понятна,
Шелест ночи
до конца знаком.
Словно в дальномер
миллионнократный
Из Москвы
глядит на них
нарком.

Он сейчас же к трубке наклонится,
Передаст
не спящему
в Кремле:
— На заставе
перешли границу —
Тут ударят выстрелы во мгле.

И поднимется ползущий первым,
Сталинское имя назовет,
Повернув,
как выключатель,
нервы,
Кинется
с гранатой
вперед.

Черную дугу граната чертит,—
Проволокой ночь оплетена.
Обручальное колечко смерти
Сорвано —
и грянула она.

Вырывается из скон пламя,
Штукатурка
сыплется,
шурша.
От последнего рывка штыками
Боем переполнена
душа.

Кто-то прыгнул в темноту,
как заяц.
Стелется
тумана пелена.
Далеко грохочет,
приближаясь,
Танковая
серая волна.

Кончено.
Приклады опустили.

Пройденный рубеж
 лежит вдали.
Сколько лет они его хранили!
Первыми
 по праву
 перешли.

Пленные стоят,
 потупив лица.

Офицер дрожит,
 как заводной.
Пограничники
 смели
 одну границу,
Коммунизм
 сметет
 все до одной.

★

ТАНКИСТЫ

Своими танками окружены,
Танкисты видят боевые сны.
На серых одеялах спят они.
Кругом стоит стена седой брони.

На гусеницах —
 грязь лесных дорог.
По серой краске —
 пулевой поток.
И лунный свет,
 играя в нечет-чет,
Через листву
 по кожухам течет.

Танкистам снится утренний туман
И разворот дивизий у Опмян.
Жестокий пулеметный перехлест,
Когда неслись через Зеленый Мост.

Была броня от пуль накалена,
Но выдержала семь боев она.
Теперь луна наводит чудеса
На злые,
 Августовские леса.

Дозорные машины на-чеку.
Пролетный ветер трогает щеку,
Да политрук,
 огарок засветив,
Заводит, как сверчок, один мотив.

И вспоминает,
 муся карандаш,

Про каждый танк
 и каждый экипаж!
Хорошие ребята!
 Нет цены.
Рабочие, крестьянские сыны.

С таким народом —
 только захоти —
Полсвета
 можно смело обойти.
О, этой осени холодный хмель!
Лежу в сторонке,
 натянув шинель.

Я получил ее на долгий срок.
Портной-приемщик
 был не очень строг:
Она немного широка в боках —
Ну что ж,
 ее надел я впопыхах.

До поезда хватило трех часов.
Петлицы я нашил,
 и был готов.
Какие страны мы с тобой пройдем
Под солнцем, ветром, вьюгой и дождем?

В каких широтах, принимая бой,
В последний раз
 простимся мы
 с тобой?

Кто ведает?..
 Кругла и холодна
Стекает
 Августовская луна.

Санаторий Арктур

РОМАН

КОНСТ. ФЕДИН

★

1

Доктор Клебе стремительно прогорал. По его делам кредиторы назначили администрацию, их бухгалтер каждую неделю являлся в санаторий проверить поступления от пациентов и отчислить, сколько можно, в покрытие долгов Клебе.

Еще не так давно в Арктуре не было ни одного свободного места, и вполне естественной казалась разборчивость в приеме новых пациентов. Но вот уже второй год падало число приезжающих в Давос больных, и Клебе уверял, что никогда прежде люди не были такими скаредами, как последнее время: экономят даже на лекарствах, не говоря о притворном отсутствии каких-либо особых желаний, вроде стакана итальянского вермута или прогулки в санях, заложенных гуськом, с бубенцами.

В докторском халатике, без шляпы, Клебе стоял на открытом балконе, привычно жмурясь на ослепляющую пирамиду Тинцен-горна, смело поднятую над далекою кромкой горных вершин. Снега лежали обильные, в горах — уже голубые, в долине — еще подрумяненные чистым, розовым утром. Сезон должен был бы давать себя чувствовать, зима установилась, а было тихо, слишком тихо.

Клебе повернул ящик радио резонатором к балконам больных. Передавалась звонкая, зовущая увертюра «Риэнци». Опытный слушатель радио, доктор

тотчас распознал передачу с патефонной пластинки и сказал:

— Они помешались на экономии!

Он стучал кулаками по парапету балкона в такт повелительной музыке, и его раздражение постепенно рассасывалось увертюрой. Он любил Рихарда Вагнера и хотя считал «Риэнци» слабой оперой, но и в ней различал возбуждающую его вагнеровскую силу утверждения. Он стал помогать радиопередаче покачиванием головы. Он думал, что ведь бывают же на свете причуды судьбы, что вдруг его природная музыкальность будет общепризнанной и его назначат дирижером Берлинской филармонии. Вот он управляет оркестром искуснее Фуртвенглера, и все кругом потрясены, и Артуро Тосканини уступает ему пальму первенства в «Кольце Нибелунгов». Вокруг имени доктора Клебе растет слава, затмевающая всех дирижеров мира, и вот он приглашен в Милан, в театр La Scala, потом — в Нью-Йорк, потом...

Радио смолкло, Клебе оттолкнулся от парапета, заглянул под рукав: была пора итти к больным. Откашливаясь, он поднялся на третий этаж и сначала зашел к майору.

Как большинство черногорцев, майор Пашич был высокий, с крупными конечностями, гренадерского размаха в плечах и груди, и его одышка, его беспомощность, его неохота вылезать из постели, несмотря на советы врачей больше гулять, казались нелепыми. Он

был из породы больных, привыкших к строгому однообразию многолетнего режима и навсегда уверивших себя, что за пределами Давоса их ожидает гибель. Всякую весну, с февраля, он начинал собираться на юг — отдохнуть от лечения и, может быть, даже слегка поблудить — на Ривьеру, или совсем недалеко — в Локарно или в Меран. Но эти беспокойные мечтания просто кончались переездом в другой санаторий после обычной ссоры с лечащим врачом или с кем-нибудь из больных. Майору было сорок, но многими чертами он был похож на полудетей-старичков Вильгельма Буша, картинки которого, со стишками, он иногда перелистывал в постели, хихикая.

Он лежал в черной шелковой ермолке, в очках-консервах с дымчато-желтыми стеклами, потому что его восточную комнату заливало солнце, а ему не хотелось протянуть руку к шнуручку, поворачивавшему лист картона, приделанный к оконному наличнику: это было собственное изобретение майора.

— Доброе утро, господин майор, — сказал доктор Клебе нараспев.

— Доброе утро, господин доктор.

— Как поживали?

— Благодарю вас.

— Температура?

Доктор взглянул на кривую температурного листка.

— Превосходно, — сказал он, — пойдете гулять?

— Болит голова, — ответил майор.

Доктор знал, что без жалобы не обойдется, но новым голосом, мягким от участия, с готовностью непременно тотчас помочь, спросил:

— Что вы говорите? И ночью?

— И ночью.

— Я вам пришлю что-нибудь.

— У меня есть.

— Пирамидон?

— Я принял.

Доктор потрогал шнурок, протянутый к картону.

— Действует? — улыбнулся он.

— Такие вещи не портятся, — тоже улыбаясь, сказал майор.

— Вы правы. Портится только то, что стоит денег. Особенно — когда их

нет. Сейчас у меня в Арктуре не проходит часу, чтобы что-нибудь не сломалось. Карл чинит с утра до ночи.

— Да, у Карла обязанностей — хоть отбавляй.

Отворачиваясь к окну, доктор спросил:

— Вы находите?

— Я недавно сосчитал: Карл исполняет обязанности девяти человек.

— Вы шутите! — воскликнул доктор, шумно откашливаясь и смеясь.

— А вот у меня записано, — сказал майор.

Перебирая тонкими белыми пальцами бумажки на ночном столе, он поднял темные очки на лоб, под самую ермолку, надел пенсне с узенькими стеклами без оправы и прочел:

— Коридорный, портье, рассыльный, истопник, полотер, дворник, лифтер, садовник-огородник, шофер-механик. Даже больше девяти.

— Вы позабыли еще, что он обязан быть вежливым и улыбаться, — обиженно сказал доктор. — Какой шофер, если я давным-давно продал автомобиль? А когда ездил на автомобиле, я держал особого истопника. А что значит садовник-огородник? Если Карл иногда притронется к эдельвейсам в моем альпийском садике, не превосходящем по размеру обыкновенной мужской лысины, это еще не делает его садовником. А почему огородник? Это собственная выдумка Карла — растить в парнике салат.

— Но вы этот салат подавали к столу, — кротко сказал майор.

— Я обещал Карлу заплатить за его лопухи, которые вы называете салатом.

— Вы вынуждены тоже называть их салатом, иначе получится, что вы кормили больных лопухами.

Доктор с мольбой протянул к майору руки.

— Милый, милый господин майор! Зачем вы создаете себе столько забот? Это не благоприятствует выздоровлению. Вы должны отвлекать свои мысли от окружающей вас действительности.

— Если бы я был религиозен...

— Какая жалость! Но почему вы так редко читаете, господин майор?

— Романы не способствуют долголетию.

— Вы правы. Слишком много написано дурных книг, я иногда прямо бешусь. Представьте...

Доктор сел на кровать в ногах майора.

— Представьте, милый господин майор. Недавно мне подвернулась французская книжонка, — совершенно невероятно! Описывается вполне почтенный, богатый господин, и понимаете — он живет со своей прислугой! Ужасно! Она беременеет, и он ее выбрасывает на улицу. Каков сюжет? За всю жизнь я не читал книги, более развратной и подлой. Что хотел автор — не понимаю! Но я сам себе неприятен, потому что окунулся в такую мерзость! Нет, благодарю вас! Я не буду читать никого, кроме своего милейшего Эдгара Уоллеса, — сказал доктор и, выдернув из кармана книжку, с удовольствием забарабанил по ней ногтями, приглашая майора полюбоваться.

На цветной обложке было изображено массивное лицо счастливого мужчины, держащего в энергичных пальцах папиросу с необычайно длинным мундштуком.

— Можно читать ночи напролет! Где французам! Безумно увлекает и вместе с тем рассеивает...

— Я хотел бы почитать... — буркнул майор.

— Уоллеса? — оживляясь, спросил доктор.

— Да, тоже... Но сначала этот роман... Про почтенного богатого господина...

Майор опустил на переносицу непрозрачные дымчатые очки. Секунду доктор колебался — поверить или нет?

— Но это действительно ужасный роман, — с шипением выдохнул он, вскакивая с кровати и защищаясь от майора простертыми руками.

— Я думаю, господин доктор, он не ускорит моего конца, — тихо возразил майор.

— Помилуйте, господин майор! — с укором и возмущением сказал доктор, и тут же по-деловому глянул на часы. — Я заболтался!

Он понимающе кивнул пациенту.

— Хорошо, я пришлю вам этот роман о почтенном богатом господине.

2

Когда Левшин начал выздоравливать, он осознал это не разумением и даже не чувствами, а каким-то новым, удивившим его инстинктом. После долгих месяцев непрерывного лежания, по первому снегу его вывезли в санях, и он проехал главной улицей через весь городок. Закутанный в шубу и козловую полость, в валеных ботах и в толстых перчатках, он куклой полулежал высоко в санях, почти вровень с кучерскими козлами. В эту короткую поездку он сделал множество открытий, которые поразили его сердце восторгом. Он открыл, что под полозьями хрустит снег, не просто, конечно, хрустит (это он знал с детства), а как-то многотонно-певуче, какою-то ни на секунду не обрывающейся праздничной и даже ликующей песнью. Он открыл, что отработанный газ бензина пахнет ужасно смешно, и он не мог не засмеяться, когда красный автобус тяжело опередил сани, с басистым рокотом выпыхивая из глушителя сладко-вонючий дымок.

Любопытство ко всему росло в Левшине с увлекающей, веселящей быстротой.

Несколько минут сани обгоняли бежавших по обочине дороги лыжниц и лыжников. Красные лица оборачивались к нему, и он глотал, точно ледяную воду, затвердевшие на морозе улыбки, мелькающие взгляды влажных глаз. Это были ученики и ученицы санатория-школы — на подбор юный народ. Они бежали с открытыми головами, без варежек, в разноцветных шерстяных костюмах. Растрепанная белокурая девушка, большеносая, со сверкающим подстать снегу, оскалом, махнула Левшину лыжной палкой. Он хотел ответить, но, пока тащил из-под полости руку, сани уже догнали другую лыжницу, он помахал ей неповоротливой рукою в перчатке, она по-ребячьи презрительно выпятила губу и отвернулась, а он смеялся, глядя на раскачивающуюся подвижку

лыжников, которые, отставая от него, уходили в гору.

Все, что попадалось ему на глаза, было неожиданно ярко, как будто в горах, или, по принятому выражению, — здесь, наверху, — знали особую тайну красок. Он увидел магазинное окно, сплошь в густых малиново-алых азиях, и с нетронуто-белого пути ему показалось, что языками пламени рванулся к нему и улетучился полыхающий полевой костер. Возле кофейни он увидел высеченного из куска льда медведя, и лед обдал его просвечивающей зеленью южного моря. Ослепляло солнце, люди двигались по снегу налегке, без шапок и шуб, зима была сладостным состоянием, и уже привычно горячо делалось заснеженному лицу Левшина.

Когда он вернулся домой и из Арктурра трусцою выскочил, в халатике, доктор Клебе, выпрашивая, как пришла прогулка и все ли хорошо, а с открытых балконов заулыбались и закивали больные, Левшину вдруг захотелось, чтобы торжественное и немного смешное высаживание его из высоких саней видел доктор Штум. Он посмотрел на гору. В иззелена-черную еловую кайму был вклеен одинокий дом, укатанная глянцева-я дорога кое-где высвечивала из леса, как стекло. Левшин думал увидеть летящего под гору верхом на санках Штума (тот любил так съезжать в город), но дорога была пуста.

Тогда Левшин ощутил мгновенный и неожиданный прилив нежности к Штуму и тотчас понял, что именно ему обязан своим обновлением, своей жизнью.

С этого дня пойманный сознанием новый инстинкт укреплялся не переставая. Лежа на балконе, в меховом мешке, застегнутый ремнями, в неподвижности, которая уже не составляла страдания, а была наслаждением, Левшин смотрел в небо — гладко-голубое, уходившее в невесомую высоту и вдруг падавшее синей плитой на самые глаза, едва они начинали слезиться от мороза.

Слева, вдалеке, за каменной оградой, видна была кучка низкорослых тополей. Левшин помнил все их оттенки — от испуленной зелени весны до осеннего горения желчи. С начала занятий в шко-

лах две девочки, возвращаясь домой, каждый день несколько минут простаивали под тополями. болтая перед расставанием. Он изучил повадки этих подружек, ему казалось — он слышит их значительный, немного секретный разговор подростков. Он знал их платица, угадывал, когда одна из них обожрется ногой о цоколь ограды и будет стоять, как цапля, на одной ноге, когда они при прощанье возьмутся за руки, раскачиваясь и дергая друг друга. Они ни секунду не были спокойны. Листва осыпалась на них, с каждым днем гуще настилая ковер, который они ворошили ногами. Потом листья стали падать реже, и за ветвями появились очертанья перед тем невидимого дома. Однажды, наблюдая подруг, Левшин прочитал по их движениям историю ссоры. Сумки с книгами описывали многообразные фигуры вокруг спорщиц, изредка сталкиваясь и на мгновение приостанавливая полеты. Потом девочки сели на цоколь, сумки были поставлены на тротуар. Объяснение пришло к концу, и как будто наступал момент заключить мир. Последние листья тополей лениво отлетали от веток. Притихнув, подружки поднимали с земли листья и медленно рвали их на кусочки. Эти минуты раздумья и нерешительности Левшин пережил вместе с девочками, внезапно почувствовав, что — нет! они не могут помириться. И правда, девочки вдруг взялись за свои сумки и, не оглянувшись, побежали в разные стороны. Листья были сметены с тротуара, подружки больше ни разу не появились под тополями. Уже после снегопада Левшин увидел одну из них в сопровождении школьница, ростом чуть выше нее. Они стояли на том же месте, у ограды, смущенно перекладывая школьные сумки из одной руки в другую, сгребая ногами пушистый снег и старательно утаптывая его в маленькие скользкие горки. Как всегда, не шевелясь, не подымая головы, Левшин глядел на это первое полудетское свидание, прислушиваясь к теплу своего счастья, разливавшемуся в крови. Он не хотел, да и не мог бы согнать улыбку с холодного лица: она позимнему залубенела от мороза.

Это вживание в неисчислимые мелочи окружения, прежде не замечаемые или наводившие усталость, превращало неподвижность лежания, когда-то пугавший одним своим именем «режим» во что-то деятельное, приятное.

Еще до снега кончилась кладка большого дома, краем видневшегося с правой стороны балкона. Каменщики-итальянцы, работавшие на постройке, получив расчет, вечером пришли к дому. Они затянули песню в три голоса, и голоса были полные, заливные, и песня уходила в горы таким захватывающим дух зовом, что в первый раз за полгода Левшин позабыл о лечении: расстегнув ремни, он быстро вылез из мешка и кинулся к перилам. Он перегнулся в темноту. Обняв друг друга, раскачиваясь, четверо каменщиков шагали вокруг построенного ими дома. Они, видно, хорошо выпили родного кьянти, их песня была и довольной и грустной, она стихала, когда певцы исчезали за строением, напрыгавшись, когда они снова показывались. В этом хождении было что-то торжественное, рабочие как будто приносили клятву своему труду и прославляли его.

Левшин вздрогнул, услышав сдавленный возглас:

— Что это? Вы с ума сошли?

Из освещенной комнаты вылетел белый халат ассистентки Арктура — доктора Гофман.

— Подождите, — сказал Левшин.

— Зачем вы встали? Что случилось?

— Тише, — сказал он опять, поднимая руку и кивком показывая на перегородки соседних балконов.

Замолчав, они стали слушать пение. С упрямой силой, точно помогая работе, песня заглядывала безмолвную окрестность. Вольнее и шире делались голоса, неразъятно было их сплетение, словно они родились, чтобы петь вместе. Дома вокруг, с огоньками балконов и террас, с чуть заметными или только угадываемыми тенями неподвижно-лежащих больных, как будто крались затаившимся плотом по черной реке.

— Похоже? — спросила Гофман.

— На что?

— Напоминает ваши песни, да?

На него глядели серые чуть навывахте глаза, освещенные через открытую дверь комнаты. К ревнивому участию, которое уже привык в них замечать Левшин, словно добавился оттенок зависти.

— Немного напоминает, — ответил он.

Спохватившись, Гофман закомандовала:

— Довольно. Ложитесь немедленно. Слышите? В мешок, сию минуту!

Левшин откинул подбитые черным пахучим козьим мехом клапаны мешка и влез в него. Доктор Гофман принялась застегивать пряжки. Она хмурилась. Из большого нагрудного кармана ее халата торчали стетоскоп, перкуссионный молоточек, вечное перо новейшей модели. Ее руки стали работать немного медленнее, когда она возилась с верхними наплечными пряжками, и теплые пальцы чуть скользнули по щеке Левшина. Он сказал:

— Фрейлейн доктор, я преисполнен к вам необыкновенного почтения.

— Взаимно, господин инженер.

— К вам очень идет стетоскоп. Я удивляюсь, между прочим, почему вы не носите постоянно в кармане небольшой термометр, спринцовку для горла и вообще легкий, красивый инструмент?

— Может быть, мне возить с собою весы для взвешивания пациентов?

— Нет, правда, — когда вы по утрам приходите с этим самым зеркальцем на голове, это придает вам такую невероятную солидность, что я робею. Почему вы не пошли в ларингологи?

— Извольте лежать, как всегда. И больше не делать глупостей. Вы должны дорожить своим выздоровлением.

Он сказал благоговейно-тихо:

— Фрейлейн доктор, вы не поверите, до какой степени безумно я им дорожу!

Он видел, как, отвернувшись и уходя она закусила подмазанную губу, и он долго смеялся, помногу набирая в грудь морозно-чистого воздуха, неудержимо довольный всем на свете.

Раз в полдень приехала новая пациентка. Она свалилась, как снег на го-

лову, и доктор Клебе заволновался, испугавшись, что она так же внезапно исчезнет. Он пригласил ее в лифт и, подымаясь на третий этаж, справился о самочувствии. Она пожаловалась только на утомление. Она ехала из Гамбурга, останавливалась переночевать в Базеле, — путь долгий.

Но вряд ли дело было только в утомлении: доктор на-глаз признал пациентку серьезно больной.

— Кашель вас не беспокоит? — с участием спросил он.

— Иногда, — сказала больная, туг же закашляв.

Доктор Клебе тоже закашлял.

Он показал восточную комнату — желтую с птичками. Умывальник с холодной и горячей водой, дубовая мебель, большое окно, очень уютно. Но приезжая озиралась с тупой усталостью и даже с неприязнью. Тогда доктор предложил посмотреть другую комнату — западную, немного, правда, поменьше. Она была голубая с цветочками, приветливая и простенькая. Вместо умывальника на низком комодке стояли синие таз и кувшин с водой, мебель была ореховой, весьма изящного, по мнению доктора, вида. Больная согласилась с ним, но захотела узнать, где же балкон? Ведь ей надо будет лежать на балконе, не правда ли? Совершенно верно, ответил доктор. Если пациентка желает иметь отдельный балкон, ей придется посмотреть еще южные комнаты, которые, впрочем, дороже восточных и западных. Если же она остановится на этой, очень недорогой, то будет пользоваться общим балконом, в первом этаже, где, в сущности, даже приятнее лежать в обществе других пациентов.

Вдруг приезжая сказала с выражением полного безучастия:

— Я остаюсь здесь.

— Разрешите узнать ваше уважаемое имя? — в самом любезном тоне спросил доктор.

— Инга Кречмар.

— Итак, фрейлейн Кречмар, я вам скажу: вы сделали весьма благоразумный выбор. Вы наверно сейчас же желаете умыться, я покажу вам ванну. Вот тут, около кровати звонок: один

раз — горничная, два — посыльный. Утром и вечером к вам будут приходиться за поручениями в город. Сегодня я вас попрошу спуститься к обеду в столовую. После обеда вам надо будет лечь, у нас такой обычай. О, нет, не надолго, на два-три дня... пустяки...

— Могу ли я видеть доктора Штума? У меня к нему письмо.

— О, конечно! Вы желаете, чтобы вас пользовал доктор Штум? Это наш лечащий врач — очень почтенный, высокоинтеллигентный господин. Вы позволите, я передам письмо.

— Разве он не в Арктуре?

— Но, конечно, да! Он ведет очень многих пациентов Арктуре. Просто он в данную минуту... в настоящий момент находится не в Арктуре. Разрешите...

— И потом еще просьба, — сказала приезжая, — у меня с собой чек... я не знаю, как лучше...

— Чек в марках?

— В фунтах.

— Я полагаю бы... лучше всего...

Она расстегнула сумку, он увидел маленький кожаный бумажник, украшенный фотографическим видом какой-то нафуфыренной, — вероятно, — берлинской аллеи, потом — голубоватый чек с английской прописью: «сто фунтов стерлингов».

— Лучше всего я попрошу моего знакомого банкира прислать к вам сюда прокурита, и у вас не будет никаких забот: вам все сделают. А сейчас я скажу, чтобы принесли ваш багаж. Вещи вы будете любезны держать в шкафу, чемоданы у нас сохраняются на чердаке. В целях гигиены.

Доктор Клебе отвесил поклон, в то же время ободряюще взмахивая рукою — с мужской энергией, но без фамильярности.

Он бегом скатился во второй этаж, его возбужденное откашливание взрывом ахнуло в лестничном пролете, он забежал в лабораторию.

— Вы уже кончаете, фрейлейн доктор?

— Да, скоро.

— Что-нибудь новое?

— У майора бациллы.

— Разве это ново?

— Два раза не было.

— Случайность.

Он взглянул на штатив со стеклянными трубками, наполненными кровью.

— Чья?

— Левшина.

— Ну, как?

— Хорошо.

— Я всегда говорил: Штум — счастливец, ему ворожит бабушка. Помните, что он сказал, когда первый раз посмотрел этого Левшина? Он сказал: от Давоса все еще ждут чудес — присылают такие случаи. Я тогда подумал: это ты хитришь, — если чуда не будет, ты скажешь, что, мол, сразу понял, что случай безнадежный. Но смотрите, как ему повезло, даже с безнадежным случаем.

Клебе нагнулся над микроскопом, лицо его сморщилось, он небрежно повертел зубчатку.

— Отвратительный окуляр, — вздохнул он, разгибаясь. — Как только кончится мизера, я выкуплю наш большой микроскоп и вы, фрейлейн доктор, можете тогда поставить эту старую дудку на шкаф. Мне кажется, острый момент прошел, скоро у нас будут пациенты.

Он помолчал.

— Уже сегодня к нам поступила молодая особа... Ах, вы не знаете? Как же! Очень, о-очень милая молодая особа, и, кажется, — тяжелый случай. Насколько я понимаю — весьма обеспечена, да. Она спустится к обеду. Я прошу вас навесить ее, как только вы освободитесь. Ей будет чрезвычайно полезно ваше участие. Очень славная особа!

Клебе озабоченно побежал в нижний этаж. В холле он встретил почтальона. Среди писем пациентам вспыхнул огненно-желтый конверт, адресованный Артуру. Доктор Клебе с нетерпением вспрол его ногтем. Писала старуха-венгерка — давнишняя богатая пациентка Артура, капризная, сварливая, рассорившаяся с Клебе по прихоти. Ей снова понадобился курс горного лечения, она готова была забыть ссору, снисходительно звала к тому же доктора и объявляла свой приезд на ближайшие дни.

Проглотив письмо одним духом, Клебе выхватил из жилета перо и, отвин-

чивая наконецник, бросился в контору.

В дверях топтался майор. Он был в полной амуниции осторожного больного — в темных очках, в шарфе, в высоких шерстяных ботиках на застежках, с палкой. Обдумывая и рассчитывая движения, он отряхивался от снега и обрывисто, с присвистом дышал.

— Что хорошего, господин майор? У вас сегодня отличный вид.

— Что у вас, господин доктор?

— Много работы. К нам приехала новая пациентка, молодая особа.

— Молодая особа?

— О-очень приятная молодая особа. И потом, вы, наверно, знакомы с госпожой Риваш? Известная миллионерша! Она долго жила у меня и необычайно привязана к Артуру. Она опять приезжает, я тороплюсь ей ответить.

Он взмахнул огненно-желтым конвертом и с размаху открыл дверь конторы. Ему удалось набросать только вступительные строки письма: «Глубокоуважаемая госпожа Риваш! Могу ли я поминить какие-либо недоразумения перед лицом почетного долга сберечь Ваше здоровье! Лучшая южная комната Артура уже с сегодняшнего числа ожидает Вашего приезда», — как вдруг Клебе, расслышав позади себя стук, фырганье, завывание мотора. Обернувшись к окну, он увидел, что, в садик Артура въехал крошечный двухместный автомобиль, из которого поочереди, сгибая под острым углом колени, вылезли мужчина с женщиной. Клебе тотчас понял: англичане, и бросил писать.

Здороваясь и совершенно не интересуясь, понимает ли его доктор Клебе, смуглый, с седыми висками, темноглазый человек говорил по-английски:

— В данный момент нельзя получить комнату в английском санатории. Мне понравилось местоположение вашего дома. Есть ли у вас хорошая комната? Покажите. Где я могу ставить авто, — в вашем гараже? Верно ли, что наверху уже запрещена на зиму автомобильная езда?

Доктор Клебе ответил на все без промедления и утвердительно. Втроем они поднялись наверх. Выбрав комнату,

англичанин обратился за санкцией к своей даме, и она сказала:

— Примиримся.

Они решили поселиться вечером и тотчас уехали, надымив и на шумев неподатливым мотором.

Доктор Клебе сел за стол, но писать не мог. Дым ширился перед глазами, шум переполнял голову. Начинаясь явно другая, давножданная и — наверно — красивая жизнь. Арктур будет полностью занят пациентами. Долги будут уплочены, администрация — снята. Клебе приобретет авто новейшей модели, вновь свободно поедет по Европе из города в город, будет слушать музыку, встречаться с женщинами, покупать книги. В Арктуре он обновит оборудование, поднимет цены, увеличит персонал, возьмется за научную работу: ведь накоплен большой материал по пережиганию плевральных спаек — в этом деле с Клебе может поспорить только доктор Штум. Потом он примется за музыку — пригласит педагога, будет сидеть за роялем каждый вечер по два часа.

Доктор Клебе завинтил наконечник пера и выбежал из конторы. Больные уже собирались в холле, ожидая приглашения к обеду.

Карл с засученными выше локтей рукавами, в зеленом фартуке бильярдного сукна, широко маршировал на кухню. Клебе остановил его:

— Прошу вас, Карл, не показываться пациентам без униформы.

— Понимаю, господин доктор. Я смазываю подъемник, — ответил Карл, выпячивая почерневшие от масла руки.

— Все равно. Вы служите в первоклассном санатории.

— Понимаю, господин доктор, — повторил Карл, сияя улыбкой, как будто выслушал не внушение, а похвалу.

Широкие, быстрые шаги, курчавость, зеленые глаза, горевшие подобно пуговицам его униформы, румянцы и эта неутомимая сияющая улыбка составляли существо, называвшееся Карлом. Именно улыбка, ничем неистребимая приветливость нервировала Клебе в тяжелые минуты. Но если дела поправлялись, Карл был очень уместен. Клебе с удо-

вольствием посмотрел ему в здоровую ровную спину и сам расправил плечи.

— Фрейлейн доктор, — сказал он значительно, — я советую вам распределить занятия в лаборатории более строго. Для крови надо выделить один день в неделю, скажем, — вторник. Реакция осаждения и формула. Среда — мокрота. Четверг — все остальные анализы. Затем: понедельник и пятница — количественное измерение мокроты. Суббота — общий осмотр, взвешивание пациентов. Тогда на каждый день остаются только инъекции. За мною рентген, и я возьму на себя спринцевание горла. Иначе вы не справитесь.

— Но ведь до сего дня я справлялась, господин доктор?

— Ожидается большой наплыв пациентов, — проговорил Клебе, и от него дунуло свежестью. — Я прошу вас привести сюда фрейлейн Кречмар.

Больные Арктюра стояли кучкой, когда в холле появилась новая пациентка. Доктор Клебе представил ее довольно торжественно. Минута прошла в молчании. В Ингу всматривались, она не знала, что сказать. Неужели это — больные, подумала она. У некоторых была завидная внешность — обветренные лица, с давнишним загаром. Майор напомнил ей какого-то борца. Но тут же она нашла в нем, да и во всех других, что-то надломленное, чего в ней самой не было, нет — не могло быть, никогда! Ей сделалось жарко, и она хотела уйти, потому что молчание разглядывавших ее новых знакомых было неделикатно, но один из них — невысокий, изящный, с красным лицом, наконец спросил:

— Вы впервые здесь, наверху?

— Да.

— Надолго?

— Наверно, на всю зиму.

— Ах, вон что...

— А вы давно здесь?

Ей все заулыбались, как взрослые — ребенку.

— Вы какой справляете юбилей? — спросил кто-то у майора.

— Десятилетний, — ответил он, и нельзя было понять: в шутку или серьезно.

— Но патриарх у нас — вы, обратился он к изящному человеку с красным лицом.

— Да иногда мне кажется, что это было в девятнадцатом веке. Я приехал сюда до войны.

— Вам, вероятно, очень нравится здесь? — спросила Инга.

Все засмеялись, и веснушчатая, похожая на мышку, единственная среди больных дама сказала с удовольствием:

— Вам тоже понравится здесь!

Все продолжали разглядывать Ингу. Она была из тех светловолосых женщин, которые без особого повода вспыхивают и прикрывают свое смущение улыбкой или смехом. Левшину показалось, что ее легко довести до слез и что она, мигая, словно защищается тяжелыми веками с загнутыми вверх ресницами. У нее вздергивалась кожа на лбу, приподымая брови, и это движение придавало ее лицу пугливость. Она совсем смешалась от слов дамы, похожей на мышку.

— Никаких правил не существует, иначе все было бы слишком просто, — вдруг сказал Левшин. — Одни живут здесь долго, другие коротко.

— Вы — долго? — быстро спросила Инга.

— Меньше года.

— И поправились?

Больные глядели на Левшина, точно экзаминаторы.

— Поправляюсь, — сказал он уверенно.

В этот момент ударили в гонг. Все пошли в столовую, по пути еще обстоятельнее изучая Ингу.

4

Доктор Штум председательствовал в обществе врачей на сообщении о новых приемах в хирургическом пользовании костного туберкулеза. Заседание происходило подвечер, в кургаузе, в комнате над рестораном, откуда изредка чуть слышна была качкая музыка новоизобретенного танца — румба. Наблюдения докладчика были положительны, между прочим, в той части, где говорилось о

влиянии горных условий на хирургический туберкулез. После сообщения один из врачей выступил с похвалой докладчику и просил его непременно опубликовать свой научный труд, особенно подчеркнув (что, собственно, и следует из доклада) пользу горных, то есть давосских условий, в лечении костного туберкулеза. Собрание стало оживленным. Каждый последующий оратор хвалил докладчика все щедрее, признавая наиболее важной, центральной идеей доклада доказательства исключительности Давоса для лечения костного туберкулеза. Наконец последовало предложение не только опубликовать доклад в научной прессе, но также издать брошюрой, удобной для рассылки по почте. Разумеется, докладу следовало придать соответствующую редакцию, поставив во главу цельность давосского курорта, условия которого только и делают по-настоящему действенным хирургический метод лечения костного туберкулеза. Именно это заслуживает особого одобрения в выдающемся труде докладчика, именно это объясняет его успех.

Таким путем был отыскан нужный язык, все стало ясно, и доктор Штум, поблагодарив коллегу за интересный доклад, закрыл собрание.

Расходясь по домам, врачи намотали на ус, что председатель ограничился тем, что признал доклад интересным, тогда как всем хотелось чем-нибудь подновить деловые перспективы в такое трудное для курорта время.

Доктор Клебе, узнав о докладе, воскликнул:

— Ну, конечно! Я тоже всегда говорил, что костный туберкулез нигде так чудесно не излечивается, как в Давосе! И потом: ведь это — самые благодарные пациенты, с туберкулезом костей: они лежат с утра до ночи, не вставая, и лежат — год, два... Я совершенно солидаризуюсь с докладчиком!

А что касалось доктора Штума, призвавшего доклад лишь интересным, то Клебе пожал плечами. Доктор Штум любил оригинальничать. О курортных врачах, например, он сказал, что это — копилки в пиджаках и черных шляпах.

Недаром после доклада коллеги поторопились распрощаться с ним и, как всегда, он остался один.

Он остался один. Шел к концу тот последний час вечера, который долеживали на балконах свыкшиеся с горным воздухом больные. Было тихо, всходила полная луна, звелел под ногами снег. Его сверкание было необычайно: далеко по дороге, в открытых дворах и альпийских садиках горела россыпь сияющих кристаллов. Доктор Штум нагнулся над сугробом. Выпавшая с утра легчайшая пороша лежала в неприкосновенной чистоте. Огромные — в ногу — снежинки отражали беглый вспыхивающий блеск. Штум брал их на ладонь, — секунду они мерцали, потом гасли, чудесный узор их мигом пропал. Штум вытер мокрую ладонь, снял шляпу. Опять зазвенел под ногами утоптаный снег.

Взбираясь к себе вверх, Штум оглянулся на город, тянувшийся полосой в долине. Разбросанные по склону дома в полном согласии были обращены на юг квадратами балконов, которые светились оранжево-желтыми огнями, и по сочетаниям этих квадратов Штум угадывал в полутьме знакомые санатории. Его глаза нашли Арктур.

Он тотчас вспомнил новую пациентку, осмотренную поутру. Едва он вынул из ушей трубки фонэндоскопа и памятью продолжал еще слышать тона вдохов и выдохов, он неожиданно увидел в пациентке сходство со своей женою — со своей умершею женою — в том, как скользнул острый локоть девушки под узенькую лямку вздернутой сорочки, как в тот же миг обернулась к нему голова и пылливый взлет брови сприсял: к чему пойдет разговор — к хорошему или плохому? Как потом в простодушном вопросе: ничего особенного, господин доктор? — было показано совершенное пренебрежение какой-нибудь опасностью, и как готовно он, Штум, уступил скрытой этим пренебрежением просьбе — отнестись к вещам с юмором, словно опять просила жена о том же, об одном и том же: не напоминай, не говори о болезни. Он сказал:

— Давайте чиниться, фрейлейн Креч-

мар, — и улыбаясь, протянул ей руку. — Посмотрим, как вы будете себя вести. Полежите. Я вас скоро навещу.

Она с удовольствием, немного на мужской лад, пожала ему руку, тряхнула спутанными от раздеванья волосами и вышла быстро.

Штум сказал ассистентам:

— Достаточно ясно.

Они слушали ее сразу втроем — Штум начал с груди, Клебе — с правой лопатки, Гофман — с левой, и обходили ее кругом, последовательно сменяя друг друга на каждом поле торакса, так что первым обошел полный круг Штум, за ним Клебе, за ним, с поспешностью, фрейлейн доктор.

Штум еще раз шагнул к экрану, зажег свет и посмотрел на рентгеновский снимок. Очертив пальцем расплывчатые белые пятна каверн, Штум сказал:

— Отличный снимок.

— Немного резок, — ответил Клебе.

Штум все еще видел жену.

Когда он понял, что спасти ее могут только крайние меры, он потребовал от нее согласия на операцию. Она сказала, что предпочитает пожить еще недолго, чем волочить изуродованное тело несколько скучных лет, и если он хочет, чтобы она немедленно ушла от него, то ему довольно заговорить еще только раз об операции. Он не говорил больше об операции, не говорил о болезни, даже тогда, когда жена уже не вставала, он лишь облегчал ее муки, насколько был в силах. Она была все время слегка наркотизована повышенными дозами лекарств, которые даются для притупления чувствительности, так и умерев под наркозом. Штуму казалось, что он ускорил конец, но он был убежден, что не мог бы сберечь больше страданий, чем в этом случае с женой. Он винил себя в ее смерти. С тысячами больных он поступал по подсказке своего опыта, подчиняя себе их волю. Среди этих тысяч он и нашел ее — она была его пациенткой и перестала быть ею, сделавшись его женой. Такие «случай», ее «случай» — как он выражался — лежали тут же рядом, на балконах санатория, и Штум справлялся с ними, почти без промаха. Ее «случай» оказался вне воз-

действия перестал существовать, как «случай». С момента неблагоприятного предсказания, сделанного им самим, он наблюдал во всех мелочах течение процесса. Но вместо того, чтобы сломить ее счастливое, наивное, пренебрежительное легкомыслие, он покорялся ему. Она говорила:

— Ты мне — возлюбленный, а вовсе не доктор медицины.

Потому что она очень дорожила каждым жизненным фактом и во всяком явлении открывала что-нибудь новое, Штум никогда не жил так насыщенно, как с ней. В этом чувственном переполнении он и пробыл до ее гибели, и ее гибель была для него концом всякой жизни. Только год спустя Штум понял, почему он жив, когда все кончилось: его спас неудержимый разбег навыков, привычек, дисциплины того самого доктора медицины, которого они умышленно выключили из своей жизни. И в постоянных воспоминаниях о жене пережитое с ней чудилось ему какой-то первой елкой детства, о которой не скажешь — помнишь ли ты о ней — или знаешь только по чьим-то рассказам.

В письме, привезенном Ингой, знакомый Штуму врач писал, что эту юную, неуравновешенную, недостаточно серьезную, но, впрочем, славную девушку — по его мнению — можно спасти. Он особенно надеется на это, посылая ее Штуму, и просит уважаемого талантливого коллегу внушить больной необходимые правила. Он просит его и от имени отца Инги — своего давнего знакомого инженера, — готового на всякие жертвы для дочери и, по безработице, занимающегося сейчас неблагодарным трудом конторщика.

Спустя неделю накопились первые клинические наблюдения, и, навестив Ингу в ее голубой с цветочками комнате, Штум опять сильнее всего почувствовал желание пациентки избежать разговора о болезни. Он снова поддался и ушел из Арктика недовольный и взволнованный.

Глядя с горы на заснеженную крышу Арктика, Штум думал одновременно о докладе, прослушанном в обществе врачей, и об Инге Кречмар и, проверяя се-

бя, подтвердил вслух основу своих убеждений:

— Лечит сознание опасности.

Ему стало холодно, он надел шляпу и зашагал вверх валкою горной походкой...

Его новый визит к Инге состоялся в неурочное время — в воскресенье перед обедом. Клебе ввел его в комнату с таким видом, точно поднес нарочью припасенный подарок и, потеряв руки, улыбаясь, ушел. Почти сейчас же после его ухода подали вермут с высокими, синими, похожими на перевернутые колокольца рюмками. Это было нарушением всех правил, и Штум сказал:

— Беру грех на себя.

Столик, за которым Инга, полулежа, обедала, повеселел от прозрачных красок вина и посуды, от вспышек ее граней.

— Когда же, доктор, я буду вставать? Говорил, полежу несколько дней, потом — еще несколько дней, потом еще. И вот уж минуло целых три недели, а я все лежу...

— Да, безусловно, три недели — это порядочно, — строго сказал Штум. — Но, видите ли, сударыня, температуру то вы не снижаете?

— Но ведь я же ничего особенного не прошу. Я только немного — вставать. И потом, почему мне нельзя лежать на балконе?

— Я хотел вам сказать одну вещь и прошу послушать меня. Но сначала давайте выпьем.

Он взял рюмку и чокнулся с Ингой, подойдя близко к кровати.

— Каково вино, а?!

— Да, — сказала Инга, — почему оно горчит?

— Разве?.. Не могу сказать. Такой букет. Впрочем, не знаю. То-есть знаю, конечно: таким должен быть вермут. По-вашему...

— По-моему, вино обязано быть вкусным. А это пахнет хиной.

— Хорошо, что вам не нравится, а то вы приучитесь.

— Я хотела бы приучиться. Я пила бы с утра и на ночь, и всегда была бы в таком тумане. Тогда пропали бы не-

приятные мысли, вообще, всякие мысли, правда?

— Насколько я понимаю, пьяным мысли мешают больше, чем трезвым.

— Пьяной я ни за что не хотела бы быть. А так, чтобы не думать...

— Я как-раз собирался вам сказать. Не думать — это очень хорошо. Правильнее выразиться: не думать о плохом. Еще правильнее: думать оптимистично, думать положительно. Для этого нужно не опьянение, не туман, а как раз обратное — ясность или сила. Больше ничего. Я наблюдаю за вами, фрейлейн Кречмар, и теперь могу утверждать, что вы обладаете нужной силой. Я имею в виду необходимую физическую силу.

— Я?

— Да, да, вы! Вот вы спрашиваете, можно ли вам вставать. Разумеется, можно!

— Можно? — вскрикнула Инга.

— Тише, тише! Зачем такие резкие движения? Так вот. Как вы себе представляете: неужели у вас нет сил, чтобы вставать, двигаться, даже прогуляться?..

— Но я же все время спрашиваю и спрашиваю!..

— Ну, да, да, они есть у вас, эти силы, — успокаивающе воскликнул Штум. — И задача лишь в том, куда их приложить. Задача в экономии, в расчете сил, а силы должны найтись.

— Мне очень плохо? — вдруг тихо спросила Инга.

Она часто мигала, кожа на ее большом лбу вздергивалась не переставая, она вмяла локти в подушки, приподымаясь. Ключицы выпирали из-под ее белой расстегнувшейся пижамы. Штум налил себе еще вермута.

— Вы сказали про вино, что оно обязано быть вкусным...

— Я знаю, что вы скажете, — со страшной поспешностью выговорила она. — Доктор обязан быть правдивым или что-нибудь такое?..

Штум медленно выцедил рюмку.

— Нет, вам не так плохо, — сказал он, нажимая на каждое слово. — Но вы должны знать о своем состоянии возможно полно, а моя обязанность, разумеется, — быть правдивым. Вы находи-

тесь в таком положении, что должны воспользоваться всеми мыслимыми возможностями для борьбы с болезнью.

— Господи! Простите, — вы так длинно!..

Штум поерзал неуклюже в кресле.

— Ничем не пренебрегать, что у вас имеется. Все силы — в одну точку. Значит, решительно нельзя вставать. И вообще. Все силы организма — против болезни. И кроме того, помочь борьбе вмешательством, которое, в вашем случае, я считаю совершенно необходимым. Помочь. Понимаете?

— Это что? — спросила Инга. — Как это называется: пневмоторакс?

— Вот видите, вам уже все известно! Да, в вашем случае, я считаю...

— Это надуть воздухом легкое, через иголку, да?

— Ну, знаете, — засмеялся он, — надуть легкое — это не может пройти безнаказанно, даже нам, медикам.

— О, я не знаю! Словом — протыкать бок иголкой? Верно?

— Я объясню. Больное легкое надо поставить в такие условия, чтобы оно меньше работало. Для этого мы его сжимаем, отнимая у него часть принадлежащего ему места. Это делается совсем безболезненно, потому что обычная работа легкого — дыхание — собственно и состоит в том, что оно сжимается и разжимается. Это его природа. Представьте себе губку...

— Ну, да, хорошо, губка! Но вы будете меня прокалывать иголкой или нет?

— Вот, послушайте. Как мы можем сжать легкое? Если мы введем какой-нибудь газ между реберной плеврой и плеврой, в которую заключено легкое...

— Но этот самый газ вы вдуете иголкой?

Доктор Штум пожал плечами:

— Фрейлейн Кречмар, вы вправе отказать от пневмоторакса. Вас никто не будет принуждать. Я хотел разъяснить, посоветоваться с вами.

— Нет, нет! Благодарю вас. Пожалуйста, я буду слушать, — сказала Инга, опускаясь на подушки.

— Вам предлагается обдумать и решить.

— Нет, нет. Я ведь просто хотела узнать, очень ли все это больно, что вы говорите.

— Уверяю вас, — ответил Штум, снова подходя к кровати, — ничего страшного нет, ничего! Я проделываю эту штуку по десять раз в день, и все идет как по маслу, люди с удовольствием подставляют мне свои бока и очень часто просят поскорее, не дожидаясь срока, поддуть немножко воздуха, потому что лучше себя после этого чувствуют.

— Значит... оно много раз должно повторяться, этой иглой? — спросила она.

— Более или менее. По-разному. Прошу вас, обдумайте, фрейлейн Кречмар, и мы с вами вместе решим, когда это проделать. Терять времени, разумеется, не будем, хорошо? Сначала, я думаю, мы наложим на правое легкое, потом наблюдаем.

Инга поднялась, опираясь руками в постель.

— Что значит — сначала? Вы хотите наложить... сдавить мне оба легких?

— Вы ведь знаете, фрейлейн Кречмар, что у вас поражены оба. И мне еще не совсем ясно, в каком процесс зашел дальше. Но я думаю, если мы начнем с правого...

Инга стала кашлять. С хрипом и бульканьем вырывались из нее толчки воздуха, узенькие плечи дрожали, ямы ключицу проглотили шею.

Штум взял со столика плевательницу, открыл и поднес ее ко рту больной.

— Плюньте, — приговаривал он спокойно. — Надо плевать. Непременно как следует, по-настоящему плевать. Отхаркиваться и плевать надо научиться, это — как азбука.

Но Инга не могла вздохнуть. Ее глаза стали огромными, белки помутились, на лбу и губах высыпал пот. Штум подставил ей под лопатки руку.

Наконец, понемногу она стала удерживать воздух в груди, откашлялась и, в изнеможении, повалилась на подушки. Он придержал ее.

— По-настоящему плевать, все наладится, — сказал он недовольно. — И ничего не бояться. Посмотрите, в детском

санатории — ребята с двусторонним пневмотораксом в футбол играют. И знаете, завидуют спортсмены...

— Когда меня сюда отправляли, — чуть слышно сказала Инга, — мне клялись, что здесь так чудесно, такой климат, что я перерожусь. Что здесь так легко дышится!.. Но чем же дышать, если вы сожмете мне оба легких?

— Чтобы жить, — наставительно ответил Штум, — человеку достаточно примерно одной пятнадцатой поверхности его легких.

— А чтобы умереть? — спросила Инга и, боясь опять закашлять, рассмеялась одними мокрыми, мигающими глазами.

— Вот мы и заключили союз! — живо сказал Штум, — браво! За это я разрешаю вам сегодня встать! Да! Сегодня — международный чемпионат по прыжкам на лыжах. Из Арктюра будет хорошо видно, сверху, на восток. Я скажу Клебе, чтобы он вам показал.

Доктор Штум, заторопившись уходить, потряс ей горячую руку.

Инга лежала, не шевелясь. Тишина, отчетливый пульс которой она уже научилась распознавать, неожиданно приглохла, как будто в жилах сгустилась кровь. Через открытое окно вплыл грустный зов рожка: почта шла в недалекий Клавадель. Три ноты: с нижней ступени — на верхнюю, назад — вниз, и потом с нижней — на среднюю, — весь напев. Сколько веков лился он грустно по горам, сколько людей, приостановившись на тропинке, слушали его нехитрые лады, как много возвестил он надежд, как много принес печали. Неужели ей, молодой, веселой Инге, суждено долго, может быть, всю жизнь слушать по утрам эту мелодию? Какое разочарование! Почта шла в Клавадель — ни эти слова, ни напев рожка не улетучивались из ушей. Что такое Клавадель? Курорт с вычурными отелями, суровая ретийская деревушка, или горстка общежитий с балконами, террасами, с открытыми настежь окошками и дверьми, за которыми ждут своей участи неподвижные большие? Почта шла в Клавадель... Отец не писал Инге пять дней. Он работает, не разгибая спины, чтобы Инга могла

лежать здесь, наверху, не шевелясь — долго ли? — год, два или еще дольше?

Инга подняла руку к ночному столу. В ящике хранились письма. Она пошарила там и нащупала круглую металлическую пудреницу. Она раскрыла ее и поднесла зеркальце близко к глазам. Рассмотрев ресницы, брови и ноздри, показавшиеся ей очень красивыми, она дала пушку волю побегать по лицу. В эту минуту начался кашель. Она привстала, стараясь возможно больше согнуться. Пудреница соскользнула на пол и покатилась. Скорчившись, Инга не спускала с нее глаз, чтобы знать, где ее потом найти. Кашель разрастался. Она вспомнила доктора Штума и решила научиться плевать. Она потянулась за плевательницей. Пот булавочными головками высыпал сквозь пудру на лбу и вокруг рта. В голове, не переставая, пел почтовый рожок и в такт кашлю, по слогам, выкладывалось слово Клавадель.

5

По ровному, почти вертикальному скату горы стрелою падала узкая просека, переходившая у лесной опушки в досчатый трамплин — длинную дугообразную дорожку на бревенчатых сваях, припудренную снегом. Немного загнутый вверх конец трамплина обрывался высоко в воздухе над пологим склоном.

Из Арктура видны были отчетливо сборы к состязанию: бежали цепочками лыжники, скучивались по сторонам трамплина зрители, увальнями протащились по сугробам музыканты. Свернув с дороги, проваливаясь в снег, начала взбираться на склон карета красного креста, запряженная парой жирных лошадей. Прыгуны, взвалив на плечи лыжи, медленно двинулись в гору, то исчезая в лесу, то появляясь на краю отвесной просеки — белоснежной среди зелено-черных елей.

Пациенты Арктура собрались в верхнем этаже, у окна, все, кроме английской четы, обладавшей национальным свойством, — обитая со всеми вместе, жить совершенно отдельно. Это был пастор с супругой, приехавший заменить

в английской кирке коллегу, который отправился в отпуск на родные острова. Гордость не позволяла населению Арктура признаться, что оно оскорблено манерою англичан, и с ними держались так, как подобало самому холодному приличию. За глаза о пасторе с супругой говорилось насмешливо. Почему-то всех шокировало, что они явились в санаторий на собственном нелепом автомобиле, торчавшем теперь во дворе, так как его владелец предпочитал прогревать мотор на свежем воздухе, чем в нетопленном гараже доктора Клебе.

Перед началом прыжков этот кургузый автомобильчик показался на дороге. Его сразу увидели и сразу же все внимание сосредоточилось на нем. В это время, развезжаясь со встречными праздничными санями, он провалился передним колесом в снег: отдаленная загородная дорога была чересчур узка.

— Духовные особы сели, — сказал один из пациентов.

Бинокли стали бойко ходить по рукам, никто не думал сдерживать смех, заглядывая через головы и плечи друг друга в окно. Особенно развеселились, когда из распахнувшейся дверцы автомобиля высунулись знакомые острые коленки пастора и, немного спустя, надменные супруги принялись раскачивать и толкать застрявший кабриолет.

— Позвольте, — спросил майор, меняя пёксне на очки, — ведь в горах уже давно запрещено ездить на автомобилях?

— Господин пастор имеет особое разрешение от кантональных властей, — корректно сообщил доктор Клебе, в надежде сгладить впечатление от общего смеха. — Господину пастору было бы иначе трудно исполнять свой нелегкий долг.

— Меня удивляет эта назойливая манера англичан всегда чем-нибудь выделяться, — сказала богатая венгерка. Она заняла центральное место перед окном. Ее холеная седая голова, желтое лицо с омертвевшими от массажа морщинами были неподвижны. Бриллианты украшали ее шею с обвислой, как стиральная холстинка, кожей. На коленях она держала перламутровый бинокль и

рядом с ним — руки, с тяжелыми горящими кольцами на безымянных пальцах.

Ее реплика об англичанах задала тон доктору Клебе.

— В англичанах, вообще, есть нечто бездушное, — сказал он.

Богачка повернула на него веские, как стекло, глаза.

— Бездушные лучше двоедушия.

— Ах, это правда, — от всего сердца вдруг вскрикнула Инга.

— Я всегда говорю правду, — не взглянув на нее, сказала венгерка.

Доктор Клебе впился в бинокль. Его короткие подобранные губы обескровились, он слишком явно страдал и, жалея его, не совсем понимая, что происходит, майор проговорил с разочарованием:

— Можете себе позволить, сударыня.

— Что именно? — спросила венгерка.

— Говорить правду.

— Как всякий честный человек, — сказала она.

Клебе освобожденно провозгласил:

— Начинают, смотрите!

У Левшина было впечатление, что он находится за окном и оттуда разглядывает скученные, как в театральной ложе, лица больных. Инга очень похудела с тех пор, как он ее видел. Несмотря на оживление, с каким она держалась, ее рот был сжат усталостью. Майор потихоньку косился на нее из-под очков. Клебе любезнейше предоставил ей удобное место, все справились о ее самочувствии, одна венгерка, исчерпавшая свое внимание на себе, отдалась безучастной.

— Смотрите же, — волновался Клебе.

Забравшийся на самый верх просеки лыжник стоял, не шевелясь, поперек дорожки. Вдруг он подпрыгнул и, повернув лыжи вдоль дорожки, ринулся вниз по отвесу. Он камнем прочеркнул просеку, за ней — кривую трамплина, оторвался от него, слегка взметнулся вверх и полетел по воздуху. Он махал руками, как большая птица — крыльями. Он близился к земле, а земля убегала из-под него падающим склоном горы. Он наклонялся вперед и летел, летел. Люди, стоявшие на склоне по краям дорожки, задрав головы, придерживая шляпы, следили за полетом. И вот пры-

гун коснулся лыжами дорожки, подогнув колени, приседая, мчась по снегу, как по воздуху и, наконец, круто заворачивая вбок, чтобы остановить едва удержимый раскат. Снежная пыль за сломом взвилась из-под лыж и когда села, все увидели, что прыгун не удержался на ногах, и лыжи — крест-накрест — раскачиваются над ним, беспомощно цепляясь друг за друга.

— Так долго, — воскликнула Инга, когда лыжник был в полете прыжка, и потом насилу подавила крик в момент падения.

— О, это случается, — сказал Клебе. — Но спортсмен обязан устоять. Я удивляюсь, что он упал, в сущности, отлично выполнив прыжок и уже тормозя. Ему что-нибудь попало под лыжу — камень или кусок льда. Посмотрим дальше. Чтобы побить мировой рекорд, надо сделать прыжок длиной больше восьмидесяти метров. Вы видите в бинокль, там выставили цифру — на сколько прыгнул этот первый?..

С горы низвергался второй. Он мичовал трамплин, низко приседая, распрямился на самом его конце и, вскинув руки, как канатоходец, поддерживая ими равновесие, парил над склоном спокойный и прямой. Люди внизу захлопали ему в ладоши, но приземляясь, он вдруг кувырком покатился к подошве горы и, насилу поднявшись, весь в снегу, медленно побрел прочь с дорожки.

— Он поздно согнул колени и не успел спружинить, дал козла, — объяснил Клебе.

Довольный, что понимает в прыжках больше пациентов, доктор старался быть приятным, точно конференсье, и его беспокоила только венгерка, глядевшая в окно брезгливо. Состязание увлекало его. В парившем над дорожкой лыжнике он увидал на один миг себя, и взмахивал, и взмахивал могучими руками, и дорожка неслась перед ним недосыгаемой солнечной стрелой. У него загудело в ногах — настолько ясно ощутил он толчок приземленья, и свистящее мчание по снегу, и торможенье на повороте. Его прыжок, конечно, был басенно длинен — сто метров — не меньше и не больше! — и вот уже приглашают докто-

ра Клебе скандинавцы, он едет в Осло, он прыгает на знаменитом Холменколлане — чудесной горе, которая пестует мировых рекордсменов, и доктор Клебе бьет всех рекордсменов, и все поражены. И доктор Клебе начинает в каждом прыгуне чувствовать себя...

Двое лыжников удержались на ногах, но их прыжки были невелики по длине. Один — прыгнул очень далеко и великолепно устоял. Ему аплодировали, он зашагал грациозною раскачкой спортсмена вверх, к судьям. Однако каждый второй прыгун после приземления падал, и это ничуть не пугало, а только смешило зрителей.

Но одно падение было необыкновенно. Лыжник потерял равновесие еще в воздухе, его корпус летел вперед, ноги отставали, и лыжи, утратив параллельность со склоном горы, неслись над нею под прямым углом. Видно было, что человек упал, еще не коснувшись твердой почвы, и он ощущал это, и мучительно силился выправиться, и оттого еще больше ухудшал свое положение относительно земли, поворачиваясь к ней боком. А инерция сорвавшегося в пропасть камня все несла и несла его по воздуху, вниз и вниз, пока не ударила оземь. Он упал почти на спину, зарыв сначала одну лыжу носом в снег и разорвав ее на щепки. Он мешком катился под гору, и странно было видеть мелькание вокруг его тела вперемежку локтей, коленок и несуразно-длинной, черной уцелевшей лыжи. К нему мгновенно бросились люди из толпы, потом — санитары, и дремавшая пара жирных лошадей, закидавшись в стороны, насилу сдвинула с места карету красного креста.

Инга оторвала от глаз бинокль, сунула его своему соседу, тотчас выхватила назад, опять приложила к глазам.

— Он разбился! — пробормотала она.

— К сожалению, это может случиться, — сказал Клебе.

— Он разбился на-смерть, он мертв! — вскрикнула она.

— С такими нервами надо лежать в своей комнате, — тихо сказала венгерка.

— Но вы же видите — его несут!

— Это — его риск, — сказала венгерка громче.

— Может быть, он просто в обмороке? — сказал майор.

— Да, скорее всего он просто ушибся, — согласился Клебе. — Смертельные случаи вряд ли тут возможны. Я, по крайней мере, не могу припомнить. Перелом конечностей — разумеется. Смотрите, вон уже мчится следующий.

Инга плакала. Сжав губы, она силилась не потерять самообладания, не раскашляться и не вскрикнуть. Указательным пальцем она вытерла щеки снизу вверх и достала из сумки пудреницу. В окно она боялась смотреть.

Левшин первый увидел ее слезы.

— Хотите, я провожу вас в комнату? — сказал он так, чтобы слышала только она.

— Нет, нет!

Она закрылась ладонью и вскрикнула — нельзя было удержать в себе накопившуюся тягучую боль. Доктор Клебе сказал:

— Милая фрейлейн Кречмар! О, я не ошибся в вашем сердце. Я так понимаю ваше волнение! Но, право, оно напрасно: ничего не произошло, что было бы достойно вашего беспокойства. Спортсмены поправляются так же легко, как ящерицы, уверяю вас. Вот вы увидите игру канадцев в хоккее: человеку проломают клюшкой голову, он заклеит рану пластырем и опять выбегает на лед. И только злее играет после этого. Ведь это же не мы с вами! Пойдемте, отвлекемся немного.

— Нет, нет!

Ее обступили, и каждый хотел настойчивее проявить свое участие, но она твердила: нет, нет. Плач ее стал обриваться в кашель.

— Нельзя же настолько игнорировать других! — сказала венгерка, поднимаясь и отодвигая стул.

Доктор Клебе встревоженно затряс головой и осмелился дотронуться до локтя Инги. Она отдернула руку. Он оглянулся на венгерку и по ее позе убедился, что она требовала решительного вмешательства.

— Фрейлейн доктор, — сказал он ассистентке, — проводите, пожалуйста, нашу милую фрейлейн Кречмар в ее комнату.

— Нет, нет, благодарю вас, не надо.

Инга обернулась к Левшину:

— Вот — вы.

И она чуть приподняла локоть.

Они прошли коридором по скрипящим навощенным до блеска половицам, спустились этажом ниже, миновали другой коридор — все молча. В комнате Инга подошла к зеркалу. Левшин смотрел на нее сбоку. Она постепенно утихла, редкие всхлипы вырывались изглубока. Ее худоба показалась ему привлекательной, но кожа на лице и руках была какою-то особого цвета усталости — землистая, с неожиданными голубыми тенями, которые он хорошо помнил по себе, — что-то похожее появлялось у него раньше над губами или вокруг ногтей.

— Отвернитесь, что вы меня разглядываете?

Он стал лицом к окну, но скоро вновь обратился к ней и спокойно доглядел, как тщательно она уничтожает следы слез.

— Вы думаете, я заплакала от жалости к этому несчастному лыжнику?

— Может быть, от жалости к себе?

— Почему вы решили?

Она посмотрела на него, дергая бровями.

— Я хочу лечь.

Не дойдя до диванчика, она сказала:

— Мне надо... Мне сожмут оба моих легких!

У нее страшно быстро опять навернулись слезы, как будто она и не переставала плакать.

— Как вы считаете, соглашаться или нет?

Он засмеялся, шагнув к ней и с удивлением наблюдая странную пляску кожи на ее лбу.

— Послушайте, ведь это — сущие пустяки, и тут нечего раздумывать.

Она отшатнулась от него.

— Вы не в своем уме!

Она легла на диван и лежала молча. Его опущенные руки были чуть-чуть выше ее лица, она изучала их. Мельком она видела эти руки один раз, в столовой, в первый день приезда: Левшин сидел за соседним столиком и на загорелых его кистях разветвленные надутые жилы казались зеленоватыми и жесткими. Она тогда подумала — не от бо-

лезни ли так вздуты жилы, и ей захотелось потрогать их. Теперь жилы на этих руках были почти голубыми и, наверно, теплыми, мякоть же их чувствовалась на-глаз. В руках было что-то сильное, пожалуй, докторское, наверно, такие докторские руки причиняют боль.

— Значит, по-вашему — соглашаться?

— Если Штум считает нужным, — соглашайтесь.

Целая минута прошла в молчании.

— Вы знаете Клавадель? — спросила Инга.

— Это — местечко вот тут, за горой.

— Вы были там?

— Нет. Слышно, как туда ходит почта.

— Да. Рожок.

— Это — автомобильная сирена.

Она вскинула большие, широкие глаза, как будто защищаясь от него загнутыми вверх ресницами. Он продолжал с удивлением смотреть на ее брови и лоб.

— Интересно, что там? — спросила она.

— Где?

— В Клаваделе.

— Да, правда.

— Что — правда?

— Интересно, — проговорил он, внезапно чувствуя волнуящую глупость разговора.

Тогда Инга спросила:

— Можно потрогать у вас жилы на руках?

6

Еще до завтрака в дверь Левшина просовывалось черно-коричневое лицо грека. Оскаливаясь, маленький человек робко шептал на фантастическом русском наречии:

— Здравствуйте, господин. Я только хотел знать, как вы чувствуете?

На самом деле, он хотел знать не только это. В пузатом чемоданчике он носил одеколон, бритву и машинку для стрижки, в карманах — тщательно завернутые в бумажку куски мыла. Лежачих больных он брил в постелях, умело взбивая и приспособливая подушки. Контрабандно он поторговывал парфю-

мерией. В конце городка приютилась его парикмахерская, в которую заходили только соседи, и если бы он не сновал по санаториям с набитыми карманами, ему нечем было бы кормить троих греченят, таких же черно-коричневых, как он сам.

Пальто он оставлял внизу, а шапку, принеся с собою, клал на чемоданчик. Другой такой шапки не могло быть нигде: географическая карта посиневших кожаных плешин вперемежку с островками красно-рыжего котикового меха, еще не вылезшими благодаря исторически накопленному на них салу.

— Эта шапка — тридцать три лет, — говорил грек шопотом. — Ее нельзя потерять, она от Москва!

Он закрывал рот всюю ладонью, озираясь на двери и потом с гримасой страданья долго шипел: тш-ш-ш!

— Бы были в Москве?

Грек переходил на другое фантастическое — франко-немецкое наречие.

— Да, перед отъездом из России я немножко был парикмахером в Москве (он изображал пальцами парикмахерские ножницы). У-ух! — холод!

Он дул в крепко сложенные кулаки.

— На улицах — огонь.

— Костры?

— Да. И городов. Большой городской!

Он прыгал с ноги на ногу и тянулся рукою ввысь, точно хотел достать на городском шапку.

— Давно же это было!

— Тридцать три лет.

Он опять быстро зажимал рот.

— Что такое сейчас Москва? Тш-ш! — шипел он, в ужасе крутя глазами.

То, что ему рассказывал Левшин, он слушал со сдавленным дыханием, держась за сердце. Много было таинственно-влекущего в этих рассказах, и старая пылающая кострами Москва сплеталась в его воображении со всем прекрасным, что он видал в жизни: с Абастуманом, где — в юности — он научился брить и делать куафюры, с Трапезундом, куда он ездил за своей невестой, ожидавшей его много лет и сохранившей верность, с горячей землей

Греции, где — как он все еще мечтал — ему удастся разбить сад для детишек, с самими детишками, с их лакированными глазами на глянцевых мордочках. Он прижимал к сердцу драгоценную шапку и в восторженном перепуге шептал:

— Ах, вы хорошо рассказали, как теперь — Москва. Т-ш-ш!

И он оканчивал визит своим сердечным заклинаньем:

— Главное, господин, вы хорошо чувствуете!..

Следом за ним являлся Карл. Сколько раз видел Левшин это лицо, и всегда недоумевал: было ли его вечное сияние просто функцией безоблачного здоровья, или в нем отражалось ликующее торжество духа? Приход Карла мог быть уподоблен только самозажженику планеты, возглавляющей роскошную небесную систему. Он произносил:

— С добрым утром, господин Левшин, — и обыденное приветствие получалось у него так, как будто он с детства рвался к этому мгновению и считает его важнейшим на своем жизненном пути. Затем он спрашивал: — Имеются ли поручения, будьте добры?

Осчастливленный, он писал в блокноте, приговаривая:

— Пять почтовых марок по ноль запятая тридцать; одну тубу «Хлороформа» за один франк ноль-ноль; одну плитку шоколада горького за ноль запятая восемьдесят.

Все, что ему говорилось, радовало его. Если он приносил почту, то — с видом поздравителя — сообщал:

— Москва пишет.

И удалялся благодарный, хотя благодарность заслужена была им емим....

Спустя полчаса приходил доктор Клебе. Он выпевал свою программу: как почивали? температура? — и потом, иж спеша, нащупывал какую-нибудь тему в интересах здоровья — не слишком свежую.

В этот раз он был встревожен, и хотя старался выполнить весь ритуал. комкал его и, видно, колебался: посвятить ли Левшина в свои волнения или нет. Вытащив из кармана очеред-

ной роман Уоллеса и пренебрежительно помахивая книжкой с его портретом, Клебе говорил:

— Конечно, он — не Достоевский и не Лев Толстой, этот самый Эдгар. В какую голову придет, вообще, сравнивать!

Он хватался за голову, в которую не могло притти подобное сравнение.

— Стоит посмотреть на эту малоинтеллигентную толстую физиономию с папиросой! Я не ставлю его ни во что! Но я держу его для пациентов. Кто хочет рассеяться и спокойно заснуть с книгой, тому я не могу рекомендовать Достоевского, согласитесь. И потом, милый, милый господин Левшин! Преждему читателю было очень интересно узнать о действительности при помощи романа, потому что он о ней не имел понятия. А теперь действительность поглощает нас без остатка, и мы рады, когда роман рассказывает нечто мало-правдоподобное. Серьезный писатель пишет так, что его книги требуют размышления. А это утомляет. Читатели хотят с книгою в руках чувствовать себя театральным зрителем, за которого сделаны все выводы.

Клебе заложил руки за спину.

— Мы слишком часто в жизни являемся свидетелями испорченной, аморальной психики, чтобы, вдобавок, изучать уродства души по романам.

Он наклонился к Левшину.

— Недалеко ходить за примером, — ваша соседка. Нет, не та, а вот эта (он показал на балконную перегородку). Я думал, эти характеры встречаются только у психологических романистов. И, боже, как я заблуждался!

— Я плохо слышу, — громко сказал Левшин.

— Ля-лим, ля-лям, — пропел доктор, подражая клавишному почте, и, с кашлем отшатнувшись от Левшина, сунул нос за перегородку на соседний балкон.

— Ее нет. Она создает себе собственный режим: гуляет, когда надо лежать. Что дает ей право так поступать? Неужели — деньги?

Доктор выпучил глаза.

— Что подумают пациенты? У док-

тора Клебе богачам можно делать что хочешь. Так?

— А на самом деле?

— Вы ведь знаете, какая у меня в Арктуре дисциплина.

— Тогда предложите этой даме покинуть Арктур.

— Я так ей и сказал: мадам Риваш, если вы, во вред своему здоровью, не будете соблюдать установленный медицинский режим, вам придется расстаться с Арктуром.

— Весьма достойно.

— Да, я так и сказал. Или, собственно, я сказал: Арктуру придется расстаться с вами.

— Тоже хорошо.

— Вы представьте себе. Мадам Риваш больна, кроме туберкулеза, диабетом. Она критикует стол. Но из мыслимых десяти блюд ей разрешается одно. Я говорю ей: мадам Риваш, я делаю для вас все, что в моих силах, почему бы вам не пригласить повара-специалиста по диетическому столу? За счет Арктура — извольте, говорит она. Я пожал плечами. О, всему, всему есть границы! Вы знаете токайское вино, господин Левшин, настоящий венгерский Токай? Так эта мадам Риваш — владелица всех токайских виноградников! Мультимиллионерша! Что это такое — мультимиллионерша — мы с вами не знаем. Я даже не понимаю, что значит — миллион? И она позволяет себе говорить насмешливо с каким-то доктором Клебе! Она принимает его, заломив голые руки под затылок! Она насмехается над бедным Арктуром, который — что бы она ни воображала — сохраняет ей здоровье. Вы берете с меня самую высокую плату, говорит мадам, за эти деньги я вправе требовать все, что хочу. Я пожал плечами, я опять пожал плечами, господин Левшин, что я могу еще сделать? Тогда она добавляет: вправе требовать все, что хочу, включая ваши нервы, господин доктор. Я ответил, что мои нервы не значатся в проспекте Арктура и не показаны при диабете. Она сказала, что после этой моей грубости ей придется покинуть Арктур во второй и последний раз.

— Значит, она сама заявила, что уезжает?

— Нет, позвольте. Она назвала мои слова грубостью. Я был готов признать их неучтивостью. Но...

Клебе опять заглянул на соседний балкон. Выпрямляясь, он распахнул халат. В его осанке, как спичечная вспышка, мелькнул вызов. Он вложил руки в брючные карманы. Его подбородок выпятился.

— Но я не извинился, — сказал он, — наоборот, я заявил: как ни ценно ваше пребывание, мадам, в Арктуре, ваше здоровье ценнее, и чтобы его сохранить...

Клебе черпнул полную грудь воздуха и обратился к балкону Риваш:

— Арктуру придется расстаться с вами, мадам.

Он сел на краешек шезлонга и облокотился на колени. Спина его стала круглой, подбородок исчез в воротнике. Он проговорил покорно:

— Иметь санаторий? Безумие! Это был роковой час моей жизни, когда я решился купить санаторий!

— Но тогда дела шли не плохо, правда? — спросил Левшин.

— Редко человек вникает в положение другого так благородно, как вы, — сказал Клебе, будто приняв иронию. — Тогда дела шли отлично, — это верно. Каждый год я покупал авто новой модели. Мои знакомые приезжали в Арктур — провести время и заняться спортом. Я мог сказать: я живу. Но владеть тем, что тебе не принадлежит! — ведь именно так обстоит дело теперь... О, я убедился в вероломной природе собственности!

— Если бы не вероломство...

— Нет! — воскликнул Клебе, — у меня ноют кости от этих кандалов, и — о! — сколько раз я думал о Москве, исцеляющей эту страшную болезнь!

— Не сами ли вы вызвали у себя эту болезнь?

— Вы хотите поменяться со мною ролями: спрашиваете, словно врач.

— Слишком участливо?

— Слишком объективно. Но извольте, я тягочусь своим владением, потому что оно — вынужденное. Вы знаете,

я — австриец. Иностранные врачи практиковать в Швейцарии не имеют права. Мой диплом годен здесь только для того, чтобы меня называли «господин доктор». Это не одно и то же, что гонорар. И я, со своим медицинским опытом, в присутствии любого швейцарского юноши, только-что выпущенного из университета, должен стоять, заткнув себе рот томпоном. Зато мне предоставляется право владеть собственностью, когда она приносит одни убытки.

— Но ведь не только тогда...

Клебе встал с шезлонга, обидчиво посмотрев на Левшина.

— Вы улыбаетесь, господин инженер, — сказал он. — Мне противно соглядатайство кредиторов. За каждым франком, который я собрался опустить в карман, следят двадцать глаз. Я — честный человек и плачу долги. Но я именно — честный человек, я не пойду на сделки с совестью: репутация Арктура для меня выше всего, я ей не поступлюсь, даже если придется питаться одной картошкой.

Клебе начал энергично застегивать халатик. В этот момент из открытых окон бельэтажа вырвалась и вмиг облетела все балконы и весь дом гаммочка, деревянно отбарабаненная на рояле и тут же начавшая повторяться, раз-за-разом, без остановки.

— Майор, — сказал Левшин.

— Майор, — сказал Клебе.

Тара-тара-ам, — играл майор, — тара-тара-ам. Это было его ежедневное упражнение для правой руки, поврежденной впрыскиваниями кальция, и он проделывал его неукоснительно, так что весь Арктур должен был четверть часа в день слушать выдалбливание рояльных звуков от «до» до «соль» и обратно.

Клебе побежал. В гостиной он застал майора облокотившимся левою рукою о пюпитр, слегка подперевшим ею голову и задумчиво рассматривающим весенний пейзаж на стенке. Даже в ту минуту, как доктор подошел к роялю вплотную, правая рука майора продолжала работу.

— Извините, милый господин майор, но сейчас вам следовало бы лежать на балконе.

Тара-тара-ам, — сыграл майор вверх и приостановился.

— Моя игра, господин доктор, не доставляет мне удовольствия. Но я должен жертвовать своим слухом, чтобы поправить ущерб, нанесенный мне вами.

Он выговорил все это в необыкновенно уравновешенной манере и тотчас сыграл вниз: тара-тара-ам. Так он и вел дискуссию, прерывая долбеж клавиатуры только затем, чтобы возразить доктору.

— Да, этот несчастный случай с инъекций, происшедший не по моей вине, а по вине фрейлейн доктор, — говорил Клебе под музыку, — я вместе с вами не раз оплакал, и сейчас глубоко удовлетворен, что ваши пальцы уже приобрели завидную беглость. Я вам снова рекомендую продолжать это полезное упражнение. Но, как мы условились, господин майор, роялем вы будете заниматься перед вечерней прогулкой.

— Или перед утренней.

— Но не тогда, когда вам следует лежать.

— Может быть, мне, вообще, не следует лежать?

— Другого способа лечения мы не знаем.

— Тогда, может быть, мне отказаться от лечения?

— Если вы не дорожите здоровьем...

— Я им дорожу и потому массирую свои пальцы, поврежденные мне в Арктуре.

— Но я очень прошу вас считаться с распорядком дома. Эта музыка обременительна не только для вас, но и для других пациентов. Мадам Риваш мне не раз высказывала удивление...

— Ах, вам предпочтительнее мадам Риваш...

— Наоборот, господин майор, тем более, что мадам нас все равно покидает, — заторопился Клебе.

Но было поздно. Майор поднялся и стоя продолбил гамму вниз, прямым зоткнув большой палец в могучее «до». Тара-тара-до-о. Не отпуская клавиша, под мурзенье раздраженных струн, он обьявил:

— Мне нет дела, покидает вас кто-

нибудь или нет. Я вас, во всяком случае, покидаю.

В гостиной был всего один выход и, поколебавшись секунду, измеряя друг друга обозленными взглядами, они вместе шагнули к двери. Однако, из-за тяжеловесности, майор отстал, доктор же бегом пустился к себе, в кабинет.

Он рухнул на диван. Вытянув ноги, он минут пять пролежал с закрытыми глазами. У него начался кашель, его подкидывало на пружинах сиденья. Потом он утих. Привстав, он включил радио. Исфальшивленным голосом театрального любовника диктор передавал виды на средневропейскую погоду. Клебе выдернул провод и опять закрыл глаза.

Все звуки, коснувшиеся его сознания, шли с улицы — сирена автобуса, бубенцы санной упряжки. Санаторий был безмолвен, и доктору почудилось, будто из дома давным-давно вынесли всю мебель и ободрали стены, как перед ремонтом. Испуг охватил Клебе. Он ясно увидел коридоры Арктуре, из которых исчезли начищенные Карлом красные ковровые дорожки. Доктор мчится из этажа в этаж, из комнаты в комнату — все гулко-пусто. Обои свисают со стен — желтые с птичками, голубые с цветочками. Сквозняки разносят по углам вонь формалина. Тишина...

Клебе вскочил с дивана и выглянул наружу. Больные лежали на общем балконе. Их было мало, шезлонги стояли далеко друг от друга.

Он принял решение и помчался наверх. Слава-богу, дорожки были на месте, и обосв никто не сдирал. Когда он постучал и вошел к Инге, она смогрела в потолок. Руки ее, по лечебным правилам, которые ей внушили, были протянуты на одеяле. Он наскоро задал утренние вопросы и в сердечном тоне, почти как музыкальный ящик, запел:

— Милая, милая фрейлейн Кречмар. Не примите это за назойливость: у меня есть к вам одно предложение. Я хочу вас перевести в южную комнату, в прекрасную южную комнату. Это вам ничего не будет стоить, ни одного франка: вы будете продолжать платить столько же, сколько платите сейчас. Но вам

будет несравненно лучше, удобнее в южной, с балконом — ведь скоро вам придется проводить время на балконе, вы уже достаточно акклиматизировались. Мы сегодня же вас переведем.

— Не понимаю. Ведь те комнаты дороже, господин доктор?

— Но я говорю — вас это совершенно не коснется. Поверьте, мы все делаем, чтобы вам было лучше, как можно лучше, и чтобы вы поправлялись. Вы произвели на нас такое впечатление, вы прямо нас всех покорили. Я просто буду счастлив, если вы примете предложение. Вы уже согласны, я вижу — согласны! И я сейчас распоряжусь, чтобы все приготовили.

Доктор Клебе попытался, жестикулируя успокоительно и благодарно. Раскачиваясь, он вышел в коридор. Под ложечкой у него что-то холодаще падало — это были страдания самолюбия (так он решил), и нет, нет! — он не мог пойти к мадам Риваш — ни за какие деньги! Он не мог, не хотел подвергать себя унижениям, он был не из тех господ, которые домогались благополучия недостойными средствами, нет, доктор Клебе не мог пойти к мадам Риваш, конец!..

К майору — да, может быть, — к майору. Майор быстро вспыхивал и скоро остывал. Он был, в своем роде, близким человеком, воздух этого города поил его слишком долго, майор послушно шествовал сквозь строй санаторных коридоров, комнат и балконов — напуганный солдат судьбы. Бунты, которые он устраивал, проходили бесследными паводками. Что говорить, он обладал сердцем!

Но все же он не шевельнулся, услышав голос Клебе, и бесчувственным молчанием заставил доктора повторить униженно:

— Мы погорячились, господин майор, прошу вас.

— Это вы погорячились, — ответил майор, снова продолжительно помолчав. — А вы — врач, вам горячиться нельзя.

— Врач. — подавленно сказал доктор Клебе, стоя в дверях, точно проситель. Он потянулся к креслу, как старик, и

чуть не упал в него, сгорбившись, прижав руки к груди, стараясь подавить разгоравшийся кашель.

Майор не обернулся. Сквозь черные очки глядел он безжалостно в окно, на недвижимое горное пламя снегов.

— Врач, — успокоившись, повторил Клебе. — За ваше пребывание наверху, господин майор, вы должны были приобрести глаз, я хочу сказать — научиться видеть. И вы, наверно, подозреваете, что я не совсем здоров. Ну, да, я это называю расширением аорты, иногда — бронхитом, не все ли равно, ведь это — для пациентов. Не стану же я им рассказывать, что болен тем же, чем они, и что за десять лет пребывания наверху приобрел только боязнь перебраться вниз. Вам это знакомо, не правда ли? Я должен лечиться так же, как вы, может быть, — немного меньше. И, простите, я не получаю пенсии. Вот откуда — ковчег, в котором мы с вами плывем, господин майор. Он пойдет ко дну, если будет покинут обитателями. Не бросайте вашей каюты, господин майор. Я говорю с вами, как с джентльменом.

Веки доктора Клебе покраснели, он извинялся с видом надменного человека — его рот перекашивала странная, презрительная улыбка. Он высвободился из кресла и стоял с опущенной головой.

— Хорошо, — сказал майор, не отрываясь от окна, — я пока останусь.

7

Инга лежала плашмя. Ей было больно и страшно поворачиваться. Ей казалось, будто упругий полый шар перекачивается в боку, когда она чуть-чуть меняла положение. Она боялась, что шар сожмет сердце или горло и задушит ее.

Покашиваясь на доктора Штума, она говорила, осторожно дыша:

— Но потом началось это прокалывание — второй, третий раз, все в одно и то же место... Ужасно!.. Я больше не дамся... Не дам себя мучить... Нельзя ваши правила распространять на всех. Я — не правило. Я — исключение...

Мне больно... Вы говорили — я буду в футбол играть, а я еще не поднимаюсь с постели. Знаете, как это называется? Это свинство...

Чтобы сберечь заряд своего раздражения, она отвернула лицо от Штума.

— Вам ведь ясно писал ваш коллега, — сказала она в стенку, — вы не имеете права!.. Я убегу...

Она потихоньку взглянула на него. Он был серьезен. Он слушал ее вдумчиво — не как ребенка, и даже не как больного, — ему хотелось почувствовать ее доводы.

— Нельзя прекращать вдувания, — сказал он. — Сегодня газ пошел. Я вдул пятьдесят кубиков. Надо продолжать. Надеюсь — мы обойдемся без пережигания спаек.

— Мне о вас так хорошо говорили, — чуть-чуть мягче сказала Инга.

— Поддуем немного сегодня вечером, — улыбнулся он.

— Милый, — сказала она умоляющим голосом. — Я вас очень люблю. Я вас так люблю! Ну, как хотите, так и люблю... Как вы хотите? — спросила она тихо. — Хотите?

Она с опаской приподняла и протянула руку.

— Только прошу вас: не надо больше колоты!

Он погладил ее кисть. Чорт знает, как ему напоминала Инга жену! Когда она зажмурилась, и крашенная каемка ресниц подернулась заблестевшей нитью слезы, он почувствовал, что сейчас наклонится и прижмется щекой к ее лицу. Но вместо этого он произнес наставительно:

— Есть только один способ борьбы с туберкулезом: позиционная война. Больной должен окапываться и постепенно сжимать траншеи вокруг противника. Шаг за шагом.

— Ах, ведь никто не знает, как должны вестись войны. Иначе они не проигрывались бы. А вы — швейцарец, и никогда не воевали.

— Я стоял всю мировую войну в горах, на позициях, — возразил Штум. Он осанился, и его губы поползли книзу, как от обиды.

— Нет, вы — не солдат!

— Это можно установить только на поле сражения.

Он, кажется, всерьез обижался. Еще минута — и он заговорил бы о Вильгельме Телле. Она засмеялась — беззвучно, чтобы не вызвать кашля.

— Никакого не надо поля сражения. Все равно видно, что вы — добряк.

Ее улыбка вдруг исчезла.

— Ведь правда, я поправлюсь?

— Не сомневаюсь.

— Смотрите. Я вам верю.

Она простилась с ним неожиданно весело, и сразу все показалось ей приятным и ясным. Несколько минут она с удовольствием думала о Штуме. Он ни капельки не был похож на доктора. Руки? Руки, — может быть, немножко. У Левшина в руках докторского было больше. И потом — он не смущался так, как Штум. Ужасно забавно Штум отводил в сторону глаза!.. Может быть, он влюблен? Левшин не влюблен. Нет.

Инга достала зеркальце. Но ей неприятно было разглядывать себя. Худоба увеличилась за последнее время, и пудра еще больше мертвила проступающую желтизну кожи.

Пришел Карл. Он легко выкатил Ингу в кровати на балкон, приподняв бесшумные колеса на пороге. Инга нарочно заставила его подвинуть кровать влево, потом — вправо, немножко вперед и потом — назад: ее развлекала сияющая румянцами физиономия Карла.

Когда он откланялся, Инга, зажмуриваясь, а затем медленно приоткрывая веки и сквозь ресницы шурясь на снежно-солнечные горы, начала вслушиваться в жизнь балконов. Кое-где покашливали и щелкали крышками певательниц. Едва внятно долетало ленивое перевертывание книжной страницы. Внизу, на общей террасе, шелестели газетой.

И вдруг, на соседний балкон, к Левшину, быстро вошла доктор Гофман. Ее нельзя было не узнать по стуку каблучков. Она села на шезлонг, заскрипевший под ее тяжестью. «Точно пришла домой» — с досадой подумала Инга.

— Что случилось? — спросил Левшин.

— Ужасно!

Слышно было ее бушевавшее дыхание — она, наверно, бежала по лестнице.

— Вы знаете.., новый пациент, — я вам рассказывала, — юноша, лет девятнадцати. Сегодня я исследовала его мокроту. Вышла из лаборатории, потом возвращаюсь и застаю Клебе за микроскопом. Ну, что, спрашивает он, нашли бактерии у молодого человека? Нет, говорю, не нашла. А это чей препарат в микроскопе, его? Его. Так я, говорит, сейчас нашел у него... две бактерии, можете дольше не искать. Я не могла возразить. Как только он вышел, я бросилась к микроскопу и принялась искать. Я ничего не нашла. Хорошо, что сохранился материал: я приготовила новый препарат, опять стала искать, и опять безрезультатно. Через час Клебе является, и я говорю ему, что ничего не могла обнаружить, исследование отрицательное, бактерий нет. И знаете, что он мне отвечает? — Я сказал, чтобы вы не тратили время на эту канитель. Все равно сейчас ничего не изменится: я уже объявил молодому человеку, что, к сожалению, у него бактерии найдены...

Каждое слово, которое придушено раздается на соседнем балконе, Инга слышит так ясно, будто оно нарочно вкладывается ей в уши.

Резко скрипнул шезлонг — Левшин приподнялся на локти.

— А если обман раскроется? — говорит он тихо.

— Каким образом? — спрашивает Гофман. — Разве можно доказать, что Клебе не видел бактерий?

— Но если вы расскажете пациенту...

— О том, что Клебе солгал? Кем это установлено?

— Повторите анализы.

— Боже мой, конечно, буду повторять. Но пациент уже считает, что у него — открытый процесс. Это — тавро!

— Но, вы сами убеждены, что Клебе солгал?

— Да.

— Значит, разделяете с ним ложь... Гофман метнулась по балкону.

— Какой мне смысл посвящать во все вас?

— Я тоже думаю. Посвятите лучше Клебе.

— Он отлично видит, что я ему не поверила. Но никогда не признается, никогда! Он просто выгонит меня.

— Вам жалко с ним расстаться?

— Я его ненавижу, — выговаривает она через силу. — Но... поймите...

— Да, да, понимаю! Он платит вам жалованье, в три раза меньше, чем Карлу, и вы говорили — задолжал за полгода...

— Но... — перебивает Гофман, и вдруг шепчет:

— Что же мне — на улицу?..

— Надо найти другое место. Поговорите со Штумом. Ну, хорошо, я поговорю с ним. Хотите? Он — благородный человек...

— Перестаньте! Может быть, у вас, в Москве, принимают на службу из благородства или как-нибудь еще... Штум — швейцарец, и обязан принимать по закону — одних швейцарцев. А я — такой же иностранец, как Клебе... Вы думаете, он не понимает, что мне некуда деваться...

— Все равно он уволит вас, если из Арктура разбегутся последние пациенты.

— Да, конечно. Значит, в моих интересах, — чтобы пациенты не разбегались. И значит, я должна делать то же, что делает доктор Клебе... И... я вижу, напрасно рассказала вам всю историю...

Тогда наступает молчание. И внезапно Инга удивляется, что так долго не кашляла. Ей становится страшно, что кашель прорвется, и — правда — он подползает к горлу, щекоча и поцарапывая, и можно дышать только чуть-чуть, — коротенькими, частыми-частыми вдохами, и с каждой секундой — все чаще и все короче, и вот уже больше невозможно сдерживаться.

Она кашлянула. Она кашлянула всего один раз, очень тихо, но ей послышалось, что балконы, как пустые кадучки, угрожающе профудели в ответ, и гул, шире и шире раздаваясь в пространстве, двинулся из Арктура в горы. Почти тотчас она увидела рыжеватые, раззолоченные солнцем волосы Гофман, выпорхнувшие из-за балконной

перегородки, и затем — ее лицо, в больших малиновых пятнах на щеках.

— Я совсем забыла, что вы — уже на балконе, фрейлейн Кречмар. Моя болтовня не помешала?

— О нет, фрейлейн доктор: я задремала, и ровно ничего не слышала.

— Самочувствие?

— Превосходно.

— Адэ.

— Адэ.

Лицо фрейлейн доктор исчезло, и сквозь разгоравшийся кашель, Инга успела расслышать, как она убежала от Левшина.

И вот понемногу вернулась та самая тишина, в которую только-что спокойно вслушивалась Инга. Но уже и следа спокойствия не осталось на душе Инги. Она сдвигала пальцами быстрый, скачущий ручеек пульса. Вот-вот вырвется он из-под кожи — и все погибло. Инга откинула одеяло и спустила ноги с кровати. В глазах ее тронулись, растворяясь в пустоте, изорванные, похожие на медуз, красные клочья. В разрывах и промежутках между ними плыла, перевернутая вершинами вниз, бело-голубая горная цепь. Это было ощущение приторное, но мимолетное, и едва оно прошло, Инга попробовала встать. Тогда полый шар в груди угрожающе переместился, как будто вытесняя сердце. Она замерла. Морозный воздух обжег привыкшие к теплу ноги. Она с боязнь шагнула к перегородке, вытянув вперед руки, точно человек, впервые подвизавший себе на льду коньки. И, перегнувшись через перила, как минуту назад — фрейлейн доктор, она заглянула за перегородку на соседний балкон.

Левшин лежал не по правилам, — на локтях. Он словно ждал появления бледного лица Инги. Он махнул на нее высвобожденной рукой.

— Зачем встали?

— Идите ко мне, — сказала она шопотом, — сейчас же!

Он замахал на нее сильнее, она скрылась. Расстегивая мешок, он прислушался, как она укладывалась в постель. На него быстро нахлынуло чувство удовольствия от легкости, с которой он

двигался. Он был уверен, что вот сейчас пойдет и что-то такое уладит, и ему было приятно от сознания, что он способен улаживать и что он — складный, выздоровевший человек.

Он пришел к Инге с ощущением преобладания, с каким врачи входят к больным. Перемена в ней была очень заметна и пробуждала к себе тоскливое участие, но слова, которыми это выразилось в сознании Левшина, показались ему странными: я так и знал, что ей будет хуже, — подумал он.

— Я слышала все, — сказала Инга торжественно.

— Печально.

— Печально для господ врачей.

Он не ждал такого сурового голоса прямоты, и смотрел на Ингу молча.

— Раз они предали мальчика, значит, могут предать меня, — сказала она, — и каждого... и вас...

— Мы с вами действительно больны. Нас незачем обманывать.

— Откуда я знаю? Никто не знает, — сказала она упрямо, — разве вы знаете, зачем Клебе обманул мальчика?

— Бойтся остаться без пациентов.

Инга приподнялась.

— Вот и пусть останется без пациентов: давайте бросим его, давайте уйдем из Арктура!

— Лежите, как следует, — по-докторски сказал Левшин. — Переезжать из одного санатория в другой? Вы думаете, Штум будет ходить за вами по санаториям?

— Я не хочу, чтобы меня дурачили...

— Вы не верите Штуму?

Она привалилась на подушку, и, словно откуда-то издали, медленно лег на нее теплый ответ.

— Может быть, все это — обман, обман...

Левшину захотелось сберечь ее как будто ленивую улыбку и — видимо — хрупкую, мгновенную надежду, и он промолчал. Но жесткое чувство тотчас вернулось к Инге.

— Надо рассказать Штуму о здешних проделках. Вы расскажете? Нет?

Она сощурилась на него:

— Малодушничаете вместе с любезной вам фрейлейн доктор?

— Бездоказательно все, что она говорила на Клебе, — сказал он.

— Вы такой же обыкновенный, с вашей Москвой...

Левшин улыбнулся ее ребячеству, а ее ревность, словно нарочно выставленная напоказ, удивила его только на мгновение. Он все время невольно сравнивал себя с Ингой, припоминая состояние, которое давно преодолел, когда был так же болен и не знал, кому довериться. А надо было отдать себя в чьи-нибудь руки с тою бездумной верой, с какой ребенок отдает себя матери. И теперь он будто читал по лицу Инги свои недавние испытания и, как нередко в прочитанном находят только тот смысл, который желают найти, так Левшин, видел только то, чем Инга была похожа на него, и почти без внимания пропускал мимо все, чем она отличалась.

Ей было трудно дышать, она боялась волнения, но не могла его подавить. Темные пятна жара скапливались на скулах, и по подергиваниям одеяла Левшин видел, как беспокойны были ее руки.

— Несчастный мальчик, — выговорила Инга, и заморгала, чтобы не потекла слеза, — я хочу его посмотреть, приведите его.

— Я не знаком с ним.

— Тогда пусть — фрейлейн доктор, хорошо?

— Я попрошу.

— Мы здесь такие несчастные, — опять заморгала Инга, но слеза уже выпала из век и, скользнув по виску, склеила прядку волос, застывая. Помутившись от мороза, затем быстро стеклянея, эта крошечная льдышка заставила Левшина увидеть беду, которой не хотело занимать сознание, и он понял, что ничего не может уладить и что здоровье ничуть не освобождает, а неприятно обязывает его перед этой — именно перед этой больной, перед Ингой.

— Дайте платок, — сказала она, — холодно высовывать руки.

Он подал со стола невесомый платочек, и она взяла его кончиками пальцев, чуть-чуть высунутыми из-под одеяла

— Мы в их власти, в их власти, — затвердила она, уже не думая сдерживать слезы.

Левшин перебил ее:

— В чьей власти, что вы? — и сел на край кровати.

Он в ту же секунду понял, что так нельзя, что не следовало садиться, что успокоить Ингу надо было каким-то убеждением, доводами рассудка, — но не вскакивать же было с кровати, и он только поглубже сказал:

— Вы все чего-то боитесь, а ведь бояться нечего!

И тогда он расслышал совершенно внезапный оттенок в голосе Инги:

— Да не боитесь ли вы?..

Посветлевший, задорный взгляд оставившись на нем в упор. Левшин откинулся, чтобы лучше разглядеть словно подмененное, веселое лицо.

— Нагнитесь, — шепнула Инга, совсем по-новому, живо и часто мигая.

Он наклонился немного.

— Еще. Я скажу очень важный секрет.

Он нагнулся ближе. Приподнявшись, она поцеловала его в щеку. Лица были ледяными, и прикосновение показалось легким, едва слышным, прозрачным. Левшин улыбнулся, она ответила тоже улыбкой и протянула ему платочек:

— Сотрите помаду... А то еще увидит фрейлейн доктор...

8

Майор, с которым Инга недавно познакомилась, принес к ней маленький патефон и любимые русские пластинки. Он не расставался с ними. В одиночестве, надвинув на глаза ермолку, он слушал цыганщину, доносившуюся точно с того света. Случалось — по его красноватой щеке пробегала, будто заблудившись, убогая слезинка. Он вертел ручку патефона и вникал в хрипение давно умершей, но будто все еще умиравшей певицы, растроганно качая головой.

Инге он много насказал про свои пластинки, но она не могла найти прелесть в давнишней записи незнакомых слов и мало похожих на человеческий

голос стений. Она смотрела на майора, не видя его, не слушая патефона, а думая о странной книге, только-что отодвинутой в сторону.

Это был роман псевдонима, объявившегося где-то в южной Америке, — человека пессимистичного, но с такою страстью презрения писавшего о несчастьях, что они увлекали и манили к быту тяжелому, рискованному, заквашенному на мучительной помеси из приключений и борьбы. Где-то в океане плавали обреченные на смерть люди, авантюристы, преступники, под командою негодяя и спекулянта человеческими судьбами. Какая-то любовь, доступная отбросам, а может быть — рыцарям, вдруг нежно и жарко возжигалась в далекой гавани, где-нибудь в Нью-Орлеане. И само имя Нью-Орлеана, повторенное в романе рефреном, певучее и непонятное, как имя Клаваделя, пелось, пелось в голове щемящим напевом почтового рожка. О, как хотелось уйти, уехать, убежать, уплыть на неизвестном пароходе в неизвестную гавань, обречь себя на уничтожение, на бесстрашную и бесстыдную любовь! Неведомый автор со своим солнечным Нью-Орлеаном и своими бродягами возбуждал в Инге пренебрежение к страданию, болезни, слабости. А уделом ее — надолго ли? — были термометры, шприцы, иглы. Ее окутывали мокрыми простынями, обтирали спиртом, ее кололи, надували воздухом, и — в благодарность — по понедельникам она оплачивала счета отцовскими деньгами.

— Как вам понравился роман? — спросил майор, убедившись, что Инга не слушает патефон.

— Это — бессовестно, распущенно, смело. Читаешь, — и все время ноет сердце. Такие книги я люблю.

Майор снял пенснэ, близоруко сощурившись на Ингу лоснившимися глазами, спросил с любопытством:

— Похождения?

— Нет. Богатство опасностей и несчастий.

— Понимаю. Близко нам: мы ведь тоже несчастны.

— О, нет! Мы так бедны несчастьем!

Не знаю, чего у нас меньше — счастья, или несчастья?

— Вы хотите разнообразия?

— Я не хочу, чтобы вся жизнь вечно делилась на нельзя и можно.

— Да, здесь, наверху, скучно. Я непременно уеду. Весной — в Локарно, потом — в Меран.

— Мне говорили, вы были на войне? — улыбнулась Инга.

— Да.

— Вы боялись?

— Мы, западные славяне, воюем из века в век.

— Вам было страшно?

— Изредка.

— Вы под пулями нагибались?

— На войне лучше всегда нагибаться.

— А теперь вы боитесь?

— Теперь?

— Боитесь своего тб?

Он подумал немного.

— Боюсь.

— Разве это страшнее?

— Медленнее. Много времени для размышлений...

— О страхе?

— Обо всем.

— По-вашему, все боятся?

— Все.

— Левшин не боится.

— Он думает, что выздоравливает.

Особая порода людей, — в них воображение убито чувством безопасности.

— Но ему действительно лучше... Вы ведь давно наверху. Разве здесь не выздоравливают?

— Изредка.

— И отчего зависит удача?

Майор снова помолчал. Надев пенснэ, он прочитал надпись на патефонной пластинке.

— Лучше всего — нагибаться, все время нагибаться, — сказал он.

— Не хочу! — воскликнула Инга. — Не буду нагибаться.

— Тогда...

— Знаю! И все равно не буду... Давайте о другом. Как вы попали в Россию?

— Мы, западные славяне...

— Ах да, вы, западные славяне!..

— Вы усмехнулись? Нет? Мне показалось... Многие из нас воспитывались в России. Кадетский корпус, военное училище, производство в офицеры. У нас есть природный запал. А русские умеют заразить мечтательностью. Я жил и мечтал в Киеве, это — феерия. Вот этих всех (майор показал на пластинки) я слушал живых. Одна женщина пела баритоном. Был и мужчина почти с контральто. Красиво. Я думал — так будет вечно. У меня был мотоцикл, я гулял, как хотел. Один раз мчался под гору, вдруг из-за поворота — извозчик. Я со всего разгона — в пролетку — тррах! Извозчик еле-еле колеса собрал. Я — свеж, как роза. Красиво!

— О, боже, — сказала Инга, — такое бурное переживание!

Майор гордо поднял голову.

— И однажды ночью меня молниеносно отправляют в Черногорию. Когда я добрался до Дуная, война уже шла. Мне дали сразу роту.

— Это много?

— Я был молод, — сказал майор, доставая из бокового кармана крошечную записную книжечку. Он искусно перелистал ее мизинцем.

— Я пробыл на фронте 651 день. Прошел в походе 905 километров. Находился в окопах более 10 500 часов. У меня два ранения, оба в ногу, одно я получил тысяча девятьсот шестнадцатого...

— Пойдите, — сказала Инга, — вы это потом подсчитали, или — на фронте?

— Мы, офицеры, исчисляли все, что касалось нашего участия в войне, от скуки и ради игры: у нас был тотализатор, — при новых знакомствах мы бились об заклад — кто дольше просидел в окопах, или кто сколько отступал. Я разработал свои цифры здесь, наверху.

— Дайте мне книжечку. Я только взгляну, — из начала, или с конца, — откуда разрешите.

Майор подошел к Инге. Приподнял книжечку высоко над ее лицом, попросил:

— Не надо смеяться.

— Что вы!

Она старательно вчиталась в мелко исписанную страничку.

— Книжки?

— Да.

— Какие?

— Которые прочел залпом. Или которые не понял.

— Со звездочками — это какие?

— Со звездочками — это которые прочел залпом, но не понял.

Она вскинула улыбающиеся глаза.

— «Волшебная гора» — даже с двумя звездочками.

— Да. Не читали? Эта книга здесь, наверху, на волшебной горе, секретна. Эта книга — про нас с вами. Здесь делают вид, что ее не существует.

— Ее трудно достать?

— Попробуйте.

— Она вредна?

— Врачам. Но они говорят, — больным.

— Я вижу, медицина у нас, наверху, хочет заменить собою церковь с ее надзором...

Они оба засмеялись находчивой мысли.

— Правда, — сказал майор, — то, что там грешно, здесь — вредно: говорить о болезни — вредно, размышлять — вредно, любить — тоже. Любить, будто бы, особенно вредно. Вы знаете это? Впрочем, женщинам, — спохватился майор, — не так вредно.

— Почему?

— Они не настолько бурны, — сказал майор, но Инга словно не расслышала его, и он поторопился отступить:

— Медицина обижена «Волшебной горой» потому, что романист написал книгу без благословения давосского общества врачей. Но, должен признаться, я не понял книги. Случайность правит судьбой — философия, которая отнимает у больного силу воли.

— И у врачей — доходы, — презрительно добавила Инга.

Майор чувствовал, что они понимают друг друга. Приступ нежности размягчал его. Большие глаза Инги были полны странного любопытства и влажны. Никогда в жизни он не видал близко таких глаз. Он потянулся к записной

книжечке, боязливо обхватил своими тонкими пальцами руку Инги и застыл, обнадеженный тем, что было позволено подержать руку. Он полез в карман за пенснэ. Он не заметил усмешки Инги. Он надел пенснэ, стал наклоняться над ее лицом, чтобы глубже заглянуть в необычайные глаза, и у него было ощущение, будто он оборвался и летит во что-то смертельно-студеное и что он сейчас вскрикнет. Его кинуло в трепет. Он сжал ее несопротивляющуюся руку, она была жарка и, — наклоняясь все больше, — он спросил дрожащим голосом:

— У вас температура?

Инга оттолкнула его кулаками в плечи, он испуганно выпрямился, бросился прочь от кровати к патефону, и тут постучали в дверь.

Вошла фрейлейн доктор с молодым человеком, и следом за ними—Левшин.

— Познакомьтесь,—сказала Гофман.

Молодой человек, подойдя к кровати, щелкнул каблуками, поклонился. Инга дала ему руку, он еще раз поклонился, осторожно притронулся к самым кончикам пальцев и шагнул назад по-военному.

— Вилли Бауэр, — негромко назвал-ся он, и сделал шаг в сторону к майору.

Все смотрели на него молча и с сочувствием. Он был рыжеват, в веснушках, общим контуром напоминавших бабочку, которая села на нос и положила расправленные крылья по щекам. С виду ему можно было дать за двадцать.

— Вы уже акклиматизировались наверху? — спросила Инга.

— Не думаю, — вежливо отозвался Бауэр, — у меня утром и вечером течет кровь из носа, и все время стреляет в ушах, точно я здорово получил по лбу футбольным мячом.

— Вы играете в футбол? — спросила Инга, мельком взглянув на Левшина.

— Нет. Но в детстве я проходил мимо поля, в меня попали мячом, я помню, как тогда текла кровь.

На него снова молча посмотрели. Он говорил туповато, мимика была ему несвойственна, рыжая бабочка веснушек

лежала на лице неподвижно, как засушенная.

— Вы надолго сюда? — спросила Инга. Она прилежно повторяла все вопросы, когда-то заданные ей и составлявшие местный кодекс приличия.

— У меня отпуск после болезни всего три недели.

— Ах, так! А если ваше самочувствие... ваша болезнь потребует более длительного пребывания?

— То же самое — три недели.

— Но если это опасно для вас... если врачи предпишут,—не унималась Инга.

— Три недели, ни одной минуты дольше, — по-военному сказал Вилли Бауэр.

— Все-таки, у вас больны легкие...

— Я болел воспалением легких, поправился, получил отпуск. Мне доктор велел ехать в горы, укрепить...—он солидно показал на свою грудь.

— Я слышал, у вас — бактерии? — сказал Левшин.

— Все равно, — без колебаний ответил Бауэр, — на службу надо через семнадцать дней.

— Да что у вас за безжалостная служба! — воскликнула Инга.

— Почему? — не меня убежденного тона, сказал Бауэр, — я служу у венской фирмы по внутреннему убранству жилищ. У нас солидная клиентура. Мне очень завидуют. Все мои товарищи без работы. Я уверен, они бы рады, чтобы у них завелись бактерии. Лишь бы поступить на службу.

Фрейлейн доктор отвернулась к балкону. Левшин, подойдя к ней, сказал:

— Клебе попал в комическое положение.

Она молчала. Майор решил, что Инга не в обиде, и пришел в себя.

— Вы несерьезно относитесь к своему здоровью, — сказал он.

— Как ни относиться, — возразил Вилли Бауэр, — а через семнадцать дней изволь на работу.

Он подошел к пластинкам и щелкнул каблуками.

— Румбы у вас нет?

Инга глядела на него со злобой.

— Вы совершенно здоровы, сразу видно. Я удивляюсь, зачем вы сюда

приехали, — сказала она. — Никаких бактерий у вас никогда не бывало, вы должны знать.

— Я думаю точно так же, — вежливо ответил Вилли Бауэр, поворачиваясь к ней. — За санаторий заплатили — я приехал. Доктор Клебе нашел у меня бактерии — я очень жалею, что доставляю хлопоты санаторию, но, однако, не могу изменить свои планы.

— Вы совсем не страдаете, — вызывающе проговорила Инга.

— Нисколько! — довольно сказал Бауэр. — У меня ничего не болит. Вот только кровь из носа.

— Зачем же вы явились сюда, наверх?

— А что вы думаете: я бы с удовольствием взял деньгами. А мне дали отпуск и послали, без разговоров, сюда.

— Попросите, может, вам вернуть деньги, — сказала Инга.

Вилли Бауэр приоткрыл короткие зубы и над ними бледную полоску верхних десен. Это была его первая улыбка.

— Я бы рад, — тупо сказал он.

Он увидел, что никто не улыбнулся. Больная барышня, которая сама позвала его к себе, смотрела на него недружелюбно и, кажется, насмеялась. Вилли Бауэр обиженно пригладил без того опрятную прическу. Помолчали. И тогда в тишине все расслышали и разгадали знакомое деликатное постукивание в косяк.

— О, надеюсь, я не помешал вам, господа. — пропел доктор Клебе, входя и тут же, в двери, всей своей фигурой изображая полнейшую готовность выйти за дверь.

— Очень хорошо, что вы пришли, — сказала Инга. — Мы тут уговариваем нашего молодого человека пожить в Арктуре подольше, а он уверяет, что ему здесь нечего делать, потому что совершенно здоров.

Доктор Клебе немного скривил рот, изображая сомнение и по привычке стараясь любезно улыбнуться.

— Приятно. — вздохнул он, — что наш милейший господин Бауэр так завидно себя чувствует. К сожалению, субъективное чувство не всегда отвечает истинному состоянию здоровья.

— Он — ужасный упрямец! Говорит, если бы даже ему угрожали смертью, он все равно не остался бы в Арктуре.

— Бог мой, до чего вы договорились!

Доктор Клебе перестал скрывать беспокорство. Инга была возбуждена, Левшин наблюдал за ней слишком пристально, — это бросилось Клебе в глаза. Он взял со столика температурный листок Инги.

— Удивляюсь, фрейлейн доктор: в вашем обществе — такой разговор! — недовольно сказал он. — О болезни — только с врачом. Неужели это правило необходимо напоминать, господа? Сколько люди прививают себе болезней разговорами о страданиях.

— Мы просто болтаем, — сказала Инга. — Мы доказываем милейшему господину Бауэру, что хотя он здоров, ему надо лечиться в Арктуре. Вы ведь такого же мнения, господин доктор?

Клебе передернул плечами:

— Пребывание в Арктуре принудительно только для меня одного, фрейлейн Кречмар.

На счастье, снова раздался стук в дверь.

Вошел Карл.

— Здравствуйте, — сверкнул он восхищенной улыбкой, — не имеются ли поручения?

— Пожалуйста, — сказала Инга. — Во-первых — открытки, штук шесть...

— Шесть по ноль запятая двадцать...

— Потом, зайдите, Карл, в книжный магазин, спросите роман «Волшебная гора». Я не спутала названия, господин майор?

— Нет, нет, — мигом вмешался доктор Клебе, — я такого романа не слышал.

— Я считала больше ваши познания в литературе, доктор, — сказала Инга, поднимаясь на локти.

— Такого романа нет, не правда ли, господин майор?

— Вы о нем со мной не раз беседовали, — хмуро сказал майор. — И хотя предпочитаете Уоллеса...

— Нет, нет, — перебил Клебе, — не надо записывать, Карл. Не надо. Я сам буду в книжном магазине.

Он неслышно шагнул к кровати и уже с обычным участием, баюкающе растягивая слова, пропел:

— Разрешите мне лично принять ваше поручение, фрейлейн Кречмар.

Но тотчас он опять сорвался со своего тона:

— Что с вами?

Инга кашлянула с боязливой осторожностью. Лицо ее быстро белело. Локти покатались вниз. Она смотрела на Клебе с испугом, и когда он взял ее за плечи, чтобы помочь опуститься на подушки, ее лицо было неподвижно, точно у куклы, на которой слиняла краска. Толчок сотряс ее тело, она кашлянула и с больною гримасой сжала губы. Тогда, на секунду, стало похоже, будто у ней губная помада начала сползать на подбородок, но сейчас же подбородок сделался ярче и темнее губ. Инга хотела поднести ко рту руку, Клебе удержал ее, взял поданное фрейлейн доктор полотенце, положил его на грудь Инге и вытер ей подбородок.

— Не волнуйтесь, — проговорил он совершенно спокойно, и так тихо добавил слово — «лед», что Гофман поняла его только по догадке.

Первым незаметно исчез из комнаты Карл. За ним — по-деловому торопливо — фрейлейн доктор. Майор решил вручить патефон Бауэру, сам взял пластинки и двинулся к двери на цыпочках. Бауэр повесил поклон поочередно Инге и доктору Клебе.

Левшин хотел тоже уйти. Инга с бульканьем дышала открытым ртом, испачканным кровью.

— Не уходите, — беззвучно выговорила она.

Клебе внушительно сказал:

— Надо молчать.

Не обернувшись, он разрешил Левшину:

— Оставайтесь, — и опять вытер кровь у ней на подбородке.

Инга взглядом подозвала Левшина. Мельком она увидела на столике книгу, которую только-что читала. Она подумала, что начались страшные несчастья, что отплывает в океан отчаянный корабль, и с ним — она. В ушах ее звучали неслыханные шумы, точно надви-

гался со свистом шквал. Толпы слов металась в ее воображении, отодвигаемые куда-то в темноту певучими именами то Нью-Орлеана, то Клаваделя.

Левшин стоял у нее в ногах, боясь шевельнуться. Он видел, как все сильнее бурели у ней на щеках тени, как дергались брови, как мерцали глаза, которые она не могла оторвать от него, из которых все исчезло, кроме весь мир затмившего человеческого страха.

9

Пришла весна, и с юга подул фён. Он лился, как вода — непрерывным током, пробираясь коридорами долин, омывая выступы гор. Стало труднее дышать, потяжелела одежда, плечи обвисли. Снег таял, но неподатливо. Лед на площадках перед кургаузом смягчился настолько, что игру в кёрлинг прекратили, но большие катки были все еще годны для спорта, и почему-то запоздало приехали канадские хоккейные команды.

Протянутые через улицу плакаты с единственным, властным словом — «Канада» — волновались от ветра, усиливая ощущение ненастья. На катке собралось не очень много народа, но хоккей состоялся.

Белые и оранжевые свитеры, склывшись, перекатывались из конца в конец поля. Клубок распускался на отдельные нитки, будто ветром рассеиваемые по катку, потом нитки наскоро сцеплялись в связки и опять комкались, заматывались в клубок, и клубок снова катало по полю, из края в край. В эти минуты нельзя было уследить за отдельным игроком, как будто руки, ноги, головы хоккеистов были общие и быстро-быстро перемещались с одного свитера на другой.

Левшин впервые видел такое исступление человеческой энергии. В его теле тягучими, звенящими схватками возникало напряжение, точно он сам носился по катку, с жужжанием и шипением скобля на крутом повороте лед, вздымая тормозящим коньком щиты белой пыли. Он взглядывал на сидевшую рядом фрейлейн Гофман и только покрывал от восхищения: — а?

Она кивала ему, довольная.

Он пробовал уловить полеты плашки под неистовыми ударами тупоугольных клюшек, но глаза не поспевали за ней, — она летела по льду пулей. Он входил в темп только тогда, когда судья останавливал игру, чтобы вывести из команды либо провинившегося, либо раненого. Затем Левшин опять видел устранившую, словно кавалерийскую рубку клюшками и странное, вызывавшее восторг и смех перескакивание рук, ног, голов с оранжевых свитеров на белые, с белых на оранжевые. И в ответ на это веселое побоище сильнее отзывалось в нем чувство здоровья.

Весна была последним испытанием, которое Левшин поставил себе перед отъездом с гор вниз. Ему удлиняли прогулки, он пробовал силы в гимнастике, он старался вытравить в себе следы изнеженности, привитой лежанием. И потому, что приходили к концу еще недавно казавшиеся бесконечными ёроки, Левшин все больше жил будущим, людьми, которые его ожидали, предстоявшим применением своих новых сил. Все подробнее возобновлялось его представление о рабочей комнате в немного сумрачном и деловом доме торгпредства, где пробежали целых три года жизни перед нелепой болезнью, — чертежи на кальке и пахнущей свечами вошанке, скатавшиеся трубочками, с шуршанием разбегающиеся по столу; внушительные документы промышленных заказов; рекламные преис-куранты с расцвеченными рисунками электротехнической аппаратуры; фотографии достраиваемых советских электростанций и опор высоковольтных передач. Как часто в этой комнате говорилось о перемене ландшафта там, далеко, среди лесистых холмов севера, или по берегам степных рек, на юге; высились над равнинами железные фермы, унося исчезающие вдаль тяжкие дуги электропроводов, чернильно дымили над изумрудом рош трубы торфяных топок. Сколько еще прибавилось в комнате торгпредства таких фотографий, пока Левшин лежал в своем козьем мешке на балконе Арктура? Товарищи ждали его возвращения, неисчислимы были пожелания, которыми они зажигали его

волю подавить болезнь, расчетливо изготавиться к прыжку — отсюда, со стеклянно-застывших гор, прямо в полновесную, дородную, звонко-клокочущую жизнь. И какие письма вспоминались Левшину, когда он думал о друзьях, освободивших его не только от денежных забот, но и от сомнений в успехе, непременно успехе этого привередливого послуха в горах.

Увлеченно смотря на побоище свитеров, не разбирая — белые или оранжевые берут верх, Левшин вдыхал безбоязненно, ровно струю коварного фёна, и с ясностью повторялось в его памяти письмо друга: «Раздувай хорошенько свои мехи. Надеюсь, дырки-то в них затянуло совсем, а? Последняя открытка от тебя со швейцарскими домишками вроде ульев была веселая. Рады мы все за тебя очень. Посылаем наши газеты, где все — о Днепрогэсе. Здешние ты, конечно, читал, об его открытии, но им не хочется сказать без сурдинки, что это — здорово! А в наших — много интересного, есть и фото довольно впечатляющие, но уж бумага, извини, — неизлечимая беда наша, — бумага...». На балконе, высвободив из мешка и раскинув во весь размах руки, Левшин до усталости держал полотнище московской газеты, по которой с полосы на полосу переступали устои плотины, — титанический гребень, расчесывающий букаки Днепра, — и сквозь туман панорамы угадывал контуры знакомых по проекту подробностей, отдаленные воплощения чертежей. Усилия, работа инженера Левшина, его сознание разумной долькой были вложены в какую-то крупницу этих воплощений, и гордость сжимала ему сердце, и стало больно от тоски, что он не видел, как там открыли шлюзы и как низверглась вода. И тогда опять с закаленной силой его охватило решение: выздороветь, выздороветь, выздороветь и вернуться туда, домой, к смыслу и цели всего будущего!

Он сам иногда удивлялся, насколько хитро, предусмотрительно, расчетливо сделалось его поведение с тех пор, как начала отступать болезнь, и какое

удовольствие доставляло ему собственное щепетильное благоразумие, над которым прежде он мог бы только издеваться. Такой чудесный инстинкт, такой чудесный инстинкт — думал он — жизнь! Видно, мне уже не тридцать лет, не тридцать, а шестьдесят, — так я хочу жить!

И хотя канадский хоккей был безоглядно страстен, и судья не поспевал высвобождать из клубка команд одного за другим самозабвенных спортсменов с разбитыми коленями и черепами, Левшин ни на минуту не забывал, что еще неизвестно — выиграл ли он свой матч с болезнью или нет.

— Теперь уж все равно, какие свитеры побьют, — сказал он, — оранжевые или белые. Главное мы видели. Пойдем, у меня замерзли ноги.

— Что же вы молчали! — вскинулась Гофман и, будто осекшись, перебила себя: — А как же с фрейлейн Ингой? Вы обещали ей рассказать о хоккее.

— Да, правда... Но ведь пока мы идем, все кончигся, и мы узнаем результат по телефону, из Арктура.

Они прошли городом молча, прикрываясь воротниками от утомляющего настойчивостью ветра. Недалеко от дома Левшин взял Гофман под руку.

— Скажите, что вы думаете об Инге?

— Очень славная... Она мне нравится так же, как вам.

— Бросьте. Вы знаете, о чем я...

— Не знаю. Не понимаю.

— Бросьте же!

Она придавила его руку к себе локтем.

— Поймите, я могу ошибаться.

Они опять пошли молча, и только перед самой дверью Арктура Левшин сказал:

— Ну, хорошо: ошибитесь. Я хочу знать ваше ошибочное мнение, больше ничего.

— Не знаю, — сказала она, и, высвободив руку, первая вошла в дом.

Левшин сразу поднялся к Инге. Ее не вывозили на балкон из-за фёна, окна были открыты только наполовину.

Ее глаза вспыхнули, видно было, как под одеялом задвигались пальцы.

И вдруг Левшин с необыкновенной остротой, точно вернувшись из долгой отлучки, увидел, как ее изуродовала болезнь. Он приостановился. Словно налет золы пал на ее виски и выросшие скулы, вялые морщинки повисли от ноздрей к углам рта, поднялся, взлетел маленький подбородок все еще легкого, женственного, но какого-то застывшего очертанья. Странно было смотреть на нее после буйства перенасыщенных силой людей на катке.

— Что вы стали? — сказала она. — Подите, закройте окна, мне опротивел фён.

Он исполнил просьбу и подошел к кровати. Приближение к Инге становилось ему в тягость, надолго вызывая к ней сострадание. Но сострадание никогда не приходило чистым, а смешивалось с тревожащим, упрямым чувством удовольствия, что с ним, с Левшиным, не происходило того, что происходило с ней, с Ингой. Эта двойственность казалась ему постыдной. Он старался подавить в себе постоянное невеликодушное сравнение недавно пережитого с тем, что переживала Инга. Но в нем ютилось скрытое торжество, что уже не возвратится состояние, когда в наступившей тишине болезнь притаивалась бездыханным созданием где-то тут же, у него за подушкой, готовая сбросить его в яму, как только он зазевается.

Левшин взял со столика кольцо с маленькими рубинами.

— Знаете, почему я сняла его? — спросила Инга. — Я замучилась, оно такое тяжелое.

— Я помню, мне было больно от простыни, которой я накрывался, — сказал он.

— А теперь?

— Теперь я хожу смотреть хоккей.

— А мне не нужен хоккей, — сказала она, отворачивая голову. — Мне просто неинтересно, чем вы там увлекались на вашем хоккее. Вы, может быть, сами намерены играть в хоккей? Боже мой, воображаю!

Он не ответил, и она не шевельнулась.

— Вы, наверно, забыли, что такое тб, — сказала она в наставительном тоне. — Он очень коварен, этот недуг. Человек заболевает, когда уверен, что совсем поправился. Еще неизвестно, пойдет ли впрок ваша поправка.

— Ей-богу, попади я под автобус... — начал он.

— Да, — перебила она опять раздраженно, — если бы вы попали под автобус, я сказала бы: так и надо, не поправляйся!

— Виновен в выздоровлении, — засмеялся он.

— Да. Виновны. Вы держитесь, как гость. Это оскорбительно. Что мы здесь — трамплин для вашего будущего?

— Вы — нет. Но Арктур, горы — трамплин, больше ничего. И для вас — тоже.

— Все равно, — сказала Инга, — когда я начну поправляться, я буду вести себя тактичнее.

— Ну, я зайду к вам другой раз.

Она быстро повернула к нему лицо и посмотрела с укором.

— Вам было хуже, чем мне? — спросила она.

— Да.

— Что же вы делали?

— Я немного потерпел.

— Ах, знаю! Это — рецепт Штума!

— Я был уверен, что мне есть смысл выздороветь.

— Смысл?

Она помолчала недолго.

— Вас ждет кто-нибудь дома?

— Все ждут, — сказал он и удивился своему ответу: так выразилась у него эта мысль впервые.

— Все — это никто.

— У нас не так. Когда я заболел...

— Как вообще это было?.. Или не надо, я не хочу. Я не хочу все об одном и том же. Это совсем не главное... Дайте мне одеколон.

Вытянув руки из-под одеяла, она сложила ладони в пригоршню. Левшин налил ей одеколон. Пальцы ее стали необычайно длинными, и, когда она их

растирала, казалось, вот-вот начнут отчленяться суставы. Она попросила зеркало, но сразу отдала его назад.

— Сочувствуете мне? — сказала она, усмехаясь.

— Иногда.

— Это подло так отвечать, понимаете, подло, если вам говорят... если женщина говорит, что вас любит...

Они смотрели друг на друга, молча. Он был взволнован не меньше ее, и не мог ответить. К Инге возвращалась прошлая прелесть, краски с силой проступили на ее лице, и худоба, будто исчезая, становилась милее.

— Вам просто хочется скорее поправиться, — сказал Левшин.

— Я лучше вас знаю, что мне хочется. Мне нужно скорее пожить.

— У вас есть время.

— Не обнадеживайте, вы — не доктор. Что может быть страшнее докторского безучастия!

— Вас только-что обидело сочувствие, и вдруг я стал безучастным.

— Погодите... сядьте.

Она немного отодвинулась и потянула его к себе за рукав.

— Правда, — сказал он, — вас словно бьет лихорадка, и вы не можете...

Она не дала ему досказать.

— Лихорадка, да. Но только это не болезнь. Я ненавижу ханжей. А вы думаете, что я такая, как другие девушки, которые изо всех сил прячут свои желания, потому что боятся последствий. Я все равно умру скорее, чем могут быть какие-нибудь идиотские последствия. Так что, пожалуйста, без рыцарства.

— Ну, послушайте, ведь смешно, когда взрослый, большой человек пугается осы и бежит от нее, отбиваясь.

— Какая оса?

— Вы закрываете глаза на правду.

— Какая правда? Даже майор смеется над этими бреднями, что любовь может помешать нашему лечению или что-то подобное.

— Но я же не говорил такую чепуху!

— А что вы говорили? Про то, что я не умею соблюдать режим или что я скоро умру?

Она села, опираясь вытянутыми тонкими руками в подушку. Одеядо сползло у ней с груди, ей хотелось кашлять, она закусила губу, острые плечи ее вздрагивали. Глаза, расширяясь, темнели, как от наступившего вечера. Подавив кашель, она выговорила, однотононо расставляя слова:

— Может быть, вас интересует моя температура?

Не отрывая взгляда от ее бровей, то стягивавших, то подымавших на лбу прозрачную кожу, Левшин невольно тоже вздернул и опустил брови.

— Вы — резонер, — сказала Инга.

— Хорошо, резонер.

— Вы... — начала она и остановилась.

Вытянув шею, отталкиваясь пальцами от постели, приближая к Левшину влажное, жаркое лицо, она со злостью договорилась:

— Вы просто, наверно, негодный мужчина.

Чтобы лучше видеть, она откинулась и ждала, что он скажет. Она так взволновалась и так необыкновенно дышала, что у нее совсем пропала потребность кашлять.

Левшин усмехнулся обиженно.

— Вы напрасно сердитесь, — сказал он, поднимаясь.

— Уходите, уходите! — крикнула Инга.

Она резко согнула руки в локтях и упала на подушки.

Он вышел в коридор.

Давно уже он не чувствовал себя таким усталым: плечи и лопатки ныли и хотелось скорее дойти до своего шезлонга. Но на лестнице встретился доктор Клебе и тотчас заметил в Левшине перемену.

— А все хоккей, хоккей! — возгласил он нараспев, как будто с удовольствием убеждаясь, что вот и хоккей может доставить неприятность.

— Нет, не хоккей. Тяжело бывать в этой комнате.

— Ах, у нашей милой фрейлейн Кречмар! Я давно хотел отсоветовать вам навещать ее.

— Она всегда ждет, ей невозможно отказать. А когда смотришь на нее, заново проходишь свою болезнь.

— Вам это вредно, я чувствую, —

отозвался Клебе, чувствуя, на самом деле, хорошо знакомое беспокойство перед чем-то назревавшим и неизбежным.

— Впрочем, мне скоро уезжать, — сказал Левшин.

— Как уезжать, — всполохнулся доктор, — почему скоро?

Но Левшин кивнул и стал быстро спускаться.

Клебе прижал ладонь к сердцу, облокотился на перила: начинался приступ кашля.

10

Спасаться, надо было спасаться. Какое бездушие окружало доктора Клебе! Все думали о себе, никто — о нем. В своем маленьком кабинете он валился на диван, вскакивал, брался за письмо, уничтожал, комкал написанное.

Когда отбыла из Арктур сумасбродная мадам Риваш, у Клебе вырвалось внезапное напутствие:

— Пошла бы у старушонки горлом кровь, — она узнала бы!

Он увидел, как застыло лицо доктора Штума, и тотчас разъяснил свою мысль:

— Несчастливая особа — эта мадам Риваш. Я говорю: а вдруг у нее пойдет горлом кровь?..

Легко было Штуму разыгрывать великодушие. Он получал жалованье главного врача в кантональном санатории. Он имел частную практику. А Клебе? Бедный Клебе.

Как-то раз, в поисках пациентов, он вспомнил молодую швейцарку, незадолго лечившуюся в Арктуре. Он написал ее отцу, что если не будет повторен курс лечения, то девушка заболает обострением процесса. Отец немедленно прислал дочь. Она нравилась Клебе, он надеялся, что ее общество оживит Арктур, да и сама она была непрочь пожить в горах. Одним свободным местом в санатории стало меньше. Но Штум, послушав больную, с прямодушной усмешкой сказал:

— Поезжайте-ка, дорогая, вниз, нечего вам тут делать, — у вас все хорошо.

Клебе проглотил эту бестактность: ведь он обязан был, наподобие пациентов, выполнять предписания лечащего врача. И — в бешенстве — он обругал Штума:

— Подумал бы, дьявол, хоть о больных, если ему наплевать на меня, с моим Арктуром!

Все, что можно было измыслить, чтобы помочь Арктуру, Клебе давно измыслил. Если пациент начинал поговаривать о возвращении домой, он находил у него ухудшение. Если больной чувствовал себя слишком хорошо, Клебе думал — не слоткнется ли он, если его отправить в увеселительную прогулку на санях или пристрастить к хождению на файф-о-клоки в кургауз? В этих невольных и редко удававшихся умыслах Клебе не видел ничего дурного, потому что считал, что любит своих пациентов и заботится искренно об их долголетию. Майор сказал однажды:

— Наш добрый Клебе желает всем больным много лет. Но только много лет — в санатории Арктур.

И правда, доктор Клебе, в известном смысле, был похож на Англию, у которой мотивы высокого рыцарства всегда совпадают с мотивами выгоды. У него только недоставало английского юмора, чтобы свою корысть всегда представить благодеянием для человечества. Как Англия, он любил свое благородство, но нельзя сказать, что был готов защитить его любой ценой.

Он был воспитан европейским университетом, где медицина почитается гуманнейшей из наук, и в глубине души был верен воспитанию. Но происходившее с ним происходило не в глубине души, а на какой-то очень чувствительной поверхности, по которой даже не скользнул университет с его гуманизмом и которая привыкла, чтобы ей было хорошо. Этой поверхностью Клебе как бы ограждал неприкосновенность задушевных, глубоких чувств. Он верил, что если спасет Арктур, то исцелит своих больных. И не его вина была в том, что спасти Арктур могли бы только неисцеленные больные.

Клебе брался за перо. Он сочинял письмо германской химической фирме,

чтобы она прислала бесплатно препарат кальция для научных испытаний в Арктуре. Он просил об этом уже не первый раз и каждый раз боялся получить отказ. Но фирма щедро рекламировала свой товар и присылала задаром целые пакеты пятикубиковых ампулок кальция, желая, в вежливых сопроводительных письмах, успеха научным опытам господина доктора Клебе и прося сообщить об их результатах. А господин доктор, тщательно порвав письма и замазав чернилами слово «gratis» на пакетах, выставлял каждый понедельник в счета пациентам каллиграфическую строчку: столько-то инъекций кальция по столько-то франков за ампулу, всего столько-то франков.

Набравшись решимости, он писал добродетельной фирме, что продолжает с хорошими результатами научное применение высокоценного препарата кальция и просит предоставить возможность довести опыты до желательного науке и уважаемой химической фирме конца. Он писал в четверг, прошлый понедельник был забыт, наступающий был далек, некоторое противоречие между посланием фирме и счетами пациентам сглаживалось временем, да и не противоречие беспокоило Клебе, — он тревожился, что на этот раз за кальций придется платить, и его охватывал необоримый испуг, что именно кальций разорит санаторий вконец. А ведь надо было спастись, спастись.

Можно было бы пойти на худшее: брать в Арктур умирающих, которых с охотой отдавали на дожитие все санатории и особенно пансионаты. Но это значило — навсегда проститься с репутацией Арктура, как со счастливым местом, где выздоравливают, и прославить его похоронной конторой. К тому же Клебе, человек больной, отыскивал в судьбе других больных — свою, и смерти производили на него подавляющее впечатление, которое он должен был утаивать так же, как свою болезнь.

Бывало, знакомый врач из Люцерна посылал в Арктур больных, не находя у них ничего определенного, просто по дружбе с доктором Клебе. Но это происходило в безоблачное время, когда

Клебе ничего не стоило пригласить люцернского друга в сопровождении знакомых отдохнуть в горах. Нынче друг присылал только открытки с видами Люцерна, на рождество и на пасху.

Клебе решительно заклеил конверт, но, отодвинув письмо и придавив его кулаком, задумался. Хорошо. Допустим, еще раз прибудет кальций «gratis». Разве возместит бесплатное лекарство убыток, причиняемый отъездом пациента? Один какой-нибудь веснушчатый Вилли Бауэр выгоднее сотни ампул кальция. А вдруг уедет Левшин? Или — Кречмар? Или Левшин вместе с Кречмар? То-есть, что значит — вместе? Они не могут уехать вместе, они уедут врозь. То-есть, как так — врозь? Значит, они уедут оба? Это не может быть. Кто-то должен остаться. Разумеется, кто-то останется. Однако, если кто-то останется, значит, кто-то уедет. Но ведь это — кошмар, если кто-то опять уедет! Это просто нельзя вытерпеть. Сколько же останется пациентов? Англичан двое, майор — три, потом — четыре, пять, шесть. Шесть человек! А чтобы только покрыть расходы, нужно восемь. Не говоря о долгах. Чорт возьми, шесть человек! Надо удержать хоть седьмого. Надо оставить Ингу. Она недавно получила деньги. А если она умрет? Нет, она не умрет. Пока у нее есть деньги, она протянет. Такие тянут долго. И Штум о ней заботится; наверно, сам будет платить за нее, если она останется без денег. От него можно ждать, он юродивый. Значит, семь человек. Это все-таки лучше, — восьмого можно будет где-нибудь подыскать. А вдруг... вдруг англичане тоже... Нет, англичане не уедут. Пастору понравился Арктур. И он будет жить, хотя давным-давно кончилась его служба в кирке. Если англичанам что-нибудь понравится, — они ведь тоже юродивые. Вот Левшин непременно уедет, его не удержишь, — он слишком поправился. Может быть, Штум подействует на Левшина? И тогда пусть уезжает Инга. Инга Кречмар — тяжелый случай. Надо действовать, пока они не разбежались, — все эти калеки, о, боже...

Кто-то постучал в дверь, Клебе встретился. Вошла Лизль с ведром:

— Можно помыть пол, господин доктор?

Он подошел к ней. Она была в фартуке из розовой клеенки, черные кудри ее растрепались, на верхней губе сквозь темный налет пушка проступили капельки пота: Лизль только-что вымыла лестницу на всех четырех этажах. У нее был очень задорный вид, особенно из-за кудрей.

— Ну, что же, Лизль, — облегченно сказал доктор, — когда мы поженимся?

Она засмеялась и вытерла губы сначала одним плечом, потом другим.

— Я не шучу. Мне надоел этот большой дом, я его брошу и уеду куда-нибудь с вами.

— О, — сказала Лизль, — бросить большой дом!

— Чорт с ним. Мы поселимся где-нибудь тут же, в горах. Здесь есть хорошие места, около Глариса или Визена. Купим маленький домик, вы заведете хозяйство.

— О, — сказала Лизль, — такой маленький домик! — и оттопырила пухлый, коротенький красный мизинец.

— Будем делать, что захотим, — сказал доктор.

— А если я захочу в кино?

— Поедете в Сан-Мориц.

— А если танцовать? Ведь вы не станете со мной танцовать.

— Можете танцовать с кем вздумаете, я не ревнивый.

— Ну, если не ревнивый, ищите себе другую. Я люблю итальянцев: вот это раса! Я с одним гуляла, думала — на мне живого мяса не останется: он меня всю ищипал.

— Если хотите, чтобы вас щипали, — беспечно сказал доктор, подвигаясь к Лизль.

Она еще раз вытерла лицо плечами. В это время раздалось кашлянье за дверью, доктор отскочил к столу и начал стучать прессбюваром по письму.

— Войдите! — крикнул он, усердно разглядывая на свет давно просохшие чернила.

Вошел майор.

— С прогулки? Фён, кажется, утихает?

— Ничуть не утихает! Я хочу вам кое-что сказать, господин доктор.

— Пожалуйста, — пропел Клебе и повел взором туда, куда глядел майор.

Лизль принялась мыть пол. Кудри у нее раскачивались, густо занавешивая лицо. Синела выбривала шею. Руки размашисто перекатывали тряпку по полу, с чваканьем отжимая мутно-зеленую воду. И так хорошо был виден крепкий торс, гибко поворачивавшийся из стороны в сторону, следом за руками, и сильно сбитые, тяжело-весные бедра.

Майор и доктор, замолчав, смотрели на Лизль, как будто открыли что-то никогда не виданное и поражающее до глубины души. Потом доктор вдруг взял майора за локоть и повернул к двери:

— Так пойдем же отсюда, милый господин майор, — что здесь стоять?

В коридоре майор не сразу заговорил, огоняя золотой сон. Когда доктор притронулся к нему, как к человеку, которого, желая разбудить, боятся испугать, он сказал:

— Да, да. Не обижайтесь на меня, господин доктор. Я понимаю, вам трудно. И не думайте, что я не дорожу вашими заботами.

— Когда? — безжизненно вставил доктор.

— Еще не знаю. Еще не решил — куда. В Лугано или в Локарно. Но если я теперь не поеду вниз, я останусь здесь навсегда. Пришел час. Я человек военный, я слышу зорю, надо свертывать лагерь.

Они пошли вверх, оглашая лестницу домовитым поскрипыванием ступеней, и расстались замкнутые, чуть кивнув друг другу. майор — к себе, доктор Клебе — к Инге.

Он не мог исполнить свою программу — как самочувствие? температура? — самообладание покинуло его, он говорил без прикрас. Сгорбившись, потирая руки, он топтался по комнате или становился перед зеркалом, спиной к Инге, пожимал плечами и словцо удивлялся: что там за человек в

белом халатике вздрагивает от озноба, растирает ладони и бормочет.

— Разочарование, милая фрейлейн Кречмар, о, нам знакомо разочарование. Мы иногда жестоко раскאיваемся в привязанностях. Больной, которого мы возрождаем к жизни, делается нам близок и мил. Мы гордимся им, мы радуемся с ним вместе. А те, которых несмотра на наши усилия, мы не в состоянии излечить, те нам еще дороже, еще любимей. Как для матери — несчастное дитя. Но кто поверит, что тобой руководят веления альтруизма и науки?

— В самом деле, кто поверит? — сказала Инга.

Но Клебе не слышал ее.

— И что же мы получаем в ответ? Стоит пациенту поправиться, как он забывает обо всем и готов на любое легкомыслие. Возьмите майора. Он даже не поправился. Он убьет себя, если поедет вниз. А он едет. Возьмите Левшина. Один неосторожный шаг, и усилия, которые дали такой отличный результат, — все полетит в пропасть. А Левшин решил тоже уехать. И его не переубедишь. Он подозревает в моих уговорах нечто эгоистическое. Эгонизм — и я! Боже мой! Вот и еще одно разочарование!

Клебе поднял руки над головой и обернулся к кровати. С этим жестом, слегка напоминавшим библейский, он постоял несколько мгновений, словно обращаясь в столп. Инга смотрела на него немигающими глазами и так сжала губы, что помада стерлась и они побелели. Даже ее обычный тик исчез — кожа на лбу разгладилась, точно омертвев. Он подумал — не отступить ли, не обратить ли все в болтовню, или, может быть, решительнее напасть на Левшина, чтобы доказать правдивость своих слов о нем. Но Инга как будто и не сомневалась в его словах. Только во взоре ее Клебе увидел заточенную в острие ненависть, и острие было наведено не прямо на него, а куда-то совсем близко, рядом с кончиком уха, и от этого Клебе зябко передернуло. В тот же момент лицо Инги настолько выразило перенесен-

ное испытание болезнью, что он понял — плохо! — и сразу нашел, как следовало действовать:

— Совсем забыл! — воскликнул он, щелкнув ладонью по лбу. — Платежный день! Сегодня у Аркура платежный день. Явятся считать мои бедные сантимы. Простите, милая фрейлейн Кречмар, простите.

Он выбежал, немного ободренный своей находчивостью: как-никак, пациенты лежали и лежали, а он платил и платил. Благородство было не на стороне пациентов.

Инга долго оставалась неподвижной. С далекой дороги прилетел звон бубенцов и тяжелый топот копыт, слегка чвакавших по талому снегу. Потом возникла в хрустальном воздухе и стала переливаться, как струя воды, тирольская фистула — ули-ула-ули-уло — то замирая на высокой ноте, то обрываясь на каком-то птичьем хохоте. Горы громко повторяли песню, и когда она прекратилась, еще некоторое время вежливо побулькали фальцетом.

Нестерпимая тоска явилась в комнату с этой вечной, шутивно-грустной песней гор и вытолкнула Ингу из неподвижности к действиям, которые всего несколько минут назад показались бы ей удивительными. Одежда, давным-давно неприкосновенно хранившаяся в шкапу, вдруг спонадобилась. Выскивание, разглядывание чулок и белья — процедура чуть-чуть возбуждающая женщину — увлекла Ингу новизною, но она словно боялась отвлечься от главной мысли, ведшей ее, как гипноз, и одевалась быстро, почти небрежно. Даже лицо она разглядывала мельком и, только все окончив, посмотрела на себя в зеркало продолжительно, задумавшись над тем, что похудела, но что, впрочем, всегда была худой, и это ей шло. Каблуки опять стали ей внове, точно она — школьницей — получила в подарок от отца первые туфли на французских каблуках, и подгибались колени, и сводило икры, и шаги делались все меньше, меньше, и вдруг остановились около комнаты, в которую она входила первый раз.

— Можно! — расслышала она голос Левшина.

Насилу разжав стиснутый кулак, она взялась за холодную ручку и дернула дверь. Ей казалось, для этого нужна решимость, похожая на ту, какой набирается человек, когда ложится на операционный стол. Но едва она перешагнула порог, ее окрылило спокойствие, и, легко миновав комнату, она вышла на балкон к Левшину. Он встретил ее изумленным.

— Вам разрешили встать?

— Неужели всю жизнь я должна спрашивать на каждый шаг разрешение?

— Что-нибудь переменилось?

— В чем?

— Я не знаю. Может быть, — в вашем состоянии.

— Вас это интересует?

— Если вы встаете, одеваетесь, приходите к соседу...

— К соседу? Ну, что ж, мой дорогой сосед! Я чувствую себя хорошо. Настолько, что хочу и буду вставать.

— И Штум, конечно, того же мнения?

— Штум? Я еще не знаю его мнения. Я очень люблю Штума, но ведь, право, мое самочувствие вряд ли от него зависит.

— Я считал — именно от него.

— Ну, если хотите... Штум настоял на пневмотораксе. До того у меня не бывало кровотечений, плевритов. Теперь... Прямая зависимость от Штума, не так ли?

— Вот профессия, которой ничего не прощается, — медицина!

— Я не виню Штума.

— Его нельзя винить, он — человек доброй воли, — сказал Левшин.

— Я говорю, что люблю его. Это мало? По-вашему, я должна ему поклоняться?

— Не знаю, как это назвать. Но чтобы сомневаться в нем, вы должны сначала исполнить его требования. Положим, вы и без того чувствуете себя хорошо.

— Надо же когда-нибудь это сказать! Иначе меня ждет судьба майо-

ра: будет страшно спуститься на два метра ниже Давоса.

Инга села в ногах Левшина, как не раз садился он к ней.

— В конце концов, все растаяло с Арктуром, — сказала она, глядя в сторону. — И я решила уехать тоже.

Он не отозвался. Ее голос слишком плохо скрывал неуверенность или даже неверие в то, что она говорила. Можно было думать, что никакого решения она не принимала и просто все та же капризная болезнь проявилась во внезапности ее прихода, в рассчитанности речей.

— Ведь вот вы тоже уезжаете, правда? — спросила она, как будто мимоходом, но тотчас рывком повернулась и взглянула Левшину прямо в глаза.

Это была слишком явная уловка, желание в чем-то поймать, обличить, и возмущение приливом хлынуло в голову Левшина.

— Да, — сказал он. — я уезжаю. Меня вызывают на службу.

Они не спускали взгляда друг с друга. Левшин слышал, как бьется пульс в его висках. Какую-то навязчивую зависимость старалась установить Инга между ним и своей судьбой. А его угнетало сострадание к ней, он не хотел быть нянькой ее болезни. И с упрямством, едва ли не с озлоблением, он повторил ложь:

— Вызывает служба. И притом — немедленно.

— Жалко, что я это узнала от посторонних, — проговорила Инга. — Прощайте.

Она подала ему руку с похолодевшей от влажности ладонью.

— И вы поедете вниз, несмотря на весну? — словно в последнем раздумье спросила она, уже обернувшись, чтобы идти.

— Почему же? Ведь вот даже вы не боитесь весны. — сказал Левшин низко осевшим голосом.

Он сразу почувствовал безжалостность своего словечка — даже, — но ведь именно к безжалостности он себя звал, и ему стало легче, что Инга не обронила больше ни слова и не взглянула на не-

го, и ушла, правда, немного странной походкой, точно впервые надев туфли на высоких каблуках.

Чтобы успокоиться, он поднялся с шезлонга, пошел в комнату. В зеркале он заметил покрасневшие от возбуждения глаза и признался, что ему стыдно своего вранья.

Когда кто-то подошел к двери, он встревожился, решив, что возвращается Инга и снова потребуются объяснения. Но вошел Карл.

— Записка от господина доктора. Будет ответ?

— Спасибо. Потом.

Конверт был тщательно заклеен.

«Уважаемый господин Левшин. Должен раскрыть вам свой план, который облегчит столь необходимое для Вас дальнейшее лечение в Арктуре. Я взял смелость сказать фрейлейн Кречмар, что вы якобы уезжаете. Не сомневаюсь, это ускорит ее отъезд, к которому, кстати, она давно готовится. Если бы вы пожелали на несколько дней поехать в окрестности, чтобы рассеяться, то к Вашему возвращению фрейлейн Кречмар, несомненно, покинет Арктур. Зато Ваше пребывание здесь никто не будет оглядывать, что мне доставит истинное удовольствие.

Преданный Вам
Д-р Клебе».

Левшин скомкал письмо, швырнул его на умывальник, вылетел на балкон. Итак, все было проделкой доктора Клебе — непрошенного стряпчего и мастера благодетелей.

Левшин заново увидел Ингу, неуверенной поступью выходящей из комнаты, и в этот раз ясно понял, что оскорбил ее, хотя, сам того не зная, лишь продолжил начатый другим обман.

Он стоял, прислушиваясь к тому, что в нем происходило. Неизменная, насыщенная покоем даль простиралась перед Арктуром. Изломанные заледенелые вершины, в подножиях — темные окаймления лесов, едва заметные в снегах избушки пастбищ на склонах, неподвижное солнечное небо. Как привычно вселяло это спокойствие и ровность. Нет, Левшин не совершил ничего несправедливого, ему нечего поправлять, а хоть, доброе намерение лжи — оно хорошо послужит и ему, и несчастной Инге.

— Правда, — сказал себе Левшин, — поехать в горы. Здешняя жизнь дала слишком большой отстой. Его надо взболтнуть.

В самом деле: не покушением ли на его свободу были все эти претензии Инги? Она обижалась на то, что он не давал ей повода обижаться. Укоряла тем, что у него не было перед ней никаких обязанностей. Нелепое, смешное положение!

Он услышал накотившийся издалека отголосок озорного фальцета: ули-ула-ули-уло — и согласно тряхнул головой его игривому призыву.

11

Поезд проходил мимо ущелья, в котором лежал Клавадель, и Левшин отвернулся от окна. Тотчас зазвучал в памяти рожок клавадельской почты. Каждый, кто отдал частицу бытия балконам Арктира, вкладывал в наивную мелодию свое особое чувство. Для Левшина это был зов к жизни. И сразу ему вспомнился разговор о Клаваделе с Ингой и то, как она слушала этот напев, бывший для нее тоже какою-то мечтою. Чтобы не помешать давно сложившемуся влекущему представлению о Клаваделе, не следовало видеть живую картину, наверно — прекрасную, но несходную с воображаемой. Может быть, придется встретиться с Ингой, и она спросит, что такое Клавадель, и тогда будет легко ответить, что Клавадель — та самая мечта, которая ее занимала на балконе Арктира.

Это первое, немного грустное воспоминание об Инге улетучилось, как только Левшин миновал окрестности Давоса. Поезд шел в гору, останавливаясь на крошечных станциях. Теснее подступали к дороге вершины, темные скалы и камни все неувереннее выглядывали из-под снега.

В Филизуре Левшин побродил вокруг станции. Она торчала на обрыве, падавшем в узкую запертую почти со всех сторон Альбульскую долину. На самом краю обрыва стоял фонтан — каменный столб с длинным краном, из

которого струя отточенно падала в водоем, похожий на колоду, глуховато бормоча и выбивая серебряные подскакивающие брызги. Рядом покоился снег, недавно выпавший, рыхлый, с кружевной талой корочкой. Глубоко внизу горбилось кучное селение с остренькой, как шило, киркой, тоже заснеженное и чуть подернутое туманом, свинцовым — в тени нависшей горы, дымчато-желтым — на солнце. И сюда уже взбралась весна, но ей было трудно управиться: Левшин ясно ощутил нерушимое и словно предупреждающее дыхание близких ледников. Но в холоде, в снегах, в тумане долины сохранилось столько чистоты, что день был похож на весенний, и незамерзающий фонтан своим бормотаньем как будто намекал на весну.

Весь путь не оставляло Левшина чувство приближения к весне, а он приближался к полосе вечного снега. Нагромождения, плившие мимо, за окнами вагона, были фантастичны, и поезд, будто не веря, что можно провалиться по скалам, висящим над провалами ущелий, все время, чуть дыша, оглядывался на свой выгнутый хвост. Под Бергином вагоны медленно взмывали в высоту, как летающие снаряды, и постепенно из-под ног вывертывался штопор пройденной дороги, на гигантских завитках которого были нарезаны виадук, друг над другом, и с верхнего нижние казались сложенными из табакерок.

В Энгадине солнце пронизывало долину тихим довольством. Оттаявшие лунки вокруг деревьев свидетельствовали о готовности возрождения. Но подъем по бернинской дороге раскрыл все высокомерие природы: суше, страшнее сделалась синева неба, дунул ветер, ударил в широкие стекла вагонов, снежные поля кинули на поезд ослепляющие отсветы. И тогда над пустынями сугробов, заваливших ущелья, над изломами небрежно раскиданных вершин поднялся с видом ко всему безразличного превосходства отрог великого горного содружества Бернины — околеченый ледник Мортарач. Он неспеша опрокинул на ни-

чтожный поезд облеск солнца, — сам, как солнце, — и поезд зажмурился, замигал занавесками своих туристских окон и, словно пристыженный, еще незаметнее пополз вверх, в сторонке от крошечных, как спички, телеграфных столбов.

На первой остановке после перевала Левшин вышел из вагона. Это была безлюдная станция, никого не оказалось на перроне, никто больше не подумал расстаться с поездом, и он исчез под горой быстро, точно поскользнувшись. Всего два строения виднелись вдалеке: на тучной скале возвышался двухэтажный отель, и пониже, в ее подножии, прикорнул павильон ресторана. Вытоптанной в заносах тропинкой Левшин пошел к отелю: рушился ключий, ледяной ветер, и хотелось скорее под крышу. Огромная вывеска, нарощенная на скалу, оповещала о названии станции и приюта — Альп-Грюм, — а также о том, что с террасы отеля такой-то высоты над уровнем моря открывается самый чудесный вид на ледники. Швейцарский крест на фундаменте террасы государственно скреплял бесспорность этого заносчивого утверждения.

В доме пахло протопленными печами, вода в умывальнике согрелась, комната сразу обнимала уютом, тянуло подойти к незамерзшему окну.

Там, под ногами, тысячеметровую пропастью проваливалось сине-голубое пространство, непонятно сочетая полет с остолбенением. На дне обрыва колебались полугона, зимующих садов Вельтина, струясь долиною к соседним гребням итальянских Альп. Величие здесь было так общедоступно, что нескончаемость далее за окном показалась Левшину просто составной частью дома.

Он испытал новое легкое чувство телесной певучести, ему захотелось с кем-нибудь разделить его, и он опять вспомнил Ингу: какая жалость, что ее нет поблизости и что она так ужасно больна!

Он достал привезенные книги, сел к столу, перед окном, отыскивал нужную

страницу, положил на нее ладонь и долго смотрел через стекло в пропасть долины.

В воскресенье с поездом приехало много туристов. Левшин увидел их, когда они цепью потянулись по тропинке к гостинице. Они несли лыжи на плечах, их шествие было похоже на марш воинов с копьями. Вдруг в самом конце цепи Левшин разглядел знакомую фигуру. Это была доктор Гофман, она шла без лыж, он узнал ее по походке.

Он пошел встретить ее на крыльцо. Она раскраснелась и очень понравилась ему, — такой непринужденной, веселой он ее не знал.

— Меня послал Клебе — посмотреть, как вы тут живете.

— А если бы не послал, вы не приехали бы?

— Возможно. Ведь вы также и мой пациент, не только — доктора Клебе.

Ей было к лицу даже лукавство, и вообще она была новой — без важного халата, в джемпере, завязанном на шею ярко-красным шнурком с кисточками.

— Как здоровье фрейлейн Инги?

— Ничего. Хорошо.

— Она собирается уезжать?

— Да. Повидимому.

— Почему вы хмуритесь? Вы думали, что я не спрошу об Инге?

— Я не думала, что спросите о ней прежде всего.

— Но мы же все-таки поздоровались.

— Я думала — немного попозже.

— Немного позже, немного раньше, — не будем аптекарями.

— Ну, не будем аптекарями. Спрашивайте.

— О чем?

— Об Инге.

— Я уже спросил. А вам хочется о ней говорить?

— Нет, ведь это вы начали.

— Я уже кончил. А вы все говорите.

— Да это вы говорите!

Они засмеялись.

— Вот какой план, — сказал Левшин, — сначала гулять, потом обедать.

— Принимаю.

— Или, может быть, хотите наоборот?

— Я хочу, как вы. Вы здесь хозяин.

— Здесь — в горах?

— И здесь — в горах, и здесь — в комнате.

— Тогда идемте.

В маленькой пристройке холла они примерили башмаки с кошками, обулись в шерстяные носки, взяли палки. День был безоблачный, солнце заметно грело, но тропинки звенели под железными шипами башмаков, — холод держался стойко.

— Погодите, — сказала Гофман, снимая рюкзак. — я взяла очки, и, кроме того, мы должны намазать лицо вазелином, от солнца.

— Да ничего не случится.

— Нет, погодите.

Она принялась старательно натирать себе лицо, уши, потом мазнула по щеке Левшина. Он вытерся платком, она, смеясь, мазнула еще раз, и он растер мазок по всему лицу. Они надели дымчато-зеленые очки.

— Вы любите наряжаться? — спросила она.

— Я любил устраивать цирк.

— А я любила маски.

— Белый халат, инструменты в кармашке, правда?

— Ничуть не ново.

— Я вас всегда видел такой.

— Сегодня — не всегда.

— Я вижу.

Она пошла впереди. Тропинка, шириною в ступню, требовала осторожности, идти надо было расчетливо. Гофман иногда останавливалась, поэтому приходилось смотреть за ее шагом с двойным вниманием, она была слишком близко перед глазами, он видел только ее.

— Пустите меня вперед, — сказал он.

— С условием: чередоваться.

— Хорошо.

— И как устанем, так — стоп.

Они поменялись местами.

Путь вел к перевалу, и скоро начался подъем. Ледник громоздился над окрестностью тупо, давя собою все вокруг. Они шли долго, а он не двинулся, и

стало казаться — от него нельзя уйти, можно идти вечно, он все равно будет стоять рядом. Сквозь очки он был матово-зеленый, светлый, как прозрачное бутылочное стекло, небо над ним — клеенчато-жесткое, серое.

Когда склон преградили камни, тропинка исчезла. По сторонам вычеркнулись и пропали лыжные следы, ноги начали проваливаться, шагать дальше стало слишком трудно. Левшин забрался на оголенный ветром камень, подал руку Гофман и, держась друг за друга, они огляделись. Ледник стоял рядом. Все вокруг будто извинялось перед ним. Они сняли очки и попробовали взглянуть на него. Он хлестнул по глазам сиянием плавильной печи. Они зажмурились.

— Сколько, по-вашему, до него? — спросила она.

— В полдня вряд ли дойти.

— С вами и в день не дойти, — сказала она, улыбаясь и слегка толкнув Левшина.

Он не устоял на камне и, спрыгивая, потянул ее за собой. Чтобы не дать ей упасть, он обнял ее, и они смеялись, ослепленные снегом, в снегу по колена. Густо намазанные лица лоснились, поблескивали, это смешило еще больше. Мешая друг другу, они выбрались из сугроба, и ему не хотелось разомкнуть руки, он сжал ее крепко и рассматривал ее улыбку, открывая в ней что-то неожиданно-влекущее. С ласковой настойчивостью она отстранилась и надела ему и себе очки.

Обратно она опять шла впереди, и в нем уже внятно росло беспокойное влечение к ней, и если бы она вздумала еще раз поменяться местами, он отказался бы.

Проголодавшиеся, в приятной усталости, какую дает зима, они добрались до ресторана. Припекало, и можно было устроиться на открытой террасе, гнездившейся над обрывом. Пухлая коротыга-итальянка принесла скатерть и карточку с нехитрым перечнем национальных блюд. Остановились на спагетти и бутылке кьянти. Левшин попросил коньяку. Все это расцвело на солнце торжествующими

красками довольства — янтарь койбьяка, кровавые пятна томатной подливки на спагетти, прозрачное мясокрасное кьянти, бутыл которого, в неизменной соломенной плетенке, стала очень быстро пустеть. Заказали сыр и кофе, и это также скоро исчезло.

После обеда подошли к перилам, облокотясь, смотрели в обрыв, изредка поворачивая друг к другу головы. Тогда близость взглядов становилась смутной и нельзя было сразу поймать привыкшие к глубине обрыва зрачки.

Высоко над террасой, как над гнездом, ныряли с тонким, паническим свистом альпийские галки, похожие на обрывки черной бумаги, пущенные по ветру.

— Они что-то предвещают, — сказала Гофман.

— Вы путаете их с воронами.

— Это одна порода.

— Вы хотите сделать их вещими лично для нас?

— Я думаю только о нас.

— Тогда я согласен, — улыбнулся он, — в этом свисте есть что-то обещающее.

Он купил бутылку чинцано, и довольная итальянка старательно закатала ее в бумагу.

— Теперь — домой, — сказал он.

В гостинице они переобулись в той же пристройке холла. За их отсутствие комнату вытопили, и было очень тепло.

Стоя рядом у окна, они глядели в солнечную пропасть Вельтина, и дальше — на снежно-синюю горную кайму, и было так, будто продолжается только-что прерванное глядение в обрыв, и так же смутно колыхнулись встретившиеся глаза.

— Это — вино, — сказала она.

— Нет, — сказал он и, притягивая ее к себе, почти поднимая, отвел от окна.

Страсть вытеснила собою все, а потом прошла сама, и они, точно обманутые, неподвижно слушали охваченную теплом тишину. На крыльце стучали лыжами, в холле вежливо пробили часы, вдруг заговорили и весело затопали в

коридоре. Он поцеловал ее в висок, туда, где под тонким пушком чуть бился пульс. Она казалась ему очень растроганной, и ему хотелось быть нежным.

— Глоток чинцано, да? — спросил он, поднявшись и развертывая бутылку.

— Нет.

Штопора не было, он протолкнул пробку в горлышко карандашом, налил в толстый граненый стакан.

— Как удивительно, что это не случилось раньше, — сказала она.

Она подвинулась к стене, куда ударил через окно угольник солнца, ее смятые волосы вспыхнули, по приоткрытым зубам скользнули яркие точки отражений.

— Но, кажется, это было всегда, — возразила она себе.

— В мыслях, — сказал он.

— Во сне. А сейчас наяву, ведь наяву, правда?

Она потянулась к нему.

— Как я ужасно боялась, когда тебе было плохо.

— Я помню. Но разве мне было так плохо?

— Ужасно. Я по ночам плакала.

Она обняла его и нагнула к себе.

— Я так плакала! Но теперь я знаю — ты не умрешь.

— Нет, — улыбнулся он, — никогда.

— Не издевайся. Для меня никогда. Скажи, как ты думаешь, что будет дальше?

— Будет хорошо.

— Но что, что?

— Не знаю. Давай не станем гадать.

— Конечно, не будем гадать. Но как ты себе представляешь?

— Это же и есть гаданье.

— Но как же так? Ведь ты меня...

Он не дал ей докончить и поцеловал ее опять.

Когда они шли к поезду, садилось солнце, расставание с ним гор было благоговейно-тихо, в розовой краске снегов потухала грусть. Левшин и Гофман попрощались, говоря глазами то, что им мешали сделать наступавшие на поезд, как копыеносцы, лыжники.

— Здесь — другой мир, не то, что Арктур, — сказала она, — я была с тобой в другом мире.

— Мы забыли Арктур.

— Кланяться ему?

— Да. Поклон Инге.

— Инге? — громко спросила она, обрачиваясь с приступка вагона.

— Ерунда, — воскликнул он, — совсем позабыл! До чего глупо!

Они помахали друг другу руками. Он заметил, как потемнело ее лицо. И в тот же момент он с ясностью вспомнил, как уезжал из Арктура, — не прощавшись с Ингой, потихоньку заперев свою комнату. Он почувствовал, что кровь прилила к щекам, и зашагал прочь, стараясь подавить смущение перед самим собою.

12

С тех пор, как началось падение, — как продан был роллс-ройс и куплен маленький автомобиль, а потом продан и маленький; как были уволены излишние служащие; как кредиторы, объявив себя хозяевами Арктура, впервые бесстыдно вывернули карманы доктора Клебе, — с тех пор не выпадало дня более трудного по переживаниям, чем второй день пасхи.

Штум явился поутру не с обычным визитом доктора, а затем, чтобы поздравить своих больных с праздником: он много придавал такому нелекарскому общению с пациентами, у которых праздники от будней отличались только бисквитом вместо булочки к послеобеденному кофе.

Он зашел к доктору Клебе и узнал, что Левшин живет в Альп-Грюме, а Инга собралась к отъезду вниз. Он смотрел на пол, засунув руки в брючные карманы, и говорил упрямо, с ретийским акцентом пастуха.

— Вы не должны были отпускать Левшина без моего согласия.

— Но, господин доктор! Я был бы счастлив, если бы пациенты жили у меня вечно!

— Это для них совершенно излишне, господин доктор.

— Но для меня...

— Я приглашен сюда лечащим врачом.

— Я понимаю вас. Левшин сказал, что вернется в Арктур, как тольк уедет фрейлейн Кречмар.

— Я, вероятно, не улавливаю здесь какой-то зависимости, — глухо сказа Штум и постучал ногою по полу.

— Ну, вот именно, — оживился Клебе, — приходится выбирать: вместе они оставаться не могут.

— Так, так. Тогда кому-нибудь надо переехать в другой санаторий.

— Я не гождусь в святые: нельзя требовать от меня, чтобы я думал о других санаториях.

— Но о больных?

— Я же и говорю о больных! Разве мне может доставить удовольствие отъезд нашей милой фрейлейн Кречмар?

— Она не уедет без моего разрешения.

— Она хотела с вами говорить.

— А я хотел бы о намерениях моих больных узнавать заранее.

— В конце концов я — тоже больной, господин доктор, — измученно выдохнул Клебе, отбегая к балконной двери.

— Вы — больной, однако не пациент. Вы сделали неправильное употребление из санатория: вы его содержите, вместо того, чтобы в нем лежать. Это — порочный метод лечения.

— Это — метод существования, господин доктор, — задыхаясь, прошептал Клебе.

— Метод самоубийства, в наше время, — сказал Штум.

— Может быть, может быть! Вина вато наше время, а не я. В данном случае не все безнадежно: Левшин возвратится, а нашу милую фрейлейн вы, господин доктор, конечно, убедите лечиться.

— Лечиться — от чего? — буркнул Штум. — Попробую, пойду.

Около лаборатории ему встретилась доктор Гофман. Взяв за локоть, он повел ее к лифту, и она улыбалась его приятной, грубовато-ласковой неуклюжести.

— Ну, как наш Левшин? Клебе говорит — вы ездили к нему.

— О, так еще он себя никогда не чувствовал! — краснея, сказала она.

— В чем же это выражается? — как на консилиуме, спросил Шгум.

— Ну, он очень... он вообще...

— Ах, вообще, — сказал Шгум так же сосредоточенно. — С точки зрения врача, это весьма хороший показатель, если... вообще...

У него шевельнулся расчесанный гладкий ус, она заметила это и, еще больше загоревшись, так, что потептели уши, засмеялась. Он опять взял ее под локоть, вывел из лифта, сказал баском:

— Зайдем-ка, вот, к барышне.

Инга собирала мелочи на туалете, пахло потревоженными флаконами, чемодан, разинув набитую вещами пасть, лежал — сытый — посередине комнаты.

— Я так хотела вас видеть, — сказала Инга, протянув пахучие руки и близко становясь к Шгуму.

— Я смотрю, вы собрались. Наверно, ко мне?

— Не смейтесь. Я хотела сейчас поехать к вам, рассказать, попросить совета.

— Какой же совет? У меня один совет: раздевайтесь, ложитесь в постель. А всего этого, — он показал на чемодан, — как будто не было. Вот и фрейлейн доктор того же мнения, верно?

— Безусловно, — не глядя на Ингу, произнесла Гофман и строго вынула из нагрудного кармана молоточек и стетоскоп, как будто намереваясь немедленно приступить к выслушиванию.

— Нет, это невозможно. — сказала Инга. — Надо все, все переменить.

Шгум слегка обнял ее, и они вышли на балкон. Весенние тающие редкие хлопья снега торопиться на землю, сквозь их рябь, окрестность была видна наполовину.

— Помотрите на небо. — мягко сказал Шгум. — А ведь возможно, что через час или два оно станет прозрачно и ярко. И как трудно будет вообразить эту свинцовую крышку, которой сейчас захлопнута долина.

Инга покачала головой.

— Это слишком поэтично. В жизни так не бывает. В моей жизни.

— Как-раз в вашей так и будет.

Шгум поднял руку.

— Видите, на горе белеет дом?

— Вы там работаете, я знаю.

— Да. Там лежит двести человек. Так каждый год, так двадцать лет. И если говорить о жизни, о том, как бывает в жизни...

— Я верю. Но беда в том...

Она обернулась к нему:

— ...в том, что верю вам и не верю себе. Что я подойду под ваши правила, под ваши мерки. Что мне надо лежать, а не бегать, не уставать от какого-то труда, риска, опасностей, не знаю — чего.

— Вам надо научиться послушанию. Это все.

— Значит, ваша... можно спросить?

— Да.

— Ваша жена... вы были женаты?

— Да.

— Ей тоже недоставало послушания?

Шгум молчал. Он смотрел в беспорядочную пляску снежных хлопьев, точно в ней могло находиться решение, — должен ли он отвечать Инге.

— Простите, — сказала она очень тихо и положила пальцы ему на руку.

И он увидел пальцы своей жены, какими они были незадолго до конца. — длинные, с широкими суставами, с ногтями, выгнутыми, как челночки, с самодельным маникюром. Он глядел на них застыло. Потом медленно стер с них большую каплю от растаявшей снежинки, подумал и, нагнувшись, поцеловал их.

Инга хотела что-то сказать, придвинулась к нему и промолчала.

— Нет, — ответил Шгум спокойно. — в случае с моей женой виновен я. У меня нехватило мужества заставить ее слушаться. А врач ни в каком случае не имеет права терять мужества.

— Мне кажется, я могла бы послушаться одного человека.

— Но он уехал?

— Он уехал.

Шгум опустил веки.

— Холдингс, — сказал он, — пойдемте в комнату.

И там, всегдашним своим хрипловатым голосом, наказал:

— Значит, ни шага из Давоса. Если нужно — перемените санаторий. Это не помешает мне быть вам полезным. До свиданья. Фрейлейн доктор смерит вам сейчас температуру, уложит в постель и подтвердит, что вам никуда нельзя ехать, верно?

— Безусловно, верно, — быстро отозвалась фрейлейн Гофман.

И Штум оставил их вдвоем.

Они сразу будто выросли, распрямившись, подняв головы. Они представляли друг другу начало разговора и, может быть, обдумывали тактику. Фрейлейн доктор потрогала в кармане неизменные, как талисман, инструменты.

— Будьте любезны, ваш термометр, — по-деловому сказала она.

— Не помню, где он.

— Вы считаете, он вам больше не понадобится?

— Не знаю.

— Скажите, почему, собственно, вы решили, что вам можно уезжать? — другим, неофициальным тоном спросила Гофман.

— Потому что я себя прекрасно чувствую. Да, да, да. Вы же не можете знать, как я себя чувствую. И еще потому, что здесь все лгут!

Инга выговорила это одним духом, без остановок, и только на последнем слове, как на грани, к которой рвалась, обрезала речь почти вскриком. Впечатление, произведенное этим словом на Гофман, подхлестнуло ее к новому удару:

— Да, все лгут. И доктор Клебе. И вы!

Она испытала пьянящее торжество при виде растерянности фрейлейн доктор, беспомощно закрывшей лицо руками. Она трепетала от радости, у нее шумел в голове приток восхищающих сил, каких она в себе никогда не подозревала, и уже озорно, войдя во вкус, она ударила еще раз:

— Вы — лгунья!

Гофман открыла лицо. Она была бледна, нижняя губа по-детски дрожа-

ла, растрепались и жалко повисли на лоб легкие прядки волос.

— И уезжайте. Скатертью дорога. Лучше для всех, — сказала она, набирая воздух после каждого слова, и тяжело пошла к выходу

Распахивая дверь, она толкнула ею майора, собравшегося постучать, но не остановилась и даже не могла ответить на его готовное приветствие.

Инга бросилась к нему навстречу.

— Милый, милый майор! Как же случилось, что мы покидаем Арктур в один день?

Он стоял на пороге, неловко озирая себя — в извинение не вполне годной для визитов одежды: он был в глубоких ботах, в шубе, шерстяной шарф вылезал из-под воротника, шапка торчала подмышкой, он держал в одной руке патефон, в другой — зонт и черные очки.

— Какая жалость, что мы едем в разных поездах, — не переставая, говорила Инга. — Как хорошо, что вы решились двинуться вниз! Вы не боитесь, нет? Я не боюсь ни капельки. Это все выдумки докторов. Довольно, довольно докторов! Вы знаете что? Знаете что?

Она вытащила у него из рук все вещи и потянула его в комнату. Он неповоротливо повиновался. С умилением он глядел на нее, и ему казалось, что вот-вот, наконец, он спросит, рассердилась ли она в тот раз, когда он так близко нагнулся к ее лицу и она толкнула его. Ведь больше никогда не случилось захватывающего дыхания разговора, как в тот раз, и что же этому было виной — тогдашний ли дерзкий порыв, или, может быть, — о, боже! — проклятая вечная робость?

— Знаете что, — твердила Инга, — там, в Локарно (вы ведь едете в Локарно?), так вот там, под пальмами (там ведь, правда, пальмы?), достаньте свою записную книжечку и сосчитайте, сколько дней, часов и минут вы пролежали в Давосе на балконе и сколько ампул кальция вам влили в мышцы, и сколько раз вы сыграли в Арктуре на рояле до-ре-ми-фа- соль, и потом запечатайте свою книжечку сургучом и на-

чните новую совсем новую жизнь! Хорошо? Хорошо?

Она не давала ему произнести ни звука, а он любовался ею, и видел, что — нет, не спросит ее, никогда не спросит, рассердилась ли она в тот раз или — о, неужели то была лишь женская увертка?!

И вот он подержал, сжимая, ее тонкие руки, и она опять вооружила его зонтом, патефоном и очками.

— Ступайте, ступайте! И никогда, никогда не возвращайтесь назад!

Она вывела его в коридор и, когда он стал спускаться по лестнице, — положила ему сзади на плечи руки. С ощущением этой ласки майор вытер мокрые глаза и надел очки.

Снег все летел и летел. Вязкий покров его лежал на дорожке. Дверь была залеплена хлопьями, стекла умывались слезами.

Первым вышел наружу майор и широко растворил дверь Карлу, нагруженному кладью: портплед, баул, связка разных тростей через плечо, два больших чемодана в руках. Доктор Клебе — в халатике — остановился на пороге. Надо было прощаться.

— Не очень удачный день для отъезда, — сказал доктор.

Майор раскрыл зонт и стоял неподвижно, в молчании.

— Я надеюсь, вам не повредит эта чортова слякоть, — сказал доктор.

Майор не отвечал. Хлопья испятели его, вокруг бот на дорожке образовались вытвинны, с зонта начало капать.

— Можно итти, господин майор? А то нас придется откапывать лопатой, — улынулся Карл.

Майор бессильно потрянул рукой, точно хотел сказать, — все пропало!

— Будьте здоровы, господин доктор, — грустно произнес он.

— Счастливый путь, господин майор.

Они простились, и майор двинулся следом за Карлом. Когда они сделали шагов десять, раздался женский голос:

— До свиданья, милый майор, до свиданья там, внизу!

Майор оборотился. С балкона махала ему платочком Инга, и сквозь толчею снегопада только и проглядывалось

это мелькание руки с платочком. Он поднял, насколько мог высоко, зонт и потом опустил его до земли, и увидел, как платочек, в ответ на его салют, замелькал часто-часто.

Доктор Клебе не мог вынести этой сцены, вдруг почувствовав, что его знобит. Он побежал к себе и уже где-то в коридоре расслышал, как наглухо захлопнулась брошенная парадная дверь...

К обеду, из-за праздника, в столовой появились гости. Так как Инга уезжала, ей тоже накрыли столик, и она с удовольствием оглядывалась, рассматривая знакомые и неизвестные лица.

Особенно привлекла ее стол англичан. Она испытывала к ним признательность, потому что на первый день пасхи жена пастора прислала ей поздравительную карточку: весенний ландшафт, — ландшафт надежды, — раскрашенный любительской рукою: синий ручей, распустившаяся верба, над нею — переведенный через индиговую бумагу херувим Рафаэля. Инга решила непременно поблагодарить добрую мистрисс и все ждала, когда та отвернется от своих гостей и взглянет на нее, чтобы поздороваться.

Но англичане были заняты собою. Они много и легко смеялись над прочитанным в газетах, которые лежали у них в ногах, на полу. Они получали кучи газет и, вообще, имели слабость к почте, углубляясь перед обедом в длинные письма, приходившие из разных концов света, как будто воображаемые моционы к корреспондентам им были нужны для аппетита. Пока не подали кушанья, они держались непринужденно, точно в холле, занятые сначала газетами, потом разглядыванием пасхальных карточек. Но и за едою им было весело, и они, кроме себя, ничего не замечали.

После обеда Инга стала прощаться с санаторием, по немецкому обычаю, — никого не минуя: знакомым — пожимая руки и наговаривая пожелания счастья, она все больше горячилась, огонь занимался на ее лице, ей было ясно, что

совершается нечто особенное, — она расстается с Арктуром! Она была уверена — ее кругом любят: так много сердца вкладывали все, все в прощание с ней, и она тоже страстно хотела всем, всем так много хорошего, счастливого. Она едва не обняла Лизль — праздничную, накрахмаленную, сильно тряскую ей руку, под голосистое приговаривание: — Адэ, адэ! Благодарю вас, вы очень были ко мне добры!

И тогда Инга с разбегу подлетела к столу англичан и, почти задыхаясь, выпалила пасторше:

— Я хочу вам сказать спасибо за ваше поздравление, сударыня. Это было необычайно любезно с вашей стороны и доставило мне огромную радость.

Англичане смолкли. Пасторша соборила все морщины на лбу, брови ее соединились с прической, она оглядела Ингу с головы до ног.

— О, пасха, — выговорила она старательно на негодном немецком, но таким тоном, который сразу объяснил, что, хотя в этот праздник допустимо снизойти к каким угодно нациям, однако, избави бог, питать надежды на сближение.

Она все-таки прикоснулась к протянутой руке Инги. Зато пастор, когда Инга подошла к нему, уставился на нее с бешенством. Он разминал челюстями мягкий торт, но казалось, что жует персикозную американскую резинку и вот сейчас, растерев на зубах жвачку, выплюнет ее в глаза девушке, осмелившейся ворваться в его бытие. Он медленно поднес к своему лбу указательный палец. Предчувствуя шутку, англичане улыбнулись. Он перевел взгляд с лица Инги на ее руку, дрогнувшую и немного опущенную. Палец у него словно прирос ко лбу. Нельзя было догадаться: то ли пастор не может понять намерений Инги, то ли хочет сказать, что она глупа. Англичане уже посмеивались. Инга стояла с протянутой рукой.

— Я уезжаю. Я хочу с вами проститься, — сказала она с усилием.

Вдруг пастор рванул из кармана платок и начал тереть глаза, шутовски плача. Англичане захотали.

Чувствуя непонятную тягость, Инга тоже засмеялась, бледнея, покашливая, и — в отчаянии — снова подняла для пожатия руку. К неудержимой забаве стола пастор, наконец, церемонно распрощался со смешной барышней, продолжая тереть платком щеки.

Инга выбежала из столовой.

Обида, пришедшая внезапно, откуда-то сбоку, облегчила отъезд: невозможно было оставаться в этом доме! Но когда унесли вещи вниз, Инга на цыпочках быстро подошла к соседней комнате и, прислушиваясь, взялась за дверную ручку. Сердце странно остановилось, и его вдруг стало отчетливо слышно. Инга постояла без движения, затем осторожно налегла на ручку. Дверь была заперта. Все так же на цыпочках, но уже неспеша, Инга пошла к лифту.

Ее отвозили на лошади, в санях, и — как даму — доктор Клебе провожал ее на вокзал.

Шел послеобеденный мертвый час, город-санаторий был пустынен: закрылись магазины и конторы, не бегал автобус. Тишина словно наблюдала за отъездом Инги, — дома глядели вслед и то примечали про себя: вон она поехала вниз, то словно переговаривались: смотрите, смотрите, что она делает, — она уезжает из Давоса!

Перед тем, как войти в вагон, ей захотелось сказать что-нибудь искреннее, отвечавшее смятению ее души. Но, приблизившись к доктору и увидев тоскливый холод в его взоре, она сказала:

— До свиданья, — усмехнулась и добавила с кокетливым вызовом: — Я мерила температуру, у меня тридцать восемь.

— Ай, ай, — покачал головой Клебе, ничуть не удивляясь, и посоветовал, какие лучше принять лекарства, чтобы уберечься в дороге.

Он сделал два шага вместе с тронувшимся поездом. Инга из-за стекла вагона махнула ему снятой перчаткой. Он приподнял шляпу, тотчас надел ее, повернулся и пошел прочь.

Его все время знобило, и он загадал: если у него больше температура, чем у Инги, значит, анализ будет положитель-

ный: с утра он поручил фрейлейн Гофман сделать анализ мокроты. В санях он ежился и вздрагивал. Снег перестал, но воздух был непривычно влажен, дорога потемнела, полозья с шипением отжимали из колеи воду.

Дома он сейчас же лег, закутался в плед, взял в рот термометр. С бессмысленной путаницей в голове он задремал. Очнувшись, он долго не мог разглядеть на термометре шкалу, потому что начались сумерки, а когда поймал глазом металлический столбик ртути, передернул плечами, будто отказываясь постигнуть шутки своей натуры: было тридцать семь и девять десятых. Он позвонил и велел Лизль принести анализ.

Минут пять спустя фрейлейн доктор через дверь заявила, что хотела бы говорить с ним, как с коллегой.

— Понимаю, коллега,—крикнул он.— Сколько в поле зрения?

— Можно к вам?

— Извините, не одет. Суньте анализ под дверь.

Он соскочил с дивана, поднял с пола желтый листок лабораторий, бросился к окну. На тыльной стороне листка, против графы — эластические волокна — он увидел «да». Он сделал шаг, на миг остановился и начал с точнейшей размеренностью ходить от окна к дивану и обратно. В листок он долго не глядел, зажав его в кулаке, руки — за спину. Потом он опять устроился на диване и прочел весь листок. Анализ обнаружил от пяти до десяти бактерий в поле зрения.

Да, доктор Клебе слишком мало думал о себе. Все о других, о других! Арктур был приобретен, чтобы лечиться, постоянно лечиться и жить в горах, жить в условиях, обеспечивающих здоровье, в обстановке, уничтожающей болезнь. Арктур был задуман, как лекарство, как гарантия, как хитрость: он должен был лечить и оплачивать лечение, он должен был стать вечностью, и в то же время — ценою, которой приобретает вечность. А он стал пожирателем здоровья доктора Клебе, стал пагубой.

И, упрекая Арктур, как провинивше-

гося человека, Клебе перебирал в уме заботы, причиненные санаторием, кредиторами, пациентами, всюю страшную судьбою последних лет, когда началось падение, и предстоявшие беспокойства подавляли прошлые, и опять все путалось в голове. Вечно пугавшая пустота с какой-то безрассудной торжественностью явилась перед Клебе: пустые коридоры, пустые комнаты, в пустой кухне — застывшая повариха, в люке подъемной машины курит Карл, мертвым глазом подмигивая Лизль, и где-то под чердаком, на чемоданах, прильнула к микроскопу фрейлейн доктор. «Да» — было начертано в самом конце коридора, по которому раздавались незнакомые шаги, и кто-то прочитал вслух «да», и доктор вздрогнул во сне.

Проснувшись, он опять схватился за термометр. Шутки продолжались: никакого жара не было, озноб прошел. Клебе заказал пунш и принялся за письмо в Альп-Грюм. В выражениях старого друга, пожалуй, приверженца, он приглашал Левшина возвратиться в Арктур, где отныне все было создано для идеального пребывания: ни тени чьей-нибудь докучливости, покой, мир, и даже доктор Штум умилолюбивлен и не будет сильно корить нарушением режима.

Чтобы письмо скорее дошло, Клебе велел Карлу отправить его с вокзала и перешел к другому делу, — взялся вычерчивать расписание собственного режима, поставив себе начать новую жизнь со следующего утра. Этим повторялось пройденное, поэтому тотчас возникло сознание, что болезнь будет преодолена так же, как раньше, что это — очередное обострение, вещь обыкновенная, хотя и неприятная. Как себя вести, что делать, было давно известно, и приколотый над столом распорядок времяпровождения означал, что вступал в силу проверенный благотворный закон.

Клебе, не торопясь, выпил пунш, хорошо согрелся и, решив рассеяться, стал перелистывать, припоминая, книжки своего верного Эдгара.

И, когда он углубился в полузабытое приключение, в смежной комнате про-

звучал очень сдержанный, словно таинственный, голос Карла:

— Господин доктор!

И еще раз:

— Господин доктор!

Клебе отворил дверь. Карл стоял с открытым ртом, шумно дыша. Он тотчас немного отстранился, и Клебе увидел в коридоре прилегшую на стул Ингу.

Он кинулся к ней.

— Господин доктор, — бормотал Карл, — я застал фрейлейн Кречмар на вокзале. Она спустилась до Ланкарта. Там это началось. Тогда ее доставили назад... Нам было трудновато добираться...

Карл с нежностью прикоснулся к ее руке, державшей слабыми пальцами окровавленную тряпку, может быть, кусок полотенца.

— Не беспокойтесь, — в горячке испуга сказал Клебе, — не беспокойтесь, фрейлейн Кречмар. Мы вас поднимем на руках.

Она могла только закрыть глаза.

— А письмо? Письмо, с которым я вас послал, Карл? — вдруг вспомнил Клебе.

— Не беспокойтесь, господин доктор, — сказал Карл, — я его опустил прямо в почтовый вагон.

13

Кровь удалось остановить ночью. Все это время дежурил доктор Клебе, часу в третьем его сменила Гофман. Она сразу нашла много дела — с полотенцами, тазами, льдом, и на столе — с разными мелочами. В конце концов все было переделано, и она встретила взгляд Инги.

— Правда, вам лучше?

— Отлично, — тихо сказала Инга.

— Не говорите, я пойму так.

— Я хочу, чтобы вы ушли.

— Не разговаривайте. Я не могу уйти.

— Мне неприятно.

— Вам нельзя говорить. Почему вам неприятно?

— Мы в ссоре.

— Я не буду отвечать... У нас нет

никакой ссоры. Вы заболели, как только поправитесь, увидите — мы друзья.

— Я не хочу.

Гофман отошла к умывальнику, с минуты побыла там, обернулась. Инга продолжала смотреть на нее.

— Я выйду и скоро вернусь, — сказала Гофман.

— Не надо.

— Если будет нужно, — позвоните, меня позовут, я приду.

Оставшись одна, Инга заснула. Сквозь сон она слышала — кто-то входил в комнату и стоял в дверях, но не открыла глаз, и проснулась только утром. Она чувствовала себя очень слабой. Тревога и страх, пережитые в поезде и на станциях, когда вокруг суетились чужие люди, исчезли, состояние было легкое, но какое-то невесомое, постороннее, слишком прозрачное.

Оглядывая комнату, она заметила около балконной двери чемодан. Он стоял на полу, приоткрытый, и она вспомнила, как в нем копались, отыскивая для нее белье. Из чемодана торчали белые уголки вещей, тесемки, она глядела на них без участия, как будто вещи не касались ее или напоминали что-то давнишнее, позабытое. Вообще, все было очень давно, и все ушло, и сделалось спокойно, ясно.

Вдруг из постороннего и безразлично-го ее воображение выбрало одну за другой несколько вещей, и она стала видеть только их. С опаскою она потянулась к столу, взяла сумку, вынула маленький блокнот и начала писать, подолгу останавливаясь на каждом слове, кладя руки на одеяло и потом приподымая их медленно к лицу. Она выгнала листочек и сосредоточенно перечитала написанное, слово за словом:

«Надеть сорочку с голубой вздержкой. Платье белое, полотняное. Чулки белые. Туфли светлые, на низком каблучке (домашние)».

Она согнула листочек надвое и положила под сумку.

Она устала от усилий и опять лежала без движений. У нее катились слезы, но было легко и спокойно. Постепенно ей сделалось ясно, что она выздоровеет, и тогда она приняла очень важное, твердое решение и произнесла шопотом:

— Если я поправлюсь, даю честное слово и обет прожить в Давосе три года.

Она долго обдумывала — три года или, может быть, пять лет, — нашла, что три года достаточно, и снова шепнула:

— Три года, никуда не выезжая.

Она позвонила. Пришла Лизль и за ней — Карл. Оба они были приветливые, спрашивали о здоровье и говорили, чтобы она молчала. Карл принес письмо из утренней почты и сказал, что телефонировали доктору Штуму, и он скоро придет.

Письмо было от отца, Инга хотела вскрыть конверт, но не могла поднять с постели руку, — слабость приступом нахлынула до тошноты. Инга попросила Лизль распечатать письмо и прочитать. Лизль читала толково, кланяясь на точках и запятых. Письмо состояло из беспоконья об Инге, и, когда она слушала, в ней пропадало все невесомое, прозрачное и подымалась тоска. Вытереть слезы не было сил, они ползли по вискам в волосы.

— Не плачьте, — сказала Лизль, кончив читать, — поправитесь. Со мной тоже раз было: я столько потеряла крови, думала — ну, догулялась, Лизль, адэ! У нас на родине есть женщина, к ней всегда девчонки, если оплошают, понимаете, если вдруг беда случится, — сейчас к ней. И вот, знаете, случается это со мной, и она мне неправильный акушерский прибор применяет. Ну, конечно, она отрицает, говорит — у тебя, Лизль, неправильное женское устройство, на прибор ты не пеняй. Но я-то знаю медицину. И сколько из меня крови вышло! Я в одни сутки, вот как вы, фрейлейн Кречмар, сделалась, ничуть не лучше вас, страх взглянуть. А сейчас посмотрите: я прямо не знаю — со мной эта беда стряслась или еще с кем.

Она поднесла к глазам Инги полотенце.

— Вытереть?

Инга велела поправить вещи в чемодане и положить поверх белья листочек из блокнота. Собрав силы, она подняла голову, чтобы видеть, как исполняется ее просьба. Потом, успокоившись, она продиктовала Лизль телеграмму в ответ

на письмо отца. Она немного прихворнула, — диктовала она, — но ей сейчас лучше, она бодрa и скоро напишет подробно.

Перед завтраком Инга опять задремала. Разбудил ее кашель, и она не успела напугаться, как пошла кровь. Она нащупала звонок и в этот момент увидела, что входят Штум и Гэфман.

То, что затем происходило, ей представлялось вполне внятнм и гладким. Она, правда, запоминала не все подряд, но ей и не хотелось помнить все, она была довольна приятными, а иногда безразличными отрывками впечатлений и тем, что они были немного похожи на сон. Она запомнила голову Штума, нагнувшуюся к ней на грудь, и ощутила его ус, холодный, жестковатый. Голос Штума лился издали, смешиваясь с чуть уловимыми звуками пения или посторонней речи, — нельзя было угадать, что это было. Дальняя дорога приблизилась к Инге. По обочинам цвели деревья, рядом катился горный поток. Может быть, его пение и переплеталось с голосом Штума. В поток падал с деревьев белый цвет, все больше и больше, пока не застлал воду сплошным покровом, наплывавшим на Ингу ближе, ближе. Она увидела над собою, в белом халате, Гэфман, черты которой стали медленно замснятьея незнакомыми, привлекательными и строгими. Потом Ингу всколыхнуло странное ощущение — будто она пьет холодную, газированную воду с колючими пузырьками, разбегающимися по всему телу, и становится жарко, и хочется глубже дышать, и вот она пьет и дышит, и ей все жарче, и все свободнее дышать, и, наконец, она узнает себя в своей комнате, на кровати, под новым одеялом, во рту — жесткий, неудобно зажатый наконечник, от него протянута каучуковая трубка к металлическому предмету, напоминающему огнетушитель, но только не так красиво раскрашенному. Столик отодвинут. На его месте сидит незнакомая женщина, с плоской, моложавой физиономией. Ворот ее халата застегнут брошкой с маленьким красным крестом. Она спрашивает взглядом — ну, как? «А что, собственно, случилось?» — тоже взгля-

дом спрашивает Инга. «Ничего опасного, видите, вам гораздо легче» — отвечают глаза женщины. «Но что это за трубка у меня во рту?». «Вы ведь понимаете, что это такое» — улыбаются глаза женщины. «Неужели, неужели, так плохо?» — спрашивает глазами Инга.

— Вот хорошо, достаточно, — пощупав пульс, говорит сестра и хочет вынуть изо рта наконечник.

Но Инга не выпускает трубку, стискивает зубы, и недвижные, распахнутые глаза ее, не переставая, твердят: «Так плохо? О, неужели так плохо?».

— Ну, пустите, не бойтесь, — говорит сестра.

Инга потихоньку разжимает зубы. Тогда сразу бесследно улетучивается вкус газированной воды, тело становится тяжким, словно отвердевая, и, задохнувшись, Инга кричит:

— Дайте!

Она не слышит своего крика, и в ужасе кричит еще:

— Дайте!

— Не волнуйтесь, сейчас будет хорошо, — по нотам говорит сестра. — Я попрошу доктора Клебе прислать нам этого лекарства в запас.

И она приятельски проводит ладонью по конусу кислородного баллона.

— Я пойду, — говорит она, вставая. — Не бойтесь, не бойтесь. Видите, какое у вас хорошее дыхание. Решительно нечего бояться.

Она удаляется плавной поступью, предназначенной убеждать, что весы жизни не колеблются, что надо только уметь ходить, и человек осилит любое препятствие, на то он создан..

Доктор Клебе встретил ее уныло. Что может она сказать, кроме неприятности?

Он был глубоко обижен: доктор Штум отказался его навестить, заявив, что не приглашен. Не приглашен! Рыцарь, гуманист, которого больные славословят на всех перекрестках! Для него не существует даже обычного долга медика перед коллегой. Болен врач, а он проходит мимо его двери. Он, видите ли, не может простить, что отпустили Ингу. Но ведь его запрет тоже не возымел действия. Как же можно винить

Клебе? Арктур — не галеры, не тачка каторжанина, а Клебе — не тюремщик. Впрочем, конечно, Арктур — тачка, и только единственный человек навечно прикован к ней, — о, бедный, бедный Клебе! Вот он, больной, изнуренный, выполняя долг врача и человека, до утра не отходит от постели пациентки и потом пластом лежит у себя в углу, одинокий, брошенный всеми. А Штум назначает пациентке сестру и не хочет даже заглянуть к врачу, в санатории которого заработал, как-никак, порядочные деньги. Рассуждая по-человечески, сам Клебе нуждается в медицинской сестре, да, да, вот именно в этой даме с брошкой, в этой квашеной мне милосердия. «Но, нет, — вздыхает Клебе, — вези, вези свою тачку, пока не свалишься. Ты обречен, ты обречен!».

— Что скажете о нашей милой фрейлейн Кречмар? — спросил он грустно.

Сестра по мерочке перечислила все, что могла сказать, — о температуре, о пульсе, о слабости и потах, о том, что кровотечение не возобновлялось, что больная сейчас в сознании и просит еще кислорода.

— Да, да, — все так же грустно сказал Клебе. — Но она должна знать, что баллон кислорода стоит восемнадцать франков.

Сестра всматривалась в Клебе выжидательно.

— Я хочу сказать — эта бедная особа все равно умрет. Но почему же должны страдать мы? Неизвестно, получим ли мы по счету за расходы, которые теперь несем.

Сестра ждала.

— Ну, хорошо. Я должен ее посетить, пойдемте.

Он вошел к Инге неслышно и пристально смотрел в ее наполовину открытые глаза. Нашупав пульс, он стал глядеть в потолок. Губы его выпятились, он качал головой. Потом он бросил пульс. На столике лежали шприцы, грудились пузырьки. Клебе перетрогал их, вспомнил еще два лекарства из запасов Аркура, которые по такому же праву могли бы стоять рядом с этими. Он решил прислать их, собрался уйти, но

Инга открыла глаза. Он закивал ей, понимая, что она хочет что-то сказать, и наклонился.

— Левшин? — спросила она.

— Я так и знал, я все предвидел, — обрадовался Клебе, — я предвидел, и я дал ему знать.

— Он придет?

— Он придет, будьте спокойны, я его выписал.

У нее закрылись глаза, и Клебе осторожно вышел.

Он растрогался, его всполошила судьба девушки, он только жалел, что все это происходило в Арктуре, и он торопился к аптечке — выбрать для Инги лекарства. Одно он весьма ценил — иодистое втирание против суставных болей, обычных в подобных случаях. Правда, лекарство было довольно дорогое, но что поделать?

В холле он увидел Левшина. Он устремился к нему с протянутыми руками, выпевая, почти мурлыча, что-то трогательно-горестное, будто выражая сочувствие в необыкновенной утрате.

— Я так рад, мы все так рады! Получили мое письмо? О, что делать!

— Письмо?

— Не получили? Вчерашнее письмо, в котором я сообщал... Позвольте, когда же доставлялась вам почта?

— В полдень. А я выехал утром.

— Так это же прекрасно! Такое совпадение! — восторгался Клебе.

— Что случилось?

— В том-то и дело, что ничего не случилось. Просто замечательное совпадение, что вы не получили письма и приехали.

Он прямо переливался из одного состояния в другое, стараясь безошибочнее понравиться.

— Что-нибудь с моей соседкой? — спросил Левшин недоверчиво.

— Да, наша милая фрейлейн Кречмар... — опечалился Клебе. — Она предполагала... она сделала попытку отправиться вниз, но, к сожалению...

— Ей плохо?

— О, да.

— Нет надежды?

— О, этого никогда нельзя сказать. Но до тех пор, пока не будет лучше...

— К ней нельзя?

— В данное время, — извиняясь, сказал Клебе, — я думаю, сегодня еще нельзя.

— А завтра?

— Вы разрешите ответить на это завтра.

И снова в горьком тоне Клебе появилось сочувствие.

На лестнице Левшина ждала, со счастливой улыбкой, Гофман. Они вместе вошли в комнату и, открыв дверь на балкон, стояли рядом.

— Я видела, когда ты шел, — сказала Гофман, любовно вслушиваясь, как звучит на этом балконе слово «ты». Прелесть, открывшаяся в ней тогда, в Альп-Громе, оживляла ее и теперь, не смотря на привычку держаться на службе с известной важностью.

Та же изученная маленькая жизнь уютно теплилась на пространстве, лежавшем за балконом, но Левшин смотрел на нее с изменившимся чувством, как человек, добавивший к прошлому новые приобретения. Женщина рядом с ним ожидала от него слов, каких сейчас он не мог сказать. Желание узнать, что совершалось тут же, за стеной, насторожило его. Ему послышалось за перегородкой нечто похожее на стон, и, так как он не умел скрывать происходившее с ним, он спросил, верно ли, что говорит об Инге доктор Клебе.

— Я не знаю, что он говорит.

— Что тяжело.

— Если не прибавить — очень.

— Но что же причиную?

— Сейчас не так существенно, знаем мы причину или нет.

— А Штум? Неужели он бессилён?

— Он сказал, что его визиты, возможно, больше не понадобятся.

Левшин слышал, как упрек сменялся раздражением в этих изысканно-служебных ответах. Но он не мог сдерживать свои расспросы.

— Значит, не осталось надежды?

— Надежда на камфору.

— И... скоро?

— Неизвестно.

— Я хочу ее видеть.

Гофман молчала.

— Я должен ее увидеть.

Не взглянув на него, она сказала:

— Я посмотрю, — и ушла.

Она долго не возвращалась. Он бродил то по комнате, то по балкону, придумывая, что скажет Инге, чтобы ободрить ее, пытаясь представить себе, как она изменилась. Он перебрал вещи, которые возил в Альп-Грюм, он думал — хорошо было бы что-нибудь подарить Инге, но ничего не нашел.

Он стоял на балконе, когда вернулась Гофман. С виду она была такой же сдержанной, как ушла.

— Я подготовила ее, она вас ждет.

Он сразу обернулся, чтобы идти. Тогда у нее вырвался вздох.

— Зачем, зачем вы приехали!

Он задержался на секунду, но не ответил.

Было очень тихо — в коридоре, во всех этажах дома, и как будто вечность никто не прикасался к плотно закрытой двери в комнату Инги. Переступив порог, Левшин и сюда словно принес с собою беззвучие и не двигался, пока не различил частое, поспешное дыхание. Он шагнул вперед.

Инга смотрела прямо перед собою. Глаза ее были так велики, что Левшину показалось — они занимали половину лица. Они были ясные и синие. Все прежнее сохранилось в Инге, но она стала маленькая, будто выглаженная, и раньше такая подвижная кожа на лбу и брови успокоились. Ее плечи чуть дергались при каждом вздохе, и были узенькие, как у ребенка.

Стоя поодаль, Левшин ждал какого-нибудь движения, знака, но в ней ничего не менялось. Он нагнулся к сестре:

— Она не слышит?

Сестра отодвинулась, чтобы он мог подойти к кровати.

Он заметил, как дрогнул свет в глазах Инги и она тяжело переместила их на него. То, что он увидел в них, он никогда не назвал бы радостью, но это было больше радости, это было ликование, на миг прорвавшееся из смятенного мира страха.

— Приехали? — очень тихо сказала Инга.

Она дышала коротенькими рывками, будто отрывая воздух. Она хотела под-

нять с кровати руки, но они только вытянулись.

Тогда Левшин взял ближнюю к нему руку — почти потерявшую вес — и стал гладить крошечную кисть.

— Они вас прятали, — тягуче выговорила Инга.

— Простите меня, не обижайтесь, — стараясь улыбнуться, сказал он.

Она как будто не поняла его, но губы ее задрожали, создавая напоминание улыбки. Она позвала Левшина взглядом к себе. Он низко наклонился.

— Вы мне потом все расскажете, — шепнула она отдельно, и, когда он распрямился, она прикрыла глаза.

Он опять стоял неподвижно, и она лежала попрежнему, ничем не показывая, что хотела бы что-нибудь изменить.

Карл явился с баллоном кислорода, похожий на пожарного, аккуратно вынес пустой баллон и поставил на его место новый. Сестра слушала пульс Инги, вытерла с ее шеи пот, заложила за уши давно развившиеся волосы. Снова все кругом стихло. И потом далеко пробежала в Клавадель почта, и в комнату вошел и позвал за собою знакомый напев рожка.

Может быть, Инга расслышала его, потому что вскоре лицо ее начало меняться, тоска и томление искажали его, и тогда Левшин увидел заново, как ее изуродовала неторопливая болезнь, исподволь готовя к смерти.

Сестра сказала, что надо переложить больную, и это был толчок, сдвигнувший его с места. Он ушел с ощущением, будто его сбросили с высоты на мостовую. Он застал у себя Гофман. Она сидела на шезлонге, обняв колени, а ему было так очевидно, что надо все время, без перерывов, действовать, поднимать все силы, искать самые необычные средства, и спешить, спешить. У него все ныло от боли, потому что его сбросили на мостовую, а она смотрела вдаль, думая о другом, и он принял это за бездушие. Он был доступен лишь одному чувству, которое в страшной наглядности отпечатлелось на Инге и перелилось в него: все они, все, кто был около нее, не могли понять, что Инга расставалась с единственной своей жизнью. Это было

событие грандиозное, такое, какого не видел мир: она расставалась с жизнью, она умирала.

— Я знаю, — сказал он, — вы делаете все возможное. Но надо позвать Штума.

— Он был. Он останавливал последнее кровотечение.

— Но, может быть, сейчас что-нибудь новое... ну, изменилось положение, и он действовал бы иначе.

— Лучше, чем мы?

— Откуда мне знать? Смелее, находчивее.

— Мы исполняем все, что он велел.

Она поднялась.

— Вы ничего не понимаете! — вздохнула она с облегчением. — И это даже хорошо: не понимать легче. Только тогда и возможно такое благородство... перед приговоренным.

— Если бы приговоренным был я, вы делали бы не больше, чем сейчас?

— Да, — сказала она, не задумавшись, — делала бы то же самое. Как ужасно вы говорите! Но, друг мой, вы и здесь ничего не понимаете: я была бы гораздо... о, я была бы гораздо несчастнее!

Она хотела выйти, но остановилась.

— Ведь недавно вас так тяготило, что Инга вызывает сострадание.

— Да, и мне стыдно.

— Что же хотите вы изменить таким поздним великодушием?

— Не смейтесь. Мне сейчас кажется, что, если бы я заболел, а она поправились...

— О, я видела, давно, — шопотом перебила его Гофман, и уже в дверях договорила готовые, летевшие с языка слова: — Вас толкает к Инге вовсе не сострадание!

Она жила собою или, пожалуй, им, Левшиным, и это было ему понятно, но это была жизнь, которой ничто не угрожало, которая билась за что-то побочное, второстепенное, и могла подождать до завтра, до послезавтра. А глаза Инги не могли ждать. Неподвижные, они не отступали от Левшина ни на миг, — в комнате, в коридорах, хранивших нетронутую санаторную тишину, на улице,

куда он выбежал и где налаженность, всеобщая вежливость и порядок могли бы наделить равновесием даже душевнобольного.

Сокращая расстояние переулками, Левшин скоро очутился за городом. Сначала подъем был невелик, развороты дороги плавны, и только рыхлый снег, кое-где проваливаясь, затруднял шаг. Но гора круто росла, острее делались изгибы пути, и нужно было отдохнуть. Отсюда стал виден размах долины и город на ее дне, как кристаллический осадок, любовно отложивший кубики домов. Левшин не сразу нашел среди этих игрушек Арктур, — все они были с одного лица, и удивительное сходство домов подсказало ему, что, наверно, везде в них повторяется судьба Инги. С виду спокойный, город был населен бредом схваток со смертью, но притворствовал, нося личину земного рая, победившего страдания. Может быть, это было мудростью, потому что слава цвела, а бесславие было сокрыто, и, может быть, об этом думала Гофман, сказав, что Левшин ничего не понимает. Но он видел город таким, каким он казался и каким он всегда был для него, — городом надежды, — и видел глаза Инги и город, каким он сейчас становился для нее, — городом гибели, — и понимал все.

Он взошел в гору, к большому белому дому. Здесь было благополучие в аллеях, благополучие в дорожках, и ветки елок качались следом за Левшиным, потому что две прирученных белки сопутствовали ему, дожидаясь, что он даст орехов. И белый дом развернулся перед ним фасадом своей сотни балконов, на которых лежали сотни больных, дожидаясь, что им будет дано здоровье. И Левшину было несомненно, что всем здесь управляет бог, и он знал, что бог был Штум.

Дежурного врача пришлось подождать, — в Арктуре врачи торопились, в кантональном санатории они могли не спешить. Явившись, врач сказал, что доктор Штум уехал в город, к одному пациенту, о котором беспокоится, и что, если есть время, можно подождать в холле. Левшин спросил, не известно ли,

в какой санаторий поехал Штум. Ему ответили — в Арктур.

Спускаясь с горы, Левшин видел внизу те же кубики осевших кристаллов, повторяющие друг друга. Своею слитностью дома как будто поручались быть верными общей цели, приведшей их сюда, в созвучие с долиной, снежными горами и солнцем. Странной показалась Левшину мысль о притворной личине города. Нет, это был город доброй воли Штума. Сколько раз нужна была здесь рука помощи Штума. И он протягивал ее, — праведник, на котором держится город.

В Арктуре Левшин узнал, что доктор Штум осматрел Ингу и не мог сказать ничего нового. Значит, рука праведника не была всемогущей, — подумал Левшин, — и оставалось только ждать от Штума, чтобы он действительно стал богом.

И вот прошла ночь — полусон, полуживь. То Левшину слышались стоны, то его пугало совершенное безмолвие. Всеми нервами он прильнул к стенке в комнату рядом и ждал, ждал. Немногое из мыслей, подавлявших его, удержалось в памяти. Но он помнил, что проклял человека, впервые воспевшего чахотку, как болезнь красивую, романтическую, и всех, кто поэтизирует это чудовище, потому что оно нередко избирает себе в жертву поэтов.

Поняв, он различил тяжелые однотонные звуки, похожие на хрип, но не поверил себе, потому что они были очень громки и промежутки между ними были чересчур длинны, — это не могло быть, нет, никогда не могло быть человеческим дыханием. Но тревога мучила его нестерпимо, он оделся и вышел в коридор.

Арктур едва начинал просыпаться, внизу слышна была работа Карла, — он натирал суконкой пол. Спустя минуту заворчал лифт, отщелкивая прохождение этажей.

Доктор Клебе появился из кабины. Он поднял приветственно руку, собрался задать вполне уместные вопросы, но в этот момент открылась дверь из комнаты Инги. Усталая, помятая, как человек, не спавший ночь, вышла Гофман. Она

перебросила взгляд с Левшина на Клебе, вынула из кармана розовую коробочку сигарет «*Dames*».

— *Ех*, — словно мельком, произнесла она, обращаясь только к Клебе.

Тогда Клебе сделал два быстрых шага и исчез у Инги.

Левшин взял Гофман под руку. Она старалась, немного дергавшимися пальцами, поймать в коробочке все ускользавшую сигарету. Левшин повел ее к себе.

— Что значит — *ех*? — спросил он, зажигая спичку.

— Это наш язык, — сказала Гофман.

— Я вижу, ваш язык. Но что это значит?

Она раскурила сигарету и сильно выбросила пышный клуб дыма, который стал разряжаться и пропадать.

— Это значит — *exitus*, конец.

Они сели рядом и молчали. Дым кружился над ними, с улицы стали долетать разрозненные звуки утра.

Вдруг боязливо постучали из коридора. Левшин встал. С чрезвычайной осторожностью приоткрылась дверь, и в щель медленно всунулось лицо грека. Он тотчас легонько отступил, зажимая себя дверью, но все же деликатно шепнул:

— Здравствуйте, господин. Я только желал знать, как вы чувствуете?

— Благодарю вас, — сказал Левшин, но парикмахер, наверно, не слышал ответа и продолжал дожидаться с улыбкой извинения.

— Благодарю, — громко и, словно с отчаянием, повторил Левшин. — Мне ничего не надо.

Дороги по краям подсохли, из земли сладко изливалось весеннее тепло, свет проникал в самые дальние углы, воздух замер.

Карл вывел из Арктура выдавший виды велосипед, огляделся с удовольствием, поправил перекинутые на ремешке через плечо два пустых баллона изпод кислорода, встал на педаль, оттолкнул

нулся и, не садясь, покатился под горку, шурша гравием тропы. Выехав на мостовую, он перемахнул ногу через седло, завертел неспеша педалями и, легко вздохнув, стал свистеть. Свистел он хорошо — чисто и громко, и мотив был хоть куда — шлагер из кинофильма «Бомбы над Монте-Карло». Встречая таких же, как он, велосипедистов, он обрывал песенку, снимал фуражку в широком золотом галуне, улыбался, поправлял блестящие на солнце кислородные баллоны и вновь свистел, работая ногами в такт веселым «Бомбам над Монте-Карло».

Перед завтраком доктор Клебе, неслышно подойдя к комнате Инги Кречмар, достал из кармана небольшой листок бумаги и стал прикалывать его кнопкой к двери. Кнопка выпала, он принялся искать ее на полу, но она будто канула в воду. Клебе постоял в некоторой рассеянности, но спохватился, отвернул бортики халата, слева и справа, нащупал две булабочки и, очень тщательно приколол листок, откинул голову, как художник, чтобы оценить аккуратную надпись: «Визиты запрещены». Затем он так же тихо отошел от двери.

День протекал без малейших помех и нарушений, — на балконах лежали пациенты, кое-кто — уже не в мешках, а под одеялами; в лаборатории делались анализы; в рентгеновском кабинете, подвешенные на деревянных зажимах, сохли новые снимки. Вечером, часов около девяти, стараниями доктора Клебе, составились две партии в бридж. Гофман тоже деятельно хлопотала об общем участии в бридже и пробовала привлечь Левшина, но он хмуро сказал, что при подобных обстоятельствах в следующий раз, наверно, будет играть в карты, если ему удастся предварительно сойти с ума, а сейчас он хочет гулять. Таким образом, в гостиной за столы уселись все пациенты, кроме Левшина и — конечно — англичан, отправившихся в кургауз. В десять часов, когда пациентам следовало укладываться спать, бридж был в разгаре, и доктор Клебе довольно покладисто разрешил продлить игру на полчаса, тем более,

что во втором робере ему небывало пошла карта.

В это время Карл впустил в Арктур двух человек в котелках и длинных старомодных пальто. Упитанные, одутловатые, голова к голове, они были похожи друг на друга и с лица.

— Добрый вечер, — сказали они Карлу.

Без усилий, повидимому, издавна примерившись, они внесли стойком нетяжелый ящик, высотую немного больше их роста. Карл бесшумно открыл дверцу лифта, они вошли в кабину вместе с ящиком и стали по бокам его вплотную, так что было похоже, что стоят не двое, а трое, в середине — деревянный — повыше. Карл дал им дверной ключ, и они поехали.

Вместе с ящиком они направились к двери, на которой была наколота записка: «Визиты запрещены», отомкнули замок и вошли в комнату. Через пять минут они вынесли из комнаты ящик в лежачем положении и, хотя он стал тяжелый, — тихо и ловко спустились с ним по лестнице.

Карл придержал выходную дверь, когда они проносили ящик. Они сказали:

— Покойной ночи.

Почти на ощупь они вдвинули ящик в глухой темный кузов автомобиля, один из них сел за руль, другой — рядом, и машина двинулась под гору без газа, как только отпустили тормоза.

К концу бриджа выигрыш перестал интересовать доктора Клебе, и его оживление, даже некоторая шумность бесследно прошли. Расставшись с партнерами, он встретил в холле Левшина, взглянул на часы и покачал головой.

— Вы пренебрегаете режимом, милый господин Левшин!

— Не я один, господин доктор.

— Ну, нам, старым картежникам, простительно, а?

— Я думаю об Инге Кречмар.

— Вы видели? — беспокоило спросил Клебе.

— Видел.

— Как она уезжала?

— Как она уезжала.

— Да. Это — серьезное нарушение режима. Но, — вы меня извините, —

не следует подражать плохим примерам.

Он растопырил руки, как будто собираясь обнять Левшина.

— Если позволите, — маленькое наставление, чисто врачебное, не больше. Вы очень много в жизни замечаете, милый друг. Надо меньше видеть.

— Я не хочу жить с закрытыми глазами. Я не боюсь жизни.

— Нет, нет, послушайте меня: надо меньше замечать. Не знаю, как для жизни, но для здоровья — так полезнее.

— А как ваше здоровье?

— Вы хотите сказать, что я тоже слишком много в жизни замечаю?

— Нет, я просто хочу узнать, как вы себя чувствуете?

Доктор Клебе помолчал.

— Знаете что? Вы — первый человек, который задал мне этот вопрос. Первый из моих пациентов. И разрешите, я вам отвечу так, как у нас, врачей, не принято отвечать пациентам. Мне плохо, милый друг, мне плохо, как никогда, мне плохо во всех отношениях. — Он порывисто затряс Левшину руку и, убегая в свой кабинетик, воскликнул с вымученной улыбкой: — Но не надо этого замечать, не надо замечать...

В день кремации у Клебе были дела с официальными властями и телеграфная переписка с родными Инги Кречмар. Он не отходил от стола. Английская чета просила возложить на гроб покойной цветы, он отослал букет с Карлом, а венок от себя решил понести собственноручно, прислонив его покамест к косяку. Оставалось закончить счет расходам, сделанным Ингой и последовавшим за ее смертью. Сюда входило все — анализы, лекарства, сестра и последние визиты врача, и дезинфекция. Прохаживаясь мимо стола, припоминая, не забыта ли какая-нибудь мелочь, Клебе исправил цифру 100 на 150. За дезинфекцию можно было считать и сто пятьдесят франков, потому что это была не простая дезинфекция по курортной таксе, обязательная после отъезда пациента, — не только кипячение формалина в непроницаемо закрытой комнате. Нет, это была дезинфекция каждой вещи в отдельно-

сти, оклейка стен новыми обоями, — целый переворот, по-старому разумному правилу, оплачиваемый тем, кто был его причиной, то-есть умершим. Нельзя было точно предвидеть, во сколько обойдется такая дезинфекция, и поэтому осмотрительнее было исправить в черновилке счета цифру 150 на 200. Клебе заметил у косяка венок и вспомнил, что надо торопиться. Венок был металлический, с пучком стеклянных эдельвейсов, недорогой, но и не очень дешевый, собственно, даже не венок, а веночек, без всяких надписей, и, может быть, потому — трогательный. Клебе наскоро перечеркнул в счете цифру 200, решительно надписал над ней 250 и взялся за пальто: пора было итти.

Путь лежал по пустынной загородной дороге мимо редких строений. Тишина однообразно, но довольно приятно нарушалась лесопилкой, — как морская сирена, выла круглая пила и, перепилив доску, взметывала в воздух высокий певучий звон, не успевавший растичь до нового басистого взывания пилы. От этих звонов началось в памяти Клебе кружение напевов, полужнакомых или вдруг сочиненных, и на душе стало яснее после расстройств истекших дней. Солнце чувствительно согревало. Держа перед собою двумя пальцами веночек, Клебе шагал под мотивы многоголосого воображаемого оркестра, скрытого в звонах и завываниях пилы.

И понемногу, вылетая из музыки ветряными воронками, завихрилась, от воронки к воронке, неудержимая мечта. Опять утешительно воскресал из задухалости Арктур. Какой-то английский, — нет, не английский, — какой-то известный голландский миллионер (живут же, например, в соседнем Сан-Морице голландские миллионеры) поселяется в Арктуре. Ему страшно нравится милый, картинный по местоположению санаторий, и он просит, чтобы Клебе выселил всех больных и предоставил весь дом ему одному. Клебе охотно исполняет просьбу, и они становятся друзьями. Чудесно и содержательно текут обновленные дни. Друг Клебе — музыкальная, одухотворенная натура. Они отдаютюся музыке, чтению новой литературы, они

иногда болтают о женщинах, они философствуют в великолепном, заново отделанном Арктуре. Клебе полунает в подарок новейшую модель автомобиля. Карл в новой униформе, с изящным, очень тоненьким золотым галуном, сидит за рулем ослепительной машины, медленно проезжающей по главной улице. Отовсюду выглядывают люди. Никто не спрашивает, — чья машина, — все знают: это едет доктор Клебе. Он едет со своим другом, голландским миллионером, едет на Лаго Маджоре, где миллионер построил для Клебе виллу. Они живут на Лаго Маджоре и катаются на бслрой яхте. Вся Италия говорит о роскоши, в которой отдыхают друзья. К ним приезжает гостить дуче — личный друг голландца. Доктор Клебе производит на дуче неотразимое впечатление, он завидует голландцу, он говорит: друзья моих друзей — мои друзья, и предлагает Клебе перейти в католичество. Религия никогда не обременяла Клебе, он считал ее условностью, и он расстается с лютеранством. Эта акция способствует сближению дуче с Ватиканом, и дуче назначает Клебе министром здравоохранения. Клебе приезжает в Давос ликвидировать дела, его умоляют остаться, но он неумолим. Он жертвует Арктур в пользу врачей, больных туберкулезом, и благодарный город избирает его своим почетным гражданином, больные врачи ставят в холле Арктура бронзовый бюст Клебе и венчают его лавровым венком.

Устав от тяжести, рука доктора Клебе опустилась, и металлический веночек, позвякивая, царапал пальто. Клебе переменил руку, встряхнулся. Виден был крематорий. Группа людей подымалась к приземистому portalу. Клебе узнал Штума, фрейлейн Гофман, Левшина. С ними был кто-то высокий, с косыми плечами, казавшийся очень знакомым. Клебе присоединился к ним уже в притворе и вошел после всех.

Когда разместились по скамьям, он, опустив голову, маленькими шажками направился к гробу, неся веночек на вытянутой руке. На крышке гроба пышно кучились живые цветы, и веночек, рядом с ними, сделался еще скромнее. Но Кле-

бе с достоинством присоединил его к цветам: истинное чувство скромно, а ведь Арктур действительно дорожил своей пациенткой.

Возвращаясь к скамьям, Клебе был готов встретить взгляды всех присутствовавших. Но на него почти никто не глядел. Лица были чужды. Чтобы увериться, что к нему нет неприязни, Клебе стал смотреть на всех по очереди, со скорбной дружелюбностью. Никто не отозвался ему. И вдруг он столкнулся с сумрачным, прищуренным взглядом и тотчас узнал его. Майор Пашич глядел укоризненно сквозь свое узенькое пенсне.

Клебе сбился с ноги. В первый момент он даже не мог понять, что за чувство в нем поднялось. Он обернулся лицом к гробу и занял место на передней скамейке. Потом он понял, что кровно обижен, и ему стало душно, и слезы навернулись на глаза. Он поднял голову, стараясь проглотить застрявшую в горле слюну, и оттого, что пастор стал плачущим голосом читать молитвы, а проглотить все не удавалось, слезы потекли по щекам Клебе.

На стене свода, под которым помещался гроб, была написана картина, изображавшая ангелов. Произведение было в духе декаданса, — неясные дымчато-лиловые облака уплывали вдаль и ввысь, и на эти облака молитвенно смотрели коленопреклоненные ангелы, в тех же лиловых тонах. Ангелы обращались туда же, куда обращались все молящиеся, то-есть вперед, и поэтому лиц их не было видно, а видны были только локоны до плеч, спины и ступни. И так как ступни находились ближе всего к глазам молящихся, то они были большие, сильно освещенные, все в тех же лиловых тонах, и пятки были светлофиолетовые. Но, чтобы пяток было не слишком много, художник натянул на некоторые ступни подола ангельских хитонов или прикрыл их клочьями неясных облаков. Все же пятки можно было легко сосчитать, голые, под хитонами и в облаках, и вот доктор Клебе пересчитывал эти пятки, подняв голову, слушая надгробные молитвы пастора и чувствуя непроходящую обиду.

Майор возвратился из Локарно назад. Надо было ожидать. Покорный солдат судьбы, он принадлежал Давосу и не мог никуда уйти. Но это слишком скоро случилось и имело вид, будто майор подстроил свою поездку лишь затем, чтобы выехать из Арктура. К несчастьям, переживаемым Клебе, майор добавлял оскорбление: каким-то обманым путем переехал в другой санаторий. Блажь пенсионера, которому все равно, где проживать деньги, обращена была против человека, так сердечно к нему относившегося и — Клебе вспомнил — посвятившего его в свою болезнь, в свои страдания. Таков человек, таковы люди.

И Клебе не хотел остановить катившиеся горчайшие слезы.

Пастор прочитал последнюю молитву, сторож, похожий на канцелярского служителя, снял с гроба цветы, веночек, и гроб начал опускаться под пол.

Клебе обернулся к выходу с заплаканными глазами и не вытирал их, чтобы все видели.

Когда вышли из крематория, остановились, и сам собою образовался кружок — все стали лицом друг к другу. Клебе сделал общий поклон. Никто не заговаривал.

Левшин поглядел на башню крематория, которая оканчивалась закопченными прорезями трубы, чуть-чуть дышавшей бледным струившимся испарением. Следом за Левшиным все подняли глаза на башню, увидели в синем небе это испарение и, наверно, подумали о нем что-то схожее, потому что сразу затем переглянулись с таким подавленным выражением, будто хотели сказать: да, да, вон там и конец, в том дыме.

— Господин майор, — поджав губы, проговорил Клебе.

— Господин доктор, — буркнул майор и отвел прищуренные глаза вбок.

— Отлично сделали, что возвратились. Я всегда считал, что переселение вниз для вас не менее опасно, чем оказалось для нашей бедной фрейлейн Кречмар.

И Клебе сокрушенно покосился на трубу крематория.

— Интересно чисто медицински: вы сразу почувствовали себя хуже, как только спустились вниз?

— Я чувствовал себя, как всегда.

— Однако...

— Я вернулся, потому что мне здесь спокойнее.

Майор достал темные очки, лоскутик замши и занялся протираанием стекол.

— И вы, вероятно, нашли гораздо более располагающий и экономный санаторий, чем Арктур?

— Совершенно верно.

— Долго ли вы, собственно, пробыли в Локарно? — вкрадчиво и явно желая задеть, спросил Клебе.

— Я успел купить роман «Волшебная гора», который вы обещали покойной фрейлейн Кречмар, но не выполнили обещания.

— Какое счастье, что она не отведала этого моря пессимизма!

Вдруг неподвижно стоявший доктор Штум сделал шаг назад, обошел вокруг всех и остановился позади Клебе.

— Мне надо с вами поговорить, господин доктор, — сказал он хмуро.

С открытой головой, в черном костюме, без пальто, он казался складнее всех, но походка тяжелила его: переваливаясь, он словно отклеивал подошвы от земли. Он протиснулся, заложил руки в карманы и двинулся по дороге в город. Клебе поспешил за ним дробными шажками, наклонив голову, в знак того, что готов слушать. С привычной, по виду застенчивой, прямою, за которую его не любили, Штум сказал:

— Прошу вас больше не считать меня врачом Арктура.

Клебе слегка дернулся и поднял голову, потом весь его корпус пришел в окостенение, и только ноги продолжали выщелкивать налаженные шажки.

— И, пожалуйста, вычеркните мое имя из ваших проспектов.

— Но, Арктур, — прошептал Клебе, отчаянно сбрасывая с себя мучительную связанность, — Арктур еще не прекращает свою деятельность.

— Недостатка во врачах нет.

— Но ваше имя, — я им так дорожу...

— Вот-вот: я — тоже.

— Разве хоть когда-нибудь я бросил на него тень? Неужели эта несчастная смерть...

— Я ее лечил, я, вы понимаете это? — неожиданно останавливаясь, перебил Штум.

Он глядел на Клебе исподлобья, упрямая тупость выказалась в больших и сильных чертах его лица, нависшие на рот усы вздрагивали.

— Я, а не вы, — продолжал он хрипло. — А я не дал вам права ее отпустить.

— Помилуйте! Ведь мы имеем дело с фактом ослушания. А вы, врач, обвиняете врача!

Клебе стоял поникший, тихий, и, может быть, облик его, больше, чем слова, подействовали на Штума, который смолчал и так же внезапно, как остановился, зашагал вперед.

Но Клебе видел, что он недоступен никаким доводам, что решение его неколебимо, что именно желание настоять на своем так затупило его черты. И Клебе оставалось только защитить свое достоинство. Шаги его покрупнели, он встряхнулся, ему стало свободнее идти. Он сказал:

— Может быть, эта смерть для вас особенно огорчительна. Я не вдаюсь. Но почему же, господин доктор, она должна влиять на отношение к Арктур? Ведь у вас, наверху, люди умирают каждую неделю, и вы не уходите из своего санатория.

— Я отвечаю за то, что у меня происходит, господин доктор.

— Ах, что вы! Как можно отвечать за смерть?

— Надо отвечать за жизнь, а не за смерть, — сказал Штум и подал руку. — Я пойду быстрее.

— Может быть, вы еще подумаете? — спохватываясь, крикнул ему вдогонку Клебе.

Но Штум затряс головой. Он повернул на тропинку и пошел в гору, раскачиваясь, веской, устойчивой поступью.

И вот Клебе вернулся в Арктур, в новый Арктур, о котором уже нельзя было сказать: здесь лечит доктор Штум, — в Арктур без Штума. Конечно, Клебе пригласит уважаемого, по-

чтенного врача, каких немало и каких даже ценят пациенты, так сказать, за характер, но налет исключительности, позолота, навешенная на Арктур Штумом, лечившим, кроме своего известного санатория, только у Клебе, эта позолота сойдет навсегда.

Ну, что же, и с этим примирится Клебе, если судьба пошлет пациентов, если дела поправятся хотя бы настолько, что можно будет думать о своем здоровье, — ведь Клебе и не мечтает о богатстве, о роскоши, об автомобилях, которые были в прошлом, о вилле на Лаго Маджоре, которая, казалось, могла быть в будущем. К чему все это? Клебе нуждается в умном враче, — ведь он тяжело больной, больше ничего. А это эгоистическое создание, Штум, грубое, как горный пастух, он должен был бы взглянуть на последний рентгеновский снимок с легких Клебе, — что делать с открытыми кавернами в легких Клебе, господин доктор Штум, что делать? Вот в чем вопрос, а не в формальных спорах о пациентах, обреченных самим роком.

— Да, господин доктор, — бормотал Клебе, — если говорить об ответственности за жизнь, то вот извольте, извольте.

Стоя перед окном, он держал на свет свой рентген. Белая тень под правой ключицей была видна ясно, да и вся картина, легко поддававшаяся чтению опытного глаза, оставляла тяжелый осадок на душе Клебе. Он все бормотал, адресуясь к раздражающему воспоминанию о Штуме и просматривая накопившиеся формуляры плохих анализов. Стараясь успокоиться, он лег в постель и начал дремать, с трепетным, пугающим чувством, что каждый день приносит несчастье за несчастьем, и почти не осталось ничего обнадеживающего, и жизнь, еле теплясь, ведет Клебе под руку, как старца, в чужой, бедный пансион, где его из жалости кладут на нечистую койку, в темном углу, и он там выхаркивает свои легкие.

Он очнулся, кашляя, у него вспотели плечи, голова, он долго не мог отдохнуть от тягучей боли в суставах. Поднявшись, он отыскал в столе давно за-

брошенную карманную плевательницу синего стекла и, водрузив ее у кровати, кивнул и ужмыльнулся ей, как старому знакомому, которого больше не думал встретить.

Он включил радио, в первых тактах пойманной волны узнал Грига и стал слушать давно знакомую и пережитую музыку смертной тоски. Прошлое хлынуло на Клебе с сладкой и ужасающей невозвратностью, и жалость к себе и ненависть к тому ничтожеству, какое обступало его со всех сторон и грубо пересиливало, брало верх, — все это стеснило его горло до рыданий. Но, когда потухли последние такты музыки, он не захотел расстаться с нею, он выключил радио, бросился к полке с книгами и нотами, и в листах нот, отвыкших от прикосновений, принялся искать Грига. Шел час прогулок, в доме никого не было слышно, в солнце уже появилась передзакатная смягченность, Клебе решил пойти в гостиную, к роялю, сыграть Грига.

И когда, волнуясь и торопясь, Клебе перебирал холодно-скользкие, попеременно с чуть шершавыми от пыли, листы нот, он услышал за дверью голос Карла, сразу напомнивший, как в смежной комнате, тогда, вечером, сидела Инга с окровавленной тряпкой в руке.

— Господин доктор!

— Войдите, — бодрясь, нарочно громко крикнул Клебе и вздрогнул от своего крика.

Первой вошла Лизль, за нею — Карл.

— Извините, господин доктор, можно? — сказала Лизль бойко. — Мы вам помешали? Мы хотим вам заявить...

— Одну минуту, — прервал Клебе, — я не знаю, кто такие — мы?

— Это вот мы, я и Карл.

Она показала пальцем на себя и на Карла, и той же рукой, с размаху, очень женственно поправила свои обильные черные волосы.

— Мне не известен такой феномен — мы. Я знаю Карла, знаю вас, Лизль. Говорите каждый за себя.

— Мы хотим сделать заявление, — опять начала Лизль.

— Я сказал, чтобы вы говорили за себя! — вскрикнул Клебе. — Я нанимал вас в отдельности, а не вместе!

— Карл говори, — мотнула головой Лизль.

— Я прошу расчет, господин доктор, — сказал Карл со своей счастливой улыбкой.

— А... я понимаю, — сказал Клебе, заставляя себя успокоиться. — То-есть в каком смысле? Вы хотите...

— Я уйду из Арктюра, господин доктор.

— Но что вы, Карл! Когда кругом такая безработица!

— Он уже нашел другую работу, — сказала Лизль. — Он идет мостить дорогу, тут строится, в нашем кантоне. И гораздо больше выходит, чем у вас, и без задержек. Я тоже уйду с ним, и, пожалуйста, примите наше заявление.

— Отлично, — сказал Клебе, — придите завтра в контору во время занятий.

— И чтобы то, что вы нам должны.. что вы не заплатили...

— Я сказал — завтра! — опять, не удержавшись, крикнул Клебе.

— Карл! Господин доктор на меня орет, а ты что?

— Господин доктор волнуется, — деликатно сказал Карл.

— Завтра, — повторил Клебе.

— Но мы хотим, чтобы заявление считалось с нынешнего дня, — сказала Лизль.

— Подите вон, — задыхаясь, негромко выговорил Клебе.

— Видишь? — толкнула Карла Лизль. — Господин доктор меня гонит. Этак господин доктор оскорбит меня, как девушку, а ты что?

— Молчать, поломойка!

Клебе насилу стоял, держась за нагроможденную кипу нот, его начало трясти, он слышал стук зубов.

— Господин доктор, вы, пожалуйста, не очень, — на этот раз воинственно поправляя волосы, сказала Лизль. — Когда вы ко мне приставали, я была не поломойка. Вы думаете, никому не известно, что вы ко мне лезли, в мой чулан? Карл об этом великолепно знает.

Что ты молчишь, Карл? Эх, ты! У тебя нет расы!

Клебе рванул с полки ноты, кипа рухнула, тетрадки, скользя, раскинулись по полу огромной колодой карт, и на них попадали книги. Он стоял бледный, трясущийся, кашель рвался у него из груди.

— Извините, господин доктор, — сказал Карл, выпроваживая Лизль и отступая следом за нею. Его зеленые прозрачные глаза стали серьезны, он даже не попытался собрать упавшие ноты и книги, а только сочувственно и понимающе передернул плечами.

— Женское кокетство, господин доктор, — мигнул он на Лизль, исчезая.

Доктора Клебе трясло. Это не был знакомый озноб болезни. В беспомощном дрожании рук и головы Клебе почудилось страшное подобие трясучего паралича. Ему было невысказанно двинуться с места, — вдруг это, и правда, паралич? Он ждал, когда пройдет отвратительная пляска. О музыке он забыл. У него явилось необоримое желание — скрыться, спрятаться в недосыгаемую шелку, скататься в клубок и так залечь, чтобы никто не нашел. Его терзало, что вот сейчас опять отворится дверь и снова повлачат его на какое-нибудь унижение. Он все стоял. С пола глядела на него выхоленная, довольная, раскрашенная физиономия, рядом с ней — другая, совершенно ее повторяющая, потом третья, четвертая: это высыпались с полки романы Уоллеса, и преуспевающий автор улыбался со своих обложек, счастливый, как Карл. Клебе попробовал шагнуть. Ноги вяло повиновались. Он наступил на ноты, потом прямо на Уоллеса, попирая его улыбку. Он метнулся из угла в угол, решил принять успокоительное лекарство и пошел в медицинский кабинет.

Раскрыв аптечку, он выбрал маленький темножелтый флакон, спрятал его в карман, задумался, шагнул к стерилизатору и достал шприц.

Он вернулся к себе, положил шприц на столик, отставив прочь плевательницу, подошел к книжной полке, вытянул

за корешок фармакологию и, найдя нужный раздел, внимательно почитал, стоя.

Ему казалось, он успокоился, хотя руки еще тряслись. Он глянул в зеркало. Щеки и лоб были покрыты сеткой тоненьких розоватых жилок, точно от холода, и он назвал это про себя врачебным термином — мраморностью кожи. Лицо не понравилось ему.

Он быстро сел за стол, взял почтовую бумагу с маркой Арктура в верхнем уголке, отвинтил наконечник пера и, навалившись на локоть, — чтобы не дрожала рука, — стал писать.

15

Карл чистил мебель в холле, когда пришел почтальон — пожилой, низенький толстячок, с усами кольцом, уж сколько лет носивший в Арктур почту. Они поздоровались.

— Шеф спит? — спросил почтальон.

— Еще не выходил.

— Придется потревожить: ему деньги телеграфом.

— Э, это как-раз то, чего нам не хватает, — просиял Карл. — Ступайте прямо к нему.

Через минуту почтальон вернулся к Карлу:

— Господин доктор не отзывается. Я стучал как следует.

— Это он надевает смокинг, чтобы встретить вас тостом, — весело сказал Карл. — Пойдемте.

— Раньше в эдаких случаях он подносил мне наперсточек киршвассер, — сказал почтальон.

— А теперь — умирай от жажды — не поднесет стакана воды, — сказал Карл.

Он постучал в дверь, прислушался и сказал тихо:

— Раньше все, что мельче франка, он не считал за деньги.

Он опять постучал и послушал.

— Да нет, я стучал, — с досадой сказал почтальон.

— Как он платил жалованье! — прислушиваясь, говорил Карл. — Не надо было смотреть в календарь.

— Может, он куда вышел? — сказал почтальон, поддав коленом оттягивавшую плечо битком набитую сумку.

— Господин доктор, — крикнул Карл, — вам деньги!

— Чего кричать? — недовольно сказал почтальон. — Может, там никого нет. Дверь-то заперта?

Карл нажал на ручку, дверь была не замкнута, он чуть отворил ее и неуверенно ступил на порог. Он стоял, не двигаясь, одно мгновение, потом вдруг попятился, захлопнул дверь, обернулся и прижал створу спиною.

— Постой, — дохнул он, — может... может, нужен свидетель. Не уходи. Я сейчас.

Он побежал, точно на улице, высоко вскидывая ноги, по коридору, по лестнице, скачками через несколько ступеней, на самый верх и бросился к комнате Гофман. Никто не отвечал на его отчаянный, поплывший по дому стук, он кинулся назад, и тут из ванной вышла Гофман.

— Фрейлейн доктор... господин доктор!

Он не мог сдержать дыхание и махал руками.

Не спрашивая, она поняла, что нужно, так же, как Карл, бежать, мчаться, нестись. Но на ней был купальный халат:

— Сейчас оденусь. Что случилось?

Карл загородил ей дорогу.

— Господин доктор Клебе, я думаю, что ех, — шепнул он, страшась этого непонятного, знахарского слова.

Они побежали вниз.

У кабинета, как на карауле, стоял почтальон, подперев стулом свою сумку.

Гофман вошла первой.

Клебе был бледножелт и так спокоен, как будто ничего особенного не случилось. Тело его было прикрыто смятой простыней.

Гофман стала так, чтобы ее лицо не видел Карл: она зажмурилась, потому что не могла смотреть на Клебе. Она хотела нащупать его пульс, но ощутила холод околелости и незаметно отдернула руку. Она откашлялась и, не поворачиваясь, сказала на одной ноте:

— Это случилось несколько часов назад.

— Он мертв? — спросил из дверей почтальон.

— Я сразу определил, — сказал Карл.

Гофман увидела на столике шприц и пустой желтый флакон.

— Смерть последовала, вероятно, от опия, — по-больничному сухо сказала она, нагнувшись к флакону.

— Ага, — сказал почтальон, — наложил на себя руки. У меня это второй такой случай.

— Надо сообщить полиции, я знаю порядок, — сказал Карл.

Он оправился от испуга, но его еще лихорадила потребность действовать.

Гофман испытывала страшную перемену, совершавшуюся в эту минуту в мире, прежде всего — в ее мире, вокруг нее. Доктор Клебе, все время живо пребывавший в ее сознании, в один миг непостижимо заменился трупом под смятой простыней. Мгновение назад жизнь как будто не требовала к себе никакого внимания, подразумевалось, что ход ее не только не нуждается во вмешательстве, но еще сам подталкивает человека. А тут она вдруг вцепилась в человека, словно в ужасе, что ход ее сейчас же остановится, и Гофман слышала ее панический вопль: толкай мой ход, двигай, сильнее, скорее, а то видишь? — посмотри на кровать, взгляни, взгляни! И нельзя было не двигаться. Из Арктуре оказалась вывернутой ось, ее надо было заменить. И Гофман в первый же миг, как только увидела смерть, поняла, что сделалась теперь главной, старшей в Арктуре, и ей, так же, как Карлу, захотелось действовать и решать. Но ее непрерывно потащивало, и она боялась, что упадет.

Рука поискала инструменты, не потому, что они были нужны, а как спасительную соломинку, но, коснувшись мохнатого купального халата, растерянно повисла в воздухе. Затем, будто найдясь, Гофман щелкнула пальцами, на мужской лад.

— Карл, — сказала она, — принесите мой халат из лаборатории.

Он в два скачка слетал за халатом, помог ей одеться, и она, застегнувшись на все пуговицы, сразу будто прислонилась к устойчивым подпоркам.

— А почему это валяется? — спросил почтальон, внушительно показывая на книги и ноты, рассыпанные по полу.

— Не знаю, — быстро сказал Карл. Его цветущая краска стала убывать с лица.

— Мы с Лизль были у господина доктора вчера к вечеру. Он смотрел ноты. Может, уронил. Вот так вот стоял, и, наверно, уронил.

— Вы когда были у господина доктора? — спросила Гофман, подходя к письменному столу.

— В сумерки. Или перед сумерками.

— И что же господин доктор? Вы что-нибудь заметили?

— Ничего не заметил, — сказал Карл, еще больше бледнея. — Господин доктор, я думаю, волновался. Смотрел так вот ноты и волновался.

Гофман уже не слушала: заметив посередине стола исписанную бумагу, она, спеша, перёскакивая через неясные слова, читала. Тогда и Карл, подойдя и наклонившись, стал читать.

Была заполнена почти вся страница крупным, неэкономным почерком. Кое-где рука, видно, дрогнула, но подпись не имела ни малейшего отклонения от обычной, и росчерк удался, как всегда: тонкий, воздушный овал с двумя хвостиками внутри.

Гофман хотела взять записку, но Карл удержал:

— Фрейлейн доктор, надо оставить, как было, я знаю порядок.

Он уже опять сиял, поняв из записки только то, что там не было о нем ни слова.

— Предсмертное письмо? Это у них обычай, — сказал почтальон, покосившись на кровать.

— Я сплещу, — сказала Гофман, доставая из кармана блокнот, — а вы, Карл, приготовьте объявление на дверь.

Он понятливо мотнул головой, выбрал подходящий листок бумаги, пристроился на краю стола и разметил, как лучше написать два слова.

Тогда и почтальон, ошестгнув маленький карман сумки, вытянул телеграмму, помуслил на ней пальцем уголок и принялся писать.

Минута прошла в молчании.

Первым кончил Карл. Подвинувшись к почтальону, он заглянул через его плечо. Старательными готическими буквами, как в тетрадке чистописания, на телеграмме было выведено: «Господин адресат скончался. Старший почтальон» — и подпись.

— А деньги? — спросил Карл.

— Назад отправителю.

— От кого перевод?

— От господина Кречмара, Гамбург.

— Слышите, фрейлейн доктор, — сказал Карл, — отец фрейлейн Кречмар перевел деньги. Это на ее похороны.

Он подмигнул на кровать и сказал почтальону:

— А кто переведет на его похороны?

— Имеются наследники? — спросил почтальон.

— Он раз был женат, супруга бросила его.

— Поторопилась.

Карл вздохнул.

— Он был хороший человек, но у него нехватало денег. Одни долги. Он поэтому и...

— А-а, — сказал почтальон, — он поэтому и...

Гофман кончила списывать, все трое, не оглядываясь, вышли из комнаты. Карл наложил на дверь листок: «Визиты запрещены».

— Я пойду звонить в полицию, — сказала Гофман.

— Я здорово опаздываю из-за этой истории, — проворчал почтальон.

— Наверно, полна денег? — шутя тронул сумку Карл.

Почтальон надул щеки и с сопением выпустил сквозь усы воздух.

— Рекламы. Два раза в день полна реклам. Как я жив, не знаю. Адэ.

Лизль выглядывала из угла, готовясь наброситься на Карла с расспросами. Он позвал ее сильным кивком.

— Наш доктор, — сказал он тихо и пальцем начертил в воздухе крестик.

Лизль присела. Проведя рукою поперек горла, она показала на потолок.

— Да?

— Нет, — ответил Карл и ткнул пальцем себя повыше локтя.

— Это что?

— Впрыснул яд.

— Ну!

— Ну, и все. Приедет полиция, будет насчет вчерашнего спрашивать, — идем, я скажу, как отвечать.

— А наши деньги? — вскинулась Лизль.

— Подумаем, — сказал Карл.

И он отвел Лизль подальше от кабинета Клебе.

Гофман, поговорив по телефону, встретила на лестнице англичан, спускавшихся на утреннюю прогулку. Они любезно приветствовали ее, и она не хотела им ничего сообщать, чтобы не портить прогулку, но слова сами полетели у нее с языка, и она не успела опомниться, как все сказала.

— О, бедный, — друг за другом воскликнули англичане.

Они были взволнованы и с удивлением смотрели на Гофман, твердя:

— Из-за кризиса, да? Какой грех, какой грех!

Потом они одернулись, точно переодевшись.

— Он был очень милый, — сказала мистрисс, — но, по правде говоря, ему было трудно справляться со своим делом.

— А мы как-раз собрались уезжать из Арктика, — сказал пастор.

Он откланялся и спустился на две ступени.

— Покойник ведь был лютеранин? — спросил он, обернувшись, и опять стал спускаться.

Приближаясь к комнате Левшина, Гофман уверяла себя, что успокоилась. Но, взглянув в его глаза, такие понятные по недавнему часу близости и сразу потребовавшие ответа, с чем она пришла, — она страшно захотела получить у него помощь. Ей снова показалось, что она упадет, и, когда Левшин протянул ей руку, она чуть не заплакала от слабости и насилу дошла до кресла.

— У нас опять несчастье, — сказала она, не выпуская его руку.

Он стоял с перекинутым через плечо полотенцем, с мокрым от умыванья лицом и, слушая ее, не мог понять своих сбивчивых, мешавших одно другому, чувств. Она скоро дошла до того, как увидела на столе письмо. И только теперь, читая его Левшину по исчерканным насцеп листочкам блокнота, она вникла в витиевату мысль Клебе:

«В том, что я делаю, никто не виновен.

Болезнь, которую лечат в Давосе, имеет обыкновение возвращаться. Она пришла ко мне на свидание третий раз. Возможно, что и на этот раз вопрос ее излечения есть вопрос времени и, значит, — вопрос денег. Но зато вопрос денег сейчас — даже не вопрос здоровья. Ведь если бы я был здоров, в Арктике все равно не было бы денег.

Я иногда мечтал о чуде, которое меня спасет. Но чуда не случилось. И понятно: чудо — это деньги, а ведь денег нет.

Говорят, есть на свете страна, где чудеса случаются с людьми, у которых денег нет. Если бы я был здоров, я пошел бы туда пешком, чтобы убедиться, что это — сказка. Но доехать туда нужны деньги.

Я сдаюсь.

Д-р Клебе».

— Он был все-таки добрый человек, наш Клебе, — сказала Гофман, кончив читать. — Ужасно говорить, что он «был», правда?

— Он был неплохой человек, — сказал Левшин, — потому что не мог быть лучше, даже если бы хотел.

— Это все рассуждения.

— Да, это рассуждения, от которых он умер.

— Он был просто несчастный.

— Да, конечно, он был несчастный.

Они говорили медленно, с большими паузами, точно боялись вынести неверный приговор, и это обдумывание, эти паузы и последний приговор над человеком, вопреки смерти продолжавшим быть живым в воображении, помогли Левшину увидеть то, что его поразило в этой внезапной смерти.

Сначала Клебе представлялся слитным с Арктиком, потом отделился от него, отошел, почти безразлично, в сторону, и тогда Левшин увидел, что Арктик погиб. Это заполнило его страстной жалостью.

Перед ним стоял высокий, легкий, чересчур узкий дом, к фасаду которого были кривошечно прислонены деревья.

ные балконы, напоминавшие квадратные кроличьи клетки, но без дверей. На дворе, словно для детей, лежали пирамидки камней с альпийскими цветами в щелях и трещинах. Цветы были крошечные, как пуговицы, но их окраска — щедро, слепительно ярка. Несколько робких елочек топорщилось по рубежу двора, тропа полого катилась к мостовой, накрытая гравием с песком. Белизна стен выглядывала сквозь красно-коричневые клетки балконов, и по стенам вечно передвигались тени шезлонгов и одноногих столов с запада на восток, будто прячась от солнца. Дом плыл в мире синего неба, снежных гор, светлозеленых лугов, мохнатых, черных окаймлений леса. И где-то над третьим или четвертым этажом белела на нем гордая вывеска — «Арктур».

И вот Левшин еще обретался в Арктуре, а он уже становился воспоминанием, драгоценной утратой, как детство. Все, что в нем было чуждого, будто взял с собою Клебе, и, точно в воспоминании о детстве, в Арктуре засветилось все только хорошее, и он перестал существовать.

Тогда лучшее из всего, что в нем было, выразилось в одном существе, и перед Левшиным явились серые, слегка навывахе глаза, рыжеватые волосы, подкрахмаленный халат, из кармана которого высовывались важные инструменты. Он сразу вспомнил все свои шутки над этим существом, и бескорыстную радость этого существа, что он все чаще шутил, и немного заносчивое убеждение этого существа, что именно оно способствовало второму рождению Левшина, там, в старом, навсегда погибшем Арктуре.

Он обнял голову Гофман, поправил ее спутанные волосы, и ему вдруг стало с ней хорошо и просто.

— Нам надо увидаться, — сказал он.

— Да, да, нам надо увидаться, — освобожденно и громко подхватила она, — где, где?

— По-моему, хорошо на той дороге, на повороте в Клавадель.

— На повороте в Клавадель? Но — сегодня, правда, сегодня?

— Непременно сегодня, когда же еще? — И он показал на связанные в пачки книги.

— Это — сборы? — спросила она вновь утихшим голосом. — Уже сборы?..

— Что же горевать? Ведь это — вывод из всего, что было.

— А это опять рассуждения.

— Которые ведут к жизни, — сказал он, улыбаясь.

Прижав к своему лицу руки Левшина, она крепко держала их, и ему с ней было попрежнему хорошо. Они долго молчали, потом внезапно отодвинулись друг от друга, вместе услышав, как деликатно постучал Карл.

— Фрейлейн доктор, полицейские приехали, — строгим шопотом доложил он.

И она, переменившись, чувствуя себя самой старшей, вышла из комнаты так, что Карл пропустил ее мимо себя с маленьким, едва заметным поклоном, какой делал раньше доктору Клебе.

Весь день был занят неожиданными делами, неожиданными людьми. Собрались кредиторы Арктура — купцы, банковский чиновник, бухгалтер, постоянно проверявший отчеты Клебе. Сначала они заседали в гостиной, разговаривая громче, нежели полагалось в санатории, затем разбрелись по всему дому, парами и в одиночку, появляясь на кухне, в незанятых комнатах, на балконах. В рентгеновском кабинете, где они, постепенно, вновь соединились, у них, наверно, возник спор, потому что голоса прорывались даже сквозь двойные, обитые материей двери. Спустя короткое время они снова рассеялись. Один из них — толстый, в вязаной зеленой жилетке, шумно сопевший — залез в машинное отделение лифта и потребовал, чтобы Карл давал ему объяснения устарелого механизма. Запачкав жилетку, он вылез, пришел в лабораторию, поглядел в микроскоп, спросил, сколько может стоять такая штука. Банковский чиновник пробовал рояль, бухгалтер велел Лизль приготовить кофе и послал ее за бриошами в булочную.

Никто не выразил намерения посмотреть на Клебе. Только когда стали

прикидывать, во сколько можно оценить кабинет, кто-то спросил у Карла:

— А что, доктор очень изменился?

Но тут же чиновник задал другой вопрос: не было ли у доктора в кабинете второго яруса?

Потом они закрылись в конторе, и через оконную фрамугу на улицу потянуло разносортными табачными ароматами...

Левшин подошел к перекрестку дорог незадолго до заката, когда все вокруг теряло яркость и становилось матовым и тишина превращалась в беззвучие. Глубокое Клавадельское ущелье наверху слева было солнечным, справа — затененным, и чем ниже, тем насыщенные была темнота, и на дне лежал вечерний мрак. На черте между солнцем и тенью Левшин различил просвечивавшие сквозь деревья здания, но там начинался изгиб ущелья, светлели пятна нестывшего снега, и чтобы яснее разглядеть дома, надо было бы идти дальше, а уже наступало время встречи. Он повернул назад, и в нем ожило убеждение, что Клаваделю суждено остаться в памяти всегда зовущим, очень близким, но ни разу не достигнутым, как мечта.

У поворота дороги стоял одинокий крестьянский дом под картузом старой крыши, с узеньким навесным балконом, служившим переходом из жилья на чердак. Лестница наверх и балкон были ограждены перилами из тонких резных балясинок, и тень этих балясинок обвивала решетчатый поясом весь дом, и он будто сквозил, пропускал через себя зарозовевший вечерний свет, и только нахлобученная крыша придавала ему вещественность. Ни в нем, ни около него не было никакого движения, и оттого молчанье всей долины казалось совершенным.

Обойдя дом, Левшин увидел Гофман. Она шла не одна, но он тотчас узнал ее спутника: по обычаю без пальто и шляпы, шагала рядом с ней доктор Штум. Он махнул Левшину высоко поднятой рукой и еще издали, странно рассекая тишину, воскликнул:

— Неп-то Клебе, а?

Он повторил этот полувопрос-полувосклицанье, подойдя к Левшину и здороваясь.

— Бедняга, как запутался, — сказал он. — Но я вот думаю: если бы на его месте — я. Совсем на его месте. Во всех подробностях, при всех обстоятельствах. То-есть абсолютно, как у него, понимаете? Не знаю, не знаю... А вы знаете? Как бы поступили вы?

— Не знаю, — сказал Левшин.

— Но если мы с вами не знаем, значит, мы разделяем, оправдываем, так? Ведь так? Но если так, тогда начнут все, как Клебе... Извините, я не понимаю.

Он потербил волосы.

— Вы обратили внимание на одну фразу в конце письма?

— «Говорят, есть на свете страна»? — припоминая, спросил Левшин.

— Вот именно.

— И что же?

— Я хочу знать, что вы на этот счет думаете.

— Он прав, — сказал Левшин, — такая страна есть.

— И, по-вашему, ему надо было туда поехать?

— Нет, не думаю, что ему надо было туда поехать. Но вот, по-моему, вам надо было бы повидать эту страну, — сказал Левшин и, повернувшись к Штуму, встретил мгновенный, пожалуй, лукавый ответный взгляд.

— Это не вполне устраняет мой вопрос, — насупившись, сказал Штум. — Признаюсь, у меня есть желание узнать, что у вас там такое, в этой стране. Но видите ли, меня не отпускают мои двести друзей, вон там, на горе. Год назад, я полагаю, вы меня тоже не отпустили бы, а?

Он несколько самодовольно посмотрел на Левшина.

— А теперь — какое вам дело до меня, а? Протестуете? Не согласны? Ну, может быть, я слегка преувеличиваю. Однако в этом есть и правда: Штум сделал свое дело... Во всяком случае, относительно вас, относительно Арктура.

— Относительно Арктура — нет, — сказал Левшин.

— Почему? По-вашему, я должен был заняться выпутыванием Арктура из паутины?

— Одного человека — из Арктура.

— Клебе? Нет? Тогда кого же?

— Он идет рядом.

Штум посмотрел на Гофман.

— Да, да, понимаю... Мне даже приходило на ум. Извините, коллега, я хочу сказать, что понимаю, насколько Арктур мало отвечал вашим.. вашему...

Он что-то забурчал смущенно и сердито. Он шел между ними, стараясь шагать в ногу то с Левшиным, то с Гофман, не попадая ни с кем, раскачиваясь и поводя плечами. Он был недоволен своим многословием и, так как видел, что от него чего-то ждут, еще больше хмурился. Вдруг он мягко и даже с некоторой галантностью взял Левшина и Гофман под руки.

— Если я правильно понял, — сказал он Левшину, — вы остались довольны врачеванием фрейлейн доктор и рекомендуете ее мне ассистентом, а?

У него дергались усы, он неуклюже поталкивал плечами то правого, то левого спутника, сбиваясь с ноги, и это толканье делало их марш школьнически-юным и смешным.

— Благодарю вас за авторитетную рекомендацию, — серьезно сказал Штум. — А вас, молодой коллега, прошу пожаловать ко мне на тору, договориться о будущих занятиях.

Он остановился.

— Я опаздываю, давайте простимся.

Оглядывая Левшина с головы до ног, он сказал:

— Одобряю, — и похлопал его по груди ладонью, как коня, — не плох. Когда вниз? Завтра? Хорошо. Хотите последний совет? В вашем состоянии с болезнью надо обращаться так, чтобы она не догадывалась, что вы о ней помните: она будет считать вас здоровым и не посмеет напасть. А если попытается, — тогда и обнаружится, что вы были все время на-чеку. С ней надо хитрить.

Он подал Левшину руку.

— Ну, что же вы мне скажете?

— Что же сказать? — ответил Левшин, сжав ему руку.

— Ну, ну, не так отчаянно, пустяки какие, — наскоро проговорил Штум, с силой высвободил руку, тряхнул головой и пошел вперед, к городу.

Левшин и Гофман глядели на него, пока он был виден. Он словно увел за собою их мысль, и они не заговаривали.

Ответвление дороги поворачивало к реке, вдоль которой была линейкой вычерчена аллея топольков в деревянных манжетах, и рядом с нею вдаль шествовали чугунные устои электролинии. Берега были гладкие, как края ванны, но дно реки—каменисто, и поверхность чешуилась мелкой волной, будто вода рвалась всегда против ветра. Но звонкий непрекращающийся плеск реки не разрушал, а дополнял тишину особой стороной, противоположной той, какую составлял безмолвный крестьянский дом на повороте дороги. С приближением к реке слух привыкал к ее шуму, но еще полнее наслаждался все покрывавшим молчаливым спокойствием долины.

Гофман и Левшин сели на скамью, лицом к реке. На деревьях едва набухали почки, но по неровностям луга, обращенным к солнцу, уже выбилась трава, такой необоримой яркости, что ее зелень словно отвергала закатные оттенки. Единственным внешним движением перед глазами был горный полет реки, и они следили за ним молча. В волнах роились неисчислимые краски, вода старалась поглотить их и не могла, и выбрасывала наружу только-что исчезнувшие в ней цвета, и опять ненасытно глотала их. Но все это пестрое мельканье было подчинено одному могущественному тону — сложному и такому простому тону заката.

Когда они поднялись, чтобы идти, им захотелось побыть вплотную около воды, вечно притягивающей к себе человека. Они стояли на самом краю берега, наклонив головы. Весна иногда проносила по реке оторванную ветку дерева, клоч вымытой из водоворота, сбитой до желтизны пены. Нырря и крутятся, проплыл потерпевший крушение игрушечный ботинок, таща на снастях изломан-

ную мачту. Они долго смотрели ему вслед.

Их путь отмечали деревья и высившиеся тяжелые опоры высоковольтной передачи. Сначала Левшин проходил мимо столбов, не замечая, потом стал поднимать на них голову, потом остановился разглядеть фарфоровые изоляторы с подвешенными к ним проводами. Его любопытство показалось Гофман забавным.

— Неужели не страшно стоять под таким столбом? — спросила она.

Он не понял ее. Она показала на вывеску с устрашающей зигзаговидной стрелой и надписью: «О п а с н о д л я ж и з н и!».

То, что она смеялась, обрадовало его, он обнял ее за плечи, и они пошли дальше, медленным, слитным шагом, как люди, которым не хочется, чтобы путь кончался.

И вот, выходя из аллеи, они увидели

на ближайшей дороге высокую, сутуловатую фигуру, направляющуюся в город.

— Майор, — сказали они сразу, и стали за дерево.

Майор был в теплых ботах, в широком шарфе поверх пальто, с палкой. Он шел невозмутимо ровно, но в походке его было как будто больше усталости, чем раньше, и, пожалуй, больше грусти.

Они взглянули друг на друга, чуть-чуть улыбувшись, понимая, что это проходил мимо них сам Давос, прощаясь с Левшиным, напоминая о себе, как вечность.

Они дали ему скрыться и затем сами вошли в город, когда на балконах начали зажигаться огни.

— И это было наше прощание, — сказала она.

— До будущей встречи, — сказал он.

— До будущей встречи, — повторила она, немного помолчав.

П И С Ь М О

А. ТВАРДОВСКИЙ



Здравствуй, милая мама,
Шлю, родная, привет
Самый пламенный, самый,
Самый — слов даже нет!

Мама, честное слово,
Ты б хоть раз поняла:
Я жива, я здорова,
Я — какая была.

Впрочем, та ли, другая, —
Разберешься сама.
Я как-раз отдыхаю,
Добралась до письма.

Тихо, тихо в землянке,
Чуть почувствуешь тут,
Как тяжелые танки
По дороге пройдут.

Столик — ящик на ящик,
Вата, бинт — под рукой,
Вот и весь, на образчик,
Мой приемный покой.

На печурке кирпичной —
Круглосуточный чай.
Все обычно, привычно
И — живи, не скучай.

Знаешь, милая мама...
Нет, послушай сперва,
Не девчонки упрямой —
Это друга слова.

В пережитых тревогах
Мой порыв не ослаб.
Я работаю много,
Но и больше могла б.

Я в пути возмужала,
Был нелегок он, путь.
Стала крепче, пожалуй,
И постарше чуть-чуть.

Нынче все ничего мне,
А бывало — нет сил.
Первый раненый, помню,
Мне воды подносил...

Я вздохнуть избегаю, —
Это можно потом, —
Я ведь врач, дорогая,
И военный притом.

А когда перевязка
Затяжная идет, —
Тут и ласка, и сказка,
Тут и присказка в ход.

Тут поможешь и взглядом,
 Выраженьем лица...
 Но какая награда —
 Снова встретить бойца.

Вот он вылечил руку,
 Возвращается в бой.
 Как с товарищем-другом,
 Говорит он с тобой.

И тебе той рукою
 Руку жмет человек,
 И — «спасибо!» такое,
 Что запомнишь навек.

Тут секунда, другая, —
 И в карман, за платком,
 Хоть и врач, дорогая,
 И военный притом.

Но какие все люди
 И какие друзья!
 Пусть же памятна будет
 Им хоть ласка твоя...

Видишь, милая мама,
 Поняла б ты хоть раз.
 Только ты ведь упряма, —
 Вся в меня задалась.

Я останусь. Так нужно,
 Так мне лучше самой.
 Наша старая дружба
 Неразрывна с тобой»

И над стопкой тетрадок,
 Как из школы придешь,
 Плакать, мама, не надо, —
 Будет сон нехорош.

Выпей чашечку чаю,
 Я уж выпила тут.
 И кончаю, кончаю,
 Там больного несут.

До свидания, мама,
 Не грусти от письма.
 Шлю привет тебе самый,
 Самый—знаешь сама...



Дорога на Запад

ВЛ. ЛИДИН

★

ЛЕС

Батальон в походном порядке завершил переход и остановился на отдых в дубовом лесу. Лес был уже жестко опален осенью, и с верхушек деревьев летели лайковые, винно-перепревающие в лесной тени листья. Лесные угодья принадлежали графу Сигизмунду Красинскому, дубовые и букковые массивы, в которых без единой червоточинки и сухостоя, прочищенные графскими лесниками, стояли колоннами могучие буки и дубы. Это был строевой лес, деревья, предназначенные для постройки домов, просторного и надежного крова для человека.

Осень гнала сумерки на лесную поляну, над кройками деревьев лежало мутное небо. Подъехали походные кухни, всю дорогу гремевшие позади батальона, и по-домашнему, низом, цепляясь за кусты, пополз пахучий дымок.

Командир батальона капитан Иванов, привыкший вникать во все мелочи, отправился сам проверять сторожевые посты. Это был маленький, плотный человек, бывший шахтер, с синими ввешшимися порошинками угля, закапавшими его щеки и лоб, и туго крестнакрест перетянутый ремнями портупей. Лес хорошо пахнул осенью, из ложинок тянуло грибным тонким запахом, все это напоминало родные владимирские места и какие-то забытые подробности детства. На повороте дороги его нагнал лейтенант Еремеев из головного дозора.

Его молодое лицо от быстрого хода было розово, и капитан посмотрел на отстегнутый ремешок кобуры.

— В чем дело, товарищ лейтенант? — спросил он недовольно. — У вас расстегнута кобура, так можно потерять пистолет.

— Товарищ капитан, в лесу находятся люди, — сказал Еремеев, волнуясь. — Вас срочно по этому поводу хочет видеть лесник.

— Все эти лесники да осадники дают приют офицерам, — сказал капитан. — Где этот лесник?

И лейтенант повел его к месту, где дожидался лесник. Лесник, рослый, сильный человек, в оранжевом коротком полушубке и сапогах офицерского образца с высокими задниками, нетерпеливо вышагивал вдоль опушки деляны. Он сразу пошел навстречу капитану и остановился перед ним по-военному.

— Товарищ командир, — сказал он нестеснительно. — В лесу происходит безобразие... крестьяне без всякого разрешения пилат деревья и увозят с собой. Я прошу дать людей, чтобы прекратить это самоуправие.

Капитан помолчал и оглядел оранжевый полушубок с оторочкой из черного меха и высокий ватный картуз лесника.

— Вы — лесник? — спросил он затем.

— Так, — ответил тот, слегка кланяясь.

— А чей это лес?

— Лес графа Красинского, — ответил тот с прежним полупоклоном.

— Значит, вы графский лесник?

— Что значит — графский? Лесник есть лесник. Лес есть народное достояние... может быть, не так?

Теперь он оглядывал маленького, приземистого капитана с синими порошинками угля на лице.

— Нет, именно так, — сказал капитан не сразу. — А сколько этого самого леса было у графа Красинского?

— Шесть тысяч десятин, — сказал лесник с достоинством. — Это строевой лес... его через порт Гдыню доставляют в Англию.

— Так, так, — сказал капитан. — Значит, лес настоящий... англичане плохого леса не любят. Ну, где они тут, ваши нарушители?

И он колобком, с тяжелой кобурой, стучающей его по ляжке, засунув руки в карманы шинели, покатился следом за лесником. Буки и дубы стояли прямо, с могучими стволами, подпирающими кронами осеннее небо, большим и предназначенным для человека богатством. Все было чисто и как бы подметено в этом графском лесу, и птицы, не боящиеся западной осени, еще не все улетели. Тонко тенькали синицы, точно постукивали стеклянными молоточками, и опять все это напомнило Иванову сиротское детство, владимирские леса и мужицкую нищету, которую сам он, шестой в семье, испытал в полную меру. Так привел его лесник к месту, где крестьяне пилили деревья. Огромные стволы, несколько десятков деревьев, уже лежали на земле, и теперь люди срубали мешавшие сучья.

— Вот, — сказал лесник. — Можно увидеть все их самоуправие.

Оранжевый полушубок на нем горел, нога в ладном высоком сапоге была отставлена. Крестьяне бросили рубить сучья и стояли растерянно, держа шапки в руках. На их худых лицах был страх, и капитан увидел, что многие из людей, несмотря на позднюю осень,

босы. Они держались поодаль и не смели приблизиться.

— Что же вы, ребята, так, без спросу, и пилите... — сказал он затем. — У вас есть теперь крестьянский комитет, он дает наряды на лес и дрова.

— Так, — сказал лесник торжествуяще, — а я прошу спросить, какой у них есть наряд?

— А так, ребята, не годится, — продолжал капитан, не вынимая рук из карманов шинели. — Если каждый будет пилить деревья, у вас лесов не останется. А леса нужны будут вам же самим. Вы что же, строиться, что ли, хотите? — спросил он еще. — Вам разве граф Красинский заходить в лес запрещал? Может быть, за каждую хворостинку вас сажали в тюрьму? Может быть, ваши жены и дети не смели в графском лесу собирать ягоды и грибы?

Некоторые деревья были уже, положены на колымажки, крестьяне ожидали, что их велют сваливать. Потом капитан сел на бревно, и крестьяне рассказали командиру, что услышали теперь, будто все стало общим и леса и земли отошли от помещиков народу, и вот собрались они спилить немного деревьев в графском лесу, чтобы подправить жилища и построить новые тем, кто никакого дома не имел вовсе. Капитан слушал их; курил и рбздal из кожаного своего портсигара все папиросы.

— Все-таки, ребята, делать так не годится... лес — народное достояние, и его надо беречь, — сказал он строго. — Товарищ лейтенант, приведите-ка сюда человек десять-пятнадцать бойцов, — приказал он затем Еремееву.

— Так, — сказал лесник. — Всякое самоуправие должно быть наказано. Велите им свалить деревья, которые они уже собрались везти. Может быть, немножко рано строить из экспортного леса мужицкие дома?

Но капитан ничего не ответил. Он сидел на бревне и курил, и поодаль стояли крестьяне, которые после десятков лет нищеты пошли рубить лес, в

который не смели заходить. Вскоре лейтенант Еремеев вернулся с пятнадцатью красноармейцами.

— Вот что, товарищи, — сказал капитан, — надо помочь крестьянам свалить немного деревьев, сколько им нужно для постройки домов. Конечно, с нарским достоинством так поступать не годится... но этого праздника они ожидали столько лет, что грех было бы им на первый раз не помочь. А что касается графа Красинского, — сказал он затем леснику, — то отправлять лес в Англию ему уже не придется... так что нечего особенно ему этот лес и жалеть.

Потом красноармейцы принялись за работу. Они помогли крестьянам спилить несколько десятков деревьев, очистили их от сучьев и свалили на ко-

лымажки. Осень уже низко несла облака, надо было выбираться из леса. Скоро закрипели колеса, и будущие крестьянские дома поплыли из заповедника графа Красинского. Это были могучие стволы, такие же самые, какие отправляли через порт Гдыню в Англию. Капитан Иванов на месте привала батальона услышал скрип колымажек и сказал комиссару батальона политруку Михайлову:

— Пускай построят дома да пошире... по крайней мере, будут помнить Красную Армию.

Он лег в стороне, на ворох виннопахнущих листьев, и скоро лесной сон из самой глубины детства, из прошлого, — сон, от которого радостно и без причины колотится сердце, — налетел на него.



ДОРОГА НА ТРАБЫ

Мы потеряли дорогу на Трабы. Впереди, смягченные близостью сумерек, уходили холмы, сбоку, до солнечной яркости затепленный осенью, тянулся буковый лес. В нашем «шевроле», нервной машине с помятыми крыльями, бывшем варшавском такси, еще сохранились дощечка «drożka samochodowa» и счетчик, нащелкивавший фантастическое количество золотых. Машину эту ее бывший шофер угнал из самой Варшавы, и она досталась нам, как трофей, вместе с просаленной куковской картой Европы, двумя нераспечатанными банками с консервами и форменной фуражкой с прямым козырьком шофера варшавского такси.

Мы истратили добрую половину бензина, дважды завязши по дороге на Мир, и отстали от мехчasti, где могли бы заправиться. На нашей двухверстке, с подчеркнутыми красным карандашом основными дорогами, были указаны четыре дороги на Трабы. Мы выбрали ближнюю объездную дорогу, и она привела нас сначала в лесок, густо черневший невылазно грязью, затем к заболоченным местам, неверно зеленым слишком свежей травой.

— Приехали, — сердито сказал шофер Володя Речной и пошел пробовать ногами дорогу.

Скоро мы увидели, как он запрыгал по кочкам. Дороги впереди не было. Володя Речной только три дня назад вывез нас из-под пулеметов на шоссе вблизи Гродно, — весь кузов машины на уровне наших голов был пробит пулеметной очередью. Буковый лес сбоку быстро темнел, и нам не очень хотелось встретиться снова с какой-нибудь бандой. Мы разложили на коленях нашу склеенную карту и снова стали изучать путь. Показатель бензина стоял почти на ноле, к ночи нужно было добраться до Траб. Потом Володя вернулся к машине.

— Дороги впереди нет, — сказал он коротко и сел на свое шоферское место.

Мы не поехали в свое время, как он предлагал, и теперь он предоставлял нам разобраться по карте. От заболоченного места тонкой красной чертой была показана грунтовая дорога. Четыре дня подряд шли дожди, и мы болясь грунтовых дорог, кочковатых лугов, лугов мокрых, лугов мокрых с ку-

стами и рек, пересыхающих или идущих по болоту, как это в изобилии было показано в разделе условных знаков на карте.

— Бензину, товарищи, хватит километров на десять-пятнадцать, — сказал Володя, не поворачиваясь. — Так что или ехать, или ночевать здесь в лесу.

Затем он снова вылез из машины, поднял сиденье и достал две хранившиеся вместе с инструментом и похожие на кедровые шишки гранаты. Мы решили пробираться грунтовой дорогой. Заря уже померкла, и медный отблеск еще холодно стыл на полях. Посеял дожидчик. Буковый лес неприятно наполнился тенями. Мы ввели патроны в стволы пистолетов.

— Нет, интересно все-таки знать, зачем вы подняли воротник шинели, когда нас хватили из пулеметов? — спросил Володя фотокорреспондента Ивашина. — Думали, что пуля, может, мягче войдет?

— Кати, кати, — ответил тот неодобрительно.

Буковый лес напоминал ему лес вблизи местечка Острина где нас нехорошо обстреляли из двух пулеметов, и он косился на быстро темневшие стволы. Дорога была жидкой, машину бросало.

— Бензин на ноле, скоро встанем, — успокоительно сообщил нам Володя.

Медный блеск на полях гаснул, в лощинах появился туман. Внезапно Володя затормозил, и машину едва не занесло в придорожный овражек. Володя быстро открыл дверку и побежал куда-то вперед по дороге. В тишине стало слышно, как шумит своими кронами лес, о крышу машины стучал дожидчик. Потом Володя, запыхавшись, вернулся назад. В его руке был промокший, порывевший от грязи номер газеты.

— «Правда»! — сказал он. — Номер «Правды».

Мы осторожно развернули газету. Это был номер, напечатанный только три дня назад и потерянный кем-то на глухой этой дороге. Какая-то из наших частей прошла уже здесь, дорога

была проезжей, путь был надежен. Наш «шевроле» взвыл на первой скорости, буксуя колесами. Счетчик стал отщелкивать новые километры.

— Нет, почему все-таки вы подняли тогда воротник шинели, товарищ Ивашин? — спросил Володя, повеселев. — Завтра на пруду буду учить вас бросать ручные гранаты.

Буковый лес остался в стороне. Дорога шла лугом. На коленях у нас просыхала газета.

— Читай передовую вслух, — сказал капитан Комаров, работавший корреспондентом военной газеты. — Я посвечу тебе фонариком.

Мы держали номер газеты в руках, и теперь она заменяла нам карту. Скоро за покатостью поля показались огни. Они были еще редки и мигали, как бы задуваемые ветром. Володя гнал по дороге. Машина по самые окна была залеплена грязью.

— Шестьсот сорок золотых на счетчике, — сказал Ивашин довольно. — Кто будет платить?

— Президент Мосъцицкий оплатит... у него и без этого много расходов, — ответил Володя.

Мы проскочили через пустынный железнодорожный переезд и увидели нашу мехчасть и цистерну, расположившиеся на ночлег вблизи Траб. Мы вылезли из машины, теперь похожей от грязи на гигантский бугор, направились к начальнику части в кожаном шлеме и синем комбинезоне и рассказали ему о том, как потеряли дорогу и как нашли номер «Правды», вероятно, потерянный кем-нибудь из его людей.

— «Правда» — она вывезет! — сказал он, засмеявшись, и велел налить из цистерны полный бак нашей машины.

Мы поспорили между собой, кому сохранить номер «Правды», и разыграли его на узелки.

— Я так и знал, что номер достанется мне, — сказал капитан Комаров. — Я сохраню его на память вместе с этим.

И он снял свою заломленную лихую фуражечку, пробитую пулей близ местечка Острина.

В ИМЕНИИ ЛОХВИЦА

Помещик Лохвиц бежал за два часа до прихода головных частей кавдивизии. Ключи от запертого дома были отданы им садовнику, человеку пожилому и поверенному во многих делах. В парке осень лениво стряхивала листья с деревьев, и одиноко и растерянно, по временам судорожно расправляя хвост, как цветистый экран, ходил павлин. Кавалеристы привязали коней в гуще парка и замаскировали коновязи еловыми ветками. Над конюшнями Лохвица, откуда за несколько часов до прихода наших частей угнали всех лошадей, вертелся жестяной красный конь с круто выгнутой шеей. Вокруг дома и на куртинах доцветали цветы. Над парком, на далекой высоте, еле видимый, кружился неприятельский разведчик.

Садовник, заросший седой щетиной, безмолвный и с потухшим взглядом человек, вручил нам пятикилограммовую связку ключей. Тут были ключи с вершковыми бородачками и маленькие хитроумные ключики от шифоньерок и шкафчиков. Четыре колонны подпирали капиталь над входом в дом Лохвица. Дворянский герб — щит и лев с лицом престарелого прожигателя жизни — указывали на родовитость убежавшего на малолитражке владельца. В маленьком стеклянном вестибюле-фонарике нежно пахло лиловыми деревьями и стояли зеленые кадочки с рододендронами. Мы открыли самым бородастым ключом главную дверь и вошли в дом, из которого только несколько часов назад убежали владельцы. Все было брошено наспех и еще дышало людьми. Ящики письменного стола были выдвинуты, и в них грудями валялись счета, любительские фотографии, каталоги семян, пачки николаевских денег, пыжи и гильзы, красные и голубые обломки сургуча и документы. На зеленом поле огромного биллиарда в проходной комнате в недоигранной «пирамидке» белели шары. В спальне пахло духами, интимным теплом, и в выдвинутых ящиках комодов и шкафчиков, откуда наспех распахивалось по чеходам белье, валялись колодки для обуви, старые перчатки,

мужские ношенные галстуки, стоячие воротнички, лезвия для безопасной бритвы, пустые флаконы из-под духов и открытки с видами Парижа и французской Ривьеры...

Фотокорреспонденту Ивашину больше всего понравилась ванная. Здесь было темно, текла вода, и он мог сразу проявить четыре снятые катушки.

— Ну, вот мы здесь и расположиться, друг, — сказал капитан Комаров садовнику. — Нельзя ли будет купить у вас немного молока и яиц... а то наши обозы еще не подоспели.

— Ничего нема, — ответил садовник. — Ни молока, ни яиц.

Он смотрел мимо нас на пол, в желтом глянце которого слабо догорал день осени.

— Ну, как же так нема... такое большое имение. Ведь был же у помещика Лохвица скот, — сказал нетерпеливо капитан Комаров. — К тому же, не может быть, чтобы не было птицы... у вас даже павлин гуляет по парку.

— Павлин яиц не несет, — ответил садовник кротко. — А птицу и коров разобрали крестьяне. Тут ваши стрельцы, между прочим, привязали к деревьям коней... конь может обжесть кору, испортить дерево.

Он стоял безучастный, с седоватой щетиной на подбородке, и утомленно смотрел перед собой. Большие руки с узловатыми пальцами и двумя прищелканными голубыми ногтями висели слегка наперед. Нам надо было спешно доставить в армейскую газету корреспонденции, и Ивашин уже колдовал над своими снимками в ванной.

— Ну, хорошо, — сказал, сердясь, Комаров, — принесите тогда лампу. нам нужно работать. Почему не горит электричество? — И он несколько раз пощелкал выключателем.

— Машина не работает, нефти¹ нема... керосину тоже нема, лампу нечем налить, — ответил садовник.

Лицо у него было скучное, и он дожидался, когда его отпустят наконец. У фотокорреспондента Ивашина, вместе с

¹ Нефть.

баками для промывки, химикалиями и запасами пленки, нашлась в вещевом мешке свеча, и мы стали готовиться к ночлегу в доме. Мы поделали помещицью кровать под альковом, — ложе аллегорической ширины, нечто от Авроры и мифологии, — чтобы расположиться на ней поперек. День, затеяемый деревьями парка, скупо гас за окном. Павлин, стоя на одной ноге, дремал посреди куртины и по временам вздрагивал. Кавалеристы несли лошадям охалки сена. Два младших политрука из армейской газеты уже скрипели перьями на подоконнике. В вещевом мешке у Ивашина нашлась еще зачерствелая булка, большой кусок сыра и несколько яблок, купленных им у крестьян по дороге: он был запасливым фотографом. Мы разложили все это на ломберном столике и приготовились к ужину. Наша свеча слабо мигала в помещицьем доме. В синей темноте траурно белели на биллиарде шары.

— А все-таки я пойду пошурю, — сказал упрямо капитан Комаров. — Не может быть, чтобы в таком большом имени не нашлось молока или десятка яиц!

Мы прошли вместе с ним через синеналитые сумерками комнаты, и опять в вестибюле-фонарике нежнейше пахнуло лимонами и какими-то व्यющимися на трельяже растениями. Парк был темен, между деревьями лошади мерно дожевывали заданный корм. Над конюшнями на фоне темного неба вращался жестяной красный конь. Возле открытых ворот гаража еще виден был свежий след автомобильных шин.

— А и гнул же, наверное, в дугу свою челядь этот Лохвиц... — усмехнулся, покачав головой, Комаров. — У него воротнички высотой в три вершка!

За гаражом и конюшнями тянулись длинные здания служб. Все было темно и здесь, ни один огонек не горел в окнах. Мы спустились по ступенькам и пошли коридором, по обе стороны которого висели на дверях кладовок замки. В самой глубине, откуда пахло жильем, натянувши одеяла и полушубки на головы, спало три человека. Сверчок ожесточенно скрипел в стене. Один из спав-

ших проснулся и испуганно поднял лохматую голову.

— Кто вы такие? — спросил его Комаров.

— Хлопы пана Лохвица, — ответил тот, сбрасывая ноги с постели, — тут только хлопы...

— Что такое — хлопы.. батраки, что ли, попросту?

— Так, — подтвердил человек. — Батраки.

Мой карманный фонарик с иссякающей батарейкой едва освещал грубые деревянные кровати и побеленные стены с дешевым образком божьей матери. Комаров не стал будить остальных, и мы пошли дальше искать садовника. Теплый стойкий запах парного молока еще стоял на пустом скотном дворе.

— А все-таки этого садовника я за жабры возьму, — пробормотал Комаров. — Кто едет на войну с таким паршивым фонариком?

Аллеи были темны, одна колючая звезда стояла над лужайкой перед домом. В темноте кавалеристы седлали коней: часть снималась с привала и двигалась дальше. На месте недавних коновязей едко пахло потниками.

— Постой, постой... — сказал вдруг Комаров. — Ну, так и есть, это он!

По аллейке, обсаженной жимолостью и бульденежами, таща перед собой за обе ручки длинный, похожий на артиллерийский снаряд, жбан с молоком, тяжело шел садовник. Он с трудом выгребал ноги из песка и свистел бронхами. Потом он обошел угол дома и медленно, нащупывая ступеньки ногами, стал спускаться в подвал. Это было помещение во всю длину дома, с грубой кладкой стен, служивших фундаментом. Фонарик мой действительно оказался паршивым.

— Да тут целый зоологический сад... погляди-ка! — и Комаров пригнул меня к щели меж досок переборки. На всех выступах стен и на балках перекрытий сидели куры. Посредине, к деревянному корыту, в которое садовник выливал теперь молоко, лезло несколько свиней с поросятами. В стороне гоготали неодобрительно гуси.

— Ах, сучий сын, — сказал Комаров задумчиво. — Надеется, что завтра нас отсюда попрут!

Мы поудивлялись усердию, с каким тащил тот для свиней тяжелый жбан с молоком, и выбрались наверх, в тишину парка. К одинокой звезде над лужайкой прибавилось еще несколько. В доме, под альковом, на широкой помещицкой постели уже спало трое из нашей бригады, и Ивашин сушил над свечой свои проявленные пленки.

— Завтра сниму на память этот дом, — сказал он довольно. — Интересно будет вспомнить впоследствии.

В столовой у помещика пробили часы: завод еще действовал, было одиннадцать вечера. Комаров, не мигая, смотрел на свечу. Потом он взял у меня мой карманный фонарик и ушел куда-то в темноту. Он был боевой пехотный капитан, и в голрву ему приходили всякие неожиданные мысли. Под альковом за спиной политрука Васильева осталось еще место для одного человека: мифологическое ложе походило на облако. Я сел поближе к свече, чтобы подробнее записать впечатления дня. Двое дежурных ходили из одной темной комнаты

в другую, скрипя половицами. Часы в столовой отзванивали на четвертях.

— Вы еще не спите? — сказал вдруг Комаров, появившись. — Ну, так и быть, впишите в вашу корреспонденцию про имение Лохвица. Я только-что разбудил батраков и сказал, чтобы они пошли в подвал делить птицу. Птица сейчас спит, и ее можно без шума разнести по домам. А крупный скот поделит между ними крестьянский комитет, который должны они выбрать.

Потом он впервые за трое суток снял шинель и ушел мыться в ванную Лохвица.

— Сними-ка мне на память этого хрена, садовника, — сказал он еще Ивашину оттуда, смеясь. — Я сказал батракам, что это он для их удобства стащил птицу в подвал! — Он вышел из ванной, вытирая на ходу свою крепкую шею, и ревниво покосился на мой дневник. — Ну, если вы не начали писать, то я сам напишу... все-таки заявка моя.

Он хозяйственно разложил все свои тетради, карандаши и конверты и стал обдумывать корреспонденцию про имение Лохвица.

★

ИВАН ПАРФЕНЮК

Иван Парфенюк работал приставом в городе Слониме. Полицейское управление помещалось в стороне от главной улицы, на слупке к реке, впадавшей неподалеку от города в Неман. Все знали пристава, его рыжеватые большие усы, глаза навывкате и неторопливость, с которой обходил он городской базар. Евреи-торговцы снимали с голов картузы и стояли с непокрытыми головами, пока пристав проходил по базару. Он шел неспеша, засунув руки в карманы своей серой шинели, и обнюхивал птиц. Птицы были подвешены у входа в лавки, и с мертвых гусиных, индюшачьих и куриных голов на подрезанных острым ножиком по ритуалу шеях еще капала кровь. Пристав снимал иногда птицу, которая почему-либо казалась не-

свежей, сгибал ее могучей рукой в дугу и нюхал задок, откуда явственнее можно было услышать запах. Штраф ходили платить в управление. Скучающий письмоводитель, исполнявший при полицейском участке фискальную должность, долго смотрел перо на свет и снимал с него волосок, прежде чем написать штраф. Это значило, что сумму штрафа должен определить сам виновный. Если тот ошибался, его вели к приставу. Пристав сидел в кресле за столом, широкой спиной в ремнях португалии к посетителю. Его шея в трех поперечных складках на затылке свисала над тугим воротником сюртука.

— Торговать тухлой птицей? — говорил Парфенюк, не поворачиваясь. — Вышлю из города!

— Ну, как, надумали? — спрашивал виновного, затем письмоводитель и выписывал штраф.

Когда город Слоним из бывшего русского города в Западном крае стал польским, Парфенюка вызвал к себе Станислав Млодзик. Станислав Млодзик, бывший инспектор женской гимназии, был назначен вице-президентом города Слонима и сидел теперь в кабинете президента под портретом Пилсудского. На Млодзике был черный сюртук с шелковыми отворотами, высокий крахмальный воротничок и черный галстук, как этого требовало достоинство головы города. Он хорошо знал Парфенюка и предложил ему сесть в кресло сбоку стола.

— Я прочитал ваше прошение, господин Парфенюк, — сказал затем он ему. — Никто не говорит, польские власти не имеют никаких причин быть недовольными вами. Но вы разумеете сами, что полициантами в польском государстве отныне могут быть только поляки.

Иван Парфенюк молча слушал его и смотрел на большие перламутровые ногти Млодзика, на крахмальный воротничок, подпиравший обвисшие складки его щек, и на разрезальный нож, которым тот играл над столом.

— Почему бы вам не заняться другим делом, господин Парфенюк? — сказал еще Млодзик любезно. — Почему бы вам, например, не открыть ресторацию? Я слышал в свое время, что вы хорошо понимаете толк в этом деле. Я, как видите, тоже имел прежде другую профессию. Здесь ничего не поделаешь — это история.

И он сделал движение рукой, означавшее неизбежность подчинения судьбе. Иван Парфенюк сидел перед ним в кресле, грузный, постаревший, в штатском пиджаке, который был тесен подмышками; рыжие большие усы топорщились, в глазах навывкате появилось много красных жилок.

— Наняли бы вы себе хорошего кухаржа¹, люди в нашем городе, слава богу, вас знают... можно сделать себе хорошее реноме.

Млодзик говорил с ним доверительно и по временам полировал свои большие твердые ногти о рукав сюртука. За окном была видна кирпичная стена в листьях вьющегося винограда, и у открытых ворот гаража стоял новенький вишневого цвета автомобиль вице-президента города Слонима. Иван Парфенюк тяжело вздохнул, с трудом оторвал приставшее к нему с боков кресло и пожал тощую, с оранжевой камеей на указательном пальце, руку Млодзика.

Ресторация, которую открыл Парфенюк, называлась «Версаль». Он открыл ее в другом, ближнем городе, потому что в Слониме ему было трудно жить из-за воспоминаний. Над входом в ресторан «Версаль» загорался и потухал круглый электрический фонарь, и на стеклянной двери висело криво написанное чернильным карандашом меню обеда на сегодняшний день. В городе были другие рестораны: «У Рица», «Złota Kuchawka»¹, «Варшава», и солидные люди, минуя мигающий фонарь Парфенюка, ходили в эти рестораны проводить время и слушать музыку. Меню, написанное чернильным карандашом, не внушало доверия. Мало ли какой падалью могут накормить во всех этих кнайпах и кухмистерских! Но круглый фонарь над входом мигал, и неизвестно, кто был посетителем этой полутемной, во втором этаже, ресторации, — какой-нибудь отчаявшийся холостяк или приезжий коммивояжер... Впрочем, жители города скоро хорошо узнали хозяина ресторации. Он ходил теперь в котелке, опираясь на толстую палку, высокий, тучный, с рыжими большими усами, слегка уже подпаленными сединой. Узкие щелки его глаз запали в нездоровых желтоватых щеках, белки были с красноватым отливом. Подросток-кельнерок тащил иногда следом за ним с базара корзину. Это был тощий шестнадцатилетний парнишка, в узеньком перешитом пальтеце и в каскетке с большим лакированным козырьком. Парфенюк шел впереди и стучал палкой по тротуару. Потом они скрывались в подъезде ресторана «Версаль». В четвертом

¹ Повар.

¹ «Золотая кукушка».

часу, в начале сумерек, уже зажигался фонарь и непотребно до самой глубокой ночи мигал над входом. Потом фонарь потухал, и ресторация погружалась во тьму.

Ударная танковая группа первой вошла через западную и восточную заставы в город и заняла электрическую станцию, телеграф и вокзал. Еще час спустя в город вошли моторизованные части, затем головные отряды кавалерийской дивизии. На пожарной каланче и на крыше воеводства, самых высоких зданиях в городе, были подняты красные флаги. Ночью подошли еще штабы и пехота, и уже через день в ресторане «У Рица» рядом с польской надписью появилась русская: «Обеды и ужины», в окнах кофеен забелели плакаты: «Чай, кофе», и даже солидная фирма Лейбовича рядом с вывеской «Гузики» поместила русское наименование «Пуговицы». Город, который двадцать лет назад сделали польским, стал снова русским городом. Потом вывесили русские надписи рестораны «Złota Kuchawka», «Варшава», кофейня «Плац Ягеллонова», часовщики, портные, сапожники и даже акушерка Стася Приклоньская... Позднее, чем у остальных, где-то сбоку, как неохотное признание, появилась русская надпись на ресторане «Версаль»: «Ресторан. Владелец Жан Парфенюк». Впрочем, упорно и как бы наперекор истории, в меню значились «фляки». Тощий кельнерок прошмыгивал теперь один на базар за провизией. На улицах вместе с обычной толпой уже гуляли кубанцы в алых башлыках, и в типографии, где свыше пятнадцати лет печаталась газета «Dziennik poranny», печаталась теперь газета «Советское слово».

Сотрудника армейской газеты младшего политрука Смирнова привлекли в меню «фляки». Фляки — это рубцы, требушина, а он с детства вычитал где-то у Диккенса, что самым любимым блюдом рабочих лондонских доков были рубцы. Он открыл стеклянную дверь ресторана «Версаль» и поднялся по грязной, темной лестнице мимо модистки «Мадам Бойкачевская» наверх. Огня

еще не зажигали, грязный свет сумерек едва проникал сквозь непромытые стекла. Кельнерок, несший груду тарелок, испуганно налетел в темноте на Смирнова.

— Послушайте, молодой человек, — сказал тот ему. — Где у вас пообедать?

Он снял шинель, поправил перед тусклым зеркалом волосы и прошел вслед за кельнером в глубину коридора. В комнате стоял стол, покрытый липкой клеенкой, и рядом была клеенчатая тахта и тощий фикус в горшке. Больше в комнате ничего не было. За окном уходила в высоту мокрая покатая крыша соседнего здания. Кусочек серого неба был виден в верхней половине окна. Смирнов сел за стол и прочитал меню. В меню значилось только: 1. Суп. 2. Фляки. Цена 2, 75 злотых.

— Ну, ладно, давайте суп и фляки, — сказал он кельнеру.

Тот стоял в стороне, с аккуратным проборчиком желтых волос, с синими щеками недоразвитого подростка, в белой курточке, залитой спереди супом, и испуганно и недоуменно смотрел на военного.

— Зараз, — сказал он затем и стал смахивать салфеткой крошки со стола. Он не торопился уйти и дождался дополнительных распоряжений.

— Только поскорей, если можно, — сказал уже нетерпеливо Смирнов. — И нельзя ли электричество зажечь, что ли?

От вида мокрой крыши, круто ушедшей в серое небо, ему стало неудобно.

— Суп один раз? — спросил его кельнерок.

— Ну, разумеется, один... только быстро.

Кельнерок еще раз поглядел на него и ушел за супом. В тишине стало слышно, как стучит дождь о крышу. В соседней комнате сорвался женский смех и сейчас же умолк. Смирнов достал из кармана газету, но в комнате было темно. Вскоре кельнерок принес ему суп. В тарелке с густой желтой жидкостью плавали какие-то хлопья и жилы. Вдобавок кельнерок позабыл подать хлеб.

— Чорт знает что... — сказал вслух Смирнов. — Не суп, а помои... Послушайте, как вас там, позовите хозяина!

Он раздраженно отодвинул тарелку и стал ждать. Никто не приходил, жидкость стыла в тарелке. Он встал из-за стола и вышел в коридор искать кельнера. Электричество все еще не горело. В соседней комнате на низкой тахте сидела парочка. На женщине был гномий капорок. В стороне, двумя ступеньками ниже, была дверь в какое-то служебное помещение или кухню.

— Есть тут кто-нибудь? — спросил Смирнов и толкнул дверь. Тучный усатый мужчина хотел было скрыться в соседнюю комнату.

— Послушайте, — сказал Смирнов ему. — Вы — хозяин? Вы знаете, за такой суп, который у вас подают, у нас в Союзе штрафуют.

— Nic nie rozumiem ¹, — пробормотал человек.

Он тупо смотрел на него глазами навывате, длинные усы его дрожали, руки были прижаты к швам по-военному.

— Небось, своим панам вы такую дрянь подавать не посмели бы... а Красной Армии можно, — сказал еще Смирнов сердито. — Мы вот поговорим насчет вашего ресторана во Временном управлении!

Он повернулся и вышел из кухни. Откуда-то вывернувшийся кельнерок облегченно пытался подать ему шинель.

— Ладно, ладно, не усердствуй... — сказал Смирнов, отнимая у него шинель. — Наверное, дерет с тебя шкуру хозяин?

— Моей вины тут нисколько... — пролепетал тот, пытаясь синими ручками все же надеть на его плечи шинель.

Потом Смирнов вышел на улицу и оглядел еще раз стеклянные двери и круглый мигающий фонарь над входом в «Версаль». На улице были уже сумерки, и на площади Легионов зажглись фонари. В редакции ответственный секретарь Черепанов размечал верстку первой полосы для завтрашнего номера.

— Ты никогда не пробовал фляки, товарищ Черепанов? — спросил его мрачно Смирнов.

— Нет. А что это такое? — ответил тот неудивленно, — работа в газете приучила его не удивляться всяким новым словам.

Смирнов сел за свой стол и достал нарезанные полоски бумаги. Он вел отдел «Боевые эпизоды», и его ожидало уже несколько писем участников.

— Фляки — это рубцы, или, попросту говоря, требуха, — сказал он еще, начиная править заметку младшего командира Гришко, — а филистер — это прямая кишка, набитая благодатью.

— Что с тобой? Ты, наверное, объелся, — сказал Черепанов, старательно подсчитывая количество строк в гранках.

— Вот именно объелся. Я дам тебе адрес. Там тебя могут хорошо накормить фляками. Какой номер телефона председателя Временного управления? Я ему расскажу кое-что на тему о проблеме питания в этом городе.

Он говорил высоким стилем, и это, как всегда, Черепанова тронуло.

— На, ешь булку с сыром, — сказал он, доставая из стола сверток. — В столовой для комсостава всегда свежие булки.

Потом начались вечерние часы, принесли сырой лист первой полосы, внизу, в типографии, начал подвигать пущенный агрегат. Младший командир Гришко писал о доблести правофланговой роты, захватившей в ночном бою станцию Пожечь, булка была действительно свежей, и все впечатления дня отодвинулись. Позднее Смирнова вызвал к себе в кабинет редактор.

— Надо будет, товарищ Смирнов, съездить завтра записать биографию комиссара первого танкового батальона, — сказал он ему. — Давайте прямо с утра, чтобы к вечеру пустить биографию в номер.

Смирнов выехал утром в воинскую часть, отыскал комиссара и вынудил его рассказать свою жизнь. Комиссар считал это делом несостоящим и неохотно рассказывал о себе. Затем Смирнов вер-

¹ Ничего не понимаю.

нулся в город и весь вечер, не выходя из редакции, писал биографию. Он дождался еще, пока принесли сырой оттиск статьи, выправил ее и пошел домой спать. На площади Легионов горели фонари, и на углу улицы Пилсудского мальчишки еще выкрикивали: «Запали, запалки!»¹ и «Юнак!» — папиросы. Он шел неспеша и дышал сырым, свежим воздухом, приятным после ночного воздуха редакции. По улице впереди него человек нес ведро с кистью и расклеивал на стенах и заборах траурные объявления. Смирнов по привычке журналиста любил записывать всякие бытовые подробности, и он остановился прочесть объявление. «Жан Парфенюк, — было напечатано большими погребальными буквами под черным крестом с косою поперечиной, — в телесных терпениях скончался в 6 часов утра сего дня, оставив неутешную вдову и близких делу працовников». Затем следовало указание часа выноса тела и место погребения на русском кладбище.

— Постой, постой... — сказал сам себе вслух Смирнов, — как же была фамилия содержателя ресторана «Версаль»?

Он вспомнил полутемный коридор ресторана, клеенчатую тахту, пыльный фikus и фляки, даму в гномьем капорке и тучного усатого мужчину, у которого дрожали усы, когда он, Смирнов, ругал ресторан... И он не поленился пройти полквартила, чтобы прочесть на дверях ресторана «Версаль» фамилию владельца. Такое же траурное объявление висело возле дверей ресторана, а на самой двери была приклеена бумажка с каллиграфической надписью: «Ресторация закрыта по случаю смерти хозяина». Смирнов шел домой и щелкал пальцами: он считал свое дело журналиста второстепенным, главным было то, что он потихоньку писал рассказы и даже напечатал два из них под фамилией С. Смирнов-Обояньский, присоединив название города, в котором родился.

Утром, идя в редакцию, он встретил процессию. Высоко на черном катафал-

ке под куполом стоял гроб с гигантскими останками владельца ресторана «Версаль». Он сразу понял, что это хоронят именно его, потому что среди провожающих женщин под мокрыми зонтами он узнал знакомого кельнеришку. Подняв воротник перешитого пальтеца, с синими щеками и желтым мокрым проборчиком, держа в руке свою каскетку с прямым лакированным козырьком, тот шагал по лужам, провожая хозяина. Это была третья встреча с Иваном Парфенюком, и Смирнов пришел в редакцию в повышенном настроении и сел записывать в стороне в большой синий блокнот. Черепанов, привыкший подсмеиваться над его способностями беллетриста, сказал:

— Товарищ Бальзак, извините, что я отрываю вас от вашего романа. Но редактор приказал, чтобы вы сегодня же выправили все письма бойцов, потому что мы завтра даем их в подборку под одной общей шапкой «Освободители». Так что прошу сделать выводы.

Смирнов дописал все же подробности похорон Парфенюка и описал даже черный катафалк с резным щекастым ангелом на куполе. Кроме того, ему запомнились белые лакированные цилиндры факельщиков с черными розетками. Он выправил корреспонденции одного лейтенанта, затем четырех бойцов и ушел из редакции раньше обычного. Над городом стоял дождевой туман, все было сизо, и в сумраке медленно стонал колокол костела, — была суббота, вечерняя месса. Он подумал о том, как усатый тучный мужчина, которого он видел только два дня назад, лежит в земле русского кладбища, и его потянуло взглянуть еще раз на ресторан «Версаль». Круглый фонарь над входом не мигал, все было темно, и у дверей с поднятым воротником пальтеца стоял знакомый кельнерок и глядел на мокрые камни мостовой. Смирнов подумал о том, что тот остался без должности, и решил подойти и обнадежить парнишку.

— Это ваш хозяин умер? — спросил он его, указывая на приклеенное к стеклу извещение. — Ничего, мы тут такие рестораны настроим...

¹ Спички.

— Здехло быдло, — ответил тот вдруг, — полициант пшекленты.. яка то ресторация, то ж дом ночлеговой. Тут не флаки, а девку треба гостю просить. Я ж смотрю, вы себе без панейки заходите, чего вам треба? — Он узнал в Смирнове недавнего посетителя, и теперь ему донельзя нужен был собеседник. — Як пришли в город червонны конники, он, гнида, целую ночь по покою ходил... ой, сгибло все, и за голову держится. — И кельнерок раздул щеки и показал, как тот держался за голову. — То ж дом для рандки¹, а для рандки какая девка была, ту всю теперь на работу пошлют альбо до вислания. Давай, говорит кухаржу, обеды готовить... може, ресторацию допоки не тронут. А тот кухарж воловину самое падло берет. Ну, мысля, скажут тебе червонные командиры доброе слово за ту падлину. — Он поправил каскетку с прямым козырьком и стад смеяться. — Тут один командир господажа² до себя требует, другой тоже требует... а он с кухни не выходит, тьлько за сердце держится. Ой, мысля, сгинешь, радзецкой властью подавишься, полициант, быдло, пес подворовой... покажут тебе, як Червонную Армию падлом кормить!

Потом он рассказал, как тот так-таки подавился советской властью, потому что в сердце от нее у него пошло ослабление, а насчет того, что он умер в телесных терпениях, то все это брехня, потому что он клял советскую власть до последнего вздоха и так и умер, синий

от злости на нее. Смирнов слушал его, смеялся и угостил папирской.

— Ну, а насчет работы беспокоить-ся нечего, — утешил он его. — Работа найдется.

— Плюю на его гроб! — сказал кельнерок. — Он меня по лицу каждый день бил, пся крив! А я, может, теперь червонным лётником буду. А Стаська, сука, перед смертью обокрала его. У нее тоже не корсетная мастерская, а добрый дом для рандки, може, ее вместе с девками вышлют!

Смирнов записал ему адрес столовой для комсостава, где могут понадобиться официанты, подтвердил, что ничего не будет необычного в том, если он, бывший кельнер ресторана «Версаль», станет впоследствии летчиком, и пошел к дому. В городском парке шумели деревья, мокрые листья летели на мостовую. Где-то близко на кладбище уже начинал гнить в земле тучный усатый Иван Парфенюк, содержатель ресторана «Версаль» и бывший пристав из города Слонима. Смирнов шел и шелкал пальцами, — таким все это было хорошим материалом, надо только получше подать, как умирал, подавившись советской властью, Иван Парфенюк, как клял ее до последнего вздоха и умер, синий от злости на нее. На углу он увидел мокрое и еще не сорванное объявление о его смерти. Он долго и бережно отклеивал его со стены и положил в карман, чтобы согреть живым теплом достоверности будущий очерк или даже новеллу.

★

СПИРТ

Кавалерийский взвод остановился близ местечка Мостяны. Слева от дороги шумели вековые деревья парка графа Друцкого. Кавалеристы спешились, расседлали коней, и лейтенант Ковальков направился добыть в бывшем графском поместье сено. Походный рацион был израсходован за дневной переход, и сетки для сена, висевшие

вместе с переметными сумами, были пусты.

Ковальков, в мирной жизни аспирант сельскохозяйственной академии, пошел по широкой, обсаженной дубами дороге. Поля по сторонам не были поделены на узкие крестьянские полосы, как это было повсюду. жирная земля пахоты могуче чернела. В парке грудами лежали сухие желтые листья, какие-то птицы еще посвистывали на вершинах де-

¹ Свидание. ² Хозяин.

резьев, вьющийся виноград с мелкими черноватыми ягодами поднимался под самую крышу дома графа Друцкого. Дом был пуст и наглухо закрыт деревянными ставнями. Вокруг в парке было тоже безлюдно, и тишина тенистых аллей и листопад как бы подтверждали, что родовитое обиталище это навсегда покинуто.

Ковальков обошел дом, попробовал заглянуть внутрь сквозь неплотную ставню, но оттуда только нелюдимо блеснул угол изразцовой печи, как остывшее тепло чьей-то жизни. От террасы главная аллея вела сквозь дубовую и буковую кущу к службам. Службы, низкие длинные здания, тянулись по обем сторонам дороги, похожей на широкую деревенскую улицу, и Ковальков подумал, что такими, наверное, были крепостные деревни. Три маленьких белоголовых девочки сидели на приступочке одного из домов под большим синим зонтом. Барахлишко из графского дома уже успели поделить между собою крестьяне, и синий отсвет зонта лежал на лицах девочек. Ковальков присел над ними и погладил одну из девочек, постарше, по белой нечесаной голове.

— Матка в доме? — спросил он у нее. Девочка не ответила и только вздохнула. — Ох, и дикие вы тут, — усмехнулся Ковальков, — видно, с первых же дней напуганы вашими панами...

Он поднялся на крыльцо и открыл низкую дверь в комнату. Комната была с земляным полом, темное, скорбное жилище батраков. Седая старуха безучастно пряла кудель, и колесо древней прялки крутилось возле ее руки.

— День добрый, бабка, — сказал Ковальков. — А где же все ваши люди? Во дворе никого нема, в доме тоже.

— В поле панский картофель копают, — ответила старуха, не поглядывая на него. — Може, паны в свой майна-тек¹ зворотились, чего вам треба?

— Нет, паны не возвратятся, — сказал Ковальков. — А нужно мне купить

для наших коней сено. Где у вас крестьянский комитет помещается?

— Славек наиперший, у него вшистке ключики.

И Ковальков пошел искать Славка. Он обошел еще несколько домов и внезапно почувствовал стойкий тяжелый запах спирта. Маленький винокуренный завод стоял в стороне. Окна в нем были выбиты, земля вокруг иодно-ржаво рыжела, и было ясно, что весь спирт, перед тем как бежать, помещики выпустили на землю... Ковальков покачал головой и пошел к картофельному полю. Все население усадьбы и ближних деревень копало картошку. Крупный розоватый картофель грудями, как ядра, лежал вдоль обочин. Люди увидели командира и обеспокоенно стали подниматься ему навстречу. Они все еще не были уверены, что теперь это их навсегда — вся земля, картофельное поле и лес, только вчера принадлежавшие графу Друцкому.

— Копайте, копайте, — сказал Ковальков. — Это картошка самого лучшего сорта, называется она «Снежная роза», — и он присел над большой грудой картофеля и опытными руками стал перебирать крупные телесно-розового цвета картофелины. Крестьяне и батраки окружили его, и среди них оказался сам Славек, председатель крестьянского комитета и хранитель ключей от всех амбаров и складов графа Друцкого. Сено есть лучшего сорта, клевер с викой пополам, и он сейчас распорядится отпустить его красным конникам. Это был крепкий, с тугими белокурыми волосами человек, бывший батрак графа Друцкого; легко ступая босыми ногами по холодной земле, он повел за собой командира. Ковальков покосился на его ноги и сказал:

— А без сапог, пожалуй, холодно, Славек.

— Ничего, на буты мы еще заробим, товарищ командир, — ответил тот весело. — Тут працы нам до уст хватит. — И он движением показал, что работы теперь по самый рот. — Паны потикали, хлопы тилько дышать начали...

¹ Поместье.

картофель копать и то не все вышли, испуг еще держат.

Он шел впереди и поигрывал огромной связкой ключей, с которыми, очевидно, не расставался.

— Паны поутикали, — сказал он еще, — весь спирт с завода, гады, в землю спустили... траву на лугу всю спалили, не видели? Яки-ж хлопы побежали, кто кубелем, кто шапкой спирт тот черпают... ну, с бочку начерпали, тилько пить никто не стал. Тут трактор один господарский остался, а механик тоже вместе с администратором утек. Ну, хлопы на собрании так порешили: пускай спирт тот на трактор пойдет. Пускай радзецкую землю перший запашет... была та земля графской, теперь всех хлопов земля будет. Я так говорю?

И он показал Ковалькову свои белые зубы. Ковальков смотрел на ржавую землю и иодно пережженную выпущенным спиртом траву и отозвался не сразу.

— Что же, ваш механик бежал, и теперь на трактор некому сесть? — спросил он погода.

— Нема никого... хлопы до того дела не обучены, може, от вас кого теперь на помощь пришлют?

Он провел Ковалькова к сараям и хозяйственно стал открывать большим ключом двери. Сарай были доверху набиты помещичьим сеном, это была, действительно, пахучая смесь клевера и вики, и Ковальков представил себе, как накинута утомившиеся лошади на этот корм. Слаvek отгреб сена сколько было нужно, потом кавалеристы, за которыми послал Ковальков, охалками перетаскали его к месту привала. Одного из них, отделенного командира Смушко, Ковальков задержал при себе, пока Слаvek подгробал остатки сена в сарае и вешал на двери большой, тяжелый замок.

— Вот какое дело к тебе, товарищ Смушко, — сказал затем он ему. — Крестьяне собрали здесь бочку чистого спирту, и есть у них трактор, которым никто не умеет управлять. Давай, покажем им, как запахивать землю. Все-таки они этого лет двести дожидались,

наверное, чтобы помещичьи и графские земли для себя распахать.

Смушко, когда-то работавший на машинно-тракторной станции, веселый черниговец и первый песенник в эскадроне, мигнул живым черным глазом и готовно ответил:

— Это можно, товарищ лейтенант, если только трактор в порядке. Ну, где он у вас тут стоит?

И Слаvek повел их к навесу, под которым стоял трактор. Это был устаревший слабосильный «Джон-Дир», и Смушко посвистал, оглядывая его со всех сторон и пробуя управление.

— Гоните спирт, — сказал он затем. — Запашу вашу полосу.

Из амбара прикатили бочку со спиртом, который крестьяне успели спасти, и заправили трактор. Смушко включил зажигание, и вскоре с треском и постреливая, как из ружья, заработал застывший мотор трактора. Потом тот медленно двинулся из-под навеса и направился к полю, которое нужно было запахать под озимые. Крестьяне, копавшие картофель, бежали навстречу трактору и махали шапками. Смушко вывел трактор к обочине поля, и сверкающий плуг стал разваливать жирную черную землю позади трактора. Красноватые черви извивались на глыбах развороченной земли, — это был чернотел, годами удобренная помещичья земля, на которой впервые суждено было взойти крестьянскому урожаю.

— Чистый спирт, чувствую! — крикнул Смушко, показывая такие же белые, как у Славека, зубы. — Как буюк, работает!

И он повел трактор дальше, поднимая землю, нашатырно пахнущую густым, полновесным запахом перегноя.

— Як спирт спалил траву, — сказал вдруг серьезно Ковалькову Слаvek, — нехай так же спалит всю панскую проклятую неволю, в какой жили мы, хлопы... пускай на спирте том не один трактор еще на нашем поле пойдет! — Он стоял, расставив босые ноги, и голубыми немигающими глазами смотрел вслед трактору. Трава на обочине,

сожженная выпущенным спиртом, бурела. — А Червоная Армия хлопов всякому добру научит, — сказал он еще. — И поле орать, и карабин против панов держать!

Смушко вспахал полосу и вернулся на тракторе под навес.

— Ничего, еще будет служить, — одобрил он и похлопал машину. — А мы вам тут таких тракторишек подберем!

И он по старой привычке стал обтирать концами мотор. Потом крестьяне пошли провожать кавалеристов к месту привала. Отдых кончался, и лошади ржадно дожевывали последнее сено. Раздалась команда, всадники стали завязывать переметные сумы и седлать коней.

— Ну, бывайте здоровеньки, — сказал Ковальков и протянул председателю крестьянского комитета руку. — Весной, может, проедем — у вас такие будут хлеба!

Он засмеялся и показал рукой выше своего роста. Скоро взвод снова двинулся дальше. Опять рослые тела кавалеристов закачались в седлах, и лошади хрустели удилами и роняли зеленоватую от сена пену, и легкий дымок

пыли поплыл позади кавалерийского взвода. Крестьяне местечка Мостяны стояли на пригорке и провожали всадников. Рыжая кобылка Ковалькова все еще недовольно дергала головой — удила мешали ей сохранить вкус только-что съеденного сена, сладостно щекогавшего ноздри запахом цветов клевера. С поворота, оглянувшись, Ковальков увидел еще деревья окраины парка и рыжеватую покатошь земли возле винокуренного завода. Это был крепкий спирт, на нем хорошо работал старенький трактор «Джон-Дир», и он навсегда, как осеннюю траву, должен был выжечь для людей прошлое.

— Товарищ лейтенант, — сказал вдруг сбоку Смушко, подъезжая, — а ведь никто из мужичков глотка спирту того не попробовал, а сохранили для трактора, удивительное дело, ей-богу... Здорово, значит, народ по счастью соскучился!

Теперь графские поля кончились, опять шли крестьянские нарезанные лоскуты земли, и Смушко опытным взглядом бывшего тракториста оглядывал все эти полосы и межи, предвкушая, как сравниют их в одно народное поле тракторы.

★

ПОРТНОЙ

К Станиславу Дворжеку, мужскому портному, пришел сосед-переплетчик. Портной, тощий и грустный молодой человек, с синеватым лицом и светлыми волосами, перехваченными ремешком, начал портновский свой день, как обычно. Он сам вывел комнату, почистил щеткой грубое сукно на столе, служившем ему для кройки, и открыл деревянные ставни, за которыми серел невеселый денек. Затем он смахнул веничком пыль с нескольких перелицованных пиджаков, ожидавшихся заказчиков, и больше ему нечего было делать. Почти три недели никто не приходил в мастерскую, и день назад, подняв воротник пальтеца, чтобы не быть кем-либо узанным, он пошел подвечер на рынок Костюшко продавать фарфоровую вазу, в которой всегда

стояли цветы или красная кленовая ветка из городского сада.

Короткий звончек, обычно приятно возвещавший о приходе заказчика, дрогнул над дверью. Дворжек сделал было шаг к двери, но увидел, что в дверь медленно протискивается сосед-переплетчик, и отвернулся в сторону. Переплетчик достал из кармана большой носовой платок и долго и обстоятельно сморкался, прежде чем поздороваться.

— Интересно, — сказал он затем, — почему вы, бывший пан, а теперь, скажем, товарищ Дворжек, ворочаете от меня в сторону нос? Может быть, я украл у вас чью-нибудь камизелку¹ или

¹ Жилетка.

сделал вам неприятность? По-моему, я тот же Зильберштейн, а вы тот же Дворжек, какими мы до сих пор были.

Он снял свой глубокий ватный картуз, сел на стул возле стола, покрытого грубым сукном, и достал гребешок, чтобы расчесать намокшую от дождя седую бороду.

— Мне очень странно, пан Зильберштейн, — сказал Дворжек обидчиво, — что вы зашли к поляку-кравецу. По-моему, евреи давно объявили полякам бойкот. По крайней мере, несколько моих добрых клиентов даже не приходят за своими маринарками¹, которые я лицезвал.

Он пожал узкими плечами и снял перекинутый по привычке через шею сантиметр. Переплетчик попрежнему сидел за столом и раздвигал и сдвигал большие портновские ножницы, которые, казалось, тоже остыли без работы.

— Мы же с вами, слава богу, не дятки, товарищ Дворжек, — сказал он погодя, — и кое-что уже увидели в жизни. Польские власти сделали-таки евреям не одну обиду, и находятся, конечно, евреи, которые готовы обвинить в этом всех поляков. Кроме того, полицианты и всякая другая креатура хорошо поработали, чтобы нажучить поляков на евреев и евреев на поляков, так что удивляться тут нечему. Но это другой разговор. А сейчас я пришел вам сказать, что решил наконец заказать себе приличный костюм. Времена немножко переменялись, и я выполнил хороший заказ для советских товарищей, так что пара лишних złotych в первый раз в моей жизни болтается у меня в кармане. Я бы мыслил себе приличный костюмчик из серой материи, чтобы надевать его в праздничный день.

— Я имею свой гонор, пан Зильберштейн, — ответил портной упрямо, — почему вы не обратитесь лучше к еврею-кравцу? На нашей улице есть еврей-кравецы, они сошьют вам вполне пристойный костюм.

Он стоял у окна и смотрел сквозь тюль занавески на знакомую улицу Пиратского, на длинные коричневые заборы домов и на облетающие деревья за ними.

— Страшное дело, — сказал переплетчик, — по-моему, мы с вами сделаны из одного теста, и я, убей меня бог, не вижу разницы между кравцом-евреем и кравцом-поляком. Мне кажется, вы перед панями гнули спину, и я тоже гнул перед ними спину. Так что давайте выпрямимся и пожмем друг другу руку. Это я вам говорю, как старый человек, который переплел на своем веку много умных книг. Я вам еще скажу, что я уже переплел на-днях сочинения Ленина для городской библиотеки. А на балу у Рыдз-Смиглы я вас не встречал, — по-моему, он ни разу не приглашал вас на бал.

И переплетчик сделал руку козырьком и стал смотреть на портного, как бы припоминая: встречал он этого человека на балу у Рыдз-Смиглы или нет?

— Вы разумный человек, пан Зильберштейн, — сказал портной, — и между нами, кажется, еще ни разу не пробегала ни одна кошка. Но если уже евреи, мои бывшие заказчики, хотят, чтобы польский портной сгинул с голоду, то я лучше умру с голоду, чем стану им шить.

Переплетчик сидел, склонив голову набок, поглаживал шершавое сукно на столе и искоса смотрел на портного. Тот попрежнему стоял у окна, синеватая щека его дергалась.

— Ну, так как же, будете вы шить мне костюм или нет? — спросил он его. — Я вам скажу, товарищ Дворжек, что евреи, может быть, немножко погорячились, но им столько лет польские власти вливали в кровь уксус, что самый добрый аньол¹ в небе — и тот стал бы брыкаться. Вас тоже учили, что евреи — это низкий класс, их можно и на улице пхнуть, и за бороду такого старого еврея, как я, трепать, и ничего за это от власти не будет. Я же вам не говорю, что вы, Дворжек, во всей этой недоброй политике виноваты. Я мог сто раз пойти

¹ Пиджак.

¹ Ангел.

к сврею-кравецу, но я пришел к вам, поляку, и хочу, чтобы вы мне сшили костюм, не будем говорить — богатый, но приличный костюм для праздничных дней.

— Я не отказываюсь, я только высказал мысль, — сказал портной уклончиво.

Потом он стал смотреть в угол на потолок и часто мигать, и переплетчик сидел, склонив попрежнему голову набок, и поглаживал суровое сукно на столе, как будто раздумывал о своих разных делах. Если у человека, скажем, почему-либо на глазах слезы и он хочет это скрыть, надо сделать вид, что ничего не замечаешь, размышлять, например, пожимать плечами и делать движение рукой, означающее обращение к самому себе. И переплетчик сидел и размышлял, и делал движение рукой, то будто соглашаясь, то возражая себе... Портной достал затем из шкафа и раскатал на столе перед заказчиком кусок материи. Это был вполне приличный и недорогой материал практичного темносерого цвета, подходящий для пожилого возраста. Они оба пощупали материал и поднесли его к свету.

— Добрый бельский товар, — сказал портной и похлопал рукой кусок материи, как хорошего жеребца по шее. — Я имею в виду две пары брюк, как вы мыслите?

И они согласились оба на том, что если уже шить наконец костюм, то, конечно, с двумя парами брюк, потому что шиджак можно будет перелицевать впоследствии, а с проношенными брюками ничего не сделаешь. В комнате снова, после многих дней, запахло работой, и портной ловким движением набросил сантиметр на сутулую спину заказчика.

— Гарб¹ вы себе наработали добрый, пан Зильберштейн, — сказал он, усмехнувшись. — Что верно, то верно: на балу у Рыдз-Смиглы мы с вами не встречались... а ехать теперь в Румынию к нему далеко!

— Ну, гарб мы с вами одинаковый заработали в жизни, только я постар-

ше, оттого это виднее, — ответил переплетчик.

Он стоял перед ним, подставив сутулую спину, и по обе стороны висели большие узловатые, много поработавшие на своем веку руки. Портной стал обмерять его дальше и наносить цифирьки на бумажку. Серый денек за тюлевой занавеской разгорелся, и несколько хорошо одетых господинов на картинке из парижского журнала зарозовели на стене.

— Я вам не буду делать по последней моде, пан Зильберштейн, — сказал портной оживленно. — Маринарку, конечно, я скрою вам так, чтобы спина у вас вышла возможно прямая... костюм должен быть солидный и приличный для вашего века.

— Это вы лучше видите, и тут я вам ничего не скажу, — ответил тот. — Я только попрошу вас, зовите меня — товарищ Зильберштейн, если можете... я думаю, что слово «пан» для нас с вами, как рыба кость в горле, товарищ Дворжек.

Портной наконец обмерил его, и они сговорились, сколько будет стоить костюм и когда он будет готов.

— Подкладку я поставлю вам из альпага. Это прочный материал и не уступает шелковому, — сказал портной еще, откладывая в сторону свои записи. — Но скажем, однако, на прежнюю тему: почему вы пришли именно ко мне, товарищ Зильберштейн? В этом все-таки есть ненормальность...

Он смотрел теперь на того грустными голубыми глазами, лицо у него за последние недели обострилось, и переплетчик забрал по привычке в левую руку свою бороду и усмехнулся.

— Приятнее всегда первому начинать разумное дело, а не последним, товарищ Дворжек, — сказал он, поднимаясь. Его спина была согнута от многих лет сидения над верстаком, и как бы из глубины времен смотрел он на все это неправое дело, которое многие годы насаждалось между людьми. — Может быть, скоро я буду переплетать еще сочинения Сталина... там, кажется, ничего не сказано про то, что евреи и поляки должны между собой враждовать, а совсем

¹ Горб.

напротив. Тогда я для вас тоже переплету такую добрую книжку, Дворжек.

И он опять усмехнулся и пошел к выходу, и снова хорошо дрогнул звоночек над дверью, как бы возвещаая продолжение рабочего дня. Портной не стал дожидаться, когда посетитель перейдет улицу, и разложил материал на столе. Он сразу же взял аршинчик, стал делать мелком на материи насечки и отметины и широким размахом руки вычерчивать кривые. Это была работа, по которой он скучал уже много недель, и он ловко вытаскивал из-под лацкана бу-

лавки и прищипливал материю на столе. Надо было скроить пиджак так, чтобы он скрывал горб, нажитый годами, — по материи летели кривые и дуги, и на столе под большими скригучими ножницами стал рождаться костюм переплетчика. Солнце протиснулось на минуту сквозь тучи, и напротив, в саду, могуче, как костер, вспыхнул клен и наполнил комнату розовым светом. Вазу для хорошей кленовой ветки можно будет купить на рынке Костюшко такую же или даже лучше, потому что портные теперь, надо думать, будут тоже не последними людьми на земле.

Старинные грузинские народные песни

★

ПЕСНЯ КРЕСТЬЯНИНА

В яму высыпал я просо,
Чтобы пресо сохранить.
Просо я достал без спроса,
Чтобы просо подсушить.

Стала птица рядом виться,
Чтобы зернышко стащить.
Взял я палку — да за птицей,
Чтобы птицу проучить.

Полетела в замок птица,
Чтобы князю доложить.
На коня слуга садится,
Чтоб за птицу отомстить.

Я с быком простился красным,
Чтобы князю угодить.
Я с вином простился красным,
Чтобы князя напоить.

Отнял черную корову,
Отнял белого коня,
Отнял князь в одно мгновенье
Все, что было у меня.

★

СМЕЛЫЙ ВОИН

Волк, орел и смелый воин, —
 Не приучишь их к рукам!
 Век не станет волк — ягненком,
 Молодой орел — цыпленком,
 Воин доблестный — ребенком.
 Отряхнется волк, спокоен,
 И пройдет по горам;
 На скале орел проснется,
 Над долиною взвывается, —
 Есть добыча по когтям!
 Только слышен клекот орлий:
 Не застрянет мясо в горле.

Если впрямь отважен воин, —
 Пусть холодная броня
 Ляжет в миг ему на плечи,
 Пусть он слух свой перед сечей
 Оградит от женской речи;
 Если славы он достоин, —
 Пусть он падает с коня,
 Пусть от раны умирает,
 Пусть жена над ним рыдает:
 «Воин мой забыл меня!».

А беглец с женой — в постели:
 Труса пули не задела.
 Смелый воин рвется к бою
 Защищать страну свою.
 Трус останется с женою
 Целовать жену свою.

Трус на грудь жены посмотрит:
 Покорилась или нет?
 А боец — на шашку, смотрит:
 Затупилась или нет?

Перевел Арсений Тарковский

Теплые горы

РОМАН

СЕРГЕЙ КРУШИНСКИЙ

(Продолжение *)

★

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Косьба хлебов на время захватила все помыслы Макарова. Он любил эти празднично-деловитые дни: и прогорклую пыль на запекшихся губах, и короткий сладостный сон в теплой соломе, и пресный вкус прогретой солнцем воды из деревянного логунца, и ломоту усталости во всем теле, и ручейки щиплющего пота на опаленном лбу, и эту единственную, всепоглощающую мысль, написанную на всех лицах: скорее, скорее, скорее!

Макаров открыл глаза. Ночь просидел он на совещании в МТС и приехал на стан, когда уже занималась заря.

Было светло. Огромное небо сверкало и искрилось. С полей тянуло тонким и печальным ароматом вянувшей повители. Опыяненный крепким сном, Макаров оглядел небо, надеясь по облакам определить близость восхода. Высоко над полем пролетел голубь. На изнанке крыльев он нес отблески солнца. Ни облачка!

Макаров скатился с омета. Стряхивая соломинки, спотыкаясь, он пошел через поле. За гребенкой лесов вставало чадное солнце; восход сулил тишину и зной. Под ссохшимися, порыжелыми сапогами трещало жнивье, рассыпались комья земли. Сухими брызгами разлетались вокруг серые кузнечики.

Одна сноповязалка уже мелькала вдали стрекозьими крыльями, другая стояла на краю несжатой полосы, поднимая полотном колосья. Лошади, размахисто махая головами, били себя храпом в колени, вырывали поводья у подростка-погоньча. Тот покрикивал неокрепшим баском.

Долговязый не улыбочивый Степан Зотов краснобурым платочком вытер дубленую шею.

— Немножко задержались. Роса, товарищ Макаров, — пожаловался он.

— Для тебя одного, по особому заказу?

Из-под полотна выставились босые ноги почти одного цвета с землей.

— Готово! Погоняй, Степан, не жалей! — пробасил Телин, вылезая, но председатель уже уходил. «Хвастаться, голубчики, нечем» — как бы говорила Телину председателева спина в выгоревшей рубахе.

— Э-гей, пошли, снулые! — хрипло покрикнул Степан Зотов, призывая Макарова обернуться, но тот уходил по кочковатой земле, не оглядываясь. «Работать не умеете, а роса виновата, — думал он, прислушиваясь к стрекотанью сноповязалки. — Слишком много треску, опять пустили не на полный захват!». И он уже готов был вернуться, но Степан, вспомнив вчерашнюю проборку, дал режущему аппарату полную нагрузку. Машина взвыла и перешла на ровный рев. «А у Телина, как ни говори, — золотые руки: всякая машина ему покоряется».

* См. «Новый мир», кн. 2—3 с. г.

За пшеничным полем — овсяное. Над шестью жатками-самосбросками плыло рыжее облако пыли. Слабый ветер нехотя сваливал облако влево, и оно, уступая место новому, расплзлось по жнивью. Три десятка женщин, ловко подхватывая валки свежескошенного овса, вязали снопы и составляли их в крестцы, пыльными метелками вверх.

Макаров поздоровался с вязальщицами, кивнул на стаю уплывающих жаток:

— Не догнать?

— Мы бы, Кузьма Ильич, и перегнать рады — не управляемся. — Настя Демьянова поставила сноп и смотрела, прищурясь, на солнце. За последние недели она еще больше похорошела. Ее движения теперь были полны спокойной, зрелой женской красоты.

— Как Матвей?

Настя с довольной усмешкой ответила:

— Про Матвея разве завистник скажет худое.

Макаров и сам доволен был возвращением. Даже сейчас, когда были в ходу все телеги, колхоз обходился своим дегтем.

— Ну, и добро.

Макаров попросил передать бригадирю, чтоб с обеда непременно пустили по овсянице конные грабли и прочесывали загон дважды — вдоль и поперек. Кроме того, он решил перебросить сюда вязальщиц из второй бригады, где комбайны освободили немало людей. Пока Кузьма Ильич разговаривал, сверкающие палубы степных кораблей дважды проплыли над пшеничными берегами. В третий раз он не выдержал, — заспешил наперерез.

Макаров догнал комбайн сзади и поднялся по железной лесенке к штурвальному. Ему открылись глубины пшеничного поля — комья земли, блеклые цветы пшители.

— Зайца не видал, председатель? — спросил штурвальный через плечо. Розовая рубашка на его спине вздувалась парусом, легкие волосы развевались над виском, — и парень был рад прохладе.

Пускай завидуют все, кто работает внизу.

Утром он, в самом деле, спугнул зайчишку. Косоглазый пустился наутек от комбайна через нескошенное поле, а пшеничка, что лес дремучий, не легко пробивать ее лбом. С мостика было видно — длинноногий выбивается из сил. Едва перебежал он поле, а комбайн уже на той стороне, и опять отпугнул длинноухого в пшеничные дебри. Тут штурвальный закричал трактористу «стой» и поймал русака голыми руками.

Макаров смотрел, как длинные крылья пригибают к хедеру колосья, как их срезают переливчато сверкающие сегменты, как холстина с поперечными планками уносит колосья к барабану.

Подъехал на грузовике Ванюшка и на ходу принял в кузов зерно из воронки бункера.

Мимоходом глянув на зайчишку, — он лежал связанный под раскладной кроватью в полевом вагоне, — Макаров уехал с Ванюшкой в деревню. Надо было проверить, достаточно ли сухо в каменном здании клуба, куда решили на время ссыпать зерно.

II

Илья Осипович лежал с открытыми глазами в полном сознании, но не в силах был подать голос. Ему было страшно, сердце его еле-еле вздрагивало: Он лежал на лавке, полуобернувшись к окну, за которым искрилось звездной россыпью небо. Он не видел звезд, а только знал, что они висят там, в бесконечном отдалении, — спелые августовские звезды, — и утешался тем, что он еще жив и даже помнит о звездах.

На рассвете ему стало легче. Сердце застучало ровнее, кровь быстрее заструилась по жилам, согревая одеревенелое тело.

Это повторялось третий раз. Ночью он едва дышал, но на рассвете силы приливали, — может быть, потому, что на протяжении многих десятилетий именно в эту пору он приступал к работе.

Он долго жил, точно в полусне, но в последние дни вновь обрел ясность мысли. Отдышавшись, он с жадностью прислушался к разговору сына со снохой. Они куда-то собирались: шелкала крышка сундука. Он подозвал Кузьму и спросил, с удовольствием втягивая носом знакомый запах лежалой материи:

— Что, нынче опять у вас праздник?

— А ты, папаша, помнишь наши новые праздники? — Кузьма улынулся слепому отцу, как ребенку. — Нынче у нас не праздник, но вроде того — мы открываем водопровод.

Выходя вместе с Полей и сынишкой из дому, Макаров тихо сказал:

— Что-то наш папаша стал до всего любопытный.

— Не к беде бы, — ответила Поля. — Это находит перед смертью.

Они прошли по обвалившейся тропинке у пруда, придерживаясь руками за плетень, миновали плотину и стали взбираться на Орлиную гору.

Макаров нес на руках сынишку. Все в это утро было просто, празднично, бездумно. И это казалось странным после хлопотливых дней жатвы. Вчера, когда уже были срезаны последние колосья, разразился ливень. Решили на сутки оставить снопы на ветру, а уж потом приступить к молотье.

...Старик остался один. Некоторое время он сидел на своей постели, свесив ноги. Ему хотелось встать, но он не был уверен в своих силах. Подумав, он все-таки встал. Взял в углу палку с крючком, отшлифованным ладонью, и пошел в конец деревни, куда сын хотел пригнать с Орлиной горы ключевую воду.

Он обошел вокруг водоема, постукивая посохом по его краям, нащупал и приподнял крышку. На него пахнуло сухим теплым камнем — водоем был пуст. Старик опустился на его цементный край и стал ждать воду. Было тихо. Порой с горы долетал голос Кузьмы, но слова сливались. Илья Осипович подумал, что сын ошибся в расчетах и теперь оправдывается перед на-

родом. «Много ли важности в трубах? — думал он. — Вода сама знает, куда бежать». Илье Осиповичу захотелось на люди. Недалеко был мостик через овраг, он перебрался на ту сторону и вошел в лес, но крутого подъема одолеть не мог и остановился, воткнув перед собой палку. Он стоял между деревьями, солнечные лучи согревали его непокрытую голову, и он узнал раннюю августовскую осень. Он понял, что листва на деревьях уже поредела, что в лесу мало теней, и всюду просвечивает голубое небо, что уже пали травы, и только одни ежевичные стебли опутывают землю. Он думал об осени в Теплых горах, и это были думы о пережитых печалях и радостях; вся жизнь его сливалась теперь с холодным и ласковым шелестом леса.

Илья Осипович услышал слабый плеск воды. Родников не было на этом склоне, он удивился и нашел палкой толстую деревянную трубу. Он хотел наклониться и прислушаться, но не успел: с гиканьем, с хохотом промчались с горы парни и девушки, скользя по сухой листве. Вода трех родников, еще вчера убежавшая в сторону реки, пошла к селу, и молодые люди спешили обогнать воду. Они пронеслись мимо старика, и ему было обидно, что его оставляют одного. Но вот две девушки заметили Илью Осиповича и подхватили под руки.

Растроганный, он попросил:

— Вы скажите моему Кузьме, пусть он не прячется от меня — я еще жив. Зачем на праздник меня не позвали? Думаете, я стал глупенький? Нет, я все понимаю... Я все понимаю, — повторил он взволнованно, и на незрячие глаза его навернулись слезы, скупые, старческие слезы, выходящие на нижних веках. — Живете, как вам лучше, а стариков не обижайте, мы тоже жили, не баклуши околачивали.

Девушки наперебой принялись успокаивать его.

— Что вы, Илья Осипович, разве вас не уважают?

— Твой сын, дедушка, говорил наверху то же самое, что ты. Говорит, нам стыдно было бы перед отцами не

любить свою землю. Вон он и сам идет.

С горы, разговаривая с двумя бригадирами, спускался Кузьма Ильич. Но он не стал слушать отца, думая, что давно знает все его слова.

Вода наполняла цементный бассейн. Заскрипел новый журавль, и старику первому дали испить студеной ключевой водицы, от которой ломило зубы. Потом Макаров отвел отца домой. Старик просил провести его на пашню, и Кузьма Ильич обещал, но вскоре забыл об этом и с вечера уехал к молодилке.

...Опять рассвело, и еще раз согрелось старое тело Ильи Осиповича. Дом был пуст. Дедушка съел то, что было оставлено ему на столе, и вышел наружу. На дороге квохтали зарывшиеся в пыль куры. А людей не было слышно. После вчерашнего праздника все от мала до велика вернулись в поле и с новым азартом взялись за работу.

Илья Осипович отлично помнил дорогу к пашне. Когда-то он построил свою избенку так, чтобы из окон были видны хлеба, но потом христороубцы из Туночной загородили поля своими домищами.

Ощупывая палкой землю впереди себя, он добрался вдоль изгороди до ворот, снял со стойка плетеный из прутьев хомутик и вышел за околицу.

Он шел долго, его босые ноги занемели. Наконец палка провалилась в углубление. Илья Осипович провел ею вправо и влево, — да, это была борозда, свежая борозда с острым углом полевого края, и какая же глубокая борозда! Опираясь на палку, он сел на твердый травянистый край. Значит, они уже поднимали зябь? А еще на этой неделе косили. Что ж, они умели ценить время. И пахали они хорошо.

Илья Осипович достиг последней своей цели — пришел на пашню, к машинам, шум которых все приближался. Можно бы пойти им навстречу, но он слишком устал, силы быстро покидали его. Он положил подле себя посох и повесил голову на колени. Ему хотелось

вспомнить что-то важное. «Ах, да, — догадался он, — сын...».

Кузьма не хотел понять его в эти последние дни, а именно ему Илья Осипович все оставлял — и пашни, и леса, и воду. «Как же это ты, Кузя, не поговорил со мной напоследок, не посоветовался, — подумал он с легкой досадой. — Я ведь не дурачок какой-нибудь. Знаю — у тебя немало забот, да ведь и от меня не пустяковину услышал бы. А знаешь ли ты, как искать в лесу диких пчел?..».

Это была последняя мысль старика Макарова.

...Когда трактористы, описавшие на своих машинах огромный круг, соскочили на землю, Илья Осипович еще дышал. Внук от старшего умершего сына влил ему в рот несколько капель воды из своей фляги, но это не привело умирающего в сознание.

III

Смерть отца больно напомнила Макарову о сынишке. Он понял, что и сам уже не очень молод и, запоздало раскаиваясь в черством отношении к старику, стал бережнее относиться к ребенку.

Васек был мальчик спокойный, с независимым и мечтательным характером, который наметился очень рано. Он легко и при любых обстоятельствах затевал игру, не всегда во вкусе взрослых. То он забавлялся, раздавливая на скатерти ягоды клюквы, то умывался из блюдечка чаем.

За последний год он вытянулся и уже на вопрос, кем хочет быть, не отвечал, как прежде: «Медведем».

Рано утром Макаров умывался во дворе. Он фыркал, далеко разбрызгивая воду. Васек потянул его за штаны.

— Папа, а зачем, пап, лягушки родятся? — И снова склонился над зеленым прыгунком.

— Дурачок, чтобы жить.

— А зачем жить?

— Ну, как тебе объяснить... Ты зачем живешь?

— Не знаю.

— Ну, вот и они этак же, — отмахнулся Макаров, нагибая над пригоршнями глиняный рукомоёйник. Но Васек опять стал теребить его. — А кит со слонами сладит? — спрашивал он. — А тысяча больше, чем двадцать? Почему всегда тысяча больше?

Когда Макаров умылся, Васек повис у него на ноге и заставил тащить себя в комнату.

Поли не было — она заночевала в бригадном стане, и Макаров сам отвел сынишку в детский сад. Васек хныкал, просился поглядеть молотилку, но, едва переступил порог большого махинского дома и увидел в руках товарища спичечную коробку, — мгновенно забыл и про молотилку, и про отца.

Во всем доме стоял веселый гвалт. Воспитательница-педагог была в отпуску, возилась со своим новорожденным первенцем, и дети шумели несколько больше обычного. Но они были сыты, опрятны — в доме царили, в общем, прежние, ладные порядки.

Макаров ушел, пряча счастливую улыбку.

Продолжались хорошие дни. Бригады работали дружно, урожай стекался в закрома непрерывным обильным потоком. Газеты расточали похвалы Теплым горам.

IV

Мотька и Настя не могли налюбоваться друг другом. Она восхищалась его твердым, положительным характером. Теперь Мотька уверенней держался на людях, чаще улыбался. — по-своему: коротко и сурово. Он стал принаряжаться, хотя очень осторожно, совсем не так, как в юности, когда он любил форснуть. Он купил кое-что хорошее из одежды. Настя знала, что это ради нее, и радовалась.

А Мотьке было особенно дорого простодушие Насти. Прежде она казалась ему своенравной и жестокой. Он побаивался, как бы жена не вздумала помыкать им, не взяла бы верх, пользуясь своим более твердым положением в колхозе. И очень обрадовался, когда узнал настоящий ее характер — мягкий и доверчивый.

Настя избирала его судьей во всех своих замыслах и сомнениях. Она рассказывала ему о каждом своем дне, и непременно по порядку, с самого начала, с того, как утром она вышла из землянки. Вспоминала, быстро ли дошла до полевого стана, что видела дорогой, с кем встретилась.

— Знаешь, — с азартом шептала она вечером, после открытия водопровода, лежа головой на мотьякином плече, — знаешь, а у озера я чуть не наступила на змею. Страшилище! — Она чертила на его груди большой круг. — Вот такая. Ух, и испугалась я. Ей-богу! — И она тихо смеялась, радуясь тому, что постылое многолетнее одиночество кончилось. — Скричала я людей. Знаешь, кто пришел? Чеготаев и еще один в синей фуражке — землемер, ты как думаешь? Они в озере ковырялись — вывозились, ну, чисто черти. Макаров хочет рыб разводить — вызвал. Бородатый-то, знаешь, чего вздумал? Закрой, Мотя, глаза. «Смотри, говорит, молодец, по лесу одна будешь ходить, — не найди змею страшной этой».

— Ишь, старый! — перебил Мотька тревожно и недоверчиво.

— От них хорошего не жди. Ну, и я его угостила. Бородой, говорю, харю закрыл — не стыдно? Я, мол, найду тебя сонного, спичку под бородой чиркну, — полная получится иллюминация. Пригрозила на общее собрание вытащить. Он у меня от стыдобушки чуть в озеро не полез.

— Лишнего уж тоже не надо — он, небось, не со зла, — заметил Мотька, которому показалось, что Настя переборщила. — Не бродяга какой-нибудь, а завхоз, член правления.

Но Насте его опасливые думы были чужды.

— Шкура он, недобиток! Он к твоей жене с похабщиной пристаёт, а ты ему в пояс поклонись. Мы такого завхоза за хвост да за двёрь. А ты целуйся с ним.

Мотька оторопело стал успокаивать ее. Она целоваться с завхозом не собирается, но и незачем каждый день в скандалы ввязываться.

Они помирились. Настя опять положила голову ему на грудь и досказала о прожитом дне все по порядку, будто старшему брату или отцу. Как на Орлиной горе говорил Макаров речью, как не выдерживалась деревянная пробка из горла водопровода, и у председателя в родниковой воде занемела рука. Как, наконец, Макаров расшатал пробку ударами камня, и все кинулись вниз.

Мотья слушал, и на сердце его легонько скреблась зависть. Он может достичь многого. Его будут уважать, его портрет напечатают в газетах, но никогда он не станет душой и любимцем Теплых гор, как Макаров.

Настя понимала мужа, даже когда он молчал.

— Тебе не интересно? Не буду рассказывать. И не проси. — Она умолкла. И снова Мотьке показалось, что она не так уж проста.

— Надо бы в воскресенье на базар съездить, — сказал Мотья, подумав, — возьми завтра лошадь... Мы свое отработаем, — добавил он, — в долгу не останемся.

Он понимал, что в страду не время ездить по базарам, но надо было как-то успокоить Настю. Да и самому Мотьке не терпелось выбрать корову. Раз уж семьей жить, — нужно обзаводиться, как следует.

V

Едва не с полуночи они выехали из деревни. Мотья сидел на грядке телеги, свесив ноги, изредка ударял черенком кнута по голенищу, и время от времени лениво спрашивал Настю: давно ли водятся у Степана белые куры и перестала ли у них дымить печка с тех пор, как Мотья исправил дымоход, и какие Насте больше нравятся сарафаны — в цветочках или с горошинами.

Они все еще очень мало знали друг друга. Настя лежала на копне мягкой и пахучей овсяной соломы и смотрела на звездное небо. Иногда она тихо смеялась.

— Ты что еще? — спрашивал Мотья

ка, тоже невольно улыбаясь в темноте.

Лицо у Насти было белое, и зубы сверкали в лунном свете, точно камешки на дне родника. Мотья сдерживаемая сила, но ведь они были муж и жена и должны были вести себя степенно.

Ночь пролетела над ними легкая и светлая, а к утру набежали на небо облака. Под железнодорожной насыпью, в широкой ложине с выбитой травой, крестьяне затапывали костры и привязывали к оглоблям отдохнувших за ночь коров.

Река шла здесь в низких берегах ровным потоком. Городок отвернулся от нее, отгородился садами, и только в самом центре к горбтому мосту подступала главная, булыжником выложенная улица с парикмахерскими и фотографиями. За мостом уютилась чайная, дальше высилась на холме большая белая церковь с развороченными окнами пустой колокольни, а вокруг раскинулась широкая площадь, уже закипавшая народом. Вдали тесным рядом стояли шатровые домики с тусклыми окнами, запорошенными пылью базара.

Обогнув чайную, Мотья поставил телегу на свободное местечко, выпряг лошадь, и они с Настей стали проталкиваться к центру базара. Мелькали девичьи платки в диковинных разводах, пояски с причудливыми пряжками, на мужчинах — разноцветные рубахи.

Молодожены и сами не чувствовали себя сиротами на этом празднике. Настя была в синем пиджачке, за ее плечами раздувались концы газового шарфа; без кокетства, но с сознанием своей привлекательности она медленно шла сквозь толпу. Мотья перехватывал устремленные на нее восхищенные взгляды мужчин, и это льстило ему. Сам он был одет по-будничному, но рябенкий новый картуз и досыта напоенные дегтем большие сапоги придавали и ему вполне обеспеченный вид. Каждый видел, что этот человек мог бы приодеться и лучше.

Они миновали хлебные ряды, где между телегами сновали жирные голу-

би, и вышли к коновязи, вокруг которой шла торговля скотом. Здесь вообще не было никакого порядка. Приходилось перешагивать через ступицы колес, коленками расталкивать овец. На телегах самовлюбленно стонали свиньи, в огромных решетчатых ящиках охорашивались куры, белые и сизые гусыни вытягивали из корзинок длинные шеи и издавали пронзительные крики, — им отвечали товарки с реки; между телегами стояли коровы, равнодушно жуя жвачку.

— Сколько за козу? — Мотья пренебрежительно кивнул на пеструю нестарую коровенку.

— На эту животину у тебя капитала нехватит, — невозмутимо возразил с телеги пожилой крестьянин, скатывая на коленке кисет и держа в зубах, загогулиной вниз, незажженную самокрутку.

— Все ж таки?

— За сколь ты хотел взять?

— Твой товар — твоя и цена.

— Твои деньги — ты и купец.

— Я, пожалуй, дам сто рублей. Хватит?

— Десять раз по сту — и по рукам.

Разговор был несерьезный — покупатель только еще примерялся, и хозяин коровы, понимая это, даже не пытался остановить Мотью, когда тот пошел дальше.

Мотья и Настя ходили между возами часа два и не нашли ничего подходящего. Были и неплохие коровы, но хозяева слишком дорожились. «На зимний корм еще не скоро ставить скотину, — рассуждал каждый, — можно и в другой раз, и в третий вывести на базар».

Приговившись, они купили ситного и побывали в чайной.

Снова пробираясь к скотному рынку, Мотья заметил идущего по их пятам нищего и узнал в нем странника Никодима. Дегтекура передернуло.

— Ты там походи, а я гляну, почему мука, — сказал он Насте и пошел навстречу Никодиму.

— Братец, братец по искупительным страданиям, — залепетал обрюзгий человечиска в калошах, привязанных

веревками к босым ногам. Мотья стоял, заложив руки за спину, несколько выставив вперед одно плечо, словно Никодим шел на него с кулаками.

Нищий едва не ткнулся лицом в это неприступное плечо.

— Христофорушкó гневается, обидел, обидел ты мать нашу церковь, — заговорил он скороговоркой.

— У меня нет матери — я безродный, — гордо ответил Мотья — Чего лезешь на базаре, кто тебя звал?

— Мать-церковь тебя зовет под хрустальные своды, а сатана льстивый — в преисподнюю. Куда идешь — сам не видишь, да материнские руки цепкие, она тебя не пустит на погибель, — причитал странник и ловил Мотью за рукав.

— А ну, отцепись, — процедил Мотья сквозь зубы, подвигаясь на Никодима плечом.

— Ты не пужай, — лепетал бродяга, отступая, — а то я бабенке твоей скажу, всему честному народу. Что, невкусно? Сапоги какие надел, а брат во Христе голый и босый ходит, дал бы сапожишки, — блажен, кто не забывает ближнего.

Мотья зажал в кулаке, чтобы никто не видел, скомканную двадцатирублевку и сунул бродяге за пазуху, больно ткнув его в ребра, а сам тотчас повернулся и пошел, плечом раздвигая толпу.

— ... А я тут уже срядилась! — воскликнула Настя, увидев Мотью. — Девятьсот рублей, дедушка говорит — ведерница, и я ему верю.

— Да уж чего там, в обиде не будете, спасибо скажешь, хозяйюшка, — присоединился сидевший на ступице колеса старичок с веселыми детскими глазами.

— Доставай, Мотя, деньги, лучше не найти, — настаивала Настя уверенно. Но именно эта ее уверенность и не понравилась Мотье. Только-что ему напомнили, что он еще не развязался с сектантами, а теперь оказывалось, что даже в своих домашних делах его не считали полновластным хозяином. Настя сама выбрала корову, как будто Моть-

ка был приживальщик при ней, а не законный муж.

— Деньги растрясти всегда успеем,— ответил он наставительно, обходя корову. То была буренка с провисшей спиной и короткими, загнутыми на лоб рожками. Была она стельна всего третьим телком, как показывали два светлых кольца на рогах, а уже так глубоко дышала, так медленно пережевывала жвачку, что по одному этому можно было оценить зрелую силу. Но упрямство заставило Мотьку с сомнением покачать головой.

— Иль не угодила? — спросила Настя с тайной угрозой и обидела Мотьку еще больше.

— Чего меня спрашивать? Сама выбирала — тебе с горы видней.

— Хоть совсем не покупай, мне не очень надо. — Настя с вызывающим видом отвернулась.

Мотька не ждал такой серьезной размолвки, он хотел только выказать свое недовольство, но теперь не мог уже отступить и заметил:

— Пошла кума пеши — куму легче.

— Ага, легче? Ладно! Попомню.

Молча, озлобленные, пошли они между возами. Долго сидели на расшатанных плитах церковной паперти, а когда, наполовину примирившись, вернулись, буренки уже не было.

И они уехали с базара налегке.

VI

Настя не захотела ждать в деревне, пока Мотька распряжет лошадь, и ушла на поляну одна, хотя уже смеркалось. Мотька же зашел в правление колхоза. Ему казалось, что Макаров последнее время как-то по-особенному поглядывал на него, и он тревожился.

Макаров усадил Мотьку в кресло около своего стола и стал спрашивать о работе, о планах на будущее, а потом вдруг сказал:

— Смотри, Демьянов, много тебе оказано доверия. Какая девушка тебя полюбила. Не погуби.

— А я сам-то, товарищ председатель, бросовый человек, что ли? — насторожился Мотька.

— Этого я не говорю, а все-таки, сам понимаешь, Настя нам роднее, в ее жизни — ни сучка, ни задоринки.

— А мне-то уж всю жизнь будут сучком моим глаза колотить?

— Напрасно ты в обиду принимаешь. Раз я с тобой говорю, — значит, хочу, чтоб с открытым сердцем ты жил.

Но Мотька именно потому, что ему приходилось прятать кое-что в сердце, отгородился от Макарова.

— Кажется, я для колхоза сил не жадею, — криво усмехнулся он.

— Смотри сам. — Макаров взялся за счеты, показывая, что не навязывается на откровенность.

Мотька встал и тяжелыми шагами пошел к выходу. Но рука его дрогнула на дверной ручке, он оглянулся и встретился с испытующим взглядом Макарова. И тут ему показалось, что Макаров все знает. Он не удивился бы, услышав вопрос: «Ну, а почему ты молчишь о Христофоре?». Теперь по его замешательству Макаров, в самом деле, заподозрил какую-то тягостную тайну. Несколькими секундами молча смотрели друг на друга. И когда Макарову стало ясно, что Мотька не заговорит, он опустил глаза:

— Ну, что ж, — сказал он, — случится нужда, заходи.

Мотька решительно толкнул дверь.

...Настя, расстроенная, шла над оврагом. И на душе у ней было гадко, и нездорово она была последнее время. От того, что не пообедала, ей было тошно.

Вдруг, пронзительно щебетнув, изпод самых ее ног выпорхнула птичка. Настя нагнулась и увидела в глубине колючего куста птичье гнездо. Вернее, увидела она не самое гнездо, а букет желтых разинутых ртов. Здесь ютилась одна из тех птичек, что выводят потомство дважды в лето.

Птенцы были голенькие и горячие. Под ними, в сухих перьях лежало два таких же горячих яйца. Настя достала одно. Оно было голубое в рыжих крапинках. Сбоку была дырочка, как от булавочного укола. Настя ощутила в пальцах легонькие толчки: в яйце что-то жило. И тут Настя прислушалась к

себе и с особенной уверенностью подумала, что она беременна. Осторожно она положила на место яйцо. Птенцы щипали ее пальцы резиновыми ртами.

На опушке леса она долго ждала Мотьку, чтобы сказать о своей догадке. Большая общая радость примирила их, размовки и ссоры показались им до смешного пустыми, и они вернулись в землянку друзьями.

После того как Мотька уснул, Настя еще долго сидела, упершись рукой в подушку, осторожно разглаживала пальцами его лоб и шептала:

— Ах, ты, ворон ты мой горький!..

VII

Лесная сторожка была пристанищем охотников из Подгорска. Здесь низенький важный Пустовойтов солидно поучал лесника ходить с ружьем осторожно, по возможности не наступать на ветки и без нужды не переключаться. Здесь Семин благосклонно принимал подобострастное ухаживание Лукича. Видела сторожка и выпивки, и приезжавших с охотниками женщин.

Били в горах глухаря, рябчика, изредка встречали дикую козу или медведя. Леса были обильны дичью, а лесник гостеприимен и не болтлив.

В конце августа зачастил на охоту Семин. По лесу бродил он недолго, но потом с удовольствием выпивал и отсыпался. Дома у него не ладилось, политические события не сулили ничего хорошего. В Москве начался судебный процесс по делу Каменева, Зиновьева и других, чьим маленьким сообщником был и Семин. Хотя на скамью подсудимых угодили люди отпетые, давно уличенные в антипартийных и антисоветских делах, но опасность разгрома приблизилась и для тех, кто, выполняя приказы подпольного центра, опутывал страну сетью измены. Два чувства поочередно владели Семиным — страх и злоба. Он боялся, что вот-вот его схватят за шиворот, и он злился на партию, на все человечество за то, что останутся неосуществленными его честолюбивые планы, даже за то, что ему приходилось дрожать от страха.

В выходной день он приехал в сторожку с утра. Шофер завалился на сеновал спать, а председатель райисполкома заболтался с Лукичом.

Гость сидел спиной к столу, облокотясь на него и удобно вытянув ноги в охотничьих сапогах. Он был навеселе и в самом благодушном настроении.

— Послушай, милый человек, а куда ты бабу девал? На коняку променял, что ли? — спрашивал он с начальственной фамильярностью.

— А ну их, баб, я и не женился, — вежливо отмахивался Лукич, сидя на порожке и поглядывая на Семину снизу вверх.

— По-стариковски и девками не брезгуешь?

— А чего на них смотреть, пускай не попадают... Что я, товарищ Семин, хочу вам сказать, — начал лесник, уловив подходящую минуту. — Смотрю я — ваше положение тоже не дуже хорошее? Ни тебе отдохнуть, ни тебе выпить — все кругом надзор.

— Дело не в надзоре — большевик и сам держит себя в руках, — ответил Семин назидательно.

— А то разве не держит! Хотя бы взять и ваше дело: когда ни приедешь в город, все в рике огонь. Люди дома спят или еще чем в свое удовольствие занимаются, а у вас огонь. А ведь тоже и вы не два века на свете проживете. Так в заботах и старость придет.

— Чудак ты. Кому же и заботиться, если не нам, коммунистам?

— То-то и оно. Конечно, я так думаю своей дурацкой головой — и ублаговотворять вас, партийных, должны хорошо.

— Всяко бывает, — с горечью улыбнулся самому себе Семин. Хитрый лесник сразу заметил, что гостя гложет затаенное недовольство, и метнулся на встречу:

— Всяко бывает? Смотри ты! То-то, мы — люди серые, а тоже замечаем, вроде власть стала не ко всем партийным одинакова. Кому — почет, а кому — и в спину коленкой?

— Коленкой, говоришь? Ну, а вы, крестьяне, как на это смотрите?

— Мы чего знаем? Нам, что ни поп, то и батька. А иной раз все же жалко. Тоже, говорят, и заслуженные есть среди этих, которых хотя бы и судят. Иные по своей серости и так говорят: если уж он такой же коммунист, ты его не замай, не гляди, куда он немножко косит, — или направо, или налево.

Семин боялся заходить дальше.

— Бывают коммунисты, а бывают якобы коммунисты. Запомни, старик. — Но хмель подзадоривал его. Семин засмеялся. — Как ты сказал? «Не смотри, куда он косит»? Это кто же так рассуждает?

— А народ. Народ, он тоже не одинаковый, — ответил Лукич, давно уже следивший за Семиным и начавший этот разговор не спроста. — Конечно, не всем нравится, как сейчас. Хотя бы взять и странствующих. Тоже не малая сила. Я до них не касаюсь, а слухом пользовался, будто собирают странники людей, за свое христианское царство хотят бороться. Теперь возьмем примерно военное время. Тут фронты, тут правые-левые, а тут еще задние какие-нибудь или передние. Я думаю — всего наглядимся, извините за глупые слова.

Семин спросил, действительно ли это большая сила, а потом объявил:

— Ничего, старик, мы по-больше-вистски всех расчистим. Вот если спать меня уложишь, — спасибо скажу.

Семин позволил стащить с себя сапоги, и почтительный лесник, считая неудобным мыть после этого руки, вытер их о штаны. «А то разве не расчистим» — приговаривал он.

Семин прошел за занавеску, лег поверх одеяла, с удовольствием вытянув ноги, упершись ступнями в холодную спинку кровати. «Дурак ты, дурак, — подумал он о Лукиче. — Хитришь, а я насквозь тебя вижу. Да уж ладно, живи, не очень ты мне нужен!».

VIII

В полусне, поворачиваясь с боку на бок, вспомнил Семин почтительно-хитрое лицо лесника и вдруг всполошился. Показалось ему, что Лукич понял слиш-

ком много. Этакая продувная морда — продаст и купит!

Сон развеялся. Напрасно, раздраженный, усталый, Семин примерялся то одним, то другим ухом к подушке. Кровать казалась короткой, рот обметало чем-то пресным и липким, на душе было гадко. И вся жизнь представлялась ему скверной-прескверной. Взял бы — и спрятался, да некуда. Даже бескурковое заграничное ружье, приставленное к изголовью, показалось ненужным. «Зачем, дурак, купил, и сам не знаешь!» — ругнул себя Семин. — Завтра возьмут тебя, как какого-нибудь тарбагана, и — головой об дерево, а ты за игрушками гонишься... Что люди, что тарбаганы — одна сволочь...».

Твердое слово с туманным смыслом успокаивало. «Тарбаган» — еще раз повторил Семин, вставая.

Он отвел рукой полог и прищурился из двери на солнечный свет. В переднем углу за чисто выскобленным столом сидел Лукич и вязал чулок. Спицы так и мелькали у него в руках.

— Однако я не спать сюда приехал. Глухарей не видать нынче? — грубо спросил Семин.

Лесник обратил на него безмятежный взгляд.

— Небось, вы и забыли, как отдыхают... — Лукич закончил ряд, выдернул освободившуюся спицу и отложил вязанье. — Заметил я одно местечко. Посмотрите?

Гость брезгливо повел плечами. Ох, уж эти святоши! Чулки вяжет, слова без вдоха не вымолвит, а как давеча сумел подъехать.

Семин вскинул ружье и один пошел в лес. Но думать об охоте не хотелось. Попадись в десять шагах глухарь, — мечта подгорских охотников, — и то, пожалуй, Семин испытал бы одно только раздражение.

Действовать надо было, а не игрушками развлекаться.

Семин вернулся, грубо растолкал шопера и велел заводить машину. Леснику сказал, вывертывая народную поговорку:

— Политике — время, охоте — час. Поеду в колхоз, расскажу о процессе.

Лукич проводил его понимающим и сочувственным взглядом. Слишком много понимающим и непрощенно сочувственным. «Больше сюда ни ногой» — пообещал себе Семин.

...Он нашел Макарова на бригадном току и спросил, раскрывая на колене портфель, как огромную книгу:

— Вчерашнюю краевую читал?

— Не успел, — признался Макаров.

— Нехорошо, приятель. Жизнь нынче такая: на час отстанешь — ничего не знаешь. Созови-ка народ, потолкуем.

В холодке у омета собрались люди с обветренными, запыленными лицами. Женщины снимали повязки со лба. Поправляла волосы, тихо переговаривались. «Волнует ли этих людей московская трагедия? — спрашивал себя Семин, оглядывая собравшихся. — Испытывают ли они хоть сочувствие к обреченным?». Потом он выступил вперед, расправил гимнастерку под ремнем и заговорил уверенным певучим голосом, сам невольно любуясь округлыми, точными фразами. Он рассказал, что подсудимые из троцкистско-зиновьевского центра уличены в ужасных преступлениях. Закончил красивой и сильной фразой:

— На руках этих господ с облезлой шевелюрой «сверхреволюционеров» страна увидела несмываемые пятна крови своего любимца — Сергея Мироновича Кирова.

Колхозники смотрели оратору в лицо. Кто-то протяжно вздохнул. Кто-то спросил — хорошо ли караулят лиходеев, — не убежали бы! Рослая седая женщина — мать бригадира Белохатко — вышла вперед, обвела собрание затуманившимися глазами, и уже все поняли ее, и гнев в людях, что до этой минуты сдерживался, стал прорываться наружу. Кто-то вскочил, сорвал с головы картуз и, не сказав ни слова, опять сел. Тракторист, демобилизованный красноармеец, рывком затянул ремень. Женщина начала медленно:

— Столько мы прошли, столько трудностей перевидали, только-только жить начинаем, — так нет, заела проклятых зависть, не спят они, не пьют, не едят...

Женщина запнулась, слова не выговаривались. Потом махнула рукой:

— Не могу я про это говорить, сердце заходится. Пускай уж мужики!

Дальнейшего Семин не слышал. Он любил успех, даже когда говорил не то, что думал.

Он сидел, по-татарски подобрав ноги, и писал на портфеле резолюцию. Завтра — в газету. Макаров почтительно заглядывал на бумажку через плечо предрика.

IX

Макаров и Семин встретились лет десять назад на курсах при уездной совпартшколе, жили в одной комнате. Оба полюбили одну девушку — дочь сторожика общежития, ходили втроем в кино «Зеркало жизни» и на каток. Семин читал Даше стихи, Кузьма помогал ее матери топить печи. На запоздалое признание Макарова Даша ответила, что уважает его за преданность другу.

Друзья вспомнили об этом в машине по дороге к селу. На горизонте теснились оранжевые облака — спешили уйти вслед за солнцем; в машине было почти темно. Огонек семинской папиросы напоминал что-то далекое и хорошее, — курсы, запоночные споры, первую любовь.

— И как это вы не поладили? — спросил Макаров о Даше.

— Ошибся я в ней, Кузьма, — доверчиво ответил Семин, опуская руку на колено приятеля. — Оказалась женщина без кругозора, пыталась и меня запереть в семейном гнезде.

Макаров смолчал. Он не понял Семин, но поверил, что так бывает. Сегодня он относился к другу с прежней почтительной робостью.

На курсах Семин был общим любимцем. С каким жаром выступал он на собраниях! Как решительно отворачивался от провинившихся товарищей. «Парень принципиальный — далеко пойдет» — говорили о Семине.

И действительно, после курсов Семин быстро пошел в гору, занимал высокие должности в областных учреждениях, но потом сорвался — «доверчивость погубила». Встретились в Подгорске, уже

повзрослевшие, навсегда непохожие, но сохранившие привязанность друг к другу.

И Семин по-своему любил Макарова. Дружба с простодушным председателем колхоза давала ему чувство внутренней безопасности.

— Слышь, Кузьма, скоро ты миллионщиком-то станешь? — спросил Семин, чтобы доставить приятелю удовольствие.

— Сперва кошелек заведем, — отшутился Макаров. — Кое-что богатеть нам мешает.

— Ну-ка?

Машина, взвизгнув тормозами, остановилась у крыльца колхозной конторы.

Они вошли в пустой дом. Макаров сам зажег лампу в своем кабинетике.

— Топчем добро ногами. Разве так надо бы жить при общей работе? Однoboкое хозяйство ведем — вот беда. Небось, помнишь, как велось у единоличника? Лебеда на крыше вырастет — и та шла впрок.

Семин кисло поморщился.

— Скоро станешь восхвалять соху...

— Тут соха ни при чем, — Макаров входил в азарт. — Земля — не завод. На заводе сколько льну, столько и полотна получишь, а с земли возьмешь, сколько сумеешь. Наше сырье — шестьсот десятин земли. Можно с хлеба на воду перебиваться, а можно, знаешь, какое дело поднять? Как думаешь, сколько даст нам рыбоводство?

Он бросил на счетах несколько костяшек.

— Пять, если не шесть тысяч рублей. А пчелы — пятьдесят тысяч.

Семин огляделся. Стены, оклеенные газетами, крашенный дощатый диван, ученическая чернильница-непроливашка на расколотой мраморной доске. Ему стало жалко Макарова. В такой обстановке работать и еще разводить какую-то там философию!

— Примерно, посеял наш колхоз гречиху, — говорил Кузьма Ильич. — Сняли урожай. А зачем цветок пропал? Нет, пускай сперва пчела возьмет свое с цветка...

— Послушай, — прервал Семин своим приятным тенорком. — И охота те-

бе в этой грязи сидеть? Последний раз говорю, как товарищ: иди в райземотдел. Сядешь заместителем по животноводству. Сработаться, я думаю, сумеешь, а поладишь с районным руководством — через год будешь заведывать райзо. А там — подымай выше. — Семин привстал со старенького кресла. Со звоном распрямились пружины под рваной материей. — По-дружески предупреждаю: ты здесь засиделся. Конечно, это очень хорошо — поставить колхоз на ноги, но все-таки... И народ здешний не очень мне нравится. Мракобесы! Восемнадцатый вск! Не Теплые, а Темные горы. Ты посмотри в окно: борода у каждого с ворота, а ума с калитку. — Семин разошелся и не заметил, что Макаров недовольно ворочает своей упрямой угловатой головой. — Никогда не забуду, как ты устроил меня у одного вашего бородача. Вот уж удружил! Что сам, что жена — два сапога пара. Утром насыплешь полную вазочку сахару — вечером ставят на стол пустую. Мыло забудешь убрать в чемодан — припрячут. Ну, чего ты здесь застрял? До потолка дотянулся. Смотри, вниз будешь расти.

Макаров отлично знал, что односельчане его — народ еще темный и тяжелый. Но странное дело: пренебрежительный отзыв о них приезжего человека обидел Кузьму Ильича. Критика Семина была недоброжелательная и холодная. Макаров не стал отвечать на нее. Он только заметил:

— До потолка не дотянешься — нету его.

А когда немного отлегло на сердце, продолжал:

— Нету потолка. И расти мы только еще начали — от горшка три вершка. Повышение урожайности — раз: потолка нет. — Макаров бросил костяшку. — Новые породы скота — два. Холмогорская корова дает молока вдвое против здешней. Шленская овца дает шерсти за трех наших грубошерстных, а по ценности — за восемь штук. А выгонов надо ей столько же. Эх, товарищ Семин, не держишь своего слова. Где тонкорунные овцы? Я бы за них всю жизнь тебя благодарил.

В потупленных глазах Семина тлела недобрая улыбка. Теперь Макаров раздражал его. Зазнался этот теплогорский праведник. Ему предлагают с почетом оставить Теплые горы, а он, знай, долбит свое. Как угодно! Дружба дружбой, а дело делом. И Семин ответил, что своих обещаний не забывает. В совхозе «Степной гигант» Макаров может получить импортных овец с рассрочкой на три года.

Уже сидя в машине, он сказал еще раз:

— А насчет выдвигения — подумай. Дружески советую...

Х

Учение Христофора о последней брани с антихристом встретило поддержку преимущественно старца, хоть и не очень твердо. Чтобы несколько сгладить впечатление от недавних своих угроз по адресу теплогорского большака, Артемий разослал составленные к этому случаю приводы «О еретиках высокой жизни».

Ловко ссылаясь на старинные книги, он доказывал, что многие святые отцы, начиная с Аввакума, хотя и ошибались в толковании пророчеств, но своими подвигами заслужили всяческой похвалы. «И в наше время такие не перевелись, — заканчивал Артемий. — Будем молиться за брата нашего Христофора Ивановича. Хотя он и проповедывал пагубное учение о самоубийственной смерти, но теперь, есть надежда, прозревает душой. Будем помнить, что господь наш по своей непостижимой мудрости находит себе избранников не всегда по ожиданиям нашим».

«Чует кошка, чье мясо съела, — подумал Христофор, трижды перечитав приводы в лесном скиту. — Бойтся меня старичишка, знает: без меня странствующая церковь — труп охлаждающийся».

В тот же день он пришел к Лукичу. Возросшее влияние лесника в делах секты тяготило Христофора, но он не властен был повернуть по-своему. Став между странниками и последними христоролюбцами, Лукич кое-как соединял их. Без него Христофор шагу не мог ступить.

Они разговаривали в сторожке, днем, при закрытых ставнях. Христофор сидел, склонив голову. Его вороненая борода лежала веером на темной материи кафтана. Лукич бочком приткнулся к подоконнику, перед щелью в ставне прочитал приводы преимущественно старца. Неосмотрительно бросил:

— Артемий первый объявит тебя святым.

— Святость признают по заслугам, — ответил Христофор медлительно. Он не мог допустить, чтобы лесник, даже не принявший второго, истинного крещения, так легко болтал о сокровенном. Желая показать свою силу, он сам познакомил Лукича с добрыми новостями. — Слышно, истинно православные во всех далеких и близких пристанях держат мою руку. Приходят в тайную келью для бесед. спрашивают, когда начнем брань, тяготеют скудостью пристанищ и пищи. Пора отвечать. Приспело время отделить волков от овец.

— Золотая у тебя голова, Христофор Иванович! — воскликнул лесник. — Видишь, как хорошо обдумал христово дело. — Одни мы — мертвая песчинка в пустыне, а вихрь подует и нас поднимет, помчит через весь свет. — Лесник воодушевился, что с ним случилось редко. — Ближе то время. Читаешь газеты? Как возьмется вихрь в самой Москве, тогда начнем. Потерпи, Христофорушко, все будем знать. все тайны. Будут сказывать нам — когда война, когда можно начинать брань.

— Кто прежде праведников может узнать истину? — надменно спросил Христофор, чувствуя, что лесник отклоняет его мысль о немедленных действиях.

Смирно, почти скорбно Лукич вздохнул:

— Не гневайся, Христофор Иванович, я не силен в писании. Всецело на тебя полагаюсь.

Христофору ничего не оставалось, как молча проглотить обиду. С мстительной твердостью он сказал только, что меньших братьев своей пристани выведет из пагубного бездействия немедля. Учение о последней брани, же

подкрепленное делами, — пустые слова. Он потребует подвигов.

— К самоумерщвлению поведешь? — спросил Лукич.

— Нет, устрою гарь. У мирских.

Лукич опять всполошился. Сказал, что не стыдится рассуждать по-простому. Неосторожность может погубить их всех. Еще немного, и за Христофором пойдут сотни людей, готовых на все.

— Знаю, — остановил Христофор. — Но сердце мое больше лежит к тем, кто был свидетелем всей моей жизни. Хочу, чтобы они шли за мной на смерть. А пагуба бездействия разрушает их волю. Боюсь, не отпали бы от меня в тяжелый час.

Лукич понимал, что большаку тяжело оставаться безвестным, тяжело ждать. Осторожно он замолвил словечко за христоролюбцев. Преждевременным вмешательством в мирские дела не навлечь бы на них напрасный гнев властей.

— Они меня не жалеют, — с жесткой прямоотой признался большак. — Буду прежде думать о тех, кто ближе к богу.

XI

В лесной скит приходили новые люди — непочтительные, незнакомые. Одни келейники признали их за равных, пример подали Анфия и Никодим, — другие, и первый среди них Харлампий, сторонились пришельцев. Рябого Исидора, который стал частым гостем в лесном скиту, Харлампий величал не иначе, как слугой сатаны и бесом развратным. За Харлампием потянулся и юноша Досифей. Христофор боялся потерять людей правильной жизни — они действительно были дороги ему. К тому же он знал, что именно таких почитают мирские.

Воротясь от Лукича, большак еще раз поговорил с Харлампием. Старик держался твердо. Жаловался, что Исидор не соблюдает поста, пьет водку, изрыгает ругательства. Грозился уйти на север к Артемию.

— Завтра Артемий сам преклонится перед моим учением, к нему ли побе-

жишь? — предупредил Христофор. — Братство наше умножается. Рой себе новую келью — будешь в ней старший.

Харлампий стал рыть. Ему помогал Досифей и слепой мальчик из женской кельи. Землю они выносили ведрами в болото, чтобы не оставить следов.

Шел петровский пост — спожинки. Лишь в субботу и в воскресенье устав разрешал две трапезы, в остальные дни странники принимали пищу по одному разу. Старик и юноша ослабели, но упорно долбили землю. Скоро они перенесли свои постели в новую нору.

Досифей мечтал о подвижнической жизни, о спасении своей души, и Харлампий служил ему оплотом. Вечерами, вдыхая запах сырой теплой земли, юноша просил Харлампия спеть любимый молитвенный стих, и Харлампий тянул сонным, негромким тенорком:

Я сокроюсь в лесах темных,
Водворюся со зверями,
Там я стану жить.

Там приятный воздух чист,
Там услышу птичий свист,
Нежны ветры тамо дуют,
Токи вод журчат...

Досифей засыпал убаюканный, но утром во время христоровых бесед им снова овладевало беспокойство. Большак, суровый, похудевший, требовал от брата большего, чем умиление перед матерью-пустыней.

Как-то в новую берлогу спустился Никодим и стал с увертками, с ужимками рассказывать про чужие земли. Будто в чужих землях знают одного Христофора, и, когда в России сменится власть, противникам его придется худо.

Харлампий степенно возразил:

— Из чужих земель завсегда шла на Русь одна ересь. Баптисты да адвентисты — язык вывернешь. Погани нам не надо. Сын у меня в миру — большой человек, в целой деревне старший, я за него каждый день богу молюсь. Не лежит моя душа воевать с мирскими.

— Ты отступник, безбожник, — забормотал Никодим. — Дьявол-то тебя — копытцами, рожками, копытцами, рожками... — и тыкал Харлампия в глаза рогульками — пальцами.

Досифей не понимал распри. Душевное смятение его возрастало. Он решил исповедаться и на последней неделе спожинок говел.

XII

— Не гордился ли чем-либо? — спрашивал Христофор Досифея. — Постом? Воздержанием? Молитвой? Голосом? Пением? Чтением? Речью? Поведением? Походкой? Одеждой? Умением? Рукоделием? Услужением? Телесной красотой? Родословием? Ученостью? Обращением с людьми? Письмом?

Они стояли рядом перед зажженной лампадой. Большак положил правую руку на голову исповедника. Внимая торжественному гудению его голоса, радуясь безграничной его власти над собой, Досифей шептал скорбное «да» или неуверенное «нет».

— Не вступал ли в прения о вере, не зная дати подобающего ответа, с верными, а наипаче с неверными? Не говорил ли кому о братстве нашем? О тайных убежищах наших?

— Нет, не говорил.

— Не имеешь ли пристрастия и чрезмерной любви к своим бывшим родителям, не тосковал ли о них, не писал ли к ним писем без разрешения старцев?

— Грешен, — прошептал Досифей. Родителей он не помнил, но часто мечтал узнать, живы ли они и где находятся.

А Христофор продолжал:

— Для возбуждения смеха не говорил ли что смешное? Не пел ли? Не рисовал ли?

— Нет, только в мыслях завидовал поющим песни.

— Не ходил ли в театр, или в кино, или на игральнице и сходбище мирское и, придя в келью, не рассказывал ли еси виденное и слышанное на соблазн и смущение слушающих?

Не дав ответить, Христофор наклонился к самому лицу Досифея, так что юноша ощутил щекочущее прикосновение его бороды, и продолжал голосом проникновенным и почти ласковым:

— Повеждь ми, чадо, како растлил еси девство свое: с человеком или с животным, с чистым или нечистым, или скотски, или по-содомски, или малякиню?

Досифей втянул голову между плечами и несколько отстранился. Его и прежде опрашивали об этом на исповедях, но по молодости это не поражало его воображения.

А старец, между тем, продолжал:

— Детей малых или животных, или собаку, или кошку, или курицу не обнимал ли и не целовал ли с пристрастием?

— Нет, не было, — прошептал Досифей в страхе.

Большак выпрямился и спросил строгим и беспристрастным голосом:

— Не желал ли по любопытству узнать о грехах пастыря или духовного отца и келейного старшины, или не узнал ли тайн, какие тебе не требуется знать?

Досифей признался, что однажды, уже давно, слышал ропот Харлампия на то, что Христофор ночует в женской келье, и сам думал об этом без благочестия.

— Не слышал ли других наветов Харлампия на мать нашу, церковь, и пастырей ее?

Досифей загнулся, ему показалось стыдно ябедничать на добродушного своего брата, но Христофор сильней сжал пальцами его голову, и он покорно и испуганно стал рассказывать все, что знал: как Харламбий осуждал учение о самоубийственной смерти, как он, вернувшись с собора, называл сатанинским дело донатистов, применявших оружие. Начав говорить, Досифей хотел сказать как можно больше, всецело, с чувством облегчения отдаваясь власти наставника.

Христофор ответил коротко о грехе отступничества и только тут наконец спросил:

— Что тяготит твою душу, зачем так ревностно искал открыть помыслы?

Досифей заговорил о несчастном дне, когда сестра Василиса приняла добровольную смерть. Подстрекаемый бесом любопытства, Досифей тогда, у

ручья, поднял лицо от земли и увидел седые волосы Василисы, колеблемые тихим течением, и ее иссохшую руку, судорожно хватающую воздух над ручьем. Это страшное видение с тех пор не оставляло его ни днем, ни ночью. И еще один тяжкий грех лежит на его душе. Когда его посылают в город с изделиями братии, дьявол водит его под окнами домов, заставляет наблюдать жизнь мирских, и он не в силах противиться. А два или три раза дьявол приводил его к полевому домику бекляшевского колхоза, и он из-за прикрытия смотрел с завистью, как молодежь плясала и пела, предаваясь босвскому веселью.

— Рука моя бессильна благословить тебя, — сказал Христофор печально.

— Ужели не буду прощен?

— Молись, убивайся, ибо грех твой велик. Надо положить на другую чашу весов целые горы подвигов, чтобы она шеретянула.

— Зачем жить, если не в подвигах! Досифей стал требовать, чтобы в ней же час ему было дано испытание, но большак упрекнул его за малодушие.

XIII

В доме Ванюшки Лобанова ходили на цыпочках — боялись потревожить новорожденного. Молодая мать только и смотрела — не топнул бы кто, не загремел.

Галя была учительницей. Год назад, прощаясь на асфальтовом перроне столичного вокзала с подругами и поклонниками, она не поверила бы, что обживется в какой-то безвестной деревушке.

Тогда деревня представлялась ей лишь ареной кратковременных подвигов. Она наивно мечтала попасть в такой уголок, где все жители были бы неграмотны и вдобавок больны хоть трахомой, что ли. Она ходила бы из дома в дом, учила бы их умываться с мылом — и через два года деревни не узнать.

И вот Галя сидит в чистой горенке на сундуке и покачивает корыто, в котором дремлет ее ребенок — ее и

Ванюшки Лобанова, колхозного шофера. Утренний воздух колышет занавески на окнах, Ванюшка сидит по другую сторону корыта. «А он, в самом деле, держался немного развязно» — вспомнила Галя первую встречу и улыбнулась. Она приехала со станции в кабине грузовика, и еще до паромной переправы Ванюшка сказал ей, что во всем Подгорском районе нет такой красивой девушки. Она тогда демонстративно отодвинулась от балагура.

Чем же он покорила ее? Он любил ее иначе, чем прежние поклонники. Этот деревенский весельчак плясал для нее, балагурил для нее; смело и открыто, иногда грубовато, добивался ее расположения... И добился, подлый, милый.

Галя подняла глаза и встретилась с смеющимися глазами Лобанова — он наблюдал за ней и угадал ее мысли.

— Дай сюда вихор, — сказала Галя.

Он наклонил голову. Она схватила его за чуб и притянула к корыту.

— Чья дочка спит без коляски?

— Моя! — пропищал он жалобно.

— Кто обещал купить нам самую лучшую, на нежных рессорах?

— Я.

— Будешь еще навязывать нам противную зыбку?

— Нет.

— Будешь соблазнять городских девушек?

— Ой, нет, они дерутся. Лучше — деревенских.

— Уйди, скверный. — Галя оттолкнула его. Потом опять поймала за вихор, потянула к себе.

Так они сидели, думая друг о друге и о своей дочке, пока та не запросила покушать. Тогда Галя выгнала Ванюшку, и он, вздыхая, пошел заправлять машину.

За год Галя свыклась с деревней, полюбила суровую и пышную природу Теплых гор. Она любила неумолчный шум леса вокруг деревушки, любила и тишину того часа, когда на широкую улицу медленно опускается ночь. Уже не слышно побрякивания подошников, уже корова на дворе не вздыхает и не перемалывает жвачки, уже ползет по земле от пруда сырость, увлажняя сту-

пеньки крыльца. Туман холодит сложенные на коленях руки, а лицо еще погружено в сухой дневной воздух. Тишина этого часа нерушима. Неслышно прокатится телега, промелькнет белое пятно чьей-то рубахи, и снова безлюден мир.

Были у Галя и подруги, деревенские девушки. В последние месяцы беременности Галя уединялась, но теперь она попросила Ванюшку позвать подруг и целый день ждала их, чтобы показать свою дочку.

Под вечер пришла Настя Демьянова. Она частенько бывала у учительницы, но особой дружбы между ними не было. А теперь Галя обрадовалась Насте, даже позволила подержать на руках дочурку. Стала расспрашивать о работе, но Настя отвечала нехотя, и, вообще, держалась стеснительно и странно.

— Ты не больна? — спросила Галя.

— Нет.

— Что-нибудь с Матвеем случилось?

— Нет. Выйдем на минутку.

Они вышли на огород, где засыхающая зелень уже не прикрывала грядок. Настя прислонилась к теплой стене дома и долго стояла так, лицом к уходящему солнцу, точно прислушиваясь. Но слышен был только требовательный галдеж молодых уток на пруду да стук дятла за оврагом.

— Вот, теперь, — Настя несмело взяла руку учительницы и прижала к своему животу. — Слышите?

Галя ничего не услышала, но все поняла и засмеялась.

— Еще нельзя услышать, рано. — И тихо спросила:

— Ну, а он знает уже?

— Да, — кивнула Настя.

— И что же?

— Он обрадовался.

— Ну, и отлично! Чего ж ты кукасишься?

— Знаете, — открыла Настя то, что ее мучило и о чем ей не с кем было поговорить. — Я заметила, от него еще не отъезжали сектанты. Вчера зачем-то приходила Турсыха.

— И что же?

— Ругалась. А все же они долго разговаривали на берегу.

— А что говорит твой муж?

— Мотя сказал, они зовут его на свои моленья, но он никогда не пойдет.

— И хорошо.

— Я все-таки боюсь.

— Но он не поддается им? Не обманывает же он тебя?

— Все-таки мне страшно. А если они сладят с ним? Какими глазами я посмотрю на белый свет? Даже маленькому, — она потупилась, — будет стыдно перед людьми. За мать.

— Ну, это уж зря. Знаешь, в сказке: девушка уронила с печи кирпич и заплакала. «Если бы, говорит, у меня был сын, да он играл бы около печи, ведь я бы его убила». Так и ты.

Галя успокаивала Настю, но сама все больше проникалась тревогой. Ей хотелось передать случайно зашедшей ровеснице частицу своего спокойного счастья.

— Ты ведь, Настя, живешь в лесу? — сказала она. — Пойдем, проложу немного.

— Ну, уж нет! — запротестовала Настя. — Вам и ходить нельзя, я думаю.

— Можно, можно, не беспокойся. Я уж окрепла.

— А вы стали еще красивше, — воскликнула Настя, как только они вышли за поселок. — Платья такие модистки шьют?

— Это? Нет, готовое купила. Давно, еще дома.

Выйдя за село, они сели на краю оврага отдохнуть.

— Наверно, все осуждают меня, — проговорила Настя несмело. — Нелегко мне, и от людей нехорошо.

— Ну вот! Вы любите друг друга, а это главное. — Галя обхватила ее рукой. — На сплетни не обращай внимания, тебе с ним жить, сама и суди о нем. Повадки-то у него не кулацкие, а только прошлое, правда?

Настя прошептала просто:

— Спасибо...

— Только, знаешь, ты все-таки больше рассчитывай на свои силы. Ты молодая, у тебя все впереди.

Настя спросила на прощанье:

— А вы научите меня ухаживать за маленьким? По-городскому?

Галя обещала научить.

XIV

Смеркалось, пахло поздними медоносными травами. Мотыка ходил вокруг дегтекурочной печки с комком глины и замазывал щели. Он скучал без Насти и не бросал работы до ее прихода.

Она не заговорила, — прошла прямо в избушку.

Удивленный, Мотыка вышел на тропинку. У поворота лежал уродливый ствол упавшей от старости ветлы, Демьяновы частенько сидели на нем, тесно прижавшись друг к другу. Здесь Мотыка стал ждать, не вернется ли Настя. Местами дерево выгнило, в продолговатых глубоких ямках стояла дождевая вода. Мотыка вымыл в ней руки, вытер их о рубаху и пошел в землянку.

Настя сидела в полутьме, положив сплетенные руки на подоконник и уронив на них голову.

Сжав ладонями настины виски, он осторожно поднял ее голову. Она высвободилась из его рук, поднялась, стала собирать на стол.

Они поужинали в невеселом молчании.

Оба долго не могли уснуть. Потом Настя забылась.

И опять очнулась — Мотыка все лежал, заложив руки под затылок. «А я так грубо обхожусь с ним» — раскаялась Настя; притянула на свою подушку его широкую ладонь, уткнулась в нее лицом и заплакала. Мотыка не успокаивал, только своими грубыми, зачерствевшими на ветру пальцами вытирал слезы в уголках ее глаз.

— Грибы собирал, что ли? — спросила она трубным от слез голосом.

Он с облегчением засмеялся.

— Придумаешь! Делать мне нечего, что ли? Вода на гнилушке застоялась, а я руки вымыл.

XV

Утром заехал за Семиным в гостиницу Борис Ефимыч. Он был фамильярен, как человек, оказывающий другому большую услугу.

— Со мной не пропадешь, — сказал он, покачиваясь в глубине огромной машины. — Едешь-то к какому человеку, чувствуешь!

Машина свернула в узкую улочку дачной местности, где редкие домики укрывались в садах. В узорной тени под деревьями качались в гамаках женщины, молодежь играла на полянах в волейбол или с полотенцами на плече выпуска сбежала по тропинкам к большой реке. Мелькали свежепокрашенные ворота домов отдыха.

— Между прочим, — заметил Борис Ефимыч озабоченно, когда шофер, показав пропуск, ввел машину за сплошной высокий забор. — Между прочим, имей в виду, он покажется тебе несколько суровым, но таков он со всеми. Ты, конечно, понимаешь, он возглавляет здесь всех наших. Да и в Москве с ним очень и очень считаются. Что сообщит тебе — будь доволен; о чем умолчит — не спрашивай.

Борис Ефимыч подтянулся, движения его стали не столь порывисты, лицо приняло солидное, даже несколько скорбное выражение.

— Александр Венедиктович у себя? — спросил он сидевшую в качалке женщину. На песке стояли туфли — они казались слишком маленькими для ее очень полных ног.

Александр Венедиктович играл на веранде в шахматы. Поздоровавшись с гостями, он небрежным движением руки смещал фигуры. Партнер, должно быть, приживальщик, молча удалился.

Александр Венедиктович был высок, худ, смугл, волосы на голове — щеткой.

Семин последовал за ним едва не на цыпочках. Они вошли в большую комнату с застекленными книжными шкафами и широкой кожей мебелью.

— Садитесь! — Александр Венедиктович положил на мраморную доску столика коробку папирос.

Семина робел. Ему не верилось, что этот человек — его сообщник. И бо-язно ему было, и хотелось скорее пока-зать свою преданность тому делу, ра-ди которого они собрались.

— Что в деревне? — спросил Але-ксандр Венедиктович без всяких предис-ловий. — Растет ли недовольство? Эк-сцессы? Говорите коротко. О сектантах можно подробней.

XVI

Человек, ждавший от Семина отчет-а, был в глазах восьмисот тысяч жи-телей области безупречным советским политическим деятелем. Прошлое его было окружено уважением. Полурабо-чее происхождение, почти тридцатилет-ний партийный стаж, ссылка в Сибирь и эффектный побег оттуда из-под над-зора жандармов...

Была в биографии Александра Ве-недиктовича одна червоточина, или, пожалуй, ничего и не было у него за душой, кроме этой червоточкины, но о ней не знали даже его нынешние тай-ные сообщники. Еще подростком, схва-ченный с пачкой прокламаций, впервые оказавшись в участке перед грозными усами полицейского пристава, в минуту душевной слабости он выдал подполь-ную типографию. Дрожащей рукой он подписал протокол допроса и был тот-час отпущен.

Это была трагическая ночь. Юноша провел ее в бесцельных блужданиях по городу, то порываясь пойти к человеку, которого предал, чтобы открыться ему во всем, то ошупывая над головой, в глухом уголке сада, развилку дерева, где можно было укрепить петлю. Его отчаяние усугублялось тем, что он лю-бил дочь подпольного издателя, ссыль-ного поселенца.

Но он пошел домой. Через три дня ссыльный был захвачен в курной бане у печатного станка. Девушка, остав-шаяся одна-одинешенька в чужом горо-де, сказала Александру, что, если он действительно любит ее, она готова сое-динить свою жизнь с его жизнью.

Они и теперь жили вместе.

Покинув родные места и переезжая

из города в город, Александр Венедик-тович честно вел подпольную партий-ную работу. Он уже вошел в один хо-рошо действовавший местный центр, когда вновь был подвергнут аресту, в сущности, по ничтожному поводу. В те-чение целой недели допросов он вел себя независимо. Тем временем было запрошено полицейское управление его родного города. Его позор стал изве-стен новым судьям. И тогда он снова всех выдал. Это повторилось еще раз и еще.

Он стал полицейским шпиком. Его сажали в тюрьму, когда он считал это нужным «для дела», он совершал «по-беги», подстроенные охранкой. Он уже не знал ничего святого. Он не просто «зарабатывал на хлеб», — он мстил тем, кого предавал, мстил за свой по-зор.

Революция положила конец этой двойной игре — так, по крайней мере, казалось Александру Венедиктовичу. Он вел теперь более крупную и веролом-ную борьбу с большевизмом, но счи-тал, что в этом всецело виновата пар-тия.

Встречи Семина с Борисом Ефимы-чем носили совсем иной характер, чем это свидание с главарем. Там приятели спускали с цепи языки и подолгу со вкусом злословили в тесной компании. Понижая голос, рассказывали они по-хабненькие анекдоты о руководителях партии и страны, смаковали действи-тельные или мнимые неудачи своих не-другов. Так они вознаграждали себя за недели и месяцы голодного поста, когда каждый, находясь во враждебном окру-жении, говорил чужие слова и делал чужую работу.

Семина ждал и на этот раз злопыха-тельских, мрачных шуток и заранее, еще в машине, улыбался им. Он рас-считывал услышать много нового. И просчитался, попал, как на экзамен. Александр Венедиктович подбирал со-общников не в пьяной, развязной бол-товне. Он ценил только дело, руково-дил только действиями. А все осталь-ное перекалывал на подручных, вроде Бориса Ефимыча, которых глубоко презирал.

— ...Я не думаю, чтобы у них была четкая политическая программа, — закончил Семин свой доклад, который и ему самому показался не очень содержательным. — Правда, они говорят что-то о Новом Иерусалиме, о «последней брани» с антихристом. — Семин усмехнулся. — Их поведет на эту брань сам Иисус Христос на белом коне.

— Это очень важно, — прервал Александр Венедиктович. — Где Иерусалим?

— Да чуть ли не у нас, в Теплых горах.

Александр Венедиктович свободно, точно он один находился в комнате, встал, прошелся, глядя себе под ноги, через кабинет, остановился у карты. Это была карта области. Густо были натканы на ней флажки с изображением тракторов, дымящих труб, головок сыра.

— Хорошее место! — Он пощелкал пальцами по тому краю карты, где находился Подгорский район. Борис Ефимыч и Семин подошли. Александр Венедиктович еще раз щелкнул по суставчатому знаку железной дороги. — Из центра — на восток! — сказал он и перерубил нить дороги ладонью. — Я хочу сообщить вам одну принципиально новую установку: довольно ждать манны небесной.

— Да, это правильно, — закивал Борис Ефимыч. — Как только начнется война...

— Войну тоже делают люди, — ровным голосом прервал Александр Венедиктович. — Если завтра Запад и Восток увидят, что благоприятный момент настал, недолго придется ждать. Благоприятную же обстановку надо создать.

— Да, надо идти на риск, — опять подтвердил Борис Ефимыч и опять не заслужил одобрения.

— В промедлении больше риска, чем в самых решительных действиях, — покосился Александр Венедиктович. — Пускай Иерусалим, — он опять пощелкал по краю карты. — Пускай впереди Иисус Христос, мы дадим ему оружие, если это будет толковый малый. Вы, —

он наконец полуобернулся к Семину, — вы должны развязать этим дикарям руки.

— Страна напоминает пороховой погреб, — не вытерпел и еще раз вмешался Борис Ефимыч.

На этот раз Александр Венедиктович рассердился.

— Сторонитесь краснобаев, — обратился он к Семину. — Один из них начал политическую карьеру с того, что в знак протеста против нэпа растоптал первый торт на прилавке ресторана. В этом сказался он весь... Не сердитесь, Борис Ефимыч. Попросите, чтобы там приготовили обед.

— ...Как он тебе понравился? — спросил Борис Ефимыч на пути в город. — Когда я ушел, он еще что-нибудь сказал тебе?

— Ничего особенного, — ответил Семин с полным сознанием своего возросшего достоинства. — Связь придется держать с ним лично.

Он сидел в глубине комфортабельной машины и старался преодолеть неприлично блаженную улыбку.

XVII

Тотчас же по возвращении из области Семин наведлся к леснику. Он приехал в сторожку с утра и намеревался сразу поговорить о деле, но не решился и приказал раздуть самовар. За чаем он ругал на все корки «правых» и «левых», так что лесник стал поглядывать на него встревоженно. А потом, вопреки планам своим, несмотря на дождь, отправился бродить с ружьем. С чисто мальчишеским малодушием оттягивая неизбежное объяснение, он прошлялся до поздней ночи. За ужином сослался на усталость, отодвинул тарелку и ушел спать.

Утром Семин встал похуевший и еще больше озлобленный. «Хорошо ему приказывать, — думал он об Александре Венедиктовиче. — Случись что, он ото всего отопрется, а Семин-дурачок клади свою голову на плаху». Однако вчерашнего страха он уже не испытывал, все в нем как-то перегорело, огрубело.

— Ну, что про Иерусалим слышно?— спросил он насмешливо, обмакивая хлебную корку в блюдечко с медом.

Лукич с облегчением вздохнул:

— Я до них не касаюсь, — оговорился он по обыкновению, — иначе, со стороны глядя, скажу: трудно им без никакой поддержки. Кругом одни.

— Как знать, может, кто и поддерживает их тайно, — возразил Семин, прислушиваясь к звонкому щебету воробьев, но не решаясь смотреть в окно. Он опасался, что картина веселого утра снова растравит в нем жажду жизни и лишит мужества. «Дождусь ответа и пойду напролом» — отметил он про себя.

— А какая, например, поддержка могла им быть хотя бы от тех же наших врагов, правых-левых? — спросил Лукич.

Семин посмотрел на лесника с любопытством: «Ну, и хитрая бестия! Неужели он давно все понял?».

— Мало ли какая, они найдут, — ответил он в тон Лукичу.

Вкрадчивой, осторожной походкой Лукич пересек комнату, присел рядом с Семиным на краешек скамейки.

— А сила у бегунов, слышать, немалая. Главное дело, преимуществ старец, первый у них человек, с Христофором помирился. А уж народ отпетый, чистое зверье. Если за них прикинуть, первейшая необходимость — это оружие, да ведь надо еще, чтоб не мешали им свою организацию провести, а кругом до-смотр. Нынче, говорят, и у деревьев уши.

Семину понравилось рассуждать о делах в иносказательной форме. Так они и продолжали. Это создавало видимость безопасности и позволяло обоим сохранять собственное достоинство.

Лукич дал понять, что опасней всего для странствующих такие люди, как Макаров, и что для устранения таких противников они готовы идти на все. Семин возразил, что Макаров запутался, потерял доверие руководства и скоро слетит сам. Между прочим, эти бегуны могли бы лучше расчистить для себя почву, действуя не грубой силой, а под прикрытием закона.

XVIII

Александра Петровича Чеготаева еще после истории с лугами разжаловали из завхозов. Он получил место на ветряной мельнице и был рад-раदेशек хоть этому. А работенка — сквернейшая: ты и директор, и механик, и сторож, и, вообще, всех дыр затычка. Он любил поспать, привык, чтобы односельчане обращались к нему почтительно, а приближенные благодарили за различные мелкие милости. А тут — ты сам пред всеми ответчик. И — ночь ли, полночь ли, а как окреп ветер, — беги за околицу, на бугор и запускай жернов.

Похолодало, начались бездонные осенние дожди. Ветра дули переменчивые — не успеваешь поворачивать бревенчатую коробку мельницы на круглом фундаменте. Мельница пообветшала, сквозняки так и гуляли в ней, камни холодили воздух. Крылья от сырости разбухли, отяжелели и еле-еле ворочались. Мука из-под жернова чуть цедилась, а надо было выслуживать доверие.

Выдался особенно тоскливый день. Время прошло, и Варвара не принесла обеда. Недовольна! Прежде ей и сладости перепалили, и подарки, а теперь — что ж... С голоду Александр Петрович весь зазяб. Озлобленный, выглянул он в дверь, заслышав постук колес. Пригревшийся под дождевиком, беспечный, подъехал к ветряку Лукич. Чеготаева взяло нетерпение. Он знал лесника. Тот вечно будто галок ртом считает, посмотришь, экий простофиля, а на уме у него столько — десят�ерым записным хитрецам не разобратся.

Лукич привез размолоть мешок зерна. Отдал Чеготаеву наряд от конторы, осмотрелся, посочувствовал. Они присели на березовое полено за мучным ла-рем, — здесь было потеплее.

— Не балует тебя Макаров, — заметил лесник.

Чеготаев и рукой махнул.

— То-есть так жижу — на себя смотреть тошно. В измальстве ходил я па-штушком, и довелось мне журавля от-ставшего заметить на болоте. Должно,

были крылья повреждены. Ружьишка не было, кнутом, помню, никак не настигнешь, а уж кочки заледенели, зима идет, и мерзнет он, болезный, и ждет смерти. Теперь задумаюсь про себя—ни дать, ни взять этот журавль.

— Хорошие слова. Правильные. Однако зима—уж это от природы, от бога, а твоя беда—от людей, и, значит, человек может с ней бороться... Не так, что ли? Не угодил?

Чеготаеву и впрямь пришлось не по вкусу. Беда есть беда—ее языком не залижешь.

— Ты меня к политике не примешивай. Я в ней ни уха, ни рыла не смыслю. По мне—лишь бы дышать посвободней дали в колхозе, а там, как хотят.

— Разве я не понимаю? А все же скажи, есть у тебя охотка без Макарова, самому похозяйничать?

Чеготаев вздохнул:

— А ты отказался бы из объездчиков выскочить сразу в лесничество?

— Правильные слова: не отказался бы. А теперь примерно подумаем—забрал ты колхоз в свои руки, и случись на грех какая передряга,—стал бы ты народ в нем удерживать или же сам отворил бы ворота: катитесь на все четыре стороны!

Чеготаев покосился на окно.

— Не люблю языком молоть. Возможная вещь, я и сам с собой опасюсь загадывать, когда что-то будет.

— Опять правильно. А только тут и получилась политика. Ты и загадывать вперед боишься, а они уже статью под тебя подвели. «Тихой сапой лезет к руководству. Взрыв колхозов изнутри...». Что-то Макаров не дает тебе ходу.

Чеготаев опять вздохнул.

— И не даст, не надейся. А я тебе помочь хочу.—Лукич понизил голос.—Макарова вышибем, как пробку. У нас, знаешь, какая есть рука? Сказать тебе, глаза на лоб полезут. Сама районная власть нас поддержит.

— Ну-у?

— А ты не нукай, не запрөг. Я тебя не приневоливаю, гляди сам. По дружбе хотел посозветоваться.

Чеготаев еще не опомнился.

— Иль начальство у нас из этих—какие-то там пошли не разбери-поймешь?.. Ох-хо-хо... Растревожил ты меня. Ведь страшно. Макаров-то, знаешь, на три аршина под землей видит.

Лукич дал ему вволю повздохнуть.

— Да ведь я не посылаю тебя на Макарова с рогатиной. Пускай другие, кто не так на виду, критикнут его на собрании, ну, и в газетке там. Хотя бы взять Телина. Он немножко и вашим, и нашим,—и мордвам угрождает, и чувашам,—а ты его подтолкни, страви его с Макаровым, как кошку с собакой. В Теплых горах мы будем хозяева... Однако пора мне. Дела. Побывал бы у меня—медком угощу, уж такой у меня ноне от жаров мед духовитый...

Лукичовы намеки крепко засели в голове Чеготаева. С какой стороны он ни прикидывал, все выходило—от Макарова хорошего не ждать. Еще раз увидался он с лесником, выведал, верно ли, что Макаровым на верхах недовольны. Походило на правду. И Александр Петрович полегоньку, осторожно стал высказываться перед теми, на кого мог положиться. Как-то на мельнице сошлось сразу четверо исконных бегунских благодетелей. Чеготаев раззадорился и говорил впрямую:

— Макаров, он вроде пришей кобыле хвост. А мы все свои, наши отцы по одной вере жили и нам приказывали. С богом, без бога, а все мы роднее. Неужто уж сами, без Макарова, не управимся? Из Туночной народу пришло двести домов, из Елшанки—не полных пятьдесят. А в бригадирах ходят елшанских трое, а наш—один, Белохатко, и тот отбил. Я сам почему в правлении не пригодился, как думаете?.. Хотя бы и тебя взять.—обратился он к Телину.—Уж сколько молотом махаешь,—все не в зачет, а за поганый огурчишко опозорить, это они могут...

XIX

Полоса спокойно-удачливой работы, начавшаяся для Макарова с первых дней жатвы, миновала. Кузьма Ильич все чаще примечал в людях то, что он

называл «нездоровыми настроениями». Отговариваясь недомоганием, неотложными домашними заботами, многие колхозницы не выходили к молотилкам. Замкнутые, себе на уме, мужички из степовых бегунов на собраниях без конца переспрашивали, сколько останется хлеба после расплаты с государством.—в их голосах Макаров угадывал недоверие и опаску. Он видел, что недоверие это разжигается людьми из враждебного мира. Опять комсомольцы сдавали ему подметные записки сектантов. Туманные разглагольствования о Сионе и Иерусалиме заканчивались старой кулацкой угрозой: дальше будет хуже, благополучие в колхозе ненадежно. Так-де выходит по всем зловещим приметам. Где-то курица закричала пугом, где-то родился телок о двух головах, в третьем месте — неизвестно где — убило громом тракториста в тот самый момент, как он выбрасывал в бурьян нательный крестик, и молния, будто бы выжгла крест огнем на его гоуди.

В неприятный, суматошный утренний час позвонил Макарову из Тукшума председатель сельского совета Лялин. Не сказал ни «здравствуй», ни «как живешь», а прямо с места в карьер:

— Там у тебя Белохатко еще не сбег? Ты вот что, подготовь на этого чевовечка матерьялец.

И разъяснил:

— Твой бригадир замешан. Ясно? Обыкновенный, сам знаешь, какой бывает матерьял: разговорчики, ну, там... производственное лицо.

Кузьма Ильич не очень высоко ставил взбалмошного Лялина. Сдержанно он ответил, что «разговорчиков» слышать ему не приходилось, что Белохатко первый закончил молотьбу, перекинул агрегат и людей на тока отстающей бригады. Кстати, в чем же Белохатко замешан?

Но тут Лялин проникся важностью. Об этом он не мог сказать по телефону.

Спрашивается: зачем же было звонить?

Макаров старался сохранить хладнокровие. Но в обед частыми сигналами

вызвала его из дому машина предрика. Товарищ Семин взял его под руку, отвел к недостроенному клубу и, усаживая на бревна, сказал со вздохом:

— Вот что, голубчик, придется снять твоего хваленного бригадира.

Раскопал в портфеле подметную сектантскую записку, прочитал вслух зловещие пророчества, повернул обратной стороной:

— Чья рука?

То была рука Белохатко; на бумажке был выписан наряд на мельницу.

— Растяпа! — выругался Макаров. — Ведь сколько долбил ему — соображай политически. Кроме удобрений, урожаев, сорняков, есть еще классовая борьба. Неужто с умыслом?

Семин не захотел даже вдаваться в рассуждения.

— С умыслом или без умысла заделался твой бригадир сектантским почтальоном, — гадать не буду, и тебе не советую. Но если я, член бюро райкома, выезжаю из-за этой бумажки на место, — значит, она не лишена значения. И вообще, Кузьма, подумай, пока не поздно: не слишком ли ты самостийничаешь. Время суровое, подумай. Созывай-ка правление, а я тем временем посмотрю лес — будем заготавливать здесь для города. Да не унывай, тебя-то есть кому защитить.

XX

Макаров, действительно, приуныл, но о себе он и не думал.

Он хорошо знал Белохатко. В свое время тот не без страха свел на общую конюшню пару крепких, выносливых коней, не без тоскливых оглядок вез к общему лабазу сакковский плуг и буккерную селяку. Но с течением лет он утвердился на нехоженном колхозном пути. И, может быть, именно то, что на путь этот он вступил не легкими шагами, что в новую жизнь поверил не по директиве из центра, притягивало к нему других, тоже осторожных людей. В трудные минуты они ждали: что-то скажет Белохатко? А Белохатко вытирал платочком лысую голову, переки-

дывал гребешком, для декорации, прядку волос, и брался за карандаш.

Теперь затевалось дело против бригадира — он помогал сектантам распространять их клеветнические сплетни.

Макаров вытащил из шкафа пыльную папку с протоколами тридцатого года — в них записаны были совсем не похвальные речи крепкого середняка Белохатко. Макарова захватил азарт. Давно назрела нужда показать, что не очень выгодно путаться с сектантами, и вот — случай подвернулся. Само районное руководство подталкивало Макарова. Поддержка была обеспечена, и статья в газете тоже, и похвалы на активе.

«А как бригада?» — спросил себя Макаров и оборвался. Подумал: «Как же я могу чернить бригадира, когда знаю сам, что без него разладится дело?». И дальше: «Я сам вел этого человека в гору, все в гору, а теперь подставить ему ногу?». И наконец: «Белохатко не идиот; если он хотел помочь сектантам, — он не расписался бы на их дурацкой шпаргалке!».

Нет, дудки! Макаров не станет кружиться в хороводе из боязни отстать от других. Односельчане честно оценили его, доверив так много, и он будет честно судить о каждом.

Макаров решил поговорить с Семиным еще раз.

Но председатель рика явился поздно, когда уже шло заседание, уверенно прошел через комнатку, нетерпеливо забарабанил пальцами по столу, и Кузьма Ильич понял, что тот не отступит.

Макаров объявил, что нужно обсудить еще один важный вопросик. Протянул бригадиру бумажку.

— Твоя работа? Ты смотришь, на чем пишешь?

— На бумаге! — ответил Белохатко. — А ты мне даешь, на чем писать? Я все колькины тетрадки извел, а уж тут гербовый листок черти в своих подземельях сохранили с царского времени!

Макаров даже улыбнулся потихоньку. Выслушал бригадира до конца, строго напомнил:

— Вперед нужно быть осмотрительней. И голова дана человеку не только, чтоб шапку носить. Стыдно было бы нам по неряшеству пускать по рукам сектантские клеветы. Враждебные люди скажут спасибо распустехе, а при случае за его же счет попытаются нажать капитал.

И Макаров спросил не без намека:

— Записку-то ведь гражданину Чеготаеву послал?

И уже потом наклонился к Семину:

— Ты как, выступишь?

Семин сидел, потемневший и усталый.

Он приехал в Теплые горы веселый, воодушевленный, чтобы показать себя борцом с сектантами. Этого требовало чувство самосохранения. Он знал через Лукича, что Белохатко — случайная жертва, но это и было хорошо, а улики держал он в руках вернейшие.

И вдруг вместо Белохатко перед ним оказался Макаров, грудью своей прикрывший бригадира.

У Семина отнялся язык. Он не посмел открыто напасть на теплогорского председателя, хотя оказался бы сильнее, потому что формально правда была на его стороне и он знал, где искать поддержку.

«Дело Белохатко» провалилось.

Макаров, пользуясь общим благоприятным настроением, повел речь о культурно-просветительной работе.

— Люди мы богатые, к нам вода чуть не в чугуны сама приходит, мы должны жить так, чтобы Теплые горы гремели на весь СССР.

Макаров метил достроить до наступления холодов новый клуб и оборудовать в нем радиоузел. Но события, неожиданные, негаданные, спутали все и заставили его заниматься иными делами.

XXI

Районная газета напечатала злую и обидно несправедливую заметку. Бесфамильные «активисты» писали, будто Макаров чувствует себя в Теплых горах «царем и богом», покрикивает на

колхозников, не терпит критики, не дает ходу тем, кто не желает лизать ему пятки.

Заметка появилась в день совещания председателей колхозов, и Макаров прочитал ее уже в городе. Сперва он не очень расстроился. Подобные нападки случались и прежде. Обычно дело кончалось тем, что редакция посыпала в Теплые горы своего сотрудника и свежие следы дегтя еще более размашисто замазывала медом. Но из разговора с редактором Макаров понял, что на этот раз дело было не в самой заметке, а в чем-то другом.

Редактор в Подгорске был 25-летний человек, рыжий, худущий, напыщенный и шумливый. Он со времени сплошной коллективизации не вылезал из выцветшего френча, в больших нагрудных карманах которого носил половину редакционной канцелярии. С шутливой почтительностью его называли «наш Поликарпыч».

— Ты, товарищ Макаров, человек наш, — заговорил редактор словами Пустовойтова, которому подражал во многом. — Но тебя кой-кто ведет на поводу.

— Это кто же? Не иначе — твои «активисты»?

Редактор нахохлился.

— Проезжаться насчет селькоров не советую. Не делает это чести большевику. Ты лучше подумай, нет ли у тебя промахов по крупнейей тех, за которые мы тебя критикуем.

— А если есть, вы бы и критиковали за крупные.

— Ну, товарищ Макаров, знаешь, так мы долго не договоримся. Не забывай — газетка не, какая-нибудь, а орган районного комитета партии.

Обиженный редактор окликнул агронома и пошел с ним за кулисы, а Макаров остался один у окна, в фойе районного Дома культуры.

Совещание сорвалось. Предполагалась лекция ученой знаменитости, но знаменитость не приехала. Второпях — лишь бы не очень ворчали оторванные от дел председатели — Пустовойтов сделал информацию о предварительных итогах соревнования колхозов на уборке.

Он даже не снял желтого прорезиненного плаща, в котором казался еще ниже ростом и еще солидней, чем обычно. Он сообщил, что переходящее знамя присуждено артели «Прогресс», хотя по урожайности ее обогнали Теплые горы. «Снять высокий урожай — это еще не все, — сказал Пустовойтов. — Мы боремся за большевистские колхозы». Дальше секретарь райкома заговорил о некоторых руководителях некоторых колхозов. Они, эти руководители, вместо политической работы увлеклись водопроводами, дали волю сектантским подпевалам и докатились до попыток саботажа хлебопоставок.

Макаров все время сидел, как на иголках, а когда секретарь сказал о саботаже, не выдержал и выкрикнул с места:

— Это что же за руководители такие?

— Говорят, на воре шапка горит, — невозмутимо обмолвился Пустовойтов и продолжал информацию.

Секретарь еще долго говорил, но Кузьма Ильич уже ничего не мог взять в толк. Дождавшись своего времени и выйдя на трибуну, он потребовал, чтобы ему открыто предъявили обвинения.

— Откуда взялся саботаж хлебопоставок? — спросил он. — Было разрешение области открыть глубинный пункт в Теплых горах. Потом поступила новая директива. И только из-за этой путаницы мы не успели вывезти хлеб на элеватор... Теплые горы знает каждый крестьянин в районе, нельзя этот колхоз мимоходом обливать грязью.

Тяжелые щеки Пустовойтова побагровели.

— Райком давно замечает — тебя испортила слава. Ты хочешь, чтобы мы создавали тебе дутый авторитет, но мы на это не пойдем...

— Не меня, а колхоз обливают грязью, — упрямо повторил Кузьма Ильич. Пустовойтов не дал закончить мысль.

От всей перепалки у Макарова осталось тягостное впечатление.

В дверях он подкараулил Бибича. Председатель «Прогресса» сидел в президиуме и ни разу не поднял на Ма-

карова глаз. Теперь Макаров хотел лишь узнать мнение соседа о глубинном пункте, но не удержался и съехидничал:

— А все-таки соревнование ты, товарищ Бибич, в кабинетах начальства выиграл. В поле — оно трудней...

Они отошли за пальму, к бильярдному столику у окна. Бибич отворачивался. Похоже, ему было неудобно за свой праздничный вид. Он старался спрятать и свежий, разглаженный галстучек, и распушенные усы.

А Макарову захотелось побольней уязвить соседа:

— Все же мог бы ты выступить. Ведь насчет глубинки ты знал. Скажи, положи руку на сердце, кто первый откосился? А? Не нравится? Я тебе один раз начал правду-матку резать. Хочешь, доскажу? Коммуна твоя стала вроде приусадебного хозяйства для наших руководителей. Куда коммунары первые арбузы везут? Товарищу Пустовойтову. Для кого безо времени меду накачали? Для товарища Семина.

Макаров увидел, что переборщил. Бибич удивленно приговаривал: «Ага. Ага». Выслушал до конца и принялся отчитывать:

— Я тебя прежде не считал пустомелей. Тебе у коммунаров учиться надо, где «а», где «б», а ты хвост распустил, как индюк. Хотя бы и накачали коммунары меду, — для своих ведь советских руководителей. Коммунары, запомни, и думать себе не позволяют ссыпать хлеб подальше от элеватора.

Наговорив друг другу грубых укоров, председатели вышли порознь. Макаров отправился искать ночлег — у него оставались дела на утро.

XXII

Он вошел в ворота между двумя магазинами.

На плохо замощенном дворе темнели лужи, пахло от них гнилью. А дальше — за флигелем — теснились сады, огороды, и широкая река охраняла их сон. Макаров заглянул из садочка в открытое окно: Зайцев сидел, сгорбив-

шись, зажав коленками детский ботинок.

— Все на сорванцах горит, к сапожнику не набегаешься, — пожаловался второй секретарь райкома, вколачивая в каблук граммофонную иглоку. — Входи. Что так поздно?

За ужином — хлеб с колбасой и теплый чай — Кузьма Ильич ждал, не заговорит ли хозяин про совещание. Не дождавшись, спросил: за что рассердилось начальство на Теплые горы?

— А именно?

— Именно? Опять говорю: не меня, а колхоз позорили. И хоть бы за дело! Переходящее знамя — это уж ладно. «Прогресс» — он ближе, дорога туда столбовая, на машине едешь, небось, не качает...

Зайцев признался, что он не в курсе дела.

Макаров с радостью открыл свою обиду свежему человеку. Зайцев молчал — и это было похоже на поддержку. «Хороший человек, простой, — подумал от Зайцеве Кузьма Ильич. — Только вот малоавторитетный».

И Зайцев словно бы отгадал его думы, обидчиво повторил:

— Ничего я не слышал. Вот и ты: ночевать — так к Зайцеву, а приедешь важные вопросы решать — побываешь у всех, кроме Зайцева.

Это походило на правду.

Макарову показалось неудобно теперь искать у Зайцева сочувствия, он заговорил о житейских пустяках, но Зайцев через некоторое время сам спросил:

— Ну, что за катавасия происходит у тебя в Теплых горах? И как это вдруг — проштрафился Белохатко? Уж если таких крепких мужиков будем терять, — головы нам всем открутить, и то мало.

Зайцев вспомнил, как он был уполномоченным на посевной и жил в бригаде Белохатко.

— Это же не человек, а трактор ЧТЗ! — восхищался он. — Ничем ты его не остановишь. У него и люди, и даже лошади напролом все берут. И ведь все молча делает, и ничьих похвал не ищет, и в рот ни к кому не загля-

дывает. Сам подсчитает, сам сделает! Правильно говорит Семин — бригадир ошибся с запиской. Тут уж, признайся, твоя вина. Не разъяснял.

Кузьма Ильич был доволен, что Семин оставил бригадира в покое. Но почему он так энергично нажимал вна-чале?

Макаров не мог молчать. Слишком много произошло за последние дни такого, что вызывало тяжкое недоумение. А уж слушатель Зайцев был отличный! Он не страдал раздутым самомнением, слушал людей с живым интересом, вникал в их душу, а не разыгрывал чуткость. И волновался. «Но это же безобразие: сами напутали, а колхоз наказываем» — думал он по поводу глубинного пункта и переходящего знамени.

Подогрели и распили еще один чайничек. Кузьма Ильич показал Зайцеву, как делать из спичек сапожные шпильки.

Хозяин уложил Макарова на кочкастой кушетке у порога. В углу стояли за ширмой супружеская кровать и детская коляска, а по обе стороны ширмы — еще две кровати и помост из стульев. Вразнобой дышали четверо маленьких «зайчат». Семьица!

— Извиняюсь, ты, кажись, из металлистов будешь? — спросил Зайцева Кузьма Ильич.

— С чего ты вздумал? Нет, брат, мой отец банщик был — вот кто.

— Так. Тоже работа хорошая, уж чистота кругом, — в смущении отступился Макаров.

Помолчали.

— Ох, и серьезные приближаются времена, — тихо, чтоб не помешать спать, заметил Зайцев.

— Нешуточные, — отозвался в темноте Кузьма Ильич. Не могли они — два коммуниста — уснуть, не коснувшись политики! В особенности Макаров, у которого в Теплых горах не было собеседников, сведущих в политике. — Времечко — так уж времечко. Думаю я про троцкистов. Знаю: давно велась борьба с этими оборотнями, всякие были разногласия. Ну, а все же — в чем самая сердцевина? Своим умом я

так соображаю: главное всего вопрос об одной стране.

— Ну, ясно.

— Если уж мы прошли через огни и воды и победили, то и должны показать всему свету коммунистическую жизнь. Вот она какая — глядите!..

Макаров прислушался. За окном, во тьме, шумело: то ли дождь, то ли ветер.

— Подумаешь — сердце заходится: какой же красоты и силы может быть наше государство социалистическое! А? Не спишь, Зайцев?

Зайцев не спал. Когда гость упомянул троцкистов, секретарь разволновался. Много было об этом передумано, много накопилось в душе.

XXIII

Зайцев еще комсомольцем приехал в Подгорский район строить колхозы. Парня, смиренного и не тщеславного, угворили поработать в сельском кооперативе: «торговля — немаловажный участок нашей борьбы»

Он взялся за дело усердно. Его перебрасывали из деревни в деревню и лет через пять взяли в районный потребительский союз. Здесь матерые жулики едва не втокнули Зайцева в тюрьму, растащив из-под его рук тысяч на двадцать товаров. К счастью, следователь копнул глубже, чем они рассчитывали. И тут открылись чрезвычайная честность Зайцева — за все годы он не присвоил и осьмушки табаку — и его детски-чистая преданность своему широко понятому долгу. Председатели колхозов горой вступились за кооператора, который был их правой рукой — делал доклады, подсчитывал трудодни, а в тяжелые времена и пахал. Понравился тихий Зайцев и только-что приехавшему в Подгорск Пустовойтову, и вскоре партийная конференция избрала бывшего кооператора вторым секретарем райкома.

Коротко остриженный, белобровый, в мешковатом сюртучке, Зайцев аккуратно к девяти приходил в райком и добросовестно тащил двойной воз рабо-

ты — за себя и за Пустовойтова: первый секретарь, презирая будничные труды, оставил за собой лишь общее руководство да разговоры с посетителями, которые, зная его слабость, шли и по делу, и без нужды.

«С неба звезд не хватает» — покровительственно, как бы с сочувствием, отзывался о втором секретаре Пустовойтов. «Зайцев? Что ж... это отличный семьянин» — говаривал более желчный Семин.

Зайцева лишили всякой самостоятельности, и он видел это, подчас морщился, но, веря в опытность первого секретаря и предрика, смирялся.

Утром, как ушел Кузьма Ильич, Зайцева стала корить жена:

— Рохля ты какой-то. Тебя уж вроде мебели считают. Они решают, а ты в стороне. Если б меня дети по рукам и ногам не связали, если б я на твоём месте, — не позволила бы я так себя ватыркать.

Зайцев снова разволновался. Переходящее знамя должны были присудить совместно бюро райкома и президиум райисполкома, а тут на тебе, решили все по-домашнему.

В райкоме он сразу зашел к Пустовойтову.

— А много еще придется нам поработать с нашими кадрами, — благодушно поделился первый секретарь, просматривая газету. — Вчера опять не обошлось без партизанских выходов этого Макарова.

Зайцев глубоко сел в мягкое кресло, оперся на подлокотники. Заговорил, сдерживаясь:

— Меня, Михаил Куприянович, несколько удивляет... Мне казалось, — как член бюро райкома, я должен участвовать в решении таких вопросов. Переходящее знамя...

— Извини, Федя, — с величавой кротостью глянул Пустовойтов. — Проводил в порядке опроса и — видишь — не со всеми успел согласовать. Притом, каюсь, привык, что наши мнения всегда совпадают. Помнится, и ты считал «Прогресс» с некоторых сторон сильнее?

— Это другое дело... — заупрямился

Зайцев. Подхлестнул себя догадкой: «Уговаривают, как маленького», нервно закончил: — Решение подписывать не буду. Все равно это одна формальность. И вообще, Михаил Куприянович, нам пора поговорить серьезно. Похоже, я попал не на свое место.

— Час от часу не легче! — искренно опечалился Михаил Куприянович. — Доработались... Если я иногда не так поступаю, — ты скажи. Давай, наконец, поспорим — и это не повредит делу...

Пустовойтов по-своему любил Зайцева. Рядом с этим сговорчивым кооператором оц сам, Михаил Куприянович, был виднее. Он не хотел ссориться и стал обстоятельно, по пунктам сравнивать работу двух колхозов.

Зайцев возражал без прежней твердости. Он не видел нарочитой несправедливости в том, что переходящее знамя присудили бывшей коммуне. А защищать самого себя он не умел.

Все свелось к пустому объяснению. Зайцев поставил под решением свою подпись. «А все-таки надо будет положить этому конец, — рассуждал он. — Ведь я не сомозванец, меня выбрали, я отвечаю перед партией. И время суровое. Ладно еще, что во главе нашей организации — проверенные, преданные делу товарищи...».

XXIV

Большак был подавлен жестокостью и размахом своего собственного учения. Он плохо спал, вставал по ночам молиться. Озлобление помогало ему утвердиться в новых мыслях. Пусть постигнут людей все кары, предначертанные в «Апокалипсисе». Пускай, объятые страхом, побегут грешники в пещеры и расселины гор, пусть умоляют они горы и каменья: «Обрушьтеесь на нас и прикройте нас!».

Христофор отлично понимал, что он только в том случае соберет внушительную силу, если сумеет привлечь наряду с братьями во Христе братьев во антисоветских чаяниях. Он теперь неотлучно жил в лесном скиту, ревностно справляя все службы, с большой силой и твердостью вел беседы. Своим авторитетом

он смягчал в общине внутреннюю вражду. Келейники выказывали больше терпимости к пришлым, а те уже не насмехались над бегунским уставом. И Христофор радовался тому, что свидетели всей его жизни идут с ним.

Большак много разговаривал с Досифеем. Этот юноша, общий любимец странников, был как бы второй совестью Христофора. Для полного спокойствия большаку нужно было знать, что и Досифей с ним.

Однажды, праздничный, величавый, Христофор призвал юношу и спросил, попрежнему ли тот готов совершить подвиг. Тот ответил, что каждый день ждет знака.

— Помнишь, каялся: смущает тебя сатана картинами неистовства и веселья мирских. Сожгешь их мерзкий вертеп ночью, как все уснут.

— А люди.. успеют выбежать? — запнулся Досифей.

— Сгорят ради избавления от вечно-го огня. Пусть и другие содрогнутся. Если услышишь стенания и плач, знай, еще не отступился от тебя окаянный. Когда же удостоишься слышать радостное пение спасенных душ,—радуйся, как избранник божий. О подвиге никому не рассказывай, — грех. Не ты совершишь — спаситель твоею рукой.

XXV

Вечером Досифей на локтях залез под ракитовый куст у колодца. Пахло здесь мокрым камнем, пылью, дегтем. За колодцем стоял трактор, изливая двумя синедымными потоками свет на полевой домик, убранный зелеными ветками, цветами и красными полотнищами. Молодежь Теплых гор справляла праздник урожая.

Площадка перед домом была чисто выметена, на ней кружились пары; парни прищелкивали каблуками, девушки вызывающе смеялись. «Господи, неужели они совершают смертный грех?» — подумал Досифей и утешился мыслью, что если бы грех не казался сладким, то и соблазн был бы невелик.

Он стерег веселящуюся молодежь до глубокой ночи. Потом огни трактора по-

гасли, умолкла музыка, и поляна опустела. Женщины вошли в домик, мужчины устроились спать под ометами. Досифей слышал, как шуршали мыши в соломе, как вскрикивал во сне грудной ребенок в полевом домике. Ежеминутно ощупывал он потными пальцами спичечный коробок в своем кармане, шептал молитвы, придумывая картины адских мук, от которых он должен избавить всех этих грешников. Но решимость не приходила.

Так он пролежал всю ночь, боясь шелохнуться. Было еще совсем темно, когда кто-то съехал с омета, подошел к домику и застучал в окно.

Полевой стан просыпался. Досифей отполз в чащобу кустов и, согнувшись, побежал к лесу.

До скита Досифей добрался лишь к полночи.

Христофор ждал его на тропе. Только тут Досифей понял всю тяжесть своего послушания.

— Не поднималась рука...—признался он большаку, дрожа от страха.

Христофор повернулся и ушел, скорбный и разгневанный. Лишь через сутки он призвал юношу к себе и наложил на него суровую епитимию: ежедневно отбивать шесть лёстовок поклонов и до исполнения подвига не принимать ни пищи, ни воды.

Усталый, разбитый, ушел Досифей в келью, которую они вырыли с Харлампием. Шестьсот раз со всего роста припал лбом к земле. Шатаясь, дотащился до своего ложа и погрузился в тяжкое забытие, но ненадолго.

Очнувшись, едва владея рукой, он ощупал карман. Спички были на месте—он еще мог спастись. Рядом лежал Харлампий. Сперва Досифеем казалось, что старец спит, но потом при свете неугасимой лампы он уловил масляный блеск харлампиевых глаз.

Досифей прошептал:

— Пить...

Харлампий поднялся и принес полный корец воды. От мокрого железа шел холодящий запах. Но Досифей отстранил ковш рукой.

Харлампий лег на свое место. Корец стоял между ними, поблескивая.

— Христофор епитимью завязал? — спросил Харламий.

Досифей молча кивнул.

— Посылает на подвиг?

Досифей опять кивнул.

— Ослушайся.

Досифей смотрел непонимающими глазами.

— Не в одном Христофоре закон заговорен, — повторил Харламий фразу, уже сказанную раз на соборе. — Премудший старец Артемий не согласен. Ослушайся, пускай грех падет на мою душу. Тут водворился рябой Исидор-душегубец: нет в нем истины божией, а Христофор сам его призвал, — можно ли терпеть? На исповедь должен принимать особый старец, а не большак. Это все — христофорова ересь. И епитимью не может он завязать.

— Погибнуть в пакостях мирских грехов?

Досифею представилась вся его жизнь — бесконечное странствие среди холода и тьмы. И только далеко впереди мерцал неясный огонек — блаженство загробной жизни. Так что ж, вернуться от этого огонька?

— Нет, — решительно ответил Харламий. Потом, призадумавшись, продолжал: — Беги. Не Христофору служим, но богу. Беги в леса, один, как бежали праведники, жившие прежде нас. Смерть в пустыне угодна господу. Но рук на себя не накладывай, грех. Лучше умрешь от голода.

— Трудно, — прошептал Досифей.

— Жизнь наша — один миг, — ответил Харламий. — Беги. Да не запятнаешь рук своих кровью братьев своих — человек, хотя бы и заблудших.

— Кабы родители были у меня в миру, — с тоской сказал Досифей.

— Молчи, — остановил его Харламий. — Молчи и не думай об этом. Великий грех. Беги, говорю, душу свою спасай.

— Когда?

— Сейчас. Пока не ослабел от поста.

— А ты?

— Христофорова ересь не опасна для меня, я умру в келье.

Досифей решил. Старец благосло-

вил его нетвердой рукой и трижды поцеловал в лоб.

Выбравшись наружу, несколько минут юноша стоял, бессильно прислонясь к дереву. Потом побрел вперед, сам не зная, куда. Днем он набрал грибов, подпалил на костре и съел их разопревшую, дымящуюся мякоть. У него был целый коробок спичек. И он стал жить в лесу, ночуя всякий раз на новом месте и питаясь грибами, ягодами, желудями. Иногда, оказавшись в знакомых местах, ночью он подходил к бекляшевскому колхозу, но с рассветом убегал. Силы его истощались с каждым днем. Но он был молод, и смерть не решалась приблизиться к нему.

XXVI

Этот новый удар — бегство Досифея — Христофор перенес молча, не ища утешителей. На возвращение юноши он не надеялся. Молил бога об одном: поскорее настигла бы беглеца смерть. Хотя странники, возвращаясь в мир, не выдают своих единоверцев, Христофор все же опасался. Но горше страха была для большака мысль о неполноте его власти.

Сказавшись больным, он ушел из скита. Уныло шагал он лесной тропой. Сквозь ветки деревьев просвечивало беспринято-серое небо. Знакомые поляны поблекли, раздвинулись вширь и стали доступны ветрам.

Лесника Христофор не застал. Зашел с огорода в простенок, пробрался через подпол в сторожку и, хотя еще не сгустились ранние осенние сумерки, лег за занавеской на кровать. Спал он плохо, все ждал Лукича, а зачем — и сам не знал. А лесник где-то запропастился, так и не приехал. Весь следующий день Христофор валялся на постели или бродил по сторожке. Он даже не истопил печку, довольствовался хлебом и водой, хоть и любил вкусно поесть. Он чувствовал себя разбитым, его не тянуло в тайную келью, к Марусе Пестриковой.

Лукич явился подвечер, кроткий, румяный, развел на шестке огонь, поставил варить щи и компот, а сам уселся

в переднем углу с вязаньем. Спицы быстро замелькали в его руках, слабо стуча.

Христофор сидел тут же, темный, всякую минуту готовый вспылить.

— Беда с девчонкой-то, — приступил было Лукич. — Ты нарочно, что ль, лез не закрываешь, допускаешь ее в простенок? Бежать хоть не пробовала — боится, а ведь и мне страшно. Ну, как закричит да на беду люди будут? И вонишша пошла.

— А ты петлю накинь, да и удави! — перебил Христофор вызывающе.

Лукич смиренно отвел глаза и умолк.

Христофор сам видел — все складывалось скверно. Кабы он знал, что девчонка окажется такая дикая, — пускай бы лучше погибала в миру. Думал, что она, как другие, будет заботиться об его покое, а она не покорялась. Может быть, он постарел? Все, все складывалось скверно. С тяжелой завистью смотрел он на Лукича. Вон он вяжет шерстяной чулок в красную и белую полоски, и, кажется, одна у него забота: не спустить петлю, не сделать полоску шире другой. Силы в нем непочатый угол, коли умеет довольствоваться малым. Такому что! Провались все — он выживет. «А я уж не могу, как он, — казнил себя Христофор. — Я все перепробовал. Езжал на карих и на вороных, видал и старых, и молодых. Берусь за такое — люди от меня шарахаются. А к чему это все? Достукаюсь, поймают меня, как бездомного кобеля, крючком, кинут в собачий ящик — и делу конец...».

Молчал Христофор, молчал и Лукич. Чуял хитрый: чуть только тронь, ударится большак в самоунижение. А человек, назвавший себя слабым, в самом деле становится слабей.

И только когда Христофор переболел, перемучился и усталый потащился к кровати, Лукич вошел следом за ним за занавеску и исподволь стал рассказывать кое-что, что должно было поднять в большаке дух. Сказал о раздорах у безбожников, о близкой войне, о том, что уже весной, если не раньше, придет час осуществить заветные пророчества. И в Теплых горах ожидаются

перемены — станет посвободней дышать. Нужно напомнить верующим про бога и его кары, пускай помогут спихнуть Макарова.

Условленный стук в ставень помешал Лукичу закончить мысль. Лесник подкрался к окну, долго прислушивался, прежде чем подать голос. Ему ответил из тьмы Чеготаев.

Александр Петрович вошел промокший, забрызганный грязью. Снял сапоги у порога, кинул в угол портянки и босой направился к столу, оставляя на полу влажные следы.

— Доконали, до края довели, — простуженно хрипел он.

Лукич поставил на стол жирные, прямо с пылу щип, и Чеготаев с жадностью набросился на них. Он наклонился, чтобы ближе носить ложкой обжигающую жидкость, и, пока не наелся, ни разу не вытер бороды и усов.

Лукич ласково, по-бабьи угощал его. Тут же сидел и Христофор. Когда Чеготаев вытер хлебным мякишем губы и положил ложку на стол, Лукич осторожно понукнул:

— Ну, не томи нас, скажи, какая беда стряслась? На тебе прямо как черти катались.

Чеготаев отмахнулся рукой.

— Велика важность — черти. Тут сели на шею — в сто раз похуже чертей. Уже и домашних взбулгачили. Варвара нынче, не сказавшись, уехала с кооператором в город. Видишь — дела приспичили. И маленького с собой захватила. Будто я ей не муж, а ему не отец. У-у, вертихвостая! Взял бы я тебя за космы — да кнутом как зачал обхаживать. — Чеготаев даже кулак сжал, словно черенок кнута был уже у него в руке.

Лукич тихо глянул на медную иконку в углу и заговорил, постепенно воодушевляясь.

— Беру божью мать во свидетельницы — недолго осталось терпеть. Скоро все пойдет вспять. Расчесет Христофор Иванович свою бородищу, на тройке будет развезжать по Россин, как архимандрит. А ты, Чеготаев, коженный завод построй, а мало одного, поставь два, три, четыре. Макаров,

коли только живым оставим, на брюхе к тебе приползет, взмолится: возьми хоть в подметалы... А только не думай, выше меня не пойдешь. Я хотя и мужичок-серячок, а уездом управлять сумею, а мало уезда—губернией. Вы не смотрите, что Лукич сер; он политическое понятие имеет. Читал ли ты, Александр Петрович, Чайнова? Небось, ни сном, ни духом не слыхивал. А я, возможная вещь, наизусть его книжицу знаю. Называется «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Для отвода глаз подпись—Иван Кремнев. Хочешь, буду читать, как стишки? «Правые коммунисты остались победителями ценой установления коалиционного правительства». В двадцатом году так писал. Хотя сроком ошибся, ждал раньше, а будет это, уже началось. В 1934 году ждал он уничтожения городов. Опять ошибся, а будет и это. Мужик встанет за нами, поднимет города на вилы... Вы не смотрите, что Лукич прост. Не помню, в какой книжке читал разумные слова: будьте просты, как голуби, и хитры, как змеи... Однако компот остыл, отведаем?

И Лукич захопотал у стола. Молча выхлебал свою тарелку компота и, пристроившись на скамейке, стал медным пестом разбивать косточки. Лишь время от времени он вскидывал колючеживые глаза, будучи не в силах вполне подавить страсти.

Цели своей он уже достиг—настроение сообщников поднялось. Чеготаев сам сказал, что до света вернется домой—никто не должен узнать об его отлучке. Еще недавно мельник без ума бежал из опустевшего дома, а теперь спокойно оделся, попросил прощения за минутную слабость и вышел.

Христофор же достал с божницы два пузырька чернил и стал сочинять послание. Красными он выводил заглавные буквы, зелеными—строчную славянскую вязь. Тонкую ученическую ручку он держал не щепотью, а старобрядческим крестом, вытянув средний и указательный пальцы. Еще в молодости он доказал в большом трактате, что держащие перо никонианской ще-

потью не спасутся. Истина, создачная им самим, стала для него святой и непререкаемой.

Он снова сознавал себя хотя затравленным, но необоримым пророком.

XXVII

Как только колхоз закончил вывоз зерна, Макаров поехал в райком. Он хотел доказать, что хлеб в Теплых горах был задержан без всякого умысла. Пустовойтов слушал неохотно и настойчивость Кузьмы Ильича приписал пустому тщеславию.

Бекляшевцы порожняком машину в город не гоняли,—всегда находился груз. На этот раз в город привезли картошку, обратно решили захватить керосин для кооперативной лавки.

Обычно Ванюшка ждал Макарова в переулке возле райкома партии. Но сегодня Кузьма Ильич освободился слишком рано и не нашел машины на условленном месте. Он отправился на нефтебазу. Старик-сторож, строго оставивший его у ворот, оказался добродушен и разговорчив. Он видел: бекляшевский грузовик прошел в сторону вокзала.

Нежилым, плохо освещенным переулком Макаров пошел к станции. За высоким забором тревожно переключались рожки стрелочников.

На круглой вокзальной площади стыл на ветру унылый садик с пустыми клумбами и хилыми, неживыми деревцами. Машины не было. Макаров удивился. Что же с Ванюшкой? Он сел на сырую скамейку и услышал знакомый хриплый сигнал. Грузовик прошел по полукругую около садика и остановился перед широким крыльцом со сбитыми ступеньками. Двое носильщиков сняли с платформы сундук и корзинку, а вышедший из кабинки человек сунул что-то Ванюшке в руку и побежал открывать носильщикам дверь.

Ванюшка считал деньги, когда подошел Макаров.

— Сколько? — кивнул Кузьма Ильич.

— Пятнадцать, — Ванюшка зачем-то стал пересчитывать пачку снова.

— Ловко. А ты, выходит, расторопный малый. Добычливый.

Ванюшка услышал в голосе Макарова негодование. Все еще держа бумажки в руке, он стал оправдываться.

— Я тут недалеко. Коляску охота поскорее купить, а денег нехватает. Очень хорошие продают детские коляски — низенькие, на рессорах.

Дорогой Макаров не заговаривал о деньгах. Ванюшка тоже. Он не считал себя преступником. Подумаешь! Все шоферы работают «налево». А у него и причина есть — Макаров мог бы понять. И то вспомнить — он наездил 50 тысяч километров и ни разу еще на средний ремонт не ставил машину. Пускай поищут другого такого шофера!

Пока председатель молчал, Ванюшка петушился. Но за паромной переправой Макаров спросил, скоро ли будет комсомольское собрание, и шофер сразу помирнел.

— А что такое? — спросил он тревожно.

— В текущих делах поставьте мое выступление. Пускай комсомольцы сами обсудят — красиво ли гонять на колхозной машине ямщину и денежки прикарманивать...

Ванюшке стало необыкновенно трудно управлять машиной, почти как в дни ученичества. Он должен был сосредоточить все внимание на дороге, руле и педалях. Но понемногу самообладание вернулось, и он заговорил трезво и рассудительно, скрывая свою растерянность:

— Можно поставить, пожалуйста. А только, думаю я, не на пользу это выйдет. И так в колхозе разброд, все крысы из нор повывезали, а мы еще друг дружку грызть возьмемся.

Макаров посмотрел на него с долгой кривой усмешкой.

— А по-твоему как? Они сколачивают свою шайку-лейку, а мы для успешной борьбы организуем свою и тоже займемся растащиловкой?

Ванюшка не осмелился продолжать разговор в захватском тоне, попросил жалобно и просто:

— Не надо, товарищ Макаров. Боль-

ше сроду не буду. Пригодится и тебе моя дружба. Факт.

Но Макаров ответил холодно:

— Мне покупной дружбы не надо... Так вот, позаботься о кворуме. Даю тебе задание, как партприкрепленный...

Утром к Макарову пришла Галя, осунувшаяся, почти больная. Она всю ночь не спала. Если бы не ребенок, она уже собралась бы и уехала к маме. Какой позор! Ведь она лелеяла мечту, что ее семья будет идеальной, новой, советской семьей... И вдруг — муж ворует деньги на коляску для ребенка. Они поистратились на обстановку, это верно, и коляски появились в Подгорске модные, но она могла бы и подождать, даже смирилась бы с зыбкой.

— И все-таки, товарищ Макаров, зачем публично казнить человека? Ванюшка сказал мне, он за все время заработал 140 рублей. Он не врет, ручаюсь вам. Ну, пусть он внесет деньги в колхоз... Ну, забудьте на минуту, что вы председатель, член партии и все такое. Поймите меня, как человека.

— Но я тоже человек! — прервал Макаров и продолжал осторожно. — И у меня тоже есть свои, как вы говорите, идеалы. А деньги — неправильные, колхоз не может взять их...

Макаров вынес все наружу, хотя и ему было нелегко.

XXVIII

В детском саду рассказали питомцам о войне в Испании, потом о советских пограничниках. И что тут началось! Мальчишки с тех пор играли только в войну, спрашивали родителей только об оружии. Васек, ребенок впечатлительный, не давал отцу покоя.

— Папка! Папа! Тут у меня граница! — кричал он с кровати. Складка одеяла была границей. — Знаешь, папа, пограничник сделал загородку! С калиткой! Догадался! Как враги лезут, он в них стреляет.

— Молодец пограничник!

Поля сидела в сторонке и улыбалась. В горнице было чисто, жизнь шла чинно, спокойно, она чувствовала, что Кузьма любит и ее, и сынишку, и была

счастлива. «Господи, приведи его на свой пугь, — молилась Поля за мужа. — Пускай все сгинет: и председательство его, и людской почет, — лишь бы он нашел тебя, господи, и любил нас с Васьком».

Васек еще не угомонился, когда вошел Мокеев. Это был невысокий и слабого сложения человек. Он страдал почечной болезнью и всегда — в жару и в стужу — потел; на этот раз от пота, стекавшего с лица, взмокла под дождевиком его фуфайка до самой груди.

— Овечка пала, — сказал Мокеев, притронувшись к шапке.

— Которая? — спросил Макаров.

— Ну, ухо было порванное.

— Кашляла?

— Ну, да.

Приходилось ехать.

Макаров взял с собой старика-пчеловода, который понимал кое-что в скотских болезнях. Путь до Демьяновского хутора показался ему на этот раз далеким, Орлиная гора — слишком крутой. Приехали, зажгли фонари — и прямо к овцам. Испуганные животные сбились так тесно, что спины их образовали сплошной войлочный вал. Глаза светились, как стеклышки в лунную ночь. Дежурный скотник, потомственный пастих, осторожно, вполуприсядку, пошел к животным, потом бросился в самую гущу стада и вцепился обеими руками в курчавую шоколадную спину овцы. Стадо перекатилось в другой угол просторного сарая.

Овца учащенно дышала. В ноздрях ее была мокреть.

— Глиста, — убежденно заявил Тимофеич.

Макаров опешил. Он знал болезнь, именуемую в крестьянстве легочной глистой и овечьей чумой. — она выкашивала целые стада. В легких овцы появляется глиста, она быстро размножается, истачивает живую ткань. Овцы кашляют, заражая пастбище, корма, скотный двор.

— Уж ты ляпнешь тоже. — запротестовал Макаров. — Откуда эта пакость возьмется?

Он не хотел верить. С какой настой-

чивостью уговаривал он общее собрание выделить деньги — и немалые деньги — на покупку тонкошерстных овец. Он наобещал золотые горы...

Во дворе осмотрели павшую овцу. Тимофеич и на этот раз определил: легочная глиста. Решили отобрать и перевести кашляющих овец в особый сарай. До самой полуночи ловили испуганных животных и таскали через скотный двор. Отбрали двадцать голов.

Тимофеич перекрестился:

— В добрый час. А нам пора по дворам. Трава соломы зеленее, утро вечера мудренее.

Утром приехал ветеринар и подтвердил догадку Тимофеича. Правление, по требованию районных организаций, сняло Мокеева с работы — за недосмотр. Слабый здоровьем, несчастный в личной жизни, Мокеев жил одной только фермой. То, что он заведует таким хозяйством, уравнивало его в собственных глазах с людьми удачливыми. Он так настойчиво просился хоть в сторожа при ферме, что в конце концов Кузьма Ильич, веря ему в душе, пошел на риск и согласился.

Дождливая, холодная погода разжигала заразу. В течение недели пало пять овец. Пришлось отделить от общего стада еще сорок голов, но каждое утро тщедушный Мокеев находил новых кашляющих красавиц-рамбуле. Нужно было тепло, нужен был сухой воздух. Мокеев предложил сложить в овчарнях печки и не уходил с фермы, пока трубы не задымили. Но эпизоотия разрасталась.

XXIX

Осенние соки увлажнили подкожный слой деревьев, береста стала отделяться легче, и Мотыка спешил запастись ею на зиму. Теперь он с утра до ночи орудовал длинным ножом дегтекура. Холодные капли, осыпаясь с голых веток, струились по его лицу. Он утирался мокрым рукавом.

Мотыка любил лес, любил спокойную силу деревьев, их медлительный шум, любил не только в сухую, теплую погоду, но и в дождь, в стужу, когда при-

ходило у костра отогреться, а то и ночевать, загородившись от ветра стеной из веток и дерна.

Вечером, когда Мотька развесил посушить мокрую одежду и сидел, помещивая ложкой в котелке, на огонь выехал на крохотных беговых дрожках лесник. Дегтекур встретил гостя неприветливо, но тот словно бы не заметил. Присел рядом с Мотькой на корточки и, потирая перед огнем свои гладкие, крепкие ладони, заговорил:

— Живешь, не тужишь? Что ж, я тебя не осуждаю, Матвей Семеныч. Даже с Христофором Ивановичем я через тебя не поладил. Хотел он поддержку от тебя получить: хотя бы, говорит, дегтю накурил боченок, — в городе все продать можно, а я заступился, хотя деньги нынче, ох, как нужны, дела затеваются великие. «Матвей, говорю я Христофору, не хочет за вас пропадать». Правильно я твой интерес понял?

Мотька неопределенно кивнул головой — понимай, мол, как знаешь.

— Но только, Матвей Семеныч, и твой интерес хоть самую малость должен уважить. Тоже и они опасаются: знает человек много, а прячется; думают, как бы не подвел под монастырские стены. Верно? Тут уж получается — кто вперед предаст. А зачем нам такой? Вот я и говорю Христофору: пускай Матвей Семеныч вам без риску поможет. И нуждишка как-раз случилась. Тут они печку сложили на Сорочьем острове, деготь курить хотят, праведными трудами добыть корку хлеба, а до конца довести смекалки нехватает. Я до них не очень касаюсь, а все же слышать приходится. Я и говорю Христофору Ивановичу — неужели уж Матвей не почувствует? Там и работы — тьфу! Не по вкусу сказал? Смотри сам. Там, на острове, и нет ни души, никто не увидит, и все припасено. А не нравится — смотри сам...

Лукич уехал, смиреннейше чмокая на лошадку, а Мотька, раздосадованный, расстроженный, долго не мог заснуть.

Хуже всего было то, что ему не пришлось ни поругаться, ни пригрозить,

потому что Лукич как будто принимал его сторону и ни к чему его не принуждал, а только рассказал все и уехал. Решай, говорит, как знаешь.

Решать же Мотьке было трудно. Он не хотел путаться с этими святошами. Но если отказаться, — вдруг кудрявый дьявол однажды явится при Насте? Сказать ей обо всем самому? Но Мотька слишком много знал, чтобы быть откровенным. И к тому же он не был уверен, что она ради любви и счастья в семье покроет его. Выходило, что лучше всего оказать христофоровцам маленькую услугу — и пусть катятся от него ко всем чертям.

Утром Мотька вышел к реке, разделся, перебрел на пустынный, кустарником заросший Сорочий остров, разыскал там плохонькую, в земле вырытую печь и невмазанный котел и в течение двух дней наладил все, как полагалось.

XXX

Настя все еще работала в поле.

Трактор перетащил сложную молотилку к двум последним скирдам. Колхозники из бригады Белохатко поставили над молотилкой навес, сняли со скирда верхние ряды снопов, чтобы просушить их, как только прояснится, и молотильный барабан взревел, давась колосьями.

Земля вокруг была уже распахана, но трактора работали еще близко, и стоило отойти от грохочущей молотилки, как уже слышен был их ровный и торопливый гул.

Настя часто прислушивалась. Знаменитый бригадир тракторного отряда тукшумский комсомолец Свиридов был ее первым женихом, — в свое время Степан расстроил их свадьбу. «А что, если б Степан тогда задержался в городе?» — загадывала Настя. Она знала, что Свиридов давно женился и живет со своей избранной дружно. Но Насте почему-то казалось, что с ней он был бы счастливей и что он должен жалеть о ней.

Иногда Свиридов приходил на ток и, разговаривая с машинистом, поглядывал в сторону Насти, но она проходила

мимо с равнодушным видом, хотя ей и хотелось поговорить с ним.

Трактористы получали горячую пищу в полевой бригаде. Как только оставалась молотилка, кто-нибудь относил им ведро со щами и миску с кашей или жарким.

Пришло время, и с обедом послали Настю. Было неудобно отказаться, и она пошла. Смущенная, подошла она к одинокому домику на колесах и крикнула в открытую дверь:

— Есть тут живая душа?

Ей не ответили. Она поднялась по ступенькам, чтобы поставить посуду на стол. В углу на полке сидел заспанный, осоловелый Свиридов, только-что опустивший на пол ноги.

— Ночью подменял тракториста, — прохрипел он, глядя в пол. Он не поздоровался, — может быть, боялся, что она не ответит.

Настя поставила ведро и миску. Она смотрела на Свиридова с уважением, но ей хотелось представить на его месте Мотьку. Хотелось вот так же войти к Мотьке — к знаменитому и всеми уважаемому человеку.

Свиридов удивился, что она не уходит.

— Можно тебя поздравить с законным браком? — сказал он. — Хорошо живете? Присела бы, отдохнула.

Настя села на край полки, положив руки на колени. Свиридов придвинулся ближе, зевнул и, обхватив рукой за шею, хотел притянуть Настю к себе, но она наотмашь ткнула его локтем в лицо, вскочила и прыгнула через ступеньку на землю.

Ей хотелось заплакать от злости. Так вот оно что! Она думала о Свиридове с уважением, а он искал всего лишь легкой любви. Как хорошо, что она встретилась с Мотькой — с единственным, не похожим на других.

Вечером Настя отправилась в березовую рощу, чтобы увидеть Мотьку и выплакать перед ним свою обиду.

Но Мотька был еще на Сорочьем острове. Настя устало побрела домой, на поляну, но Мотьки не оказалось и там. Настя не знала, что думать. Лишь на другой вечер она, раньше времени

выйдя к землянке, услышала мотькин голос. Она вбежала в избушку, на ходу сорвала с головы мешок, которым закрывалась от дождя.

На постели сидел оборванец в размокшей фуражке, в калошах, прикрученных к ногам веревками.

Увидев Настю, он вскинул руку и быстро запричитал:

— Грядет, грядет, грядет. Весь в шерсти, пасть смрадна, глас рыкающий. Заблеет по-козьи, залает по-песьи. Бергитесь, люди, грядет Люцифер.

Настя молча убрала подальше от оборванца горшок с картошкой и стала с силой бросать в печку поленья, каждым своим движеньем показывая Мотьке, что не намерена терпеть непрошеного гостя. А гость продолжал бормотать.

— По-ленински живешь, сестрица? Ан, Ленин велел бороться с природой, а бы взялись брехать, думаете: природа — горы да пески, а природа в нас самих. Ленин велел бороться с чувственным бесом, и конституция то же велела.

Настя подбоченилась крепкими руками.

— Поговори у меня! — бросила она предостерегающе.

Растопырив навстречу ей пальцы, юродствующий продолжал с жаром:

— Не поняли конституцию, не поняли. Есть на Кавказе снеговая гора, — никто на нее залезть не мог. Как поймут конституцию, тогда залезут. Призовет господь мертвецов на страшный суд, встанут сохранившие девство свое по правую сторону конституции, женатые же и блудницы по левую, и вострубят архангелы... Не поняли конституцию...

Настя толкнула ногой дверь и скомандовала:

— Брысь, сатана! Ты какие слова поганым языком приплетаешь?

— Вижу беса, на плече твоём сидящего. Он, он соблазняет, — тянулся к ней юродствующий.

Тут Настя выхватила из печки березовый кругляш. Прорицатель прямо с порога нырнул в мокрые кусты. Настя едва успела швырнуть вслед ему полено.

— Вот навязался идол, попрошайка, зараза его возьми! — выругался Мотька, когда Настя закрыла дверь. — Явился, куда не просят, накорми его да напои.

Настя молча стала собираться.

— Ни одна шкура больше ко мне не подлезет. Завтра всему конец, — продолжал Мотька. — Ты куда же?

— Завтра и поговорим, — бросила Настя.

Она накинула на голову мокрый мешок и скрылась в сумеречном лесу, за частой сеткой дождя.

XXXI

В выходной день Семин пришел к секретарю райкома. Хотя было уже за полдень, Пустовойтов сидел у письменного стола полуодетый, со свисающими до пола подтяжками, в чулках на босу ногу и пускал по наклонной дощечке игрушечного бычка. Бычок шел, раскачиваясь, его круглая голова с большими глазами выражала глупость и самодовольство. Маленькая дочка секретаря райкома хлопала в ладоши.

При виде Семина Пустовойтов недовольно поддел на плечи подтяжки и провел своей коротышкой-рукой по дочерней головке.

— Ступай, Маечка, папа с тобой игрался.

Мая ушла, капризно надув губки.

Пустовойтов молча закурил, подошел к окошку и всадил обгоревшую спичку в цветочный горшок. Он был недоволен, что Семин застал его с игрушкой.

Инертный по натуре, Пустовойтов испытывал болезненное утомление от своей работы, которая требовала непрерывного горения. Он вознаграждал себя дома, где мог часами крутить на столе детский волчок и разгадывать кроссворды. Пустовойтов раскладывал нередко и пасьянсы, хотя прятался при этом от семейных. Теперь он морщил лоб, придумывая, как бы победительней показать, что голова его все время занята делом. Семин же, заметив его недовольство, насторожился. Может

быть, у Пустовойтова возникли какие-нибудь подозрения? Он без приглашения взял на столе папироску, сел, небрежно закинул ногу на ногу.

— Я вот думаю — дьявольски мы все устаем, — заговорил он, осторожно приступая к разведке. — Не умеем беречь себя. И отдыха стыдимся, как воровства.

Пустовойтов благосклонно кивал головой. Почтительно взвесив на руке кипу газет со стола, успокоившийся Семин спросил:

— Читал краевую?

— Плохая у нас газета, разве нашей области такую надо? — ответил Пустовойтов с достоинством. — Я и редактору в глаза говорил: ни к чорту не годится.

— Газетка так себе, ты прав, а как тебе понравилась статейка насчет Гривина?

Посасывая папиросу, Пустовойтов развернул газетный лист. На его сонно-солидном лице отразилось оживление.

В статейке критиковали руководство соседнего района. Там пришло в упадок хозяйство двух передовых колхозов. Председателей газета объявила темными личностями.

— Жалко его, очень жалко, — изрек Пустовойтов, имея в виду секретаря райкома. — Хороший мужик.

— Мужик-то он не плохой, — начал Семин и замаялся, потом решительно откинулся к спинке стула и закончил: — И мы не хуже, а вот на Шипке и у нас не все спокойно.

— Без недостатков нельзя работать... — Заметив тревогу на лице Семина, Пустовойтов и сам забеспокоился: — Что-нибудь случилось?

— Так, ничего особенного. — Семин колебался. — Ты был в Теплых горах. Как там?

— К ордену твоего приятеля я не представил бы, а, вообще, ничего.

— Вот что, Михаил Куприянович, я пришел к тебе с серьезным делом. Я бы дорого дал, если бы мне позволили молчать. Но партия, она не прощает. — Семин вздохнул. — Как у Макарова на племенной овцеводческой ферме?

— Неважно. Двадцатую овцу ободрали, Кузьма бунтует: грозит судиться с совхозом.

— Он-то бунтует, ему полагается бунтовать, а ты что об этом думаешь?

Несмотря на личную неприязнь к бекляшевскому председателю, Пустовойтов ответил уклончиво:

— Если бы у кого другого случилась такая история, но Макаров... Его и в области знают. — Он тотчас поправился: — Дело, конечно, не в области, — нам дано самим оценивать людей, но у него, действительно, заслуги в колхозном деле.

— Да, это правда, — отрывисто бросил Семин. — Ничто не может поколебать нашего доверия к Макарову. Ничто. Если уж в нем сомневаться, тогда кому верить? У меня, верно, нервы пошаливают. Бессонные ночи. В шахматки сыграем?

Неподвижность Семина, его приподнятые плечи говорили об угнетенном состоянии. Пустовойтов взял его за локоть и повернул к себе лицом. Семин прятал глаза.

— Послушай, Григорий, — заговорил Пустовойтов тоном старшего. — Мы все из одного материала сделаны, но боль; шевуку не положено быть рабом своих чувств. Если у тебя появились сомнения, ты не имеешь права скрывать их.

Семин поморщился, как человек, недовольный собой, потом решительно кивнул головой.

— Хорошо, сядем.

Они сдвинули желтые дощатые кресла, сели колени к коленкам, закурили от одной спички, зажженной секретарем райкома. Пустовойтов закинул ногу на ногу. Он с гордостью думал о своем влиянии на окружающих, на того же вот Семина, а Семин тоже торжествовал, но втайне.

— Я тебя призываю не верить мне, — начал Семин. — Если бы ты рассеял мои сомнения, я был бы счастлив.

— Знаю, — ответил Пустовойтов великодушно.

— Помнишь, однажды ты высказал недовольство Макаровым по поводу выдвижения возвращенца?

— Кажется, я ошибся. Макаров говорит, тот работает неплохо.

— Я только хочу довести до твоего сведения одну новость. Говорят, этот кулак в свое время спас Макарову жизнь.

— Это проверено?

— Нет, только слух. Говорят еще, будто жена Макарова тесно связана с сектантской шайкой. Тут одно из двух: или слухи ошибочны, или мы можем попасть с Макаровым в неприятную историю. Ты понимаешь? Если это правда, все тревожные события последнего лета пришлось бы связать воедино: и исчезновение пионерки, которую не удалось найти, и падеж овец, и эти странные анархистские выходы Макарова.

Семин лгал. Он давно от самого Макарова знал и о том, как в свое время молодой кулак Демьянов спас Кузьме Ильичу жизнь, и о сектантских убеждениях Поли. Выдавая достоверные истины за непроверенные слухи, представляя Пустовойтову установить все помимо него, Семин прежде всего старался свалить с себя ответственность и сохранить положение друга и защитника Макарова. Это могло пригодиться. С видом человека, ищущего успокоения, Семин придвинул к себе наклонную дощечку и пустил по ней деревянного бычка.

Пустовойтов многозначительно постукивал по столу карандашом.

— Дело серьезное. Пожалуй, придется послать комиссию. А я все удивлялся: откуда у человека такая любовь к склокам? Взять хоть луга: вместо того, чтобы разрешить все на месте, он воспользовался первым случаем и телеграфировал прямо в обком. Так вот проходимцы и создают себе славу непримиримых борцов...

Пустовойтов посмотрел на унылую физиономию Семина и участливо похлопал его пухленькой ручкой по коленке.

— Я тебя понимаю. Конечно, неприятно. Но для нас, большевиков, успех нашего дела превыше всего. Дело серьезное, я не хочу тебя утешать, пока не проверю, как и что.

Семин еще раз пустил с горки бычка и, покосившись на секретаря, подумал: «Вот так и ты у меня, как этот бычок, шагаешь с важным видом и думаешь, что всех ведешь за собой, а я же и пустил тебя с горки. Шагай, шагай, мой милый мудрец!».

XXXII

Семин и боялся, и жалел Макарова. Он все еще надеялся видеть председателя колхоза в своей верной свите. Вскоре после разговора с Пустовойтовым Семин отправился в Теплые горы.

За последние две-три недели Макаров сильно изменился. Стоя на крыльце конторы, Семин наблюдал, как Кузьма Ильич грузно ступал по лужам и грязи. Семин спросил встревоженно:

— Уж не захворал ли?

Макаров глянул на него из-под неподвижных бровей и на ходу пожал протянутую руку. Войдя в свою комнату, он устало опустился на стул.

— Есть немножко. — ответил он медленно, — похоже, хвораю. Чую я, будто капканы кругом меня расставлены. Да не попадусь, враки.

Семин отрывисто засмеялся.

— Такая болезнь действительно существует. Психическая. Называется она манией преследования.

— Вот-вот. Но у меня на нее есть другая мания: не сдаваться.

— Ишь, как закрутил! Узнаю тебя. Стало быть, ты здоров, Кузьма!

Макаров угрюмо ответил на ласковое оживление гостя:

— Об овцах я написал прокурору.

Лицо Семина вытянулось, но ласковая улыбка еще пряталась в морщинках у глаз.

— Напрасно! Я тебе откровенно говорю, напрасно ты торопишь события. Они могут повернуться не в твою пользу.

«Уж чем другим меня возьмешь, только не страхом» — подумал Макаров и продолжал холодно:

— Овцы заразились в совхозе, и я этого дела не оставляю.

Семин еще раз попытался перевести разговор в более спокойное русло.

— Не кипятись, Кузьма. Ты подумай: допустимо ли из-за своей горячности брать под сомнение работу лучшего в области совхоза? Совхоза, которому центральные газеты отводили целые страницы? Могу сообщить тебе на ухо: областные организации представляют Ривеля к высокой награде. Это авторитетнейший директор. Не перебивай, дай досказать. И в это самое время ты высунешься со своим заявлением. Не завидую я тебе. погоди! Если ты еще не потерял способность объективно расценивать свои силы, — отступи. Оставь эту свою землю обетованную. Запомни, я тебя ни в чем не обвиняю, но удача отвернулась, лучшая пора Теплых гор миновала... Не перебивай же, потерпи минуту. Видишь, я разговариваю с тобой абсолютно откровенно. Видишь, и люди твои оказались не так уж хороши. Ты же сам рассказывал про шофера, своего любимца. А тут еще проклятая эпизоотия тебя подвела... Короче говоря, уезжай. Не будем закрывать глаза: в своем районе теперь тебе было бы трудно работать. Но у тебя есть друзья, и свет клином не сошелся на Подгорске. Я первый помогу тебе занять достойное положение. Ты веришь мне?

Макаров, который так настойчиво перебивал Семина, теперь не ответил. Он сидел, ссутулясь, и барабанил пальцами по неровному, изрезанному краю стола.

— Ну, так что же ты скажешь? — повторил Семин.

— А мне... нечего говорить.

— Ты обиделся?

— Нет. Какие могут быть обиды. Извините, товарищ Семин, у меня охоты нет разговаривать. На ферму поедете?

Семин откасался. Он дал почувствовать, что не всегда будет так ухаживать за Макаровым. У него своих забот по горло. Он не уехал сразу, велел собрать актив и провел беседу о предстоящем Чрезвычайном съезде советов, о значении новой конституции СССР.

Тучи все больше сгущались. Даже такие друзья, как Ванюшка, отвернулись от Макарова. На собрании Кузьма Ильич разделал шофера без всякой

жалости. Правда, потом сам же взял Лобанова под защиту и не дал исключить из комсомола. Но Ванюшка рассердился и с того вечера не разговаривал с Кузьмой Ильичом.

Чеготаев все смелей глядел по сторонам своими наглыми, навывкате глазами. Сектанты видели в падеже овец кару божию и кричали об этом на каждом перекрестке.

На другой день после Семина в Теплые горы на овцеводческую ферму приехала комиссия райземотдела.

XXXIII

Странник Никодим, которого Настя так бесцеремонно выставила из землянки, приходил с поручением большака. Христофор приглашал Мотьку в первое же воскресенье побывать в сторожке лесника.

Лишь из брезгливой жалости Мотька накормил юродствующего картошкой. Дегтекур велел передать Христофору, чтобы его не ждали ни в воскресенье, ни в понедельник, что разговаривать им решительно не о чем. Но, когда Настя, разгневанная, ушла ночевать в бригаду, Мотька понял, что с сектантами надо порвать еще круче, а иначе они расстроят всю его жизнь.

Утром Мотька пошел на бригадный ток. Тропа тянулась туда через открытое поле, но Мотьке хотелось, чтобы люди поменьше наблюдали его, и он долго шел скользкой стезжкой под берегом озера, цепляясь за кусты. А когда молотилка была уже совсем близко, Мотька понял, что сказать ему нечего. И он направился дальше, за овраг, в горы, к Христофору. Ветер срывал с трубы молотильного локомотива кольца дыма и гнал их низко, по самой траве. Дым был горький и едкий.

Пока Мотька добрался до лесной сторожки, на небе открылись голубые разводья. Окруженная темной зеленью елей, сторожка была, как новенькая игрушка. Игрушечным казался и автомобиль под окнами. На его туго натянутой брезентовой крыше желтели палые листья. Рослый шофер дремал, положив голову на руль.

Не было слышно ни звука. Только серая пташка порхала вокруг машины, — может быть, она старалась увести чудовищного металлического зверя от своего гнезда. Мотька спрятался за кустом волчьей ягоды и стал наблюдать.

Дальнейшее его испугало. Не кто иной, как сам председатель райисполкома вышел из лесной сторожки и, оглядевшись по сторонам, сел в машину. Осторожно переваливаясь на ухабах, «фордик» выбрался на дорогу, стрельнул голубым дымком и замелькал между деревьями.

Мотька не решался выйти из засады, пока не увидел Христофора, уходившего через огород в лес. Не окликая, Мотька догнал большака.

— Ждал тебя не сегодня, — сказал большак, продолжая шагать между кустами. — Совесть в тебе пробудилась? Хвалю. Сомневался я, думал — лишился тебя разума господь. Удивлялись на тебя братья. Говорили: «Ударничает, ударничает, а в премию получит десять лет „принудиловки“». Как пастырь твой и друг отца, говорю тебе ныне: беги от них. Сила на силу идет, обманут они тебя, ты им не верь.

— Они мне золотых гор не сулили, — упрямо, сквозь зубы процедил Мотька. Его злила самоуверенность Христофора, сквозившая в каждом его слове, в каждом движении.

Христофор шел, выбирая место для одного себя, предоставляя спутнику то огибать пни и деревья сбоку, то отставать или забегать вперед. И говорил он куда-то в пространство, считая излишним наблюдать собеседника, — он привык, чтобы окружающие ловили каждое его слово.

— Ишь ты! Гор золотых? Они тебе дадут глиняную горку. На кладбище. Из любви к твоему отцу не отвернулся я от тебя. Отец твой приказывал блюсти тебя, как сына.

Мотьку бесил этот учительский тон. Он пришел, чтобы противопоставить сокрушающей воле Христофора свою волю, и хотел разговаривать, как равный с равным. Он остановился и заявил грубо:

— Мне за тобой ходить некогда, мне скоро ворочаться назад.

Христофор обернулся, оглядел его с головы до ног и заметил примиряюще:

— Сядем, беседы надлежит вести в спокойствии.

Большак высмотрел поваленную на-земь ель и сел на нее, привалясь спиной к другому дереву, к невысокому, раскидистому дубу. Опять-таки он подумал только о себе. Мотьке, чтобы сесть рядом, пришлось примять сапогом торчавшую из-под ели молодую поросль.

— Вот что, Матвей, — начал тем временем Большак, — звал тебя, как пастырь. Непокорно ты стал разговаривать — ну, да за это ответишь госпо-ду. Братство наше, доверие к тебе пита-ет отеческое...

— Нет! Ничего не будет! — перебил Мотька. — Не слуга я вам. Не трогайте меня больше. Я сам буду жить, как хо-чу. И печку вашу на острове ломаю!

Христофор поглядел на него с недо-умением. Положил на коленку меховую, не по времени жаркую шапку и, вски-нув голову, отчеканил надменно и угро-жающе:

— С кем ты, птенец желторотый, тя-гаться замыслил? Не отпущу тебя — и думать брось. Про себя кляни меня, если не люб, а поперек дороги не вста-вай. Вот! — он смял что-то невидимое своими сухими и ловкими пальцами и выбросил на ветер, разжав кулак.

Мотька вспомнил, как Христофор не давал ему места на тропке. С нена-вистью подумал: «Этак же ты, дьявол, и в жизни места мне не даешь».

— Не мешай и ты, я тоже зубас-тый, — сказал он.

Христофор заколебался. Уж не пото-ропится ли он, так круто схватившись с этим своевольным отступником?

— Ну, разжалобишь ты меня, коли попустит господь, а дальше что? — на-чал он спокойно. — У нас одна дорога. Хотя и без твоей вины случится в ми-ру беда, — тебя же первого сгребут. Кого власть раскулачила? Демьянова Мотьку. Кого в ссылку уpekла? Опять его. Все тебе припомнят. Сколько у бабки было лошадей, коров, косилок,

вшей на гашнике, — все запишут. Ты заверешишь, аки суслик: я честный, я вам за тридцать сребренников продан. А они тебе: к стеночке поближе, ку-лацкое отродье, к стеночке! На нас скажешь — в пещерах и пустынях схо-ронимся, с нами бог, а тебе никто не заступник.

Мотька едва владел собой.

— Ничему не верю, — сказал он. — Я жить хочу.

Христофор пропустил его протест мимо ушей.

— И то прикинь в безмозглой голо-ве — сила за нами большая. Встрел на дороге машину? То председатель рай-исполкома к Лукичу приезжал, два ча-са сидел. Говорю тебе, — значит, ве-ро. Среди безбожников тоже разные есть люди. Захочу — я тебя и по со-ветским законам могу загнать, отколь ворон костей твоих не донесет.

Мотька рывком встал. Он вспомнил Настю. Она ушла, не простившись, и уж никогда не вернется, если он не разделяется с этими непрошеными дру-зьями.

— На тонкой жердочке мы с тобой встретились, — угрожающе сказал он. — Либо тебе, либо мне не устоять.

Христофор глянул на него встрево-женно.

— Не троньте меня, — продолжал Мотька. — А то я вас всех в милицию сведу. Пойду к Макарову — и всей вашей братии амба!

Христофор встал, взял Мотьку за плечи, рванул к себе и, упираясь спи-ной в ствол дерева, метнул прочь. Мотька успел уцепиться за ворот чер-ной рубахи Христофора, рубаха разо-дралась до пояса. Это ослабило силу падения, и Мотька, проехавшись спиной по мокрой листве, вскочил на ноги. В сущности, Христофор хотел только на-казать его. Но Мотька не принял на-казания. Он бросился вперед и с раз-маху ударил Христофора по скуле. Христофор ответил ударом снизу в под-бородок и тотчас сгреб противника в охапку. У обоих на губах выступила кровь.

Христофор был сильнее, но Мотька моложе и потому изворотливей. Не-

сколько раз Христофор поднимал его на воздух, но не мог ни сломить, ни бросить на землю. Он разгоряченно шептал:

— И отец твой был такой же грабитель и шкурник, как ты. Разжирел трудами братии нашей!

— Девчонок красть, распутная морда! — отвечал Мотька.

— У, Иуда. В геенне огненной будешь корчиться! И потаскуху твою за тобой отправлю:

— Бабник, дьявол, еретик! В лагерь тебя — к тачке!

Крупные белые зубы блестели в раскрытом рту Христофора. Они вызывали в Мотьке животное ожесточение. Изловчившись, он боднул Христофора в зубы. Они выпустили друг друга из объятий, обменялись кулачными ударами и схватились вновь. Христофору казалось, что вот сейчас он сломит противнику хребет, но тот гнулся и даже не стонал. Они жарко дышали друг другу в лицо.

Вновь расступившись, они мутными глазами осмотрелись вокруг, ища коряжину какую-нибудь или хоть камень. Встретились ненавидящими глазами, теперь уже открыто спрашивая друг друга: «Как же мне тебя убить?». Мотька схитрил. Снова схватившись с противником в пояс и как бы намереваясь бороться, он между тем сильными толчками заставил Христофора попятиться. Шаг, другой — под ногами большака оказалась давешняя ель, и он грузно сел на старое место. Тогда Мотька сцепился обеими горстями в курчавые волосы и ударил Христофора затылком о ствол дуба. Не давая опомниться, ударил во второй раз и в третий.

Христофор застонал в бессильной ярости. Он пытался отшвырнуть Мотьку ногами, но пинал только воздух. А Мотька колотил его и колотил головой о ствол дуба. Он больше ни о чем не помнил, он упивался победой. Большак еще пытался сопротивляться. Он поймал пучок молодых прутьев, но рука скользнула по гладкой коре, сдирая слабые листья.

Уже курчавая голова стала послуш-

на, а Мотька долго еще мотал ее: к себе — и о дерево, к себе — и о дерево. Наконец, обессилив, он остановился. Тело Христофора завалилось за ель. Рука с горстью листьев прикрыла локтевым сгибом лицо. Мотьке хотелось поднять ее и убедиться, что Христофор мертв, но он не посмел. Он посмотрел на свои окровавленные ладони с прилипшими между пальцами прядями курчавых волос, вытер их о землю, перекрестился, хотя почти не верил в бога, и торопливо зашагал прочь.

XXXIV

«Не цеплялся бы, репей! Я сам, один могу за себя постоять» — бормотал Мотька, расправившись с Христофором. Глухим лесом он вышел к реке, замыл пятна крови на одежде, а потом вываллял ее в земле, чтобы никто не догадался о стирке. Он и сам искупался в ледяной воде и почувствовал себя совсем уже легко. Одна мысль тревожила его, не обронил ли он чего возле ели, что навело бы на его след. Он проверил на себе все пуговицы — они были на месте.

К вечеру он пришел на бригадный ток. Машинист только-что сбросил ремень с маховика. Отойдя от молотилки к полевому дому, Настя снимала со рта запыленную повязку. Увидев Мотьку, она поспешно отряхнулась и стала умываться, круто нагибая глиняную висячую посудину с двумя дудками. Мотька смело подошел к ней и сказал с полной убежденностью:

— Больше никто шататься ко мне не будет.

В сущности, только этого твердого обещания Настя и ждала весь день.

— Зачем ты меня так забижаешь? — спросила она тихо.

— Забижаю? — прошептал Мотька, вздрогнув.

— Эх, уж ладно! — Настя отвернулась и долго утирала лицо полотенцем. — Смотри, чтобы в последний раз, — закончила она со вздохом примирения.

Возвращаясь на поляну, они снова верили в свое будущее.

Мотьке захотелось еще раз блеснуть перед односельчанами, и он сам, один, стал возводить вокруг печки стены, в которых можно было бы работать зимой.

С прошлым было покончено, он отшвырнул со своей дороги ненавистного человека.

Дней через пять, узнав, что лесник отлучился в город, Мотька пробрался к сторожке и заглянул с огорода в простенок. До самой крыши простенок был завален гнилой соломой и хозяйственной рухлядью. Мотька понял, что уже найден труп Христофора и Лукич, заметая следы, заживо похоронил Марусю Пестрикову в подземной келье. «Она уже теперь неживая» — сказал Мотька себе в утешение.

XXXV

После дождей, после холодных ветров настали прощальные дни бабьего лета. Спокойно и величаво проплывало в синем небе солнце, описывая невысокую дугу над горами. Блестели долго не просыхавшие лужи, широкой светлой лентой плыла между голых и как бы раздвинувшихся берегов река.

Молотба окончилась. По неровным дорогам ковыляли за тракторами голенастые локомобили с откинутыми назад трубами.

И снова бекляшевская молодежь вышла на склон Орлиной горы. Нужно было подготовить к зиме водопровод — прорыть канаву, опустить в нее трубы и засыпать их землей.

Макаров весь день не выпускал из рук лопаты. Молодежь вышла на субботник дружно — Макаров не ждал этого. Дело в том, что Ванюшка без прежнего азарта помогал ему. Он и на Орлиной горе не разговаривал с Макаровым. Давал понять, что комсомольцы сами проводят субботник, а председатель тут — тринадцатая спица в колесе. Кузьма Ильич отворачивался и улыбался. «Лишь бы ты на дело не серчал, — думал Макаров, — если так, мы с тобой сойдемся». Добровольцы разбились на пять групп, и Макаров руководил работой через звеньевых.

К полудню канава уже прорезала четверть склона. Землекопы столпились на заросшей кустарником поляне, у огромного валуна. Камень подрывали, и он повис над склоном горы, огромный, величиной с добрую курную баню. Стали обсуждать, как от него избавиться. Пустить с обрыва нельзя, — по дороге он разметет все трубы. Расколоть? Нужен аммонал, нужны подрывники, а это значит: и хлопоты, и лишние расходы. Ванюшка предложил всем сразу подпереть камень плечами и откатить в сторону с просеки, а потом уж пустить вниз. Но Макаров категорически отклонил взбалмошную идею. Такая махина может сразу прихлопнуть весь колхозный актив.

Критикуя ванюшкин план, Макаров набрел на новую мысль. И с его предложением все согласились. Камень опутали канатами и цепями и внатяжку привязали к двум крепким деревьям, росшим повыше поляны, в сторонке от просеки. После этого стали выдалбливать гнездо, в котором камень сидел своим основанием. Пришлось еще немало повозиться. Наконец валун пошатнулся, хрустнули натянувшиеся цепи. Некоторое время стоял он на месте, точно задумавшись, потом перевалился набок, еще раз, еще... Все быстрее катился он по дуге вниз и вправо. Но вот канаты зацепились за пенек и лопнули.

— Ну, сорвался кобель с цепи! — закричал кто-то из молодежи.

Подминая по дороге кустарник, сгибая деревца, валун, подпрыгивая, скатился в овраг.

Макарова давно вызывали к телефону, и он теперь пошел в колхоз. Остальные решили на скорую руку пообедать, а потом — снова за лопаты.

Звонили из райкома партии. Кузьму Ильича срочно вызывали в Подгорск. Райком готовился обсудить доклад комиссии райземотдела о положении на бекляшевской овцеводческой ферме.

Макаров выехал тотчас же, но в пути задержался. Ванюшка заметил под кустом тело человека. Остановили машину. Рот человека был полуоткрыт, он дышал. Ванюшка узнал в нем сектанта Досифея.

Решили взять юношу в больницу. Разостлали в кузове грузовика промасленный брезент и уложили сектанта поближе к кабине.

XXXVI

Хотя Кузьма Ильич знал, что комиссия Полуянова, два дня проболтавшаяся в Теплых горах, представила в районный комитет партии нежелательные выводы, он был спокоен. С наступлением сухих дней удалось приостановить падеж овец. Тем временем два ветеринара производили тщательное освидетельствование стада. Здоровые животные переводились в новую, отапливаемую, тщательно продезинфицированную овчарню. Появилась надежда сохранить три четверти поголовья. При этом условии уже в следующем году был бы полностью возмещен ущерб от эпизоотии. Несмотря на понесенный убыток, колхоз в Теплых горах получал самый высокий в районе годовой доход. Наконец Кузьма Ильич ехал в райком с новыми планами развития хозяйства артели. Он рассматривал падеж овец, как мрачный, но кратковременный эпизод. Он был непоколебимо убежден, что легочная глиста принесена в Теплые горы извне, и надеялся доказать это другим.

Когда Макаров вошел в райком, управдел с суровым видом просматривал газету.

— Иль несчастье случилось? — спросил Кузьма Ильич участливо. — Дома здоровы?

Управдел криво улыбнулся, как бы желая сказать: «Знаем мы этаких участливых!», — и ответил:

— А что же мне, плясать в районном комитете партии, как вы думаете, товарищ Макаров?

Управдел был из числа тех работников, которые напоминают собой барометр при дверях кабинета, — барометр, по которому каждый может судить, ждет ли его ясная погода, или буря. Макарову он предвещал бурю.

Сидеть в приемной пришлось долго. Наконец дверь открылась, и руководящие работники района вышли без фу-

ражек и портфелей, группами по-двое, по-трое, и стали курить. Из отрывочных, долетавших до него фраз Кузьма Ильич понял, что речь на заседании шла о письме ЦК ВКП(б) и что письмо это призывает повысить бдительность. Он заметил, что к нему относятся иначе, чем прежде. Одни косились, не здороваясь, другие неопределенно кивали головой, но никто не вступал в разговор с ним. Один только Зайцев подсел к нему на диван и стал спрашивать о положении в колхозе.

Макарову не сказали, что после перерыва будет обсуждаться его вопрос, а пригласили войти, когда все уже сидели на местах.

Кузьма Ильич занял свободный стул у двери, напротив него в другом конце кабинета восседал за огромным столом Пустовойтов. Этот человек любил и умел заседать. Он чувствовал себя на председательском месте, как дирижер в оркестре. Бумажки были разложены на столе в идеальном порядке, карманные часы, прислоненные к мраморной доске письменного прибора, тикали четко и деловито. Всегда готовый к услугам, стоял под рукой колокольчик. Время от времени на стол падала скомканная записка. Пустовойтов неторопливо развертывал ее, гордый сознанием, что несколько пар глаз следят за его пальцами, как потом будет следить за выражением лица. Лицо его, когда он читал записки, оставалось бесстрастным. Отвечал он то неопределенным пожатием плеч, то отрицательным или утвердительным кивком головы, очень редко улыбкой. Часто Пустовойтов не подавал никакого знака, а просто скручивал записку и бросал в плетеную корзину или подсовывал под колокольчик. И все это — всякий жест его — имело определенное значение.

Кузьму Ильича секретарь встретил холодным изучающим взглядом и сделал знак Полуянову. Старичок засуетился, оседлал нос очками, развернул листы бумаги, — листы эти дрожали. А Пустовойтов уже выслушивал редактора, который тянулся к нему через угол стола, в то время как сам Пустовойтов едва наклонил голову. Нашептавшись,

редактор с суровым, чуть презрительным видом откинулся на спинку стула.

По левую руку от Пустовойтова сидел Семина. Он делал Кузьме Ильичу успокоительные знаки, но в то же время сочувственными кивками головы как бы подчеркивал, что дело серьезное. Как только заведующий райземотделом начал свою сбивчивую — то грозную, то трусливую — речь, Семина встал, легкими, аккуратными шажками подошел к Кузьме Ильичу и, пожав ему руку — сначала, как все, а потом еще в локте, — шепнул на ухо:

— Выдержим, всяко бывает, — и отошел, усялся на подоконник, закурил.

Именно сочувствие Семина окончательно убедило Кузьму Ильича в том, что дело серьезно. Он сделал усилие понять путанную речь Полуянова, но трудно было разобраться, обвиняет тот или защищает.

Старичок читал:

— «Сама неумолимая действительность приводит к выводу, что здесь мы имеем перед собой бесхозяйственность на грани вредительства, если не хуже».

Полуянов поднял очки на лоб, обвел присутствующих взором обвинителя, но, встретившись с Макаровым, вдруг поблек, водрузил очки на место и стал рассказывать, какая коварная болезнь легочная глиста и как трудно, даже при идеальном уходе, сохранить стадо импортных овец. А в заключение, уткнувшись в бумажку, снова напомнил о бесхозяйственности на грани вредительства и сослался на «соответствующие органы», которые скажут на сей счет последнее слово.

«Тут одно из двух, — решил Макаров: — или старичок не знает, чего он хочет, или знает, но боится обжечься». Он встал.

— Можно мне, товарищ Пустовойтов?

Секретарь райкома поправил часы у мраморной доски, молчаливо напоминая, что необходимо беречь время, и ответил, не глядя:

— А может быть, сначала послушаем других? — Никто не отозвался. — Ладно, говори.

Видя, что его считают виноватым, и не зная своей вины, Кузьма Ильич заговорил неуверенно, сбивчиво, чего раньше с ним не случалось, оглядываясь по сторонам и как бы спрашивал своих товарищей — своих судей: о том ли он говорит? Но никто не хотел встречаться с ним глазами. Он рассказывал о выдающихся качествах овцы «рамбуле» и о том, как обнаружено было первое заболевание. Но вдруг сам понял, что говорит мелочно, не то. Поморщился, выпрямился, начал заново.

— Я не понимаю, в чем тут дело? — сказал он. — Случилась простая вещь. Нам подсунули зараженных овец, колхоз потерпел убыток, но колхоз здоровый, мы даже надеемся не потерять первенства в районе по доходам. А вот сколько я ни прошу расследовать, откуда занесена овечья чума, — никто не хочет меня слушать.

Звякнул колокольчик.

— Мы тебя вызвали не затем, чтобы ты поучал районный комитет партии, — сказал Пустовойтов несколько сонным голосом.

— Вот, я и не пойму, зачем меня вызывали. На выводы Полуянова я ответил, а больше мне говорить нечего. — И Макаров сел, обиженный грубым вмешательством секретаря.

— Нечего? Или — не хочешь говорить?

— Нечего.

— А может быть, ты нам скажешь о своих связях с контрреволюционной сектантской организацией?

Кузьма Ильич опешил. Кровь прилила к его лицу.

— Я первый раз слышу... такое обвинение, — проговорил он с запинкой.

— А пока тебя не обвиняют, ты считаешь излишней откровенность перед партией?

Кузьма Ильич промолчал. Он теперь окончательно убедился, что о нем здесь уже разговаривали и что препирательство по мелочам ему не поможет.

Пустовойтов встал.

— Может быть, товарищ Макаров все же оосчастливит нас своим доверием?

— Я не знаю, о чем говорить, — ответил Макаров упрямо.

— Ну, что ж, тебе видней. У присутствующих будут вопросы?

Атаку открыл редактор.

— А скажи, товарищ Макаров, твоя жена не входит в контрреволюционную сектантскую группу?

— Есть добавление к этому же вопросу. — У стены поднялась бритая голова заведующего райсберкассой. — Почему товарищ Макаров защищает кулака-сектанта Демьянова? — Победоносно оглядевшись, он закончил: — И не было ли случая во время коллективизации, когда кулак Демьянов спас коммунисту Макарову жизнь?

Начались прения. Одни прямо, другие намеками, трети полупроисительно, но все высказывали недоверие Макарову, а Кузьма Ильич не мог понять, откуда пришла эта грозная туча. Он сидел с бьющимся сердцем, наблюдая, как случайные факты, поступки, за которыми не было и намека на преступление, вдруг принимали зловещую окраску. Из всех выступавших один только Зайцев принял его сторону. Он сказал, что не видит оснований отказывать Макарову в доверии и что во всяком случае дело требует тщательного расследования. Вслед за ним взял слово Семин. Он долго стоял, потупившись, как бы в раздумье.

— Я знаю Кузьму давно, — заговорил он, поднимая лицо, искаженное болезненной гримасой. — Мы жили с ним в одной комнате, пробирались в кино двое по одной контрамарке.

— Нельзя ли без воспоминаний? — прервал Пустовойтов встревоженно.

— Тогда нам было по семнадцати лет, — продолжал Семин, поморщившись, — у нас не было никаких секретов друг от друга.

Пустовойтов нетерпеливо откинулся назад, поставив стул на одни задние ножки.

— Все-таки нельзя ли покороче?

Семин покраснел и с необычайной для него дерзостью воскликнул:

— Я не могу короче! Речь идет о моем друге, я должен разобраться. Если товарищу Пустовойтову не нравятся это, пусть он лишит меня слова. — И Семин сел.

Его поведение вызвало общую поддержку.

Послышались голоса:

— Пусть выскажется, как он сам хочет.

— Говори, товарищ Семин.

Кузьма Ильич огляделся повлажневшими глазами — он был растроган.

— Товарищ Пустовойтов, — сказал он, поднимаясь. — Пока-что я член партии. Почему вы разрешаете говорить только против меня?

Пустовойтов пожал плечами и опустил стул на все четыре ножки.

Семин поднялся с видом человека, оскорбленного в лучших намерениях. Он снова начал с совпартшколы. Похвалил открытый, честный характер Кузьмы. Рассказал, как он, Семин, обрадовался, снова встретившись с Кузьмой Ильичом, уже председателем колхоза, как высоко ценил его работу, как близко к сердцу принимал успехи колхоза.

— Но сегодня, — продолжал он изменившимся голосом, — сегодня мы говорим о Макарове на заседании партийного комитета и должны принципиально все взвесить, подавляя в себе личные дружеские чувства. Если бы дело было в одних только овцах, я, не задумываясь, поднял бы руку за Макарова. Но меня смущает другое. Меня удивляет, что товарищ Макаров, с которым я встречался не только в деловой, но и в домашней обстановке, никогда не говорил мне ни о том, что кулак Демьянов спас ему жизнь, ни о своей жене-сектантке.

Как только речь Семина приняла нужный оборот, Пустовойтов успокоился, поманил пальцем редактора и стал опять шептаться с ним. Макаров был обескуражен.

— Но я тебе говорил, — подсказал он Семину.

Тот спокойно спросил:

— Когда?

— Не один раз. Помнится, с женой моей ты и сам разговаривал о сектантстве.

— Ты что-то путаешь, этого не было, — возразил Семин, подумав.

Для Макарова это был новый и очень чувствительный удар, удар в спину. Вдруг он ясно увидел, что Семин схитрил, сманеврировал. Нарочно прикинулся другом, чтобы одним ударом сбить его с ног.

— Ты не мог этого забыть! — воскликнул Макаров. — Надо же совесть иметь!

Семин стоял, бросая кругом вопросительные взгляды. Мол, как тут быть? Все в комнате заволновались, стали нападать на Макарова, призывать его к порядку. Даже Зайцев упрекнул его:

— Ну, это уже нехорошо. Не ты ли сейчас обижался, что Семину не дают говорить?

Пустовойтов с удовольствием поболтал колокольчиком.

— Товарищ Макаров, — сказал он внушительно, — здесь истерикой ничего не добьешься. Члены бюро, я думаю, уже убедились в том, что ты не любишь самокритики и стараешься каждому, кто тебя не хвалит, заткнуть рот. Продолжай, товарищ Семин.

XXXVII

Покачиваясь, натываясь на косяки, вышел Макаров из райкома. Он прижимал к груди фуражку и раскрытый портфель, из которого только-что достал партийный билет, чтобы положить на уголок стола. Растерянный, с бессмысленным взглядом, почти бессознательно побрел он вдоль дощатого забора, свернул в переулок и растолкал Ванюшку, который спал, скрючившись на своем шоферском сиденье.

— Что такое случилось? — спросил шофер.

— Исключили, — ответил Кузьма Ильич. — Из партии меня исключили.

— Да что они, рехнулись? — удивился Ванюшка.

Кузьма Ильич не ответил.

Вся жизнь его, все помыслы, радости, тревоги были связаны с интересами партии, и вдруг товарищи по работе, по партии прошли мимо, оттолкнули, опрокинули его наземь и отвернулись от него. Макаров не мог не только примириться с исключением, но даже понять

все это. И к чему эта суетливость, эти наскоки из-за угла? Если подозреваешь человека, скажи ему заранее, дай собраться с мыслями. А то — свист, гиканье, как на карусели...

Навстречу машине выбегали из тьмы деревья. Золотые шатры дубов, массивные колонны елей. Не было ни земли, ни неба, а только ночь, и в этой ночи мчалась машина. Куда? Зачем? Все потеряло смысл.

Дома Макаров не сказал о заседании ни слова, но утром Поля спросила:

— Это как же они тебя, Кузя?

— А ты узнала?

— Вся деревня знает. Дивится народ.

Действительно, вся деревня знала уже, что Макаров исключен из партии, но не все удивлялись. Многие говорили: давно пора.

Недоброжелателей оказалось больше, чем предполагал Макаров. Они открыто выражали Макарову недоверие. Степан Зотов пожелал в тот же день получить весь картофель на свои трудодни.

— Ты ведь говорил — негде хранить, хотел сперва вырыть яму? — удивился Макаров.

— Хотел, да хотелка не велела. Сейчас не возьмешь, а потом ищи-свищи. Дохозяйничались...

Стал чаще навдываться в Теплые горы осторожный лесник. Как-то Кузьма Ильич подошел сбоку к чеготаевскому крылечку. На приступках сидели женщины, а на перильцах трое или четверо мужиков. Лукич пристроился ниже всех, на камешке. Ласково, точно убаюкивая слушателей, он говорил:

— Вот прочитал я в газетке — звезды есть, от них свет идет до земли четыреста миллионов годов. Можем мы это понять? Свет. Мы по дуруости своей думаем: он вовсе без времени летит. А тут вона сколько годов. А мы сколько живем? — Лукич плюнул и растер плевком сапогом. — Спешим, копошимся, как черви в наземе. Кругом борьба. Один другого топит, кусает. А тут — четыреста миллионов лет. Божественное великолепие. И назем высохнет, и наша планида этак же — со всеми червяками, партийными и беспартийными.

Женщины вздыхали.

— Ох-хо-хо!

— Страсти господни.

Макаров, непрощеный, присел на ступеньку.

— Помрем, говоришь, как черви? — спросил он Лукича.

— Не знаю, как по-вашему.

— Бороться, говоришь, не надо? А зачем ты сюда едешь? Сидел бы в лесу да богу молился. Зачем смутьянишь народ?

— Не взыщи, коли не угодил. Да ведь советская власть в бога верить не заказала. Уважают меня, никто не тревожит. Скотскую заразу я не разводил, колхоз не разваливал...

«Ишь, шельма, куда метит!» — удивился Макаров.

— Ну, об этом не на крылечке рассуждать.

— Опять не угодил? Ах, ты, беда какая! Серость моя. Необразованность.

Встретившись на другой день с инспектором лесов, Макаров пожаловался на Лукича. Инспектор всполошился, обещал и то, и другое, и третье, а приехал опять — о Лукиче ни гу-гу. «Видать, мое слово потеряло вес, — решил Макаров. — Кто-то в районе наговорил и этому. Похоже, борьба будет длинная...».

XXXVIII

...В сумерках под окнами колхозной конторы остановилась машина Пустовойтова. Макаров медленно сошел по ступенькам крыльца, хотя ему хотелось бежать, сломя голову. Ему казалось: вот сейчас секретарь скажет ему, протягивая партбилет: «Мы ошиблись, я просил созвать собрание, чтобы обелить тебя в глазах колхозников».

— Здравствуй, Макаров, — сказал Пустовойтов, поднимая свою пухлую, в редких волосках ручку, то ли в знак приветствия, то ли затем, чтобы глубже подвинуть фуражку. — Народ собрался? Районный комитет партии решил сегодня рассказать на собрании о твоих художествах.

— Я в любой день готов держать отчет, — сказал Макаров с расстановкой. Он хотел добавить, что не знает

за собой никаких художеств, но Пустовойтов перебил его:

— В чем отчитываться-то? Насегодня все ясно и без отчета. Мы поручили Лялину провести собрание, как руководителю сельского совета. Он пришел из Тукшума?

— Ужинает у свояка. Вон, крайний дом, окна с наличниками.

— Я думаю, тебе не следует приходить на собрание. В интересах колхоза, да и в твоих собственных.

У Макарова потемнело в глазах.

— Это как же получается, товарищ Пустовойтов? Все-таки я не три дня руководил колхозом. Мой интерес простой — услышать критику в лицо.

Пустовойтов нетерпеливым движением захлопнул дверцу.

— Ну, если ты все еще ставишь свой пупок в центр вселенной, скажу тебе так: мы считаем твое присутствие излишним, независимо от твоих интересов.

— В уставе сказано...

— Мы тоже читали устав. И понимать устав может, уверяю тебя, не один только Кузьма Ильич Макаров.

Пустовойтов сделал знак шоферу, и машина ринулась вперед, к дому, где находился председатель сельского совета.

— Ну, что ж... — сказал Кузьма Ильич, отступая и не глядя по сторонам, потому что его уже окружили люди.

Макаров пошел домой, отпустив Полю на собрание, а сам остался дежурить около сынишки. Васек спал, скатившись головой с подушки и выставив из-под одеяла коленку. Кузьма Ильич поужинал. Подсунул свернутую бумажку под ножку шаткого стола. Убавил в лампе огонь. Больше он не мог найти никакого дела. Лег на кровать вниз лицом. Лежал долго, безучастный, потевший представлением о времени, и только сердце стучало нетерпеливо и сильно.

XXXIX

Председатель сельского совета Лялин был человек без твердых понятий. Он не любил ни слушать, ни читать и терпеть не мог думать о чем-нибудь.

При раскулачивании он вытряхивал из домов целые семьи — ночью, с шумом и гамом, а через три года за литр водки выдавал ложные справки беглым кулакам. Несколько раз его исключали и снова принимали в партию. В деревнях и поселках Тукшумского сельсовета Лялина давно наградили неместным прозвищем «Балабон». Районное же начальство старалось замечать не все его проделки. Он был человек хотя и неправильный, но удобный. Стоило сказать ему по телефону, что район отстает по мясопоставкам и что нужно нажать, как Лялин отвечал, не задумываясь:

— Плевое дело. Обмозгуем в лучшем виде!

И действительно, на другой день по его сельсовету план мясопоставок выполнялся на два года вперед...

Пустовойтов заранее предупредил председателя, что нужно будет «прокатить Макарова на вороных», и Лялин принял поручение с удовольствием. Макаров не позволял ему проводить в Теплых горах незаконно размашистые затеи, поэтому Лялин считал Кузьму Ильича кляузником и склочником.

По обычаю людей, не привыкших думать, он повел дело уверенно и лихо.

Открывая собрание, Лялин сам, пред-ложив и состав президиума.

— Товарищ Пустовойтов! — объявил он и первый захопал в ладоши. — Товарищ Лялин. — Назвав свою фамилию, он потупился и сделал паузу, принимая жиденькие хлопки. Остальных же прочитал одним духом: Парамонов, Чеготаев, Телин, Зотов. Члены президиума поднялись по лесенке на сцену. Лукич взошел последним и пристроился на самом краю скамейки.

Вступительная речь Лялина была коротка и по обыкновению бестолкова.

— Мы с вами собрались здесь не зря, — сказал он. — Районный комитет партии и лично товарищ Пустовойтов не станут собирать нас зря. Мы собрались затем, чтобы снять с работы бывшего председателя колхоза Макарова, как оппортуниста и ненадежный элемент. В чем есть его ненадежность, подробно расскажет наш уважаемый

товарищ докладчик, которого мы все просим выступить на этой трибуне.

Пустовойтову лялинское вступительное слово не понравилось. Не следовало без толку повторять имя секретаря райкома, ведь он приехал выполнить волю партии. И совсем уже неуместным находил он выражение «бывший председатель», — это пахло нарушением колхозной демократии. Ведь собрание еще не приняло решения.

Пустовойтов начал свой доклад с возражений Лялину. Он сказал, что надо разобраться в преступлениях Макарова по существу, а потом уже давать им политическую квалификацию. Хотя Пустовойтов действовал вопреки интересам колхозников, он легко и естественно принял позу защитника колхоза. Он раскритиковал Лялина, — и это прибавило весу его выступлению, — а потом уже обрушился на Макарова. Говорил он обстоятельно, солидно, и, пока говорил, все верили в его полную правоту.

Кончив речь, он присел к углу стола и стал вытирать платочком вспотевшую голову, по привычке мысленно отмечая, что лысина заметно расплывается по темени. Впрочем на висках ерошились еще довольно частые волосы, и Пустовойтов с удовольствием приглаживал их ладонью.

Потом он заметил, что колхозники медлят высказываться.

— Может быть, нам неинтересно? Тогда давайте разойдемся, — развязно обратился к собранию Лялин. Пустовойтов поморщился: ну разве допустим этот тон?

Секретарь райкома закурил. Собрание все еще молчало. «Экий неповоротливый народишко, экие тяжелодумы! — удивился Пустовойтов. — Тысячу раз прав Семин — деревню эту надо называть не Теплые, а Темные горы».

Собрание выжидало. Как только умолк Пустовойтов, у многих исчезла уверенность в тяжелой виновности Макарова. А те, что готовились расправиться с Макаровым, не хотели выступать первыми.

Напрасно в президиуме Чеготаев подталкивал то Телина, то Зотова. Оба

отговаривались. Телина вдруг взяло сомнение: «А вдруг без Макарова станет хуже?». Зотов опасливо прикидывал: «А ну как Макаров останется? Он тогда за мои речи такую даст работенку — волком взвоешь».

На выручку пришел Лукич.

— Что ж, граждане, так и будем в жмурки играть? — ласково спросил он. — Наша советская власть не тому нас учит. Она нас учит прямо резать правду-матку. Хотя бы взять и пчеловода. Ты, Тимофеич, вчера со мной беседовал, ведь верно? Чего ты сказал про Макарова?

Все обернулись к темному углу. Тимофеич — делать было нечего — неловко поднялся на полусогнутых ногах и начал, как бы оправдываясь:

— А я не очень-то кого боюсь. Хотя бы он и сам тут был. Крутоват наш председатель, вот оно что. Надо бы ему укорот дать. Кабы председателя нам помирнее. А то ведь чуть что, — срывает...

Лукич, которому поручили вести протокол, записал вынужденный ответ Тимофеича, как первое выступление.

Теперь взял слово Чеготаев.

— Мы советской власти и коммунистической партии премного благодарны, — начал он. — Нам советская власть открыла глаза, а то мы сами не понимаем, тычемся в потемках, как слепые котята...

От своего имени Чеготаев не обвинял Макарова, а всякий раз ссылался на народ, на мир, или пересказывал обвинения Пустовойтова.

Дела поправлялись, Пустовойтов уже находил бекляшевцев политически твердыми.

Как только Чеготаев закончил, между рядами стала пробираться к сцене взволнованная молодая женщина. Платок съехал с ее затылка на шею, красная гребенка висела на одном зубчике. Торопливо подойдя к барьеру, она обернулась, вскинула голову и строго спросила односельчан:

— Чего ж вы молчите, мужики? Разве без Макарова было бы у нас такой колхоз? Товарищ секретарь райкома чернил Макарова от имени партии. Без

партии мы — как без матери, мы всегда за партией идем. Но уж если такой живоглот, как Чеготаев, первый выступил на поддержку, тогда мы должны призадуматься. А не ошиблась ли партия в нашем районе?

И женщина с тем же решительным видом стала пробираться к задним рядам. Гребенка упала, ей подали, и — что случается редко — никто не засмеялся.

Пустовойтов поманил пальцем председателя сельсовета и спросил, озабоченно косясь на Чеготаева:

— Имел наемную силу?

— Сроду нет.

— Землю арендовал?

— И этого не было.

— Женщина — здешняя?

— Выступала-то? Так, одна... За кулака вышла замуж. Настасья Демьянова.

Пустовойтов отметил это в блокноте.

Настя встревожила не только президиум, а и все собрание. В зале перешептывались, откашливались, готовились выступать.

В первом ряду у высокого церковного окна сидел Ванюшка. Пустовойтова он прослушал с завистью. Очень уж тот хорошо знал политику. К месту приводил высказывания Ленина и Сталина. Напрасно только намекал на то, что Макарова надо снять с работы. Впрочем, Ванюшка решил помалкивать. Как комсомолец и молодой кандидат партии, он считал мнение Пустовойтова более обязательным для себя, чем для других. Он сдержался, хотя и с трудом, заметив, что собранием верховодят Чеготаев и Лукич, но, когда вышла Настя и прямо высказала свое мнение, Ванюшка вдруг решил, что молчать и лукавить он не должен. Навряд ли партия нуждается в лицемерах.

Он поднялся на сцену и выступил в защиту Макарова, по пунктам опровергая все обвинения.

Пустовойтов был возмущен. Он всегда считал, что относится к самокритике терпимо, по-большевистски. Но должны же быть и границы! Если на районной конференции отдельные ораторы считают работу райкома неудовлетвори-

тельной, надо отвечать им, не сердясь, — они не переходят границ дозволенного. В большой первичной организации можно выслушать некоторые незначительные упреки. Например, за недостаточную связь с местами. В маленькой — допустимы просьбы к районному комитету. Но, чтобы единственный на собрании кандидат партии позволил себе не поддержать секретаря районного комитета, — это, по понятиям Пустовойтова, было почти контрреволюцией. А тут еще напомнили ему, что шофер Лобанов работал «налево» и что Макаров помешал исключить его из комсомола. Пустовойтову все стало ясно. «Рука руку моет, и обе грязные» — твердил он про себя, все нетерпеливей постукивая пальцем по мундштуку папирасы. Как-раз Ванюшка оставил трибуну. И Пустовойтов решил немедленно дать отпор мелкобуржуазной расслабленности бекляшевцев.

XL

Услышав голоса шедших с собрания женщин, Макаров проворно разделся и притворился спящим. Он хотел скрыть свою тревогу даже от Поля.

Он слышал, как на кухне скрипели половицы, но Поля почему-то долго не входила. Макаров сорвался с постели. Поля стояла около печки, глухо рыдая.

— Что еще случилось? — спросил Макаров.

— Выбрали, — ответила она еле слышно, — Лукича.

— Ну, что ж, — ответил Кузьма Ильич в припадке тихого бешенства. — Тебе радоваться надо, а не плакать. Кажется, он из ваших, из олухов господних?

Полины плечи заколыхались от плача. Кузьма Ильич долго ждал, когда жена успокоится. Он подал воды. Обессиленная, Поля перешла в горницу и села на край кровати. Кузьма Ильич стал у окна. Они долго молчали. Потом он спросил, много ли было народу. Она ответила тихим и безучастным голосом, что сначала в клубе было битком, а потом некоторые ушли, недомвольные тем, что Пустовойтов одергивал всякого, кто заступался за Кузьму Ильича.

— А много было таких? — спросил Кузьма Ильич с замиранием сердца.

Поля отрицательно качнула головой.

— А ругали сильно?

— Ругали, — ответила Поля. — Кого по делу когда укорил, и то вспомнили. А больше за овец ругали. Тот, из райкома, так сказал: если бы не овцы, не левацкие перегибы вашего председателя, доход на трудодень увеличился бы еще рубля на полтора... Ну, у всех и разгорелась зависть на эти рубли.

— Ну, а Лукича-то как же? — закричал Кузьма Ильич. — Как это можно? Где у вас глаза были? Он вас всех по миру пустит! Бандитню пригреваете! Эх, вы!

Сдерживая рыдания, из последних сил Поля проговорила:

— Ну, будто он до народа заботливый. И этот, из райкома, за него словечко замолвил.

— У-у! — замычал Кузьма Ильич и едва не замахнулся на Полю кулаком.

Стуча об пол, он натянул тесные сапоги, схватил фуражку и выбежал во двор. Но идти было некуда и ничего нельзя было сделать. Он опустился на чурбак, в тени дома, и просидел здесь до рассвета.

(Окончание следует)

Дж а́нгар

Калмыцкий народный эпос



Величайшим памятником народного творчества калмыков является героическая эпическая поэма «Джангар», названная так по имени ее главного героя — хана Джангра.

Давно уже внимание ученых-востоковедов привлекает изумительная словесная ткань поэмы, богатство вымысла и фантазии, музыкальность стиха. По своим художественным достоинствам «Джангар» стоит в ряду с такими эпическими произведениями, как «Илиада» и «Одиссея».

Калмыки — народ древней культуры. Созидатели некогда могучего кочевого государства, они покинули 300 лет назад кряжи Алтая и в 1632 году появились в низовьях Волги. Этот переход целого народа в другую часть света не был случайным. Гнет китайских императоров, родовые распри, страшная нищета угрожали свободному национальному развитию калмыцкого народа.

Возникновение эпопеи относится ко временам глубочайшей древности, но устное оформление ее, как циклического целого, произошло в сороковых годах пятнадцатого столетия. На протяжении многих веков калмыцкий народ вел борьбу за свою национальную и государственную самостоятельность против чингисхановской Монголии и Маньчжурской династии императорского Китая. Но только в середине XV века, точнее к 1440 году, калмыки (ойраты) собрали достаточно сил, чтобы полностью разгромить своих извечных угнетателей.

Этот период был самым блистательным периодом в истории калмыков. Он ознаменовался небывалым подъемом национального самосознания, единением народа и образованием первого калмыцкого государства под названием «Союза четырех ойратских племен», прекратившего свое существование в 1453 году.

Эта знаменательная эпоха в истории калмыцкого народа нашла свое блестящее отражение в «Джангре».

Страна Бумбы, в которой живут герои поэмы, — это воплощение давнишней мечты народа о другой, счастливой жизни. Это страна вечной молодости и бессмертия, довольства и изобилия:

Где не ведают зпм, где блаженно все,
Где живое бессмертно, нетленно все,
Где счастливого племени радостный мир,
Вечно юного времени сладостный пир...
Благоуханная, сильных людей страна,
Обетованная богатырей страна...

Жители этой страны живут в довольстве, не старятся и не умирают —

И, ничего не деля на мое и твое,
Славят в напевах сладостное бытие.

В нищих войлочных кибитках калмыцкий народ творил эту прекрасную легенду, — легенду, которая сбылась только с приходом советской власти. С помощью своего старшего брата — русского народа — калмыцкий народ обрел бессмертие и действительно зажил в довольстве и изобилии.

С благоговением относятся калмыки к «Джангре». Эта поэма, — говорят старики, — так велика, что если бы ее всю записать, то она стала бы выюком 99 сильных

и белых верблюдов. Спрашивается: почему верблюды должны быть сильными? Потому, что обычным двугорбым верблюдам не поднять ее. Если же спрошено будет: почему верблюды должны быть белыми? Ответствуют: эта поэма так чиста, что везти ее могут только белые животные.

Пять столетий «Джангар» передается из уст в уста народными певцами — джангарчи.

В «Джангре» — двенадцать песен, — по числу главных героев поэмы. Каждая песнь представляет собой законченное самостоятельное произведение. Однако все они связаны между собой не только общими героями, местом действия, последовательностью развития сюжета, но и единой идеей борьбы за благополучие народа, за независимость родины от иноземцев.

Популярность «Джангра» поразительна. Трудно найти калмыка, который не знал бы небольшого отрывка из любимой поэмы. Калмыцкий народ с энтузиазмом готовится к празднованию 500-летия своего гениального творения. Этот юбилей отмечается в мае 1940 года.

Впервые прозаический перевод одного из отрывков «Джангра» был сделан профессором Бобровниковым в 1856 году, а в 1910 году были опубликованы первые 10 глав «Джангра», записанные со слов знаменитого сказителя Овла Эяева.

Инициатива полного стихотворного перевода «Джангра» на русский язык принадлежит А. М. Горькому.

★ ★ ★

ПЕСНЬ О ТОМ, КАК МИНГЬЯН, ПЕРВЫЙ КРАСАВЕЦ ВСЕЛЕННОЙ, УГНАЛ ДЕСЯТИТЫСЯЧНЫЙ ТАБУН ПЕСТРО-ЖЕЛТЫХ ХОЛОЩЕНЫХ КОНЕЙ ТУРЕЦКОГО ХАНА

Сказывают: на рассвете вечных времен,
В шумные дни благодатной, черной арзы¹,
В самом разгаре великого торжества,
Вдруг потекли из очей владыки племен,
Славного Джангра, две драгоценных слезы,
Начали двигаться шелковые рукава
Справа — налево, слева — направо, поток
Горестных слез, утирая. Мангасов² гроза,
В недоумении глядели друг другу в глаза
Воины Джангра. Тогда, богатырь и пророк,
Правого круга глава, промолвил Цеджи:

— Милый мой Хонгор Альый! не ты ли, скажи,
В трудных походах служил нойону³ конем,
В битвах — не ты ли казался броней на нем?
Так вопроси владыку счастливых племен,
Так разузнай, почему растаял нойон?
Хонгор сказал: — Если, в правом сидящий кругу,
Не задавали вы Джангру вопросов пока,
Как же я, с левой своей половины, могу
Спрашивать?.. — Но в ответ на слова старика
Молвил Джилган-злагоуст, украшавший пиры,
Красноречивейший воин, с которым никто
Не состязался в искусстве словесной игры:
— Дайте мне ваше соизволение на то,
Я вопрошу, почему растаял Богдо⁴!

¹ Арза — водка, приготовленная из заквашенного молока.

² Мангасы — многоголовые чудовища.

³ Нойон — князь, титул Джангра.

⁴ Богдо, богдохан — священный хан, титул Джангра.

И перед всеми блеснули зубы его.
Сердцеобразные, красные губы его
Неописуемо вытянулись в тесьму.
Воины дали на то согласие ему,

Опорожнив трикраты свою пиалу, —
Сорок бойцов ее приподнять не могло б, —
И преклонив трикраты божественный лоб,
И на колени встав на пуховом полу,
Руки свои распластав, златоуст сказал:

— Не потому ли заплакали вы сейчас,
Что жеребенок ваш — рыжий скакун Аранзал —
Стал недостаточно быстроногим для вас?
Не оттого ли растаяли вы сейчас,
Что пестро-желтое ваше златое копье
Сделалось недостаточно метким для вас?
Может быть, вы скрываете горе свое,
Ибо шестнадцатилетняя госпожа
Стала для вас недостаточно хороша?
Не потому ли растаяли вы, нойон,
Что государство семидесяти племен —
Семьдесят стран, разбежавшихся далеко, —
Ныне для вас недостаточно велико?

Месяцеликий нойон оглянулся кругом,
Слезы смахнул он чистым желтым платком,
Молвил героям своим, вздохнув глубоко:
— Так прославляли вы громко прозвание мое,
Что за пределами нашей земли, далеко
Распространило оно сиянье свое.
И на меня человек замыслил напасть.
Он утвердил свою безграничную власть
Где-то на западе... Вот уже третий год
Гордый турецкий султан готовит в поход
Буйный табун своих холощенных коней,
Для настоящих сражений возвращенных коней.

Сказывают: за конями — такой уход:
Губы коней и копыта не знают воды,
Ибо живые тела расслабляет вода.
Через четыре года, — сильны и тверды,
В сталь превратятся копыта! Хвосты скакунов,
Мягкие гривы — крыльями станут тогда!
Горе настанет для нас, для Бумбы¹ сынов.
Десять раз тысяча белых богатырей
Сядут на быстрых коней, примчатся сюда
И нападут, покорят нас державе своей...
Если сумеем угнать холощенных коней, —
Минет нас это бедствие навсегда. —

¹ Бумба — наименование страны бессмертия, где живут герои поэмы.

Кончил владыка. Правого круга глава,
 Молвил Цеджи-ясновидец такие слова:
 — Замыслы предугадавший врага своего,
 Может быть, вы нам укажете и того,
 Кто совершит холощенных коней угон? —

— Есть у меня, — сказал повелитель племен, —
 Эти шесть тысяч двенадцать богатырей.
 Вы между ними славны грозюю своей,
 Вы, дорогие, как сердце, двенадцать львов,
 Пестрые от многочисленных ран и швов.
 Бились вы всюду, во всех закоулках земли,
 Даже по краю кромешного ада прошли.
 Славен ты в этой семье нетленной, Мингйан,
 Первый красавец нашей вселенной — Мингйан,
 Воин, привыкший к искусству сражений, — Мингйан!
 На золотистом коне, что сходен с горой,
 Опережаешь ты на две сажени, Мингйан,
 Ветер степной, а мысль — на сажень! Мой герой,
 В путь отправляйся, готовься к делу войны.
 Ты соверши холощенных коней угон,
 Хана турецкого мне доставь табуны. —

Плача, воскликнул Мингйан: — Великий нойон!
 Вы поступаете несправедливо со мной.
 Ханом когда-то я был, уголок земной
 Принадлежал мне — многотюменный¹ удел.
 Гордой горсю, названной Минг, я владел,
 Имя которой с честью ношу до сих пор.
 Разве не вы со мною вступили в спор,
 Междоусобную брань затеяв со мной,
 Длившуюся четыре недели подряд,
 А не смогли подступиться к стене крепостной?
 Разве не вы повернули тогда назад
 Полчища ваши, которые гуще травы?
 И, несмотря на то, мой владыка, что вы
 Прочь удалились, не причинив мне вреда, —
 Глядя вам издали в спину, решил я тогда,
 Что надо всем, живущим под солнцем-луной,
 Станете вы господином. Свой угол земной,
 Ханство покинул я — многотюменный удел,
 Гору покинул, которой измлада владел.

Дочери нежной родителем раньше я был,
 Мужем счастливым прекрасной ханши я был, —
 Джангар, пришел я к вам, отказавшись от них,
 Выбрав себе в семью только барсов одних.
 Вам своего дорогого приезд я коня.
 Вами, владыка, принят с почетом я был,
 В саң запевалы пожаловали меня!
 В трудных сраженьях вашим оплотом я был.
 Прежде была вам душа моя дорога.

¹ Тюмен — десять тысяч.

Так почему же теперь на такого врага
 Вы посылаете, Джангар, меня одного?
 Нет у меня пэд этой луной никого,
 Сгонит могучий противник со свету меня.
 Йах! Ни сефтер, ни братьев нет у меня!
 Боги лишили сестренки младшей меня,
 Кто же накормит пищей горячей меня?
 Младшего брата матушка не родила,
 Кто же вспомянет меня и мои дела? —

Так объяснил Мингйан в безутешных слезах..
 — Мы в этой жизни — братья, когда же с тобой
 В ханство прекрасного вступим на небесах, —
 Вместе войдут наши души... На трудный бой,
 Милый Мингйан, со спокойным сердцем лети.
 У золотого моста, на степном пути
 Встречу тебя на сивом Лыске своем. —
 Так обещал неистовый Хонгор ему.

Савар воскликнул: — Я смерть за тебя приму.
 Братья мы в этой жизни; когда же войдем
 В ханство всего прекрасного, соединим
 Души свои! Клянусь, и клятва чиста:
 Милый Мингйан! У серебряного моста
 Встречу тебя с темнобурым Лыской своим. —

И запевала, вняв голосам храбрецов,
 Чашу наполнил, которую, говорят,
 Семьдесят не поднимут сильных бойцов,
 И осушил ее семьдесят раз подряд..
 Крикнул, неистовый, побратимам своим:
 — Если свою богатырскую кровь пролью, —
 Обогатится земля глоточком одним.
 Высохнут кости мои в далеком краю —
 Станет на горсточку праха богаче она..
 Эй, коневод, оседлай моего скакуна! —

Между конями джангровых богатырей,
 В травах душистых, у холода чистых вод,
 Бегал Соловый. Привел его коневод
 И оседлал у прекрасных дворцовых дверей,
 Выслушав пожелания богатырей,
 Благоухающие, как лотос в цвету,
 Славный Мингйан вскочил на коня на лету.

Вихрем помчался, всадника радуя, конь,
 Землю взрыхляя, по курганам прядая, конь.
 Хвост приподняв, он скакал в летучей пыли,
 Будто пугаясь комков зыбучей земли,
 Что разбросал он копытами четырьмя.
 Жаркие, долгие дни горели горьмя,
 И раскалило солнце пески добела, —
 Мчался без-устали конь в горячих песках.
 Всадник с трудом удерживал повод в руках.
 И натянул он, садясь позади седла,

Повод, да так, что согнулись вконец удила, —
 Не помогало: выгибом шеи стальной,
 Резким напором могучей клетки грудной
 Снова ременный вытягивал повод скакун,
 За день беря расстоянье в несколько лун.

Справиться с этим конем не сумев, ездок
 Так обратился к нему: — Потише беги,
 Мой золотистый, долог наш путь и далек!
 Силы свои береги, замедли шаги. —
 Слушать не стал своего хозяина конь,
 Ветра быстрее поскакал отчаянный конь.
 Бега такого не видывал белый свет!
 Так он скакал. И тогда показаться могло,
 Будто в один ослепительный белый цвет
 С лохмотоградской землей слились небеса.

Всадник примчался, когда еще было светло.
 Видит он копий густые стальные леса.
 Всажены копыя в землю с такой густотой,
 Что даже тонкой китайской иголке — и той
 Места нельзя было бы между ними найти.
 Славный Мингйан, рассекая древки на пути,
 В самую глубь копейного строя проник,
 В чашу стальную на два закрой¹ проник,
 Но золотисто-соловый на всем скаку
 Молвил отважному своему ездоку:
 — Воин! Копыта мои дошли до того,
 Что наизнанку вывернутся они.
 Дальше скакать не могу. Назад поверни. —
 И повернул богатырь коня своего.

Сказывают: когда, тоской обуян,
 Свесив копье, назад возвращался Мингйан, —
 Ясная, как луны золотое стекло,
 Легкая, точно ласточкино крыло,
 Нежная, как виденье при лунном луче,
 Обликом напоминающая зарю,
 С длинным кувшином на смуглом, прекрасном плече, —
 Девушка вышла навстречу богатырю
 И поклонилась ему. — Сестрица, привет! —
 Всадник воскликнул. Зашевелились в ответ
 Алые, сложенные сердечком уста, —
 Тщетно! С гортанью связала язык немота,
 Вымолвить слова красавица не могла.

Спешился всадник и в землю всадил копье.
 Снял он подушку с узорчатого седла,
 Девушку вежливо усадил на нее.
 Губы разнял нагайки своей черенком
 И заглянул он ей в горло. Из горла извлек
 Восемь иголок, поставленных поперек
 Нежной гортани... Трубку набив табаком,

¹ Закрой — расстояние, равное 12—15 верстам.

Девушке предложил затянуться дымком
И спросил: — Чья вы дочь? Кто над вами глава?
Ясны, правдивы да будут ваши слова! —

Очаровав улыбкою богатыря,
Молвила: — Правду, милый мой брат, говоря, —
Трудно мне с вами правдивой быть до конца.
Если же мы сговоримся, — наши сердца
Счастье найдут и на грешной земле молодой.
Так приказал мне турецкий хан золотой:
«Если заметишь хотя бы единую тень
На стороне, где всегда занимается день, —
Мне сообщи, пред очами моими предстань».
Восемь иголок воткнул он в мою гортань,
Чтоб не болтала... Пошла на разведку — и вот
Я замечаю в середине жаркого дня
Красную пыль, упиравшуюся в небосвод,
Красную пыль, надвигающуюся на меня.
«Сколько же сотен и тысяч скачет сюда
Ратей враждебных?» — подумала я тогда
И увидала я только вас одного.
Все позабыла, хочу сейчас одного, —
Знать я хочу: какой кобылицей рожден,
Конь-бегунец может быть красавцем таким?
Женщиной какой белолицей рожден,
Конный боец может быть красавцем таким?
Искре единой не стать пожаром вовек,
И в одиночестве не живет человек.
Воин! Душа моя — вашей душе сродни,
Соединим же наши грядущие дни,
Пусть наши судьбы станут единой судьбой! —

— Мы — у различных владык на посылках с тобой,
Сможем ли мы единое счастье найти,
Если мы вечно в разъездах, всегда в пути?
Где же мы встретимся, в разные стороны мчась?
Все же супругой назвать хочу я тебя.
Вот мой ответ: открой мне дорогу сейчас,
И на обратном пути захвачу я тебя, —
Молвил Мингган. — Как поступишь? Решай сама. —

— Если мужчина просит, — плохо всема.
Но отказать ему — хуже в тысячу раз.
Вот мой ответ: открою дорогу сейчас.
Если вместе вы проехать по ней,
То поезжайте, желаю вам долгих дней,
А не сумеете — оставайтесь со мной. —
И расстегнула бешмет из шелков дорогих.
Десять под ним оказалось бешметов других.
В самом последнем имелся карман потайной,
Вынула девушка черный ключик стальной,
В сторону копий густых взмахнула ключом.
И появилась тропа, шириною в ушко

Тонкой иголки. Мингйан, вздохнув глубоко,
Больше не спрашивал девушку ни о чем...

Бумбе-стране помолвившись, вскочил на коня.
Молвил Соловому: — Ты выручай меня,
Я по такой тропиночке ввек не пройду! —
И золотую Мингйан отпустил узду.
И, золотой не чувствуя крепкой узды,
Славный скакун пошел по следам наука, —
Десятилетней давности были следы,
Полз он дорогою крохотного жука, —
Двадцатилетней давности были следы,
Сквозь наконечники полз он узкой тропой,
Еле ступал на цыпочках черных копыт
И, наконец, оставил тропу за собой.

Всадник, покинув копий стальные леса,
Дальше помчался. Возникла гора перед ним,
И на вершине покоились небеса.
И, на вершину взобравшись, взглядом одним
Воин окинул четыре конца земли.
Красная башня, как пламя, пылала вдали.
— Это и есть турецкого хана дворец! —
Молвил себе самому луноликий боец
И скакуна пустил на зеленый простор,
К водам прохладных потоков, а сам раздел,
Жимолости наломав, высокий костер,
Чаю сварил, чачир¹ над собой развернул
И, раскрасневшись, точно сандаловый ствол,
И растянувшись, как цельный ремень, — заснул,
И молодой богатырский сон, говорят,
Длился тогда сорок девять суток подряд.

Утром в начале пятидесятого дня
Он пробудился от сна. Посмотрел на коня:
Конь посвежел на зеленом лоне земли,
Будто сейчас только с пастбища привели!
И превратил коня в жеребенка Мингйан,
Сразу себя превратил в ребенка Мингйан,
В мальчишку вшивого: только висок почешь, —
Станут десятками падать черные вши,
А почешь затылок, — из-за ушей,
Не сосчитаешь, сколько выпадет вшей...
И в государство турецкого хана вступил.

Ехал шажком, жеребенка не торопил,
Там, где давали побольше, там ночевал,
Там, где давали поменьше, там он днезал...
Так постепенно вперед продвигался юнец.
Ханская башня зажглась перед ним наконец...
И своего жеребенка пустил на луга,
Бурку надел и пробрался в башню врага.

¹ Чачир — зонтик, навес

Прежде всего в конюшню вошел мальчуган.
Он увидел: прекрасные кони бойцов,
Равен горе — самый маленький из бегунцов.
Ездил на Куцом отважный Уту Цаган.
Было обычаем: до середины дня
Пишным, ворсистым ковром покрывать коня,
После полудня до вечера — гладким ковром...

Мальчик под брюхом коня проползти поспешил,
И не заметил никто уловку его.
В зубы коню заглянул — и сразу решил:
Этот скакун догонит Соловку его..
Он увидал: на другой стороне двора
Высится конь, по прозванию Ерем Хара¹,
Конь Тёгя Бюса, рожденного в облаках.
Он увидал: содержится в холе скакун,
Коврик на нем, стоит на приколе скакун...

Спрятался мальчик под брюхом Ерем Хара,
И не заметил никто уловку его.
В зубы коню заглянул. Соловку его, —
Сразу решил он, — догонит Ерем Хара!
В зубы заглядывал каждому скакуну:
Не были прочие кони Соловки сильней.
— Дай-ка теперь на тюмен скакунов я взгляну,
На пестро-желтых, на холощенных коней,
На бегунцов, которых я должен угнать,
Чтобы на Бумбу не двинулась вражья рать. —

Мальчик с горы побежал. Оказалось, внизу,
За девятью заборами, в крытом базу²,
Сделанном из самородных белых камней,
За девятью воротами держали коней.
Через ущелье в семьдесят пик высотой,
Вырубленное в гранитной горе крутой,
И под охраной тюмена грозных бойцов
В полдень сгоняли на водочой бегунцов:
В сутки поили коней один только раз..
После осмотра подробного порешив,
Что невозможно разрушить каменный баз,
Случая выждать удобного порешив
У водопоя, — Мингйан к жеребенку пошел
И на задворках, в бурьяне, Соловку нашел.

И, точно зная, серебряный хвост приподняв,
Молвил Соловка — мечта владык и держав:
— С вестью какой бесприютный пришел мальчуган? —
Обнял Соловку Мингйан, воскликнул Мингйан:
— Вижу теперь, как поможет мне Бумбы страна,
Быть родовитым не то, что быть сиротой..
Непобедим турецкий хан золотой.

¹ Иссиня-черный.

² Баз — конный двор.

Два превосходных есть у него скакуна, —
Знай же, Соловый: тебя — догонят всегда!

Крикнул скакун: — Разве прибыли мы сюда.
Чтобы кормиться обедами с ханских столов?
Думаю, что не так мы должны поступать.
Ты мне скажи, мой хозяин, без лишних слов —
Как ты решил: отступить или наступать?
Верю, найдется скакун, догонит меня.
Но, мой хозяин, где же ты видел коня,
Что совладал бы с тьмою уверток моих?
Тысячу знаю мелких уловок одних! —

И сговорились Мингйан и славный скакун:
У водопоя, выбрав удобный миг, —
Дело решить и в полдень угнать табун.
И в паука превратился мальчик тогда,
И превратил жеребенка в альчик¹ тогда...

Через ущелье, тайной гранитной тропой,
Буйные кони примчались на водопой,
К девственно-белой влаге нагорных ключей,
За табуном следили войска силачей...
Были потоки воды, как небо, чисты, —
Губ и копыт не мочили кони в ключах.
Вонн взглянул — у него потемнело в очах:
Недалеки уже гривы коней и хвосты
От превращения в крылья, копыта — в сталь.

И человеческий облик принял Мингйан.
Он заорал, сотрясая горную даль,
Он заорал, сотрясая небесную синь,
Он заорал, сотрясая седой океан
Грозным, великим голосом диких пустынь.
И заорал он вторично над крутизной
Грозным, великим голосом чащи лесной.
Сказывают: когда заорал богатырь,
Лопнул у тигра оглохшего желчный пузырь...

Кони, запрядав от окрика смельчака,
Перепугавшись, восставив хвосты в облака
И растоптав многотысячные войска, —
Мощную стражу свою, — понеслись на восток.
Сел на Соловку Мингйан, и когда ездок
За табуном пустился, — казалось не раз:
Многотюменное войско скачет сейчас,
А приглядеться — мелькнул один лишь Мингйан!
И перед всадником, ужасом обуян,
Мчался табун, будто брезговал прахом земным,
Облако пыльное следовало за ним,
От развевавшихся тонких конских волос
Пение скрипок и гуслей над миром неслоь.

¹ Альчик — овечья лодыжка.



Сказывали: турецкий хан золотой
 Кушать изволил тогда свой полуденный чай,
 Чашку откушал, вторую, перед собой
 Третью поставил, — но чай пролился несзначай.
 — Видел я сон в одну из недавних ночей,
 Будто бы со стороны восходящих лучей
 Адовый дух, сатана, явился ко мне.
 Из-за величия наших пышных пиров
 Я позабыл об этом ужасном сне...
 Люди, каков над нами небесный покров?
 Ну-ка, взгляните! — Пришел с ответом слуга
 — Мой повелитель! Багряной пыли дуга
 Обволокла нашу землю и небеса. —

Важный, с престола турецкий хан поднялся,
 Мимо дрожащих прошествовал богатырей,
 Через тринадцать распахиваемых дверей
 Вышел наружу, взглянул на восток и сказал:
 — В сторону Джангра кто-то угнал боевых
 Добрых коней, коней пестро-желтых моих!—
 И распросить охрану султан приказал
 — Чудилось нам, — отвечала охрана тогда, —
 Будто напали стотысячные войска,
 Лишь одного заметили мы ездока. —

Вот, по приказу турецкого хана, тогда
 Богатыри государства явились к нему.
 — Э, значит, есть еще в этом мире кому
 С нами тягаться! — слышались голоса.
 Молвил султан: — Державы турецкой краса,
 Угнаны все пестро-желтые скакуны
 В сторону Джангра, в сторону Бумбы-страны.
 Должен быть пойман угонщик, доставлен живым. —

И приказали тогда коневодам своим
 Храбрый Цаган и тенгрия¹ сын — Тёгя Бюс,
 Чтоб оседлали коней... Совершенной на вкус
 Выпив арзы, бойцы понеслись на восток.
 А в это время Мингйан, удалой ездок,
 Минул железных копий густые леса:
 Всех растоптал их табун, когда ворвался.
 Чудилось: чащу древков повалил ураган.

Вскоре нагнал исполина Уту Цаган,
 Меч обнажил он, хотел Мингйана рассесть,
 Но великану помог Соловка тогда:
 Он увернулся быстро и ловко тогда,
 Воздух рассек Цагана кованый меч...
 И поскакал быстрее соловый скакун,
 И замелькали пред ними копыта коней —

¹ Тенгрий — небожитель.

Мчался десятитысячный буйный табун!
Так проскакали сорок и девять дней.

Мост промелькнул золотой, серебряный мост,
Вот уже башня великого Джанг'ра видна,
Вот уже листья травы в человеческий рост...
Слышит Мингйан слова своего скакуна:
— Сбей одного из врагов и возьми на копье. —
И показал Соловйй уменье свое:
Только преследователи напали вдвоем, —
Он извернулся и сжался в теле своем.
Поднял Уту Цагана Мингйан на копье
Вместе с его желто-пестрым куцым конем.

Тенгрия сын — Тёгя Бюс, в молодом пылу,
Прямо в Мингйана пустил из лука стрелу.
В шею Соловки могла бы вонзиться стрела,
Но роковую стрелу зубами поймал
Опытный всадник и надвое поломал.
Крикнул скакун Тёгя Бюса, грызя удила:
— Этому всаднику ты не уступишь ни в чем.
Недруг не лучше тебя владеет мечом.
Богатыря спасает Соловка его,
Эта увертка, эта уловка его!
Так порази же четыре копыта коня. —

Прянула с лука и полетела стрела,
Взвизгнула тонко и засвистела стрела
И поразила четыре копыта коня.
Молвил скакун: — Горек жребий суровый твой
Ранен в четыре копыта Соловйй твой!
Только до вечера следующего дня
Я продержусь, а там — не сердись на меня.
Вижу теперь, богатырь, что вправе ты был
Горько печаловаться на сиротство свое,
Плакать и жаловаться на безродство свое, —
Эх, чужеродным в Бумбе-державе ты был!
Джангровы люди пируют в отчизне своей,
Что за нужда им скорбеть о жизни твоей?
Где твои львы, где братья твои по борьбе?
Видимо, лгали, когда поклялись тебе
Ждать у мостов. Куда там! И выехать лень! —

И на другой к закату клонившийся день
Бедный Соловка лишился последних сил,
На ездока Тёгя Бюс наскочил опять.
Пику стальную в тело Мингйана вонзил,
Гриву коня Мингйана заставил обнять!
Освободился Цаган. И тогда вдвоем
На запевалу Бумбы напали, живьем
Взяли, свалив посреди дороги его.
Крепко связали руки и ноги его
И на коня посадили к движенью спиной,
И поскакали назад — к державе родной,
Десятитысячный буйный табун погнав.



В башне великого Джангра, владыки держав,
 В самом разгаре пира, — героям своим
 Голосом звонким крикнул провидец Цеджи:
 — Посланный в чуждую землю ваш побратим
 Бумбы родной вчера перешел рубежи.
 Но у мостов не нашел подмоги Мингйан,
 Едет спиною к обратной дороге Мингйан.
 Что же предпримет теперь богатырский стан?

Савар Тяжелорукий, что справа сидел,
 Бурого Лыску велел оседлать своего.
 Хонгор Кречегоокый, что слева сидел,
 Сивого Лыску велел оседлать своего
 И говорил, посреди бумбулвы становясь:
 — Все-таки Сивка дойдет, хотя долговяз,
 Все-таки Сивка дсмчит, хотя не резов! —
 Кони помчались на богатырский зов,
 Воины выполняют обещанье свое!
 Выехал Хонгор, держа золотое копьё,
 Савар стальной — у него тяжела рука —
 Выехал, взяв одну лишь секиру с собой.
 С песней, плечо о плечо, помчались на бой,
 И быстрота скакунов была велика.

Тенгрия сын — Тёгя Бюс оглянулся назад.
 Встретил он Савра Тяжелорукого взгляд, —
 Грозной секиры двенадцать лезвий горят!
 И поскакал Тёгя Бюс к воротам моста.
 Крикнуть хотел — не могли раскрыться уста, —
 Савар примчался горячей мысли быстрее,
 Спину рассек ему Савар секирой своей,
 И отскочило железо секиры, звеня,
 И, потеряв сознание, к гриве коня
 Всадник припал, как будто зарылся в траву.
 И превратилась вселенная в синеву,
 И закружилась в круглых очах его.

Савар схватил за подол врага своего,
 Наземь свалил посреди дороги его,
 Крепко скрутил он руки и ноги его,
 А скакуна Тёгя Бюса повел в поводу.
 Видит он издали: на золотом мосту
 Хонгор Багряный выполнил слово свое:
 Поднял Уту Цагана с конем на копьё, —
 Эти мангасы не ждали таких засад!
 Освободился Мингйан и погнал назад
 Угнанных у турецкого хана коней.

Спешились разом два великана с коней
 И заключили Мингйана в объятья свои.
 Хонгор воскликнул: — Мингйан! Мы — братья твои.
 Не потому забыли мы про тебя,

Что сиротою ты стал, Богдо возлюбя,
И про тебя забыли мы не потому,
Что родовиты мы сами в своем дому!
Из-за величия пиршества, из-за реки
Буйной арзы, благодатной, хмельной араки,
Клятву забыли, но дружба наша верна! —

И впереди пестро-желтого табуна
Пленникам к башне Богдо бежать повелев,
Савар, Мингйан и Хонгор — неистовый Лев —
К ставке своей поскакали мысли быстреей.
Спешились у чешуйчатых, светлых дверей,
К белым седельным лукам прикрепили коней,
Освободили пленных своих от ремней
И распахнули двери. Со всех сторон
Дробный посыпался колокольчиков звон.
В башню вступили, где восседает нойон,
Разом склонили голову долу они,
И поклонились трижды престолу они,
И по своим расселись они местам.

Перешагнув через двести отборных бойцов
И растолкав четыреста черных бойцов,
И надавав пощечин почти семистам,
Пленники сели в башне владыки Богдо
И попросили Джангра: — Великий Богдо!
На рубеже, где вспыхнут пожары войны,
Мы разольемся большим океаном твоим.
Будем конями служить великанам твоим.
Станем заплаткой твоей великой страны,
Только прими нас в цветущее ханство свое,
Только прими нас, нойон, в подданство свое. —

— Пусть я владыка бессмертных племен земных, —
Джангар сказал, — но сперва попросите моих
Грозных богатырей, закаленных в боях
И воевавших во всех подлунных краях. —
Тяжелорукий Савар поднялся тотчас:
— Вот наш подарок бойцам, просящим у нас! —
Руку к щекам силачей приложил, и само
Бумбы родной на них появилось клеймо.

— Хану турецкому передайте привет
И доложите: на год и тысячу лет
Стала подвластной Джангру ваша страна,
Нам ежегодную дань высылайте сполна, —
Так он сказал. И подданных новых своих
Джангар отправил домой, обещая мир
И возвратив турецких коней верховых.
Прерванный, было, наново начался пир...

До бесконечности продолжались пиры,
Бумбы страна воссияла из рода в род.
И в золотом совершенстве с этой поры,
В мире, в довольстве, в блаженстве с этой поры
Зажил могущественный богатырский народ.

На корабле „Георгий Седов“ через Ледовитый океан

Записки капитана

К. БАДИГИН

★

КОРАБЛИ ИДУТ НА ВОСТОК

Мне хорошо запомнился погожий вечер 25 июля 1937 года, вечер прощания с Архангельском. Неторопливое солнце Севера, казалось, остановилось над древним городом поморов и щедро дарило его светом и теплом. Косые лучи скользили по темным водам Двины, по мачтам и трубам океанских кораблей, по огромным штабелям только что распиленных досок. Густой запах соснового бора витал над городом, словно говоря каждому приезжему: вот каков я, город лесных богатств, лесопильных заводов и лесного экспорта; меня можно узнать по запаху смолы и свежих опилок, как узнают Астрахань по запаху рыбы, а Баку — по запаху нефти. Высокое, светлое небо подернулось розовыми, прозрачными облаками, и это придавало вечернему пейзажу особенную легкость и нежность.

В такой вечер хорошо посидеть где-нибудь на отлогом берегу Двины, полюбоваться белокрылыми чайками, вспомнить былые морские походы, по мечтать о будущем, поговорить с подругой, — особенно если ты молод, если ты женился всего месяц назад и если ты глубоко счастлив. Но что делать, если у тебя для этого не остается ни минуты времени, если твой пароход уже отошел от пристани, а тебе еще нужно обегать все портовые учреждения, чтобы оформить судовые документы для

выхода в море и вернуться на пароход уже на катере?

Увы, нам не оставалось ничего другого, как прощаться на бегу. И пока мы ходили из конца в конец набережной, я торопливо, скрепя сердце, убеждал Олю в том, что подруга моряка должна быть терпеливой, что ей придется ждать всего каких-нибудь два месяца до нашей следующей встречи. Гулкие деревянные тротуары прыгали у нас под ногами, прогибаясь, как клавиши, и со стороны мы выглядели, вероятно, довольно комично: сердитый, озабоченный человек в синем кителе с папкой бумаг подмышкой и еле поспевающая за ним раскрасневшаяся и растерянная юная москвичка, впервые попавшая в порт. Нам же было тогда совсем не до смеха.

Наш «Садко», уходящий в третью высокоширотную экспедицию к островам Де Лонга, уже маневрировал вдалеке от берега, разворачиваясь на разные курсы. Там заканчивались последние приготовления к походу, — выверяли магнитный компас, уничтожали девиацию¹. Стройный корабль с широкой трубой, низкими бортами и мощными ледокольными обводами казался издалека изящной игрушкой, брошенной на темнокоричневое сукно Двины.

¹ Девиация — влияние металлических предметов, находящихся на корабле, на показания магнитной стрелки.

Я, как и все садковцы, очень устал за эти дни. Экспедиция собиралась в крайней спешке. На мне помимо прямых обязанностей штурмана и ревизора лежала ответственность за все электронавигационное хозяйство. Нужно было тщательно выверить и подготовить к безотказному действию сложные приборы, — ведь мы уходили в мало исследованные широты, где трудно надеяться только на показания простого магнитного компаса, каким пользовались еще Колумб и Магеллан.

Три дня безумолку жужжал в гирорубке мотор и слышался характерный частый перезвон, — это вращался взад и вперед азимутальный круг гирокомпаса. По несколько раз приходилось опускаться в кочегарку, чтобы проверить в расположенной там особой шахте электролаг Форбса, который позволяет определять пройденный путь, не выпуская за борт длинного линия. Наконец надо было окончательно отрегулировать находившийся в штурманской рубке новейший прибор для измерения глубин — магнито-стрикционный эхолот (он не только измеряет глубину, но и одновременно автоматически записывает ее на специальной ленте).

На борту «Садко» все эти дни творилось нечто, напоминавшее вавилонское столпотворение. Неугомонный и беспоконный Эрнст Германович Румке, плотный и не по летам краснощекий старпом¹ корабля, совсем сбился с ног, принимая сотни тонн самых различных грузов.

Лебедки ревели днем и ночью. Поминутно слыгались «майна», «вира». Непрерывно поднимали ящики, тюки, бочки с лаконическими надписями: «Садко» — высокоширотная экспедиция», «Садко» — Генриэтта». Чего только здесь не было! Высокоширотная экспедиция обладала огромным имуществом. Вслед за тюками меховой одежды на борт поднимали тяжелый ящик с глубоководной лебедкой. Керосиновые лампы чередовались с рыбными консервами, шоколад грузили вслед за мылом. Звероловные капканы, ящики спичек, пали-

росы, сетки для добывания планктона, бочки с квашеной капустой — все это находило свое место в обширных трюмах корабля.

На далеком скалистом острове Генриэтта, на котором за все время лишь один раз побывал человек (это был Мельвилль, участник трагически погибшей в 1881 году экспедиции Де Лонга), мы должны были оставить зимовщиков. Они везли с собою три разобранных дома, радиостанцию, большие запасы продовольствия, снаряжения и даже... стиральную машину.

Погрузка производилась под аккомпанемент душераздирающего собачьего воя и лая, — зимовщики острова Генриэтта везли с собой около тридцати ездовых собак.

На палубе было так тесно, что с трудом удавалось лавировать среди ящиков, бочек и тюков, ожидавших своей очереди у люков трюмов. Румке, словно вездесущий дух, витал над этим хаосом. Он один мог безошибочно сказать, где и что находится.

Особенно душно и жарко было в машинном отделении. Пахло горелым маслом и паром. По узким машинным трапам то-и-дело пробирался могучий Матвей Матвеевич Матвеев — «Матвей в кубе», как прозвали весившего 125 килограммов старшего механика бойкие на язык садковцы. Бывалый моряк, орденоносец, участник легендарного похода «Сибирякова», «Матвей в кубе», как всегда, педантично проверял готовность машин к походу. Ни на час не отходил от котлов молодой механик комсомолец Николай Розов. Этот худощавый, стройный юноша отвечал за все котельное хозяйство и очень гордился порученным ему делом. Механик Георгий Гаршин и старший машинист Сергей Токарев, наверно, в десятый раз проверили каждую деталь механизмов.

В машине спокойно ждали сигнала: «Полный вперед».

В день отхода корабля по трапу поднялась шумная гурьба участников экспедиции и будущих зимовщиков Генриэтты. Здесь были люди самых различных специальностей — гидрологи,

¹ Старший помощник капитана корабля.

геофизики, магнитологи, гидрографы. Среди них я узнавал известных полярников. Но было много и молодежи, только начавшей свою полярную деятельность.

Приятно было вновь встретиться с совсем юным участником недавней сверххранной экспедиции «Садко» на остров Рудольфа Виктором Буйницким. Мы расстались с ним совсем недавно, после похода на остров Рудольфа, куда мы возили из Архангельска авиационное снаряжение. Этот живой, энергичный юноша зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Он с жадностью вникал во все детали новой для него деятельности в Арктике и был наречен редкостью способным учеником. Во время плавания к острову Рудольфа он подолгу дежурил на мостике и внимательно расспрашивал моряков о всех премудростях северного мореплавания.

По пути на остров Рудольфа мы зашли в Амдерму¹, где нас с нетерпением ждали участники воздушной экспедиции на Северный полюс, возвращавшиеся в Москву: снежные аэродромы уже растаяли, и тяжелые четырехмоторные самолеты не могли взлететь на лыжах. Мы доставили в Амдерму огромные колеса для этих авиационных гигантов и... 13 корреспондентов газет, которые сразу же атаковали летчиков.

Помнится, Виктор Буйницкий с меньшей настойчивостью и пылкостью, нежели корреспонденты, расспрашивал участников летной экспедиции о всех деталях необыкновенного воздушного десанта, высаженного на полюсе.

Теперь дрейфующая станция «Северный полюс» медленно двигалась к югу. Самолеты Водопьянова, Алексеева, Молокова уже были в Москве. Только-что прибывшие из Москвы будущие зимовщики на острове Генриэтта рассказывали нам о торжественной встрече героев на центральном аэродроме. Иосиф Виссарионович Сталин выехал навстречу участникам воздушной экспедиции, обнял и расцеловал их. А растроган-

ный теплым приемом Водопьянов произнес прогремевшую на весь мир замечательную речь о том, как сверхосторожные люди предупреждали его об опасностях полета на полюс и как он им ответил:

— На лед не сяду. А если сяду, — пешком не пойду. Сталин не бросит человека...

Мы с волнением слушали эти рассказы и искренне завидовали мужественным героям, удостоившимся такой теплой встречи. Могли ли мы с Буйницким и Токаревым думать в этот день, что и нам предстояло испытать на себе всю силу этого великого закона нашей страны, тепло и просто сформулированного Водопьяновым:

— Сталин не бросит человека...

И вот наступает минута разлуки. Уже стучит мотор катера и винт вспенивает воду. Я стою на самом краю причала, прижимая к груди папку с бумагами, а на меня глядят с тоской полные слез ясные глаза моей подруги.

Она старается сдержаться и почти беззвучно шепчет:

— Ничего, ничего. Все будет хорошо...

И я говорю ей те же самые, пустые, ничего не значащие слова. И обним нам тяжело и грустно.

— До скорой встречи! — кричу я ей на прощанье, прыгая в катер. Она отвечает что-то, но стук мотора заглушает слова. Оля машет мне платком. Если б только я знал, что до следующей встречи пройдет не два, а тридцать с лишним месяцев...

★

Коротки северные ночи летом... Едва спустятся синие сумерки на притихший город, а на востоке уже горит заря. Закончив проверку компасов, «Садко» уходит вниз по течению Двины. Ветер полощет кормовой флаг — флаг Союза Советских Республик. Капитан Н. И. Хромцов поднимается на мостик, чтобы вывести корабль в море. Слева на высоком мысу промелькнули большие здания театра и облисполкома, непогашенные огни уличных фонарей, древний гостиный двор.

¹ Амдерма — полярная станция в юго-западной части Карского моря, несколько к югу от пролива Югорский Шар.

Все яснее становятся силуэты океанских кораблей, грузящих лес в свои обширные трюмы. И вот уже первые лучи солнца золотят штабели пиленых досок на пристанях, и даже угрюмые, приземистые здания Соломбалы выглядят веселее, облитые светом и теплом.

Город и пригороды остались за кормой. Теперь по обеим сторонам реки расстилаются изумрудные луга, а впереди синее высокое небо Белого моря.

★

Рейс начинается буднично, привычно. В официальном документе четко и ясно обозначено:

«На основании договора от 17 мая 1937 года, заключенного между Морским отделом Архангельского территориального управления Главсевморпути и высокоширотной экспедицией Главсевморпути, ледокольный пароход «Садко» передан экспедиции в аренду на срок — 90 суток. На борту парохода: экипаж судна — 43 человека, экспедиционный состав — 28 человек, состав полярной станции островов Де Лонга — 6 человек, строителей — 8 человек и пассажиров до острова Диксон — 3 человека. Грузов на борту, включая уголь и пресную воду, — 1 600 тонн».

Мы идем исхоженной вдоль и поперек морской дорогой. То-и-дело на горизонте виднеются дымки. Арктическая навигация в полном разгаре. Десятки кораблей идут вдоль северных берегов с запада на восток и с востока на запад. Тысячи тонн грузов доставляются на них кратчайшим и самым дешевым морским путем в Якутию, на берега Енисея, Лены, Колымы. Обратными рейсами они везут лавиковый шпат из Амдермы, лес из Игарки, пушнину из Тикси. Гидрографические суда шныряют вдоль берегов и между многочисленными островами, уточняя фарватер. Корабли, служащие базой серьезных научно-исследовательских экспедиций, — «Садко», «Малыгин» и «Седов», — пересекают под разными широтами арктические моря.

С каждым годом Северный морской путь становится все оживленнее, и те-

перь трудно даже представить себе, что еще совсем недавно рубежом торгового мореплавания был Маточкин Шар, за которым лежало «*Mare incognita*». У острова Диксон, к которому «Садко» подошел 31 июля, мы застали целую эскадру торговых кораблей. Среди них был и переполненный студентами-практикантами «Малыгин» — родной брат «Садко», строившийся на одной верфи с ним, по одним чертежам (англичане называют такие корабли «систершип» — «корабли-сестры»).

У Диксона мы получили первые известия и о «Седове», отправившемся на восток для производства гидрографических работ. «Седов» попытался обойти Северную Землю вокруг мыса Молотова, но попал в тяжелые льды, сломал лопасть винта и теперь спускался к югу, чтобы пройти в море Лаптевых через пролив Вилькицкого.

Пока латвийский угольщик «Марет» снабжал нас топливом, часть садковцев побывала на берегу и вернулась с покупками: в полярном магазине они запаслись одеколоном, зубным порошком, а кое-кто приобрел даже дамские чулки в подарок женам. Дамские чулки из Арктики! Да, сильно меняются порядки в этой стране света. Ведь еще сравнительно недавно с Диксона можно было привезти в подарок в лучшем случае шкурку песка, а в худшем — осколок камня.

Глядя на высокие мачты раскинувшегося на каменистом берегу радицентра, я невольно вспомнил рассказ Фритьофа Нансена о том, как в 1893 году он проходил мимо Диксона, который был тогда необитаемым, и мечтал подать на родину весть о себе. Нансен хотел оставить почту на холмике под грудой камней, — авось, какой-нибудь капитан нашел бы ее и доставил в Норвегию. Но потом он отказался от этой мысли, — слишком ненадежна была затея. Теперь же путешественник мог бы послать отсюда, с Диксона, любое донесение в любой город мира за 10—20 минут...

Наконец 4 августа погрузка была закончена, и мы снялись с якоря. Осталось пополнить запасы пресной воды в

Енисейском заливе, пройти проливом Вилькицкого в море Лаптевых и возможно более быстро подняться в высокие широты: надо было спешить с началом экспедиционных работ, так как в восточной части Карского моря и в море Лаптевых складывалась неблагоприятная ледовая обстановка.

Но наше продвижение на восток неожиданно замедлилось: «Садко» предложили проводить во льдах двух попутчиков — пароходы «Беломорканал» и «Ванцетти» — до встречи с ледоколом «Ермак».

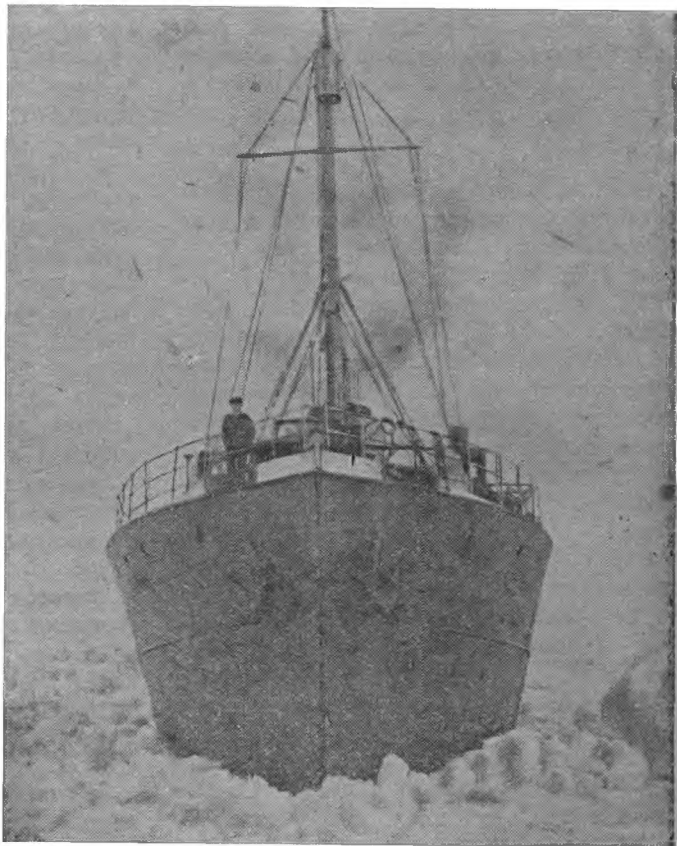
Назавтра же, как только наш импровизированный караван приблизился к шхерам Минина, навигационные условия резко ухудшились. Суда попали в торосистый крупно-битый лед мощностью 8 баллов¹. Нанесло густой туман. С севера подул крепкий ветер, грозивший прижать дрейфующими льдами наш маломощный караван к берегу. Вначале все три судна еще кое-как двигались, пытаясь пройти севернее острова Вардропер в 10—12 милях. Но к концу дня в густом тумане суда вошли в сплоченный лед, и «Садко» вынужден был оставить своих спутников, чтобы поискать более свободный проход.

Мы двигались в самых различных направлениях, пробиваясь то на юг, то на юго-восток, то на восток, то на северо-восток, то, наконец, на северо-запад. Всюду преграждали нам путь сплоченные льды, недоступные для проводки слабых грузовых судов. Пришлось вернуться к ним и остановиться в ожи-

¹ Моряки оценивают количество льдов по десятибалльной системе. Лед 8 баллов означает, что участок моря равномерно покрыт льдом приблизительно на 80 проц. его площади.

дании, пока не улучшится видимость.

Утро 6 августа не принесло ничего утешительного. Попрежнему стоял туман. Вокруг нас белели льды. Но в



«Садко» в проливе Вилькицкого.

Фото Арктического института.

16 часов мы неожиданно приняли радиограмму от парохода «Искра», который сообщал, что он находится почти рядом с нами, лишь немного южнее, и без особых затруднений самостоятельно движется разреженным льдом к проливу Вилькицкого. Насколько различны бывают ледовые условия на самых близких расстояниях!

«Садко» повел своих спутников на юго-запад, чтобы они смогли присоединиться к «Искре». Вскоре, действительно, мы встретили разреженный лед и

оставили здесь «Беломорканал» и «Ванцетти»; сами же направились на север, чтобы обследовать кромку сплоченного льда и поискать там проход на восток. «Садко» удалось продвинуться вперед до $75^{\circ}17',4$ северной широты. Дальше пути не было. Пришлось возвращаться на юг, чтобы попытаться пройти к проливу Вилькицкого под берегом.

И вдруг совершенно неожиданно у 75-й параллели мы встретили одинокое грузовое судно, заброшенное среди льдов. Это была «Сура», находившаяся в очень печальном состоянии. Ледяные поля настолько потревожили ее слабый корпус, что впору было выгружать грузы из трюмов на лед. Оказывается, капитан этого судна решил пренебречь элементарными условиями ледового мореплавания и на-ура пробиться от Диксона в море Лаптевых. Результаты не замедлили сказаться.

Нужно было оказать немедленную помощь бедствующему судну. Мы почти подошли к нему. В это время снова нагнело густой туман и пришлось застопорить машину. Пароходы «Беломорканал» и «Ванцетти» сообщили по радио, что они не пробились к «Искре» и теперь идут к «Садко». Теперь наш корабль становился лидером трех торговых судов.

Наступило 8 августа, а мы были так же далеки от начала высокоширотной экспедиции, как и неделю назад. «Садко» приходилось выполнять функции ледокола, и немудрено, что существенных результатов на этом поприще нам не удавалось добиться.

В 3 часа 45 минут мы встретились в тумане с целым караваном судов. Здесь, кроме «Беломорканала» и «Ванцетти», было еще два парохода с лучшими ледовыми качествами. Нам предложили по радио захватить с собой «Суру» и пристроиться вместе с ней в кильватер каравану. Теперь уже шесть судов скитались в тумане, тщетно отыскивая свободный от льдов путь в море Лаптевых.

Начальник каравана, подчинивший себе «Садко», повел пароходы на север, хотя наша разведка показала, что там лежат сплоченные льды. И на этот раз не удалось пройти дальше 75-й парал-

лели. Тогда было решено выпустить в воздух небольшой самолет «Н-20», который мы везли для передачи «Ермаку». При первом же прояснении самолет поднялся. В воздушную разведку отправились летчик Портнов, механик Герасимов и штурман Карельский. Их наблюдения подтвердили данные, полученные «Садко» за день до этого: на севере лежали сплоченные ледовые поля. Единственный путь, которым можно было пройти к проливу Вилькицкого, лежал у самого берега материка.

«Садко» был отправлен в новую ледовую разведку по пути, указанному самолетом. Оставив караван, мы шли довольно быстро: в береговой польне лишь изредка встречались отдельные поясины разреженного льда, зато к северу и северо-западу держались сплоченные поля. Данные разведки мы сообщили оставленному нами каравану по радио и больше к нему не возвращались: идя по нашему пути, он мог свободно выйти на береговую польню, чтобы следовать дальше на восток.

Обогнув остров Белуху с севера и лавируя в тумане между кромкой сплоченного льда и берегом острова Русского, мы проскочили до $95^{\circ}52'$ восточной долготы. Здесь, на $77^{\circ}08',6$ северной широты, «Садко» 10 августа встретился, наконец, с долгожданным «Ермаком».

Пять дней, затраченных на разведку пути для торговых судов, изрядно истощили наши запасы топлива. Поэтому командование «Садко» подало заявку на 1 000 тонн угля, которые мы решили погрузить в Тикси. Кстати, именно это количество топлива было включено в план снабжения высокоширотной экспедиции, которая собиралась базироваться на Тикси. Но нас разочаровали: угля в Тикси нехватало; уже сейчас там ощущался топливный голод. Значит, надо было возможно экономнее расходовать свои запасы и поскорее начинать работу по назначению.

11 августа «Ермак», приняв с «Садко» самолет и горючее, отошел от нашего борта и взял курс на юго-запад. Мы же двинулись на северо-восток, к проливу Вилькицкого, встречая с каждой милей все более и более трудную ледо-

вую обстановку: дул крепкий северо-западный ветер, густо падал снег, к северу от острова Русского держался лед — 9—10 баллов.

Сильные ветры западной половины компаса забили пролив Вилькицкого сплоченным льдом, против которого «Садко» был бессилён. Льды развернули его кормой вперед и потащили вслед за собой со скоростью 1 мили в час. Это было надругательством над кораблем, который теперь дрейфовал кормой вперед. Но лучше двигаться так, чем совсем не двигаться. И мы были очень довольны, когда ветер и льды доставили нас прямым сообщением в море Лаптевых почти без всякого вмешательства с нашей стороны. Здесь льды немного развело, и мы начали пробиваться на север, чтобы начать гидрологический разрез в высоких широтах — от берегов Северной Земли к острову Котельному.

Подобного рода работы описывались неоднократно, и я скажу здесь только, что в этом году они были организованы с большим размахом. «Садко» выполнял не в одиночку. Поблизости вела исследовательские работы экспедиция на «Седове». «Малыгин» также исследовал бассейн моря Лаптевых.

Виктор Буйницкий в эти дни носился по кораблю, как метеор. Его можно было встретить в самых различных местах и за самыми различными занятиями. То он помогал физикам доставать пробы льда, то копался вместе с биологом в улове бентоса (придонная фауна), то помогал гидрологам разливать пробы воды. Я с интересом присматривался к этому пылкому юноше и уже решил про себя: вот неплохой помощник в будущей дальней экспедиции, о которой я давно уже мечтал.

Надо сказать, что мне уже давно не давали покоя легенды о земле Андрея¹, которой нет на картах, но о которой сложено много преданий. Перед уходом в плавание я даже набросал план киносценария фантастического фильма об этой земле.

¹ Эту землю якобы видел в 1764 году сержант Степан Анюев к северо-востоку от Медвежьих островов

Конечно, это было немного наивно, — молодому моряку мечтать о большой экспедиции на поиски неведомой земли, — и я ничего не говорил Буйницкому о своем проекте. Но, как известно, вскоре обстоятельства сложились так, что он оказался моим помощником в несравненно более грандиозной экспедиции, перед которой даже самый смелый из моих проектов бледнел.

★

Первые же глубоководные измерения принесли нашим научным работникам чрезвычайно интересные данные. В мелком море Лаптевых, глубина которого измеряется лишь десятками метров, неожиданно были получены большие океанические глубины.

16 августа при очередном нашем измерении лот достиг дна на глубине 65 метров. Через 35 миль, остановившись в четырехбалльном льду, мы снова произвели промер. Опустили лот на 100 метров. Дна не достали. Выравили 500 метров троса. Результаты те же. И только на глубине 805 метров груз коснулся дна.

Весть об открытии больших глубин взбудоражила наш маленький научный мирок. Теперь крайне важно было определить границы неожиданно обнаруженной впадины. И, невзирая на усложнившуюся ледовую обстановку, измерения глубин проводились так часто, как только было возможно.

Некоторые данные этих измерений см. на стр. 215.

Мы двигались почти прямо на север над каким-то загадочным подводным провалом, которому научные сотрудники дали название глубоководного жолоба.

До сих пор подобные глубины в морях советской Арктики были обнаружены дважды во время первой высокоширотной экспедиции «Садко» в 1935 году. Тогда такие глубины нашли у восточных берегов Земли Франца-Иосифа и у западных берегов Северной Земли. Эти глубоководные жолобы шли также в направлении с севера на юг. Было выяснено, что по дну жолобов атлантиче-

Время измерения	Широта места (сев.)	Долгота места (вост.)	Глубина
16 августа	77°25'	115°42'	65 м
16 августа	77°25'	118°19'	805 м
16 августа	77°29',8	118°32'	1247 м
17 августа	77°35'	118°31'	1350 м
17 августа	77°44'	118°10'	1414 м
17 августа	77°54'	116°14',3	1140 м
17 августа	77°56',8	117°56'	1445 м
17 августа	78°05'	116°34'	1096 м
17 августа	78°14'	116°30'	1290 м
17 августа	78°26',2	116°32',5	1542 м
17 августа	78°28',2	117°16',8	1927 м
18 августа	78°34'	118°28'	2381 м

ские воды, занесенные ветвями Гольфстрима, проникают далеко на юг Карского моря. В то же время над этими ложбинами уходят на север воды, опресненные Обью и Енисеем.

Одновременно высокоширотная экспедиция 1935 года на севере Карского моря открыла большое мелководье, посреди которого возвышался остров Ушакова.

Неожиданные открытия преслили свет на динамику дрейфов в этом секторе Арктики: в то время как на мелководье ледяные поля задерживались, — вдоль глубоководных жолобов шло интенсивное движение льдов. Пропавшее без вести судно исследователя лейтенанта Брусилова «Св. Анна» было унесено на север вдоль глубоководного жолоба, жолоба «Св. Анны», открытого у Земли Франца-Иосифа. Вдоль жолоба, открытого на западе от Северной Земли, жолоба «Седова», дрейфовал на север в 1934 году «Садко», попавший в тяжелые льды во время рейса к острову Домашнему.

Некоторые исследователи видели в этих открытиях даже подтверждение гипотезы об «арктической Атлантиде». Эта смелая гипотеза утверждает, что восточный сектор Арктики, начиная от Карского моря, подобно легендарной Атлантиде, медленно погружается под воду. Неожиданные и резкие колебания глубин, обнаруженные глубоководными промерами, как будто бы подтверждают относительно недавнее пре-

вращение большой гористой страны в морское дно.

Открытие третьего глубоководного жолоба, и притом в мелком море Лаптевых, о котором иногда шутят, что оно пуночке по колено, — было чрезвычайно интересно для науки. К сожалению, наблюдения пришлось оборвать на самой интересной точке: как мы ни бились, дальше пройти не удавалось: по всему горизонту от северо-запада через север до юга лежал сплоченный, трудно проходимый лед. Однако то, что мы узнали, должно было послужить ценным материалом для ученых.

Действительно, распределение глубин в Мировом океане весьма характерно. Везде у берегов океана лежит так называемая материковая отмель с глубинами на ней, в среднем не превышающими 200 м. Площадь материковой отмели занимает около 8 процентов всей площади Мирового океана. Глубины от 200 до 2440 метров составляют материковый склон, занимающий 11 процентов площади Мирового океана, и только на глубинах свыше 2440 метров начинается ложе океана с вкрапленными в него океаническими впадинами. Наибольшая океаническая глубина была обнаружена у Филиппинских островов — 10 830 метров.

У некоторых берегов материковая отмель почти отсутствует, у некоторых, наоборот, она очень развита. Наиболее далеко отходит от берега материковая отмель как-раз у арктических побере-

жий Европы и Азии. Все моря Советской Арктики: Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское — расположены на материковой отмели.

Образовалась материковая отмель в результате размыва океаном континентов при условии медленного опускания их берегов. Таким образом, материковая отмель — подводное продолжение континентов. Поэтому на ней всегда можно встретить острова континентального происхождения, такие, как Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля и другие. На океанических глубинах, т.е. на глубинах свыше 2 440 м, можно встретить только острова вулканического происхождения, например, о. Ян-Майен в Гренландском море.

Понятно, какой большой интерес представляет для науки каждое определение края материковой отмели и каждый выход на большие глубины. Уже говорилось, что на севере Карского моря это было сделано первой высокоширотной экспедицией на «Садко» в 1935 г. Прибавим к этому, что край материковой отмели был нащупан экспедицией на «Фраме» (1893—1896 гг.) к северо-западу от Ново-Сибирских островов и к северо-западу от Шпицбергена.

Кроме того, в последнем районе край материковой отмели в дальнейшем подробно обследовался различными экспедициями, в том числе русскими. Вот и все выходы на большие глубины, которые можно насчитать на арктическом побережье Европы и Азии.

И вот сейчас мы находились над большими глубинами. Здесь впервые мы почувствовали Северный Ледовитый океан и по другим признакам, — по распределению глубинных температур и соленостей.

Еще Нансен открыл, что повсюду на пути дрейфа «Фрама» теплые и соленые атлантические воды, проникающие в Центральный Арктический бассейн из Гренландского моря глубинным течением, как бы погребены под очень холодным и менее соленым слоем

полярных вод. Мы почувствовали эти воды, как только начали спускаться с материковой отмели и сделали гидрологическую станцию на глубине 805 метров. В дальнейшем, по мере нашего продвижения на север, приблизительно по 118-му меридиану восточной долготы, эти атлантические воды чувствовались все явственнее и явственнее. Вот распределение температур и солености, полученное 18 августа 1937 года на 78°31' северной широты и 118°18' восточной долготы, где глубина моря была 2 381 м.

Глубина в метрах	Температура в градусах	Соленость
0	— 1.46	30.32 ¹
10	— 1.47	30.35
25	— 1.70	31.58
50	— 1.77	33.68
75	— 1.74	33.95
100	— 1.65	34.51
200	+ 1.09	34.65
300	+ 1.34	34.70
500	+ 0.80	34.70
800	+ 0.01	34.72
1000	— 0.30	34.72

Из таблицы видно, что на этой станции на глубине приблизительно от 150 до 800 метров расположен слой воды сравнительно высокой солености и положительной температуры. Это атлантические воды. Они нырнули под холодные воды Арктического бассейна в районе к северо-западу от Шпицбергена и прошли к северу от Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа, Северной Земли. Дойдя до жолоба, по которому мы шли, эти воды повернули на юг, повинаясь общему для всего движущегося на земле закону, — отклоняться вправо от направления своего движения в северном полушарии и влево — в южном.

Эти атлантические воды, неожиданно открытые в море Лаптевых, послужили наилучшим доказательством того, что большие глубины, над которыми мы находились, не принадлежат к какой-нибудь отдельной изолированной впадине, а являются продолжением жоло-

¹ Соленость, как это принято в океанографии, выражена в промиллях. Другими словами, соленость 30.32 означает, что в 1000 грамах морской воды растворено 30.32 грамма твердых веществ.

ба, который протянулся в море Лаптевых от больших глубин Северного Ледовитого океана.

Теперь же нам оставалось как можно скорее пробиться на юг, чтобы выйти из льдов, — ведь впереди у нас было еще очень много работы. 19 августа «Садко» вышел в более легкие льды и взял генеральное направление на северную оконечность острова Котельного. На этом пути, опять идя над малыми глубинами, мы производили сплошной гидрологический разрез. Он показывал полное однообразие температур и химического состава воды в этом мелководном бассейне. Мы не ощущали влияния ленских вод, — не было отмечено ни понижения солености, ни повышения температуры. Начиная со дна моря и до поверхности температура была приблизительно одна и та же. В придонных слоях отмечалось сильное развитие сероводорода; жизнь в этих слоях почти полностью отсутствовала.

★

Три дня мы продвигались с запада на восток вдоль 77-й параллели, в густом тумане, лавируя среди массивных ледяных полей. Вышина торосов достигала иногда 10 метров. «Садко» приближался к району Земли Санникова. Поиски этой земли, порученные «Садко», волновали весь экипаж. Зимовщики, которых мы везли на острова Де Лонга, втайне мечтали высадиться именно на этой земле, — конечно, в том случае, если бы нам удалось ее открыть.

У Земли Санникова была долгая и запутанная история. Около 130 лет назад обледеневшие Ново-Сибирские острова посетил путешественник Максимилиан Геденштром. Его спутником и активным помощником был промышленник Яков Санников. И вот однажды Санникову, когда он был на мысе Высоком, показалось, что на севере в дымке тумана выступают контуры новой, неизвестной земли. Вторично ему показалось, что впереди лежит какая-то земля, когда он добрался до северного берега острова Котельного. Санников сообщил, что он попытался подойти к неизвестным

землям по льду, но в 25 верстах от них путь ему преградила большая полынья.

Геденштром нанес на свою карту новые острова и написал: «Земли, виденные Санниковым». Много лет не удавалось проверить правдивость карты Геденштрома. Туманы и льды ревниво хранили тайну Якова Санникова, преграждая путь кораблям.

И вот в 1881 году вблизи от этого района пловучие льды пронесли обреченную на гибель «Жанетту» Де Лонга. Призрак Земли Санникова снова потревожил людей. 18 мая Де Лонг записал в своем дневнике:

«Северная широта 76°44',40, восточная долгота 161°30',45. Денбар утверждает, что к западу за нашим островом (речь идет об острове Генриэтта, только-что открытом Де Лонгом. — К. Б.) видны горы. Я несколько раз поднимался на марс и видел то же самое, но я не могу с уверенностью утверждать, что это не облако. Одно время мне показалось, что верхняя часть нашего острова спускалась, а затем поднималась, соединяясь снежной линией с хребтом за островом, но я не мог различить снежные вершины, которые Денбар видел до моего прихода. Ясная, светлая, приятная погода...».

Известный русский полярный путешественник Толль в 1886 году будто бы также видел эту землю с Ново-Сибирских островов.

«При рассказе о виденной мною в 1886 году Санниковой земле на север от острова Котельный, — пишет Толль, — мой проводник Джергели, семь раз проводивший лето на островах и видевший несколько лет подряд загадочную землю, на вопрос мой: «Хочешь ли достигнуть этой дальней земли?» — дал мне следующий ответ: «Раз наступить и умереть».

При своем вторичном посещении Ново-Сибирских островов в 1894 году Толль опять заметил на севере какую-то землю, даже различил на ней 4 высоких горы, зарисовал их контуры и определил, что земля находится на северо-восток в 14—18° от северной оконечности о. Котельного.

Первым судном, побывавшим в районе к северу от Ново-Сибирских островов, был «Фрам» экспедиции Нансена. Почти всю зиму 1893—1894 года «Фрам» дрейфовал между 130 и 140° восточной долготы и 79 и 81° северной широты, но никакой земли не обнаружил. Однако «Фрам» не заносило восточнее меридиана о. Котельного, и поэтому после дрейфа «Фрама» вопрос о Земле Санникова остался открытым.

Одной из задач русской полярной экспедиции на судне «Заря» под начальством Толля (1900—1903 гг.) было отыскание Земли Санникова.

«Заря» вышла из Петербурга 21 июня 1900 года, перезимовала в одной из бухт западного Таймыра и 1 сентября 1901 года обогнула мыс Челюскин. Затем приблизительно между 76-й и 77-й параллелями «Заря» направилась в район к северу от Ново-Сибирских островов. 11 сентября «Заря» дошла до о. Беннета, открытого 28 июля 1881 года Де Лонгом, возвращавшимся на материк после гибели «Жанетты».

Не обнаружив на своем пути к о. Беннета Земли Санникова, Толль решил возвратиться к точке, в которой, по его предшествовавшим наблюдениям, должна была находиться эта земля. Он хотел еще раз разглядеть ее. 14 сентября «Заря» в густом тумане дошла до 77°32' северной широты и 142°17' восточной долготы и Земли Санникова не обнаружила. Надвигавшиеся льды заставили «Зарю» прекратить поиски, повернуть на юг и 24 сентября стать на вторую зимовку в бухте Нерпалах, в проливе между островами Котельным и Белковским. В следующем году после неудачных попыток прорваться к северу от Ново-Сибирских островов «Заря» вернулась в бухту Тикси.

В 1913—1914 годах попытки отыскания Земли Санникова были предприняты ледокольными пароходами «Таймыр» и «Вайгач».

Пройдя на север вдоль восточных побережий Ново-Сибирских островов, «Таймыр» 20 августа 1913 года открыл о. Вилькицкого и затем подошел к о. Беннета. Отсюда корабль повер-

нул на запад по параллели этого острова, держа курс к полуострову Таймыр. Здесь «Таймыр» соединился с «Вайгачем». Этой экспедиции выпала честь совершить замечательное географическое открытие: 3 сентября 1913 года к северу от м. Челюскина был обнаружен архипелаг, получивший впоследствии название Северной Земли. 13 сентября оба судна повернули на восток и прошли к северу от Ново-Сибирских островов несколько севернее пути «Таймыра». Таким образом, в 1913 году район предполагаемой Земли Санникова был пересечен дважды.

В конце августа 1914 года «Вайгач» и «Таймыр» снова поднялись к о. Вилькицкого. К северу от него «Вайгач» открыл еще один остров, названный о. Жохова. Затем оба корабля прошли к северу от Ново-Сибирских островов, безуспешно стараясь отыскать все же Землю Санникова. Напрасно, — земли не было.

Спустя десять лет в районе к северу от Ново-Сибирских островов дрейфовало судно «Мод» норвежской полярной экспедиции. Еще 8 августа 1922 года экспедиция вошла в полярные льды у о. Геральда, надеясь повторить дрейф «Фрама». Надежды не оправдались. Пройдя мимо островов Вилькицкого и Жохова, 10 июля 1924 года судно освободилось от льдов, а 17 августа, обогнув с севера о. Котельный, вышло на чистую воду в море Лаптевых.

Во время всех этих плаваний и дрейфов Земля Санникова обнаружена не была. Но все же не было доказано, что она не существует. Действительно, ни одному из этих судов (кроме «Фрама») не удалось в районе к северу от Ново-Сибирских островов выйти на большие глубины Северного Ледовитого океана. Материковая отмель по-прежнему оставалась недостаточно подробно обследованной. Можно было ожидать открытия здесь островов континентального происхождения.

Вот почему научной экспедиции на ледокольном пароходе «Садко» в 1937 году, наряду с другими заданиями, были поручены поиски Земли Санникова.

О Земле Санникова написали много книг. Известный геолог Обручев опубликовал даже фантастический роман, в котором рисует увлекательные картины оазиса древнего мира, чудом сохранившегося среди льдов.

И вот теперь мы приближались к этому загадочному району Арктики. Казалось бы, вековая загадка сейчас должна была разрешиться. Но природа и на этот раз поставила на пути корабля непреодолимые препятствия: густой туман мешал осматривать горизонт; сплоченный торосистый лед не давал возможности пробиться на север.

В рейсовом отчете капитана «Садко» Хромцова так описаны дни и часы поисков Земли Санникова:

«22 августа.

12 часов. Широта $76^{\circ}35'$, долгота $140^{\circ}35'$. Ветер восточно-юго-восточный, 2 балла. Туман. Температура — минус 2° .

13 часов 55 минут. Туман рассеялся. Определили координаты путем обсервации. Широта $76^{\circ}36'$, долгота $139^{\circ}19'$.

Следуя курсом 100° , вышли на разреженный лед в точке, широта которой $76^{\circ}55'$, долгота — $140^{\circ}20'$. От этой точки придерживались истинного курса 20° , чтобы пройти в район предполагаемой Земли Санникова. Но густой туман не позволяет осматривать горизонт.

20 часов. Широта $77^{\circ}18'$, долгота $141^{\circ}26'$. Подошли к южной кромке сплоченного льда. Крупно-битый лед, обломки полей, торосистые поля. При попытках пройти на север встречали трудно проходимый лед. Вследствие этого выбрались на более легкий. Шли на северо-северо-восток.

24 часа. Широта $77^{\circ}18'$, долгота $141^{\circ}57'$. Ветер юго-восточный, 2 балла. Туман. Температура — минус 1° . Лед — обломки полей — 4 балла.

23 августа.

8 часов. Широта $77^{\circ}18'$, долгота $142^{\circ}04'$. Вышли на южную кромку льда. Дальше следовали на восток по кромке сплоченного льда. По мере отклонения кромки к северу соответственно меняли курс.

В точке, широта которой $77^{\circ}58'$, долгота $143^{\circ}12'$, кромка тяжелого сплоченного торосистого льда повернула на юго-восток. Густой туман препятствовал осмотру горизонта

24 часа. Широта $77^{\circ}36'$, долгота $147^{\circ}12'$. Разреженный лед. Температура — минус 2 градуса. Видимость плохая. 24 августа.

12 часов. Широта $77^{\circ}06'$, долгота $151^{\circ}12'$. Восточный ветер — 3 балла. Туман. Разреженный лед — 3 балла.

Задерживаться дольше для поисков Земли Санникова мы не могли. Пришлось, скрепя сердце, отказаться от решения этой задачи. Теперь мы спешили к островам Де Лонга, чтобы высадить там зимовщиков и помочь им основать новую полярную станцию. Они ходили злые и хмурые: рухнула мечта о зимовке на легендарной земле...

★

Вечером 24 августа, когда мы шли чистой водой, корабль замедлил ход. Кормовой флаг дрогнул и пополз вниз. Из сирены вырвалась длинная струя пара, и низкий, бархатный голос «Садко» далеко разнесся над безмолвными водами. Раздался троекратный ружейный залп. «Садко» отдавал траурные почести погибшему в этом месте 11 июня 1881 года судну отважного исследователя Де Лонга, перед мужеством которого преклоняются все моряки мира. Мы с волнением глядели вокруг.

Вот здесь, среди тяжелых паковых льдов, решила 56 лет назад судьба трехмачтовой шхуны «Жанетта» и ее экипажа. Хладнокровный и волевой лейтенант Де Лонг с точностью до минуты зафиксировал в своем дневнике страшную картину гибели своего корабля:

«11 июня. В 7 часов 30 минут лед начал двигаться к левому борту, но, пройдя полметра, остановился. Одна смена втащила тяжелую льдину в небольшой канал слева, чтобы канал, закрывшись, мог принять на себя большую часть давления. В 10 часов лед начал наступать на левый борт, льдина

выдержала давление, а затем все успокоилось.

В 16 часов лед начал с громадной силой напирать вдоль всего левого борта и прижал корабль ко льду, заставив «Жанетту» накрениться на 16° на правый борт. Раздавшийся у бункеров и у обшивки правого борта треск и обнаруженное расхождение потолочных пазов заставляли предполагать серьезное повреждение корабля... Лед, наступая на левый борт, двигался и к корме. Она оказалась приподнятой слева, а справа — придавленной к тяжелому льду и не давала всему кораблю возможности подняться.

Мельвиль обнаружил в машинном отделении 6 разрывов, проходящих через все судно. От сжатия с левой стороны корабль раскалывался надвое, корму же и правую часть крепко сдерживали льды...

В 17 часов сжатие возобновилось с ужасающей силой, весь корабль трещал. Спардек начал подниматься вверх. Немедленно последовало распоряжение перевести припасы, одежду, постельные принадлежности, корабельные журналы и бумаги. В 18 часов после нового невероятного сжатия судно начало наполняться водой. Все наши усилия были направлены к переброске припасов и т. п. на лед, и работа не прекращалась до тех пор, пока вода не поднялась до спардека. Корабль накренился до 30°. Вся правая сторона спардека находилась под водой, перила также были залиты водой. Правая часть судна была, очевидно, разломана у гротмачты, и корабль стал быстро погружаться. На бизани был поднят кормовой флаг. В 20 часов был дан приказ всем оставить корабль...».

Отважные исследователи не сдались стихии. Ценой величайших лишений они преодолели расстояние в 750 километров, отделявшее их от материка, и добрались до дельты Лены. Сейчас в дельте Лены весьма многолюдно. Поблизости — крупный советский арктический порт Тикси. Но в то время эти места были почти необитаемы, и Де Лонг со своими спутниками, не найдя

людей, погиб от голода... Этой участи случайно избежал лишь Мельвиль с небольшой группой экипажа «Жанетты».

И вот теперь наш «Садко» покачивается на волнах над холодной могилой «Жанетты». Как изменились эти места за 56 лет! Вокруг нас не видно льдов. Лишь изредка проплывают обломки небольшого льда. Потепление отодвинуло ледовый барьер к северу, и теперь эти широты доступны для мореплавания.

Снова заработала машина «Садко». Забурлил винт за кормой. Мы движемся к острову Гейриэтта. Судя по карте, составленной спутником Де Лонга Мельвилем, остров должен быть где-то здесь, совсем рядом. Но на море снова спустился густой туман, и мы ложились в дрейф до улучшения видимости.

Рано утром 25 августа туман немного рассеялся, и вдали показался остров причудливой формы, вид которого надолго врезался мне в память. Гигантский ледяной купол покрывал черную базальтовую скалу, возвышающуюся на 340 метров над водой. Угрюмые каменные стены вулканического происхождения уходили ввысь на десятки метров, и весь остров был похож на неприступный замок какого-то мифического духа, стерегущего Арктику.

Де Лонг так описал в своих записках первое и последнее посещение этого острова группой, которой командовал Мельвиль:

«Остров представляет бесплодную скалу со снежной вершиной. Восточная сторона вершины покрыта ледниками. Кроме гнездящихся на скале голубей, никаких птиц не обнаружено. В качестве трофея на корабль доставлено немного травы и мха, а также кусок скалы. Из-за крутизны подъема не удалось взобраться на вершину утеса.

Путь на остров был чрезвычайно труден, так как от корабля его отделяют тяжелые льды. Приходилось прокладывать дорогу во льдах, устраивать сложные переправы, разгружать и снова грузить сани, тащить которые было очень тяжело.

Вблизи острова лед находился в движении. На кромке твердого льда Мель-

виль оставил запасы и сани и, захватив инструменты и провизию на день, решил, рискуя жизнью, двинуться по грозному льду. Собаки отказывались итти, и их приходилось тащить. Настойчивость Мельвиля свидетельствует об огромном мужестве и заслуживает всяческой похвалы.

Я в приказе дал имя острову и установил его положение. Остров Генриэтта: северная широта — $77^{\circ}8'$, восточная долгота — $157^{\circ}45'$...».

Оказалось, что остров был неточно нанесен на карту и лежал в стороне от предполагаемого местонахождения. У северо-западного берега держался разреженный лед. «Садко» подошел поближе и попытался обогнуть остров с востока. Но на этом пути нас встретили сплоченные льды, и поэтому пришлось вернуться.

В трех кабельтовых от берега, между мысами Денбара и Беннета, был брошен якорь. Здесь с крутых базальтовых скал опускался в море небольшой мостик из затвердевшего снега. От борта «Садко» отвалила шлюпка. Руководители экспедиции подошли к берегу, высадились на снег, подняли флаг СССР и основали полярную станцию Главсевморпути № 57. Впервые после Мельвиля появлялись люди на этой пустынной земле...

Надо было искать подходящее место для высадки зимовщиков и выгрузки их снаряжения. Поэтому, как только шлюпка вернулась, «Садко» снялся с якоря и медленно обошел вокруг острова. Мы все неволью любовались этой величественной каменной глыбой, рожденной усилием вулкана среди льдов и мрака. «Садко» казался пигмеем рядом с береговыми скалами Генриэтты, отвесно обрывающимися в море со стометровой высоты. Эти черные базальтовые столбы, изведенные водой и ветром, обладали самыми разнообразными, нередко причудливыми формами. Мы видели здесь стройные колонны, гигантские каменные зубчатые башни, пирамиды. И над всем этим царил величественный белоснежный купол, линии которого терялись в светлом небе Арктики.

В самом низком месте берег обрывался отвесно в тридцати метрах от уровня моря. Для того чтобы вскарабкаться на него, требовалась альпинистская техника. Нам же нужно было не только высадить на острова людей, но и выгрузить десятки тонн грузов. Поэтому пришлось волей-неволей возвратиться и приставать левым бортом к естественному причалу из льда и снега, который спускался со скал на северо-западном берегу между мысами Денбара и Беннета.

Этот ледяной мост, толщина которого в самом слабом месте составляла около 4 метров, то-и-дело пускал в воду «белых лебедей» — небольшие айсберги, — один из которых так качнул «Садко», что все на борту заходило ходуном.

Надо отметить, кстати, что о. Генриэтта является единственным островом в районе к востоку от Северной Земли, на котором имеются ледяной купол и ледники, спускающиеся к морю и рождающие айсберги. Такие ледники можно увидеть только на Северной Земле, на северном острове Новой Земли, на о. Ушакова, на Земле Франца-Иосифа, на о-вах Виктория и Белый между Землей Франца-Иосифа и Шпицбергенем, на Шпицбергене, на Гренландии (на которой из 2,1 млн. кв. километров ее поверхности 1,9 млн. кв. километров покрыто вечным льдом толщиной в некоторых местах до 3 километров), на берегах Баффина залива и на о-вах Принца Патрика и Мельвиля в Северо-Американском архипелаге.

Нигде больше в Арктике ледников, спускающихся до уровня моря, нет.

От дрейфующего льда место выгрузки было прикрыто мысом Денбара на востоке и небольшим снежным выступом на западе. Но с севера могли в любую минуту надвинуться ледяные поля. При первом же нажиме льда с северо-запада, севера, северо-востока судно, производящее здесь выгрузку, оставалось без защиты и вынуждено было бы немедленно отойти.

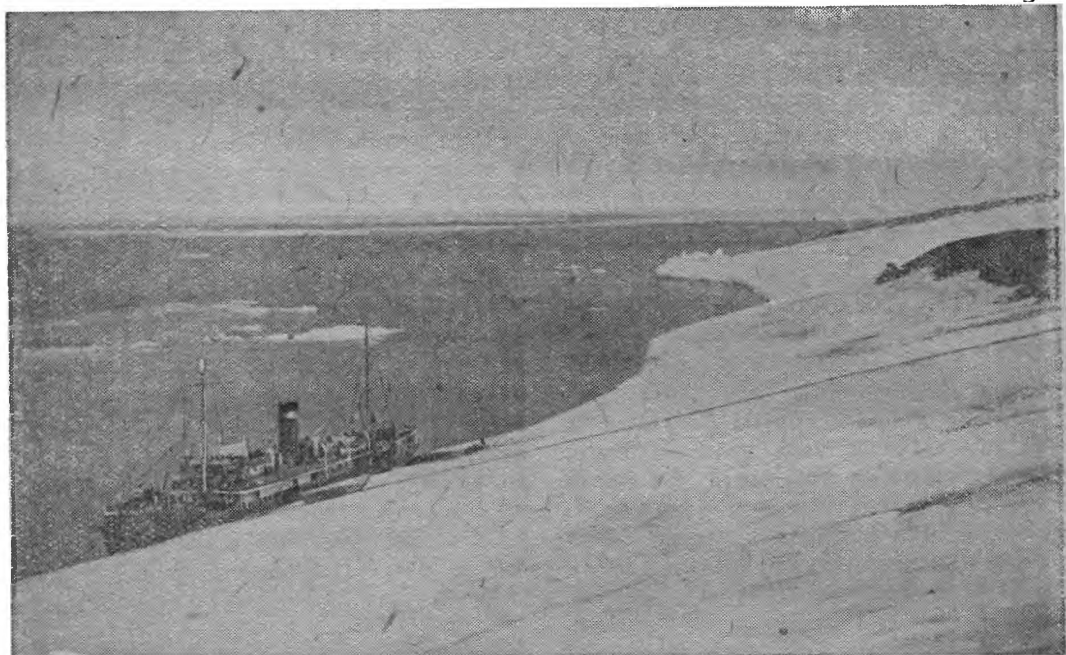
К счастью для нас, с 26 августа по 4 сентября дули ветры южной половины горизонта, отгонявшие лед от северо-западного берега острова. Но 4 сен-

тября ветер перешел к норд-весту, и сразу же к берегу поплыли дрейфующие льды. Нам пришлось немедленно отшвартоваться, уйги от берега и лечь в дрейф. Лед же подошел вплотную к берегу.

5 сентября изменившееся течение несколько разредело льды у мыса Денбара, и для того чтобы закончить опера-

Сани с грузом перетаскивали при помощи судовых лебедок тросом, пропущенным через блок, который был закреплен у места постройки. Всего таким путем было доставлено около 400 тонн грузов.

Пока механики и матросы производили выгрузку, а плотники строили дом для зимовщиков, научные работники



Выгрузка «Садко» у острова Генриэтты.

Фото К. Бадигина.

цию, принять на борт людей и выгрузить оставшиеся вещи зимовщиков, — нам пришлось приткнуться носом к берегу у этого мыса.

Таким образом, выгрузка производилась в довольно сложной обстановке при большом напряжении всех сил экипажа.

Во время разгрузки нам пришлось пришвартоваться ко льду, словно к причалу, причем лед находился на уровне палубы. Сразу же у берега начинался очень крутой подъем по льду метров на сто.

Груз мы выгружали на лед и перевозили по склону на санях, сделанных из бревен, к месту, где стрислась станция.

торопливо изучали остров. Профессор Жонголович поселился в палатке на берегу и вел астрономические и магнитные наблюдения. Ему помогал Буйницкий. С походным магнитным теодолитом и карманным хронометром они однажды взобрались на самую макушку купола, чтобы измерить там элементы земного магнетизма.

3 сентября с острова весь день доносились взрывы, — подрывник-челюскинец Гордеев углублялся в вечную мерзлоту, чтобы установить радиомачту, высотой в 25 метров, — новая полярная станция должна была располагать надежной связью с материком.

Я вооружился фотоаппаратом и вдвоем с матросом Малыгиным облазил чуть ли не весь остров. Вспоминается изумительное ледяное ущелье, по дну которого журчал голубой ручей, кристально-прозрачное озеро пресной воды на леднике, причудливые скалы. С вершины купола в ясную погоду был хорошо виден остров Жанетта — совсем крохотная скала, затерянная в океане.

Там и сям мы нападали на свежие медвежьи следы. Взобравшись на купол, мы прямо на снегу прочли историю приключений одного моряка, которая могла бы послужить темой для юмористического рассказа.

На самом куполе был установлен флаг. По следам мы увидели, как медведь подошел к этому флагу, постоял рядом с ним, вероятно, разглядывая незнакомый предмет, осторожно обошел его и направился дальше. Потом мы увидели широкий отпечаток на снегу — медведь лег. И тут же, рядом, — такие же свежие человеческие следы. Видимо, человек шел, не торопясь, рассеянно поглядывая по сторонам. И вдруг буквально в двух шагах от места, где лежал медведь, — два глубоко отпечатанных человеческих следа и затем — те же, но скачущие, широко отстоящие друг от друга следы, уходящие в сторону: человек чуть-чуть не споткнулся о медведя и поспешно ретировался. Потрясенный медведь встал, лениво потоптался на месте и неторопливо ушел в противоположном направлении.

Когда мы вернулись на корабль и рассказали эту историю, громкий хохот потряс кают-компанию. Но ее героя так и не удалось найти. Тайну встречи с медведем и стремительного бегства до сих пор хранит кто-то из наших спутников...

★

Около 10 дней простояли мы у берегов Генриэтты, производя разгрузку. Теперь нам оставалось посетить необитаемые острова Жанетты, Беннета, Жохова и закончить на этом свои работы.

Плавание наше близилось к концу. Радость предстоящей встречи с близкими омрачалась лишь несчастьем, приключившимся с комсомольцем Колей Розовым. Молодой механик, управляя лебедкой, при выгрузке на Генриэтте оступился, и ему оторвало три пальца на левой руке. Это событие сыграло впоследствии роковую для него роль и лишило его возможности закончить вместе с нами ледовый дрейф через Ледовитый океан.

К острову Жанетта мы подошли рано утром 6 сентября — в Международный юношеский день. Эта угрюмая базальтовая скала, одиноко торчащая в океане, еще ни разу не посещалась человеком, — Де Лонг, открывший ее, видел остров лишь издали. Вероятно, после тяжелой и изнурительной экспедиции Мельвила на Генриэтту он не рискнул посылать людей ко второму острову.

Группа научных работников, решившая высадиться на Жанетту для астромагнитных наблюдений, с огромным трудом карабкалась на отвесные черные скалы. Огромные стаи птиц, потревоженные людьми, снимались с камней и с громкими криками кружились над «Садко».

Один из научных работников заметил на вершине острова белого медведя. Выстрелом из ружья он убил мохнатого отшельника, но никакого геройства в этом поступке экипаж корабля не увидел: убийство было совершено бесцельно, так как стащить медведя с неприступной скалы было невозможно. Злополучному охотнику пришлось не только вытерпеть град насмешек команды, но и получить выговор в приказе за легкомыслие.

После тщательного обследования на северном мысе, которому тут же присвоили имя Международного юношеского дня, на высоте 250 метров был сложен из камней высокий гурий¹. На нем водрузили советский флаг.

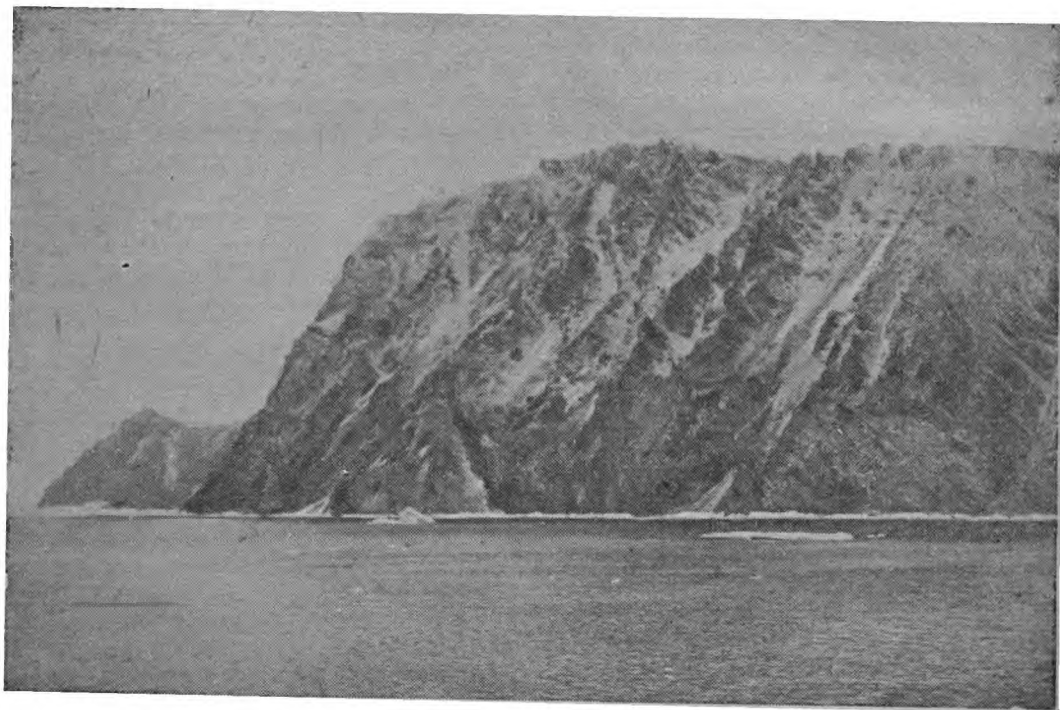
Пройдя 60 миль на юго-запад, «Садко» остановился у острова Жохова. Казалось, словно мы перенеслись сов-

¹ Гурий — груда камней, служащая для опознания места.

сем в иную географическую зону. Остров Жохова не имеет ничего общего с вулканическими скалами Жанетты и Генриэтты — мягкий рельеф, сильно развитое почвообразование, отсутствие ледяного покрова, — вот его характерные черты.

Топографы произвели съемку. Окружность острова Жохова оказалась рав-

на здесь все условия для организации хорошей полярной станции. Но остров давно уже не посещался людьми. Об этом можно было судить хотя бы по поведению зверей, населявших его: на серовато-желтой поверхности земли там и сям мелькали белые точки, — это спокойно гуляли медведи, с любопытством разглядывавшие «Садко». Непу-



Неприступные берега острова Генриэтты.

Фото К. Бадигина.

ной 30 километрам. На севере и на юге были найдены обширные лагуны, которые можно было бы использовать как базы для гидросамолетов. Узкая песчаная коса, отделяющая южную лагуну от моря, была завалена грудями плавника¹, — он мог бы служить прекрасной топливной базой для целого поселка!

Таким образом, сама природа созда-

¹ Плавник — бревна, которые сибирские реки выносят в океан; затем льды подхватывают их и уносят далеко на север. Нередко такие бревна попадают даже на берега Гренландии.

ганные песцы подходили к нам совсем близко. Мы видели много птиц, замечали следы оленей.

В верхних слоях почвы наши геологи нашли бивни и берцовую кость овцебыка, — красноречивое свидетельство того, что остров с древнейших времен изобиловал животными.

Утром 8 сентября «Садко» отдал якорь у острова Беннета. Этот холмистый остров имеет довольно большую историю.

Его открыл Де Лонг во время своего многотрадного путешествия от места, где была раздавлена льдами «Жа-

нетта», к берегам Сибири. Остров, названный именем Беннета, дал приют усталым путникам. Они нашли здесь большие природные богатства: прекрасный каменный уголь, красный железняк, глинистый сланец, содержащий газ, похожий на угольный или нефтяной, туф, креолит и даже аметисты. С гор стекали ручьи свежей и вкусной воды. Тысячи птиц прятались в расселинах камней. Доктор, сопровождавший экспедицию, нашел пух от лисицы или кролика. Повсюду путешественники нападали на следы медведей, песцов, арктических зайцев, куропаток. Берега острова были завалены плавником.

Усталые путешественники отдыхали несколько дней на этом гостеприимном острове. Это был их последний отдых: дальше они не встретили ни одного сколько-нибудь пригодного для жизни уголка — впереди их ждали бушующее море, пустынный берег Сибири и мучительная смерть от голода.

В 1902 году на острове Беннета останавливался русский исследователь Толль, о котором я упоминал выше. Он руководил экспедицией на судне «Заря», посвященной поискам легендарной Земли Санникова. Отправившись отсюда пешком по льду, Толль погиб с тремя своими спутниками.

У мыса Софии мы обнаружили стоянку Толля. Здесь были найдены метеорологическая будка, патроны, разорванная одежда, обломки инструментов. Все эти предметы мы бережно собрали, чтобы передать их в Музей Арктики.

Двое суток обследовали мы остров, который дважды давал приют путешественникам. На карту были нанесены его точные очертания. Астрономы определили астрономические пункты.

Как и наши предшественники, мы обнаружили на острове богатый животный мир. Повсюду виднелись следы зверей. Стаи птиц с криками перелетали с одного холма на другой. В одном месте на берегу мы встретили старого, дряхлого моржа, который с великоколепным презрением взирал на незнакомцев, нарушивших его покой. Вокруг моржа собралась целая толпа любо-

пытных. Поворачивая из стороны в сторону свою круглую усатую голову с налитыми кровью глазами, он лишь сердито шипел, когда смельчаки норовили вскочить ему на спину.

Фотографы со всех сторон засняли престарелого аборигена острова, и он лениво отполз чуть подалее от нас, неуклюже шевеля своими ластами...

Уточнив координаты необитаемых островов и обследовав их, мы направились в порт Тикси, чтобы запастись там углем и вернуться на родину. По пути «Садко» 10 сентября подошел к острову Фадеевскому, чтобы снять двух астрономов, оставленных там экспедицией, работавшей на «Седове». Астрономов мы нашли на мысе Благовещенском. Этот мыс выглядел крайне непривлекательно: с его обрывистых берегов стекали обильные потоки жидкого и вязкого ила, смешанного со льдом и снегом.

Основная порода острова — окаменелый лед, покрытый морскими отложениями — современной почвой.

Природа острова Фадеевского характерна для всего архипелага — Ново-Сибирских островов — и побережий у устья р. Лены. Это — область ископаемого льда, так хорошо исследованного русской экспедицией Толля.

По Толлю, ископаемый лед — это остатки древнего оледенения, погребенные под позднейшими морскими отложениями. Ископаемый лед встречается в наиболее яркой форме на Ляховских островах. На о. Б. Ляховском отвесная стена ископаемого льда, покрытая сверху почвой, поднимается над морем в некоторых местах до 40 метров. В нижнем слое ископаемого льда море вымывает пещеры и гроты. Берега такого типа обычно заканчиваются ледяным дном, простирающимся довольно далеко от берега и покрытым сверху измельченным земным материалом.

В настоящее время идет сильное разрушение ископаемого льда. В связи с этим на его поверхности появляются все новые и новые остатки когда-то погребенной и замороженной флоры и фауны. Недаром Ляховские острова и

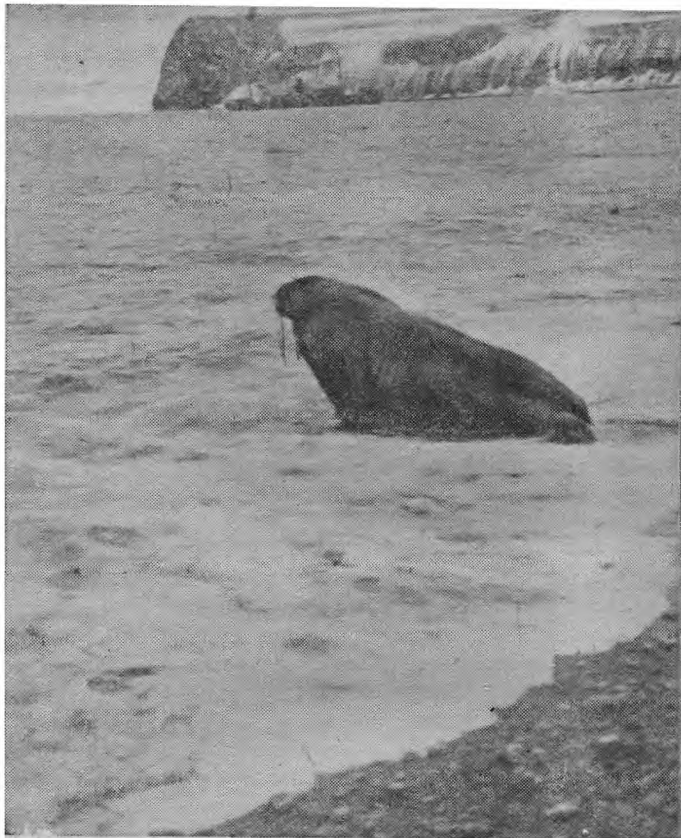
прилегающую к ним часть материка называют «кладбищем мамонтов», — так много здесь находят бивней и скелетов этих могучих, вымерших теперь животных. Другое следствие разрушения ископаемого льда — постепенное уменьшение и исчезновение островов. Береговая черта на Ляховских островах в некоторых местах отступает, по крайней мере, на полметра в год.

Острова Васильевский и Семеновский, расположенные в море Лаптевых к северу от м. Борхая и к западу от м. Столбового, первый раз были занесены на карту в 1823 году, затем еще раз в 1912 году и, наконец, в 1936 году. При этом оказалось, что за 113 лет о. Семеновский уменьшился более чем в 7 раз, а о. Васильевский совсем растаял. Там, где его видели в 1828 и 1912 годах, — в 1936 году оказалась только подводная банка. Предполагается, что к 1945 году исчезнет и остров Семеновский...

Садковцы помогли участникам седовской экспедиции установить астрономический пункт и доставили их в шлюпку на наш корабль, стоявший в миле от берега: подойти ближе к мысу Благовещенскому невозможно из-за мелководья. Наши научные сотрудники взяли с собою большую глыбу многовекового льда: они решили доставить ее для исследования в ледовую лабораторию Арктического института.

Сделав еще один гидрологический разрез западнее острова Бельковского, мы обошли остров Столбовой с востока и рано утром 12 сентября встретили «Седова». Уже три месяца плывал с гидрографической экспедицией

на борту этот корабль. 200 гидрологических станций, многочисленные топографические, астрономические, гидрографические наблюдения, — таков был предварительный итог его работы. Те-



Морж, престарелый абориген острова Беннета.

Фото Арктического института.

перь «Седов» направлялся из Тикси в пролив Санникова, чтобы провести там еще несколько существенных наблюдений.

К сожалению, наша встреча была очень кратковременной, и нам не удалось как следует побеседовать с седовцами: мы спешили в Тикси за углем, а они торопились к Новой Сибири, где их с нетерпением ожидали участники экспедиции, временно высаженные на остров для производства наблюдений.

★

В Тикси мы прибыли утром 13 сентября. Здесь нас ждали неприятные известия.

Во-первых, организаторы навигации не позаботились о снабжении базы в Тикси достаточным количеством топлива. Угля нехватало; оказывается, с верховьев Лены привезли 2 000 тонн породы вместо настоящего топлива.

Во-вторых, выяснилось, что ледовые прогнозы, которые составлялись в начале навигации, оказались неверными. Нас уверяли, что «навигация от Мурманска до Колымы и обратно не представит затруднений». В то же время нам говорили, что «район Чукотского моря будет неблагоприятнее, чем в 1936 году».

На деле же получилось как-раз наоборот: из Чукотского моря шли вести, что там повсюду чистая вода, а с запада, через пролив Вилькицкого, ветры непрерывно гнали новые и новые массы льда, создававшие непроходимый ледовый барьер.

Потепление Арктики, начавшееся с 1920 года, спутало все расчеты специалистов. До этого предполагалось, что в высоких широтах вечно удерживается так называемая «полярная шапка» повышенного атмосферного давления, — своеобразный барьер против циклонов, преграждающий дорогу западным и юго-западным теплым ветрам с Атлантики.

На деле же оказалось, что «полярная шапка» в эпоху потепления устойчива лишь весной. В остальные же месяцы атлантические циклоны пробивают барьер и прорываются далеко на восток — вплоть до моря Лаптевых.

И вот, в августе и сентябре 1937 года эти циклоны, прорвавшись сквозь барьер «полярной шапки», устремились на восток приблизительно по 80—85-й параллелям. В восточной части Карского моря начались сильные западные ветры. Они пригнали льды к Северной Земле, создали сплоченный барьер льдов в районе к северу и западу от архипелага Норденшельда и

с силой протискивая льды через пролив Вилькицкого, начали буквально забивать ими море Лаптевых. Мы сами были свидетелями начала могучего стихийного дрейфа, когда прошли пролив Вилькицкого кормой вперед.

В Тикси нам сообщили, что этот стихийный дрейф подхватил в Карском море целый караван кораблей во главе с ледоколом «Ленин» и выбросил его, как пробку, через пролив Вилькицкого в море Лаптевых. Сейчас этот караван находился в западне: обратный путь льды закрыли наглухо, а впереди находился ледовый пояс шириной в 30 миль.

Итак, ледовые прогнозы не оправдались. И все-таки их надо всемерно развивать. Нельзя в Арктике плавать с лозунгом «шапками закидаем». В Арктике можно и должно плавать «с открытыми глазами», надо в каждый момент знать, где, когда и какой встретится лед. Ледовые прогнозы должны все время проверяться и дополняться судовой и летной ледовой разведкой. Судовой разведки в 1937 году ни в Карском море, ни в море Лаптевых не было. Летную разведку выполнял только... один самолет, да и то лишь в Карском море. Второй самолет, принадлежавший Главсевморпути, был занят... перевозкой каких-то грузов. Видимо, это считалось более прибыльным с коммерческой точки зрения делом, нежели воздушная разведка!

Что касается дела прогнозов, то понятно, что оно может развиваться только при условии, что все суда, плавающие в Арктике, будут тщательно и правдиво собирать различного рода сведения как о льде, так и о пространствах чистой воды. Мы сами были грешны в этом отношении. Дойдя до 78°31' северной широты и 118°28' восточной долготы и встретив здесь непроходимые льды, мы не повернули на запад и не обследовали район до Северной Земли, где, повидимому, было чисто. Впоследствии я узнал, что и до сих пор неясно: а нельзя ли было в 1937 году пройти из Карского моря в море Лаптевых не проливом Вилькицкого, а проливом Шокальского?

Другое обстоятельство, мешающее развитию дела ледовых прогнозов, заключается в том, что такие моря, как Лаптевых, Ново-Сибирское и Чукотское, только из гордости можно назвать морями. В сущности, это только заливы Центрального Арктического бассейна. Все они совершенно открыты на север, и ничто не препятствует выносу льдов из этих морей в Арктический бассейн и, наоборот, приносу льдов из Арктического бассейна. Все это, хотя и в меньшей степени, относится и к Карскому морю.

Отсюда вытекает: пока мы окончательно не изучим Центральной части Северного Ледовитого океана, до тех пор и к прогнозам нельзя предъявлять особых требований.

А все наши знания о Центральном Арктическом бассейне до сих пор были основаны только на работах экспедиции Нансена на «Фраме». Теперь же далеко от нас, на дрейфующем ледяном поле, работала станция «Северный полюс». Как много нового и полезного дадут результаты ее наблюдений!..

Из Главсевморпути командованию «Садко» был передан приказ — переключиться в помощь ледоколам по проводке караванов торговых судов. Но как это сделать, если угольные бункера корабля почти пусты?

Ближайший караван с углем прибывал с верховьев Лены только через пятидневку. Пока мы дожидались его, шла долгая переписка с Морским управлением Главсевморпути о том, что должен будет делать «Садко». Вначале нам предложили дождаться парохода «Ильмень», шедшего за «Лениным», принять от него грузы и развезти их по полярным станциям Ново-Сибирских островов. Вслед за этой директивой прибыла новая: немедленно включиться в операции по проводке судов.

Тем временем на море разыгрался сильнейший шторм. Не успели мы принять уголь, доставленный с верховьев Лены пароходом «Партизан Щетинкин», эфир принес несколько сигналов с требованием немедленной помощи.

Первым в 9 часов утра 20 сентября запросил помощи ледокольный пароход «Малыгин», оставивший исследовательские работы, чтобы помочь пароходу «Молотов» и уже знакомым нам «Искре», «Ванцетти» и «Беломорканалу» дйти до Тикси. «Малыгин» сообщал, что «Искра» получила пробойну, а остальные пароходы не справляются с имеющимися у них на буксире баржами.

Затем послышались сигналы бедствия с гидрографического судна «Хронометр», терпевшего серьезную аварию у мыса Борхая.

Спешно подняв пары, мы вышли в море, чтобы оказать помощь терпящим бедствие судам. В первую очередь мы хотели направиться к «Хронометру». Но на пути к нему был получен сигнал бедствия от моторного бота «Челюскин», который находился ближе, нежели «Хронометр».

Погода была скверная. Девятибалльный северный ветер хлестал почти непрерывными снежными зарядами. Над свинцовой маслянистой водой неслись рваные темные тучи. Гигантские валы ходили по морю. «Садко» швыряло как попало, словно пустую консервную банку. Трудно было не только ходить по палубе, но даже стоять.

Все же кое-как удалось разыскать «Челюскин». Крохотное суденышко отчаянно пытело, отплываясь от заливавшей его воды. Якорный канат натянулся, как струна. Даже при полном напряжении машины слабосильный «Челюскин» не мог хотя немного ослабить это натяжение. Целые горы воды обрушивались на палубу, целиком погребая под собой судно. Но потом оно снова выкарабкалось на поверхность, мотор откашливался и продолжал работать.

— Снимайтесь с якоря, ложитесь в дрейф, — передали мы на «Челюскин», — подадим вам буксир.

Сорок минут провозились на «Челюскине» с якорем. Но брашпиль был слаб, и оторвать якорь от грунта так и не удалось. Капитану ничего не оставалось делать, как сообщить, что он сам продержится до утра и от помощи отказывается.

Мы поспешили к «Хронометру»; из Тикси прибыла радиограмма, что к «Малыгину» уже вышел буксирный пароход «Леваневский», которому было приказано спасти тонущие баржи каравана. «Хронометр» же на вызовы больше не отвечал. Это усиливало беспокойство за его судьбу, и мы старались возможно скорее добраться до мыса Борхая.

Но узкая полоска низменного мыса открылась нам лишь на рассвете 21 сентября. У песчаной косы кипели белые буруны. Среди них можно было разобрать какое-то маленькое черное пятнышко.

Подошли поближе. Теперь уже было ясно, что это пятнышко и есть «Хронометр». Он находился в самом жалком состоянии. Повернутое лагом и выброшенное на песок, судно лежало на берегу, тяжело накренившись на борт. Позади суетились люди, перебравшиеся на сухую землю.

«Хронометру» теперь ничем уже нельзя было помочь, тем более, что «Садко» не мог подойти к нему ближе, чем на четыре мили, из-за мелководья. Но оставить на произвол судьбы его экипаж мы не имели никакого права, и «Садко» остался у берега ждать, пока волнение уляжется настолько, что удастся снять людей с берега катером и шлюпками.

Назавтра мы сделали несколько таких попыток, но все они были безрезультатны. И только к вечеру катер и вельбот добрались до берега и приняли 23 иззябших, мокрых и голодных моряков.

Когда катер с вельботом на буксире подходил к «Садко», я с изумлением обнаружил, что, кроме людей, в них находилось несколько четвероногих мохнатых пассажиров. Видимо, моряки «Хронометра» успели спасти корабельных псов. Когда же катер подошел поближе, мое изумление удвоилось: рядом с маленькими щенками сидел крохотный белый медвежонок ростом не больше дворовой собаки. словно соображая всю серьезность происшедшего вокруг, медвежонок вел себя очень

смирно, как и подобает спасенному пассажиру.

Через несколько минут все объяснилось. Медвежонок, пойманный во время охоты, принадлежал одному из научных работников, находившихся на «Хронометре». Звали медвежонка Машкой, и было ему от роду всего месяца три. Хозяин подарил Машку нам в знак благодарности за спасение.

Этому забавному мохнатому существу было суждено сыграть кое-какую роль в описываемых дальше событиях.

Теперь же нам было не до медвежонка. Нас опять звал на помощь «Малыгин», который пробивался в тяжелых льдах к застрявшему моторному боту «Ленсовет». Пароходы, проведенные им сквозь льды, уже ушли в Тикси.

10 часов затратили мы на продвижение к «Малыгину». Но за мысом Северо-Восточным нам пришлось повернуть обратно, так как с «Малыгина» передали:

— Подошли к «Ленсовету». Поле начало разрушаться. Полагаю, что «Садко» может следовать по назначению...

Четверо суток находились мы в спасательном рейсе. Только во второй половине дня 24 сентября «Садко» вернулся в Тикси, где нас ждало большое общество. словно в заправском порту, здесь высился целый лес мачт и труб. На рейде стояли «Беломорканал», «Кингисепп», «Искра», «Молотов», «Ванцетти». Отправив на берег команду «Хронометра», «Садко» присоединился к этой компании. А немного погодя в порт вошел и «Малыгин». Он лихо развернулся и стал рядом с нами.

Семь кораблей собралось одновременно в этом далеком уголке Арктики, который еще не так давно, вообще, был малообитаемым местом.

Это внушительное зрелище невольно радовало глаз. Но в то же время возникали и новые заботы: где найти топливо для всех семи кораблей?

★

Время было позднее. В спокойных бухтах уже началось образование мо-

лодого льда. Еще немного, и он должен был окрепнуть. Между тем, мы все еще никак не могли расстаться с Тикси.

После дележа остатков топлива на нашу долю пришлось всего 150 тонн угля. С таким голодным пайком трудно было рассчитывать на успешную борьбу с крепнущими льдами.

Время уходило в томительных пререканиях и в ожидании распоряжений Главного управления. В голову лезли неприятные мысли о зимовке, о долгой разлуке с семьей. В одну из таких трудных минут я случайно нашел на самом дне чемодана маленький незнакомый сверточек. Из сертка выпала плитка шоколада и листок бумаги, написанный знакомым, родным почерком. Неумело, но старательно нарисованный цветочек и подпись: «Костя! Я очень люблю тебя. Только прошу тебя — не забывай. Буду любить тебя, как любила».

Славный, предусмотрительный друг! Как можно забыть тебя? Этот наивный, искренний дар взволновал и ободрил меня. Из Тикси в этот день улетел на юг последний самолет, и я отправил с ним письмо в Москву. Старался писать бодрее и веселее, говорил о близкой встрече, хотя сам-то я уже не был в ней уверен.

Вечером—еще одна неожиданная радость. Вдруг в дверь каюты постучали, и знакомый негромкий голос спросил: — Можно?

Через мгновение передо мной стоял добрейший Андрей Георгиевич Ефремов, мой сослуживец по ледоколу «Красин», на котором мы плавали около двух лет. Спокойный, в высшей степени деловитый и исполнительный штурман, Андрей Георгиевич пользовался на «Красине» всеобщим уважением. Его мягкий, немного усталый взор всегда замечал малейшую неисправность. Без шума, без крика он брался за дело, работал неторопливо, методично и не успокаивался до тех пор, пока все не было в полном порядке.

Я был очень обрадован неожиданной встречей. Оказывается, в эту навига-

цию Андрею Георгиевичу поручили руководство практикой студентов на пароходе «Малыгин», и мы только случайно не встретились с ним еще на Диксоне.

Мы долго беседовали. Вспоминали «Красина», походы на остров Геральда, на остров Врангеля, на Чукотку. С уважением говорили о нашем общем учителе — отважном капитане Белоусове. Вспоминали Владивосток, его зеленые сады, его голубые бухты, подернутые сероватой дымкой, Орлиное гнездо и десятки других живописных уголков, с которыми оба так свыклись за годы работы в Приморье.

Чтобы поднять настроение, мы старались убедить друг друга, что завтра или послезавтра и «Садко», и «Малыгин» пойдут на восток и что через две недели мы встретимся со старыми друзьями на солнечных улицах Владивостока.

Но утром 27 сентября прибыл неожиданный приказ: «Садко» — итти на запад на помощь ледоколу «Ленин», «Малыгину» — итти к «Красину», совместно с ним бункероваться с угольщика и затем тоже пробиваться на запад.

ИТАК, ОСТАЕМСЯ НА ЗИМОВКУ

Из Тикси мы ушли ночью, на четырнадцатые сутки после прихода туда. Было холодно и темно. Огни заполярного порта быстро-растаяли в тумане, и только мерное дыхание машины да шорох и звон ледяных игл напоминали о том, что мы не стоим на месте, а движемся вперед.

Все происходило так, как и следовало ожидать. Мороз крепчал. С каждым часом на воде появлялось все больше и больше ледяного сала. Темносвинцовый налет его затягивал все более и более обширные пространства, уничтожая на воде ветровую рябь. Теперь вокруг нас расстилалась угрюмая и безрадостная в своем необычайном спокойствии водяная пустыня, подернутая ледяным муаром.

На рассвете 29 сентября, перевалив

через 74-ю параллель, мы вошли в молодой блинчатый лед. Небо посветлело, — близились сплошные поля. Вокруг нас на воде покачивались белесые кружочки. С каждой пройденной нами милей этих ледяных блинов становилось все больше. Вскоре мы шли уже среди смерзающихся кусков молодого льда, по краям которых тянулись аккумулятивные валики, — казалось, будто море покрыто гигантским рыбацким неводом.

К полудню «Садко» уже вынужден был пробиваться крупно-битым льдом. Теперь мы двигались медленно, лавируя и выскивая разводья. Никто не радовался встрече с ледяными полями, как ни красивы они были.

Невольно вспоминалось испытанное правило китобоев: «суда, не успевшие выйти из старых льдов до начала нового замерзания, обречены на зимовку».

Если уж мы отступали от этого правила, то во всяком случае было совершенно необходимо обеспечить воздушную разводку льдов. Самолеты могли бы указать путь кораблям и помочь им, лавируя среди непроходимых полей, отыскать выход из льдов. Но самолетов в море Лаптевых не было.

Естественно, что в таких условиях трудно было рассчитывать на успех операций, проводимых ледокольными пароходами, почти лишенными запасов угля. В лучшем случае «Садко» со своими мизерными топливными ресурсами мог еще в течение 3—4 суток поработать в качестве разведчика льдов. Более широких планов мы осуществить при всем желании не смогли бы, так как новых угольных пополнений ждать было неоткуда.

Только наша новая пассажирка — перешедшая с «Хронометра» юная медведица Машка — была довольна. Теперь она со своим другом корабельным щенком Нордиком все время проводила на корме, любуясь бело-голубой равниной, расстилавшейся по сторонам, — видимо, после кораблекрушения льды ей казались более надежными и привлекательными, чем вода...

Но нам в эти часы было не до шуток. Лды с каждым часом становились

все более мощными и трудно проходимыми.

Среди мертвой ледяной пустыни за 75-й параллелью мы встретили одиноко стоявший у перемычки сплоченного старого льда пароход «Кузнецкстрой». Это судно находилось в трудном, чтобы не сказать — в отчаянном, положении. Окажется, с ним целую пятидневку возился ледокольный пароход «Седов», тщетно старавшийся вытащить его на чистую воду.

Из этих попыток ничего не вышло. У самого «Седова» был поврежден винт, обоим пароходам нехватало топлива. Пока «Седов» пытался вывести «Кузнецкстрой» из льдов, они попали в дрейф, и их понесло на север. 23 сентября оба парохода испытали сжатие, и через два дня «Седов» вынужден был оставить своего тяжеловесного спутника и самостоятельно пробиваться к каравану «Ленина»: два парохода в этом караване потерпели тяжелую аварию, и «Седова» вызвали, чтобы он взял их на буксир.

«Кузнецкстрой» попытался пробиваться на восток, но льды оказались сильнее его, и он остановился. Надо было помочь ему выбраться из этой мертвой пустыни.

Не теряя времени, «Садко» околот лед вокруг парохода, пробил торосистую перемычку, протянувшуюся с юго-востока на северо-запад, и повел «Кузнецкстрой» к проливу Санникова. Двигались медленно, в густом тумане. Наконец поздним вечером мы вышли на чистую воду в районе острова Столбового и отпустили «Кузнецкстрой». Теперь он мог, наконец, уйти во Владивосток.

Я долго провожал взглядом этот транспорт, мысленно рассчитывая, на какой день плаванья он доберется до Тихого океана.

Можно было бы послать с ним письмо в Москву. Но что я написал бы в этом письме? Мы не могли теперь сказать ничего определенного не только о завтрашнем дне, но даже о ближайшем часе.

«Садко» простоял до полуночи на месте, выжидая, не понадобится ли снова помощь «Кузнецкстрою». Когда же вы-

яснилось, что он продвигается вполне свободно, не встречая льдов, мы повернули на обратный курс: нас настойчиво звали на помощь каравану «Ленина».

Оглядываясь назад, я вижу, что здесь была допущена ошибка. «Садко» и «Седову» угрожала зимовка. На обоих кораблях было очень много лишних людей: студентов, научных работников, чья работа теперь сокращалась, строителей станции на о. Генриэтта и просто пассажиров. Как бы облегчилось наше дальнейшее плавание, если бы этих людей мы оставили в Тикси или отправили бы на восток на «Кузнецкстрое».

Собственно говоря, наша будущая роль в проводке каравана «Ленина» была более чем сомнительна. Чем мог помочь «Садко» сильному линейному ледоколу? В лучшем случае мы могли сыграть роль буксирного парохода для аварийных судов. Между тем, ледовая обстановка с каждым днем все ухудшалась, и один ледокол теперь вряд ли справился бы с проводкой каравана.

Руководство проводки молчало. Командование «Садко», посоветовавшись, радирировало ему:

«В связи с малым количеством угля на «Ленине» и других ледокольных пароходах и ухудшением ледовой обстановки длительная операция проводки связана с риском не довести суда по назначению, что угрожает зимовкой в открытом море, а также обезугливанием ледокольных пароходов. Поэтому считаем необходимым приход ледокола «Красин» в море Лаптевых, как для обеспечения проводки, так и для снабжения углем».

Эта телеграмма, как и многие другие, осталась без ответа. Командиры ледокольных пароходов возмущались бюрократизмом и неповоротливостью начальства, не предполагая, что мы имеем дело с несравненно более серьезными вещами...

★

Третьего октября ночью было проведено по радиотелефону совещание ко-

мандоров «Ермака», «Ленина», «Садко» и «Седова». Капитан «Седова» Д. И. Швецов сообщил, что после того, как его корабль расстался с «Кузнецкстроем», он попал в тяжелые льды и самостоятельно выбраться из них не может. Борясь со льдами, «Седов» повредил еще одну лопасть винта, и ее пришлось менять в трудных условиях ледового дрейфа.

Нам предложили немедленно отправиться на помощь «Седову» и вместе с ним пробиться к каравану «Ленина», чтобы взять на буксир аварийные суда.

С рассветом мы двинулись на выручку «Седову». Падал густой снег. Видимость сократилась до предела. Ртуть в термометре упала до минус 10 градусов.

Когда снегопад несколько ослабел, нам открылось безрадостное зрелище. Вокруг «Садко», насколько можно было охватить взглядом, расстилались льды. Среди бурых и грязных обтаявших за лето торосов, оставшихся от прошлогодних полей, сверкали молодые голубоватые глыбы.

В разводьях вода дымилась, быстро покрываясь кристаллами льда. То и дело налегал сырой и плотный туман, грязные клочья которого беспрерывно носились из конца в конец над мелким морем. Последние птицы покидали Арктику, и их тревожные крики бередили душу.

В 11 часов утра мы увидели, наконец, «Седова». Его тонкая, высокая труба извергала клубы дыма. Можно было безошибочно сказать, что машина «Седова» работает полным ходом. Но он почти не двигался с места.

«Садко», выглядевший значительно скромнее большого, высокобортного «Седова», обладал более мощной машиной и лучшими ледокольными качествами. Поэтому мы довольно быстро разбили перемышку и соединились с кораблем, с которым теперь уже нам было суждено не расставаться.

Седовцы обрадовались этой встрече: они могли идти в кильватере за «Садко». Не теряя времени, мы двинулись дальше, на соединение с «Лени-

ным». Однако уже к вечеру пришлось остановиться, — путь на запад был закрыт.

Наутро мы возобновили попытки вы-

надо руководствоваться здравым смыслом и ледовой обстановкой, а не безответственными директивами. Но на «Садко» и «Седове» все еще не реша-



«Геооргий Седов» в дрейфующих льдах.

Фото К. Бадигина.

браться из льдов, двигаясь на юго-юго-восток. Но вскоре мы опять остановились.

Потянулись томительные, пустые дни. Через каждые четыре часа в вахтенных журналах записывалась одна и та же стандартная фраза: «Продолжаем стоять в дрейфе во льду». Руководители экспедиции вели длительную и бесполезную переписку по радио с начальством. Начальства было очень много. Нами командовали с «Ермака», с «Ленина», с «Красина» и, наконец, из Главсевморпути. На «Садко» сыпался целый дождь директив, зачастую противоречащих друг другу.

Создавалась обстановка полной безответственности. В конце концов, стало ясно, что в первую очередь

лишь действовать на собственный риск и страх.

Только с рассветом 6 октября «Садко» по собственной инициативе отправился на ледовую разведку. Было бессмысленно сидеть, сложа руки, в такое позднее время года. Хотелось разведать восточную кромку мощного ледового барьера, по ту сторону которого беспомощно застыл караван ледокола «Ленин».

Мы шли, ломая молодой лед, толщины которого уже достигала 10—15 сантиметров. Среди этого молодого льда то и дело встречались поясины старого, недоступного для ледокольного парохода. Их приходилось обходить с востока. Над льдами попрежнему висел густой туман.

Двое суток блуждали мы вдоль барьера, отделявшего нас от каравана «Ленина», тщетно пытаясь отыскать хотя бы малейшую лазейку в нем. Только в одном месте нам удалось обнаружить среди старых торосистых гряд тянувшееся на запад до самого горизонта поле ровного льда, засыпанного снегом. Но он оказался настолько прочным и вязким, что после трех ударов, сделанных с разгона, нам удалось продвинуться всего на полкорпуса. Пришлось отказаться от попытки пробиться на запад, отойти к «Седову» и снова остановиться в ожидании, пока к нам не подойдет мощный ледокол.

Результаты нашей разведки были следующим образом сформулированы в доносении руководителям проводки на ледоколах «Ермак» и «Красин»:

«Барьер тяжелого смерзшегося льда, разделивший ледокольные пароходы «Садко» и «Седов» с караваном ледокола «Ленин», повидимому, образовался из прибрежной полосы льда, которая во время навигации держалась около берега Прончищева. Ветры западной половины, действовавшие в последнее время, отогнали эту полосу от берега. Своим южным концом она соединилась со льдом, который во время навигации наблюдался в юго-западной части моря Лаптевых, на востоке от острова Б. Бегичев, распространяясь в Оленекском заливе и дальше на восток. Своим северным концом ледяной барьер соединился со льдом, продрейфовавшим через пролив Вилькицкого из Карского моря. По мере того как этот барьер отходил от берега Прончищева, между ним и землей образовывался молодой лед, на который и вышел «Ленин» со своим караваном...».

Таким образом, выяснилось, что караван ледокола «Ленин» попал в своеобразный капкан, из которого не было выхода: дорога на запад была забита льдами, скопившимися в проливе Вилькицкого, а дорогу на восток преграждал замкнувшийся кольцом барьер матерого льда. В такое позднее время года и в столь сложной ледовой обстановке нечего было и думать о проводке через барьер вышедших из строя судов ледоколь-

ными пароходами. Было бы хорошо, если бы «Ленину» удалось провести на восток хотя бы часть наиболее крепких торговых судов, оставив остальные на зимовку в устье одной из рек. Нам же надо было как можно скорее уходить во Владивосток, пока это было возможно. Никакой помощи «Ленину» ни «Садко», ни «Седов» оказать не могли.

Тем не менее нас продолжали держать у ледяного барьера. Больше того, из Морского управления Главсевморпути прибыла исключительная по своей нелепости директива, предписывающая «Садко» немедленно форсировать льды и пройти на Диксон, чтобы принять участие в проводке застрявших там судов.

Ж

Наконец 9 октября пришла телеграмма о том, что «Красин» вышел из Чаунской губы и направился через пролив Санникова в море Лаптевых. «Лучше поздно, чем никогда» — говорили с иронией моряки. Выполнявшего запоздалую директиву «Красина» сопровождал «Малыгин», который уже провел свой караван из Тикси на восток, взял в Чаунской губе уголь и теперь вез его нам.

Долгих четыре дня пробивались к нам ледокольные корабли. Когда из тумана вынырнул знакомый силуэт мощного «Красина», сразу же немного отлегло от сердца: авось, теперь выберемся из этого мертвого царства! Но радость наша была преждевременна. Когда «Красин», наконец, подошел к нам, я не поверил своим глазам, — настолько истрепаи льды этого могучего красавца. Весь ободранный, измятый, он сам с риском двигался на запад. В нескольких местах обнаружилась течь, и поэтому помпы работали непрерывно.

Скоро подошел и «Малыгин». Он пришвартовался к борту «Седова». Началась перегрузка угля.

Белоусов, командовавший «Красным», спешил на помощь дрейфующему каравану «Ленина». Он прекрасно видел, насколько серьезно было создавшееся положение, и не тешил себя ил-

люзиями, что ему удастся вывести этот караван из льдов.

Похудевший, осунувшийся от бессонницы, изнервничавшийся, он говорил:

— Отведу их, если угля хватит, в устье ближайшей реки, поставлю где-нибудь за островом зимовать. И сам там же спрячусь. Только бы льды оттуда не вытащили!.. А вы чего ворон ловите? Топайте, пока не поздно, во Владивосток. Вам у каравана без угля делать нечего. Только будете мешать.

В каюте у Белоусова собралось совещание руководителей экспедиций и капитанов. Заседали долго, говорили много. Предлагались три варианта операции:

1. Неплохо было бы вывести весь караван «Ленина» в Тикси, оставить там три наиболее слабых парохода, а остальных увести во Владивосток. Для осуществления этого варианта нехватало угля.

2. Неплохо было бы вывести все суда на запад, оставив три слабых парохода зимовать у острова Петра. И для осуществления этого варианта нехватало угля.

3. Оставался единственный вариант, мало-мальски выполнимый: поставить весь караван «Ленина» на зимовку в бухте Прончишевой или у острова Петра и вывести в бухту Тикси лишь один пароход «Камчадал», обладавший неплохими ледокольными качествами. «Садко», «Малыгин» и «Седов» также должны были уйти на восток. Для этой операции угля хватало, хотя и в обрез.

Третий вариант, за который высказались все участники совещания, был немедленно отвергнут руководством проводки. С ледокола «Ермак», являвшегося лидером всей полярной навигации, радировали:

«Предрешать сейчас вопрос о зимовке «Ленина» с караваном преждевременно. Этот вопрос надо решить после того, как «Красин» сам установит ледовую обстановку на подходах к «Ленину». Если ледовая обстановка позволит «Красину» совместно с «Лениным» провести караван судов через барьер, то это надо сделать, имея задачей пробиться в Тикси...».

Вечером «Красин» ушел на запад.

Капитанам «Садко», «Малыгина» и «Седова» было приказано остаться на месте, не жечь уголь и ждать, пока вернется «Красин».

Так был предрешен вопрос о зимовке всех судов в дрейфующих льдах: дальнейшее промедление грозило полным и окончательным крахом всех планов. Если до этого еще можно было надеяться на выход из льдов хотя бы части кораблей, которые еще не поздно было спасти, — то теперь и эти надежды рассеялись, как дым.

Уже шесть часов спустя после ухода «Красина» радисты приняли неутешительную сводку: «В барьере лед 8 баллов, старый... При форсировании ударами винты заклиниваются. Лед настолько нагроможден, что, пройдя назад и вперед, ледокол может продвигаться только на длину своего корпуса. Продвижение очень медленное. Твердо убежден, что через эту перемычку ни один пароход за ледоколом пройти не сможет. Буксировка абсолютно невозможна. Белоусов».

За вахту «Красин» продвинулся к каравану «Ленина» всего на две с половиной мили. Температура понизилась до минус 16 градусов. Толщина молодого льда быстро увеличивалась — за сутки она вырастала на два сантиметра. Солнце почти не показывалось над горизонтом. Теперь на наших кораблях никто уже не сомневался, что караван ледокола «Ленин» обречен на зимовку. Возникли реальные опасения, что и «Красин» останется с ним, как это и предполагал Белоусов.

Но чего в таком случае мы ждем? Опять начались надоевшие всем и каждому переговоры по радио с начальством проводки. Вместо того, чтобы взять всю ответственность на себя и немедленно двинуться на восток, командование кораблей снова вступило в дискуссию: «Вмерзать ли в данном месте ледокольным пароходам до возвращения ледокола «Красин», или отходить на восток на более легкий лед» (цитирую по рейсовому отчету капитана «Садко», стр. 27. — К. Б.). За сутки выторговали у руководства проводки разрешение «отойти на 15 миль к востоку от

барьера», что, по существу, ничего не меняло в создавшейся обстановке.

Утром, 15 октября, молодой лед достиг толщины 29 сантиметров. В 9 часов 20 минут корабли отошли на три мили к востоку и остановились. На другой день попытки пробиться на восток были возобновлены. Но в этот раз прошли и того меньше — всего 0,6 мили. Стоял туман, льды крепли. И только теперь, на совещании руководящего состава трех кораблей, было принято постановление:

«Ввиду тяжелой ледовой обстановки на пути ледоколов «Красин» и «Ленин» на скорый приход «Красина» к ледокольным судам рассчитывать нельзя. Необходимо пытаться самостоятельно пройти на восток. Лучше подойти к острову Котельному с незначительными остатками угля на каждом судне и поставить суда на безопасную зимовку, чем с малым запасом угля попасть в полярный дрейф».

Было решено начать поход на восток с рассветом следующего дня. Возглавить это движение должен был «Малыгин», обладавший большим запасом угля и большей осадкой.

★

И вот, в девятом часу утра 17 октября наш соединенный караван, наконец, двинулся к Новой Сибири. Начни мы этот поход хотя бы тремя днями раньше, — у нас были бы все шансы на успех. Но теперь каждая миля давалась нам с невероятными трудностями.

Сейчас, когда вспоминаешь эти далекие дни, трудно отделить их друг от друга, — они все как бы слились в один большой и трудный день.

Люди лишились сна и отдыха. Даже наш педантичный и спокойный старший механик — «Матвей в кубе» — осунулся и как будто бы немного убавил в весе. Он почти все время проводил в машинном отделении, чутко прислушиваясь к работе механизмов, работавших на пределе своей мощности. Старший машинист Сергей Токарев, с глазами красными от бессонницы, сам следил за каж-

дым подшипником и каждой масленкой. Коля Розов с перевязанной рукой не вылезал из котельной, подбодряя выбивавшихся из сил кочегаров. Пар все время держали «на марке».

Над морем стоял неумолчный лязг, стон и грохот. То «Садко», то «Малыгин» по очереди, то оба вместе набрасывались на ледяные поля и медленно, дрожа от напряжения, вползали на них со скрежетом и звоном. Лед медленно уступал и, как бы нехотя, отваливался кусок за куском. «Седов» лавировал среди обломков, стараясь не отстать от нас. Но машина у него была слабее, чем у «Садко» и «Малыгина», поэтому «Седов» то-и-дело отставал и застревал. Приходилось возвращаться, окалывать его и снова уходить вперед и вперед.

Восемнадцатого октября счастье как будто повернулось к нам лицом. Наступившее полнолуние вызвало подвижки льдов. Озаренные холодным сиянием ночного светила, ледяные поля искрились и сверкали синеватым блеском. Между ними зияли черные провалы. Работая день и ночь, корабли при свете луны лавировали среди тяжелых полей, стараясь выискать путь от одного разводья к другому.

За сутки мы прошли целых 68 миль. Еще два-три таких перехода, и мы были бы в относительной безопасности. Но это была последняя удача на нашем пути. Начиная с 18 октября скорость продвижения кораблей начала резко падать. На другой же день застрял во льдах «Малыгин», и «Садко» несколько часов провозился, окалывая его. Затем в сжатие попал «Седов».

Двадцатого октября механики подсчитали оставшиеся запасы топлива. На «Малыгине» было 210 тонн угля, на «Садко» — 180, на «Седове» — 181. Чтобы сэкономить топливо, остановили судовые динамомашинны и перешли на керосиновое освещение.

Сильный снегопад мешал выбирать путь. С каждой милей мы встречали все более тяжелые, торосистые ледяные поля. Наконец 21 октября мы попали в десятибалльный лед. На море опустился туман. Термометр показывал 10 градусов ниже нуля. Наблюдалось сжатие и

легкое торошение. Почти весь день было темно. Всюду — от капитанского мостика до кубрика и камбуза — открыто говорили о зимовке.

Тяжелее всех переживал эту мысль радист нашего «Садко» Нутрихин. Честный и работающий человек, он никогда не отказывался ни от какого, хотя бы самого трудного, задания. Нутрихин даже спал в радиорубке, настроив приемник так, чтобы он его будил. Но на этот раз его нервы не выдержали: в Тикси он получил радиogramму о смерти жены, после которой остались двое маленьких детей. Сейчас дети находились на руках у тетки, и Нутрихин впадал в отчаяние при одной мысли о том, что он не увидит их еще целый год.

Уныние царило и на борту ледокольного парохода «Седов», перегруженного пассажирами. Кроме участников научной экспедиции, там находилось много студентов, отбывавших морскую практику, и зимовщиков, снятых с полярных станций. У студентов срывался учебный год. Зимовщики же, пробывшие в Арктике по два года, мечтали о встрече с родными и близкими, о южном солнце, о теплом климате.

В таких условиях нельзя было пассивно мириться с перспективой затяжной зимовки в дрейфе. Требовался какой-то решительный, хотя бы и рискованный, шаг. Надо было до конца исчерпать все возможности борьбы со льдами.

Мы знали из радиосводок, что к северу от острова Котельного, невзирая на позднее время года, все еще лежит открытое море, чистое от льдов. Далее к востоку также льдов нигде не было видно. Чукотское море, вопреки прогнозам, еще было открыто для навигации. Зато к югу от острова Котельного все проходы были забиты многолетним тяжелым льдом. Значит, надо было решиться на смелый и рискованный маневр, казавшийся на первый взгляд несколько парадоксальным: для того, чтобы уйти на юг, надо было пробиться на север.

Дорога на север лежала через пролив Заря, почти свободный от льдов: там, в

30 милях от нас, была чистая вода. И, как только мы уклонялись от заданного курса немного к северу, обстановка сразу резко менялась: появлялись разводья, трещины, разреженный лед. Но наши нерешительные руководители не хотели идти на риск и упрямо пробивались на юго-восток, несмотря на то, что риск этот в конце концов был невелик: где бы мы ни зазимовали в открытом море, — немного севернее или немного южнее, — нас все равно дрейфующие льды унесли бы в высокие широты, как был унесен когда-то «Фрам».

За весь день 21 октября наш караван, забравшись в самую гущу сплоченных льдов, спустился к югу лишь на 10 миль. Почти на столько же льды отнесли нас на северо-восток. Таким образом, мы фактически остались на том же месте.

На другой день с рассветом корабли снова начали пробиваться на юг. Перемычки старого льда «Садко» и «Малыгин» пробивали совместно, работая параллельно в два русла. «Седов» шел в кильватер. Русло непрерывно зажимало льды. Кругом на небе сверкали белые отблески, означавшие, что вокруг нас повсюду сплошные поля.

В 15 часов 50 минут мы подошли к большой торосистой гряде старого льда, преградившей путь. «Садко» и «Малыгин» снова бросились в совместную атаку на лед. Медленно, метр за метром отвоевывали они путь для «Седова», державшегося в кильватере. Наконец, к 18 часам нам удалось пробить перемычку и выйти на большую полынью. Но края прорубленного русла тотчас же сошлись обратно, и «Седов», не успевший проскочить через перемычку, был зажат в ней.

Нам пришлось развернуться и всю работу начать сначала. Только к полуночи «Садко» и «Малыгину» удалось добраться до «Седова». Возле него, в самой гуще сплоченных льдов, пришлось остановиться: вперед мы не могли продвинуться ни на метр, назад разгона не было, справа и слева высились гигантские груды торосов. «Малыгина» поджало почти к самому борту «Садко» — метров на 6—8.

Только к утру 23 октября русло начало понемногу расширяться, — лед незначительно разводило. Вскоре «Седов» вырвался из перемычки, а затем задними ходами выбрались из нее «Садко» и «Малыгин».

Сжатия учащались. Молодой лед сдавливало и насаивало. На востоке, юго-востоке и юге был виден старый торосистый лед. Дальнейшие попытки пробиваться на юг были бы беспредельны. Поэтому с наступлением темноты — в 15 часов 35 минут — корабли остановились и бессильно замерли в дрейфующих льдах.

★

Всего несколько десятков миль отделяли нас от острова Котельного и спасительных проливов, в которых мы могли удержаться от грозного и неизбежного дрейфа на север. Но какие это были мили!

Мощные ледяные поля, разорванные приливными и отливными течениями, особенно сильными в дни полнолуния и новолуния, теперь снова сошлись. Слово вымещая злобу за вмешательство ночного светила, они нагромождали на месте бывших разводий гигантские гряды торосов. Отовсюду слышался стеклянный звон ломающегося молодого льда, грозные удары многолетних полей, уханье и рокот рассыпающихся на куски ропаков¹. Весь этот ледяной хаос торопливо засыпал снег.

Дальше на юг и на восток пути не было. Корабли попали в ледовый дрейф, в трудностях которого мы прекрасно отдавали себе отчет: много кораблей уходило по этому угрюмому ледовому пути от берегов Сибири к полюсу, но лишь один «Фрам» благополучно прошел его. От «Жанетты» Де Лонга уцелело лишь несколько малозначительных предметов, найденных впоследствии у берегов Гренландии. «Св. Анна» погибла без следа. «Челюскин» пошел ко дну, не успев выйти из Чукотского моря.

Этот список можно было бы продол-

жить, покопавшись в истории мореплавания в Арктике. Но и такого перечня было достаточно, чтобы понять всю серьезность нашего положения, тем более, что наши корабли были перегружены людьми: 217 человек становились вынужденными участниками беспримерной в истории дрейфующей полярной зимовки.

Но неужели же у нас не было никаких возможностей для того, чтобы избавить людей от опасностей и лишений, неизбежных в дрейфе? Я долго думал над этим, взвешивал все имеющиеся в нашем распоряжении средства и в конце концов решил: надо использовать еще один, на этот раз единственный и последний, шанс на успех.

На северо-востоке все еще лежала открытая вода. Ее необозримые просторы тянулись от острова Котельного до самой Чукотки. Теперь уже поздно было пробиваться на северо-восток тремя кораблями, — для этого нехватало угля, бесплодно израсходованного во время напрасных попыток прорваться на юг.

Но что если испробовать такой вариант: оставить в дрейфе один лишь «Седов», — наименее мощный из всех кораблей, все время затруднявший движение вперед «Садко» и «Малыгина», — снять с него всех людей, оставив лишь 10—15 добровольцев — самых здоровых и опытных полярников; снабдить их всем необходимым, затем перегрузить запасы топлива с «Седова» на «Садко» и «Малыгин», поделив их поровну, — и с этими запасами вывести ледокольные пароходы из льдов.

Что проигрываем мы при этом? В дрейфе останется один корабль с 10—15 зимовщиками. Что выигрываем? Выводим из льдов два корабля и, главное, избавляем от зимовки в дрейфующих льдах 200 человек, совершенно не подготовленных к ней.

Даже в том случае, если бы «Садко» и «Малыгин» не смогли добраться до встречи с угольщиком «Сергей Киров», который уже подошел из Владивостока к Чукотке, — они могут спокойно зимовать у берегов Новой Сибири; если же они останутся вместе с «Седо-

¹ Ропак — отдельно стоящая, поставленная на ребро льдина, вмещающая в лед.

вым», — их неизбежно унесет в высокие широты, и тогда в лучшем случае весной придется снимать большую часть людей самолетами, а в худшем — повторится история гибели «Челюскина» в утроенном масштабе.

Я не сомневался, что среди 217 моряков, научных работников и пассажиров «Садко», «Малыгина» и «Седова» будет нетрудно подобрать 10—15 человек, которые должны остаться на дрейфующем корабле. Так оно и было. Капитан «Садко» Н. И. Хромцов, с которым я поделился своим планом, первым вызвался заменить престарелого и больного капитана «Седова». Очевидно, было бы легко скомплектовать и всю команду.

Риск, связанный с осуществлением этого замысла, был невелик: в конце концов было уже ясно, что все три корабля обречены на зимовку. Так почему же не использовать последний шанс на освобождение хотя бы части каравана?

Уверенность в реальности такого проекта у меня возросла, когда был закончен подсчет остатков горючего на кораблях. 26 октября специальная комиссия установила, что «Малыгин» еще имеет 160 тонн угля, 1 200 килограммов керосина, 800 килограммов нефти, 200 килограммов бензина и 1 200 килограммов машинного масла; «Садко» — 150 тонн угля, 900 килограммов керосина, 400 килограммов бензина, 3 000 килограммов машинного масла; «Седов» — 130 тонн угля, 3 400 килограммов керосина и 400 килограммов нефти.

Беседуя с кочегарами, я выяснил, что эти данные, по известной морякам традиции механиков, были значительно преуменьшены. Но даже такие запасы давали возможность двум ледокольным кораблям пробиться к Новой Сибири.

Руководством экспедиций мой проект был встречен с недоверием. Некоторые люди открыто говорили: стоит ли всерьез принимать предложение какого-то второго штурмана, если капитаны уже смирились с мыслью о зимовке? Обсуждение этого предложения бесконечно откладывалось, хотя теперь был дорог каждый час. И только 29 октября по настоянию партийной организации, поддержавшей

меня, было созвано совещание, где я выступил с обоснованием проекта.

Проект был встречен холодно. Одни загадочно молчали, другие язвительно посмеивались, третьи открыто возражали: нехватит угля. Один из моих оппонентов, возражая мне, представил даже наукообразные расчеты расхода топлива с точностью чуть не до одного грамма на каждый погонный метр льда.

Тогда старший механик «Садко» — Матвей Матвеевич Матвеев, человек, не терпящий гнилой дипломатии, — со своей обычной прямоотой резко заговорил:

— Бросьте приbedняться! Поищите по отсекам, поскребите по стрингерам, — кое-что наберется. Пора кончать с этой вредной традицией — припрятывать уголек про-запас! Я заявляю прямо: у меня больше угля, чем числится по ведомостям. И у вас, товарищи малыгинцы и седовцы, кое-что найдется...

И все-таки план вывода «Садко» и «Малыгина» из дрейфа был отвергнут.

Осторожность и нерешительность еще раз взяли верх над здравым смыслом.

Теперь не оставалось ничего другого, как готовиться к зимовке. Впрочем, некоторые оптимисты, не искушенные опытом полярных плаваний, все еще тешили себя надеждами на скорый приход «Красина».

Из Главсевморпути нам сообщали: — «Красину» дано распоряжение следовать на помощь вашему каравану. Разоружать суда нельзя. Ожидайте прихода «Красина».

Но капитан «Красина» был более решительным человеком, чем другие. Он считал, что поход к нашим ледокольным пароходам в конце октября — начале ноября приведет лишь к тому, что и «Красин» зазимует в дрейфующих льдах вместе с нами: во-первых, льды окрепли настолько, что даже ледоколу было бы трудно форсировать их, а во-вторых, у «Красина» почти не осталось угля. В лучшем случае ему хватило бы топлива для того, чтобы пробиться к нам. А что бы мы делали дальше?

Утром на другой день после совещания, на котором был отвергнут мой план, я записал в своем дневнике:

«Итак, зимовка. Долгая и трудная зимовка. Бесспорно, льды не оставят нас на месте и унесут корабли из этого мелководного моря на океанские глубины. А там, — что будет там с нами? Честно говоря, об этом страшновато думать. Но вот живут же четверо наших товарищей на дрейфующей льдине. Пока мы тут спорим и раздумываем, они преспокойно плывут на своей льдине от Северного полюса к берегам Европы. Мы ежедневно слушаем по радио их сводки, их телеграммы, проникнутые духом бодрости, уверенности и чудесного юмора. Так неужели же мы, 217 советских людей, располагающих не какой-нибудь шаткой льдиной, которая в любую минуту может лопнуть, а тремя первоклассными кораблями с радиостанциями, запасами продовольствия и снаряжения, — окажемся слабее духом, чем четыре наших товарища? И разве родина забудет и оставит нас, как Америка оставила Де Лонга, Англия — Скотта, а царская Россия — Седова и Брусилова?

— Сталин не бросит человека, — эти простые и теплые слова Водопьянова вновь и вновь приходят на ум...».

Я вышел на обледенелую, занесенную снегом палубу «Седова». Бескрайние просторы льдов смутно озаряло розоватое зарево, заменившее нам день, — солнце не показывалось больше на нашем горизонте.

Как не похоже было это мутное зеленовато-розовое небо на тот кристально прозрачный голубой купол, под которым мы прощались с родными в Архангельске три месяца назад, и как не похоже было все, что предстояло нам перенести, на те планы, которые мы строили тогда на набережной!..

Я пошел в каюту, полистал какую-то книгу, переложил с места на место тетради, потом начал перечитывать телеграммы, полученные от жены, и невольно подумал: каким ударом будет для нее весть о нашем дрейфе! Только накануне я сообщил ей, что мы пробиваемся во Владивосток и надеемся обойтись без зимовки. Но теперь уже никаких надежд на лучшее будущее не было. Сел писать новую телеграмму, дол-

го писал. Нужные слова не шли на бумагу, казалось, что пишу все не так и не то, что надо. Наконец написал:

«Пришлось зазимовать в дрейфующем льду. Возвращусь не раньше весны. Будь твердой. Думаю, все обойдется хорошо. Все это время буду мечтать о встрече».

— Зимовка! Зимовка! Главсевморпуть велит зазимовать... — послышалось через дверь каюты.

Я несколько удивился: ведь это же было ясно и без телеграммы Главсевморпути. Чему же радуются люди? Не тому ли, что их освободили от лишней ответственности? Я придвинул к себе тетрадь, в которой вел свой дневник, и продолжил запись:

«Как это плохо, что в Арктике до сих пор плавают люди, избегающие ответственности! Ведь если бы руководство наше не побоялось ответственности, мы не стали бы осуществлять явно невыполнимый приказ о выходе на запад и сейчас уже были бы на чистой воде у ворот Тихого океана...»

Капитан «Красина» не побоялся опротестовать нелепые директивы Морского управления Главсевморпути, и сейчас его корабль уже в безопасности: он стоит в защищенной бухте у Нордвика. Радисты передают, что Белоусов решил сам, под свою ответственность, силами команды организовать добычу угля в Нордвике, чтобы к весне снабдить ледокол топливом и быть в готовности к навигации.

А мы? Где встретим мы начало навигации?».

★

Обо всем этом надо было говорить и писать еще очень много. Теперь же предстояло выполнить самую срочную и неотложную работу — поставить корабли на зимовку, перевести машины на консервацию, разместить людей по кораблям, подсчитать и распределить запасы продуктов и теплой одежды, как-то организовать жизнь и быт людей на этой первой в мире дрейфующей зимовке с таким большим населением.

Телеграмма начальника Главсевморпути, полученная 30 октября, гласила: «По донесению ледокола «Красин», операция помощи вам оказывается невозможной. Разрешил «Красину» остаться с караваном «Ленина». Разрешаю вашей группе перейти на зимовочное положение. Сознаем трудность вашего положения, постараемся с возвратом света, то-есть в феврале, направить к вам отряд тяжелых самолетов для вывоза лишних людей».

Когда мы получили эту телеграмму, зимовка в дрейфующих льдах фактически уже началась. С 23 октября корабли не продвинулись своим ходом ни на один метр. Зато льды быстро увлекли нас за собой на север. В 12 часов дня 23 октября мы находились на $75^{\circ} 21'$ северной широты и $132^{\circ} 15'$ восточной долготы, на 200 миль южнее того места, где за 44 года до этого остановился Нансен на своем «Фраме», чтобы начать дрейф к полюсу. Но льды сразу же потащили наши корабли на север с огромной скоростью, и у нас были все основания рассчитывать, что мы опередим «Фрам». За первые же трое суток дрейфа нас унесло к северу на 17 миль, и 30 октября, в день получения телеграммы О. Ю. Шмидта, мы находились уже на $76^{\circ} 10'$ северной широты и $131^{\circ} 10'$ восточной долготы.

Надо было спешить с организацией зимовки, если мы не хотели оказаться застигнутыми врасплох. В первую очередь следовало подготовить корабли и людей к борьбе со льдами.

Опыт прежних полярных экспедиций показывал, что многое зависит от того, где и как будет поставлен корабль на зимовку во льдах. Опаснее всего — попасть на линию сжатия, в разводье, края которого периодически сходятся и расходятся, словно меха гармони. «Жанетта» Де Лонга была раздавлена именно в такой ледовой обстановке. «Челюскин» погиб потому, что зашел в глубокую трещину, из которой не было выхода.

Поэтому капитанам нужно было прежде всего подумать об убежищах для своих кораблей. Предусмотрительнее

всех поступил капитан «Садко» Хромцов. Он выбрал среди старого ледяного поля естественную лагуну, окруженную высокой и мощной грядой торосов. «Садко» пробил перемычку и спрятался в этой лагуне, затянутой молодым льдом. Опыт впоследствии показал, что этот выбор был наилучшим: за всю зиму «Садко» ни разу не был потревожен сколько-нибудь существенным сжатием.

Выбор остальных капитанов был менее удачен.

«Малыгин» остановился у края старой толстой льдины — так, что уже через несколько дней сжатие наворотило у его борта гигантский ледяной вал вровень с палубой. Хорошо, что к этому времени механики «Малыгина» еще не разобрали машину, — пароход поднял пары, убрался подальше от этого опасного места и остановился в более надежном льду.

Хуже всех расположился на зимовку «Седов». Он был поставлен среди двух полей, которые впоследствии причинили много неприятностей кораблю: за зиму он испытал свыше 20 сжатий, одно из которых нанесло непоправимые повреждения его рулю. Думаю, этот печальный опыт следует учесть всем арктическим мореплавателям.

Когда корабли остановились на зимовку, среди дрейфующих льдов образовался целый город. Рядом с многоэтажными гигантами-пароходами выросли ледовые домики, палатки гидрологов и магнитологов. На снегу чернели контрольные рейки для измерения толщины ледяного покрова. Быстро были протоптаны тропы, соединяющие корабли. По этим тропам шло непрерывное движение.

Надо было перераспределить людей по кораблям, учесть и разделить запасы продовольствия и снаряжения.

На «Седове» находилось сто человек. Чтобы разгрузить его, зимовщиков, снятых с полярных станций, перевели на «Малыгина». Научные работники переселились на «Садко». На «Седове» остались студенты. К ним впоследствии примкнул Виктор Буйницкий: было решено, что там организуется «дрейфую-

щий филиал Гидрографического института».

Подсчет запасов продовольствия и снаряжения дал весьма неутешительные результаты: «Седов», вышедший в рейс без достаточной подготовки, располагал лишь неполным шестимесячным запасом продовольствия и почти не имел теплой одежды и обуви. Пришлось делить запасы «Садко» и «Малыгина».

Очень мало оставалось угля и керосина. Выяснилось, что на каждую керосиновую лампу после того, как будут спущены пары, удастся уделить не более 200 граммов керосина в день. Это значило, что три четверти суток придется жить впотьмах.

Пока-что в топках кораблей еще теплились огни. Было решено не тушить их до 7 ноября, — хотелось отпраздновать XX-летие Октября в тепле и при свете электричества. Да к тому же раньше этого срока физически невозможно было закончить консервацию машин, отопление жилых помещений и установку камельков.

На «Садко» людей разместили так: 33 человека поселились в кормовом твиндечном помещении, где были установлены койки. В помещении командного состава, разделенном на каюты, поселились 38 человек.

Очень много хлопот доставила организация отопления корабля с помощью камельков. Их пришлось мастерить на скорую руку из порожних керосиновых бочек, — благо, их оказалось много у седовцев, которые снабдили весь караван.

Наши доморощенные конструкторы во главе с челюскинцем Гордеевым, участвовавшим в экспедиции на «Садко», изобретали самые фантастические проекты камелькового отопления. Хотелось сконструировать такие печи, которые забирали бы минимум топлива и давали бы максимум тепла: мы должны были строжайшим образом экономить уголь; поэтому было решено расходовать на отопление корабля всего 200 килограммов угля в сутки.

Вначале в нашем твиндеке, разделенном на каюты, поставили один камелек в коридоре и через все помещения про-

вели от него железные трубы. Из этой затеи ничего не вышло: не было тяги, и огонь в топке гас.

Тогда установили второй камелек. На этот раз бочки выложили изнутри упорным кирпичом и обмазали глиной, чтобы они лучше сберегали тепло. Но и эта конструкция была далека от совершенства: камелек стоял против двери моей каюты, и все-таки даже мой матрац зимой промерзал насквозь.

В кормовом твиндечном помещении стоял всего один камелек, но там было несколько теплее, чем у нас, так как это помещение не было разделено на каюты.

Небольшие камельки были установлены также в радиорубке, кают-компании, в бане и в машинной мастерской. Но ни в одном из этих помещений мы не могли согреться. В лучшем случае нам удавалось поддерживать температуру 5—6 градусов тепла.

Только год спустя, когда я зимовал уже на «Седове», был «раскрыт» нехитрый секрет камелькового отопления: попросту надо было класть в печи побольше угля. Мы выбросили кирпичи из бочек: раскаленные докрасна железные стенки камельков отдавали все полученное ими тепло, и большую часть суток в помещениях «Седова» поддерживалась нормальная температура.

Иллюминаторы наглухо задраили. Палубы кораблей и переборки засыпали толстым слоем шлака. Каждый кусок брезента, всякий обломок доски шел в дело — все использовалось для утепления жилых помещений.

Огромный коллектив дрейфующей зимовки в эти дни работал необыкновенно напряженно. Но, пожалуй, больше всех доставалось машинным командам кораблей. Им предстояло в короткий срок поставить машины на консервацию, предохранить полированные поверхности механизмов от ржавчины, откачать воду из котлов и высушить их, организовать ремонтные работы.

Опыта зимовки в дрейфующих льдах ни у кого не было. Поэтому всякое мероприятие обсуждалось дважды и трижды. Много спорили. В конце кон-

цов все же механики «Садко» под руководством Матвея Матвеевича хорошо справились со своей задачей.

Хуже было организовано дело на «Седове», где консервацию машин осуществили небрежно. Это привело к нежелательным последствиям, о которых я расскажу ниже.

Мне была поручена подготовка аварийных запасов. Хотя мы и рассчитывали стойко бороться за сохранение кораблей, но в Арктике всегда нужно быть готовым ко всяким случайностям. Поэтому уже через несколько дней после начала зимовки на палубе был уложен трехмесячный аварийный запас продовольствия, рассчитанный на 70 человек, и лагерное снаряжение. Здесь были радиостанции с аккумуляторами, весь наличный запас меховой одежды, спальные мешки, ящики с продовольствием, камельки, бочки с керосином, уголь. Научные работники подготовили походное снаряжение для работ на льду. Были составлены расписания пожарной и ледовой тревоги, порядок оставления судна. Каждый из 217 участников дрейфа точно знал, что он обязан делать в трудную минуту.

В этих заботах время летело необыкновенно быстро. Не успели мы закончить первоочередные работы, как подошла годовщина Октябрьской революции. Как во всяком порядочном городе, была создана комиссия по проведению демонстрации. Мы разработали порядок празднования. Молодежь подготовила выступления самодеятельного джаз-оркестра, вокальные и танцевальные номера. Художники, которых среди студентов нашлось немало, подготовили несколько проектов оформления трибуны.

★

Наступило утро 7 ноября. Погода была отнюдь не праздничная. С утра свирепствовала пурга. Ветры южной половины горизонта дули с силой 8 баллов. Дрейфующий караван с большой скоростью приближался к 77-й параллели. Было холодно, темно и сыро.

И все же на кораблях чувствовалось приподнятое, праздничное настроение.

Горели электрические огни. Над палубами развевались гирлянды флагов. К мостикам были прикреплены алые полотнища с лозунгами. Посредине поля возвышалась высеченная из льда трибуна — гордость наших художников и конструкторов.

К полудню ветер немного утих. Сине сумерки, заменявшие нам в то время день, позволяли различать смутные очертания занесенных снегом и обледеневших кораблей. Там, у трапов, было заметно какое-то движение. И вдруг из разных концов донеслись бодрящие звуки песен, заколыхались знамена, люди построились в ряды и двинулись с трех концов поля к трибуне. Первая демонстрация в дрейфующих льдах моря Лаптевых началась...

В этот час я стоял на вахте и был лишен возможности участвовать в общем торжестве. Но мне с мостика, словно с большой трибуны, была хорошо видна демонстрация. Она далеко растянулась во льдах, и я в первый раз увидел с такой наглядностью, как много людей участвует в нашем ледовом рейде.

Со льда доносились приветственные возгласы. Кто-то говорил речь. Слышались аплодисменты. Потом гремело раскатистое «ура» Красноватые отблески факелов озаряли портрет великого человека нашего времени, к которому мы в эти суровые дни обращали все свои мысли и надежды.

Митинг продолжался. Я сошел с мостика и отправился к нашей гидрологической майне, где был установлен лот, которым мы измеряли глубину моря и скорость дрейфа. Тонкий трос с каждой минутой уходил все дальше и дальше под лед. Я сверился с секундомером и невольно покачал головой: никогда еще мы не двигались на север с такой быстротой.

Снова вспомнилась история «Фрама». Мы шли его дорогой, — сейчас это можно было сказать почти определенно.

Теперь, когда дрейф уже начался, отступать было поздно. Как бы трудно нам ни пришлось, нельзя было теряться, хныкать и опускать руки. Ведь именно

в такие трудные минуты и проверяются на деле люди. Так неужели же мы не сумеем доказать на деле, чего сто́ит советский человек, когда он по-настоящему берется за преодоление трудностей?..

И, словно отвечая на мои мысли, издалека донеслась бодрая и веселая песня:

Штормовать в далеком море
Посылает нас страна..

Колонны демонстрантов расходились к кораблям. Огни факелов чертили в сгустившемся мраке причудливые узоры.

ШКОЛА ТРУДА И ТЕРПЕНИЯ

На третий день праздников кочегары погасили котлы. Умолкло размеренное жужжание динамо. Тонкие вольфрамовые нити электроламп остыли и перестали светиться. Трубы парового отопления быстро охладились и покрылись инеем. С этого дня надо было жить по-новому.

В коридорах зажглись тусклые красноватые огоньки десятилинейных керосиновых лампочек. Застучали топоры, дежурные по камелькам кололи дрова. Они разжигали щепу в железных бочках и засыпали ее каменным углем. Уголь дымил и не хотел разгораться. Было темно, душно и грязно. С непривычки оступались, стучались лбом о двери. Раздражали неприятное ощущение вечной сырости и невозможность согреться хоть на час.

Лучшее спасение от хандры и уныния в Арктике—труд. И с первого же дня зимовки мы обратились к этому спасительному средству. Я уже упоминал о том, что машинным командам скучать было некогда: в эти дни в нижних этажах кораблей кипела самая напряженная работа. Но и все остальные не сидели сложа руки.

Состав зимовщиков был необыкновенно разнообразен. Кроме моряков, здесь находились работники Арктического института и Гидрографического управления Главсевморпути. Было много студентов Гидрографического института. В то же время не ждано не гадаю в дрейф попали и такие люди, как

плотники, строившие на Генриэте дом для полярной станции, зимовщики с полярных станций и даже один капитан дальнего плавания, который сдал свое судно в Тикси и рассчитывал с попутным караваном поскорее вернуться на родину.

Прежде всего было решено: во что бы то ни стало сохранить железный режим мореплавания и экспедиций. Что из того, что корабли лишены свободы? Они движутся вместе со льдами! Больше того, они выходят на океанские глубины,—туда, где еще не плавал ни один корабль. Значит, необходимо сохранить и даже расширить объем наблюдений и исследований.

Был установлен строгий порядок корабельных вахт. На «Садко» вахту несли, чередуясь, я, 3-й помощник капитана А. П. Карельский, старший гидрограф А. А. Кухарский и неугомонный Виктор Буйницкий, не скрывавший своего искреннего восхищения перспективой зимовки в дрейфующих льдах: его юношескому воображению рисовались увлекательные приключения на пути «Жанетты» и «Фрама».

Через каждые два часа вахтенные измеряли глубину моря, а также скорость и направление дрейфа. Кроме того, мы вели тщательные наблюдения за льдом и контролировали неуклонное выполнение правил внутреннего распорядка.

В коридоре твиндека за тесным столом ютились со своими книгами, тетрадями и приборами участники экспедиций. Они разбирались в своих записях, сделанных летом, исследовали микроорганизмы, добытые в море, пробы грунта, взятые со дна. Здесь, в дрейфе, была начата подготовка большого научного труда об итогах третьей высокоширотной экспедиции.

Больше того, сама по себе высокоширотная экспедиция именно сейчас вступила в самый интересный этап. И наиболее активные научные сотрудники не только не жаловались на свою судьбу, но даже радовались продвижению каравана в более высокие широты: здесь их ждал необъятный простор для творческой деятельности.

Профессор Жонголович вел тщательные астрономические наблюдения, точно вычисляя трассу дрейфа. Магнитологи изучали элементы земного магнетизма. Велись наблюдения над изменениями силы тяжести с помощью сложного прибора, сконструированного голландцем Венингом Мейнецем.

На борту «Малыгина» была организована метеорологическая станция. Здесь через каждый час измеряли температуру, атмосферное давление, направление и силу ветра, осадки, видимость. Здесь же эти данные проходили предварительную научную обработку, делались необходимые обобщения, выводы.

Словно в обычном рейсе, через каждые 30 миль пройденного пути проводились гидрологические станции. Гидрологи брали с разных горизонтов пробы воды. Гидробиологи собирали и изучали представителей подводной фауны. Геологи извлекали со дна моря пробы грунта и исследовали их. Одним словом, наш караван превратился в научный городок, в лабораториях которого велись важнейшие исследования, сулившие науке ряд интересных открытий.

Интерес этот вскоре еще более повысился в связи с тем, что в море Лаптевых появился второй дрейфующий караван. Дело в том, что ледоколу «Ленин» и четырем судам, которые он вел, так и не удалось стать на надежную зимовку в Хатангском заливе. 14 ноября 1937 года сильным юго-западным ветром льды, в которых остановились эти корабли, оторвало от берега и понесло в открытое море. С этого момента уже два каравана дрейфовали одновременно в море Лаптевых: первый — наш караван из трех ледокольных пароходов — в северо-восточной части этого моря и второй — караван «Ленина» из пяти судов — в юго-западной. Теперь научные работники могли сравнивать данные этих дрейфов.

Одновременный дрейф двух караванов продолжался почти девять месяцев, вплоть до 7 августа 1938 года, когда «Ленин» и остальные суда были выведены ледоколом «Красин» из льдов.

Мы двигались на север.

С первых же дней стало ясно, что мы передвигаемся значительно быстрее, чем корабли, дрейфовавшие в прошлом веке. Так, «Фрам» Хансена за первые 9 месяцев дрейфа продвинулся всего на 400 километров. Наш же караван лишь за один первый месяц оставил за собой в общей сложности 420 километров, приблизившись к полюсу, если считать по прямой, на 200 километров.

Утром 27 ноября наши корабли пересекли трассу корабля «Таймыр», на котором за 24 года до нас прошел капитан 2-го ранга Борис Вилькицкий, открывший Северную Землю. Дальше этой черты ни разу не побывал ни один корабль. Мы вступили в область белого пятна. На столе у вахтенного теперь вместо карты лежал чистый лист бумаги, на котором мы прокладывали линию дрейфа, наносили глубины и другие навигационные данные.

28 ноября направление дрейфа неожиданно изменилось. Устойчивые юго-западные ветры увлекли нас на восток-северо-восток в сторону от трассы «Фрама». Со скоростью полмили в час наш караван уходил все глубже в область неисследованного белого пятна. У камельков шли оживленные дискуссии: куда унесут нас льды? С такой скоростью мы быстро могли добраться до берегов Аляски!

И только с конца января 1938 года изменившиеся ветры положили конец этому безудержному дрейфу на северо-восток и повели наш караван сначала почти на север, а потом на северо-запад.

Самой восточной точки нашего дрейфа мы достигли 2 марта 1938 года, когда мы оказались на $78^{\circ}24'$ северной широты и $153^{\circ}26'$ восточной долготы.

Любопытно отметить, что дрейф каравана «Ленина» был почти подобен нашему дрейфу. «Ленин» также до конца января 1938 года дрейфовал приблизительно на восток; так же как и мы, до начала апреля того же года он дрейфовал почти на север, а после этого, так же как и мы, — на северо-запад. Только одна причина могла вы-

звать такое совпадение дрейфов, и этой причиной в обоих районах моря Лаптевых были вторжения воздушных масс с юго-запада.

Из-за этих вторжений оба наши каравана в зимние месяцы своего дрейфа описали петли с выпуклостями, направленными на восток. Замечательно, что и «Фрам», начавший свой дрейф 23 сентября 1893 года на $78^{\circ}50'$ северной широты и $133^{\circ}30'$ восточной долготы, в начале зимы описал петлю, также направленную на юго-восток и также вызванную вторжением воздушных масс с запада. Но только во время Нансена эти, обычные для предзимнего периода в море Лаптевых, вторжения воздушных масс с запада были слабее и менее продолжительны, чем сейчас, в период потепления Арктики.

Таким образом, научные работы шли полным ходом. Но и те, кому не удавалось в них участвовать, находили применение своим силам.

Одни были заняты ремонтом машин и корабельного инвентаря; другие работали в «пошивочных мастерских»: тачали из старой, уже негодной, меховой одежды теплые рукавицы; третьи мастерили различное подсобное снаряжение, необходимое для научных работ; четвертые подшивали валенки.

Я уже упоминал, что с первых дней зимовки началась организация «дрейфующего филиала Гидрографического института». «Седов» был превращен в пловучий вуз. Там, при скудном свете керосиновых мигалок, ежедневно собирались обросшие бородами, чумазы от копоти студенты и профессора в валенках и ватниках. Вооружившись карандашами, студенты мелким почерком записывали лекции, стараясь всемерно экономить бумагу, самый дефицитный товар на дрейфующих кораблях.

Профессора, проживавшие на «Садко», ходили в этот «дрейфующий вуз» по льду с почетным конвоем — их сопровождали моряки, вооруженные винтовками, на случай неожиданной встречи с медведем.

Пример студентов подействовал значительно. Началась организация самых различных школ и кружков. Ан-

дрей Георгиевич Ефремов был назначен заведующим учебной частью «дрейфующего морского техникума». Этот техникум, готовивший штурманов малогабаритного плавания и механиков третьего разряда, расположился в просторной кают-компании «Садко». Я бы не сказал, что студенты техникума страдали от жары в этом почтенном помещении: экономя топливо, камелек в кают-компании разжигали только за полчаса до вечернего чая и затем сразу же тушили. Занятия же начинались после чая. Поэтому к концу лекции из кают-компании доносился дробный стук обмерзших валенок: каждый согревался, как мог. Тем не менее, прогульщиков и неуспевающих в техникуме почти не было.

Партийная организация поручила мне руководство школой политической грамоты, в которой занимались матросы и кочегары. Занятия обычно проходили в кубрике, за столом, стоящим возле камелька. Тускло светились две керосиновых лампочки. Изюм всех углов глядел мрак. Из камелька сочилась струйка сладковатого удушливого дыма. Сверху, с сушившихся над огнем валенок, капала грязная вода. Но люди уже привыкли к этой обстановке и не обращали внимания на такие мелочи.

Вооружившись конспектом, я рассказывал своим слушателям о государственном устройстве СССР, о родине, о партии, о зарубежных странах. Многочисленные вопросы часто заставляли менять намеченный план и читать лекции, не имевшие непосредственного отношения к нему.

Так возникла однажды беседа о Парижской Коммуне. Целый вечер я рассказывал об историческом значении Коммуны, о героизме коммунаров, о жестоком генерале Галифе и коварном Тьере, пожегивавших кровными интересами Франции, лишь бы задавить восстание. Говорил об ошибках руководителей Коммуны.

Слушали с интересом. Изредка меня перебивали неожиданными горячими репликами:

— Куда ж они смотрели? Ну, конечно, надо было на Версаль итти, на

Версаль! Как наши в Питере Зимний брали!..

Или:

— Захватили бы банки, и—точка!..

Очень оживленно прошли беседы о социализме и коммунизме, о государстве, об индустриализации. Но больше всего разгорались страсти, когда мы беседовали о коллективизации. Тут уж сыпались реплики даже из самых дальних углов, где стояли двухъярусные койки моряков, не участвовавших в кружке:

— А вот у нас в деревне — писали перед рейсом — никак доходы с прошлого года поделить не могут. Бают, все — завтра да завтра!..

Недовольному отвечали из другого угла:

— Лядаший ваш колхоз, однако. У нас — матка писала — хлебом завалились—девать некуда!..

Зашла речь о перегибах, допускавшихся во время коллективизации. Кто-то вспомнил, как в его деревне головотяпы обобществляли кур. Вспоминали и другие обиды. Тогда я раскрыл «Вопросы ленинизма» и целиком прочел статью Сталина — «Головокружение от успехов». Статья эта дала ответ на недоуменные вопросы.

Большим успехом пользовались беседы о международном положении. Радисты аккуратно принимали все сообщения ТАСС, и эти телеграммы заменяли нам газеты.

★

Для того, чтобы лучше представить нашу жизнь в этот период дрейфа, я опишу здесь один из рядовых, будничных дней нашей зимовки.

Раннее утро. Конечно, слово «утро» в данном случае следует понимать условно, так как и днем, и ночью одинаково темно. Сквозь редкие облака мерцают яркие звезды. Они озаряют призрачным светом бескрайнюю белую пустыню и три гигантских железных дома, заброшенных в эти просторы волею судьбы. На кораблях не видно ни одного огонька. Тихо и тоскливо.

Вахтенный, заканчивающий свое ноч-

ное дежурство, смотрит на часы. Пора будить людей. Заранее предвкушая эффект, он выбирает озябшими руками из патефонного альбома заграничную пластинку с самым громким и трескучим маршем, заводит патефон, вносит его в коридор твиндека и терпеливо выжидает, поглядывая на часы. Как только стрелка останавливается точно на цифре 7, простуженный патефон начинает неистово визжать и хрипеть, вахтенный стучит в двери направо и налево и во все горло весело командует:

— А ну, раз-два, — поднима-айсь!..

Из всех дверей высовываются заspanные физиономии.

— На зарядку живо-о!..

Повинуясь неумолимым правилам внутреннего распорядка, люди, поеживаясь, вылезают из-под одеял, надевают ватники, валенки и выбегают на палубу, чтобы спуститься на лед. Физкультурная зарядка может быть отменена лишь в чрезвычайных обстоятельствах, например, при сильном морозе и ветре. Во всех остальных случаях зарядка проводится неукоснительно.

Построившись в несколько шеренг, мы старательно приседаем, вытягиваем руки и ноги, топчемся на месте и делаем все остальные движения, предписанные правилами врачебной гимнастики. Движения эти, конечно, не очень грациозны, ибо каждый из нас перед уходом на зарядку постарался натянуть на себя столько одежды, сколько было возможно. Но наш строгий физкультурководитель Сергей Токарев может подтвердить, что мы всегда очень старательно исполняли его команду.

После зарядки вахтенный еще полчаса не пускает нас на корабль: полагается гулять вокруг него. В сильные морозы такая прогулка не особенно приятна. Но если не хочешь, бслеть цынгой, надо дышать свежим воздухом.

После прогулки — утренний чай. В 9 часов начинается рабочий день. За работой быстро проходит время до полудня. В 12 часов обедаем. Затем полагается «мертвый час», после которого работы возобновляются до ужина. Ужин сервируется в нашей холодной кают-компаний ровно в 17 часов.

В 18 часов 30 минут — вечерний чай, и сразу же после чая начинают свою работу наши кружки и школы.

Где же тут найти время для тоски и горестных размышлений! Нам просто некогда было скучать. И только ночью, в часы бессонницы, в уме возникали смутные контуры далекой Москвы, слышавший звон ее трамваев и неумолкающий гомон толпы, доносились родные голоса друзей и близких. В такую минуту невольно сжималось сердце и думалось: увидимся ли мы когда-нибудь? Что будет с нами, если льды сомнут корабли? Вряд ли самолеты найдут нас тогда в полярную ночь, за тысячи километров от Большой Земли...

Но вскоре снова начинался привычный круговорот трудового дня, снова закипала работа, и ночные сомнения рассеивались или оседали где-то в глубине души.

★

Среди будней, заполненных упорным трудом, похожих друг на друга, словно близнецы, резко выделялись праздники. Эти праздники были проникнуты глубоким внутренним содержанием. Нам было особенно важно сознавать, что наш дрейфующий караван — это частица советской территории. Невыразимо волнующее чувство испытывали мы, когда выходили на демонстрацию одновременно с жителями Большой Земли или выступали на митингах, посвященных злободневным политическим событиям.

Особенно хорошо запомнились мне дни перед выборами в Верховный Совет СССР, когда до нас из далекой Москвы за тысячи километров донесся негромкий душевный голос Сталина. Это был самый большой праздник из всех, какие мы отмечали в дрейфе.

Ко дню выборов мы готовились долго и торжественно. На каждом корабле был создан свой избирательный участок. В кубрике, в кают-компании, у камельков работали агитаторы и пропагандисты. Нам предстояло голосовать за знатного пильщика — стахановца Мусинского и капитана дальнего пла-

вания Пестова. Эти кандидаты пользовались всеобщим уважением. Многие были хорошо знакомы с Мусинским и Пестовым, знали их. Поэтому агитация за наших кандидатов в депутаты проходила очень оживленно.

На «Садко» каюту, в которой жил старший помощник Румке, превратили в комнату для голосования. Сделали из ящиков урны. Где-то раздобыли сургуч, чтобы опечатать их перед началом выборов. Кают-компанию превратили в зал ожидания. Наши затейники самодеятельности позаботились о том, чтобы люди там не скучали.

Много хлопот доставила подготовка конвертов и избирательных бюллетеней. Окружная комиссия, находившаяся за тысячи километров от нас, — в Архангельске, — при всем желании не могла бы снабдить нас всем необходимым. По радио было передано лишь описание конвертов и бюллетеней. С исключительной точностью были указаны их размеры, на сколько миллиметров от края листка надо начать текст, какой толщины должна достигать лиловая полоска на бюллетенях для выборов в Совет Национальностей (цветной бумаги у нас не было).

Бюллетени надо было отпечатать на пишущей машинке. Исправная машинка была лишь на «Седове». Поэтому «Седов» превратился в «дрейфующий Го-знак», — он снабдил все избирательные участки документами. Конверты изготовляли на «Садко» под руководством Сергея Токарева.

Пятого декабря мы праздновали день Сталинской Конституции. Только-что закончился жестокий восьмибалльный шторм, расколовший наше ледяное поле на несколько частей. Но морозы уже сквали трещины, и колонны демонстрантов смело шли с факелами и знаменами к нашей ледяной трибуне, почти не пострадавшей от шторма.

Наши радисты в эти дни с особенным вниманием следили за работой московских станций. Они приняли и записали обращение ЦК ВКП(б) к избирателям и другие важнейшие политические документы, которые с огромным вниманием читались участниками дрейфа. Мы узна-

ли, что в Сталинском избирательном округе Москвы выдвинута кандидатура Иосифа Виссарионовича. Узнали и то, что кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР, как правило, выступают с речами перед избирателями. Поэтому, когда из эфира было получено сообщение, что собрание избирателей Сталинского избирательного округа Москвы будет транслироваться по радио, наш коллектив охватило небывалое оживление.

Дрейфующий караван жил по местному времени, сильно отличающемуся от московского. По нашим расчетам выходило, что собрание в Москве начнется тогда, когда у нас будет 3—4 часа ночи. Всю ночь на кораблях никто не спал, хотя на всякий случай каждый предупредждал вахтенного:

— Будь другом, разбуди, когда начнется собрание!..

Помнится, я лежал в своем спальном мешке и читал какую-то книгу, пользуясь хитроумным приспособлением к крошечной керосиновой лампе. Лампа стояла на столике внизу. Там что-то писал наш помполит Гавриленя. Я установил рядом с лампой рефлектор от какого-то фонаря, отбрасывавший светлый зайчик ко мне на верхнюю полку. Подставляя под отраженный луч страницу книги, я кое-что разбирал.

Из коридора доносился сдержанный гул голосов. Люди бродили по кораблю, беседовали, справлялись, который час, и снова бродили по кораблю. И вдруг, в четвертом часу ночи, из репродукторов, расставленных в каютах, донеслось сухое потрескивание, шелест, и громкий голос диктора четко проговорил:

— Внимание, внимание. Говорит Москва...

Радисты включили всю трансляционную сеть, но народ забегал по коридорам — выбирали лучшие репродукторы. К нам в каюту ввалилась сразу целая гурьба.

— ...включаем зал собрания, — закончил диктор, и в притихшую каюту дрейфующего корабля хлынула буря оваций, прозвучавшая на весь мир.

Моя книга полетела в сторону. Я выкарабкался из спального мешка и сел на

койке поближе к репродуктору. В черном рупоре все громче и громче гремели аплодисменты. Порой сквозь них прорывались чьи-то веселые молодые голоса, выкрикивавшие приветственные лозунги.

— Сталин тут, — тихо сказал заросший бородой кочегар, прислонившийся к притолоке. — Так только его встречают... — И он захолопал в ладоши, и мы все к нему присоединились.

Так началось это собрание, заочными участниками которого были и мы, 217 зимовщиков дрейфующего каравана. Вместе с избирателями Сталинского округа Москвы мы голосовали своими аплодисментами за почетный президиум во главе с Иосифом Виссарионовичем. Вместе с ними мы слушали речи выступавших товарищей. Вместе с ними мы волновались, ожидая, будет ли говорить кандидат в депутаты.

И вдруг председатель собрания просто сказал:

— Слово предоставляется товарищу Сталину...

Мы всю ночь ждали этой минуты. И все-таки она наступила неожиданно для нас. Мы даже недоверчиво переглянулись. Неужели сейчас, через одну-две минуты, мы услышим Сталина?

Тем временем вахтенный, хотя все уже были давно на ногах, бегал по коридору и стучал в двери кают: никто не простил бы ему, если бы он забыл разбудить хотя одного заснувшего.

— Сталин!.. Сталин!.. — кричал он. Больше не было у него слов, но этим одним словом он выражал все, чем были полны в то мгновение наши умы и сердца.

Спящих не было. И когда умолкли овации, все 217 зимовщиков услышали негромкий, совсем не митинговый голос вождя. Казалось, он говорит совсем рядом, что он запросто, по-дружески беседует с нами, зимовщиками дрейфующего каравана.

«Товарищи, признаться я не имел намерения выступать. Но наш уважаемый Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил меня сюда, на собрание: скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать, какую именно речь? Все

что нужно было сказать перед выборами уже сказано и пересказано в речах наших руководящих товарищей...».

Люди переглядывались, подмигивая и кивая головами: сказано-то много, сказано-то хорошо, но весь народ ждал, кроме выступлений руководящих товарищей, именно это, отеческое, напутственное слово своего учителя.

«Конечно, можно было бы сказать эдакую легкую речь обо всем и ни о чем... Возможно, что такая речь позабыла бы публику. Говорят, что мастера по таким речам имеются не только там, в капиталистических странах, но и у нас, в советской стране...».

Из репродуктора донесся дружный смех, загремели аплодисменты. Послышался смех и в каютах «Садко»: знакомы и нам такие мастера!

А Сталин, одернув мимоходом пульт, уже переходил к существу намеченной им темы. Тепло поблагодарив избирателей за доверие, он подчеркнул, что это доверие налагает на кандидатов в депутаты новые дополнительные обязанности и, стало быть, новую дополнительную ответственность.

«Что же, у нас, у большевиков, не принято отказываться от ответственности, — продолжал он. — Я ее принимаю с охотой...».

И снова до нас донесся гром оваций, и чей-то звонкий голос выкрикнул из зала Большого театра:

— А мы все за товарищем Сталиным!..

Этот голос ясно и просто выразил то, что было в душе и у каждого из нас.

Но вот все утихло, и Сталин заговорил об особенностях выборов в Советской стране, о том, почему наши выборы являются действительно свободными и действительно демократическими во всем мире. С огромным вниманием слушали мы его советы избирателям. Каким должен быть депутат?

«Избиратели, народ должны требовать от своих депутатов, чтобы они оставались на высоте своих задач, чтобы они в своей работе не спускались

до уровня политических обывателей, чтобы они оставались на посту политических деятелей ленинского типа, чтобы они были такими же ясными и определенными деятелями, как Ленин...».

С непередаваемой теплотой, волнением и какой-то особенной суровой нежностью он произнес эти слова — «как Ленин». Овации еще раз потрясли эфир.

«...Чтобы они были такими же бесстрашными в бою и беспощадными к врагам народа, каким был Ленин...».

И снова — овации, и снова — сталинский голос.

«...Чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники, когда дело начинает осложняться и на горизонте вырисовывается какая-нибудь опасность, чтобы они были так же свободны от всякого подобия паники, как был свободен Ленин...».

В голове пронеслось: вот он, идеал героя нашей эпохи! Вот образ, который каждый из нас должен хранить в душе... А Сталин находил все новые вдохновенные и яркие черты для этого образа.

«...Чтобы они были так же мудры и неторопливы при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и минусов, каким был Ленин...».

Из репродуктора, почти не умолкая, неслись аплодисменты.

«...Чтобы они были так же правдивы и честны, каким был Ленин...».

Аплодисменты гремели, нарастая.

«...Чтобы они так же любили свой народ, как любил его Ленин...».

Теперь в эфире бушевала настоящая буря. — И как Сталин!.. И как Сталин! — кто-то воскликнул рядом.

Я взглянул на своих товарищей. Глаза у всех горели, лица улыбались. Все мы, вероятно, выглядели, как люди, получившие самый драгоценный подарок, о каком мечтали всю жизнь.

Кончилось собрание. Умолкли репродукторы. Но еще долго не расходились люди по своим каютам. Хотелось коллективно продумать мудрые сталинские слова и еще раз пережить замечатель-

ное ощущение самой тесной и непосредственной близости с вождем народа, который подсказал и нам, как должны мы вести себя в борьбе с жестокой стихией, чтобы не уронить, не запятнать высокое достоинство советского человека и гражданина.

Подшло памятное утро 12 декабря. И на этот раз вахтенному не пришлось пускать в ход затасканные пластинки охрипшего патефона и стучать в двери кают. Люди встали очень рано. Приоделись в лучшие костюмы, тщательно умылись. Многие даже побрились ради высокотожественного дня. В кают-компанин зажгли камелек. Больше того, по случаю выборов был пущен в ход небольшой аварийный двигатель, и на корабле вспыхнули электрические огни. Стало совсем празднично.

Ровно в 10 часов нас пригласили принять участие в голосовании. Один за другим мы подходили к столу избирательной комиссии, получали бюллетени и конверты, уходили в каюту Румке и возвращались оттуда с запечатанными конвертами, чтобы опустить их в урны. На лицах у людей можно было прочесть настоящее, хорошее волнение. И я испытывал в этот час какое-то особенное, приподнятое настроение: зачесали нас льды за 78-ю параллель, штурмуют наш караван, жмут, давят,—а мы не только не сдаемся, но вот вместе со всем народом делаем большое государственное дело...

А из кают-компанин уже доносились веселые, бодрые звуки музыки: самодеятельный концерт был в разгаре. С «Малыгина» прибыл на гастроль джаз-оркестр, сформированный тем самым капитаном дальнего плавания, который плыл из Тикси на родину и случайно зазимовал с нами, а теперь, чтобы не быть безработным, «переквалифицировался» в дирижера.

До поздней ночи шло праздничное веселье. Самого большого подъема наше торжество достигло, когда избирательная комиссия сообщила результаты голосования: голосовали 100 проц. избирателей, кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР получили 100 проц. всех голосов.

★

Снова потянулись трудовые будни. Надо сказать, что работой участники дрейфа нисколько не тяготились. Больше того, работу искали. Без нее было бы скучно. И вот, на кораблях одна за другой вспыхивали своеобразные трудовые кампании, охватывавшие поголовно весь коллектив. Это было нечто похожее на «шахматную гърязку», хорошо известную болельщикам этой игры, с той разницей, что наши увлечения требовали значительно большей затраты сил и энергии, чем размышления над шестьюдесятью четырьмя клетками.

Первым из таких увлечений был знаменитый в море Лаптевых «сезон ветрофикации». Как только погасли электрические огни и началась возня с керосиновыми коптилками, на ящиках у камельков, заменявших нам клубы, пошли дискуссии о строительстве ветродвигателей.

Никто из нас не имел представления о том, как такие двигатели изготавлиются. Воображение рисовало нам некое подобие ветряной мельницы. Но, как эта мельница должна дать свет, никто толком не представлял.

В Москву полетели по радио запосы. Началась долгая переписка. Нам присылали десятки советов, но выполнять эти советы было нелегко: их авторы забывали, что ближайший склад подходящих стройматериалов находился от нас в трех тысячах километров, а мастерские — и того дальше.

Создались самодеятельные строительные тресты, действовавшие в свободные от работы часы. Одни лишь садковцы организовали на паях три конкурировавших между собою фирмы под такими вывесками: «Бадигин и сыновья», «Ветросвет», работавший под руководством Токарева, и «Красный Матвей», возглавлявшийся известным читателю «Матвеем в кубе», нашим старшим механиком.

Фирма «Красный Матвей» была самым солидным предприятием: она монопольно владела всей «производственной базой», в том числе — токарным

станком машинного отделения, и имела право использовать рабочие часы трудового дня. Как и подобает серьезной фирме, трест «Красный Матвей» действовал неторопливо и с достоинством. Изготавливались модели ветродвигателя, проверялись расчеты, делались эскизы и схемы. Тем временем в твиндеках царил тьма. Поэтому самодеятельные конкуренты «Красного Матвея» спешили опередить его.

Первой закончила свою работу фирма «Бадигин и сыновья». В порядке самокритики должен теперь признаться, что наше детище было очень далеко от идеала. Ветряная мельница, с которой сражался Дон-Кихот Ламанчский, видимо, была бы чудом техники, если бы ее поставили рядом с нашим двигателем.

Сколоченные из досок крылья почему-то вращались с таким грохотом и скрипом, что на всех кораблях было слышно, когда наша фирма приступала к опытам, и садковцы вздрагивали, заслышав эту адскую музыку. Все это можно было бы терпеть, если бы нашей фирме удалось выжать из своего двигателя хоть одну электрическую искру. Но при всем желании этого достигнуть не удалось.

В один прекрасный день «Бадигин и сыновья» нашли на палубе вместо двигателя груды обломков. Официальная версия гласила, что он был уничтожен штормом. Злые же языки утверждали, что шторму помог капитан, у которого всякий раз, как только мы приступали к опытам, начиналась головная боль.

Планы фирмы «Ветросвет» также потерпели крах. И только трест «Красный Матвей» медленно, но верно довел дело до конца. Ветродвигатель системы Матвеева — хитрое и малопонятное сооружение из частей гидрологической лебедки, брусьев, парусины и приводных ремней — оживленно замахал крыльями, и корабль на несколько минут внезапно озарился электрическим светом. Но, к сожалению, даже этой фирме не удалось постичь тайну регулирования вольтажа. Поэтому при тихом ветре лампочки горели необыкновенно тускло, а при первом его порыве все

вольфрамовые нити моментально перегорали. Пользоваться двигателем по-настоящему можно было только при устойчивом ветре силой в 4—5 баллов, крайне редком в условиях Арктики. В остальное же время двигатель «Красный Матвей» использовался только для зарядки аккумуляторов радиостанции.

Увлечение ветряными мельницами вскоре уступило место новой затее, которая вызвала еще больший азарт.

Однажды матросы Лыткин и Капелов, страстные любители охоты, обнаружили на снегу характерные следы песцов, приходивших лакомиться отбросами с кораблей. Предприимчивые матросы раздобыли в трюме бездействовавшие капканы, вморозили их в лед, положили приваду — куски моржового жира — и засыпали все это снежком. Через несколько дней торжествующие охотники принесли на корабль трофей — небольшого зверька с пушистой белой шерстью.

Весть об удаче Лыткина и Капелова произвела сенсацию. Всем 217 зимовщикам вдруг захотелось привезти домой по шкурке песца. И какие шкурки — добытые собственными руками в дрейфующих льдах у 80-й параллели! Немедленно все звероловные капканы были извлечены из трюма и разделены между самостоятельными артелями охотников. После краха строительного треста «Бадигин и сыновья» я решил собственного предприятия не затевать и присоединиться к испытанной фирме «Лыткин и Капелов».

Нужно сказать, что условия работы в этих добровольных артелях были не из легких. Охота не входила в график корабельного дня. Единственное послабление, которое делалось новоиспеченным зверобоям, — это разрешение не посещать физкультурную зарядку. Справедливо считалось, что поход за зверем сам по себе дает солидную нагрузку мышцам. К 9 часам утра охотники были обязаны возвращаться на корабль. За опоздание накладывались взыскания.

Но после первых удач Лыткина и Капелова песцы не рисковали больше

приближаться к кораблям или старательно обходили ловушки. Поэтому с каждым днем приходилось уходить все дальше и дальше от кораблей. Наконец наша фирма «Лыткин и Капелов» начала уносить капканы за милю от «Садко».

Тот, кто зимовал в Арктике, знает, что значит пройти милю в полярную ночь по занесенному снегом льду. Обманчивые сумерки совершенно не дают теней. Ты идешь и вдруг, совершенно неожиданно, проваливаешься по грудь в какую-то яму — краев ее не видно. Вылезешь оттуда, делаешь шаг вперед и падаешь лицом в снег, — оказывается, перед тобой сугроб. Но неприятнее всего встретить на пути трещины, особенно если они запылены снегом. В таком случае рискуешь принять холодную ванну.

Хорошо запомнилась мне последняя охотничья прогулка, после которой я вышел из артели и отказался даже от получения приходившегося на мою долю пса.

Мы ушли рано утром, чтобы вернуться, как обычно, к 9 часам. Капканы стояли далеко от корабля, и времени нам должно было хватить в обрез на прогулку в оба конца. Итти было трудно: выпал глубокий снег и появились мелкие трещины. Мороз крепчал. Ноги зябли даже в валенках.

Кое-как добрались до капканов. Они были пусты: песцы стали в последнее время очень осторожными. Пришлось с порожними руками возвращаться обратно. Но на пути нас ждала неприятность: трещина, через которую мы час назад легко перепрыгнули, теперь разошлась, и на ее месте чернела широкая полоса чистой воды. Разводье тянулось на далекое расстояние. Все поиски переправы не привели ни к чему. Только в одном месте нам удалось найти разводье, затянутое совсем молодым льдом толщиной в два пальца.

Ждать, пока этот лед окрепнет, — долго. Других переправ нет. Что делать? Капелов — бывалый промышленник — махнул рукой и сказал:

— Поползли!

Он осторожно лег животом на моло-

дой ледок и пополз, подражая движениям тюленя. Лед под ним потрескивал и прогибался. Мне стало немного не по себе. Как-никак, под льдом метров 80 холодной воды. В такой мороз окунуться в нее и измерить глубину собственной персоной — дело не из приятных.

Но Капелов уже приближался к противоположной кромке, и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Старательно копируя его движения, я кое-как под аккомпанемент трескающегося льда перебрался через разводье и только здесь свободно вздохнул.

Когда мы уже подходили к кораблю, я услышал старческие вздохи и крик-тение. Приглядевшись, я увидел сидевшего в снегу повара.

— Алло, старина! Что вы здесь делаете?

Повар простонал:

— Помираю, Сергеевич. Конец мой приходит...

Мы подошли поближе, переваливая через сугроб. Старик тер нос снегом, плевался и ругался.

— Пропади вы все пропадом с вашими шкурками! Соблазн один от ваших капканов! Попался сам, старый дурень, хуже, чем в капкан. Как я теперь домой доберусь?..

Мы захохотали, и все недавние переживания как рукой сняло.

Оказывается, повар тоже решил добыть шкурку пса «дочке на воротник». И вот, выбившись из сил, он увяз в снегу и никак не мог добраться до корабля.

Кое-как мы втроем добрались до «Садко». Но с этого дня ни я, ни повар в охоте на песцов участия не принимали, как ни заманчиво было это ремесло.

Кстати сказать, скоро охота на песцов перестала давать результаты. То ли многочисленные звероловы распугали песцов, то ли сказалось все большее и большее удаление дрейфующего каравана от Ново-Сибирских островов, — но нашим охотникам удалось добыть всего 13 песцов. Львиная доля этой добычи пришла в долю неутомимых Лыткина и Капелова.

Песцы в ловушки больше не попадались. Зато к ним повадились ходить наши собаки, лакомые до моржового сала. Наш Нордик, превратившийся в большогодохматого пса, немецкая овчарка Дунька и лайка Машка, проживавшие на «Малыгине», — то-и-дело попадались в капкан. Зная, что за ними придут, они укладывались на снег и терпеливо ждали, пока злосчастный зверолов, кляня весь свет и чертыхаясь, освобождал их лапы из ловушки.

А однажды в капкан попала даже наша ручная медведица Машка. Обидевшись, она заревела так, что ее было слышно на несколько километров вокруг. Впрочем приключения этой медведицы заслуживают того, чтобы о них рассказать подробнее. Ведь ей мы обязаны многими веселыми минутами, скрашивавшими нашу монотонную и однообразную жизнь.

★

Выше я уже рассказывал, каким путем Машка попала на «Садко». После приключений, пережитых во время гибели шхуны «Хронометр», она быстро поправилась, растолстела и горячо привязалась к своим спасителям — садковцам.

Это был наредкость смысленный зверь. На корабле не было двери, которой Машка не могла бы открыть. Если перед ней была обычная ручка, она нажимала ее одной лапой, а другой ударяла в дверь, с шумом распахивая ее. Круглую ручку она захватывала обеими лапами и поворачивала, а затем наваливалась на дверь боком.

На всех гидрологических работах Машка была непременно ассистентом. Она усаживалась рядом с наблюдателем и с восхищением следила, как в воду опускается груз, как затем слышится барабан и разматывается тонкий блестящий трос.

Однажды вахтенные были приведены в отчаяние, узнав, что Машка в их отсутствие решила самостоятельно повторить опыт: она столкнула груз в прорубь, затем встала на задние лапы и толкала ручку лебедки до тех пор,

пока она не соскочила со стопора и не начала с шумом вращаться, опуская трос в воду.

После этого случая ручку лебедки начали прятать от Машки. Но иногда она ее находила и таскала по снегу.

Будучи зверем любопытным и общительным, Машка всюду сопутствовала садковцам. В дикий восторг приходила медведица во время физкультурной зарядки: она бегала вокруг нас и хватала за ноги приседающих спортсменов. Когда зарядка кончалась, Машка начинала шутя бороться с матросами, бегать с ними взапуски, играть в прятки.

Однажды она явилась на «Седов», забралась в каюту к заместителю начальника экспедиции Воробьеву, разсыпала коробку шоколадных конфет и с радостным урчаньем съела их, развалившись на мягкой койке хозяина каюты.

Еще во время плавания, до того, как мы остановились во льдах, довелось и мне несколько пострадать от этой лакомки. Сменившись с ночной вахты, я уселся закусить в кают-компанию. Вдруг рядом со мной кто-то бесцеремонно плюхнулся на стул. Я обернулся. Положив передние лапы на стол, Машка погрузила свою длинную морду в тарелку с киселем и, сердито кося глазом, в течение минуты вылакала все и вылизала до блеска.

У Машки были свои друзья и свои враги. Почему-то она не выносила женщин. Достаточно ей было увидеть юбку, и она со всех ног, рыча, бросалась вдогонку за испуганно вдрагивающей уборщицей или научной сотрудницей. Видимо, ей доставляло удовольствие пугать трусивших женщин.

Но и среди мужчин были люди, которых Машка терпеть не могла. При всем своем добродушии медведица была злопамятна, и тем, кто походя пихал ее сапогом или дразнил, она всячески мстила.

К числу таких недругов Машки принадлежал третий помощник капитана «Садко». Он боялся ее и все время требовал, чтобы медведицу убили. «Меня мучит предчувствие, что я погибну от медведя» — жаловался он каж-

дому. И при всяком удобном случае толкал и бил Машку.

И вот однажды, улучив удобную минуту, когда этот человек забрался в снежный домик делать очередные наблюдения, Машка подкралась к нему, всунула голову в двери и грозно зарычала. Шерсть ее поднялась дыбом.

Третий помощник истощным голосом завопил:

— Спасите! Загрызет!..

Положение его и в самом деле было критическое: перед ним стояла рослая облезлая медведица, а за спиной была прорубь с холодной водой. Третий помощник схватил ручку от лебедки и начал крутить ее перед собой, защищаясь от Машки. Но конец ручки угодил ему в глаз, и он совсем растерялся.

К счастью, с палубы на лед в этот момент соскочил здоровяк — водолаз Щелин. Он подошел к Машке, дал ей тумака в бок, и она отошла в сторону, недовольно и обиженно сопя.

С огромным интересом наблюдала Машка за подрывными работами на льду. Ее всегда очень забавлял бикфордов шнур, и она любила задевать его лапой. Машку всегда отгоняли в сторону. Но однажды она ускользнула от бдительных матросов и в два прыжка очутилась у скважины, в которой был заложен солидный заряд аммонала.

Спасать ее было уже поздно, — бикфордов шнур догорал. Она с любопытством понюхала, чихнула и сделала шаг в сторону, недовольно мотая головой. В это мгновение целый столб дыма, огня и ледяной пыли вырвался рядом с ней. Оглушенная и ослепленная, Машка галопом ринулась в сторону. После этого она более деликатно обращалась с бикфордовым шнуром.

Очень сложные взаимоотношения были у Машки с собаками. Пока продолжалось плавание, она спала в одной конуре с щенком Нордиком. Это были неразлучные друзья. Они вместе играли, ели, бегали по палубе. Когда же корабли остановились на зимовку, Нордик познакомился с собаками Дунькой и Машкой, плававшими на «Малыги-

не». Его неверное собачье сердце было пленено немецкой овчаркой и сибирской лайкой, и с этой поры он перестал обращать внимание на мохнатую белую подругу.

Машка недоумевала и все еще пыталась вовлечь Нордика в свои забавы. Она трепала его за уши, боролась с ним, бегала взапуски. Но при первой возможности Нордик убежал на «Малыгин» и возвращался оттуда только к вечеру. Малыгинские же собаки, впервые увидевшие Машку уже рослым зверем, инстинктивно ненавидели ее и всегда с ревом набрасывались на нее. В такие минуты Нордик забывал о своей былой привязанности и вместе с остальными псами атаковывал медведицу.

Добродушная Машка не понимала их поведения и тщетно старалась завоевать расположение собак. Когда же их укусы становились чувствительными, она садилась на снег и била собак передними лапами так, что они летели вверх ногами.

★

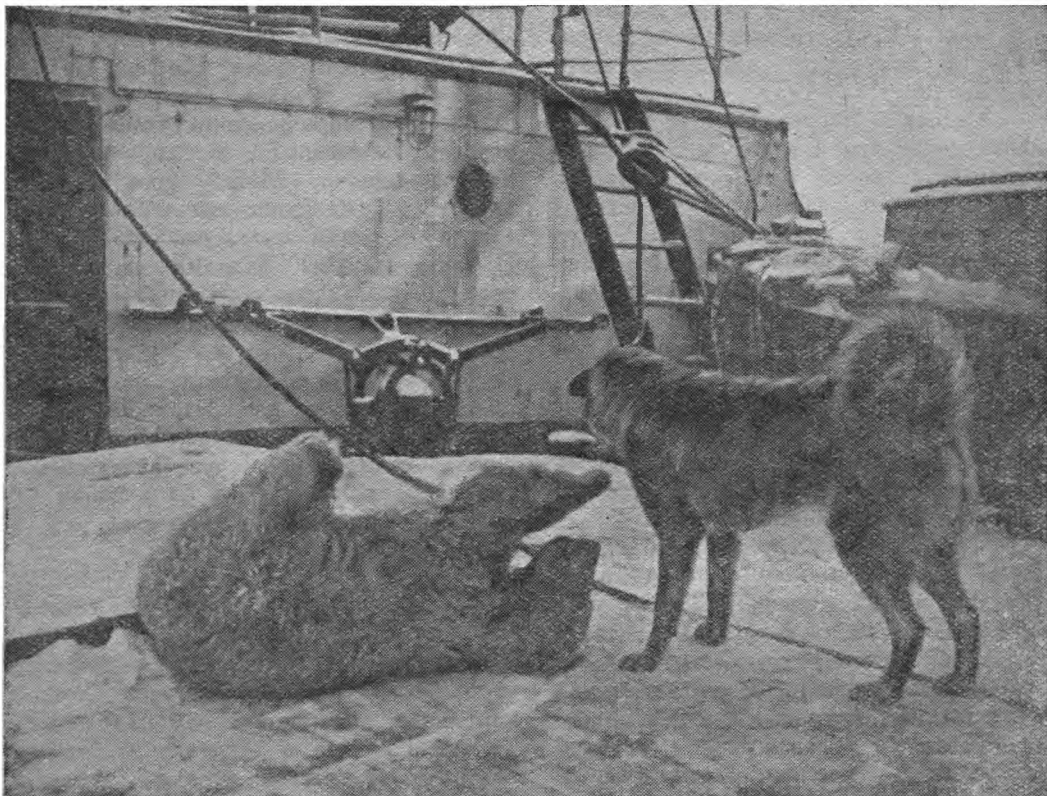
Приключения Машки служили неисчерпаемой темой для вечерних бесед у камельков, заменявших нам клубы. Надо сказать, что в Арктике любят поговорить. Я слышал, что весь богатейший фольклор поморов родился на зимовках, в чадных избах становищ, в ожидании, пока придет час выходить на промысел морского зверя. Если в коллективе отсутствуют склоки, смертельно отравляющие быт зимовок, — нет большего удовольствия, чем дружеский разговор у огонька.

Этот разговор может длиться часами, может тянуться из вечера в вечер, из месяца в месяц. У камелька гворят обо всем, начиная от причин, вызывающих полярное сияние, и кончая преимуществами вареного картофеля перед жареным. Писателю достаточно было бы посидеть месяц у огонька на зимовке, чтобы набрать на год сюжетов для замечательных рассказов.

В твиндеке «Садко» камелек, как я уже упоминал, стоял как-раз напротив

двери моей каюты. Рядом с ним лежал ящик, на котором могли усесться рядом два человека. Это место всегда было предметом всеобщей зависти, и счастливишки, первыми захватившие его,

люблю. Поэтому я часто оставлял дверь каюты открытой, забирался в свой спальный мешок, примерзший к матрасу, и прислушивался к тому, что делалось у камелька...



...Машка тщетно пытается вовлечь Нордика в свои забавы.

Фото Арктического института.

обычно оставались у огонька на весь вечер. Остальным приходилось довольствоваться меньшими удобствами: сидеть на корточках или стоять, выпрямившись в струнку, чтобы не мешать проходящим. Тот, кто пробирался поближе, удаивался самого большого наслаждения: он мог вынуть из кармана отсыревшие, разбухшие и промерзшие папиросы, разложить на горячем камельке и шевелить их пальцами, чтобы они лучше сохли. Эту процедуру старались растянуть как можно дольше, чтобы получше согреть руки.

Я сам не охотник рассказывать, но слушать рассказы бывалых людей

Вот из коридора доносится лязг железа и шорох угля, — вахтенный шурует в печурке. Скрипит ящик, люди придвигаются к огню. Закурили, — потянуло сыроватым дымком. Знакомый окаяющий голос северянина говорит:

— И вот сажаю я ее, проклятую, на хлеб, даю ей картошку. Жрет. Стало быть, приручил. Хожу за ней, как за малым дитем. Ласкается...

Рассказчик, кочегар, фанатически привязанный к лесному зверю, делает паузу и сокрушенно вздыхает:

— Ласкается. А одна прихожу — курятник разворочен, подкоп прорыт, все куры без голов, а от нее, подлой, и

следу нет, — хвостом замела. И досталось же мне тогда от матери!..

Раздается смех. Смущенный кочегар оправдывается:

— Так то лиса. А вот барсук у меня был, — барсук знаменитый...

И начинается длинная повесть о барсуке, которого кочегар дрессировал, как собаку.

В разговор вмешиваются охотники. Теперь уже идет разговор о разных случаях, которые приключаются на охоте. Больше всего любят говорить о чем-нибудь страшном и таинственном. Огромной популярностью пользуется рассказ о том, как с зимовавшей в Арктике «Искры» двое моряков ушли на охоту за медведями и не вернулись, а весной на льду нашли два человеческих черепа. Из уст в уста передается и другая охотничья история: двое охотников пошли опять-таки за медведями; один из них увидел зверя; и в тот самый момент, когда надо было стрелять, — охотник ослеп от блеска снега. Медведь подошел к нему вплотную...

— Тут бы ему и конец, — веско бацит рассказчик, — да его приятель — не будь дурак — всадил медведю в бок две пули. А самого охотника посадили на десять дней в темную комнату, он и прозрел...

Кто-то вспоминает подходящий пример из только-что прочитанной книги. Зашел разговор о «Фраме», о Нансене и его спутнике Иогансене, о том, как они блуждали по льдам. Отсюда разговор, как обычно, должен неизбежно перекинуться на перспективы дрейфа нашего каравана. Но привычное течение беседы внезапно нарушается меланхолическим возгласом:

— Лучше в жестком, говорит. Зачем на мягкий вагон деньги тратить? Они, говорят, в хозяйстве пригодятся. Вот это жена! А?..

Это наш магнитолог, — медлительный и равнодушный ко всему на свете, кроме денег, — начинает в сотый раз рассказывать о своем свадебном путешествии.

Как всегда, раздается дружный хохот. Но это не смущает магнитолога, и он снова и снова спокойно перечисляет

все блага своей счастливой семейной жизни и деловито советуется с окружающими: где удобнее построить дачу — в Петергофе или в Парголово?

— На мысе Желания, — кричит ему кто-то в ухо.

На этот раз магнитолог обижается и умолкает на весь вечер.

Уже пора спать. Я тихонько прикрываю дверь, и залезаю поглубже в спальный мешок. Сквозь сон я еще долго слышу голоса и смех, — у камельков продолжается бесконечная беседа.

★

Мирное течение нашей размеренной жизни нарушалось лишь непрошенным вмешательством природы, которая несколько не считалась с графиком трудового дня каравана. То-и-дело в самое различное время суток нас тревожили далекие гулкие раскаты, похожие на удары грома. Это лопались могучие ледяные поля. Потом удары учащались. Чувствовались тлочки. И вдруг из мрака выступал гигантский ледяной вал, тяжело перемещающийся от одного поля к другому, сокрушая все на своем пути.

Что такое ледяной вал? Приведу конкретный пример.

Ледяное поле, на котором была устроена дрейфующая станция «Северный полюс», имело толщину около 3 метров, а площадь его достигала 4 квадратных километров. Вес такого поля около 10 миллионов тонн.

Представим себе, что такое поле силой ветра или приливо-отливными течениями начало надвигаться на берег или на неподвижные льды. Понятно, что, нажимая на берег, такое мощное поле может взгромоздить льды на очень большую высоту. Однажды у Берингова пролива многолетнее ледяное поле, возвышавшееся над водой всего на несколько десятков сантиметров, при напоре на мелководье образовало нагромождение высотой до 15 метров над уровнем моря.

В открытом море движение таких полей вызывает торошение.

Зимой торошение всегда сопровождается гулом.

Вот как описывает Юлиус Пайер — начальник австровенгерской экспедиции 1872—1874 гг. на корабле «Тегетгоф» — зимнее торошение:

«На месте ровных полей выросли угрожающие горы. Из слабого стога возникли звон, треск и гул, переходившие в тысячеголосый злобный рев. Подобно бесчисленным полкам дьяволов, одетых в белое платье невинности, насмешливо вопило всё кругом...». «Кто не пережил этого, тот не поверит, как правдиво это сравнение», прибавляет Пайер.

Хорошо, если такой вал проходил в стороне от каравана. Если же он приближался к кораблям, надо было, не считаясь ни с пургой, ни с морозом, выбегать на лед, оттаскивать в сторону спущенные на случай аварии катера и шлюпки, сверлить лед и рвать его аммоналом, чтобы остановить наступление льдов. Такие авралы нам приходилось устраивать довольно часто. Мелководное море Лаптевых порой напоминало мне своеобразную ледовую мельницу, между тяжелыми жерновами которой лавировал наш караван.

Приведу здесь небольшую выдержку из судового журнала «Седова» чтобы дать хоть некоторое представление об этой стороне нашей жизни и работы:

«30 октября. 16 часов. Лед дал трещину в направлении с востока на запад, между судами «Седов», «Садко» и «Малыгин».

3 ноября. 1 час 35 минут. Наблюдалось сжатие льда в направлении с востока на запад. С 1 часу 45 минут до утра происходит непрерывное сжатие льда. 21 час. Наблюдались разводья. Судно свободно от льда.

5 ноября. 0 часов. Слабое сжатие льда. 20 часов. Сжатие льда.

8 ноября. 22 часа. Происходит большая подвижка льда. Весь пароход свободно находится в майне чистой воды, на плаву. 24 часа. Часть команды ледокола «Малыгин» прибыла на «Седов», возвращаясь с вечера самодеятельности на «Садко». На «Малыгин»

невозможно пройти, вследствие разводья.

9 ноября. 10 часов 45 минут. Началось, слабое сжатие. Сжатие продолжается весь день.

10 ноября. Сильное сжатие льдов.

17 ноября. 22 часа 30 минут. Слабое сжатие льда.

21 ноября. Периодические сжатия льдов.

22 ноября. Сжатие.

23 ноября. Движение льда.

25 ноября В 7 часов 30 минут побудка всей команды вне расписания для борьбы с наступающим на корабль льдом. Весь день производим околку корпуса судна и взрываем лед аммоналом.

26 ноября. 20 часов. Краткосрочная подвижка льда.

27 ноября. Сжатие.

28 ноября. Произвели взрыв льда по правому борту параллельно судну, чтобы остановить наступление льда.

29 ноября. Произвели новый взрыв льда по правому борту, чтобы остановить наступление льда.

4 декабря. 16 часов 30 минут. Разводит лед у судна по левому борту.

5 декабря. С 17 до 22 часов незначительное сжатие льда.

19 декабря. Производится взрыв льда аммоналом по левому борту.

24 декабря. 6 часов 30 минут. Большое разводье во льду с левого борта, в направлении с севера на юг. 10 часов 10 минут. Происходит сжатие льда.

25 декабря. Образуются значительные разводья.

30 декабря. Периодические подвижки льда.

31 декабря. С 16 до 17 часов 30 минут происходило сжатие льдов. Вызвана команда и экспедиционный состав для оттаскивания катеров дальше от наступающих торосов».

Но все это было лишь скромным прологом к страшному и грозному испытанию, которое Арктика исподволь готовила для нас.

Началось оно в новогоднюю ночь, и

ни одна встреча Нового года за всю мою жизнь не врезалась в память так резко и отчетливо, как эта.

К празднованию нового, 1938 года мы готовились заблаговременно. Хотелось провести эту ночь в тесном дружеском кругу, повеселиться, вспомнить о наших близких, празднующих Новый год вдалеке от вечных льдов, — одним словом, хоть на несколько часов забыть о том, что творится по ту сторону тонкой металлической стенки корабля.

В глубокой тайне от всех изобретательные научные сотрудницы Елтышева и Пергамент мастерили подарки каждому участнику праздника. В кубрике изготовлялся самый сложный предмет, необходимый для ритуала повсегодного празднества, — елка. Ближайший колхозный рынок, где мы могли бы приобрести этот драгоценный предмет, находился в 2 000 километрах от нас. Поэтому пришлось мастерить его кустарным способом.

Ствол елки сделали из старого весла. В нем просверлили отверстия, куда вставляли прутья от метел, выкрашенные зеленою.

Несколько дней работал «цех елочных украшений». Профессора и их ассистенты выудили из моря актиний, гигантских морских тараканов и ежей, морских лилий. Все это было высушено, покрыто золотой и серебряной краской и водружено на елку. На самую вершину поместили великолепную морскую звезду, пойманную еще в Карском море. Из этикеток от консервных банок наделали флажков. Механики приготовили елочные свечи. Одним словом, елка получилась хоть куда.

31 декабря мы были на широте $78^{\circ} 20'$ и долготе $141^{\circ} 43'$. Вечером у дверей кают-компании столпились все садковцы, расфранченные настолько, насколько это возможно в ледовом дрейфе.

Нас долго не пускали. Наконец улыбающиеся женщины распахнули двери, грянула музыка, послышались шутки, зазвенел смех, и стало так весело, как давно уже не было на корабле.

Рядом с столовым прибором у каждого лежал остроумный подарок. Лов-

ко сделанные из тонкой проволоки дружеские шаржи, веселые карикатуры и прочие сувениры переходили из рук в руки под дружный хохот собравшихся.

Капитан получил целую скульптурную группу, в которой без труда узнал самого себя, восседающего на грудугля с бутылкой керосина в руках, — недвусмысленный намек на его чрезмерную бережливость. Румке приподнесли гигантского морского таракана, тянувшего огромный воз дел корабельной канцелярии. Магнитолог получил модель дачи, о которой он мечтал у камелька. Любителям пива были вручены игрушечные бутылки. Одним словом, никто не остался в обиде.

За прекрасно сервированным столом у всех быстро развязались языки. Читали стихи, написанные в честь высокогоржественного дня. Под губную гармошку, на которой играл профессор Жонголович, двое научных сотрудников исполняли частушки.

Прибыл на вторую гастроль джаз малыгинцев. Капитан дальнего плавания лихо дирижировал своим оркестром, а один из научных сотрудников экспедиции под аккомпанемент джаза пел песенки из кинофильмов.

Всеобщее веселье как-то затронуло даже одного из самых важничающих и надутых научных работников, который неожиданно запел дребезжащим голоском:

Не для меня придет весна,
Не для меня в тиши ночей
Зальется песней соловей...

Я вышел из кают-компании и направился в радиорубку спросить, нет ли телеграмм из дому. Дежурный радист протянул мне пачку радиограмм. Родные, друзья и знакомые слали хорошие пожелания, передавали задушевные, полузабытые нами в этой суровой жизни слова. Немного взгрустнулось. Возвращаться в кают-компанию не хотелось, да и как-то неловко было покидать радиста, встречавшего Новый год в одиночестве. Мы разговорились и так незаметно провели часа два.

Вдруг дверь с треском распахнулась. «Уж не Машка ли?» — мелькнуло в голове. Я обернулся. Нет, это была не Машка, а ее ненавистник. Всклопоченный и красный от напряжения, 3-й помощник крикнул мне:

— Да где же вы пропадаете? Все тут с ног сбились. Вы назначены руководителем аварийной бригады в помощь «Седову». Там у них такое делается...

И он, не договорив, исчез. Я попросился с радистом, затянул ватник потуже и бросился на палубу. Ветер, донимавший нас все эти дни, утих. С черного, аспидного неба валил мягкий снег, бесшумно укрывавший пухлым покровом льды и корабли. Сквозь густые хлопья снега были видны какие-то красные кляксы, — это суетились вокруг «Седова» факельщики. Оттуда доносился яростный гул. Со всех кораблей к «Седову» торопились люди, переключаясь впотьмах.

— Вот тебе и праздник...

Когда я добежал до «Седова», сжатие льдов достигло критической точки. Гигантский вал ломал метровые плиты льда, словно куски мела. В течение нескольких минут он измял огромное поле, сплющивая и растирая в пыль многолетние торосы. Точно пресытившийся зверь, он с ленивым глухим ворчанием подползал к самой корме «Седова».

Большой ледакольный пароход казался беспомощной игрушкой рядом с этим злым детищем арктической ночи. Слово мухи, ползали по льду подрывники, пытались остановить неотвратимое движение огромного вала высотой около 7 метров.

На палубе корабля было заметно необычное оживление. Люди готовили аварийные грузы к спуску на лед. Садковцы и малыгинцы помогали морякам «Седова» оттащить в сторону от наступающих торосов катера и баркасы, стоявшие на льду.

Мы цепляли за них трос длиной метров сто, люди разом хватались и под звуки «Дубинушки» тащили катера подальше от грозного вала. А с этого вала на нас уже сыпались со сте-

клянным звоном обломки голубого льда, сверкающие в отсветах факелов.

Над морем стоял адский шум. Поля льда с грохотом трескались, их обломки переворачивались и со свистом и шипением лезли друг на друга. Порой раздавались громкие трели, похожие на пулеметную очередь. Потом гремела канонада, словно где-то рядом падали батареи дальнобойных орудий. И вдруг в наступившей тишине опять раздавался тонкий свист вползающих друг на друга ледяных плит.

У «Седова» было очень мало шансов на спасение. Если бы этот грозный ледяной вал продвинулся еще на два метра вперед, от его кормы осталась бы гряда измятого железа. Но по счастливой случайности четырехметровая гряда торосов, завалив рулевое управление, остановилась, словно в раздумье, — губить или не губить корабль. На этом сжатие окончилось.

Всю ночь мы не спали, ожидая каких-нибудь новых неприятностей. И действительно, наутро все началось сызнова. Новый год начинался самым сильным сжатием льдов, какое мы когда-либо испытывали.

Вот как описывает дальнейшие события вахтенный журнал «Седова», больше всех кораблей страдавшего от сжатий:

«1 января. С 4 часов до 6 часов 30 минут происходит сжатие льда. Вызвана команда и экспедиционный состав для оттачивания шлюпок от наступающего тороса в сторону. С 16 часов до 17 часов ввиду происходящего сильного сжатия команды «Малыгина» и «Седова» и экспедиционный состав оттачивали плувучие средства «Седова» от торосающегося льда. Торосится лед толщиной до 1 метра. 18 часов. Происходило сильное сжатие. Гряда торосающегося льда подошла к борту судна и, упираясь в подзор, выжала сверху корму.

2 января. Начало разводить лед. Периодическое сжатие небольшой силы. 17 часов. Вызваны на лед студенты и свободные люди из команды для проби-

тия лунок под взрывы. Пробито 15 лунок.

4 января. 0 час. 50 мин. Произошло сжатие льда. При сжатии лед уходил с левого борта под корпус судна. С правого борта подвижки замечено не было. По распоряжению капитана, производится взрыв аммонала по правому борту судна. 13 час. 30 мин. Силами студентов пробивали лунки для взрывов льда с правого борта.

6 января. 0 часов. По правому борту образовалось разводье шириной около 150 метров. Ветер усилился до 8 баллов. В 4 часа разводье сошлось.

8 января. 9 час. 30 мин. Подвижка льда. Северо-западный ветер — 8 баллов, мороз 32 градуса. 16 часов. По правому борту появилось разводье шириной до 300 метров.

12 января. Периодические подвижки льда.

18 января. 2 часа. По правому борту и прямо по форштевню лед дал трещины и разводья. 2 часа 30 мин. Разводья у борта свело. Началось сильное сжатие. Лед двигается к правому борту, упирается прямо в борт и ломается. Толщина наступающего льда в среднем 1,5—2 метра. 3 часа 27 минут. Проверяли состояние борта в трюмах и машине. Повреждений корпуса, видимо, нет. Течи не обнаружено. 5 час. 35 мин. Пробили в колокол тревогу по аварийному расписанию. 5 час. 45 мин. Команда и экспедиционный состав разошлись, согласно расписанию. 6 час. 55 мин. Дали отбой по тревоге. Сжатие прекратилось. В трюмах воды не обнаружено. 9 часов. Происходит сжатие. 10 часов. В машинном отделении обнаружен погнутый айс-бимс¹. Приступили к его креплению. 10 часов 30 минут. Команда и экспедиционный состав, а также команда парохода «Малыгин» вызваны на лед для спасения катеров и карбасов.

19 января. 16 часов. Напор льда на правый борт. 18 часов. Сжатие льда с правого борта. Производится взрыв льда.

20 января. Периодическое сжатие. 24 января. 15 час. Началось сжатие. 18 час. Начало разводить лед с правого борта. 24 часа. По правому борту большое разводье шириной около 150 метров.

25 января. Сжатие льда.

28 января. 11 час. На месте стоянки карбасов и катера «Петушок» образовались трещины. Объявлен аврал по спасанию пловучих средств».

...Таков был первый месяц нового года. Достаточно вдуматься в эти скупые, лаконичные и, быть может, скучные строки вахтенного журнала, чтобы понять, сколько сил и энергии отняли у нас все эти авралы.

Де Лонг записал однажды в своем дневнике:

«Зимовка в паке представляется увлекательной, когда о ней читают у горящего каминя у себя дома, но пережить ее в действительности очень тяжело, и она может преждевременно состарить человека».

Мы не собирались преждевременно стариться и потому как следует держали себя в руках, не давая нервам распускаться. Но было бы непростительным хвастовством, если бы я сказал, что эта зимовка дешево нам далась. Мы с огромным нетерпением ждали появления солнца, вслед за которым на нашем горизонте должны были появиться вестники Москвы — могучие краснокрылые птицы с письмами от родных и близких, с запасами продовольствия и теплой одежды.

Авиационная экспедиция к дрейфующему каравану уже готовилась к вылету.

САМОЛЕТЫ НАХОДЯТ КАРАВАН

Едва на востоке забрезжила сероватая полоска рассвета, на кораблях заговорили о строительстве аэродромов. Хотя среди нас не было ни одного пилота, все прекрасно понимали, насколько серьезна задача — принять среди торосистых дрейфующих льдов тяжелые многомоторные корабли.

¹ Поперечное крепление, предохраняющее корпус судна от сжатия льдов.

Зимние ветры унесли нас более чем за 1 000 километров от берегов земли. Чтобы представить себе трудность такого дальнего воздушного рейса к дрейфующему каравану, следует вспомнить, что самолеты, опустившиеся на Северном полюсе, должны были покрыть сравнительно меньшее расстояние: остров Рудольфа находится в 900 километрах от полюса. Кроме того, экспедиция Водопьянова могла свободно выбирать ледяное поле для посадки. Здесь же самолеты должны были во что бы то ни стало сесть рядом с кораблями: среди зимовщиков были больные, а одна из женщин находилась на последнем месяце беременности. Им было бы трудно итти к самолетам даже несколько километров.

Летчики впоследствии рассказывали нам, что в районе полюса они встретили несколько совершенно гладких ледяных полей, каждое из которых было прекрасным естественным аэродромом. Над оборудованием этих посадочных площадок в течение ряда лет трудились солнце и ветер, сглаживавшие все бугры и неровности. Мы же только-что вырвались из адской ледяной мельницы, именуемой морем Лаптевых, и весь лед вокруг нас стоял дыбом.

Для того чтобы превратить этот ледовый хаос в гладкое поле, нужно было затратить много сил и времени. Поэтому нас удивляла беззаботность руководителей управления полярной авиацией, которые упорно отмалчивались и не сообщали нам, что же мы должны предпринять и как надо строить аэродромы.

Только в конце декабря в ответ на целый ряд запросов прибыла лаконичная телеграмма начальника управления примерно следующего содержания: «Приготовьте аэродром. Размеры: километр ширину, километр длину». Мы ахнули. Тот, кто хоть один раз видел дрейфующие льды, поймет наше состояние: найти сколько-нибудь подходящее поле таких размеров в этом секторе Арктики просто немислимо.

Много времени спустя мы узнали, что автором этой телеграммы был бывший управдел, не представлявший себе ни

состояния дрейфующих льдов, ни потребностей полярных летчиков в посадочных площадках. В действительности требовалось оборудовать аэродром шириной в 100 метров и длиной в 1 километр. К сожалению, таких анекдотов в практике тогдашнего руководства Главсевморпути было немало.

Сама экспедиция готовилась кое-как, спустя рукава. И весьма вероятно, что она закончилась бы довольно печально, если бы в подготовку не вмешались руководители партии и правительства. Вмешательство товарища Сталина и его ближайших соратников решило судьбу сотен человеческих жизней. Произошло это, как мы потом узнали, так.

Когда подготовка к воздушной экспедиции считалась уже законченной, выяснилось, как это ни странно, что... никаких средств на нее не отпущено. Тогда руководители Главсевморпути обратились в Совнарком с просьбой отпустить деньги.

Через несколько дней руководителей Главсевморпути вызвали в Кремль. В зале заседаний их встретили товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Микоян.

Товарищ Сталин возмущался тем, что Центральный Комитет партии и правительство не были поставлены в известность о положении в Арктике. Он говорил:

— Как же это так? Заморозили суда и никому ничего об этом не сказали. Готовили спасательную экспедицию, и никто об этом ничего не знал, пока не понадобились деньги. Разве так поступают? Ведь это же донкихотство, партизанщина!

Обсудив положение дрейфующих судов, правительство решило, что экспедицию послать нужно. И здесь же началось деловое обсуждение всех деталей предстоящего полета.

Командир звена тяжелых кораблей, участник экспедиции на Северный полюс—Герой Советского Союза А. Алексеев рассказал о своих планах. Товарищ Сталин, выслушав его, внес целый ряд очень ценных предложений, направленных к тому, чтобы свести к минимуму неизбежный в таком большом деле риск. В частности, он рекомендо-

вал послать не только те самолеты, которые должны будут производить операции, но и резервные машины, которые в случае нужды смогут оказать помощь самолетам первой линии. Товарищ Сталин подверг детальной критике все недостатки подготовки к экспедиции, останавливаясь даже на таких деталях, как снабжение самолетов маслом.

Летчикам был задан ряд вопросов о техническом оснащении самолетов, о запасных частях, о том, как оборудованы самолеты на случай вынужденной посадки.

В беседе активно участвовали товарищи Молотов и Ворошилов. Они подробно расспрашивали полярных пилотов о качестве моторов на самолетах, уходящих в дальний арктический рейс.

Товарищ Сталин в заключение указал, что в таком большом деле мелкая экономия неуместна, ибо она может привести к большим потерям. В таком случае экономия становится вредной.

Полтора часа продолжалось обсуждение плана летной экспедиции к нашему дрейфующему каравану. Когда все неотложные вопросы были решены, товарищ Сталин пожелал пилотам счастливого пути, крепко пожал им руки и сказал, обращаясь к товарищам Молотову, Ворошилову и Микояну:

— Дело правильное. Пусть летят. А выполнить дело — вопрос чести...

Эта знаменательная беседа произошла 23 февраля 1938 года. После нее подготовка к полету развернулась по-настоящему, и уже через несколько дней четырехмоторные самолеты «Н-170», «Н-171» и «Н-172», под управлением Героев Советского Союза Алексеева и Головина и полярного летчика Орлова, поднялись с Московского аэродрома и взяли курс на норд-ост.

В это время за 9 000 километров от столицы в дрейфующих льдах маленький коллектив нашего каравана вел уже титаническую борьбу с торосами, отвоевывая у них с боем каждую пядь поверхности. Строились аэродромы...

Когда сейчас я перелистываю свои пропахшие сыростью, закопченные, испрепанные дневники, у меня порою воз-

никает какое-то удивительное ощущение: да полно, неужели все это было сделано нами, горсточкой людей, утомленных суровой зимовкой, непрерывными атаками льдов, испытывавших на себе нужду и холод? Только теперь, когда время отдалило от нас эти томительные дни, в полном объеме представляешь и постигаешь силу коллективного труда.

Я ни на минуту не сомневаюсь в том, что без дружной и сплоченной работы мы были бы обречены на такую же трагическую гибель, какой погибали десятки экспедиций прошлого, в которых не было этого живительного духа единства и идейного родства.

Мне не хочется пересказывать историю строительства аэродромов и украшать записи, сделанные в дневнике, словесным убранством. Пусть эти строки сохраняются во всей своей непосредственности, как одно из правдивых свидетельств пережитого.

«30 я н в а р'я 1938 г. Выходной день. 30 градусов мороза. На востоке начало немного светлеть. Небо серое, безрадостное. Звезды потускнели, словно их закрыли густой грязной марлей. Сегодня командование зимовки назначило меня начальником строительства аэродромов. Мне поручают трудное и ответственное дело. Если мы хотим принять самолеты, надо, не дожидаясь появления солнца, начать поиски и расчистку посадочных площадок. Придется сразу готовить несколько аэродромов: один основной, а другие запасные. Нас так жмет, что того и гляди от аэродрома останется одно воспоминание.

31 я н в а р'я. Сегодня ходил вдвоем с Капеловым на разведку. Ходили целый день, ничего хорошего не нашли. Расскажу все по порядку.

Сначала пошли на восток от «Садко». Думали, что там, как в прошлом году, лед немного спокойнее. Взяли с собой лыжи. Но через сотню шагов лыжи пришлось снять и с тех пор до самого конца таскали их на себе: мы не столько шли, сколько карабкались с одного тороса на другой. С нами увязался Нордик. Только его собачье самозабвение помешало ему вернуться на корабль:

к концу прогулки он весь обледенел и от него шел пар, как от паровоза. Можно представить себе, как выглядели мы со стороны!

Снег лежит слоем в полметра. Под ним — битые торосы. Ставишь ногу и не знаешь — то ли попадешь в трещину, то ли стукнешься об острую грань.

До этой прогулки я не представлял себе, что наделали сжатия за зиму. Там, где мы осенью видели более или менее ровные поля, теперь шли в самых различных направлениях многометровые гряды торосов, как складки кожи у бегемота, с той разницей, что тут складки острые и твердые.

В одном месте наткнулись на гигантский ропак высотой в семь метров. Он образовался от столкновения ледяных полей, — два поля ударились лбами, и вырос как бы карточный домик, а между ними вертикально встала огромная льдина. Между сцепившимися глыбами зияли синие пустоты.

В другом месте увидели стоящую совершенно вертикально ледяную стену. Начертили на ней круг, сделали в центре «яблочко» и попробовали на этой импровизированной мишени меткость боя своих карабинов. Оказалось, что лед дьявольски тверд: свинцовые пули расплющивались, оставляя едва заметные углубления. Немного взгрустнулось: каково будет орудовать здесь нашими железными ломами и пешнями?

Перебираясь с грехом пополам через гряды торосов, ушли за три мили от «Садко». Иногда, опускаясь в лощины между этими ледяными хребтами, теряли из виду караван. Но вскарабкаешься на ропак, увидишь в сумерках силуэты кораблей, — и сразу отогреется душа.

Дальше на восток идти как будто бы не было смысла. Ничего подходящего мы не видели. Отправились на юг. Но и здесь повсюду одно и то же: четырехметровые, пятиметровые гряды битого и смерзшегося льда тянулись до самого горизонта. Очень тяжело переходить через них: сначала надо вскарабкаться наверх, словно на двухэтажный дом, а потом лезть по кускам битого льда метров пятьдесят, пока не пересечешь гряду.

Через пять часов вернулись ни с чем. Нет, надо перестать кустарничать. Пора организовать массовую разведку во всех направлениях. Тогда что-нибудь отыщем.

1 февраля. Сегодня организовали разведочные партии. Команды с «Садко» ищут аэродромы в южной половине, седовцы — в северо-восточной четверти, малыгинцы — в северо-западной четверти горизонта. Отдал распоряжение, чтобы каждая партия была снабжена биноклем, компасом, баграми, винтовками, небольшим запасом продовольствия и флагами для разметки найденных полей.

2 февраля. Количество разведочных партий увеличено. Пока ничего не нашли.

3 февраля. Ищем. Ничего не нашли.

4 февраля. Ура! Строительство аэродрома № 1 начато. На юге от «Садко» всего в полутора километрах найдена относительно ровная площадка длиной до 700 метров и шириной 400 метров. Это старая, выдавшая виды льдина, окруженная обтаявшими за прошлое лето небольшими ропаками. Ропак мы уберем, и получится великолепное летное поле, шириной и длиной по километру.

На аэродром командировано с «Садко» сорок человек — четыре бригады, скомплектованных из моряков и научных работников. К сожалению, ощущается острый недостаток в здоровых людях. Медицинский осмотр показал, что в Арктику, вопреки закону, брали больных и слабосильных. Сейчас мы должны расплачиваться за это попустительством...

5 февраля. Работы продолжают. Первый опыт показал, что действовать на тридцатиградусном морозе ломом и пешней — это все равно, что колоть булавкой слона. Надо пустить в ход аммонал...

На аэродроме построили вместительный снежный дом, в котором могут обогреваться сразу человек 20. В снежном доме установили кафелек и примус, на котором кипятят кофе. Каждому строителю розданы бутерброды. Чтобы они

не превратились на морозе в камень, приходится их греть за пазухой.

Больше всего донимает ветер. В соединении с морозом это пренеприятная вещь! Единственный участник строительства, несколько не страдающий от холода, это наша медведица Машка. Она проявляет огромный интерес к расчистке аэродрома, ежедневно являясь сюда вслед за нами и не уходит до тех пор, пока не уйдут все.

6 февраля. Сенсационная находка. Седовцы наконец отыскали на востоке новое ледяное поле. Правда, оно довольно далеко, — в четырех километрах от «Седова». Но какое великолепное поле! Его длина — 900 метров, а ширина — 800. Почти столько, сколько от нас требуется. Зато поле очень трудоемкое: много больших ропаков, с которыми придется повозиться.

7 февраля. Начали работы на аэродроме № 2. Туда проложена длинная и извилистая дорога, — вроде деревенского проселка. Работают там восемь бригад — 40 человек с «Седова» и 40 человек с «Малыгина». Теперь начинаем соревнование между строительствами: чей аэродром будет готов раньше? Соревнуются и отдельные бригады.

Седовцы и малыгинцы тоже построили снежные дома. Теперь каждый корабль имеет свой ледяной хутор с полным оборудованием: камелек, примус и прочее.

15 февраля. Несколько дней не записывал ни строки. Очень много работы. За день так набегашься, что засыпаешь потом на ходу. С утра иду на аэродром № 2. Оттуда, чтобы легче идти, делаю крюк по проторенной дороге к «Седову». Дальше лезу целиной на аэродром № 1 и оттуда возвращаюсь на «Садко». В общей сложности это — 12 километров. После такой прогулки нет никакого влечения к литературному труду.

Но сегодня нельзя не писать. Сегодня у нас великий праздник: из-за горизонта выглянул на полтора часа верхний край солнца. Багровое, измятое, оно посмотрело на нас, прищурившись, словно любопытствуя: а что здесь делают эти козявки?

Я был на аэродроме в тот момент, когда искаженный рефракцией край солнца показался над горизонтом. Что делалось в эту минуту! Люди, как дети, запрыгали, закричали, полезли на ропак, чтобы лучше разглядеть светило, по которому мы так соскучились.

Скорее, скорее выходи к нам, солнце! Помоги нам хоть немного. Эти неподатливые торосы замучили нас. Даже аммонал их почти не берет.

Сейчас вышел и посмотрел на термометр. Опять минус 32 градуса. А седовцы не смогли попасть на свой аэродром, так как внезапно открылось большое разводье. Льды сильнее мороза. Он бессилен скватать их...

17 февраля. Ветер и мороз. Мороз и ветер. Если бы знали в Москве, каких усилий стоит нам каждый кубометр льда, который мы снимаем с аэродрома! Изю дня в день одно и то же: в десятом часу, едва посветлеет небо, уходят на юг и на восток партии одетых в ватники, закутанных в шарфы людей, а через полчаса уже звенят ломы и пещни, гулко ухают взрывы, и, словно муравьи, ползают по льду с саночками строители, растаскивая разрушенный на части торос. Проходит час, другой, третий. Торос исчезает. Еще один торос. А сколько их вокруг нас и сколько еще наворочает новых капризное море?

Я стал тревожно спать. Мне все время чудится грохот и стон сжатий. И когда утром мы выходим на палубу и видим в стороне аэродрома пар, клубящийся над новыми разводьями, невольно сжимается сердце: что если эта трещина пересекла аэродром? Нет, лучше не думать об этом.

19 февраля. Вот настоящий день большой радости. Сегодня радисты приняли сообщение о том, что Папанин и его три друга сняты с дрейфующей льдины. Все эти дни мы очень тревожились за их судьбу. Они попали в ледовую мясорубку почище нашей. Только бы нам не довелось переключиться в Гренландское море!..

Но теперь все уже в порядке. Папанинцы — на борту ледокольных кораблей, и никакие сжатия им не страшны. Скоро их встретит «Ермак», а там — бе-

рег, Москва, встречи с родными и близкими.

Когда-то придет наш черед вступить на сухую и теплую землю? Честно говоря, я очень по ней соскучился. Вот прилетят к нам самолеты, начнут снимать людей... Быть может, и на мою долю выпадет этот жребий? Нет, надо гнать прочь такие мысли. Я молод и здоров. Пусть увозят стариков, — стариков если не по возрасту, то по духу. А мы уж как-нибудь продержимся на кораблях до тех пор, пока нас не вызволят ледоколы...

23 февраля. День Красной Армии и Военно-Морского Флота. Корабли расцветились флагами. Провели торжественное собрание. Гулять не хочется: мороз минус 42 градуса, ветер.

25 февраля. Природа словно взбесилась. День прибывает, а морозы становятся все крепче. Вчера и сегодня ртуть упорно держится на одном и том же уровне: 42 градуса ниже нуля. Свиристствует пурга. Работы на аэродромах пришлось прекратить.

26 февраля. Работаем. Трудовой день пришлось удлинить до 8 часов, иначе не успеем закончить строительство аэродромов. Чертовски холодно.

27 февраля. Из Москвы сообщили, что самолеты к нам уже вылетели. Работы на аэродроме № 2, самом обширном и удобном, заканчиваются. Сегодня две бригады отсюда перевели на аэродром № 1 в помощь садковцам. Командант аэродрома № 2 подсчитал, сколько усилий мы затратили на расчистку этого летного поля. Получилась солидная цифра: 1 324 человеко-дня. На подрывные работы израсходовано 1 195 кило аммонала и 890 детонаторов. Зато аэродром получился первоклассный.

6 марта. И вот, наш первоклассный аэродром уже не существует...

Больше того, фактически перестал существовать и второй, садковский, аэродром.

Честное слово, от этого можно сойти с ума! Месяц работы, — и какой работы! — месяц напряженнейшей борьбы, месяц страданий и лишений, — и все впустую, для того, чтобы море, слегка

шевельнув плечом, сбросило и разбило в пыль эти детские игрушки.

Расскажу по порядку.

1 марта, на другой же день после окончания строительства аэродрома № 2, ко мне прибежал бледный, как мел, комендант и сказал только одно слово:

— Поломало...

Я помчался во весь дух к аэродрому. Навстречу мне вставало дымящееся облако пара — зловеющий спутник разведий. Аэродром являл собою жалкую картину: глубокие трещины рассекли северную часть расчищенного поля, составлявшую площадку примерно в 200 метров длиной. Все, что было по ту сторону трещины, за одну ночь превратилось в ледяную кашу из мелких и мельчайших обломков.

Мы решили выждать, пока разведье замерзнет, чтобы потом возобновить расчистку поля. Как-никак у нас оставался еще солидный кусок гладкой поверхности длиной в несколько сот метров. Тем временем все 12 бригад были переброшены на аэродром № 1, который теперь становился основным.

Пять дней работали мы без-устали. Наконец вчера аэродром был готов. Много трудодней вложили мы в него. Самолеты могли садиться на это поле хоть сегодня.

И вот, этой ночью опять все было перевернуто вверх тормашками. Сжатие орончатально привело в негодность аэродром № 2 и исковеркало аэродром № 1. Словно какой-то злой дух издевается над нами. Едва мы кончаем аэродром, — он превращается в грудку битого льда.

Впрочем аэродром № 1 еще можно спасти. Правда, его сильно помяло, а поперек прошла трещина, вдоль которой навалило гряду торосов вышиной в 5 метров и шириной метров 30. Но ведь мы можем снять эту гряду. Самое главное, не падать духом и не теряться. Завтра же все 120 ледовых строителей выйдут снова на аэродром № 1. А разведчики тем временем будут подыскивать новую площадку. Начнем строить аэродром № 3, на случай, если льды окончательно доконают это поле.

8 марта. С сегодняшнего дня еще немного удлиннили рабочий день. Раньше мы в 9 часов только садились пить чай, а теперь к этому времени все бригады уже собираются на аэродроме и приступают к работе.

Сегодня мороз 28 градусов. Дует свежий ветер — вест-зюйд-вест. Хотя бы утихло немного! Неровен час — опять начнется сжатие...

9 марта. Начинаем строить аэродром № 3. Используем для этого площадку, которая уже давно была на примете у малыгинцев. До сих пор мы считали, что на ней создать аэродром невысмысленно: это узкая и длинная полоска шириной 100 метров, по бокам которой стоит целый лес торосов. Где же тут устроить аэродром километр длиной и километр шириной? Но вчера мы связались по радио с Диксоном и застали там одного пилота — разведчика. Он сомневается в правильности прежних директив. Говорит, что можно прекрасно принять самолеты на аэродроме шириной самое большее — 600 метров. Но это же совсем другое дело! Не дожидаясь новых директив из Главсевморпути, решили строить именно такой аэродром. Другого выхода у нас нет. Сегодня все 12 бригад перекочевали сюда.

15 марта. Продолжаем расчистку аэродрома № 3. 120 человек целыми днями с утра до вечера колют, рубят, разбивают ледяные торосы, растаскивают обломки в стороны, выравнивают поле.

Сегодня получил от коменданта аэродрома письменный рапорт. Это первая в истории строительства жалоба на четвероногого буяна — Машку. Вот что пишет комендант:

«Медведица Машка доставляет неприятности в работе. Она неоднократно разрушала палатку, домик и их содержимое. Кроме того, Машка оборвала и изломала нужные для работы флажки и вешки. Вчера, опрокинув после конца работ камелек с тлеющими углями, она сожгла половину палатки. При оформлении площадки перед прилетом самолетов и при посадке самолетов Машка может на площадке принести непоправимый вред. Поэтому, безусловно, ее сле-

дует держать в изолированном виде на судне...».

Стихийная натура нашей проказницы не мирится с порядками, введенными на аэродроме. Она упрямо вырывает все флажки и вешки, расставленные на льду, и рвет их. Видимо, придется расстаться с нашим мохнатым другом, как это ни печально: «держат в изолированном виде» такого мохнатого великана невозможно, а на свободе она действительно становится опасной.



Машка на палубе «Садко».

18 марта. Воздушная экспедиция вылетела из Жиганска в Тикси. Еще несколько дней, и мы встретим ее на своем летном поле...».

Здесь мои записки временно обрываются. Обстоятельства сложились так, что мне пришлось, не оставляя работ по строительству, взять в свои руки командование ледокольным пароходом «Се-

дов». Естественно, что в эти дни мне было не до дневника: даже спать удавалось только урывками».

О своем новом назначении я узнал необычным образом. Радист разбудил меня в два часа ночи и сказал:

— Радиограмма из дому. Молния.

Я встревожился: почему такая спешка? Может быть, дома какое-нибудь несчастье? Быстро развернул цветную этикетку от консервной банки, заменявшую радистам телеграфный бланк за недостатком бумаги.

В радиограмме было сказано:

«Поздравляю родного с назначением капитаном «Седова». Когда узнала, заплакала, потом подумала, решила: значит, там нужнее. Желаю успеха, буду ждать тебя с кораблем. Оля».

Официальный приказ, о котором жена узнала в Главсевморпути, пришел только наутро. Но я уже заранее предполагал, что мне придется перейти на «Седов»: предварительное решение об этом было вынесено здесь, в дрейфующих льдах.

Телеграмма из дому глубоко взволновала меня. Весть о том, что я остаюсь во льдах, была большим ударом для моего славного друга. Я сам не мог без сердечной тоски вспоминать час нашего торопливого прощания на набережной Архангельска, когда мы пожелали друг другу скорой встречи. Теперь эта встреча снова отдалась надолго, — быть может, на очень долго. И нужно было обладать настоящим мужеством, чтобы поздравить меня с таким назначением.

Отказаться от выдвижения на должность капитана «Седова» я не мог. Это было бы противно долгу моряка и гражданина. И как ни тяжело мне приходилось, я беспрекословно принял новое назначение.

★

Чем было вызвано это назначение, и к чему оно меня обязывало?

Я уже говорил, к каким печальным последствиям привела неосмотрительная постановка ледокольного парохода «Седов» на зимовку в разводе, меж-

ду двумя мощными полями льда; корабль этот почти непрерывно подвергался сжатиям. Мы еще не знали, что льды исколечили рулевое управление «Седова», однако догадывались об этом: тяжелые торосы несколько раз вплотную подходили к корме и с силой давили на нее.

Но постоянные ледяные атаки причинили не только материальный ущерб кораблю. Они угнетающим образом действовали на психику наименее устойчивой части экипажа, и это привело к значительному упадку трудовой дисциплины.

Беспечные руководители Архангельского территориального управления Главсевморпути, по обычной своей халатности отправили «Седов» в экспедицию в чрезвычайно короткий срок и не потрудились проверить его готовность к дальнему и ответственному рейсу. И только тогда, когда «Седов» остался зимовать в дрейфующих льдах, выяснилось, что экипаж корабля был укомплектован чрезвычайно плохо. Порой казалось, что это пловучий госпиталь, а не арктический корабль.

Престарелый и больной капитан, несмотря на все свои усилия, физически не мог довести до конца борьбу со льдами, требующую огромной энергии и силы воли. Его старший помощник, человек слабовольный и тоже больной, не имел никакого авторитета в глазах команды.

Дисциплина на корабле упала до того, что кто-то умудрился разбить компас и выпить из котелка спирт. Винового так и не нашли.

Никого из командиров «Седова» нельзя было оставить на корабле. Все они нуждались в немедленной отправке на материк. Следовало отправить на берег также значительную часть команды.

Так возник вопрос об укомплектовании экипажа «Седова» за счет кадров других кораблей. Для того, чтобы оздоровить обстановку на истрепанном льдами пароходе и поднять дух у остающейся в дрейфе части команды, надо было перебросить сюда здоровых, энергичных людей, сохранивших бодрость, волевые качества и накопивших опыт за время зимовки.

Поэтому я решил отобрать из числа садковцев и малыгинцев несколько боевых, проверенных работников, в первую очередь из молодежи. Кого избрать своим старшим помощником? Ответить сразу на этот вопрос было нелегко. Выбор кандидата на эту должность решал во многом успех предстоящей борьбы со льдами: старший помощник — это правая рука капитана, настоящий хозяин большого и сложного корабельного имущества, строгий блюститель порядка и дисциплины, организатор всех судовых работ.

После долгих размышлений я остановил свой выбор на Андрее Георгиевиче Ефремове. Говоря формально, Андрей Георгиевич попал в дрейф случайно: он не числился в штате экипажей, будучи лишь руководителем практики студентов. Поэтому он имел полное право претендовать на первоочередную эвакуацию самолетом. Но, как и подобает настоящему моряку-полярнику, он не считал себя вправе покинуть караван до тех пор, пока его знания и его труд были необходимы. И он принял мое предложение — перейти с «Малыгина» на «Седов» и остаться до конца дрейфа. Последующие события показали, что мой выбор был безошибочен.

Должность старшего механика я предложил комсомольцу Николаю Розову, третьему механику «Садко». Этот выбор был связан с известным риском: Розов был совсем молодым, еще недостаточно опытным специалистом. Но я рассчитывал, что присущие Розову настойчивость и энергия помогут ему освоиться с сложным машинным хозяйством корабля. В конце концов в трудных условиях зимовки (да и не только зимовки) решают именно эти человеческие качества.

Вторым механиком на «Седов» был назначен Сергей Токарев, старший машинист «Садко», уже известный читателю не только как прилежный работник, но и как активный деятель строительной фирмы «Ветросвет» и строгий руководитель наших физкультурных зарядок.

Кроме Розова и Токарева, с «Садко» был переведен на «Седов» матрос Щелин, на богатырском здоровье которого

зимовка совершенно не отразилась. Щелин был на «Садко» водолазом.

В Москве справедливо решили, что авиационная экспедиция должна снять с кораблей возможно больше людей. На «Садко», «Малыгине» и «Седове» оставляли всего тридцать три человека — ровно столько, сколько необходимо для проведения научных исследований и поддержания порядка на кораблях. Незачем было подвергать риску жизнь людей, без которых можно обойтись во время дрейфа.

Значит, на «Седове» следовало оставить одиннадцать человек. Нас, новых людей, — пятеро. Требовалось выбрать еще шесть кандидатов. Шесть — из шестидесяти шести, зимовавших на «Седове»!

После всестороннего обсуждения я остановил свой выбор на Соболевском, Полянском, Бугорине, Шарыпове, Всеволоде Алферове и Шемякинском.

Судовой врач «Седова» Александр Петрович Соболевский не был полярником. Этот рейс был первым его рейсом в царство льдов и полярной ночи. Зато он прошел великолепную жизненную школу в Красной Армии: восемь лет прослужил Александр Петрович лекпомом в пограничных частях на южной границе СССР. И теперь, попав в новые, необычные условия, он не растерялся.

С первых же дней дрейфа энергичный судовой врач с большим рвением организовал профилактические меры против появления цынги — этого страшного бича полярных зимовок. Среди этих мер наибольшую популярность завоевали «витамины Соболевского», история которых теперь широко известна. Находчивый доктор забирал у кладовщика горох, размачивал его, клал в теплое место, и горошины давали ростки. Эти крошечные бледнозеленые лепестки таили в себе чудодейственную целебную силу: они обладали витаминами «С». Проросший горох входил в обязательное меню зимовщиков, и ему они обязаны в значительной мере сохранением своего здоровья.

Мы познакомились с Соболевским на строительстве аэродромов. Высокий, пле-

чистый зимовщик с лихо закрученными черными усами энергично орудовал ломом, разбивая торосы. Я сначала не поверил, когда мне сказали, что это доктор: остальные врачи предпочитали сидеть в снежном домике у теплого камелька и ждать, пока к ним обратятся за помощью. Кипучая натура Соболева не мирилась с таким образом действий, и он работал наравне со всеми, хотя, как врач, отлично знал, что это вредит его больному сердцу.

На строительстве аэродромов я познакомился и с другими седовцами — Буториным, Шарыповым и Алферовым. Все они были совершенно разными людьми, и у каждого были свои достоинства.

Тридцатилетний матрос Дмитрий Прокофьевич Буторин обладал наилучшими качествами бывалого помора: настойчивостью, упорством, трудолюбием. Светловолосый, голубоглазый, кряжистый, он как будто бы сошел с полотна художника, изображавшего собирательный тип северянина. Арктика — его родная стихия. 14 лет вместе с отцом охотился он на морского зверя. Много раз попадал в снежный ураган, много раз боролся со льдами. И теперь, в тридцатиградусный мороз, он расхаживал по аэродрому в одном ватничке и незлобиво трунил над мерзляками, то-и-дело бегавшими греться.

Работал Буторин быстро и хорошо, так что им можно было залюбоваться. Всегда чисто выбритый, всегда аккуратно одетый, он сохранял красноармейскую выправку, приобретенную за годы службы в пограничных войсках.

Такой человек был кладом для зимовки. На него можно было положиться в самую трудную минуту, и я без колебаний занес его в список будущего экипажа «Седова». Из него вышел прекрасный боцман, а потом и четвертый помощник капитана «Седова».

Двадцатитрехлетний кочегар Коля Шарыпов, самый молодой из седовцев, привлекал всеобщее расположение своей жизнерадостностью и какой-то особенной юношеской ловкостью. Его мальчишеское лицо с задорной прядкой светлых волос во время работы горело жа-

ром. Сообразительный и любознательный, он всегда хотел знать больше, чем необходимо для его квалификации. И уже к концу первой зимовки кочегара Шарыпова смело можно было назначить машинистом. Я так и сделал, и несколько в этом не раскаивался.

Машинист Всеволод Алферов внешне был полной противоположностью Коле Шарыпову. Он стремился сохранить солидность, приличествующую его званию, делал все неспеша, добротнo и ладно, слов лишних на ветер не бросал и даже старался говорить баском. Но в его живых, острых глазах сверкала та же ненасытная жажда знаний, и можно было ручаться, что он не захандрит и не ограничится достигнутым.

Радист «Седова» Александр Александрович Полянский, которого мы звали запросто «дядя Саша», был хорошо знаком всем участникам дрейфа. В свободные часы он любил ходить в гости на соседние корабли и балагурил там с приятелями. Встречали его чрезвычайно радушно: в запасе у него всегда был добрый десяток занятых историй. Когда же запас истощался, ему не стоило труда тут же придумать и пустить в ход новые рассказы.

Свое дело Полянский знал в совершенстве. Его уверенный и четкий «радиопочерк» был знаком всей Арктике; он быстро и умело устанавливал связь с любой радиостанцией. Для дрейфующей зимовки радиосвязь — это вопрос жизни и смерти. Нетрудно понять, что я был кровно заинтересован в том, чтобы Александр Александрович остался на корабле.

Когда мы заговорили насчет этого, Александр Александрович задумался, поглаживая отросшую за зиму русую бороду. Потом он взглянул на меня своими ясными, чуть-чуть раскосыми глазами, приоткрыл рот и показал пальцем:

— Зубы вот побрастерял на зимовках. Девятнадцать зубов вставлять надо...

Я молчал, выжидая, что Александр Александрович скажет дальше. Он заговорил, немного окая, медленно и рассудительно:

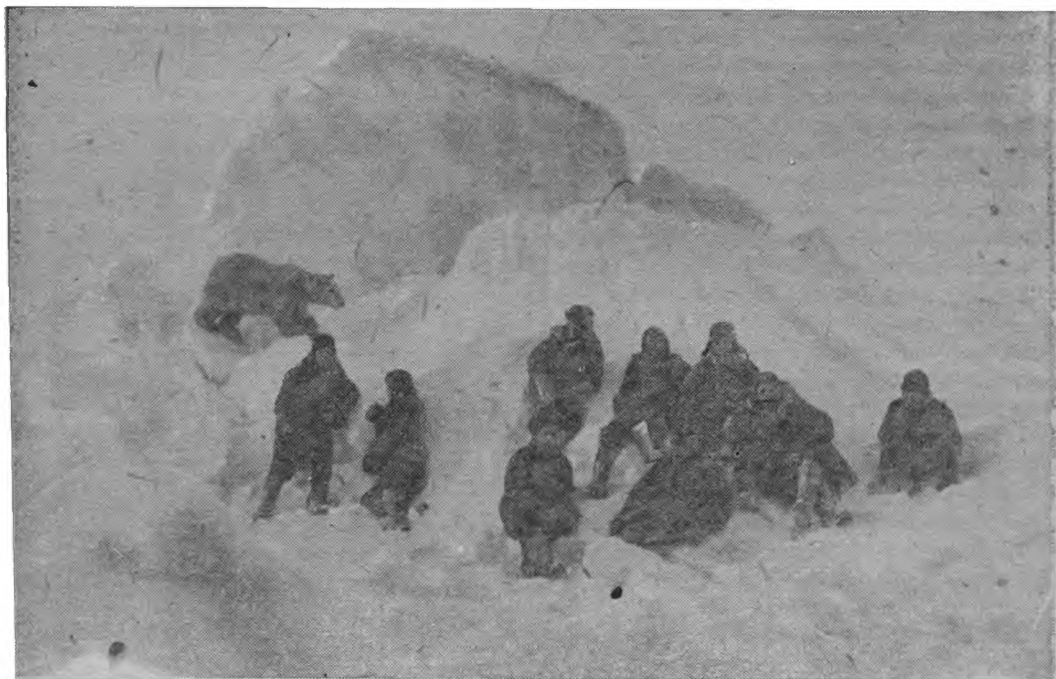
— Боюсь, как бы последних не решиться... Да... А насчет этого—что ж... нельзя бросить советский ледокол без связи... Душа у меня есть... Не каменный, понимаю...

Я с облегчением вздохнул и горячо поблагодарил дядю Сашу. Теперь мы могли безбоязненно дрейфовать на север, хоть до самого полюса. Что бы ни произошло, — связь с берегом будет обеспечена.

Первое знакомство с кораблем наве-

наруженных ими. В котлах нашли замерзшую воду. Машина корабля была поставлена на консервацию чрезвычайно небрежно. Всюду царила неимоверная грязь.

В конце концов я был даже рад тому, что с «Седова» снимают 60 человек: остается только шесть «седовцев», но зато это — самые сильные и энергичные люди. Вместе с новым пополнением они тумеют вернуть корабль к жизни, несмотря ни на какие трудности.



Строители аэродрома в минуты отдыха.

Фото Арктического института.

ло меня на грустные размышления. Недаром его прозвали у нас «греком». Эта позорная кличка (греческие корабли во всех морях мира известны, как самые неопрятные), к сожалению, была справедлива. Грязный, облупленный, необыкновенно запущенный, «Седов» скорее напоминал ржавую измятую консервную банку, чем настоящий корабль.

Андрей Георгиевич Ефремов и Николай Розов, принимавшие судовое хозяйство, то-и-дело приносили мне рапорты о вопиющих неисправностях, об-

Больше всего меня заботило состояние рулевого управления. До тех пор, пока не наступит весна, нечего было и думать об его осмотре: стальное перо руля, ушедшее на два метра под уровень моря, крепко сковали льды, превращенные тридцатиградным морозом в непроницаемую броню. Из-под этого панцыря выглядывала только верхняя кромка пера, поэтому нам оставалось довольствоваться теоретическими предположениями о судьбе этого агрегата, играющего решающую роль в управлении кораблем.

Капитан Д. И. Швецов, мой предшественник, был настроен оптимистически и уверял, что льды не тронули руля. Я не мог этому поверить: слишком яростные атаки вели они на корму, чтобы руль уцелел. Позже действительность подтвердила наихудшие опасения.

В средних числах марта я, Ефремов, Розов, Токарев и Щелин начали перебираться на «Седов», тепло распрощавшись со своими друзьями. Взвалив на спины чемоданы, спальные мешки, одеяла, мы перетаскивали свои пожитки по знакомым, утоптаным за зиму тропам. Яркое светило солнце. Искрился снег. Неугомонный Нордик провожал нас, заливаясь звонким лаем. Но нам было не до него. Мы шли медленно, раздумывая о будущем: что сулит нам жизнь на новом корабле?

Все мы еще молодые командиры. Каждый начинает службу на «Седове» со смелого выдвижения. Корабль — истрепанный, запущенный. Удастся ли нам превратить его в боевую единицу, или мы останемся караульщиками при складе старого ржавого железа? Мы чувствовали огромную ответственность, которую накладывало на каждого из нас доверие, оказанное родиной. Надо было во что бы то ни стало оправдать это доверие и показать, что советская молодежь не теряется ни в каких условиях.

Приемка дел прошла довольно быстро. 20 марта Швецов и я подписали памятный документ, который мне хочется полностью привести здесь:

А к т.

20 марта 1938 года. Л/п «Седов», Восточно-Сибирское море. Мы, нижеподписавшиеся: капитан л/п «Седов» — Швецов Д. И. и вновь назначенный капитан — Бадигин К. С., составили настоящий акт в следующем: сего числа, на основании приказа Главсевморпути, капитан Швецов Д. И. передал командование л/п «Седов» Бадигину К. С. Во время передачи л/п «Седов» находился в дрейфующих льдах Восточно-Сибирского моря в широте $78^{\circ}45',1$ северной и долготе $152^{\circ}44',3$ восточной — в разоруженном состоянии в период зимовки Паросиловая установка, материальная и инвентарная отчетность по машине принята согласно актам передачи старшего ме-

ханика Паникаровского Н. И. старшему механику Розову Н. Н., материальная отчетность по палубе, спасательные средства, продовольствие, инвентарь и навигационное имущество, согласно акта приемки, — старшим помощником капитана Е. Чемовым А. Г. Кассовая книга, денежные оправдательные документы взяты с собой для представления в контору капитаном Шведовым Д. И. Судовые документы приняты Бадигиным К. С. Повреждения, полученные л/п «Седов» от сжатия льдов, имевшего место 18 января 1938 года, оформлены актом от 18 января 1938 года. Не исключена возможность повреждения винта и нижней части руля, которые могут быть обнаружены только при доковании или обследовании доколазами, чего сделать при настоящем положении невозможно. При осмотре верхняя часть пера руля оказалась неповрежденной. Огнестрельное оружие принято согласно акта от 10 января 1938 года.

Сдал: капитан л/п «Г. Седов» —
Д. И. Швецов.

Принял: капитан л/п «Г. Седов» —
К. С. Бадигин.

★

На завтра радио принесло волнующую новость: самолеты воздушной экспедиции прибыли в Тикси.

Теперь их отделял от нас всего один перелет: Алексеев, Головин и Орлов предполагали одним прыжком покрыть расстояние в 1100 километров при первом же наступлении легкой погоды.

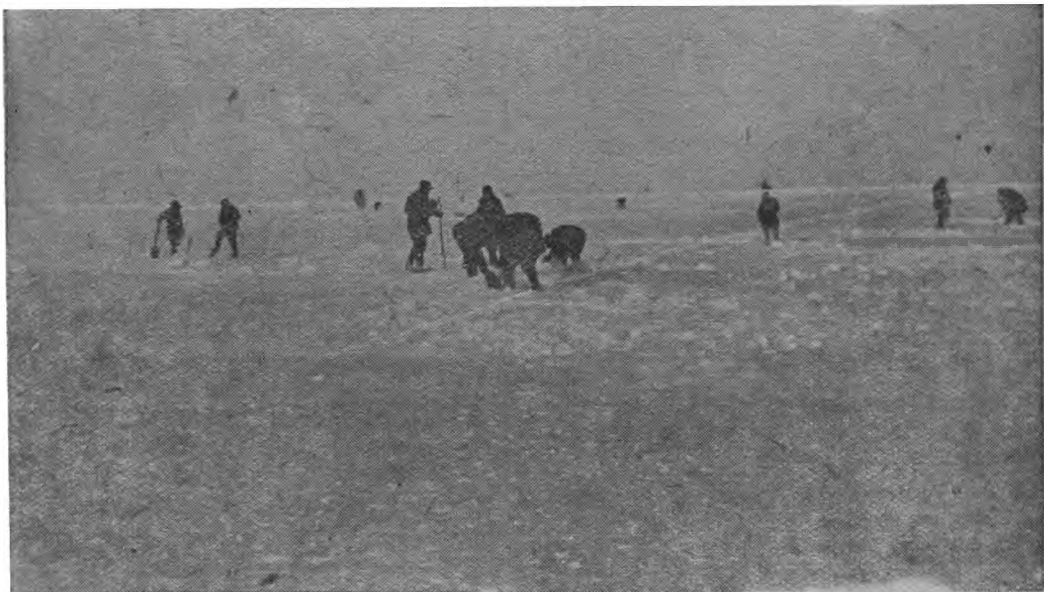
На аэродроме № 3 кипела работа. Здесь, среди обрывистых и угрюмых ледяных хребтов, уже лежала, гладкая равнина длиной в 1100 метров и шириной в 400 метров. Не верилось даже, что всего две недели назад большая часть поля была усеяна огромными ропаками, между которыми лавировали бригады строителей.

Мы очень боялись, что и на этот раз льды не пощадят наше детище и в последнюю минуту уничтожат аэродром. Чтобы не ослабить крепости ледяного поля, мы работали очень осторожно и на этот раз почти не применяли взрывчатых веществ, опасаясь, что сотрясения вызовут появление трещин. Тысячи кубометров льда были сняты вручную. 120 строителей, выбиваясь из последних сил на 30-градусном морозе, орудовали ломами, пешнями и кирками.

Когда работы уже близились к концу, снова появились зловещие признаки ледовых подвижек. 17 марта, за три дня до приемки мною «Седова», рядом с аэродромом образовалось широкое разводье, преградившее доступ к нему. Природа как бы напоминала нам: «Глупые, упрямые люди! Зачем вы тратите зря свои силы? Все равно я вас не выпущу из этого ледового царства!..».

ценное нами поле, и потому не вызывала особенных опасений. Все же появление новой трещины было довольно неприятным сюрпризом.

На другой день строительство было закончено. Мы установили по краям летного поля флажки, заготовили масло и бензин для того, чтобы при приближении самолетов разжечь костры, указывающие летчикам путь. Казалось, те-



Подготовка аэродрома

Но наши строители не испугались и не растерялись. С «Садко» притащили маленький ботик «Тузик». Его спустили на воду. Закрепили на обоих концах разводья концы пенькового троса и превратили «Тузик» в ледовый паром.

Свинцовая вода дымилась, покрываясь ледяными иглами. Некогда было ждать, пока разводье замерзнет, — ведь самолеты* уже были в Тикси! И «Тузик» храбро бегал взад и вперед, раскалывая молодой ледок. Работы на аэродроме продолжались.

Через пять дней снова раздался треск льда, напоминающий пушечный выстрел, и вдоль аэродрома, рядом с палаткой доктора, прошла новая извилистая трещина. Она деликатно огибала расчи-

Фото Арктического института.

перь можно немного передохнуть. Но льды и на этот раз готовили нам тяжелый удар.

Утром 25 марта комендант аэродрома № 3 принес мне рапорт об итогах строительства. Он с гордостью писал:

«Подготовка аэродрома была выполнена в течение 13 дней.

Затрачено 1 222 человеко-дня. Взрывчатых веществ на площадку № 3 израсходовано примерно вдвое меньше, чем на площадку № 1. В среднем, продолжительность рабочего дня, не считая времени, затрачиваемого на дорогу и завтрак, была 5½ — 6 часов. Работы производились при средней температуре — 30°. Срывов из-за погоды не было. Бригады всех судов работали по очистке площадки интенсивно и хвостов на своих участках не оставляли. Наиболее активно работали комсомольские бригады ледокольных пароходов «Малыгин» и «Седов».

К рапорту была приложена аккуратно вычерченная схема аэродрома.

— Теперь можно смело принимать самолеты, — с довольным выражением на лице сказал комендант.

В этот момент послышалось какое-то движение, и в каюту вошел вахтенный.

— Разводит! — сказал он. — Под кормой трещины...

Мы выбежали на палубу. За правым бортом начиналось движение ледяных полей. Под кормой чернели предательские разрывы. В двухстах метрах от корабля происходило сжатие. Оттуда доносился скрип и стон: льдины карабкались друг на друга...

— Как бы не тронули аэродром, — тихо сказал комендант, угадывая мои мысли.

Аэродром № 3 был вполне надежным. Но на всякий случай требовалось создать резерв. В запасе у нас пока что находился южный аэродром № 1 — самый старый из всех, тот, с которого мы начинали свое строительство. Но его дважды калечили сжатия, и после того, как мы занялись аэродромом № 3, эта многострадальная площадка, разорванная пополам продольной трещиной, была оставлена. Строители встретили здесь почти непреодолимое сопротивление, взявшись за расчистку широкой и длинной гряды торосов, нагроможденной стихией в ночь с 5 на 6 марта.

И все же закончить подготовку этого поля было легче, нежели отыскать и расчистить среди ропакнов новую площадку. 120 строителей в этот день ушли по старой, хорошо утоптанной дороге на юг.

Через четыре дня упорной работы было создано некоторое подобие аэродрома. Северная часть его, длиной в 250 метров, была отрезана трещиной, и использовать ее практически было невозможно. Южную часть пересекала гряда торосов, делившая этот участок примерно пополам. В этой мощной гряде нам удалось пробить ворота шириною в двести метров. Для того чтобы благополучно сесть, летчики должны были бы опуститься на самом краю поля, — на востоке или на западе, — пересечь его с угла на угол и ловко проскочить

при этом через ледяные ворота наискосок.

Прекрасно учитывая все неудобства такого поля, мы все надежды возлагали на аэродром № 3. Нам просто не верилось, что и его постигнет та же участь, что и предыдущие. Но случилось именно так...

★

Утро третьего апреля выдалось солнечное и тихое. Но ртуть в термометре, словно заколдованная, держалась все на том же уровне: 30° ниже нуля.

Люди проснулись очень рано и высыпали на палубу. Поглядывая на ясное, безоблачное небо, оживленно беседовали о самолетах: прилетят или не прилетят? Судя по всему, должны были прилететь: из Тикси сообщили, что и там погода налаживается.

Комендант аэродрома № 3 отправился на летное поле часа в четыре утра, чтобы закончить последние приготовления к приему воздушной экспедиции. Еще накануне там по всем правилам было выложено «Т» из листов черного смолистого толя, хорошо выделявшегося на снегу; установлены флажки; в снежном доме устроен «буфет для пассажиров».

Нарушать порядок на аэродроме было уже некому: нашу проказницу Машку накануне застрелил матрос Малыгин — после того, как она устроила очередную свалку и уничтожила все летные знаки, с таким трудом расставленные на поле. Машку все очень жалели, но оставить ее в живых не было возможности: это угрожало успеху летной экспедиции.

В шесть часов утра комендант неожиданно вернулся. Он бежал во весь дух и запыхался. Разыскав меня, он выпалил:

— По всему полю—трещины... Принимать самолеты нельзя.

Я обмер. Самолеты в Тикси уже были готовы к рейсу, и с часу на час ожидался старт. На всей трассе полета была, как назло, хорошая погода, такая редкая в Арктике.

Что делать? Неужели после долгих месяцев борьбы со льдами мы запросим

отсрочку? А если ближайший летный день будет единственным, и после него потянутся долгие недели туманов и бурь?

Как быть? Искать новое поле и строить аэродром № 4 или, рискуя, принять самолеты на запасном поле? Опаснее всего в таких случаях нерешительность и медлительность. Поэтому в первую очередь я решил бросить строителей на аэродром № 1, чтобы немедленно привести его в порядок.

Через час у ненавистной нам торосистой гряды уже звенели ломы и кирки. С разрушенного поля сюда перетаскивали флажки, листы толя для укладки посадочного знака и прочее аэродромное хозяйство.

В самый разгар работ ко мне прибежал посыльный с флагманского корабля «Садко». Он передал записку:

«Сегодня, 3 апреля, предлагается вылет из Тикси трех тяжелых самолетов. В связи с этим следует подготовить к отлету всех товарищей, входящих в число первых ста человек эвакуационного списка».

Внизу была сделана торопливая приписка:

«8 час. 44 мин. Самолеты вылетают».

Весть о том, что самолеты уже в воздухе, молнией облетела корабля. Всюду царил ликование: ждали людей с Большой Земли, ждали писем, газет, ждали могучих воздушных кораблей, самое появление которых — добрый знак тесной связи с родиной.

Отказаться от приема самолетов было немыслимо. И на аэродроме № 1 работа ускорила. Каждому хотелось сделать все, чтобы облегчить посадку самолетов. Мы расширяли ворота и сглаживали порог, оставшийся на месте торосистой гряды.

Ко мне один за другим приходили гонцы с «Садко» и докладывали:

— Самолеты вылетели...

— До прихода самолетов осталось 3 часа...

— Самолеты в двух часах полета...

— Еще час...

— Через полчаса...

Напряжение нарастало.

С «Садко», с «Малыгина», с «Седова»

к летному полю потянулись толпы людей с чемоданами, узлами и свертками. Каждому улетающему на материк зимовщику разрешалось брать с собой не больше 15 килограммов багажа. Но некоторые, наиболее бережливые и запасливые, стремясь обойти правило, предусмотрительно напяливали на себя по нескольку костюмов и по два-три пальто да еще подвязывали на поясе десятки мешечков с разной мелочью. Трудно было удержаться от смеха, глядя на этих внезапно растолстевших зимовщиков.

Я в сотый раз оглядывал наш неказистый запасной аэродром. Совсем недавно мы располагали тремя первоклассными аэродромами, каждый из которых сделал бы честь хорошему аэропорту. Было горько и обидно: столько сил и энергии затрачено впустую!..

Люди все чаще поглядывали на небо, отыскивая в нем заветные черточки самолетов. Порой я читал на лицах тревогу и сомнение: да полно, найдут ли? Не собьются ли с пути? Разве это так просто — отыскать крохотную точку в необъятном ледовом океане? Но гонцы с «Садко» приходили все чаще и чаще, и уже к двум часам дня сомнения рассеялись: радиосвязь с самолетами поддерживалась бесперебойно, все громче слышались их сигналы. Самолеты были где-то неподалеку, совсем рядом с нами.

В 14 часов 25 минут на фокмачте «Садко» затрепетал флаг. Это был условный сигнал: с самолетов дали знать, что через пять минут они будут над караваном.

Через пять минут! Все люди были немедленно убраны с летного поля. Пассажиры, готовые к отлету, выстроились в стороне. За ними толпились провожающие. Все жадно всматривались в небо. И вдруг раздались голоса:

— Летит... Летит!..

На юго-западе блеснула какая-то точка. За ней показались еще две. Донесся далекий рокот — полузабытый за эти месяцы звук работающих авиационных моторов. С каждой секундой этот рокот нарастал и становился все явственнее и звучнее.

Вот уже можно различить едва заметные контуры крыльев. Вот уже видны фюзеляжи. Самолеты окрашены в оранжевый цвет. Один за другим они делают круги над караваном, — летчики ищут посадочную площадку. Победный рокот двенадцати работающих моторов заглушает наши голоса, а мы радуемся, как дети, этому шуму, — нам так надоела глубокая тишина Арктики.

Все ближе и ближе... Все ниже и ниже... Мы можем теперь прочесть надписи на крыльях:

— Н-170...

— Н-171...

— Н-172...

Знакомые номера! Прославленные корабли! Это они год назад высадили папанинский десант на Северном полюсе.

Рокот моторов слабел, стал мягче. Выключив моторы, головной корабль пошел на посадку. Затаив дыхание, следим мы за ним. Ради этого мгновения мы работали долгие месяцы, отдавая все силы борьбе со стихией. Как он сядет? Так ли мы подготовили летное поле, как надо?

Гигантская четырехглавая птица, широко распластав свои металлические крылья, низко, низко пронесется над грядами торосов. Длинный хвост ее, чуть-чуть приподнятый, медленно опускается. Машина теряет скорость. Еще два метра до льда. Еще метр. И вот лыжи флагманского воздушного корабля касаются летного поля и вздымают облако снежной пыли. Что это? Толчок. Скользя в ледяные ворота, самолет вдруг подпрыгнул, пролетел еще несколько метров и плавно сел, — на этот раз окончательно. Проклятая торосистая гряда оставила все-таки незаметный для глаза подъем, ставший небольшим трамплином.

Взрели четыре мотора, и воздушный корабль отрулил в сторону, освобождая дорогу своим спутникам. Один за другим шли на посадку остальные самолеты.

Еще несколько минут — и стало тихо: все двенадцать моторов остановились. Из самолетов неуклюже вылезли люди в теплых меховых комбинезонах

и начали выбрасывать на лед мешки с почтой.

— Письма! Письма! — закричали вокруг.

Все смешалось. Остановить людей, истосковавшихся по вестям из дому, было невозможно. Все ринулись к самолетам. Пришлось тут же на месте организовать раздачу почты. Помнится, и мне кто-то совал два объемистых пакета, но я, совершенно измотанный подготовкой встречи воздушных кораблей, отмахивался и отталкивал долгожданные письма.

В эти минуты на меня сразу свалилась гряда забот. Предательский ледяной трамплин повредил лыжу у самолета Орлова. Взлетать с полным грузом с такой площадки было рискованно. Поэтому решили взять на самолеты не больше 22 человек из ста, подготовившихся к отлету. В первую очередь увозили женщин и больных. Начались неизбежные пререкания. Никому не хотелось тащиться обратно с вещами после того, как все сборы закончились.

Летчики торопились в обратный путь. Им предстоял трудный перелет. На ходу они разъясняли нам, какую площадку надо было подготовить. Оказывается, самолеты могли сесть и на поле шириной в сто метров. Важнее всего был размер в длину, а не в ширину. Значит, мы совершенно напрасно в течение двух месяцев мучились, выбиваясь из сил, чтобы подготовить широкую посадочную площадку.

Большее того, мы из-за «директивы» управления полярной авиации приняли самолеты на неудобное поле, в то время как можно было без всяких хлопот найти подходящее разводе шириной в 100 метров, покрытое гладким молодым льдом толщиной в 50—75 сантиметров (что вполне достаточно для приема тяжелых самолетов), и преспокойно дожидаться на нем гостей. Такая посадочная площадка была бы неизмеримо удобнее для летчиков, чем наш аэродром. Какой огромный вред может принести одна необдуманная отписка невежды!

В 16 часов 20 минут воздушные корабли Головина и Орлова оторва-

лись от льда и ушли в воздух. Через полтора часа улетел и Алексеев. Он задержался, чтобы проверить моторы.

Возвращались мы на корабли уже вечером, иззябшие, голодные и удрученные неожиданной аварией. Только объемистые пакеты с письмами из дому, торчавшие у каждого из карманов, да газеты, присланные из Москвы, скрашивали общее недовольство.

В этот вечер я записал в своем дневнике:

«3 апреля. Зверски устал, но не могу умолчать о сегодняшних событиях. Прилетели, наконец, самолеты. Сняли с кораблей 22 зимовщиков. Привезли почту. Я получил два больших пакета, на которых с каллиграфической тщательностью выведен адрес: Северный Ледовитый океан. Константину Сергеевичу Бадигину. От Бадигиных и К°.

Пакеты набиты письмами от родных и друзей, фотографиями близких, вырезками из газет, дружескими шаржами. Я весь вечер просидел над этой посылкой, вживаясь в далекий и родной мир, с которым меня разлучили льды. Читал неспеша, по несколько раз перечитывал одну и ту же строку, чтобы растянуть удовольствие подольше: когда-то мне будет суждено получить второе письмо из дому?

Там, в Москве, в этом Городе счастливых, жизнь течет мирно и плодотворно. Все работают, учатся, ходят в театры, греются на весеннем солнце. Оля исписала целую стопу бумаги. Видимо, старалась написать письмо повеселее, но за каждой строкой угадываешь грусть. Кажется, она скоро станет заправским штурманом: в каждой телеграмме требует, чтобы я сообщал координаты каравана, и все высчитывает, когда нас принесет к берегам Гренландии.

Дорогой друг! Большое, большое тебе спасибо за все. Ты никогда не сможешь представить себе, какое счастье — получить эти ласковые каракули здесь, в Арктике, после зимовки в полной темноте, в холоде и лишениях.

Я ничего не расскажу тебе о том, как мы провели эту зиму. Ведь все кон-

чится когда-нибудь благополучно, и тогда на всем свете не будет людей счастливее нас.

На тебя я надеюсь, как на каменную гору. Если ты стойко вынесешь это первое испытание, — будешь хорошим товарищем на всю жизнь, настоящей подругой моряка. Без этой уверенности моя жизнь здесь была бы каторгой.

Ты пишешь, что соскучилась. А я? Я ведь переживаю эту разлуку значительно острее: ты можешь отвести душу со своими родными, а я предоставлен самому себе.

Ну ладно, я знаю одно: верю тебе, уверен, что будем с тобой счастливы, уверен, что ты не будешь разминивать наше счастье.

Я горд, что партия доверила мне сохранность судна и людей, и думаю, что и ты вправе гордиться своим мужем. Протягиваю к тебе руки через льды и моря и говорю громко, чтобы ты услышала меня: будь спокойной, не нервничай, учись, больше читай, не теряй времени понапрасну. Ведь ты — будущая мать нашего ребенка, который должен быть здоровым, смелым, умным. А воспитать его таким ты сможешь только тогда, когда сама будешь обладать этими качествами.

Написал большие ответные письма. Их заберут летчики, когда прилетят во второй рейс. Прошу родных прислать с ледоколом «Иосиф Сталин» посылку: одеколон, зубную пасту. Эти предметы у нас сейчас ценятся на вес золота. Но доберется ли к нам ледокол «И. Сталин» в этом году? Говорят, что строительство его еще не закончено.

Сейчас уже очень поздно. Все спят. Пора и мне укладываться. Завтра с самого раннего утра начнем поиски нового аэродрома. Аэродрома № 4!».

Аэродром № 4 был найден очень быстро. Это разводье, затянутое крепким и гладким молодым льдом, у нас давно было на примете. Но мы не решились взяться за его расчистку по двум причинам: во-первых, оно, по нашим первоначальным представлениям, было узко, а во-вторых, до него надо

было идти семь километров по исторощенным полям, что не представляло удовольствия в тридцатиградусный мороз.

Но теперь с этим считаться не приходилось. Как только летчики объяснили нам, что они могут посадить свои машины и на узкий аэродром, если только он будет обладать достаточно гладким и длинным летным полем, — все 12 бригад отправились на расчистку новой площадки.

Работа двигалась быстро, и аэродром № 4 был подготовлен к приему воздушных кораблей в течение нескольких дней. Однако погода резко ухудшилась, и летчики вынуждены были отсиживаться на ледяной лагуне острова Котельного, где они оборудовали промежуточную базу.

По радио мы узнали, что четверо зимовщиков острова Котельного — Соколов, Бабич, Бэм и Горохов — добровольно остались на третий год, чтобы облегчить связь с дрейфующими кораблями, и образцово подготовились к приему людей с нашего каравана. Не ожидая никаких указаний, они «на всякий случай» в своей крохотной печи напекли тонну хлеба (целый месяц занимались этим трудным делом), построили в своем доме нары в три этажа, сделали баню. И когда летчики решили из-за трудных метеорологических условий укоротить трассу своих полетов к каравану на несколько сот километров, они нашли на острове Котельном прекрасную базу.

Правда, на Котельном не было запасено бензина. Поэтому пришлось самолет Орлова превратить в «летающую цистерну»: он доставлял на остров бензин из Тикси, а Алексеев и Головин летали к каравану.

Пока летчики выжидали наступления хорошей погоды, мы подготовили еще одну запасную посадочную площадку: морозы сковали трещины на аэродроме № 3, мы расчистили образовавшиеся на нем торосы и теперь могли предложить летчикам на выбор три поля.

Второй рейс самолеты «Н-170» и «Н-172» совершили только 18 апреля —

полмесяца спустя после первого. Они благополучно опустились на аэродроме № 4, взяли на борт 83 пассажира и через 1 час 20 минут стартовали на юг. Полет проходил в сложных метеорологических условиях.

Летчики пробивались сквозь пургу и туман.

И опять потянулись долгие дни ожидания. Чтобы закончить летную операцию, оставалось вывезти на материк 79 человек. Эти люди были уже далеки от зимовки. Они томились от вынужденного безделья и нервничали. Нам, остающимся в дрейфе, было искренне жаль их, и мы всячески успокаивали будущих авиапассажиров.

Наконец вечером 26 апреля неожиданно с острова Котельного прибыла радиограмма о том, что Алексеев и Головин вылетели в третий рейс. Было пасмурно, холодно. В этот поздний час самолетов никто не ждал, поднялся переполох. Люди побежали готовить аэродром. Улетающие зимовщики торопливо укладывали вещи и переносили чемоданы на летнее поле.

★

Отчетливо запомнился момент прощания с летчиками и последними зимовщиками, улетающими на материк. Когда на горизонте появились самолеты, люди притихли и молча смотрели на них. Мы в последний раз видели этих стальных красавцев.

Было около девяти часов вечера. Легкий морозец покалывал щеки. Небо подернулось тучами. Оно было сумрачное, неприветливое. Летчики, получившие с острова Котельного сводку, что там погода ухудшается, нервничали и спешили в обратный путь. Мы торопливо выгружали присланные из Москвы вещи — какие-то тяжелые тюки, ящики, бидоны. Пассажиры один за другим скрывались внутри кораблей. Нас оставалось все меньше и меньше. Лишь горсточка людей стояла там, где еще недавно шумела и волновалась толпа.

Нам невольно взгрустнулось.

И только наш плотник — долговязый и жилистый дядя Митя, как все

его звали, — неожиданно рассмешил нас и прогнал грусть.

Дядя Митя был до чрезвычайности скуп и недоверчив. Он ни за что не хотел бросить на корабле ни одной мало-мальски ценной вещи, хотя его уверяли, что все имущество, оставленное зимовщиками, будет в целости и сохранности.

— Знаю я вас, — неизменно отвечал он под общий хохот, — вы потонете, а я потом с морского бога деньги спрашивай?

И вот, второпях дядя Митя забыл захватить одеяло. Он вспомнил о нем на полпути к аэродрому, когда самолеты шли на посадку, и во весь дух бросился обратно.

Механики уже пустили моторы, когда на горизонте появился дядя Митя. Неимоверно толстый от натянутых одежек, он бежал, с трудом переставляя ноги. Зеленое одеяло, подвязанное вокруг шеи, наподобие плаща, развевалось по ветру.

Первый самолет вырулил на старт и помчался на взлет. Несчастный дядя Митя, видя, что его не ждут, завопил благим матом. Бедняге совсем не хотелось оставаться в дрейфе.

Когда на старт вырулил второй самолет, боязливый плотник споткнулся и... у него свалились брюки, переотягощенные какими-то тяжелыми вещами, расованными по карманам. Он запутался и присел. Из-под пальто посыпались кульки, коробочки, свертки, китроумно притороченные к ватнику и брюкам.

Это было похоже на кинокомедию. Зрелище наказанной жадности вызвало общий хохот. Беднягу втащили за шиворот в самолет. Взревели моторы, и через несколько минут мы потеряли из виду воздушный корабль.

Теперь мы надолго остались наедине с самими собою. Тут стоило погрузиться. Но едва мы вспоминали залитое потом, растерянное лицо несчастного дяди Мити, как снова нас душил хохот.

★

В вахтенном журнале ледокольного парохода «Г. Седов» в этот вечер появилась запись:

«20.45. Самолеты звена Героя Советского Союза тов. Алексева «Н-172» и «Н-170» сделали посадку.

21.50. Самолеты улетели.

Сего числа вылетели на материк 25 зимовщиков ледокольного парохода «Г. Седов». Экипаж оставлен в следующем составе:

1. Капитан — Бадигин К. С.
 2. Старший помощник — Ефремов А. Г.
 3. Старший механик — Розов Н. Н.
 4. Второй механик — Токарев С. Д.
 5. Радист — Полянский А. А.
 6. Врач — Соболевский А. П.
 7. Матрос — Буторин Д. П.
 8. Матрос — Щелин В. А.
 9. Повар — Шемякинский В. С.
 10. Машинист — Алферов И. С.
 11. Кочегар — Шарыпов И. С.
- Всего 11 человек».

(Продолжение следует)*

* Исключительное право перевода и издания моей книги на иностранных языках предоставлено мною Литературному агентству В/О Международная книга.—Автор.

Ненецкие рассказы

ИВАН МЕНЬШИКОВ

★

ОСНОВАТЕЛЬ ГОРОДА

Прожив девяносто лет, Иннокентий Иванович решил, что город, основанный им десять лет назад, построен неправильно.

В один из солнечных дней он надел длинную холщевую рубаху, штаны, сшитые из «чортовой кожи», помазал сапоги дегтем и, наказав старухе натопить как следует баню, вышел на улицу. Черная кошка, в ужасе оглядываясь на кобеля, зевающего у крыльца, перебежала дорогу у ног Иннокентия Ивановича.

— Фу ты, погань, — выругался старик, — не быть дороге.

Он сердито плюнул на пса. Тот зажмурил глаза, трижды ударил обрубленным хвостом по доскам и показал Иннокентию Ивановичу длинный розовый язык.

— Разлегся. Только жрешь да спишь, больше и работы у тебя нет, — проворчал старик.

Свою улицу он прошел быстро. Будучи центральной в городе, улица носила имя Григория Хатанзейского, первого ненеца-коммуниста, близкого друга Иннокентия Ивановича.

Улица Григория Хатанзейского была и самой нарядной в городе. Двухэтажные дома выстроены вроде коттеджей, с резными наличниками и беседками. Тут находились все важные учреждения, строился театр.

Иннокентий Иванович прошел улицу и в раздумье остановился на краю го-

рода. Широкая река распласталась перед его взором.

— Печора-матушка, — прошептал он, опускаясь на валяющееся у пристани толстое бревно. Из кармана штанов достал тавлинку, понюхал табаку. Увидев идущего по берегу в город прораба, крикнул: «Эй!» — и беспокойно заерзал на бревне.

Подошел широколицый парень в кожаной фуражке. Дед уступил ему кончик бревна и сердито насупил брови.

— Что ж это, между прочим, прораб шляется, а бревна, на котором сидит, не замечает. А бревно, между прочим, гниет с прошлого года!

Прораб вынимает папиросы «Дели» и торопливо закуривает:

— Иннокентий Иваныч, — говорит он певуче, разводя руками, — ну да что вы мне кровь пущаете? Ну? То в газете, то в райкоме, то на собраниях. Да разве ж я один на свете могу за всем усмотреть. Вот ведь вы какой, Иннокентий Иваныч.

— И театру строишь третий год, а плотники пьянствуют. А?

— Да что вы, Иннокентий Иваныч! — говорит паренек и пытается встать с бревна. Но старик кладет ему на колено руку, и тот не решается подняться.

— Ну хоть бы в санаторию уехали на годик, — с тоскою заканчивает прораб.

— Вам бы только планы раскидывать, — сердито говорит Иннокентий

Иванович, нюхая табак. — Какие дома ты на улице Восьмого Марта выстроил? В таких домах честным людям жить совестно. Я тебе еще припомню это.

Старик неожиданно замолкает и смущенно отводит взгляд на реку, задумавшись о своем твердом решении написать о прорабе большую заметку в газету, чтоб ему было стыдно на весь город.

Потом говорит «пока» и, ссутулившись, идет по крайней улице неторопливой стариковской походкой. В конце улицы он видит тундровый тальник, покрытый бурой листвой, небольшой валив и плещущихся в нем гусей и уток, лодку, на носу которой, старательно вглядываясь в воду, сидит дед Аксен, балагур, пьяница и отчаянный рыбак.

Иннокентий Иванович подходит к пологому илистому берегу залива и кричит, сложив руки лодочкой:

— Аксен! А Аксен!

Дед Аксен отвечает: «Угу. Сей мигут», но проходит и пять, и десять, и пятнадцать минут, а он попрежнему сидит на носу лодки, вытянув шею и глядя в воду. Губы его быстро-быстро шевелятся, точно он заклинает водную стихию.

Иннокентий Иванович садится на зеленую траву бережка, подальше от воды и вынимает тавлинку, поглядывая на солнце — большое, рыжее, нездешнее. «День долог, город большой. Торопиться некуда» — думает Иннокентий Иванович, жмурясь от зеркальных блесков ряби.

... Пятьдесят лет тому назад он сидел вот на этом же берегу и думал о своей жизни. Немерянные водные просторы лежали перед его глазами. Пойдут по ним пароходы, рыбацкие баркасы, норвежские лесовозы. «А что если из голодной Усть-Пильмы перебраться сюда? — подумал Иннокентий Иванович. — Поставить кузню, проезжий двор, а зимой торговать с самодцами. Глядишь и минует нужда его семью, его детей — мал мала меньше».

Через год перевез Иннокентий Ива-

нович сюда кузню и поставил ее на крутом яру, чтобы дым был виден издали. Еще через год поставил дом и назвал свое урочище Белая Щель, или Белошеле.

Проходил год за годом, оброс Иннокентий Иванович диким волосом, стал угрюмым, как и небо, висевшее над ним, разучился говорить и только ночами мечтал со старухой о богатом подряде по кузнечному делу.

Но ни один пароход с поломанным винтом не останавливался на реке, ни одно судно, карбас или шхуна не нуждались в кузне Иннокентия Ивановича, и только в гражданскую войну белогвардейская карательная экспедиция заставила кузнеца чинить пулеметные замки и моторные лодки, не заплатив даже за работу.

— Ничего, старуха, наступят и для нас золотые деньки, выстроят люди вокруг моей кузни город, и мне работа найдется.

Он все чаще и чаще стал выходить на бугор и всматриваться в туманные берега Печоры, ожидая плывущих на поселение людей.

По ночам снились ему караваны судов, нагруженные богатыми домами поселенцев.

Пароходы бросали якоря против его кузни. Люди в инженерских фуражках выходили на берег и спрашивали Иннокентия Ивановича:

— Можно нам здесь город построить?

Иннокентий Иванович отвечал нехотя и не сразу, чтобы поселенцы не загордились особенно.

— Что ж, стройте. Земли всем хватит, а место здесь даже хорошее. И рыбы в Печоре-матушке много, и пароходам легко плавать, глубина даже великая в русле. Опять же самоеды торговать любят, а они народ уважительный, хороший, много пушнины продать смогут. А если ковать что надо, так я ведь могу и помочь. Работы у меня и своей немало, да для общества я всегда пострадать могу.

— Ты хороший человек, — говорили инженеры, — выстроим город, правителем станешь, а пока прими заказ

на пятьсот тысяч рублей, ручки резные да створки к домам ковать.

— Ну и ладно, — отвечал Иннокентий Иванович, — и просыпался от ругани жены:

— Спит и смеется, как ребенок малый, велика радость от голода пухнуть. Головушка ты моя разнесчастная!

Она начинала плакать, и Иннокентий Иванович мрачнел. Он торопливо одевался, брал ведро и шел заливать смолой лодку. На берегу, среди гальки и леса-плавника, он разжигал костер и, вглядываясь в голубую рябь, продолжал мечтать.

... Инженеры разметят улицы, и начнется великое строительство нового города.

— Мы думаем построить здесь двадцать церквей, приходскую школу, пять питейных домов и одну тюрьму. Как ты думаешь, Иннокентий Иванович, хватит этого?

Иннокентий Иванович, подумав немного, ответит:

— Без тюрьмы-то можно бы обойтись, потому воровать кто же будет, раз жизнь хорошая наступит. А вот школу хорошо. Грамотному везде дорога. Грамотный всегда семью прокормить может.

И выстроят инженеры такой великий город, что объехать его на извозчике в неделю будет трудно, — чуть ли не с Архангельск. Высокие церквушки с зеркальными крестами и серебряными да зелеными маковками будут в праздники так наполнять город звоном, что на душе, в самом деле, будет весело и светло.

Иннокентий Иванович будет тогда настолько богат, что придет в какой-нибудь питейный дом, бросит целый полтинник на прилавок и будет пить круглые сутки, и не будет ему в этом никакого запрету, а даже наоборот.

Подойдет какой-нибудь горожанин к его столику и скажет:

— Большое вам спасибо, Иннокентий Иванович, за нашу хорошую жизнь. Если б не вы, никогда бы не жить нам в таком богатом городе.

Иннокентий Иванович бросит еще полтинник на прилавок и вновь будет пить с горожанином, и никто ему не скажет ничего за то, что он целый рубль пропил.

А, погуляв хорошо, Иннокентий Иванович пойдет по праздничным улицам, и с точеных балконов, из окон с резными наличниками будут кричать ему краснощекие молодки:

— Уважьте, Иннокентий Иванович. Хоть на чашечку чая.

Весь город будет выстроен из добротных бревен с петухами на крышах, а посреди города на площади расположится ярмарка с балаганами и каруселью.

И все это благодаря ему, Иннокентию Ивановичу...

Ветерок затягивает горизонт тучами, смола кипит, и Иннокентий Иванович льет ее на проконопаченные швы лодки. На душе его становится легко и спокойно, как перед престольным праздником.

Но идут дни за днями. Один за другим умирают дети то от гнилых тундровых ветров, то от простуды, то просто от голода. А пароходов с переселенцами нет как нет. Осталась одна мечта о чудесном городе, да и та стала меркнуть все больше и больше.

И только в 1930 году дождался Иннокентий Иванович того, о чем он мечтал почти всю жизнь.

Из моторного бота вышли люди с теодолитами, землемерскими лентами и лопатами. Впереди них, широко расставляя ноги, шагал высокий и костлявый человек.

Задыхаясь от волнения, Иннокентий Иванович обулся и, забыв о шапке, выбежал встречать их. Ни о чем не спрашивая, он пожал каждому руку, провел в горницу, достал бутылку вина, которую терпеливо берег к пасеке, и, наварив ухи, стал угощать веселых и странных гостей:

— Ешьте, пейте, дело разумеете, — шутил он, щуря глаза, — с большой работой-то приехали?

— Место для города изыскивать, — ответил высокий, — нам тундровую столицу необходимо выстроить здесь. Вы,

так сказать, и явитесь основателем города, если место будет подходящим.

— Подходящее, сильно подходящее, — торопливо ответил Иннокентий Иванович и засуетился по горнице, — и семужка есть, и зверя много, и Печора-матушка здесь глубину дает.

... Прошло совсем немного лет, и в Белой Щели вырос город, создавший Иннокентию Ивановичу славу основателя и первого строителя его.

И потому-то теперь на всех митингах, собраниях, слезах вы увидите в пресидиуме Иннокентия Ивановича, торжественно и почетно несущего на своих плечах славу основателя первого арктического города.

Слава ничуть не отягощала Иннокентия Ивановича. Но странно, чем больше строилось домов, тем сильнее тоска овладевала сердцем Иннокентия Ивановича.

Он видел, что строящийся город совсем не походил на тот, который он носил в своей душе. Инженеры заявили Иннокентию Ивановичу, что ни церквей, ни питейных домов, ни тюрьмы они строить не намерены. Правда, вместо них было выстроено пять школ, три клуба, кинотеатр и десятки домов для рабочих, но на крышах новых домов не было ни резных наличников, ни петухов. Все строилось обыденно и просто.

— Нам не до петушков, — как-то сказал прораб Иннокентию Ивановичу, — пусть буржуазия ими занимается, а нам надо план выполнять и не вылезать из графика.

— Ты сам графика, — обиделся тогда Иннокентий Иванович и пошел в горсовет.

Там сидел секретарь горкома партии. Он почтительно пожал руку Иннокентию Ивановичу и сказал:

— Что-нибудь плохо строят, дед? Тормози, тормози их. Ты у меня бо-
вой помощник, не давай им спать.

— Он хороший старик, — подтвердил предгорсовета.

— Ты мне зубы-то не заговаривай, — осердился Иннокентий Иванович. — Детские ясли не строят, ребятки у колодцев играют, то и гляди

в них попадают, а ты только планты да графики чертишь. А заборы? Даже свиньям скучно мимо них проходить.

За зданием педагогического техникума закончилось строительство центральной бани. Бань было выстроено пять, и Иннокентий Иванович сказал прорабу:

— Головоотяпов развелось уму непостижимо. Ну, на что столько бань. Я сроду в них не бывал, да живу. Залез в печку и попарился, а тут сколько народных денег угублено.

— Несносный ты старик, — сердился прораб, — да какое тебе дело до планирования! Везде, как хозяин какой, лезет. Пойдем, попаримся, вот тогда я тебя и послушаю, а то бузит, бузит, постыдился бы хоть на старости. Вот несознательный элемент.

И он повел Иннокентия Ивановича в новую баню. Он сам наподдал жару в парильном отделении и так нахлестал его березовым веником, что основатель города еле слез с полка, чтобы окатиться прохладным дождичком из-под душа. Обтеревшись махровым полотенцем и надев чистое белье, Иннокентий Иванович сказал:

— Всякие там кино строят, а вот чтобы побольше таких бань поставить, об этом не догадаются.

— Невыносимый вы человек, — ответил прораб. И на свои деньги целую неделю водил Иннокентия Ивановича из одного клуба в другой, пока тот не согласился, что кино трудовому человеку необходимо.

— Теперь бы церковушку какую-нибудь поставить, оно бы и ничего, — рассуждал на досуге старик, но в горсовете об этом говорить не решался. Не любила новая власть попов. Впрочем и сам Иннокентий Иванович позабыл все молитвы, но, как говорится, церковь украшала город. Что за жизнь. коли нет церковного звона по праздникам. Ведь испокон веку так было завведено...

...Старик уже в третий раз вытаскивает свою тавлинку и степенно нюхает табак. Солнце уже спускается вниз. Первый комар, тонко пискнув, сел на

желтый ноготь Иннокентия Ивановича, почистил хоботок и ножки. Пробежав по синей вене, он воткнул в нее хоботок. Старик с удивлением наблюдает за смелостью комара, за тем, как увеличивается у того живот, становясь пунцовым.

— Целую каплю уже выпил... — сердится Иннокентий Иванович, но комара не сгоняет, а вновь кричит на середину залива:

— Аксен! Аксен!

— Счас, — отвечает дед Аксен и наконец поднимает голову от воды, быстро сматывает какую-то катушку — и странно: лодка медленно плывет к середине залива, хотя ее никто не гонит веслами.

— Счас, счас, — шепчет дед Аксен, и Иннокентий Иванович с завистью вздыхает.

Рядом с бортом бьет по воде розовым хвостом метровая семга.

Деревянной колотушкой дед Аксен ударяет по ее плоской голове, и она покорно шевелит ослабевшим телом, сверкая на солнце, когда ее переносят в лодку.

Дед Аксен подъезжает к берегу, довольно ухмыляется и садится рядом с Иннокентием Ивановичем. Они долго сидят рядом, посматривая на темнеющую воду, на туман, поднимающийся от болот, на водную рябь. Они молча угощают друг друга табаком, и лица их сосредоточены, как перед большой и важной беседой.

Белесые брови деда Аксена от солнца порыжели, широкое лицо загорело неровным загаром, нос облупился, но странно: губы розовы, как у женщины.

Лицо Иннокентия Ивановича наоборот сурово, бледно и даже испито, хотя он моложе деда Аксена.

— Солнце-то парит как! — говорит Иннокентий Иванович, приподнимаясь, — работа у меня стоит, а я шляюсь.

— Какая же у тебя работа? — удивляется дед Аксен. — Пенсию получаешь, всякий тебе кланяется. Сиди себе на печке да ожидай смерти.

Иннокентий Иванович насупился, пинает ногой палку и смотрит на руку.

Напившийся комар с усилием вытягивает хоботок и падает в траву.

— Что ж и помру, когда время придет. Пойдем, что ли?

— Пойдем.

Дед Аксен приподнимается, берет из лодки семгу и, перекинув через плечо, неторопливо шагает. Косые тени легли от столбов и заборов. Куры уже спокойно роятся в пыли у завалинок, не боясь солнца.

— Умирать мне скоро, — говорит Иннокентий Иванович. — Пожил — хватит. Каждая улица в городе знает мои руки, я ее своими руками строил, только нет успокоения моей душе. С чего бы это? А?

— От крови все. Загустела, верно она у тебя. А ты бы рыбку поудил, а вечерком чекушечку раздавил, оно бы и полегало.

— Мелкий ты человек, Аксен, — сердито вглядываясь в покосившееся крыльцо только-что выстроенного дома, говорит Иннокентий Иванович, — тебе бы пить да на заливе пропадать, а о народе ты и не думаешь. А тухляк забрала деньги, а какое крыльцо выстроила!

Иннокентий Иванович подходит к крыльцу, пинает ногой стойки, источающие густой сосновый запах. Они скрипят. Он проводит ладонью по плохо выструганному настилу, и бровь его хмурится:

— Эх, люди-людишки. Взять бы вас да постегать кнутом, — ворчит он и вновь шагает позади деда Аксена, на спине которого сверкает под солнечными лучами серебряная рубина.

Так они идут из улицы в улицу, и везде Иннокентий Иванович находит что-нибудь не так: то забор криво поставлен, то рамы у школы жидки, то дом покрашен в невеселую краску. И все это он запоминает, как самое обидное для себя, для своей чести.

И только к вечеру, когда солнце стало медленно, по пологой горе спускаться к горизонту, лицо Иннокентия Ивановича начало расправляться от морщин.

— Баньку мы хорошую сей год выстроили, — говорил он, подходя к

двухэтажному зданию, — теперь бы театр да чайную, тогда живи триста лет и помирать не захочется.

Дед Аксен, подойдя к магазину Рыбаксоюза, сказал:

— Подожди меня. Семужку продам.

Через несколько минут он вернулся, хвастливо подмигивая:

— Три красеньких и бутылочка в придачу, а ты говоришь, жизнь плохая...

Иннокентий Иванович смеется, потом хмурится вновь:

— Я не к тому речи вел. Только на сердце тревога, вдруг да умру. А?

— Ну и умрешь.

— Може, и умру, — соглашается Иннокентий Иванович, — у меня сердце захоланьивает, потом дышится трудно.

Он садится на крыльцо одного из почерневших домов, с грустью смотрит в желтое безоблачное небо.

— Я отдохну, а ты в гости приходи утром. Разопьем чекушку. Сейчас, если мимо редакции пойдешь, передай, чтобы ко мне товарищ Кузнецов явился.

— Ладно, — с почтением отвечает дед Аксен и, не торопясь, уходит по улице.

Когда дед Аксен скрывается за поворотом, Иннокентий Иванович идет домой, берет чистое белье и парится в бане. Обрато он возвращается благообразно-строгий. Сам идет к колодцу и наполняет тонкий стакан холодной родниковой водой. Он несет его на вытянутых руках, боясь расплескать воду, точно это драгоценность. Дома он ставит стакан на окно, у изголовья своей кровати, чтобы душа после смерти обмылась в чистой и холодной воде. Так делали все старики на Печоре, собираясь умирать. Так делает и он, потому что смерть может притти неожиданно-негаданно.

Иннокентий Иванович ее не боялся, но готовился к ней заранее.

Закончив приготовления, Иннокентий Иванович ложится на кровать и закрывает глаза. Из большой подушки торчит только его борода, глаза прикрыты, губы шевелятся, руки, вытянутые вдоль тела, неподвижны и черны.

— Тебе плохо, старик? — спрашивает старуха.

— Позови из редакции кого-нибудь. Скажи, что хочу поговорить о секретных делах.

И, когда перепуганная старуха выходит на крыльцо, Иннокентий Иванович засыпает, довольный своей усталостью.

Стук в дверь прерывает его сон. Входит товарищ Кузнецов. В его руках газета. Он садится рядом с кроватью и, зная, что старик любит деловитость, вынимает блок-нот и готовится писать.

— Прораба надо прокатить, — говорит Иннокентий Иванович и вспоминает покосившееся крыльцо, кривые заборы, плохо покрашенный дом. Захлебываясь от торопливости, он припоминает все недостатки, что заметил в своем городе, и диктует журналисту. Он вспоминает недостроенный театр, чайную, которую давно бы следовало выстроить.

После каждой фразы он заглядывает в блок-нот и просит прочитать.

— Хорошо, — говорит он, — все недостатки записаны, еще вот что пропиши...

Журналист торопится записать все, но карандаш ломается. Старик насмешливо качает головой и просит у старухи нож. Та, сложив руки на груди, скорбно посматривает и на старого, и на молодого.

— Ну, вот и все, — тихо говорит Иннокентий Иванович и закрывает глаза. — Прочти еще раз.

Товарищ Кузнецов читает заметку от начала до конца, и лицо Иннокентия Ивановича грустнеет.

В заметке перечислено только одно плохое про новый город. А ведь только город сделал почетным имя Иннокентия Ивановича. Это в новом городе построено столько школ, клубов, больниц и бань. Пусть нет церквей, но зато люди не пропивают последние деньги в кабаке, нет в нем нищих и калек. А все это не описано в заметке. И получается так, что ему, Иннокентию Ивановичу, милее была бы старая жизнь со

становым да урядником. С попами да с нищетою.

— Отдай мне заметку, — говорит Иннокентий Иванович, — плохо ты ее написал.

Журналист растерянно смотрит на старика и в волнении выпивает стакан, что стоит на подоконнике, приготовленный для принятия души Иннокентия Ивановича.

Старик не замечает этого.

Он шарит руками по груди, смотрит на старуху и просит дать рубашку:

— Я сам тебе напишу. Я к товарищу секретарю горкома пойду, и мы вместе с ним напишем, — говорит Иннокентий Иванович, сурово сжимая губы.

— А ты не сердись. Я целую статью тебе принесу, — добавляет он мягко, — в ней я напишу про всю свою жизнь, чтобы люди радовались, что они живут в городе, где я основатель. Не сердись? Ну, и ладно.

★

ТОБОКИ

Эту поучительную историю рассказал мне Тэнэко, председатель колхоза «Нгерм нумги», что означает по-русски «Полярная звезда».

— Ты, Ваня, мой друг, ты работаешь в газете «Красный тундровик», — сказал он, — и ты можешь написать такую статью, от которой председатель окрисполкома не будет спать целую неделю. Так опиши мою жизнь, чтобы все девушки знали, как тяжело их любить и как тяжело с ними расставаться. И пусть они больше не делают таких глупостей и не обманывают никогда ребят. Ты понимаешь, что такое любовь?

— Да, — сказал я, вздохнув.

— Ты не печалься, потому что на-

стоящая девушка придет к тебе, когда ты потеряешь всякую надежду на это. Со мной случилось то же самое.

Я полюбил девушку, похожей на которую нет нигде, даже в Нарьян-Маре и Архангельске. Девушку звали Стеша, и она подарила мне тобоки, расшитые сукнами семи цветов. Я попробовал надеть их, но они оказались малы, и я не вышел в них на Праздник оленя. И на Празднике оленя Стеша подошла ко мне и тихо спросила:

— Тебе малы тобоки, Тэнэко? Дай мне, и я сделаю их по твоей ноге.

И я отдал ей тобоки и много недель не спрашивал, когда она мне их подарит вновь. Я думал, что она сама подарит их, когда захочет. Осенью она уехала в город и прожила там много месяцев, и я не знал, что мне делать. И я стал ездить по колхозам и смотрел, где лучше поставлена работа. Мне было очень тяжело, потому что я думал о ней, даже когда женился на девушке, которая полюбила меня.

Но вскоре приехала в наше стойбище Стеша. И первым, к кому она зашла, был я. Она положила на маленький стол в правлении колхоза расшитые семью сукнами тобоки.

Лицо ее поблекло, по краям рта появились маленькие морщинки, а глаза были печальны.

— Теперь они по ноге тебе, Тэнэко, — сказала она, и на глазах ее показались слезы.

Я посмотрел на тобоки и, не меряя их, сказал:

— Теперь они слишком велики для меня. Немного раньше они бы были мне как-раз.

И мне было очень тяжело.

Напиши обо всем этом, Ваня, и пусть девушки не бегут от любимых. Если они хотят, чтобы вышитые ими тобоки приходились ребятам по ноге.

Земля якута

СТЕПАН ШИПАЧЕВ

★

Еще скупа земля якута,
но он увидит край в цвету
и от мороза будет кутать
босые яблони в саду.

И заслонят густой орешник,
где женщине цвести платком,
с полтавской косточкой черешни,
чуть тронутые холодком.

Пусть будет тот же тракт, заставы
и та же северная муть,
но от Якутска до Полтавы
куда короче будет путь.

Камчатка

И. ЭКСЛЕР

★

1

Сырой ночной туман обволакивает бухту Золотой Рог. Пароход «Свердловск» заканчивает погрузку. С утра на его мачте развеивается отходной флаг — синий с белым квадратом внутри. На палубе, уставленной бочками, стоят два гусеничных трактора, на корме темнеют силуэты нескольких катеров и кунгасов.

Внизу, у пакгаузов, шумит толпа. Пассажиры готовятся к посадке. У трапа помощник капитана проверяет документы. Перед ним проходят мужчины и женщины, молодежь и старики. Рабочие с сундуками, накрепко зашитыми в холстину, женщины с узлами — по всем признакам люди, издавна прибывшие сюда, к берегу Тихого океана.

Разноголосый шум, крики, толчея царят на палубе. Все озабочены, все торопятся, — но у каждого на лице можно подметить торжественность и радость. Наконец-то на пароходе! Вероятно, каждый из пассажиров «Свердловска» не раз побывал до этого в белом здании, высящемся над портом, в котором помещается владивостокская контора АКО (Акционерного камчатского общества), не один день прожил он на Третьей речке, под Владивостоком, в общежитии для завербованных на Камчатку, прежде чем дождался своей очереди на пароход...

Около тысячи человек, наконец, разместились на судне. Кого здесь только нет!

На борту «Свердловска» — люди самых разнообразных профессий: от инженера до милиционера, от засольщика рыбы до дамского парикмахера.

Повара и продавцы, имеющиеся среди пассажиров, приступают к выполнению своих обязанностей тут же, на пароходе. Торговля в импровизированных ларьках, крышей которых служит корабельный тент, а стойкой — груды ящиков, идет довольно бойко, так как продажа производится по камчатским, пониженным ценам.

Утром, едва солнце озарило Владивосток и окружающие его со всех сторон высокие горы, «Свердловск» отшвартовался. Буксирный пароходик оттаскивает от стенки корму «Свердловска», затем он выходит на середину бухты.

Пароход тихо трогается в свой далекий путь.

Перед нами, как на ладони, вся бухта. Ее берега уставлены судами. Слева, на мысе Чуркина, высятся бетонная громада холодильника, одного из крупнейших в мире. Возле него стоит несколько сверкающих белизной пароходов-рефрижераторов, во главе с красивой «Пищевой индустрией», еще недавно носившей гордое название «Королевы Арктики» и ходившей под английским флагом. Десятки пароходов стоят у стенки судоремонтного завода. Вот одновременно с нами снимается в рейс новый ледокол-гигант «Лазарь Каганович». «Красин» стоит в бухте на рейде.

«Свердловск» плывет из Золотого Рога в Босфор Восточный, и мы видим за мысом Клета еще одну бухту — соседку Золотого Рога — с сонмом судов. Это — бухта Диомид, где стоит флот Наркомрыбпрома, краболовы, китобойная флотилия, транспортный флот АКО и рыбопромышленных трестов. Бухта полна жизни и уже сейчас является, по существу, второй гаванью Владивостока.

Маяк вблизи Русского острова. Выходим в море. Пароход проходит мимо скалы, высящейся среди моря. Это маяк Скрыплев.

Через несколько часов проходим остров Аскольд. Он очень красив, в его бухте виднеется селение, белый маяк прилепился на черных отвесных скалах.

На палубе уже гремит хоровая песня.

Широка страна моя родная... —

разносится над величавыми морскими просторами. Вдруг песня смолкает, все подбегает к борту, указывая пальцами в открытое море, смотрят в бинокли: вдали, гордо разрезая волну, идет советская подводная лодка.

Затем «Свердловск» берет курс на восток, к японским берегам. Мы идем на Камчатку Сангарским проливом, разделяющим японские острова Хонсю и Хоккайдо.

«Свердловск» везет груз и пассажиров на северо-восточный берег Камчатки, в залив Корфа, на один из рыбокомбинатов АКО. Пять баз этого комбината оживляются каждое лето во время промысла. Они имеют уже постоянное население, жилые дома, склады, мастерские.

Едущих туда можно разделить на «возвратников» — людей, отработавших на комбинате по договору три года, побывавших на материке и сейчас возвращающихся на Камчатку без всякого договора, и «отпускников» — возвращающихся из отпуска.

Вот один из них — Григорий Каркачев. В 1933 году завербовался он в г. Куйбышеве на Камчатку. Стал одним из активистов-строителей советской Камчатки. Был секретарем комсомольского комитета Корфовского комбината.

Во главе 15 комсомольцев взялся за постройку первого на Корфе жилого дома. Построили дом, перезимовали в нем. В следующем году стояло уже 15 комсомольских индивидуальных домиков.

Появились первые две улицы...

В августе 1937 года Каркачев вернулся на материк, поехал с женой в Иркутск, на ее родину, служил там на почте, тосковал...

Снова потянуло на Камчатку. Теперь уже «насовсем».

Русый застенчивый парень в синей робе, целыми часами простаивающий у борта, глядящий на море, привлекает внимание угловатыми, робкими движениями, таящими вместе с тем большую физическую силу. Он оказался камчатским каюром. Азьмука возвращается с курорта Боржом, впервые побывал в Москве. Под его началом более 200 ездовых собак Корфа. По накатанной дороге Азьмука делает зимой на нартах 25 километров в час, доставляя базам муку, продукты, снасти.

Азьмука возвращается на Камчатку с женой.

— Приеду, буду ставить дом,— говорит он,— довольно по общежитиям мотаться.

Не раз приходилось Азьмуке попадать во время санных путешествий в беду, питаться юколой вместе с собаками, замерзать в пурге, проваливаться под лед. Азьмука — стахановец советского рыбного промысла, он борется, если нужно, терпит лишения во имя социализма.

Алексей Азьмука родился в Приморье, неподалеку от озера Хасан, — в Барабаше. Брат его работает на Корфе с 1930 года, — перетянул и Азьмуку. Азьмука был матросом. В 1937 году он стал еще и каюром и словно обрел свое истинное призвание. Ибо не всякий может быть каюром.

— Собака на Камчатке, — говорит Азьмука, — большое дело. При наших снегах без собаки не обойдешься. С собакой нужно обращаться хорошо. Ударил собаку палкой по кости — и готово, она уже работать тебе не будет. Сколько раз бывало: побил каюр собаку, а

она целую неделю потом работать не может, только даром корми... Собака—животное умное. Выедешь на собаках зимой, обидишь их по своей халатности — они и не повезут. А если ударишь, совсем могут отказаться работать, — хоть замерзай в тундре.

Нет, бить собак нельзя ни в какую! Опять же нельзя соленым кормить. Бывает так: сорвалась с цепи собака, съела соленой рыбы, напилась, ее от воды разнесло. Сразу живот надо ей мять, иначе подохнет. Раз съела соленой рыбы, у нее обязательно шерсть слезет, и больше она уже не работник.

...Долго рассказывает каюр о своем любимом деле, и его слушает целая толпа молодых парней, никогда еще не ездивших на собаках.

Знакомимся на палубе с молодой женщиной. Это — Надя Подзырей, резчица рыбы. Она возвращается из отпуска. На Камчатке живет с 1929 года — приехала с родными. Она беременна, своего первенца она родит в заливе Корфа.

Едет «возвратник» Ефим Николаевич Ожерельев, директор Корфовского кирпичного завода. Рязанский крестьянин—ладно одетый, деловой человек.

— Возрос я в Москве и в Петербурге. В 1907 году убежал в Сибирь от урядника — хотел он меня, питерца, — с листовками я прибыл, — в тюрьму посадить. Жил я себе да работал в Кузбассе, в селе Черепанове, на кирпичном заводе, с тех пор я и являюсь кирпичным мастером... В 1935 году, неожиданно для самого себя, завербовался и поехал на Камчатку. Думал съездить на заработки в Среднюю Азию, в Ташкент. Но увидел: народ стоит — к вербовщику очередь. Я записался и поехал. С семьей...

Завербован был Ожерельев как промрабочий, — сила неквалифицированная.

— Вот так же на пароходе, как сейчас, было... Меня директор комбината — он с нами ехал — спрашивает: какой специальности? Кирпичный мастер? Нам такие нужны.

Прибыл Ожерельев в залив Корфа, на шестую базу. Вызвали его в контору

и спрашивают: можешь здесь кирпичное дело открыть? Есть ли тут глина? А то обманывали нас много. 13 тысяч рублей затратили и 13 тысяч кирпичей до сих пор только и получили. Да и тот кирпич неумело сложили, он в куче и сплился.

— Не знаю, какой у них там мастер был, ну, а на себя я надеялся...

Стал Ожерельев искать глину. Нашел.

Направили его в селение Тилички, к прорабу, который вел там строительство.

— Ты, правду говорят, кирпич умеешь делать? — спросил его прораб.

— Могу.

— А глина тут хорошая?

— Должна быть глина удобная.

— Переходи ко мне с семьей, я тебе дам палатку. Сделай тысячу кирпичей и обожги их.

Договорились. Ожерельев со своей семьей переехал с комбината в Тилички. Облюбовал себе в трех километрах от Тиличиков местечко. Соорудил свой «завод» в тундре. Здесь, под слоем тундры, Ожерельев нашел глину. Он не подозревал, что его находка оказалась исторической...

— Шел по берегу и все пробую обвалы, — рассказывает Ожерельев, степенно, не торопясь. — Глина удобная, хорошая, но с камнем. Там, на горке, думаю, должна быть без камня. Так я копаю себе, копаю. Выкопаю я могилу где на метр, где на полметра, где только на штык. Так и наткнулся на то место.

Стал Ожерельев работать. Сделал первую тысячу кирпичей. Снял слой тундры. Кирпич вышел хороший, крепкий, хотя и не дошел огнем.

— Но ведь это я просто жег,—значит, думаю, в горне кирпич совсем хороший будет!..

Прораб был человек строгий, недоверчивый. Стал он ножичком резать кирпич — не поддается... А прежде на Камчатке, рассказывал прораб, кирпич делали такой, что можно было ножом кирпич изрезать.

— Ну, теперь начнем работать! Начнем строить Камчатку! — сказал он.

Попросил Ожерельев себе лесу для строительства заводика. Услышали и на Корфе про успехи кирпичного мастера. Приехало оттуда все начальство на катере. Привозят продукты, дают 200 рублей денег, глиномяльные колеса, телеги. Прислали ему потом четырех рабочих. Ожерельев сначала не кирпич делал, а тундру расчищал, утрамбовывал глину, сушил.

На открытой площадке проработал он свое первое лето. У него был горн только на 10 тысяч кирпичей. В первое лето Ожерельев выпустил 60 тысяч штук кирпичей. Заключили с ним договор на 3 года, и он стал работать...

Когда Ожерельев уезжал на материк в отлукс, на кирпичном заводе было уже три горна, выпускали они в год 330 тысяч штук кирпича.

Кирпичные дома на Корфе и на всей Камчатке строятся теперь из этого же кирпича.

На кирпичном заводе работает уже 60 рабочих.

Таков Ожерельев, один из основателей кирпичной промышленности на Камчатке. Прекрасно понимая всю важность заселения полуострова, он ратует теперь за постройку ряда кирпичных заводов. Уже сейчас его завод снабжает кирпичом даже Петропавловск.

★

Уполномоченный Корфовского комбината Павел Григорьевич Бидюк целые дни хлопочет на палубе. Кому это плавание — вынужденное безделье, но Бидюку — большая забота. На его попечении тысяча мужчин, женщин и детей, которых надо довести до Корфа в полном здравии и благополучии, надо всех разместить, обеспечить горячей пищей. Бидюк, наконец, как представитель комбината, должен опросить каждого из едущих, определить его квалификацию, распределить заранее людей, присмотреться к ним.

И, кроме всего прочего, он должен быть тем агитатором и пропагандистом Камчатки, каким всегда и является уполномоченный комбината в подобном рейсе.

Бидюк — технорук рыбного промысла, он хорошо знает условия работы на Камчатке. Каждый новичок, обращающийся к нему с вопросом, получает ясный и убедительный ответ. Бидюк рассказывает едущим о заливе Корфа, который находится в 900 милях севернее Петропавловска. Там климат более суров, растительности на Корфе меньше, чем на юге Камчатки.

В 500 километрах от рыбокомбината в глубь Камчатки, вдоль по реке Вывенке (по-корякски эта река называется Вайям), растет тополь, ветла. Лес отнюдь не строительный, но за отсутствием другого он идет на строительство жилых домов и бараков.

Центральная база, в которой сосредоточено управление всего рыбного комбината, размещена на песчаной косе, называемой «кошкой». Эту кошку с одной стороны омывает море, с другой — лагуна, в которую впадает река. Вода в этой лагуне сильно запрещена. Живет на базе около 700 человек.

Служебные постройки, склады, паровые лебедки, при помощи которых вытаскиваются на берег рыбные кунгасы, электростанция, механические мастерские, жилые дома, баня — все это возникло на совершенно пустынном месте в течение последних лет. До прошлого года не было на Корфе, например, даже кроватей; рабочие спали на топчанах. Сейчас большинство рабочих зимует в отдельных квартирах, многие построили себе индивидуальные домики.

Зима на базах комбината проходит в подготовке к путине. Ремонтируются катера, кунгасы, чаны, в которых засаливается рыба. Зимние вечера коротаются в слушании радио. В семи километрах от главной базы комбината находится село Тилички. Здесь районный центр Олюторско-Карагинского района Корякского национального округа.

В Тиличках находится правительственная радиостанция, райисполком. Населения около 250 человек. Здесь же управление оленесовхоза АКО, обладающего 20 000 оленей.

Корфовский комбинат имеет 6 баз, обладающих неводами и небольшим

флотом. Речные базы сами рыбу не ловят, а только скупают ее у корякских колхозов.

Бидюк с увлечением рассказывает об этих рыбацких колхозах. Коряки никогда не выходили ловить рыбу в море и только сейчас, с помощью рыбокомбината, приступили к морскому лову рыбы.

Бидюк прибыл впервые на Камчатку в 1926 году в качестве рабочего частной фирмы «Люри». Как ловили тогда рыбу на Камчатке? В первых числах мая приходило к берегам Камчатки судно, оно привозило с собой тару, невода, соль. Все это вываливалось на берег, на скорую руку сколачивались бараки из фанеры. Рабочие мокли под дождями. Заработок рабочего составлял всего 47 рублей в месяц. Способы обработки рыбы были самые примитивные, лососей солили исключительно сухим посолом. Проходит три месяца. Опять приходит пароход — добыча вся погружена в трюмы, все снимается, вывозится, коса остается голой.

Так ловили капиталисты рыбу на Камчатке, нисколько не заботясь о полном освоении края.

Рабочие спали вповалку, пищи горячей не готовили совершенно. Фельдшер лечил все болезни только двумя лекарствами — касторкой и иодом...

Через 10 лет Бидюк не узнает своего Корфа. Построены бараки и дома для рабочих, клубы, красные уголки. Здесь бьет ключом советская культурная жизнь. Кино, физкультура, кружки самодеятельности, общественные организации. Корф имеет сейчас свой духовой оркестр, трансляционный узел. Выстроена новая бетонированная баня с трубопроводом, с электричеством.

Постоянное население комбината растет с каждым годом. Рабочие строят себе дома. Комбинат выдает каждому застройщику 5 тысяч рублей, в счет этой ссуды предоставляет лес, строительные материалы. Рабочим выдается в рассрочку крупный рогатый скот.

На комбинате имеется ферма; на кошке, в лугах, косят теперь сено для коров. На Корфе имеется также до 500 свиней. Некоторые из рабочих имеют корову и несколько свиней.

Ощущается недостаток леса. Стены домиков рабочие делают часто из ящиков; снаружи, чтобы было теплее, обкладывают домик торфом, — все это, повидимому, не красит вид такого дома. Внутри домики обтянуты материей, побелены. До прошлого года на Корфе были только железные печи с трубами. Сейчас, с появлением кирпича, начали класть настоящие печи.

Бидюк и его друзья рассказывают нам о жизни своего комбината. Зимой, в свободное время, все в клубе. Здесь идет техническая учеба — готовятся кадры мотористов и старшин, бригадиров неводас, с засольщиками рыбы.

На корфовских огородах, среди тундры, успешно выращиваются картофель, капуста, репа, морковь, свекла.

Никогда здесь не росло ничего подобного...

Зимой промышленляют охотой. Рабочие комбината проводят все свое свободное время на охоте на белых куропаток, белого зайца, лису. Союзпушнина организуется из рабочих комбината бригады, которые сдают пушнину государству. Птицу — в комбинатскую столовую. На берегах залива Корфа гостит неисчерпаемое количество перелетной птицы.

Зима на Корфе не жестока. Сказывается близость океана. Морозы достигают иногда 35 градусов ниже нуля. Обычно же бывает не более 22—25 градусов. Господствуют северные ветры. Лето короткое. До 1 июня не сходит снег, полностью он не исчезает все лето... В мае ночь уже настолько светла, что приемщики рыбы работают ночью без фонарей. Огороды засеваются с 1 июня. Картофель собирают в конце сентября, когда уже начинаются заморозки. Сено косят с 15 августа.

Летом пароходы бывают на Корфе каждый месяц. Зимой приходит только почта, ее доставляют на собаках.

Одного из лучших рабочих Корфа правительство недавно наградило медалью «За трудовые заслуги». Биография этого корфовца типична. Александр Заика прибыл на Камчатку мальчиком, с родными, в 1933 году. Стал учиться на икорного мастера. Освоил это дело. А дело очень тонкое.

Едущий с нами икорный мастер Иннокентий Александрович Черняев в длинные часы плавания посвятил нас в тайны своего мастерства. Икорный мастер следит прежде всего за тем, чтобы в икру не попало ни песчинки земли, ни кровинки. Икорный мастер должен собственноручно протирать икру. Есть для этого специальная бутара и подбутарник, в который сползает протертая икра. А кровь стекает вниз, сквозь течное сито. Потом икру погружают в тузлук, то-есть в раствор соли. Высыпают в него осторожно икру и быстро перемешивают ее веслом. «Так, чтобы она, икорочка-то, кипела ключом, перемешивалась...».

Если икра свежая, ее держат в тузлуке ровно 14 минут, если икра «старая», — дольше... Впрочем, каждый мастер имеет свои сроки. Икру погружают затем в корзиночки и ставят на стек. На стеке ее долго держать нельзя — может засохнуть. Тут тоже мастеру нельзя зевать! Потом высыпают икру в ванну, перемешивают ее с прованским или бобовым маслом со специями. На центнер икры полагается полкило масла. Оно придает икре рассыпчатость.

Немного глицерина — для блеска. Немного буры — чтобы стала суше.

После этого икру упаковывают в пергамент, в бязь, в бочки и откатывают на ледник — дожидаться парохода.

— Дело у нас тонкое: время временем, а часов и минут нельзя слепо придерживать... Главное определить чутьем — готова ли, хороша ли икорка...

— Как же вы определяете?

— А вот как: возьмешь ее в рот, начнешь тихонько так, задумчиво жевать... И если сладит она, то-есть соль внутри не прошла, — значит, хороша икра.

★

...На третье утро плавания «Свердловск» подошел к японским берегам.

Страна восходящего солнца встречает нас довольно тусклым рассветом: над горизонтом стоит дымка, солнце долго прячется в ней.

Не было и в помине богатства красок, которое так воспевают поэты Японии...

Вблизи острова Косима над нашим «Свердловском» появилась какая-то береговая птица. Население советского корабля, так истосковавшееся по земле, с восторгом приветствовало этого вестника твердой почвы... Птичка была похожа на нашего жаворонка. Но не заливалась она песней, подобно жаворонку. Она летела молча.

Доставляло неизъяснимое удовольствие наблюдать советский народ — мужчин, женщин, детей, высыпающих на палубу при появлении на горизонте земли и радовавшихся и этому чужому жаворонку, и этой чужой, омываемой морем и покрытой туманом земле.

Здесь, в Сангарском проливе, сильное встречное течение: видны две струи — одна темносиняя, другая темнозеленая, более пресная.

Через Сангарский пролив вода вливается из Тихого океана в Японское море.

Мы повернули вдоль Курильских островов на север.

На море стоит густой туман. Курильские острова закрыты. Больше не увидим земли до самой Камчатки.

В последние дни плавания нас встрянул изрядный шторм. Пенился, кипел океан. Волны грохотали, ударяясь о палубу. В эти часы население парохода «Свердловск» увеличилось на одного человека — у пассажирки Александры Петровны Ромахиной родился сын. Им отведена отдельная каюта. Они пользуются всеобщим вниманием и заботой.

Так шли дни.

«Свердловск» боролся со стихией, тяжело колехаясь на квадратной океанской волне, неуклонно продвигаясь вперед, к цели. Теплый дождь моросил над бескрайними просторами океана.

Скоро за темной стеной ливня покажутся высокие камчатские берега...

На борту «Свердловска» только и разговоров о предстоящем прибытии. Пароход, по пути на Корф, зайдет в Петропавловск-на-Камчатке, чтобы выгрузить там часть груза и принять запасы воды.

И вот однажды нас будят на рассвете. Сонные, полураздетые высказываем на палубу. Мы видим покрытые снегом горы, теснящиеся в беспорядке, круто падающие в океан...

Это Камчатка.

2

..Вот уже «Свердловск» осторожно входит в ворота Авачинской губы. Справа три высоких скалы — «Три брата». Затем среди множества маленьких бухточек, которыми изрезан огромный залив, показывается Раковая бухта. На берегу ее виднеются постройки, у берега стоит длинный ряд пароходов. Это Петропавловский судоремонтный завод, недавно построенный. Рядом с ним находится баночная фабрика, поставляющая жестяные банки для рыбоконсервных заводов всей Камчатки.

Раковая бухта находится в семи километрах от города.

А вот показывается и сам город. Крутой, покрытый деревьями мыс Сигнальный словно разрезает его на две части. Город стелется вдоль берега параллельными улицами, главным образом, одноэтажными рублеными домами.

Два вулкана — Авачинская и Корякская сопки — словно господствуют над живописной панорамой города.

«Свердловск» тихо приближается к берегу. Ему предстоит довольно серьезная операция — входить в маленький петропавловский ковш. Вот «Свердловск» осторожно входит в горло ковша, отделенного от остальной бухты с одной стороны Сигнальным мысом, естественной косой — с другой. На песчаной косе стоит памятник героям обороны Петропавловска против напавшей в 1854 году на город соединенной англо-французской эскадры.

В порту собралась большая толпа встречающих. Город расположен амфитеатром, и мы видим, что даже на улицах, прилегающих к порту, стоят кучки любопытных и наблюдают, как медленно и осторожно пришвартовывается пароход к берегу. Впоследствии мы узнали, что означает тут прибытие парохода из Владивостока: день этот становится

настоящим праздником для города. В особенности, когда приходит пассажирский пароход «Ильич». Все выходят встречать его, независимо от того, есть ли на нем кто-нибудь близкий. В «Ильиче» петропавловцы видят привет с материка, привет великой советской Родины...

В Петропавловске — центре Камчатской области — находятся все культурные и хозяйственные учреждения Камчатки.

На маленькой центральной площади города, где стоит зеленая колонна — памятник основателю города Берингу, — в небольшом двухэтажном деревянном доме разместился областной комитет партии. Здесь сосредоточено все руководство строительством новой жизни на Камчатке.

За Культурным озером, делящим город на две неравные части, находится так называемый АКО-поселок. Здесь в большом бетонном доме — управление АКО; здесь же расположены многочисленные жилые дома, склады и подсобные предприятия АКО.

...В Петропавловске мы познакомились с депутатом Камчатки — Зинаидой Ивановной Дьяконовой.

Сбивая снег с сапог, — на дворе конец апреля, но на Камчатке еще не сошел снег, — входим в прихожую. Зинаида Ивановна здесь только гость — она живет постоянно в Кихчике, на восточном берегу Камчатки. Я вижу лицо, несколько усталое, но свидетельствующее о внутреннем горении.

— Давайте «поцайпить», — предлагает она, улыбаясь.

«Поцайпить» — значит по-камчатски чаевать. Когда путешествуют зимой по Камчатке, каюры делают частые остановки, чтобы подкормить собак и «поцайпить» — согреться вскипяченным на костре чаем.

Не смея задавать вопросы, боясь нарушить ткань непринужденного рассказа, который звучит, как исповедь, я смиренно пью горячий чай из блюдца.

Вот слышен скрип шагов по снегу, хлопают двери прихожей. Кто-то мягко топает валенком о пол. Чья-то рука шарит по двери, ищет ручку. Посыльный

принес радиограмму. От мужа. Он болен. Но ехать нельзя — самолеты еще не летают.

Может быть, поэтому и шагает так нервно по комнате эта женщина.

Перед нами словно раскрывается, глава за главой, книга ее жизни.

..Бодайбо. Золотые прииски... В 1934 году муж завербовался на Камчатку.

Поехала с мужем.

— ...У меня было очень большое желание ехать на Камчатку, — говорит она о том, что было пять лет назад, и словно оглядываясь на пройденный путь. — Море меня не приняло. Укачало меня так, что трое суток лежала пластом. И уже когда высадились на берег, я и говорю мужу: «Больше я с Камчатки никуда не поеду».

Плавание, незнакомые дали, густые туманы, крики чаек и соленые запахи моря — все это было ново, все это захватывало и, может быть, пугало. И вот наконец низкий тундряной берег Камчатки. Охотское море, суровое и непокорное. Зинаида Дьяконова, надев резиновый передник, становится на рыбный промысел, на новую неведомую ей работу. Ее поставили за станок — отрезать рыбе голову... Привыкла. Потом ее назначили бригадиром мойки рыбы. «Вот где нужна была сноровка, и я ее получила!». На консервном заводе мыла рыбу. «Бережь ее так. Ловчишься. В общем, привыкла...».

Жили в общежитии, потом поселились в квартире, где жило еще четыре семьи. «Давай построим себе домик!» — сказала Дьяконова мужу. И Дьяконовы сами начали строить себе дом. Все на своих плечах выносили, — плотников тогда на Камчатке еще не было.

Оборудовали дом и зажили.

Осенью партийная организация выдвинула ее, как коммунистку, на работу в столовую — наладить общественное питание. Проработала там восемь месяцев, — вернулась на рыбоконсервный завод. Потом работала на уборке готовой продукции, на тарировке. И нигде меньше, чем на 200 процентов, программу

— Зарабатывала я много, до ста рублей в день. Муж тоже. Разбогатели мы, — говорит, улыбаясь, Зинаида Ивановна.

И вот ее, лучшую стахановку промышленности, выдвинули в депутаты Верховного Совета РСФСР.

«Патриотка Камчатки», «Наша передовая камчадалка» — называют ее в Петропавловске.

Когда Дьяконовы прибыли в Кихчик, была голая тундра. А сейчас, по их примеру, многие себе строят дома, устраиваются на лучшую жизнь.

Здесь, в городе, ее посещают избиратели. Она занята целые дни. Приехали рабочие, а их не отправляют по комбинатам. Комбинат имени Микояна не уплатил Болшерезкскому колхозу премию за перевыполнение плана — 99 тысяч рублей.

Выяснив, что на Камчатке лежит невывезенной около половины прошлогодней продукции рыбокомбинатов, Зинаида Ивановна дает телеграммы в Москву. Пишет товарищам Микояну и Бадаеву.

Множество вопросов, больших и малых, занимает депутата Камчатки.

★

В порту вся правая сторона ковша уставлена рыбацкими судами-сейнерами, дрейфтерами. Здесь же стоят кавасаки ближайших колхозов, прибывающие по делам в город с трюмами, полными серебристой рыбы. В ожидании покупателей колхозники сидят на палубе, курят трубки.

Здесь мы познакомились с рыбаками из ближнего колхоза «Рыбак-ударник» из бухты Жировой. Эта бухта находится на океанском берегу, южнее входных ворот Авачинской губы. Колхоз этот разместился у подножья Вилючинской сопки, в устье реки Вилючинской. Старшина кавасаки Петр Иванович Юдин жалуется:

— Смотрите, здесь, в городе, весна наступает, а мы совсем ведь рядом, а снег у нас еще и не сходил. И сейчас лежит, несколько метров тол-

Старшина рассказывает нам о том, как три года назад приехал он сюда из Куйбышева.

— Нам объявили, что облизполком и рыбацсоюз помогут. Получили мы пособие и поехали. Сначала неважно показалось. Оляха растет гнутая, низкая, коряжистая. Береза — только на сопках. С берега дует холодный ветер...

Это было 19 апреля 1937 года. Прибыло 30 семей. Начали устроиваться на новую жизнь. Поставили палатки. Сетей было мало, трудно было. Однако план перевыполнили. Приобрели сразу кавасаки, кунгас.

— Многого еще не знали. Например — есть ли в нашей бухте сеledка или нет? Выделили две бригады на сеledку. Неводишко был всего один, подъемностью тонны на три... Оказалась сеledка! Тьма ее тут!.. Я не думаю, чтобы я теперь когда-нибудь выехал отсюда. Нынче вот зимой учился, выучился на старшину кавасаки. Принял судно на 100 тонн!..

Он гордо оглядывает новое колхозное судно.

Повалил густой мокрый снег, он разукрасил снасти, покрыл одежду людей белым пухом.

— Вы интересуетесь, как мы живем. Так вот, так и пишете: жить можно здесь!.. Когда рыбу закончили, в сентябре, приступили мы к строительству, — не зимовать же в палатках. Пригнали по реке лес. Тополь. Пилили его. Построили 12 домиков. Сейчас у нас школа зарублена, и собираемся еще баню строить. Но выяснилось, что населения еще мало, — невыгодно у нас пока школу содержать, — строительство оставили. Детей в Петропавловск отправим... В первый же год у нас сразу тыщонки по четыре чистоганом осталось.

— А за 1938 год?

— Ну, тут не меньше семи тысяч осталось...

Познакомились мы еще с одним камчадалом — председателем рыбацкого колхоза, приведшего на продажу кавасаки, полный рыбы.

Иван Иванович Добрычев, председатель рыбацкого колхоза «Вилюй», невы-

сок ростом, внешностью ничем не напоминает человека моря, покорителя стихий. Мы знакомимся поближе, и оказывается, что Добрычев и впрямь не человек моря. Он — горьковский колхозник, всю жизнь свою прожил в заводских лесах.

Он рассказывал нам историю селения Вилюй. До 1924 года там не было никого. Затем поселилось 6 человек. Прибыли с материка. Основали рыбалку на реке Вилюй. Сами от себя, как одиночники. Рыбу сдавали тогда японцам — больше некому было.

Так жили до 1930 года. 13 хозяйств образовали колхоз. Место очень богатое, рыбное. Лосось заходит нереститься тут сразу в три реки: Вилюй, Малую Саранную и Большую Саранную. Они соединяются в своих верховьях с озерами, которые и служат нерестилищами для миллионов лососей. А в Вилюйском озере — оно соленое — сельдь рождается и никуда отсюда не уходит.

Большое озеро. А вокруг высокие сопки...

— Единственное, что нам мешает, — оторванность от города. Казалось бы — всего каких-нибудь 90 километров расстояния. Но на устьях рек — бары. Войти в реку можно только с приливом и в хорошую погоду. Иначе разбивает накатом кавасаки и кунгасы.

Зимой нартовой дорогой, на собаках, надо ехать в город вокруг всей Авачинской бухты — добрых полтора километра.

Климат Вилюя резко отличается от петропавловского. Вилюй стоит между сопки, в тупике, метрах в семистах от берега. Снега тут много. Весь май еще лежит снег. Здесь сажают картофель, капусту, огурцы, морковь, редис. Картофель сажают на Вилюе только с 1938 года. Сажают его на солнцепеке, а рядом земля еще покрыта снегом. И ничего. Отлично родит...

В Вилюе есть уже 50 голов крупнорогатого скота. Пастбища тут хорошие. Сенокосных угодий полно — в долинах рек и вокруг озер. На будущий год колхоз «Вилюй» решил купить пару лошадей. Есть 50 собак, что составляет 5 нарт. Зимой на них возят сено, дро-

ва, строительные материалы, лес. На сабах же ездят в город. В этом году открыли медицинский пункт. Есть начальная школа.

— Как же вы, Иван Иванович, стали камчадалом и моряком?

— Дело было так. Племянник мой тут учительствовал в колхозе. Пригласил и меня. На производство устроиться. Думал так: поеду, посмотрю. Морской жизни я никогда не видал, всю жизнь прожил в лесу. Вот плывем на пароходе. Штормит, люди валяются. Меня море не берет... Занятно стало. В море! Захотел я стать мотористом на катере. Окончил курсы. Однажды ведем мы на буксире пару кунгасов с товарами, возвращаемся из Петропавловска к себе в Виллой. Только вышли мы из Авачинской бухты в океан, за ворота, — начало нас бить. Сильнее. Еще сильнее. Вот уже заливают наши кунгасы. Завернули мы, пересадили людей с кунгасов на катер. Ведем кунгасы, а они уже залиты водой сплошь.

Пришлось Ивану Ивановичу самому стать на руль. Это было его первым испытанием, за которым не замедлило последовать много других. Бывали случаи — на море тихо, потом сразу разыгрывается западный ветер, самый опасный, или еще норд-остовый, когда суда прижимает к отвесным каменистым берегам.

— Плынешь себе часто и располагаешь: дойду или не дойду?

★

В Петропавловске мы познакомились также с Леонидом Всеволодовичем Дзержинским — человеком, пламенно влюбленным в Камчатку. Он руководит Камчатским областным передвижным кукольным театром. На нартах, на самолетах, на пароходах, на катерах, на лодках объездил он вместе со своей маленькой труппой самые глухие углы Камчатки.

В составе этой героической труппы: Борис Петрович Нежежин, Петр Васильевич Голынский, Зинаида Данилов-

на Котельникова и Елизавета Андреевна Сахарова. Кукловоды, массовик, баянист. Дзержинский раскладывает перед нами карту, на которой вычерчены маршруты театра. С 1937 года театр несет искусство детям Камчатки.

Самая интересная поездка театра была в 1938 году, когда президиум областного исполкома решил послать его в Чукотский национальный округ.

Что везти? С каким репертуаром ехать?

У кукольного театра был только русский репертуар.

Списались с Институтом народов Севера. Получили оттуда чукотскую сказку «Жадный ворон» и корякскую сказку «Хозяин и пастухи». Сказки эти старые, записаны они еще Таном-Богоразом. Под видом животных выведено царское чиновничество, которое обирало эскимосов и чукчей. «Жадный ворон» — это чиновник. С фуражкой и кокардой. А мыши — это охотники и бедняки. Мыши обманывают ворона. Накормили ворона кашей, он уснул. Разрисовали его смешно. Он проснулся у проруби, увидел там бабу, посмотрел в прорубь, начал бросать в нее кухлянку и бросился в прорубь сам...

Сказка «Хозяин и пастухи» разоблачает роль шаманства. Кулак стоворился с шаманом, как лучше обмануть двух братьев-батраков. Но один из этих братьев был сам достаточно хитер. Он подслушал разговор: хозяин хотел бросить их в прорубь...

Обе сказки рисуют то, что происходило на Камчатке до социалистической революции.

Театр выступал на Палпальской ярмарке. Эта ярмарка происходила 20 — 21 марта. В селе Пенжино стоит около 5 — 6 изб. Речка, небольшой горный хребет вдали. На открытом месте, под сопкой, разместились ряды нарт с юколой для собак. На ярмарку прибыло около 150 кочевников — коряков, ламутов и чукчей.

Ярмарка открылась митингом. Насколько зажиточными стали кочевники, можно было судить по тому, сколько товаров они покупали. Полные нарты добра.

Тут были одежда, посуда, свечи, чай, патроны, винчестеры, мука.

Здесь же состоялись традиционные состязания в беге. Надо было пробежать 8 километров по очень глубокому снегу. Пот лил с бегуна градом, обессиленный валялся он на снег.

Но зато какой почет ждал победителя!

И вот в эту самобытную среду, на эту ярмарку, ворвался... кукольный театр. Кочевники увидели удивительных говорящих кукол, услышали свои сказки. На родном чукотском языке!.. На Чукотке бывали уже артисты Малого театра, но они выступали на незнакомом чукчам языке. А здесь они услышали свои сказки на своем языке!

Нелегко было отправиться в путь такому театру. Но, когда люди горят желанием работать, для них нет никаких преград.

Как их слушали! Смех, радостные, удивленные восклицания. Впечатления были настолько сильными, что некоторые из кочевников выезжали вместе с театром дальше, на следующий пункт, чтобы там снова посмотреть выступление. А провожать театр съезжалось все население округи.

Непонятно, как могли эти двое горожан и две хрупких женщины вынести трудности такого турне, какого не совершал, вероятно, ни один театр в мире...

Сколько препятствий пришлось преодолеть, пока удалось все оформление уложить на нарты. Переделывали его неоднократно. Однажды уже выехали из Петропавловска на собаках и тотчас же вернулись обратно — потребовалось еще сократить оформление, оказавшееся все же громоздким.

За три с половиной года театр побывал в 172 населенных пунктах, дал 418 спектаклей, обслужил 60 тысяч человек. В клубах, в юртах и в землянках, иногда, чтобы понизить ширмы, кукловодам приходилось ползать на четвереньках.

Как слушали дети, как сильно бились их сердца!

Директор Анадырского краеведческого музея дал следующий отзыв о театре: «Воистину героическим театром

должно назвать театр, решившийся на труднейшее путешествие по Чукотскому полуострову. Долгое, тяжелое и опасное турне по Чукотке, несомненно, окупается той просветительной, культурной работой, которую выполняет, казалось бы, незначительный кукольный театр».

★

Целую ночь жадно читал я в маленьком деревянном домике «Камчатской правды», под мурлыканье строгого камчатского кота Кузьмы, путевой дневник четырех советских артистов, эту повесть о героических странствиях мастеров, несших искусство и культуру туда, где до сих пор никогда не бывал ни один театр.

Сказки, богатые своей народной мудростью, легко воспринимались кочевниками и были проводниками социальной правды в самых далеких углах Камчатки.

Четыре советских артиста делают свое дело, странствуя на собаках. То было плохо с кормом для собак, то пурга заставляла остановиться на ночлег в тундре. Забрался театр даже туда, где еще сильно влияние шаманов. Мест таких мало, влияние это ничтожно, но все же оно еще существует. В Кичиге, например, пришлось показывать куклы перед ширмой, потому что шаманы распространили по тундре слух, что куклы действуют волшебством. В Анапке пробирались по долу, ветер в котором достигает такой силы, что иногда сносит нарты с собаками, людьми, табуны оленей — прямо в океан...

В Хайрюзове один из жителей записал: «...Желаю, чтобы кукольный театр на следующий раз поставил пьесу «Ревизор» и много других пьес. Я благодарю Иосифа Виссарионовича Сталина и тех, кто ставил эти пьесы. Меркушев Михаил».

★

Советский гидрограф Александр Иванович Морозов занимается исследованиями вулкана Кеудач на юге Камчатки. Кратер этого вулкана представляет

собою не конус, а громадную кольцеобразную воронку в 9 километров в поперечнике. Геологи считали, что Кеудач—вулкан потухший. Но вот в 1907 году тут произошел колоссальной силы взрыв. Было выброшено громадное количество рыхлой вулканической массы и пепла, который покрыл плотным слоем снег и долго мешал местным жителям—километров на 100 вокруг — ездить на нартах.

В Париже и ряде других крупных городов Европы были замечены в то лето «кровавые зори». Они образовались в связи с загрязнением воздуха этим вулканическим пеплом.

Морозов побывал на Кеудаче и на Курильском озере.

— Это, — говорит он, — самое красивое озеро на Камчатке.

Оно плещется среди вулканов и диких гор, у подножия горы Дикий гребень. Посредине этого озера торчит пик, называется он Сердце Алаида.

Алаид — остров Курильского архипелага.

Есть древняя легенда, что на месте этого озера стоял вулкан Алаид, но он поссорился со своими соседями — и перешел жить в Охотское море, к Курильским островам, а сердце свое — оставил здесь.

Вокруг Курильского озера очень много медведей. Весь пляж покрыт следами лежбищ — формы медвежьих тел выдавлены в песке... Похоже, что они тут пляжились, играли, боролись.

На Курильском озере есть две горячие бухты — затопленные горячие ключи. У самого озера находится Ильинская сопка. Она имеет высоту 800 м. Ее конус отражается в озере, как в зеркале. На северо-восточном склоне сопки — громадная воронка взрыва, от нее идет пар...

— Если бы вы знали, какое это счастье — бродить по Камчатке!..

★

... Неподалеку от Петропавловска расположился совхоз АКО, являющийся опытным агрономическим центром Камчатки. Заместитель директора сов-

хоза Иван Николаевич Шибанов водит нас по хозяйству. Совхоз снабжает город свининой, молочными продуктами, овощами, поставляет в рыбокомбинаты и совхозы племенной молодняк.

Совхоз быстро растет. Уже сейчас ему тесно на склонах гор. А прямо впереди — тундра площадью в 500 га.

Мы проходим мимо голубятни. Голубей на Камчатке никогда не водилось. В 1936 году их завезли сюда впервые. Говорили камчатские старожилы, что голуби жить здесь не будут. Но оказалось, голуби чувствуют себя на Камчатке неплохо, хорошо размножаются.

Наиболее интересный участок совхоза — фруктовый питомник. Нам не раз приходилось слышать о нем еще на материке. Некоторые досужие литераторы даже писали, что там растут не только яблони и груши, но чуть ли не апельсины... И Семен Черненко, воспитатель этого своеобразного камчатского сада, которого мы застаем за очисткой деревьев, сразу же начинает сетовать по поводу небылиц, распространяемых некоторыми литераторами, кстати сказать, никогда в этом саду не бывавшими.

История этого камчатского сада такова. Его заложили в 1932 году. Притом сразу же заложили неверно. Не перепахали даже почвы, садили прямо на целине. Тепла в почве мало, а на целине его еще меньше.

Сейчас решено всю целину, на которой разбит сад, поднять — растениям будет теплее.

Деревья живут в петропавловском саду не очень хорошо. Мешают им глубокие снега. Снег выпадает тут глубиной не менее двух метров. Весной, когда снег начинает таять, осаживаться, — он так и тянет за собой ветви деревьев. Поэтому каждую осень приходится связывать ветки в пук и ставить специальные палки-«снегосады».

Из яблонь тут растет анис, китайка, астраханка, много яблонь неизвестных пород. Сейчас уже сделана прививка 25 мичуринских сортов.

Вызревают ли яблоки на Камчатке?

Дать ответ на этот вопрос пока трудно — невелик еще опыт. Известно лишь,

что в 1937 году на двух яблонях вызрело семь яблок. Между прочим с этими семью яблоками, впервые выращенными на Камчатке, произошла неприятность. Хотели их отправить на материк, в Хабаровск, на выставку, но их украли — кто-то в конторе совхоза ими полакомился... Лето 1938 года было хорошим для созревания фруктов, но во время цветения яблонь — два дня (15—17 июня) — штормило. Дождем сбило весь цвет, сломало несколько деревьев.

Черненко пытался искусственно опылить несколько цветков, но и это не дало никаких результатов. Получены были только плоды яблони ранет, потому что ранет цвел немного позже и во время шторма не сбило пыльцу.

Сроки же вызревания для яблонь на Камчатке вполне достаточны.

Растут еще в саду сливы — черные, манчжурские, уссурийские. Черная слива в 1938 году цвела впервые и дала первые пять плодов. Растет в саду красная смородина двух сортов, крыжовник, малина. Эти кустарники плодоносят хорошо.

Каковы перспективы камчатского садоводства? Здесь нужно внедрять исключительно мичуринские, устойчивые сорта. Кроме того, высаживая, придавать деревьям стелющую форму. Самый теплый слой в воздухе находится в 18—20 сантиметрах от земли, — утренние заморозки во время цветения не будут губить урожай.

Колхозы Камчатки осаждают сад просьбами снабдить их кустами смородины. Во многих колхозах есть уже ягодники.

Петропавловский сад занимается также культивированием местных ягод. Такова, например, жимолость. Варенье из ее ягод, действительно, отменное. Такова также местная карликовая рябина. В прошлом году ее опылили здесь культурной рябиной.

Наконец, цветы. Они хорошо выращиваются в парниках. С середины июня, когда прекращаются утренние заморозки, их пересаживают в грунт. Мы видели астры, левкой, гладиолусы, геор-

гины. Но семена на Камчатке дают только виола, васильки и настурция. Остальные не вызревают.

... Мы ходим по камчатскому саду. Суровость природы сказывается на деревьях. Вот груша. Ей семь лет, а выглядит она двухлетней. Кончики некоторых из ее веток почернели — схвачены морозом.

И Черненко тут же, на наших глазах, обрезает омертвевшие кончики веток...

★

В 1940 году Петропавловску исполняется 200 лет.

Каждое утро его жителей будит стук парового копра. Это вбивают сваи на строительстве портового холодильника.

Красива незамерзающая, опоясанная сопками Авачинская бухта.

Мишенная, Петровская и Никольская сопки, на склонах которых разбросался этот самый восточный город Советского Союза, как и вся наша великая родина, полны деятельной, созидательной жизни.

Пройдут годы, и молодой сад, в котором работает сегодня Черненко и его друзья, вырастет и расцветет, как расцветет и заблестит вся Камчатка.

3

Обогнув Культучное озеро, мы выбираемся на шоссе, соединяющее город с теми редкими селениями, которые более трех столетий назад были основаны русскими казаками в долине реки Авачи. Вот уже осталось позади большое серое здание управления АКО, гаражи, маленькие деревянные домики, типичные для здешних мест. Это улица Микояна. На подтаявшем у берегов льду Культучного озера еще торчит зеленый квадрат вешек, обозначивших границы городского катка.

За хлебозаводом наша машина — поблескивающая черным лаком «эмка» — мчится сквозь ущелье между двумя сопками, охраняющими город от злых западных ветров, и выбирается на простор. Справа высятся покрытые снегом Коряжский и Авачинский вулканы. Си-

реневая пирамида Корякского вулкана спокойна, но из кратера Авачинского курится легкий дымок. Последнее извержение его состоялось в ноябре 1938 года.

Направо, в долине, живописно разбросаны постройки Петропавловского совхоза АКО.

Шоссе, по которому мы едем, построено недавно. Прежде тут была лишь обычная охотничья тропа. Покрытое морской галькой шоссе тускло поблескивает впереди. Машина идет полной скоростью. Если бы не необычная панорама двух вулканов-близнецов, господствующих над сонмом других более мелких сопков, да не лазурь океана, полосой обводящая горизонт, можно было бы и забыть, что едешь по Камчатке. По сторонам шоссе редкий, изломанный березняк с зелеными пятнами стелющегося по земле кедрача. Вот, в нескольких метрах от дороги, лежит огромный, вросший в землю камень. Гранит? Нет, это — кусок застывшей вулканической породы, который Авачинский вулкан выплюнул когда-то из кратера сюда, за 35 километров от себя!.. Мы встречаем затем немало таких характерных, пористых глыб на своем пути. Этот первый, который мы рассмотрели, должен весить не менее 200 тонн.

На шестом километре от города стоит несколько домиков. Леспромхоз. Здесь находится база для экспедиций и экскурсий, совершающих восхождение на Авачинский вулкан. Рабочие леспромхоза — первые наблюдатели извержений, о которых они тотчас же и сигнализируют в город любителям-вулканолагам.

Затем показывается дельта реки Авачи, впадающей в Авачинскую губу. Река стиснута сопками, пустынными, покрытыми снегом. Ее долина еще покрыта снегом, но лед давно уже исчез, и мутные вешние воды стремительно стекают в нее с гор.

На обочине шоссе, среди деревьев, на двух высоких столбах, висит вывеска, извещающая проезжего, что здесь, в этом березняке, помещается питомник ездовых собак Камчатского управления связи. Собаки — почти единственный

вид камчатского транспорта зимой. Одни нарты с восьмью собаками мы уже встретили на пути. Камчатские собаки еще не привыкли к автомобилю. Они мечутся из стороны в сторону, и каюр не в силах успокоить их.

Дорога извилиста, она вьется со склона на склон над стылой, мутной рекой, которая скоро здесь будет заполнена лососями, идущими в верховья метать икру.

Срезы на горных склонах, по которым проложено шоссе, обнажают удивительную здешнюю почву — серый вулканический пепел. Во время извержений Авачинского вулкана лава стекает по так называемой Сухой реке в океан и совершенно безопасна для Петропавловска. Отдельные боковые потоки лавы стирают на своем пути целые леса. Остатки такого уничтоженного лавой участка мы видим вдали.

Спидометр отсчитал 30 километров, и впереди показалась переправа через реку Авачу. Желтеет новенький паром. Течение так быстро, что паромом, с помощью троса и блока, легко управляет один человек. Паромщик не очень охотно переправляет паром на нашу сторону, так как увлечен рыбной ловлей: мы видим издали, как он черпает своим неводком серебро... Это гольцы — хищная рыба, поедающая мальков лосося. Она входит в реки на нерест раньше лососей.

На противоположном берегу Авачи — село Елизово, названное так в честь камчатского партизана-большевика Елизова.

Дорога от Елизова очень живописна. Она напоминает шоссе вблизи Гагр, на Кавказе. Но вместо Черного моря — мутная, холодная Авача, ее покрытая снегом долина и сопки, сопки без конца и края. Слева, над самым шоссе, — горный склон, покрытый густым, еще голым лесом и молодыми, недавно вылезшими из земли ростками папоротника. Растительность рвется здесь вверх буйно, словно стремясь наверстать потерянное поздней камчатской весной.

Выше шоссе и лесов, на естественной громадной террасе, расположено озеро. А за этим озером — снова лес, снова

горный склон, скалы, в которых живут стада горных баранов. Над этими скалами уже ничего нет, кроме рыхлых облаков... Они стоят неподвижно, словно венчиками обрамляя вершины сопков...

Село Коряки не похоже на обычные русские села. В нем нет улиц, нет плетней или заборов. Серые бревенчатые дома, многие из которых крыты волнистым оцинкованным железом, стоят в самом фантастическом беспорядке. Они разбросаны на берегу разветвляющейся здесь на два рукава реки. Нас не встречает ни собачий лай, ни любопытные жители. Мы подъезжаем к новому зданию с большими городскими окнами. Открываем новую, скрипящую дверь. Мы в правлении колхоза имени Второй Пятилетки. Навстречу встает с табурета председатель колхоза — Иван Филиппович Осьминин. Один из потомков отважных русских казаков, которые более трех веков назад колонизовали этот край.

Установив личность гостей, председатель становится чуть ласковее, но отнюдь не разговорчивее. Скуной на слова, он предпочитает отвечать на вопросы, вместо того, чтобы рассказывать. Мы обходим с ним колхозные конюшни, ферму, свиноферму, парники — все это, как в обычном хорошем колхозе на материке. Добротные постройки, сооруженные без щедрой помощи государства. Здесь же стоят два гусеничных трактора — этот колхоз обслуживается недавно созданной Камчатской МТС. Стадо пестрых ярославок пасется на лугу, где нет еще ни одной зеленой травинки, но много желтого, прошлогоднего хвоща.

Рядом с гусеничным трактором стоят опрокинутые набок нарты. Около них озабоченно возится член правления колхоза Иван Иванович Селиванов. Завтра поутру Иван Иванович, во главе своей бригады, отправляется на собаках в сопки за медведями. По плану в этот выезд нужно убить восемь медведей — каждому колхознику на трудодни выдается медвежье мясо.

Охота и рыбная ловля веками были единственными средствами существования камчатских селений. Сегодня охота

и рыбная ловля становятся только одним из источников дохода, хотя и очень важным. Соболь, красная и чернубуря лисица, медведь, горный баран водятся здесь в изобилии.

Здесь всегда жили покупным хлебом. Живут и сейчас. Но скоро перестанут. В 1938 году в долине Авачи впервые была посеяна пшеница. Это было дивом для молодых и для стариков. Они никогда не видели, как растет хлеб. Когда пшеница заколосилась, люди ходили каждый день в поле смотреть... А когда собрали первый урожай, — так захотелось попробовать камчатского хлеба, что молотли зерно на кофейных мельницах и мясорубках (мельниц на Камчатке ведь нет!).

В верховьях реки Камчатки, в селе Мильково, есть опытная сельскохозяйственная станция. В 1936 году эта станция занялась зерновой проблемой на Камчатке. Сейчас на примере колхоза Коряки можно видеть, что Камчатка скоро будет иметь свой собственный хлеб.

До 25 мая на здешних полях лежит снег. Первые заморозки наступают уже в конце августа. Хлеб не успевал созреть. Сейчас в каждом колхозе Камчатки применяется слонка снега. На полях снег посыпают золой или землей, чтобы он быстрее стаял. Это позволяет колхозникам выезжать на поля на 25 дней раньше, чем прежде. Введены также скороспелые сорта зерновых культур. Все эти меры позволяют камчатской пшенице созревать за 80 дней вместо обычных ста.

Корякский колхоз имеет уже 57 гектаров посевов, 66 голов скота, 35 лошадей. Если вспомнить, что каждый гектар пашни пришлось отвоевывать у природы, выкорчевывая леса, это говорит о многом. Каждую лошадь и корову приходилось завозить с материка так же, как и каждый килограмм семян...

Кроме 29 семей местных уроженцев, есть в селе Коряках уже 6 дворов «приезжих» — переселенцев. Количество их быстро увеличивается. Колхоз строит сейчас 20 новых домов — целую улицу для новых переселенцев.

...Наступает вечер. Лают голодные собаки, привязанные на лугу к кольям. Возвратились с рыбной ловли два брата — лодки, выдолбленные из целого бревна. Четыре рыбака за полчаса поймали по крайней мере полтонны трепещущих серебристых гольцов. Хватит на ужин колхозника и на корм собакам. Плотники, строящие здание почты и поселок для переселенцев, тоже закончили свой трудовой день. Все собираются на поляне перед магазином АКО. На поляне начинается тот замечательный импровизированный обмен мнениями, который так присущ русскому селу и русским сельским завалинкам...

Старик-охотник Михаил Никитич Слободчиков рассказывает новым жителям села и гостям из Москвы о времени, когда летом, запасшись рыбой и сеном, уходили всем селом в сопки за зверем. Из его рассказа встает перед нами этот щедрый и сказочно богатый край, где и человек, и зверь — все ходят у рек, промышляя рыбу, заходящую из океана метать икру. Старик вспоминает дни погони за чернобурыми лисицами, любящими бродить по берегу Авачинской губы, где море щедро выбрасывает на берег всякую всячину... Описывает охоту на горных баранов, забирающихся на неприступные скалы и гордо глядящих оттуда на охотника: они не подозревают, что пуля может догнать их и там... Об орлах говорит старик зло. Они наносят колхозу огромный ущерб. В эту зиму орлы сожрали 29 лисиц, попавших в охотничьи капканы.

Ночуем мы у председателя. Дом его просторен и чист. Белые скатерти, вышитые полотенца, патефон, швейная машина, радио, книги. На столе лежит раскрытая книжка о московском метро. Вся семья председателя, как и каждого колхозника, одета по-городскому: ботинки, галоши, трикотаж, сшитое на фабрике платье. Даже торбаза — непромокаемые самодельные сапоги, необходимые на охоте, — заменены резиновыми сапогами.

От каждой мелочи быта веет городской культурой, хотя эти люди никогда

не бывали в городах. Эта городская культура чувствуется здесь больше, чем у колхозника на материке. И о прошлом, когда не магазин АКО, не государственная фактория, а американские купцы да японцы были безраздельными хозяевами пушного рынка и торговли, напоминают в доме председателя только купленные еще отцом американский винчестер да американская керосиновая лампа, квадратная, с широким, не нашим стеклом.

Никогда в жизни не был хозяин на материке, никогда не видел поезда, трамвая. Преодолевая свою природную замкнутость, Иван Осьмилин долго не дает нам заснуть, расспрашивая о Сталине, о Москве, о жизни, которую он знает только по книгам и радиопередачам.

— Неужели, так я и умру, как отцы и деды мои, и не побываю в России, в Москве, не повидаю Кремля... — бормочет он, засыпая.

4

Гидросамолет отправляется из Петропавловска в Усть-Камчатск. Сначала машину спускают на колесах в воду по специальному помосту, затем рабочие гидропорта в водолазных костюмах входят в море по грудь и отвинчивают колеса. И летающая лодка начинает свободно колыхаться на морской волне, ожидая пассажиров, добирающихся к ней на маленькой шлюпке. Пассажиры занимают места в кабине, похожей на каюту. Окна в ней маленькие, круглые — как иллюминаторы на корабле. Смотреть в них приходится сверху, ибо устроены они низко, на уровне кресла, в котором сидишь. У раскинувшегося на песчаной косе большого ангара стоит стартер с красным и белым флажками, которые ветер вырывает у него из рук.

Настает минута старта. Уши заткнуты ватой — улавливаешь только ровный, приглушенный гул мотора да мелкую, частую дрожь всего корпуса летающей лодки. Спокойное море, зеленевшее только что в иллюминаторах, стало бурным, пенистым, белым. Само-

лет выбегает на величественный простор Авачинской губы. Крутой вираж — самолет делает круги, набирая высоту. По стеклу иллюминаторов текут капли — последние следы волн, на которых мы только-что колыхались. Горы, окаймляющие огромную Авачинскую губу, видны, как на ладони. За желтым обрывом сопки открывается город, строгие ряды улиц, цинковые и тесовые крыши домов, возделанные гряды огородов, серая лента шоссе, черные вспаханные поля.

Гидросамолет держит курс прямо на север. Лес, покрывающий склоны сопки, виден отлично — можно заметить не только стволы деревьев, но и каждую ветвь кроны. Происходит это потому, что лес, несмотря на июнь, еще голый, не распутившийся.

Справа ползут горы, горы — хребты и ущелья. Чем дальше самолет продвигается вперед, тем все больше и больше снега. Понятно теперь, почему даже сейчас, в разгаре лета, охотники камчатских сел отправляются на охоту с нартами и собачьими упряжками.

Гидросамолет летит на такой большой высоте, что простым глазом ощущаешь покатошь хребта, наклон к океану, а река Жупанова, большая всамделишная, мутная, кажется только круто стекающим с горы ручейком. Горы, нагромождения их, острые ребра хребтов, расщелины в них — все это кажется макетом, 'сделанным из папье-маше. Изредка видна хижина охотника, стада мирно пасущихся диких оленей.

Реки, множество рек впадает в океан. Каждая из них вливает свою сладкую воду в соленый океан, мутит его, привлекая неисчислимыя стада лососей.

Летающая лодка несется на север. Вот новый ландшафт. Еще суровее. Еще круче склоны ущелий.

Суровы и прекрасны эти горы. Не мертвы, не пустынные берега, которые они образуют. Вблизи устьев рек видны геометрически правильные перпендикуляры неводов. Целые ватаги судов возле каждого из них. Видны кунгасы, кавасаки, берушие рыбу, видны береговые поселки и дымящие трубы консерв-

ных заводов. Рыбацкий пароход с белой каймой на трубе идет к берегу, оставляя за кормой белый пенистый след.

Вскоре за одинокой скалой, похожей на статую, открывается гладь Камчатского залива. Он окаймлен покрытыми снегом хребтами, дельта реки Камчатки, примыкающая к нему, тоже пестрит еще белыми пятнами снега.

Покружив над изумрудной дельтой реки Камчатки, гидросамолет, наконец, садится на ее мутные, стремительные воды. Продрогшие пассажиры снимают меховые куртки, вытаскивают вату из ушей. На берегу их встречает чуть ли не все население Усть-Камчатска. У одной из девушек в руках большая ветка цветущей черемухи. Снег и цветы мирно живут здесь рядом.

Тут не может быть незнакомых людей. Каждый протягивает руку для братского рукопожатия. И как же крепко гость ее пожимает...

5

Достаточно бросить взгляд на реку Камчатку при ее впадении в Тихий океан, чтобы в памяти тотчас же возникла Северная Двина у Архангельска. На левом берегу Камчатки, на узкой косе, отделяющей ее от океана, стоит Усть-Камчатский рыбоконсервный завод № 1, принимающий рыбу и с реки, и с моря. За заводскими корпусами, вдоль берега, тянутся улицы поселка, пристани, склады, срубы, собранные из сплаваемых с верховьев реки бревен лиственницы. У берегов, то тут, то там, небольшие плоты.

Все это похоже на архангельскую Бакарицу.

На правом берегу реки Камчатки стоит пока только село Усть-Камчатск — центр одного из самых богатых районов Камчатской области. Здесь — рыба, лес, пушнина, сельское хозяйство.

Ниже села, в одной из протоков, стоит на косе завод № 2.

Население Усть-Камчатска почти сплошь состоит из рыбаков колхоза имени Сталина, вероятно, самых зажиточных в Советском Союзе. Сейчас, в

дни рунного хода лосося, широкие сельские улицы пустынно. Рыбаки переселились на острова и косы.

Чтобы попасть на остров Пьяный, где промышляет большинство колхозников, нужно полчаса плыть на катере вниз по реке. Катер проходит мимо Собачьего острова. Вдоль берегов его привязаны к столбикам ездовые собаки колхоза. Здесь их летний «курорт». Сотни собак оглашают остров, носящий их имя, громким, надрывным лаем и воем...

Вот и остров Пьяный. Новые дощатые домики построены нынешним летом. До сих пор рыбаки жили тут в палатках. На низких крышах домиков лежат деревянные утки — приманка во время охоты. У самой воды сушатся на вешалах сетки.

Зеленая лодка бригадира Ивана Степановича Швайковского тихо отчаливает от острова. История «камчадалства» бригадира типична для здешних рыбаков. Родом из Белоруссии, он работает в 1933 году в Москве на заводе «Серп и молот». Вербуются на Камчатку. Два года прослужил Швайковский милиционером, а потом стал усть-камчатским колхозником. Иван Степанович награжден медалью «За трудовые заслуги». Здесь, у океанских просторов, у низин, окруженных величественными сопками, он хочет поселиться навсегда.

Лодка бесшумно плывет вниз по течению. Вода мутна — не разглядеть, не угадать, что творится в ней. А ведь сейчас наступает прилив, из океана входят сюда лососи — тысячи, миллионы серебристых рыб. Следуя мощному инстинкту размножения, они стремятся вверх по реке.

Рыбак оставляет весла и переходит на корму, берет сетку и бросает ее так, чтобы она преградила путь лососям. Ряд поплавок уже пересек реку. Конец бечевы, продетой через всю сетку, остается в лодке. Иван Степанович снова садится за весла и тихо гребет против течения, не давая сетке уходить вниз по реке. Но течение все-таки потихоньку относит и лодку с гребцом, и сетку. А ловля рыбакам разрешена

только до флажка, торчащего из воды. За флажком начинается запретная зона, и инспектор Дальрыбы зорко следит за тем, чтобы соблюдались правила, борется с хищническим ловом.

Рыбак тихо и задумчиво гребет. С океана дует свежий ветер. Худощавый, рослый Иван Степанович одет тепло, — под ватником видна куртка, на ногах огромные, с раструбами, резиновые сапоги. Изредка поглядывает он на сетку, на торчащие из воды «наплавки» (поплавки).

Через минуту-две после того, как выброшена сетка, лососи, запутавшись в ее ячейх, уже дают о себе знать. Наплавки то тонут, то всплывают, слышится плеск, из воды показываются рыбки хвосты...

Иван Степанович все гребет себе да гребет. Вот навстречу ему, на такой же зеленой лодке, плывет старик. В лодке целая гора серебра — улов отличный. И старик заодно кричит:

— Бригадир, ты бы ближе закинул, ближе!

Вдали маячит запретный флажок. Надо вытаскивать сетку. Иван Степанович снова бросает весла и переходит на корму. Опершись левой ногой о борт, он начинает тащить отяжелевшую сетку. В ее ячейх торчит красная: этот лосось всегда открывает здесь рунный ход, за ним следует кета. Одна, другая, три сразу, еще одна... Красивые, сильные серебристые рыбы бьют хвостами о дно. Лодка дрожит. Скоро Иван Степанович до колен закрыт живым, трепещущим серебром.

Сетка вытащена. В лодке — центнеров шесть живых лососей. Иногда в сетку попадает до 10 центнеров. Тогда приходится выбрасывать рыбу обратно в реку, так как она не помещается в лодке. Иван Степанович гребет, напрягая силы, против течения. Обычно путь к острову Пьяному проделывается под парусом, но сейчас ветер стих. Красная бьется в лодке. Кажется, что вся куча рыбы, запутавшаяся в ячейх, живет. Рыба, находящаяся сверху, скользит по куче. Она пытается выбраться отсюда.

У некоторых лососей видны глубокие, кровоточащие раны, сначала кажется, что это икра. Но нет, это следы нападения нерпы.

— А, и тебя нерпа полоснула! — говорит Иван Степанович, увидев еще одну израненную красную.

Нерп множество. Живется им здесь привольно. Они настолько избаловались, что едят только головы лососей — самую жирную и вкусную часть рыбы. Увидев застрявшего в ячее лосося, нерпа отгрызает ему голову, оставляя рыбаку туловище.

Иногда в сетку попадает корюшка. Прежде чем выбросить ее за борт, Иван Степанович обязательно поднесет ее к носу и долго нюхает: корюшка пахнет, точь в точь как свежие огурцы, напоминая ему о Белоруссии.

... Бригадир возвращается с уловом. Долго гребет он против течения. Вечерет. С берега доносится вой голодных сббак. Вот две проказницы, отвязавшись, осторожно пробираются по лагуне, направляясь к сетям с рыбой. Из воды виднеются только их поднятые кверху черные головы да кольцом свернутые пушистые хвосты.

Наконец лодка коснулась береговой гальки. Надо распутать сетку, освободить из ячей рыбу. Слышен стук перебираемых наплавов о борт лодки. Вот сетка распутана и снова сложена на корме. От рыбьей крови грязная вода на дне лодки приняла цвет заправленного сметаной украинского борща...

Иван Степанович подплывает к причалу, где идет приемка рыбы, и занимает очередь борт о борт со встретившимся ему стариком. Здесь стоят весы, на которых взвешивают только редко попадающуюся чавычу — самого благородного и крупного из лососей. Вес чавычи достигает 15 и более килограммов. Красную же и кету принимают поштучно, два-три раза в день взвешивая отдельные экземпляры и переводя сдаваемую рыбу в центнеры по среднему весу. У причала покачивается баркас, полный принятой рыбы. Тут же стоит наготове катер, который потащит баркас вверх по реке, на рыбозавод № 1.

Рыбак, до которого дошла очередь, ловко накалывает рыбу на «пику» и перебрасывает ее из своей лодки в заводский баркас. Он молча считает. Вместе с рыбаком считает шопотом рослый приемщик, кутающийся в модное городское пальто, сшитое в Москве или Ленинграде.

Колхоз имени Сталина получает по рублю за каждого сданного лосося. Из этого рубля 75 копеек идут колхознику. А некоторые рыбаки сдают сейчас, в дни рунного хода красной, по 500 — 600 лососей в день...

Вот рыбацка в голубой косынке, зеленой вязаной кофточке, синих ватных штанах и резиновых сапогах помогает мужу «переливать» рыбу. На лице ее радость, в глазах задорный блеск, сильная спина красиво изгибается при каждом движении.

Чтобы на реке не было толчеи, рыбаки выбрасывают свои сетки и спускаются с ними по очереди. «Очередь» — сгрудившиеся посреди реки лодки — является чем-то вроде пловучего рыбацкого клуба. Здесь, на плаву, читают вслух газеты и сообщения ТАСС, принятые местной радиостанцией. Тут же устраиваются и производственные совещания. В этом пловучем клубе можно услышать иногда и бойкий рассказ выдавшего виды камчадала о приключениях на охоте, в сопках и т. д.

... Не зажиточность, а настоящее богатство видишь здесь на каждом шагу. Рыбаки, их жены и дети одеты в отличное городское платье. Рыбачки даже на работе в дорогих вязаных кофточках.

В летних рыбацких домиках на косе увесистые пачки центральных газет. Пусть для москвича они давно устарели — здесь их внимательно читают. Толстые журналы, книги из собственных библиотек. Чувствуется, что многие усть-камчатские колхозники отнюдь не прирожденные рыбаки, а горожане, демобилизованные красноармейцы, бывшие служащие, рабочие промыслов и т. д. Но лов рыбы в реке несложен, каждый тут быстро осваивается: требуются лишь трудолюбие и здоровье.

Колхоз имени Сталина — уже миллионер, он быстро растет и богатеет. На Камчатке очень редки грабежи и убийства. Но вот в прошлую ночь на окраине Усть-Камчатска нашли старика с отрубленной головой. Грабители забрались в его дом и завладели деньгами старика — всем известно было, что рыбацк этот не держит своих денег в сберкассе, он запрятал свои сбережения под половицу. А было у него этих сбережений — 200 000 рублей...

... Вечером Иван Степанович едет в правление колхоза. На окраине села он оставляет лодку и идет вдоль берега. То-и-дело приходится ему сходить с тропинки: вода все время подмывает берег, обваливаются целые глыбы, увлекая за собой и тропинку, и часть заборов. Река подбирается к рыбацким домам.

Вечер черной теневой полосой надвигается с дальних лесов на усть-камчатские низины. На берегу, на помосте, резко выделяются силуэты ребятишек с удочками. Две девушки в лихо заломленных беретах проходят мимо. Мальчик сидит на ступеньках крыльца и играет на баяне что-то степное, протяжное, русское. Немного поодаль колышется охраняемая часовым японская шхуна — нарушительница границы. Она выкрашена в стальной цвет, ее борты завешаны рогожами и цыганками. На рубке грубо намалевано восходящее солнце — красный полукруг с толстыми, радиально расходящимися лучами.

6

На тусклом морском горизонте темнеет силуэт корабля, промышляющего крабов. Мы отчаливаем от западного берега Камчатки, низкого, тундрового, с белыми пятнами снега. Снег падает крупными хлопьями, проникает за воротник. Небо покрыто быстро бегущими свинцовыми тучами.

По дну Охотского моря передвигаются сейчас огромные косяки крабов-самок. Их не ловят, они в несколько раз меньше самцов. На поверхности моря то тут, то там маячат бамбуковые веш-

ки с черными, синими и красными флажками. Это по морскому дну параллельно берегу расставлены сети. Огромные самцы, панцырь которых достигает порой 24 сантиметра в диаметре, запутываются в сетях и становятся добычей ловцов.

Наш кавасаки, переваливаясь с волны на волну, подходит, наконец, к борту краболова «Ламут» — одного из лучших в советской краболовной флотилии. Мы оглушены криком чаек. Эти серые, белогрудые, тяжелые птицы огромными стаями сидят на воде, колышутся на волнах около парохода. Они подхватывают клювами выбрасываемые в море панцыри крабов, не давая им погрузиться на морское дно, и извлекают внутренности. На каждый панцырь бросаются три-четыре чайки. Они приподнимаются в этот момент из воды и часто взмахивают крыльями, крича пронзительно, и, мы бы сказали, нахально. Эти красивые птицы ведут себя очень некрасиво: они дерутся, вырывают друг у друга добычу и даже не думают давать дорогу проходящему кавасаки.

На баке «Ламута», на перекаладинах висят мокрые сети. Снег покрывает их белым пушком. По шторм-трапу взбираемся на судно. На палубе его кипит работа. Кавасаки выгружают сети с запутавшимися нежнорозовыми крабами.

Сети с добычей складываются в штабели. Рабочие в резиновых сапогах, в непромокаемых плащах поверх ватных костюмов, в холщевых рукавицах заняты выпутыванием крабов из сетей. Счетчики учитывают каждого краба. Затем он попадает в руки срывщиков панцыря. Столбик с двумя острыми гвоздями. Ловким ударом о гвозди панцырь отделяется от конечностей. Взмах руки, и он летит за борт, где его подхватывают чайки.

Конечности краба попадают в крабоварочную корзину из толстых железных прутьев. Тут же, на палубе, возвышается прямоугольный крабоварочный котел с постоянно кипящей водой. Котел состоит из двух отделений. Каждое из них вмещает по клетке с конечностями крабов. Они варятся в котле от 7 до 18 минут, в зависимости от температуры воз-

духа. Вокруг разносится приятный запах вареного крабового мяса.

Лебедка поднимает клетку с розовыми клешнями из котла и опускает ее за борт, в море, для охлаждения. После этого сваренные конечности высыпаются на палубу. Рабочие, среди которых выделяется своей ловкостью бригадир Андрей Михайленко, ножом отделяют каждую конечность.

Потом женщины, стоящие в ряд под парусиновым тентом, особыми ножницами отрезают первый сустав с пучком розового нежного мяса.

Рубщики ударами острого ножа делают остальную часть конечности на три куска. Мы видим работу лучшего рубщика советской краболовной флотилии Касима Агуреева. Так и кажется, что быстро мелькающий нож отсечет палец человеку. Но точность ударов рубщика изумительна.

Следующий стол — вытряхальщицы. Мясо вытряхивают из трубочек и раскладывают по сортам в плоские корзинки. Потом оно поступает на весы и после моется в чистой проточной соленой воде.

Девушки в клеенчатых костюмах и резиновых сапогах отправляют вымытое мясо вниз, на завод. Вас не пустят туда, в чрево корабля, прежде чем вы не наденете белый халат. Здесь все сверкает чистотой. За каждой стадией обработки мяса строго следит санитарный врач Михаил Михайлович Лофачев, являющийся одновременно старшим врачом краболовной флотилии.

Женщины в халатах священнодействуют над ломтиками белорозового крабового мяса. На широкие деревянные столы с потолка спускаются шланги с беспрестанно текущей водой. Идет сортировка и новая мойка. Затем мясо режется на крупные ломтики, похожие на освобожденные от кожуры бананы. Снова холодный освежающий душ. Стахановка Надежда Коваленко показывает образцы удивительно ровной стандартной резки крабового мяса.

Затем мы видим конвейер с кремовыми целлюлоидными тарелками. На каждой из них движется порция из нескольких кусочков мяса. Содержимое

каждой тарелки, совершенно одинаковое по количеству кусков и по форме их, называется «набором». Стахановка Елена Либдина, укладчик, перевыполняет программу вдвое.

Дальше идут процессы, в той или иной степени присущие всякому консервному производству. И вот глубокий трюм корабля-завода наполняется штабелями новеньких ящиков с банками. Каждый ящик имеет клеймо на английском языке, гласящее, что крабы изготовлены в Советском Союзе, на Камчатке. Мы видим те самые крабовые консервы, которые пользуются таким огромным спросом на мировом рынке.

Капитан-директор «Ламута» Николай Платонович Манжолин говорит с улыбкой:

— Вы видели, как мы обрабатываем нашего замечательного камчатского краба, которому нет равного в мире. Но, поверьте, что самое трудное для нас — это находить крабов и ловить их...

И мы узнаем, что советские краболовы хорошо изучили все камчатские районы. Но мало найти крабовый косяк. Надо еще определить мощность крабового поля, выбрать хороший косяк самцов, чтобы затем передвигаться вслед за ним.

Краболовная флотилия уходит из Владивостока зимой и зимой возвращается. Работники крабового лова на полгода покидают землю, не знают настоящего лета. Они работают много, самоотверженно борются со стихией, ловя крабов и в штормовую погоду. Все это рослые, крепкие как на подбор люди. По мягкому украинскому говору без труда узнаешь в них старых знакомых — рыбаков Азовского моря.

Петр Яковлевич Мазур, старшина кавасаки № 2, — ейский рыбак, переселившийся несколько лет назад на Дальний Восток. За свою замечательную работу награжден орденом Трудового Красного Знамени. Этот человек в любую погоду стоит у руля на своем кавасаки.

Бывший темрюкский рыбак Григорий Иванович Ищенко. Волна бьет его маленькое ловецкое суденышко, а он, мокрый, улыбающийся, командует людь-

ми, которые возятся у лебедки, поднимая сети с запутавшимися крабами.

Однажды на «Ламуте» иссякла тара, и к нему подошел тральщик с ящиками. Была ночь, ревел шторм. Перегружать ящики казалось невозможным. Но Ищенко взялся сделать это на своем кавасаки. Во время одного из рейсов, когда кавасаки зыбько был оторван от воды чуть ли не на метр, ящики полетели в воду вместе с двумя ловцами. Ищенко быстро развернул свое суденышко и, не отнимая руки от руля, свободной рукой одного за другим вытащил обоих ловцов. Выловив затем ящики из воды, кавасаки благополучно подошел к борту краболова.

Среди шести кавасаки «Ламута» есть один комсомольский. Его команда — демобилизованные бойцы-дальневосточники тт. Пятков, Редькин и Шаповалов. По смелости и умению они уже догоняют своих азовских учителей.

«Ламут», как всякий краболов, имеет, кроме кавасаки, разведчика — маленькую шхуну, которая, рыская в море с пробными сетями, нащупывает косяки. Шхуну командует отважный капитан тов. Ветров. Во время последнего перехода из Владивостока шхуна попала в злейший шторм. Ударами волны выбило иллюминаторы, выводило из строя машину. Капитан с честью преодолел все трудности.

На «Ламуте» живет и работает около 400 человек. Чистые кубрики, отдельные для семейных. Красный уголок. Библиотека, кино. Драматический кружок на днях показывал пьесу Чехова «Медведь».

На прощанье гостя угощают крабами. Капитан-директор приглашает отведать жареного крабового мяса, ароматного, горой лежащего на блюде. Но в этот момент в кают-компанию вбегает вахтенный матрос и взволнованно докладывает, что на горизонте показались «Зубчатый» и «Быстрый».

Лицо капитана-директора сразу становится озабоченным. Он выбегает на спардек и, силясь рассмотреть что-нибудь в клубах пара, которым окутана палуба краболова, спрашивает у матроса:

— Откуда они идут? Куда?

«Зубчатый» и «Быстрый» — разведчики двух других советских краболовов: «В. Сибирцева» и «Тунгуса». «Ламут» держит переходящее знамя флотилии. Он никому не хочет уступить первенство в соревновании. Куда же спешат разведчики? Не нашли ли они поле, еще более богатое, чем это...

7.

Теплоход «Коммунар» стоит готовый к отходу вверх по реке Камчатке. Деревянный, напоминающий крытую баржу, он похож на «Северягу» из фильма «Волга, Волга». Здесь его так и называют «Северюгой», но не иронически, а любовно: вместе с пароходом «Камчатка» теплоход этот поддерживает пассажирское сообщение по реке. Оба эти судна построены здесь же на Камчатке, в Ключах. Их своеобразная конструкция удобна для здешних условий, служат они хорошо.

Сначала идем вниз по течению, по протоке, соединяющей реку Камчатку с величественным Нерпичьим озером. У Собачьего острова, вблизи села Усть-Камчатска, поворачиваем вверх по реке. Уже остались позади белые паруса рыбацких лодок и дымы консервных заводов. Холодно. Ветрено. Небо покрыто тучами. В одном месте просвет — словно окошко меж облаками, — и оттуда падает сноп косых лучей солнца. Он ярко озаряет снеговые вершины и полне жизни устье реки. Пассажиры скопилось изрядно. Многие расположились на палубе. Оживление вносит геолог, догоняющий свою экспедицию. Он уже более десяти лет изучает Камчатку, исходил ее вдоль и поперек. Сейчас он немного навеселе, он декламирует:

Он был всю жизнь в дороге
И умер в Таганроге...

Близок вечер. Солнце перед закатом похоже на шар вишневого цвета. Вдали видны сиреневые сопки, среди них величественная сопка Ключевская. Ее туманный силуэт со срезанной облаками вершиной господствует над всей долиной. Недалеко, на низком острове, видны но-

вые бараки, белые паруса рыбацких лодок, светлые тесаные столбы с перекладинами — вешала для сетей. Горит костер, вокруг которого темнеют силуэты рыбаков...

На рассвете, в густом тумане прошли село Нижне-Камчатск, где снова видели много рыбацких лодок. Чем выше поднимаемся по реке, тем мягче становится климат. На берегах видны уже зеленые, распутившиеся деревья, чего нет в Усть-Камчатске. Все пассажиры греются на солнце, все высыпали на палубу. Жадно вдыхают они едкий, острый аромат распутившейся зелени. А рядом с зеленью, в оврагах, снег...

Проходим «Щеки». Здесь, в 40 километрах выше Усть-Камчатска, река пробивает себе дорогу в горах. Она становится уже. Справа и слева крутые зеленые склоны гор, по оврагам полосы снега. Это делает склоны гор похожими на тело зебры. Река мутная, быстрая, величавая, пенная. Иногда идем у самого берега — тогда обрывы обнажают слои вулканического лещадья. Наш геолог заявляет, что по этим слоям может вычислить, когда было тут последнее большое вулканическое извержение.

Навстречу то-и-дело попадают буксиры, тянущие тяжело груженные баржи. Пароходы спугивают множество уток. Это — крохали. Геолог провожает их безразличным взглядом и говорит:

— Они тут невкусные. Очень жесткое мясо и рыбой пахнут.

В воздухе много мотыльков. Они носятся над быстрой, мутной рекой. Изредка отвесные берега обнажают красный, измятый камень — когда-то здесь кипела и плавилась вулканическая масса.

Выходим, наконец, из узких «Щек» на простор. Низкие, кое-где затопленные острова. Впереди синее Харчинский хребет, немного поодаль — невысокий хребет Заречный. Справа высятся заснеженный вулкан Шавелуч.

Река очень тиха. На горизонте — облака, выше их — пирамида сопки Ключевской. Она — самый высокий в мире действующий вулкан. Ключевская была видна еще из Усть-Камчатска — чуть ли не за 200 километров.

Все долго и пристально глядят на силеневую пирамиду Ключевской. Она дымит. Это отлично видно простым глазом. На наших глазах увеличивается черная полоса на ее белоснежной вершине. Повидимому, это тает снег там, где просачиваются вулканические пары.

На палубных скамьях сидят пассажиры. Пограничник в новеньком щегольском обмундировании. Девушка в белом берете — председатель районной комиссии по проверке квалификации учителей. Три парня, занятых кроссвордом из «Огонька». Геолог, азартно играющий в домино. Капитан теплохода — старый китаец — молча стоит рядом с рулевым. Сегодня он угощал нас горячей и жирной рисовой похлебкой.

Солнце печет. Давно сброшены пальто. Берег — в двух-трех метрах. Зеленые кусты, похожие на днепровские вербы, цветущая черемуха на склонах и еще дальше — горы, полосатые от еще не стаявшего снега.

Поворот реки. Вдали показывается камчатское село Камаки. Высокие, узкие, как ветряные мельницы без крыльев, сарай для юколы — вяленой рыбы, идущей на корм собакам. Несколько маленьких черных изб и много новых домов, сложенных из свежих бревен и теса.

Стало еще теплее. Первый комар прозвенел у уха... Высокие горы надежно защищают долину реки Камчатки от холодных ветров. Томимые зноем пассажиры засыпают тут же, на палубе, на скамьях. Спишь неведомо сколько, потом просыпаешься — все те же затопленные острова и господствующая над всей панорамой сопка Ключевская. Навстречу идет плот метров 15 длины, брезна лиственницы покрыты сверху настилом из старых потемневших досок. Рулями служат огромные шесты. Сбоку привязана лодка. По плоту небрежно разбросаны пожитки. Один из плотовщиков сидит на бревне и играет на гармошке.

Быстрое течение пронесет плот мимо нас, как видение...

... Река становится все уже и уже. Она похожа на зеленую улицу. Иногда наша баржа касается ветвей береговых деревьев.

Скоро Ключи. Теперь наш теплоход держит курс прямо на огромные пирамиды Ключевской и Камня. Обе сопки стоят рядышком. Они близки и, вместе с тем, далеки. Мы словно входим в их сень.

Уже смеркалось, когда наш теплоход проходил «улове». Так называются водоемороты на реке Камчатке. Капитан прожужжал пассажирам уши об этом «улове». Всякое судно плохо слушается здесь руля. Чтобы не быть отброшенным на берег, судоводитель должен, действительно, проявить в «улове» большое искусство. Река поворачивает здесь под прямым углом, течение ударяется о берег и завихряется. Вот плывет щепка. Она неистово кружится, то вертясь спиралью, то делая концентрические круги. Неистовый водоворот выбрасывает мелкую рыбешку на поверхность воды. Летающие тут во множестве чайки деловито, не торопясь, подхватывают исторгнутую рекой рыбешку...

Пассажиры моются, бреются, упаковывают вещи — ведут себя так, как перед подходом к большому городу. Вот из-за зеленого острова показывается дымящая заводская труба, за нею еще одна, потом мы видим многочисленные заводские корпуса, верфь, улицы больших деревянных многоквартирных домов.

— Это — Ключи?

— Да, это — Ключи. А вот это — заводы Ключевского лесокombината. Комбинат с судостроительной верфью, лесопильным и бондарным заводами.

Целый город, выросший за несколько последних лет и уступающий по размерам разве только Петропавловску. Ключи — второй индустриальный центр Камчатки.

Подходим к берегу. Навесы с досками у самой воды, штабели пиленого леса у лесопильного завода, эстакады, баржи, баржи без конца, катера, бонны с плотами. Все полно тут деятельной промышленной жизни. Даже маленький островок у берега — и на том высятся ребристые скелеты будущих катеров.

На берегу все заполняет смолистый запах пиленого леса. Слышится хрип лесопильных рам. Шагаем по улице. Гул-

кий деревянный тротуар, длинные одноэтажные и многоквартирные дома с садами, огороды. И пахнет черемухой. Сразу же за селением встает лес, тянущийся до самого подножья Ключевской.

★

... За заводскими кварталами, на зеленом холме, среди пней недавно удаленного леса, стоит просторный деревянный дом вулканологической станции Академии Наук. Во дворе стоит сарай с навесом, под которым по-хозяйски сложены нарты.

Виктора Федоровича Попкова, руководителя станции, мы застаем копающим грядки в огороде. Он рад гостям из Москвы.

— Мало нас посещают, мало... — жалуется он. — Да и далеченько, правда. Почти в другом полушарии живем...

Молодой ученый показывает химическую лабораторию, в которой исследуются вулканические газы Ключевской. Уже обнаружено присутствие в вулканическом газе криптона и гелия.

Затем мы входим в петрографический кабинет, где исследуются горные породы. На стене, среди таблиц и коллекций, висит портрет академика Левинсона-Лессинга, учителя советских вулканологов.

В качестве одного из курьезных экспонатов Попков демонстрирует нам обожженный, наполовину сгоревший ватник, в котором он взбирался на один из паразитических кратеров Ключевской во время извержения.

Несколько лет назад энергия кратера Ключевской сопки снизилась, и лава вулкана не могла уже переливаться через края кратера. Произошла закупорка кратера, а газы и лава, ища выхода, прорвались ниже кратера — на высоте 1 000 метров, образовав ряд паразитических кратеров.

По нашей просьбе, станция организовала восхождение на один из таких паразитических кратеров. Эта экскурсия не требовала особой тренировки и была нам вполне доступна по своим срокам.

Переночевав, мы наутро отправились в путь. Виктор Федорович Попков был руководителем нашей экспедиции. Мы отправились верхом. К седлам были приторочены винчестеры, во всех четырех переметных сумках полно запасов. Чайник, кукули (спальные мешки), бинокли, топор.

— В тайгу, — заявил Попков, — без топора, без веревки и без спичек никогда не выйдут...

Сначала едем по дороге, по которой возят заготовленные в лесу дрова. Постепенно поднимаясь вверх, дорога кончается, переходя в узкую тропу. Мы едем по тропе, которую здесь прозвали «тропой вулканологов» — кроме них никто сюда не забирается. Достигаем сопки Домашней — она названа так вулканологами, потому что на обратном пути, достигнув ее, можно считать себя уже дома, т.-е. в Ключах. Попков показывает нам странный, похожий на грот овраг.

— Это — тектонический провал почвы! — говорит он.

Заросли, сквозь которые продираются наши кони, бьют нас по лицу. Едущего впереди — не видно, доверяемся всецело опытности и чутью лошадей.

Через некоторое время тенистый, густой, труднопроходимый лес кончается. Мы вступаем в мертвый березовый лес. Деревья, лишенные листьев. Сразу становится светло. И когда вглядываешься в окружающий тебя странный лес, убеждаешься, что он... мертв. Попков объясняет нам, что во время образования нового паразитического кратера здесь произошло землетрясение, в итоге кото-

рого сдвинулись корни деревьев и березы засохли. Некоторые из деревьев, кроме того, обожжены газами, которые исторгала взбунтовавшаяся вулканическая земля.

Одиноко кукует в этом мертвом лесу кукушка.

До кратера-паразита отсюда осталось только 4 километра. Еще одна переходная вброд речка, еще один крутой подъем, когда спешившийся всадник ползет на коленях сам да еще тянет за повод упирающегося коня, и вот прямо впереди нас, совсем близко — Ключевская. А слева чернеет, словно вспаханное черноземное поле, застывший лавовый поток паразитического кратера Туйлы. Он растянулся на 7 километров. Трудно смотреть без волнения на эту безжизненную землю...

Лошади оставлены в ложбинке, взбираемся дальше пешком. Кратер Туйлы похож на гору угольной пыли, «штыба». Над кратером летают желтые мотыльки. Попков идет впереди нас: он несет газовые ампулы. Остальным членам экспедиции приказано нести термометры.

— Осторожно! — кричит Попков. — Если будете падать, руку с термометром поднимите вверх!..

И пока вулканолог просовывает в одну из пышащих жаром расщелин свои термометры, я вдыхаю тяжелый, питанный газами воздух, разглядываю потрясающую своим величием гряду камчатских сопок, панораму бескрайних лесов, извивающуюся ленту реки Камчатки.

— Родина-мать, как ты прекрасна!..

Смышленный заяц

РАССКАЗ

ВАС. КУДАШЕВ

★

I

Его всегда можно было поднять в чистом и ровном поле, и чаще там, где торчали два высоких серых пня и росла одинокая курчавая березка. Это было излюбленное его место. За две осени и зиму мы охотились на этого зайца много раз и всегда безуспешно.

— Нет, этот заяц смышленный, — уверял нас Агафон, лесной сторож и страстный охотник. — Счету нет, сколько я побил разного зверья и дичи, а этого зайца не взять... Он мне не раз грозил даже...

— Как грозил?

— А так... поднимется, отбежит шагов двести-триста, встанет на задние лапки, одно ухо (которое короче) прижмет совсем, а другим, как пальцем, пошевеливает и вроде грозит, бестия: «Я, мол, тебе, Агафон!.. Шалишь, чтоб меня взять».

Мы смеялись над рассказами Агафона и еще больше загорались охотничьей страстью. Несколько раз мы пытались взять этого зайца с собаками. У Агафона хороший гончий Набат, а Петр, председатель колхоза «Восход», имел двух яростных, мраморной окраски, арлекинов — Флейту и Звонаря, неутомимых и быстрых.

Находить «смышленного» всегда было легко. Собаки кружили по полю, приискивали, и через некоторое время заяц поднимался и убегал в сторону леса.

Собаки, гомоня, дружно гнали, долго слышны были в гулком лесу их голоса, а затем они умолкали, сбивались со следа или же начинали гонять других зайцев, а куда девался тем временем «смышленный», мы так и не знали. Осенью он обманывал собак и скрывался где-то у реки. Зимой мы иногда долго шли по его следу и видели, что «смышленный» заяц пересекал замерзший Дон и далеко — километров на пять и больше — уходил по прямой, и не было признаков, чтоб он начинал круг. Но стоило на другой день выйти на поле, где торчали пни и стояла одинокая курчавая березка, «смышленный» заяц вновь был где-нибудь там. Агафон торжествовал, а мы все реже смеялись над его рассказами о «смышленном» зайце, который нам доставил немало хлопот. Строились разные планы, но на деле ничего путного не получалось. Тогда решили оставить собак в агафоновой лесной избушке, охотиться с подхода. Расходились в условленные места и оттуда, с разных сторон, шли ровным полем, с ружьями наперевес, каждую секунду наготове. Шли в направлении к пням и березке. Матерый, головастый, с коричневой шеей и дымчатыми ляжками, заяц-русак всегда поднимался вне выстрела, убегал, а мы, опустив ружья, сходились, недоуменно переглядывались и бывали немало сконфужены.

Однажды мы подошли сравнительно близко, но заяц, лежавший на этот раз

между пнями, под самой березкой, все-таки не подпустил на выстрел, поднялся и понесся... Шагах в двухстах он задержался на минуту, встал на дыбки и, крутя головой, левое ухо — покорооче — прижал, а правым, как пальцем, погрозил и скрылся в сторону леса.

— Верно, — сказал Петр, — заяц действительно какой-то особенный, ученый... Погрозил и мне ухом!

Мы долго совещались. Агафон, хорошо знающий повадки зверей, сейчас решительно был неуверен в нашем дальнейшем успехе.

— За этим зайцем охотиться, только из ног глухоту выбивать и терять зря время, — сказал он. — Не убить нам его. Не взять...

— Как не взять?! — кричал Петр. — Чего бы ни стоило, а надо убить!

Агафон предложил раздобыть винтовку. Мы оживились, но вскоре остыли... Винтовки у нас не было, а доставать такое оружие, для того чтобы убить зайца, было и зазорно, и смешно.

Петр, улыбаясь карими глазами, сказал:

— Нет, это не пройдет... На тигра, что ли, мы будем раздобывать винтовку? Нас засмеют... право слово, засмеют...

— Ну, а тогда нам никогда не взять этого зайца, — уверял Агафон.

— Как не взять? — все еще надеялся на что-то Петр. — Подумаешь... Заяц не лисица!

— А этот хитрее и умнее лисицы.

— Вот что... — сказал Петр. — В следующий выходной соберемся, как всегда, у Агафона и пойдем против ветра и дугой, в обхват... Небось, зажмем зайца на выстрелы...

— А если ветра не будет?

Агафон заметил:

— Я уже по-всякому изловчался: и против ветра, и в дождь, и в метель... Тропил по свежей пороше. На брюхе не раз подползал, а толку не было.

— Еще попробуем, — настаивал Петр, — а если не удастся, вернемся за собаками и пойдем за ним десять и больше километров, а где-нибудь настигнем... Неправда, возьмем!

II

Условленного дня охоты мы ждали с большим нетерпением. Петр зашел за мной в полдень накануне выходного, и мы сейчас же направились в лес.

Агафон, крутя свои тонкие белесые усики, встретил нас очередной охотничьей новостью.

— Вчера я видел у Крутой лощины чернобурую лисицу, — сообщил он неровным голосом. — Глядел я на нее, товарищи, и аж цепенел, до того она хороша...

— Ну, брось ты, — с улыбкой возразил Петр, — откуда у нас, в Воронежской области, чернобурка?

— Не верите? Клянусь... Не верите? — спрашивал Агафон и бил себя кулаками в грудь.

— Конечно, не верим, — сказал Петр. — Какую-нибудь забежавшую собачонку видел, а тебе померещилась чернобурка. Ты когда-нибудь в своем лесу слона увидишь!

— Ах, так! — обиженно воскликнул Агафон. — Да, я дурак. Фактически дурак...

— Это почему же вдруг?

— Потому!.. Увидев такого ценного зверя, мне нужно было молчать, — сказал Агафон. — Лично одному скрадывать... А я, дурак, вам, как близко знакомым, разболтал о редкой находке. Смеесть? Ладно... Нет, я не видел чернобурой лисицы! Нет, не видел...

Мы еще подтрунивали, но, видя, как Агафон обидчиво принял все к сердцу, подумали: может быть, и в самом деле в наших местах появилась вдруг чернобурка? Разговоры о ней среди охотников идут уже года полтора. Будто бы где-то километрах в пятидесяти имеется лисий питомник, и оттуда, как говорят, одна чернобурая лисица сбежала.

— В смышленного зайца вы тоже не верили, — совсем уже с обидой спросил Агафон, — а теперь что скажете?

— Что? Сейчас пойдем и убьем, — сказал Петр. — Посмотрим, каков он... Собирайся живее!

— Идите одни... — заявил вдруг Агафон, хмуро глядя куда-то в сторо-

ну. — Смышленного зайца тоже не существует, выдумка...

— Как выдумка? Нет, мы его сами видели... Агафон, нельзя компанию ломать. Чего купоросишься, — увещевал Петр, — пойдем...

И нам долго пришлось улаживать Агафона. Мы уже были не рады слышавшемуся, боясь потерять знакомство с Агафоном, хотя он всегда на охоте непомерно завистлив, а таких людей, как правило, недолюбливают в охотничьей среде. У Агафона на первом плане стояла добыча. И, конечно, по многим причинам он не мог быть таким, как Петр, который охоту считал здоровым отдыхом, спортом, страстным и незаменимым развлечением...

Трех наших гончих мы оставили в сених избушки. Вышли на опушку леса, в поле, и нам все еще был слышен буйный лай собак, просящихся на охоту. Но мы не могли их взять с собой — решили охотиться с подхода.

О чернобурой лисице мы уже не упоминали. Шутили с Агафоном. Дали ему по пятку патрон и предложили по его выбору занять лучшее место в охоте на «смышленного» зайца. Агафон развлекся, повеселел.

— В один ствол заложите картечь, — предложил он. — На случай, если заяц поднимется далеко, хлестайте картечью!.. Хоть бы поранить, а тогда он не уйдет...

На наше счастье — особенно хотел этого Петр — дул резкий ноябрьский ветер. Шли мы шагах в ста друг от друга. Петр и Агафон с флангов, а я в середине, значительно приотстав от них, с расчетом, если заяц выскочит с моей стороны и не побежит прямо, то наскочит или на Петра, или на Агафона. По огромным навороченным пластам пахоты итти неудобно, в лицо хлещет холодный ветер, на сапоги липнут комья влажного чернозема. Идем сторожко, каждую секунду наготове, кажется, вот-вот и он вспорхнет... От встречного ветра и напряженного внимания рябит в глазах. Наконец-то вот он — сереет, прижавшись к пласту... Ближе он ко мне. От волнения замирает сердце, я вскидываю ружье... «Нет, стрелять плот-

но лежащего не следует, — решаю я, — лучше на подъеме...». Заметили его и Петр, и Агафон. Они начинают сходитьсь. Агафон, готовясь стрелять, поправил трух. Они, наверное, полны зависти, что ближе всех я к «смышленому». Значит, я сделаю первый выстрел? Я так возбужден, что мне перехватывает дыхание. И вдруг, словно в глаза стегнуло песком, я опускаю ружье и все еще не хочу верить себе: рядом с пластом зяби недвижимо лежит ноздреватый серый камень. Но еще горше было, когда мы подходили с разных сторон к пням и одинокой кудрявой березке. Заяц обязательно должен быть где-то тут, но мы внимательно оглядели каждую борозду, каждый пласт пахоты, а его не было... Березку и голые пни Агафон несколько раз обошел вокруг, словно высматривал какую-то невидимую дыру.

— Нет, а все-таки он где-то тут, — решил Агафон. — И наверняка обманет... Вот чуть отойдем от этого места, и он, как назло нам, обязательно поднимется... Со мной он не раз проделывал так...

И вновь мы ходили, топтались, словно искали иголку, устали от непрерывного напряжения. Заново обошли, обыскали все огромное поле.

Начинало вечереть.

— За собаками надо сходить! — сказал Петр. — Они скорее его поднимут!

Агафон кричит, машет нам рукой. Мы быстро идем к нему.

— Осторожнее, следы не топчите, — предупреждает он и, подняв что-то пуховое, белое с ярким черным пятном, показывает нам, — Вот все, что осталось от смышленного зайца.

— Да, хвост, — говорит Петр, — а где же он сам?..

Агафон указывает на следы.

— Глядите внимательней, следы не простой лисицы.

— Обыкновенные следы...

— Ну вот!.. — оборвал Агафон Петра. — Бинобль тебе на глаза накинуть! У обыкновенной лисицы следы круглые, а эти, глядите зорче... Да, чернобурка.

Увлеченный Агафон, внимательно рассматривая путанные следы, отошел от нас.

Плыли густые серые облака, стало мрачно. Пересекая поле, мы подходили к лесу. Я и Агафон, сосредоточенно о чем-то думающий, вошли, сокращая путь, в мелкий дубовый кустарник, а Петр, отставший от нас, обойдя бугор, спустился на дорогу, где навстречу ему ехал кто-то на высокой рыжей лошади. Они остановились.

Мы вошли в лес, пахнувший опавшей листвой, жухлой травой, и вдруг услышали:

— Ого-го-о!

Ожидая Петра, мы остановились. Он догнал нас, запыхавшийся, возбужденный.

— А пожалуй, ты прав, — обратился он к Агафону.

— В чем?

— С агрономом я сейчас задержался... Позавчера у Демьяновской просеки он убил лисицу и, говорит, необыкновенную: желто-темная, ворс серебристый...

— Чернобурая? — не утерпел Агафон.

— Нет, но, говорит, и не простая, а должно быть, явно помесь... гибрид, как он назвал.

— Ага! — воскликнул Агафон, и серые глаза его округлились.

— Что ага?

— Если агроном убил «помесь», то, значит, где-то и сама чернобурая тут... Факт, вчера я ее видел!

— Возможно, — согласился и Петр. — Тогда, значит, охота у нас завтра будет важная... Вы идите в избушку, а я быстро сбегаю домой. Дело есть...

— Какое?

— О-о! Дело!.. — воскликнул Петр и подмигнул. — Агафон, мы нынче у тебя ночуем. Ужинать подождите меня... я скоро.

И он быстро ушел напрямик, лесом...

III

В избушке просторно, но неуютно и бедно. Слабо светит гасничка, сделанная из плоской консервной банки. Душно, пахнет гарью барсучьего сала.

Агафон постелил на нары свежего, пахучего сена. Подбросив под голову пиджак, я лег отдохнуть.

С огромным закопченным чайником Агафон сходил к ручью за ключевой водой, затопил печь и потом, поправив замусоленную подушку и потрепанную дерюгу, тоже лег чуть поодаль от меня. Лицо его было багрово освещено светом из печи, в которой трещали сухие поленья и шумно кипело пламя.

— Знаете что, Михалыч, — заговорил вдруг Агафон, густо дымя махоркой, — хвост смышленому зайцу отцала лисица, а сам он, может, и цел? Финтит где-нибудь совсем куцый.

— Возможно, — сказал я.

— Невеселая у него сложилась жизнь, — продолжал Агафон, — поэтому, может, он и стал смышлено-ученым...

И Агафон начал рассказывать (я уже слышал об этом много раз), как он однажды летом косил в лесу траву, а из-за куста неожиданно наскокил на него заяц. Агафон махнул косой, сбил зайца, поймал. Заяц оказался совсем не вредим, только Агафон срезал ему косой левое ухо до половины. Он принес добычу в избушку, и заяц жил у него до самой осени.

— ... Бывало, сидит в углу и пристально смотрит на меня круглыми глазами. Иногда от нечего делать я вел с ним разговоры, и он даже вроде понимал. «Зайка, ешь, ешь, капустку». Он оглянется, бестия, соображает — возьмет лапками капустный листок и хруп-хруп. В сенцы его часто выпускал, и он сам возвращался в избу. Тяжелый, жирный стал. Приучил я его прыгать через палку... А как сниму со стены ружье, наведу на него, и он сразу начинает метаться... Или сядет на задние лапы, а глаза беспокойные, и пошевеливает ухом, как бы грозится: «Что ты, мол, Агафон, в избушке ружьем?». И мне вроде и самому становится неудобно. «Ладно, живи, живи... Ешь капустку». Он сразу повеселеет и опять — хруп-хруп. А однажды зашел я в избушку и кричу: «Зайка!». Он попрыгал ко мне. «Скоро я тебе, зайка... за ушами ударю ребром ладони и в чугунку». Сказал я так, а сам повернулся, взял ведро и ушел воды принести. Вернулся, а зайца моего и след простыл. В окне стекло было разбито, и он ушел... Целый день я бро-

дил по кустам вокруг избушки, искал... А потом много раз и видел его, да что толку... Сами знаете...

Агафон передохнул и, как всегда, добавил:

— Хочешь веришь, хочешь нет, а так это и было.

Поздно уже, а Петра все нет. Я задремал. Агафон спросил, поднявшись на локти:

— Чернобурка, видать, дорогая? А?

— Да, драгоценный зверь. Шкурка стоит рублей тысячи две или больше...

— О-о! Вот бы убить!

— Очень просто, попадет на выстрел, и убьешь.

— Нет, только не я...

— Ну, Петр убьет. Охотник он энергичный и стрелок меткий.

— Нет, уж лучше вы, Михалыч, постарайтесь. Ехали к нам столько километров. А Петр убил уже свою чернобурку...

— Когда убил?

— А как же? Был он кто? Года два пастушил, хвосты коровам замывал. А сейчас вон каким хозяйством заправляет! Живет, как говорят, на большой... А в этом году и вовсе: по двенадцати кило на трудодень чистого зерна! Многим хлеб некуда ссыпать, закромов нехватает, тарой маются...

— А ты чего же, Агафон, не в колхозе?

— Так вышло, Михалыч. Баба у меня упорная, а скорее, охота завлекла в сторону... Начались колхозы, а я себе думаю: «Э-э, запишусь я в колхоз, тогда и стрельнуть, значит, не придется. Отохотился, Агафон, конец твоему удовольствию в жизни...». Лошадь я побок — продал и подался лес сторожить. Летом на реке с сетками, а с осени тулку на плечо и — по зверью и дичи. В первые годы многие завидовали мне, а теперь... Семью у меня размело, как ветром. Сын Ивашка и Марфушка — девка-невеста — где-то в совхозе. Марфушка, говорят, рулит, а сын — не знаю, чем он сейчас там... Совсем от меня откочнул, с тех пор, как был последний раз и мы с ним даже поругались. И как же... Словно ножом по сердцу, он мне польхнул: «Все, отец, индусишь, значит, единоличествуешь...». И такая меня слезная обида взяла: «Дурак, говорю, я в удовольствии над природой толк знаю, а ты что?». И пошло... и поругались. С тех пор он ко мне ни ногой, вот уже больше двух лет. Жена у меня в деревне с коровенкой милуется и кукует, а сам я вот...

В сенцах забрехали собаки. Где-то в лесу гулко откликнулись им другие.

— Кто же это?

И Агафон только успел открыть дверь в сенцы, как послышался голос Петра, унимавшего буйно лаявших собак. Оказалось, он привел еще собак: двух лисогонов-костромичей взял у агронома, а пестрого и злобного гончак — у учителя.

— Ну, завтра сочиним охоту! Лес стонать будет! — торжественно заявил Петр. — Агафон, держись теперь твой смышленный заяц и чернобурка! Хана им!

Он поставил на стол сумку с продуктами.

— Чего же ты долго? — спросил я.

— Долго? Дела... Хозяйство-то у меня: чтоб раз обойти, — надо день потратить. Там посмотрел, туда заглянул, а время бежит... Ну, давайте ужинать.

Петр выложил на стол две буханки свежего пахучего хлеба, большие куски сала и баранины, бутылку вишневой настойки, моченые помидоры, яблоки антоновку...

Агафон, пока ужинал, настойчиво интересовался, где каждый из нас завтра станет, затем спросил:

— А мы как же, если убьем чернобурку... Поделим ее коллективно или кому как посчастливится?

— Сначала надо убить, а потом шкурку делить, — сказал Петр.

Собаки в сенцах вели себя беспокойно, пока Петр не ввел в избушку пестрого, с сильной грудью и на крепких ногах учительского Лобзая. Потом, казалось, все уже спали, а я нетерпеливо ворочался и все никак не мог отвлечь воображение от предстоящей завтра охоты.

Лобзай лежит подле стола, уткнув угловатую голову в лапы. Он спит и время от времени тонко, словно гонит

зверя, скулит во сне. Малейший шорох, движение на нарах или треск пламени чадившей гаснички — Лобзай открывает глаза, и они у него горят, как угли.

В окнах зеленеет, становится светлее, и где-то там, в лесу, несмело заверещала синица. «ти-тю, тю-тю-ти-и». Петр всхрапывает. Я закрываю глаза и уже сквозь сон смутно слышу — Агафон не спит, ворочается, вздыхает...

IV

Собак трудно сдерживать, — они рвутся вперед, от перетянувших горло ошейников хрипят, задыхаются... Они измучили нас, пока мы шли до Крутой ложины. Пускать их раньше мы не хотели: они сразу могли бы отыскать свежие заячьи следы и, загремев голосами, испортили бы нам охоту на лисиц.

Агафон торопливо, словно боясь, что кто-то из нас захватит его место, направился к оврагам, где были главные лисьи ходы и там же норы. Петр, посвистывая, направляя собак, ушел куда-то в конец ложины, а я стал за куст орешника, на краю полянки, искристо-седой от заморозка. Где-то трещали дрозды, и какая-то птичка свистела весело и предупредительно «чьюи-ии-ить!». Небо голубое, бело-мраморные, с розовыми краями облака недвижимы. На опушке леса, между темных ветвей, багряно пылал диск солнца.

Время от времени где-то таякали, приискивая, собаки. Но вдруг «аг-таг, аг-таг» — словно испугалась кого-то Зайка, залился Звонарь, протяжно запела Флейта, ударил баском Набат, заголосил залившимся тенорком Лобзай... Голоса слились в дружный оркестр, и от звуков его, казалось, дрожали деревья. Злобный и быстрый лисогон Давило очутился уже впереди других собак и словно бил в бубен:

— Бау-бах, бау-бах!

Лисица или заяц? Я прислушиваюсь к несшемуся по лесу урагану голосов и решаю: так яростно собаки могут гнать только лисицу. Когда преследуют зайца, голоса их обычно без надрывов и минорней.

Гонят, кажется, на меня. Нет! Повер-

нули на Петра. Собачий гомон свалил в конец ложины, к Дону. Лес стонет... Затем собак стало едва слышно, а через некоторое время вновь они повернули в мою сторону. Жадно смотрю вперед, озираюсь по сторонам, ружье держу наперевес и по голосам собак понимаю, что зверь идет где-то вправо от меня, чаще леса. Собаки уже недалеко.

Я оглянулся назад и увидел, как совсем рядом, из-за куста, сверкнув зеленоватыми огнями глаз, прямо на меня выскочила лисица... И я не успел развернуться, она кувырком кинулась обратно в лес и желтым атласным пламенем мелькала между темных и частых деревьев. Я на-вскидку выстрелил. Мне показалось, что она метнулась в сторону, точно отброшенная силой заряда... Я вбежал в лес, царапая сучьями руки. Мимо меня, тяжело дыша, с яростным лаем пронеслись собаки. Только Флейта почему-то остановилась, недоуменно глядя на меня пестрыми и умными глазами, как бы с укором говорила: «Эх, как мы трудились, гнали, язык закидывая на плечо... а ты, шляпа, промазал?».

Я подозвал ее, указал место, где пробежала лисица:

— А-та-та... та-та!..

Флейта засуетилась, затыкала и скрылась. Другие собаки голосили и рокотали уже где-то далеко у оврагов, там, где стоит Агафон. Я нетерпеливо жду выстрела, но его так и не последовало. И мне вдруг кажется, что собаки погнали другую лисицу, а та, в которую я стрелял, лежит где-то тут. Я хожу между деревьев, ворошу ногами листву, внимательно оглядываю, куда мной был послан выстрел. Ясно — промазал и все еще не хочется верить... Показалось вдруг, что в чаще леса мелькнул Агафон. Нет, сейчас он не мог сюда попасть. Я вышел опять на край поляны, спрятался за куст. И теперь мне отчетливо было видно, как совсем недалеко, по опушке леса, в сторону оврагов, пробежал Агафон, трясая головой, и с досадой бил себя кулаком в грудь. Неужели, когда собаки гнали лисицу на меня, Агафон убежал со своего места? Значит, Агафон пересекал путь лисицы, шед-

шей на меня, а она после моего выстрела прошла точно там, где должен был он стоять.

Собак едва слышно. Они сделали по-лем огромный круг и опять свалили в лес. Раздался звучный выстрел. Долго рокотало эхо, а голоса собак сразу оборвались. Петр, наверное, убил лисицу.

Я поставил ружье к кусту, закурил.

Откуда-то сорвался вальдшнеп и, зигзагами летя, пересекал поляну. Я, казалось, с запозданием вскинул ружье, но вальдшнеп неожиданно завернул в мою сторону, выстрел успел — и птица оборвалась... В густых кустах дубняка мне долго пришлось искать необычайно ценную в такое время года птицу, оперение которой сливалось с цветом опавших листьев. Коричневый, с темными крапинами, вальдшнеп оказался крупным, выпуклые глаза глядели, как живые, и от него пахло смешанным ароматом корней трав, дыханием свежей земли, лесом, опавшей листвой.

Вдруг голос Агафона:

— Убил?

— Да, убил... Да кого убил, если бы ты знал!..

Не видя еще меня, Агафон торопливо пробирается меж кустов, округленные его глаза искрятся, губы мелко дрожат.

— Чернобурку? — вымолвил он, задыхаясь.

Я вынул из сумки длинноносого вальдшнепа. Агафон повеселел, но вскоре вновь помрачнел:

— А Петр в кого пальнул?

— Он наверняка убил лисицу, — говорю я. — А ты что же не стрелял? Она ведь прошла оврагами, мимо тебя?

— О-о! Не-ет! — Агафон отвернулся. — После твоего выстрела она, видно, сразу махнула в поле. А я стоял прочно, ждал...

Мы спустились в лошину и пошли низом отыскивать Петра, гаркнувшего нам раза два. Когда мы повстречались с ним, у него никакой добычи не было.

— Промазал? — нетерпеливо спросил его Агафон.

— Нет, убил чернобурку...

— Ну, ну, врешь... — Не хотел верить Агафон. — Убил, а где же она?

— Да во-он, — Петр указал на ветвистый дуб. — Ожидая вас, повесил ее...

Агафон заволновался и первым подбежал посмотреть убитого зверя. Но оказалось, Петр убил обычную, и не крупную, лисицу.

— Совсем бы чернобурка, да не та шкурка! — шутил Петр. — Ладно, сейчас убьем и чернобурку... А гон, гон-то какой был? Слышали? Любовались?

Потрубив в рог, мы собрали собак, покурили, обговорили план дальнейшей охоты и направились ближе к Дону, в Бугрянский лесной участок, заросший густым молодым осинником, мелкими березками и непролазными кустами орешника. Тут всегда можно было отыскать зайцев, попадались и лисицы.

Мы только успели разойтись, собаки затявкали и затрохотали на разные голоса. Они сделали один круг, второй поменьше, начали третий... Прислушиваясь к гону, мы перебежали на новые места, но зверя, ходившего самой чащею кустарника, так и не увидели. Это явно была лисица. Затем собаки скололись, запутались, а лисица этим временем скрылась в нору.

Вскоре собаки напали на след зайца, и вновь лес застонал... Но гонять русака им долго не пришлось. На первом полукруге в открытой ложбинке я выстрелом опрокинул зайца и едва успел схватить его из-под яростных морд собак, налетевших со всех сторон, как вихри. Давило и Лобзай, пытаюсь отнять трепыхавшегося еще зайца, подпрыгивали и кидались на меня.

Тревожно и призывно затрубил где-то Петр.

Собаки убежали. На вершине куста калины с неопавшими кровавыми ягодами стрекотала пегая сойка и пристально смотрела на меня. Я подвязал зайца и направился стежкой в сторону Петра. Вышел на опушку леса, откуда с горы далеко была видна широкая лента Дона.

Собаки вновь резко начали гонять. Я поспешил к лесу. Затаился в кустах. Собаки сделали несколько кругов почти рядом с Петром и Агафоном, стоявшим

у глинистого рыжего оврага. Выстрелов все не было слышно.

Петр с желтеющей за спиной лисицей, заметив меня, помахал рукою. Я подбежал к нему.

— Что такое? — спросил он меня вполголоса. — В самой чаще долго гоняют кого-то на коротких кругах. Факт, лисица... А?

Но голосившие собаки вдруг с подвизгом, словно гнали зверя взрячую, ринулись с горы куда-то к самому Дону и вскоре сразу замолкли.

— Догнали, должно быть! — крикнул Петр. — Бежим скорее, а то порвут...

Мы обогнули мыс, сильно вдавшийся в реку. С высунутыми языками собаки, гавкая, то как угорелые носились по чистому песчаному берегу, то кидались в кусты.

Недалеко от берега реки темнел маленький островок. Увидев нас, или растрапив последнюю выдержку от преследования собак, огромный русак прыгнул с островка в воду и поплыл поперек реки. Зайца удобно было стрелять в голову, но я и Петр переглянулись и не подняли ружей — замерли от неожиданного зрелища.

Петр указал на плывущего зайца Звонарю. Тот долго не мог сообразить, о чем его просили, а потом взвизгнул, словно ему больно придавили хвост, и со всего хода кинулся в реку, за ним сейчас же начали прыгать другие собаки.

Заяц был уже на середине реки, а шесть кивающих собачьих голов плыли за ним дугой, звонко и величественно голося. Река звенела, лес вокруг гудел и стонал. Собаки достигли середины реки, а заяц выскочил на берег и, отряхнувшись, — сыпля с себя мелкий дождь, — сел, глядя на плывущих к нему собак, страшно вопивших на разные голоса.

Собаки сплывались с разных сторон звездой, которая становилась все меньше и меньше. Давило захлебывался от ярости.

Заяц одно ухо прижал, а другим угрозил, как пальцем, собакам и кинулся в лес. Он, петляя меж кустов, прыгнул через овражек и скрылся.

Собаки красиво — клином — плыли с голосом.

Петр подпрыгивал, торжествующе кричал.

Агафон, не видя, что было с зайцем на реке, бежал с крутой горы, не жалея своей жизни, — хрустели кусты орешника, и вниз из-под него летели камни. Он, видимо, полагал, что Петр извещал его необычным и победным криком о взятой им чернобурке, но тот, восхищенный зайцем, подпрыгивал и восклицал:

— Слышали? Видели? Вот это номер! А заяц-то какой... Тот самый... Агафон, скорее, твой... смышленный заяц!

Ленин и зарождение советского искусства

Г. БРОВМАН, Ю. ОСНОС

★

I

Это было время бурного кипения страстей на фронтах революционного искусства. Историк с изумлением перелистает серые и жесткие страницы журналов и газет этой поры, удивится бесконечному числу манифестов и деклараций художников и станет, возможно, недоумевать по поводу многочисленных афиш и плакатов, в которых, как и в декларациях, громко возвещалось о том, что именно данное художественное направление, и никакое другое, воплощает идеалы революции.

Владимир Ильич Ленин приветствовал творческое движение первых лет революции. В беседах с Кларой Цеткин он говорил:

«Пробуждение новых сил, работа их над тем, чтобы создать в Советской России новое искусство и культуру, это хорошо, очень хорошо. Бурный темп их развития понятен и полезен. Мы должны нагнать то, что было упущено в течение столетий, и мы хотим этого. Хаотическое брожение, лихорадочные искания новых лозунгов, лозунги, провозглашающие сегодня «осанну» по отношению к определенным течениям в искусстве и в области мысли, а завтра кричащие «распни его», — все это неизбежно.

Революция развязывает все скованные до того силы и гонит их из глубин на поверхность жизни»¹.

Великий гений революции радовался тому, что творческие силы народа, ранее придавленные уродливым социальным строем, получили невиданные возможности развития. И всей своей деятельностью, партийной и государственной, Ленин помогал этому брожению творческой энергии.

Существует легенда о том, что в первые годы после победы пролетариата в развитии советского искусства якобы преобладали одни негативные процессы и что новое искусство получило свое истинное начало только в двадцатые годы или даже позднее. Однако уже самый процесс становления социалистических общественных отношений не мог не сопровождаться ростом новой культуры и нового искусства и, соответственно, накоплением положительных эстетических ценностей.

В полемике с Сухановым, и еще до этого в целом ряде других работ, Ленин со всей ясностью установил, что непосредственным результатом победоносной социалистической революции явится развитие, новой, истинно народной, социалистической культуры.

Говоря о талантах, которые «душил, подавлял, разбивал» капитализм, Ленин писал, что они гибли «под гнетом нужды, нищеты, надругательства над человеческой личностью»¹. Народная власть раскрепощает личность, дает ей возможность свободного творческого развития.

¹ Клара Цеткин. Воспоминания о Ленине, стр. 33, Партиздат, 1933.

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 491.

В придавленных социальной несправедливостью «низших» слоях людей обнаруживается бездна талантов, имеющих по сравнению с «верхними» неизмеримо больше «силы, свежести, непосредственности, закаленности, искренности»¹. Этими словами Ленин одновременно характеризует черты людей, поднимающихся к строительству молодой культуры. Свежесть, непосредственность и искренность были характерны для тех первых ростков советского искусства, которые уже видел Ленин.

Новое искусство, по мысли Ленина, могло плодотворно развиваться, только удовлетворяя непосредственные интересы революции, и это определяло собой его качественное своеобразие, принципиальное отличие от искусства предшествующих эпох. В известном проекте резолюции «О пролетарской культуре», написанной в 1920 году, в первом же параграфе читаем:

«В Советской Рабоче-Крестьянской Республике вся постановка дела просвещения как в политико-просветительной области вообще, так и специально в области искусства должна быть проникнута духом классовой борьбы пролетариата за успешное осуществление целей его диктатуры, т.-е. за свержение буржуазии, за уничтожение классов, за устранение всякой эксплуатации человека человеком»². Этот тезис был претворением и развитием ленинской идеи партийности искусства, сформулированной им еще за 12 лет до Октября в статье «Партийная организация и партийная литература».

От открытой связи с пролетариатом (в 1905 году) к открытой связи с партией, с властью трудящихся (в 1917 году) — таков путь подлинно передового революционного искусства.

Только искусство партийное в этом понимании слова обретает, согласно Ленину, истинную свободу.

«Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды»³.

В той же статье Ленин дает проникновенное определение теоретических основ развития социалистического искусства. Он впервые характеризует творческий метод нового искусства, его идеалы, его темы, его отношение к народу.

«Это будет, — продолжает Ленин, — свободная литература, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата, создающая постоянное взаимодействие между опытом прошлого (научный социализм, завершивший развитие социализма от его примитивных, утопических форм) и опытом настоящего (настоящая борьба товарищей рабочих)»¹. Здесь Ленин намечает содержание понятия социалистического реализма, которое впоследствии было развито продолжателем ленинского дела — Сталиным.

Лишь художественное творчество, органически связанное с опытом и живой работой революционного народа, способно воплотить великие идеалы коммунизма и служить их торжеству. Жизнь и борьба людей, строящих социализм («настоящая борьба товарищей рабочих»), станут творческим материалом новых художников.

Одной из исключительно важных проблем развития искусства после революции была проблема руководства художественным фронтом. Мысли Ленина по этому вопросу определяли практику советских культурно-просветительных органов. Еще до революции Ленин подчеркивал, что подлинная партийность в искусстве должна обеспечиваться специфическими методами коммунистического руководства.

«...литературное дело, — писал Ленин, — всего менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством. Споры нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию. Все это бесспорно, но все это доказывает лишь то, что лите-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 492.

² В. И. Ленин. Соч., т. XXV, стр. 409.

³ В. И. Ленин. Соч., т. VIII, стр. 390.

¹ В. И. Ленин. Соч., т. VIII, стр. 390.

ратурная часть партийного дела пролетариата не может быть шаблонно отождествляема с другими частями партийного дела пролетариата»¹.

К коммунистической партийности в литературе большинство художников идет особым путем; он может лежать через личный жизненный опыт, через свою творческую тему, через свои художественные идеи. Это, как правило, путь неустанных, а иногда и мучительных исканий.

После Октября Ленин вновь возвращается к своим мыслям о партийном руководстве искусством в условиях социалистической революции и подчеркивает их в новой связи.

«Каждый художник, — говорит Владимир Ильич Кларе Цеткин, — всякий, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, согласно своего идеала, независимо ни от чего.

Но, понятно, мы — коммунисты. Мы не должны стоять, сложа руки, и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты»².

II

Удивительно отчетлив тот рубеж, который Октябрьская революция провела между двумя эпохами мирового искусства. Рубеж этот не только умозрительная грань, отделяющая обычные смежные периоды художественного развития. Нет, это — глубокая, реально видимая межа, разделившая надвое художественные содружества, зачеркнувшая прежние представления о единых художественных школах и направлениях.

Еще день назад шли споры «академистов» и «левых», «классиков» и «модернистов». Еще не «отзвучали» разноречивые приговоры критиков и рецензентов, возвращавшихся в ночь на 25 октября с премьеры «Черной пантеры» в Александринском театре; но теперь это было уже искусством вчерашнего дня, искусством прошлой эпохи. События одной ночи сделали мертвым и пустым многое

из того, что казалось самим художникам животрепещущим, важным и обещающим. В упоминавшейся уже нами статье о партийной литературе Ленин противопоставил два типа деятелей искусства. Он говорил о литераторах, маскирующих свою зависимость от буржуазии, и противопоставлял лицемерно свободному искусству «действительно свободную, открыто связанную с пролетариатом литературу»¹. Первый же день Октябрьской революции с необычайной яркостью подтвердил основательность этого противопоставления. Не один прославленный художник перешел теперь от замаскированной связи с буржуазией к открытой борьбе за ее классовые интересы.

Бунин и Мережковский, Зайцев и Бальмонт, Винниченко и Гиппиус — все это были художники, заявившие открыто, что они никогда не примирятся со свержением буржуазной власти и не примут власти народа. Что может ярче подтвердить справедливость ленинских слов о лицемерии, чем митинг союза деятелей искусства, который через несколько дней после Октября ратовал за интервенцию, прикрывая этот акт идеями высокого искусства, призывая Антанту «взять под свою защиту российские памятники искусства»².

Среди высказываний Ленина о российской буржуазной интеллигенции мы находим суровые слова, обращенные к тем художникам, которые сразу же после революции возглавили антисоветский саботаж и грязную клеветническую кампанию в печати.

«Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть богатым и их прихлебателям, буржуазным интеллигентам...» — пишет Ленин³.

Отношение Владимира Ильича к таким художникам определялось необычайно глубоким пониманием интересов пролетариата и сущности советского искусства. Что могли дать эти люди искусству нового мира, что могли они принести ему? Ничего.

¹ В. И. Ленин. Соч., т. VIII, стр. 387—388.

² Кларе Цеткин. Воспоминания о Ленине. М. Партиздат. 1933, стр. 33.

¹ В. И. Ленин. Соч., т. VIII, стр. 389.

² «Аполлон», 1917, № 6—7, стр. 83.

³ В. И. Ленин. Соч., т. XXII, стр. 164.

Характерно, что Зинаида Гиппиус в стихах, опубликованных ею в январе 1918 года, сама же признала это:

Если кончена моя Россия — я умираю.

Единомышленники Гиппиус были олицетворением того разложения, которое несет капитализм искусству и личности художника.

По другую сторону баррикады стояли писатели, отдавшие свое творчество великому освободительному делу.

«...в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, «барскому анархизму» и погоне за наживой, — социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип *партийной литературы*, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме»¹.

Этот принцип партийной, истинно свободной и истинно народной литературы наиболее полно был воплощен в жизни в творчестве А. М. Горького.

Мы знаем, что еще в 1909 году Ленин писал о Горьком, что он «крепко связал себя своими великими художественными произведениями с рабочим движением России и всего мира...»².

После победы Октябрьской революции именно в Горьком видел Владимир Ильич носителя идеалов социалистического искусства, в его произведениях усматривал он одновременно и залог расцвета пролетарского художественного творчества, и определяющие линии его.

Искусство социализма, по Ленину, могло появиться на свет лишь в результате преемственности, как закономерное развитие всей предыдущей художественной культуры человечества. В глазах Ленина Горький олицетворял собой эту преемственность искусства старого и нового мира. Горький был одновременно основоположником пролетарской литературы и носителем величайших прогрессивных традиций мирового искусства — живой связью искусства двух эпох.

Связь эта не только отражала объективный процесс. По мысли Ленина, в эпоху, когда советское искусство лишь

зарождалось, неизмеримо важно было максимальное овеществление этой связи. И мы видим, что Ленин и партия предоставляют в это время Горькому роль восприемника и воспитателя советского искусства. Можно сказать, что Ленин поставил Горького у колыбели искусства социализма.

Вспомним, что в первые годы Октября петроградская и московская квартиры Горького были превращены в своеобразные МУЗО, ЛИТО, ИЗО, ТЕО—тогдашние отделы Наркомпроса, где сосредоточивалось руководство художественной жизнью страны. Вспомним, что именно отсюда, из рук Горького, выходили первые в стране и в мире планы миллионных изданий классиков для народа. Именно здесь впервые обретали плоть идеи, полностью развившиеся лишь в позднейшее время, — государственная помощь народному искусству, творческий клуб писателей и др.

Поглощенный живым участием в созидательных делах революции, Горький нередко забывал о собственном писательском труде. Когда в 1919 году к нему обратились с вопросом о его личной работе, Алексей Максимович ответил:

«Ничего не пишу, не занимаюсь литературой. Не такое теперь время, чтоб этим заниматься. Вот и все»¹.

Перечтя внимательно письма Ленина и Горького друг другу в эти годы, мы поймем, насколько тесна была связь между ними, насколько эта деятельность Горького была непосредственно вдохновлена идеями Владимира Ильича. Прочтем статью Горького 1920 года в двенадцатом номере «Коммунистического Интернационала» и увидим, какое преклонение вызывал у Горького Ленин. Вспомним, наконец, историю организации издательства «Всемирная литература». В беседе с Горьким Владимир Ильич сказал ему:

«В массу надо двинуть всю старую революционную литературу, какая есть у нас и в Европе».

Ленинские слова об открыто связанной с рабочим классом литературе во-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. VIII, стр. 387.

² В. И. Ленин. Соч., т. XIV, стр. 211.

¹ «Вестник литературы», 1919, № 8, стр. 5.

плотились также и в творчестве Маяковского. Действительно, кто из художников более «открыто», более полно в первый же день Октября связал себя, свое творчество с рабочим классом, с революцией, с жизнью и борьбой большевистской партии, чем Маяковский?

Разве человек, не осознавший внутренне права победителя, мог бы обратиться с подобными требовательными словами к тем, кто вступал в новое искусство:

«Вы говорите «добро пожаловать». Мы говорим: «Предъявите ваши мандаты». Кем вы посланы? Сердцем, бьющимся с пролетарской революцией, или жаждой заказов нового хозяина?»¹

Стихи Маяковского, созданные в первые годы Октября, претворяют в образной форме боевые задачи, выдвигавшиеся большевистской партией. Они передают массам партийные лозунги, несут им слова ее вождей. Эта глубоко новаторская поэзия, призывающая к сопротивлению Колчаку или Врангелю, отличающаяся кулака или интервента, не только может мыслиться, как неотъемлемая часть жизни и борьбы рабочего класса, но и способна существовать, лишь мысля себя таковой.

Личная и общественная деятельность Маяковского в эти годы находится в единстве с его творчеством. Особенно наглядно это проявляется в работе поэта для Роста.

«Окна Роста» — это фантастическая вещь... Это обслуживание кучкой художников вручную стопятидесятиmillionного народища.

Это — телеграфные вести, моментально переделанные в плакат, это — декреты, сейчас же опубликованные частушкой...

... Это те плакаты, которые перед боем смотрели красноармейцы, идущие в атаку...»²

Поднимая, как победный стяг, стомов своих партийных книжек, Маяковский мог по праву салютовать грядущему коммунизму и тремя тысячами своих партийных плакатов.

Только полное непонимание ленинской концепции советского искусства, забвение реальных исторических фактов, игнорирование великого смысла деятельности Горького и Маяковского в годы гражданской войны могло вызвать утверждение, что советское искусство начинает свою историю с восстановительного периода.

Вслед за Горьким и Маяковским десятки художников по-своему сумели вписать свои имена в книгу советского искусства. Они, художники старого мира, стали первыми художниками родившегося нового общества.

Поэма «Двенадцать» Блока была самым высоким достижением предшествовавшего революции творческого развития поэта, но и поэма, и автор принадлежали уже к искусству новой эры. Замечательно совпадение высказываний Блока этой поры с ленинскими словами. Великая правда революции владела теперь этим искренним и правдивым поэтом предоктябрьской России. «Прихлебатели буржуазной сволочи» — вот что бросил в лицо Мережковским утонченный лирик, изысканный символист Блок.

Валерий Брюсов был также одним из тех, кто открыто связал себя с свободной литературой пролетариата, кого «идея социализма и сочувствие трудящимся» завербовали в ее ряды. Вступив в большевистскую партию, Брюсов принес с собой и поставил на службу нарождающемуся в те годы советскому искусству огромную художественную культуру.

Нужно взять всю культуру, — неоднократно говорил Ленин, — которую капитализм оставил, и из нее построить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знания, все искусство. Без этого мы жизнь коммунистического общества построить не можем. Ленин указывал, что носителями этих знаний и культуры являются буржуазные интеллигенты — инженеры, врачи, художники, актеры, писатели.

Эта интеллигенция должна была нести народу драгоценности классического наследия, передавать ему свой творческий опыт, свое мастерство, помогать

¹ В. Маяковский. Собрание сочинений, Гослитиздат, т. XII, стр. 322.

² Там же, т. XII, стр. 196.

ему растить и воспитывать собственные таланты и собственных мастеров. «У нас есть буржуазные специалисты, и больше ничего нет. У нас нет других кирпичей, нам строить не из чего. Социализм должен победить, и мы, социалисты и коммунисты, должны на деле доказать, что мы способны построить социализм из этих кирпичей, из этого материала, построить социалистическое общество из пролетариев, которые культурой пользовались в ничтожном количестве, и из буржуазных специалистов»¹.

Ленин отлично знал, как развращена эта интеллигенция капитализмом, как глубоко проникнута она эксплуататорской идеологией. Сотни актеров, живописцев, музыкантов выступили на другой день октябрьской победы против народа. Буржуазная обстановка создала в голове большинства старых художников невероятную идейную путаницу, сочетавшую профессиональные предрассудки с политическим невежеством. Актеры Александринского театра ответили, например, на приглашение дать спектакль для рабочих: «Россия вступила в новую эру, на красном знамени которой горит слово «труд»; на нашем же знамени художников — по белому фону — сиренево: девиз «красота»². Живописцы, когда им предложили устроить выставку, заявили: «Мы для немногих. Искусство не может раздаваться всем. Оно божественно, царственно. За покушение на эту святиню придется держать ответ перед богом»³. В разгар польского наступления в 1920 году нашелся довольно известный автор, выпустивший книгу под заглавием: «В зареве логоса. Споряды и фрагменты».

Ленин поставил перед партией задачу перевоспитания старой художественной интеллигенции, морального ее перевоспитания. «Эти люди, — говорил Ленин на VIII съезде партии, — привыкли к культурной работе, они двигали ее в

рамках буржуазного строя... Но они двигали культуру, в этом состояла их профессия. Поскольку они видят, что рабочий класс выдвигает организованные передовые слои, которые не только ценят культуру, но и помогают проводить ее в массах, они меняют свое отношение к нам». И далее В. И. Ленин приводит пример:

«Когда врач видит, что в борьбе с эпидемиями пролетариат поднимает самостоятельность трудящихся, он относится к нам уже совершенно иначе... Они будут побеждены морально, а не только политически отсечены от буржуазии»¹.

Несомненно, что эти слова, в первую очередь, относились к той интеллигенции, для которой идейно-моральная убежденность играет решающую роль, так как без нее вообще немыслима продуктивная творческая работа.

И Ленин показывает партии и народу окончательные результаты предлагаемой им политики: «Тогда наша задача станет легче. Тогда они будут сами собой вовлечены в наш аппарат, сделаются его частью»².

Таким образом, намеченный Лениным путь приобщения к революции лучшей части художественной интеллигенции лежал через моральное воспитание. Этот путь, что важно подчеркнуть, вел к полному слиянию интеллигенции с советским обществом, к органическому вовлечению ее в строительство социалистического искусства.

Руководимая Лениным партия сделала в эпоху гражданской войны первые решающие шаги в деле перевоспитания художественной интеллигенции, обеспечив тем самым наилучшие условия для роста советского искусства.

Советские государственные органы проявляли поразительную, если учесть суровую обстановку гражданской войны, осмотрительность, находчивость, терпение, воспитывая в интересах советского искусства старых художников. Новая власть оберегала их фетиши. Им позволяли в то время, когда не хватало бумаги для газет, печатать всякие «За-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 65.

² 100 лет. Александринский театр — Театр Госдрамы. Л. 1932, стр. 417.

³ Советское искусство за 15 лет. Материалы и документы, М., 1933, стр. 104.

¹ В. И. Ленин, т. XXIV, стр. 142—143.

² В. И. Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 143.

писки мечтателей», где наряду с произведениями настоящих мастеров печатался заумный бред. Советская власть была терпима к их «авторитетам»: почти два месяца она сохраняла на посту назначенного Керенским одного из организаторов театрального саботажа и убрала его лишь тогда, когда сами актеры в нем изверились¹. Когда в стране почти не было хлеба, партия давала художникам и музыкантам мясо и сахар, приравнивая их пайки к пайкам красноармейцев.

«Мы знаем, что с неба ничего не сваливается, мы знаем, что коммунизм вырастает из капитализма, что только из его остатков можно построить коммунизм, из плохих, правда, остатков, но других нет... Трудности этого дела громадны, но это плодотворная работа»². Лучшую часть художников партия покорила великой моральной правдой своего дела, освобождением, которое несла она искусству. Стоит привести хотя бы два три факта, показывающие, как блестяще подтверждала жизнь ленинскую стратегию привлечения художественной интеллигенции. Журнал «Вестник литературы», сотрудники коего состояли из тех самых людей, которые принимали резолюции протеста против большевистского «варварства», писал в 1919 году: «Мы видели и пережили немало ужасов, но не в этой плоскости. Библиотеки, музеи, картинные галереи стали и более ценными, и более доступными... Масса жадно набрасывается на книги, на театры, на школы и музеи, и не для истребления, а для скорейшего приобщения себя к этим ценностям. Не в катакомбы, пустыни и пещеры должны мы унести зажженные светлы, а вынести их на улицы и площади»³.

Великий художник-реалист Станиславский, вначале далекий от революции, писал о новом, революционном зрителе: «Этот зритель оказался чрезвычайно театральным, он приходил в театр не мимоходом, а в ожидании чего-

то важного, невиданного. Он относился к актеру с каким-то трогательным чувством»¹.

И актеры эти, бастовавшие в ноябре, в январе уже играли на рабочих спектаклях. Художники, проклинавшие «разрушителей Василия Блаженного», не давали жить Луначарскому: когда же выполнят постановление Совнаркома о сносе уродливых памятников царям. В ТЕО, в МУЗО, в ЛИТО, во «Всемирной литературе», в рабочих кружках, в редакциях газет, в народных консерваториях читали лекции, редактировали стихи, обучали нотам, переводили Эсхила и Кальдерона живописцы, поэты и музыканты старого мира, приобщенные гением Ленина к великому искусству социализма.

III

«Для того, чтобы искусство могло приблизиться к народу и народ к искусству, — говорил Ленин в беседе с Кларой Цеткин, — мы должны сначала поднять общий образовательный и культурный уровень»². В этом процессе громадную роль призвана была сыграть старая художественная интеллигенция, и эта роль ее становилась действительной, когда ее знания оплодотворяли собою новое искусство, вырастающее на почве широчайшей народной культуры.

Распространение грамотности, строительство школ, открытие рабфаков и университетов были с этой точки зрения вкладами и в сокровищницу советского искусства, наряду с созданием новых театров и художественных студий. Диалектическую сущность этого вопроса Ленин сформулировал с изумительной краткостью: «Наши рабочие и крестьяне... получили право на настоящее великое искусство. Потому мы в первую очередь выдвигаем самое широкое народное образование и воспитание»³.

¹ 100 лет. Александринский театр — Театр Госдрамы. Л. 1932, стр. 408—411.

² В. И. Ленин. Соч., т. XXV, стр. 81.

³ «Вестник литературы». 1919, № 6, стр. 4.

¹ К. С. Станиславский. Моя жизнь в искусстве. М., 1933, стр. 665.

² Клара Цеткин. Воспоминания о Ленине. М., 1933, стр. 35.

³ Там же, стр. 38.

Огромная работа, проделанная советской властью под руководством Ленина в области народного образования, была тем самым плодотворнейшей работой на ниве социалистического искусства. Не учитывая этой работы, нельзя понять ни конкретных условий зарождения советского искусства, ни значения ленинских идей в его создании. Деятельность партии в эти годы захватила и вовлекла в сферу новых культурных интересов огромные народные массы. Буквально во всех отраслях культурной жизни страны партия создавала новые условия для культурного самосознания масс.

Из старой школы были выброшены схоластика и религия; упразднено раздельное обучение, питавшее буржуазную мораль; было узаконено и начало проводиться в жизнь бесплатное всеобщее образование. Для того, чтобы понять, как на практике внедрялась в народные массы новая культура, следует вспомнить, что только за первые 9 месяцев 1918 года было открыто 7 800 новых школ¹.

26 декабря 1919 года Ленин подписал исторический декрет,¹ обязывавший «всех граждан от 8 до 50 лет обучаться чтению и письму». Больше миллиона человек в 1920 году, в результате этого декрета, впервые взяли книгу в свои руки². И, как непосредственный отклик на эти первые мероприятия, крестьяне многих деревень объявили подписью за неграмотного недействительной³. По всей стране вырастали народные университеты, рабочие курсы, клубы, школы для взрослых. «В селах Верховине и Верхоширне открываются народные университеты» — сообщала «Правда». «Крестьяне отвели для них 2 дома, землю и 10 тыс. р.»⁴. Партия приобщала народ к культуре, знаниям через тысячи руководимых ею организаций. Разрушив основы национального гнета, она закладывала фундамент социалистиче-

ской по содержанию и национальной по форме культуры. В аулах и кишлаках было приступлено к открытию национальных школ. В апреле 1918 года «Правда» поместила заметку, в которой указывала: «Сегодня вышел первый номер чувашской газеты «Сене-Пургас» («Новая жизнь»), издаваемой советом»¹.

Эпоха гражданской войны была свидетелем широчайшего творческого размаха художественных сил народа, того «приближения народа к искусству», о котором говорил Владимир Ильич. Там, куда советская власть приносила школы, комбеды, кружки ликбеза, начинали бить таившиеся под почвой родники искусства. Чаще всего то было искусство театра, способное наиболее быстро отразить перемены в народной жизни, наиболее ярко воплотить патетичность народных переживаний и напряженность борьбы. В 1919 году половина всех просветительных учреждений страны устраивала театральные представления, и не было ни одного фабзавкома, который не имел бы драматического кружка или сценической площадки². Замечательно, что в ротах и полках Красной Армии насчитывалось до полутора тысяч театральных организаций и каждый красноармеец в среднем один раз в неделю был театральным зрителем.

Ленин писал в марте 1918 года о «прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция»³. И он неоднократно подчеркивал огромное значение этого размаха. Однако в наше время часто забывают тот факт, что рождение советского искусства происходило в обстановке огромного художественного подъема масс. Наши исследователи, поглощенные деталями эволюции супрематизма или кубизма, нередко предают забвению то определяющее влияние, которое имел в развитии советского искусства народный порыв к искусству эпохи гражданской войны.

¹ «Правда» от 19 октября 1918 г.

² А. В. Луначарский. Десять лет культурного строительства. М., 1927.

³ «Октябрь 1917—1920 гг.». Отчет НКП. М., 1920.

⁴ «Правда» от 18 декабря 1917 г.

¹ «Правда» от 19 апреля 1918 г.

² Данные анкеты Московского совета по 20 губерниям Советской России. Опубликованы в журнале «Народное просвещение» за 1919 г., № 6—7.

³ В. И. Ленин. Соч., т. XXII, стр. 376.

Как известно, на конкурсе Петроградского военного округа жюри, в которое входил Горький, присудило первую премию (среди 127 присланных пьес) драме «Классовая борьба в Вятской губернии». Посылая пьесу, полк удостоверал, что автор ее — «сын маломощного крестьянина Вятской губернии и сам хлебопашец»¹.

Мы знаем, что в феврале 1919 года некий Семен Оков был торжественно награжден «званием первого поэта города Казани».

На петроградской маевке 1920 года в «Мистерии освобожденного труда», разыгранной на портале фондовой биржи, участвовало 40 тысяч привлеченных к этому делу граждан, красноармейцев, профессиональных актеров, учеников художественных школ, цирковых акробатов. На октябрьском торжестве того же года в представлении на площади участвовало 100 тыс. человек. В «агитсуде» над Врангелем в станице Крымской в феврале 1920 года участники получили лишь канву роли, «остальное каждый импровизировал, руководствуясь только-что пережитым». Разве народность нашего советского искусства не выражалась во всех этих фактах, и мыслимо ли понять без них его настоящее? Как известно, первый субботник на Казанском вокзале Владимир Ильич назвал «великим почином», «фактическим началом коммунизма». В первых и слабых еще ростках нового Ленин увидел признаки всемирно-исторического перелома. Пьеса, написанная полуграмотным красноармейцем, обойдя две тысячи сто двадцать один полковой кружок и театр, канула в летописи эпохи военного коммунизма вслед за именем лауреата города Казани. Но и эта пьеса, и сельские кружки были ростками истинно народного искусства.

IV

Ленин, руководясь теорией Маркса—Энгельса, не только гениально развил их мысли о характере идеологии

в классовом обществе, но и блестяще показал, как использует коммунистический строй те «запасы знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества»¹. Ленин доказал, что величайшие достижения науки, лучшие произведения искусства прошлого отнюдь не являются лишь идеологическим выражением узких корыстных интересов эксплуататорского строя (как это пытались представить вульгаризаторы марксизма), и на этом основании выдвинул задачу использования художественного наследия рабочим классом.

В «Критических заметках по национальному вопросу» (1914 г.) Ленин писал: «В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую»². Именно эти элементы демократизма и социализма в национальной культуре являются источником и базой создания новой интернациональной культуры, которая строится «в противовес буржуазной культуре, буржуазному национализму каждой нации»³.

Уже ранними декретами советская власть твердо узаконила сохранность памятников культуры и художественного творчества. Через десять дней после октябрьского переворота, 6 ноября ст. ст., публикуется приказ народного комиссара просвещения по бывшему министерству двора, в котором предлагается взять под охрану «все выдающиеся и заслуживающие внимания в художественном и историко-бытовом отношении предметы» в дворцах и музеях Петрограда и его окрестностей. В этом же приказе вынесена благодарность тем из дворцовых служителей, которые остались на своем посту и оказали «самоотверженную защиту и охранение народ-

¹ «История советского театра», т. I, Л., 1933, стр. 230.

¹ В. И. Ленин, Соч., т. XXX, стр. 406.

² В. И. Ленин, Соч., т. XVII, стр. 137.

³ Там же.

ных сокровищ Зимнего дворца в ночь с 25 на 26 октября 1917»¹. В 1918 году Ленин лично подписывает декреты, конкретно определяющие политику нового государства в отношении художественного наследия. 6 июня 1918 года публикуется декрет о национализации Третьяковской галереи, 24 сентября — о запрещении вывоза за границу предметов искусства и старины, 5 ноября — о национализации художественной галереи Щукина. Во всех этих ленинских декретах мы наблюдаем неустанные заботы об искусстве, принадлежащем народу.

Характерно, что Совнарком еще 30 мая 1918 года специально рассматривал вопрос о «Мадонне» Ботичелли и на том основании, что владелица картины пыталась продать ее за границу, постановил картину конфисковать². В декрете о Третьяковской галерее сказано, что она является «по своему культурному и художественному значению учреждением, выполняющим общегосударственные просветительные функции»³, а о галерее Щукина в декрете говорится, что она «имеет общегосударственное значение в деле народного просвещения».

Мы видим, с какой целеустремленностью и единством проводилась ленинская политика подъема народного просвещения, равно претворявшаяся в организацию новых школ и открытие картинных галерей для трудящихся.

Понятно также, что эти мероприятия являлись одновременно важнейшими средствами «моральной победы» над старой художественной интеллигенцией, о которой мы говорили выше.

VIII съезд ВКП(б) в 1919 году закрепил все эти акты советского правительства в программе партии, в знаменитых словах о предоставлении народу сокровищ искусства. Искусство, созданное в прошедшие эпохи, становилось истинным достоянием народа. На страже его, как и всех других достояний на-

рода, стояла теперь ВЧК. В специальном циркуляре всем своим губернским и уездным отделам ВЧК предлагала принять решительные меры против хищения «художественных картин, портретов, гравюр и всякого рода художественной посуды (вазы, серебро), больших и ценных по содержанию библиотек и т. п.»¹. Так свято выполнялись ленинские указания, и мудрые мысли вождя облекались плотью и кровью революционного дела.

В 1910 году Владимир Ильич писал, что для того, чтобы сделать великие произведения Толстого «действительно достоянием всех... нужен социалистический переворот»². И замечательно, что одним из первых актов свершившегося социалистического переворота был декрет об издании Толстого и классиков художественного слова. Творения «корифеев литературы», гласило решение ЦИК от 29/XII 1917 года, переходят в собственность народа. Они должны были стать доступными самым широким массам читателей. В утвержденном 19 февраля 1918 г. списке русских писателей, сочинения которых монополизировались государством и предназначались к изданию, мы находим имена всех крупнейших мастеров литературы, украсивших своими произведениями русское искусство. Этот перечень характерен чрезвычайной широтой круга писателей, которые предполагались к изданию. В число монополизируемых изданий входят наряду с классиками и «Толковый словарь» В. И. Даля, и стихи А. Фета и С. Надсона, и «Русские сказки» Афанасьева, и проза Аксакова, и критика Михайловского, т.-е. все, что было ценного в русской литературе. Широту эту следует особенно подчеркнуть потому, что немало упрощенцев пыталось обеднить великую русскую культуру, выдавая «индульгенции» лишь избранным художникам и объявляя остальных не заслуживающими снисхождения «поборниками эксплуатации».

¹ Сборник декретов и постановлений по народному образованию. Выпуск I, 1918.

² «Известия ВЦИК» от 7 июля 1918 г.

³ «Искусство», 1918, № 1.

¹ Сборник декретов и постановлений по народному образованию. Выпуск I, М., 1918.

² Там же, т. XII, стр. 196.

В. И. Ленин, отвергая узкие псевдо-революционные сектантские взгляды на культуру прошлого, вместе с тем всячески подчеркивал необходимость критического отношения к старому наследию. Преемственность не должна быть механической; то, что в старой культуре отражает распад и гниение буржуазного общества, его эксплуататорскую сущность, должно быть решительно отмечено, отброшено. Вредные по своему идейному содержанию, антихудожественные, не помогающие революционной борьбе, не способствующие воспитанию высоких эстетических вкусов произведения не нужны победившему народу. Характерен список кинолент, запрещенных к демонстрированию в советской республике 17 августа 1918 года. Здесь мы находим и порнографические фильмы («Дамы курорта не боятся даже чорта», «Ревнивая собака» и др.), и картины, изображающие различного рода преступления, «не имеющие внутреннего повода, психологически неправдоподобные, возбуждающие низкие инстинкты человека» («Темные души», «Так вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою»), и нехудожественные, антиисторические ленты («Освобождение крестьян», «Петр I»), и грубые, вульгарные комедии («Ах, не верьте вы рекламе», «Лакей мстит Максусу», «Любовнику не повезло» и т. п.)¹.

Таким образом, все насковзь буржуазное, мещанское творчество революция отвергла и выдвигала в противовес этим явлениям распада классику и произведения высокого искусства.

Согласно декрету издания классиков должны были «поступать в продажу по себестоимости, если же средства позволят, то и распространяться по льготной цене или даже бесплатно...»².

9 января 1918 года (ст. ст.) государственная комиссия по просвещению приняла постановление «издать собрание сочинений Некрасова: 1) полное одно-томное в количестве 100 000 экземпляров и 2) отдельными произведениями в

количестве, какое окажется потребным»¹.

По той же линии идет целый ряд других примечательных постановлений правительственных органов.

Коллегия НКПроса 19 октября 1918 года специальным решением отпустила Академии Наук 50 000 рублей на приобретение рукописей Пушкина².

В тот же день коллегия НКПроса постановляет спешно перевести Саратовскому совдепу крупную сумму для срочной организации в доме Н. Г. Чернышевского музея его имени³.

Созданное А. М. Горьким, по совету Ленина, издательство «Всемирная литература» имело специальной задачей «познакомить русскую демократию с художественной литературой Запада». Предполагалось к массовому изданию 2 000 названий книг по 2 печ. листа и 800 томов по 20 печ. листов.

2 ноября 1918 года СНК принял постановление отпустить «Всемирной литературе» в сверхсметном порядке 6 576 000 р. для осуществления ее издания.

Ясно, что вся эта широчайшая, многообразная работа по пропаганде классического искусства непосредственным образом определяла характер и направление мощного роста художественных сил народа, разбуженных революцией.

Одновременно распространение классиков оказывалось плодотворным для очищения художественного сознания старой интеллигенции от элементов буржуазно-мещанской эстетики.

О том, в какой мере отвечала эта политика глубоким стремлениям самих масс, можно судить по тому, что уже первые сведения, собранные в библиотеках Москвы, Петрограда и других городов, показывали, что наибольшей любовью нового миллионного читателя пользуются классики. Анкета, проведенная в начале 1921 года среди 11 200 красноармейцев и 755 краснофлотцев с

¹ Протоколы заседаний гос. ком. по проsv. Центр. архив Окт. революции, фонд 2306, опись 3, дело 70, лист 26.

² Центр. архив Окт. революции, фонд 2306, опись 1, дело 21, лист 60.

³ Там же.

¹ «Известия ВЦИК» от 17 августа 1918 г.

² Сборник декретов и постановлений по народному образованию. Выпуск I, М., 1918.

вопросом: «Кто ваш любимый писатель», показала, что абсолютное большинство называет классиков, причем Толстого называл 21,1 проц. всех опрошенных¹.

По указанию Ленина, и на сцене театров была широко двинута классика. В Москве в 1919 году шло по 5 — 6 шекспировских спектаклей в вечер. Именно эти спектакли, как свидетельствуют статистические сведения, заслуживали наибольшее одобрение и привлекли искренние симпатии зрителя. А. В. Луначарский писал в том же году: «Посмотрите, что больше всего имеет успех у пролетария. Вкусы у них верные. Гостеатр переполняется пролетариями. Марининский театр в Петрограде в течение 2 месяцев был посещен 80 тысячами рабочих. В Александринском театре мы наблюдали овалы со стороны рабочих. Малый театр полон, и значительным контингентом его зрителей являются рабочие»². Надо учесть, что это происходило в условиях, когда актеры получали только 18 проц. прежней зарплаты, а из-за отсутствия электричества спектакли начинались в 5½ и 6 час. вечера.

Нам представляется, что, тяга масс к классике, и прежде всего героической, находилась в глубокой связи с героическим характером нарождающегося искусства, характером, который с такой полнотой раскрылся впоследствии.

Работники театра дружески протянули руку новому зрителю. МХАТ дал целый ряд бесплатных спектаклей в рабочих окраинах. 1 июня состоялся первый спектакль в Сретенском районе³.

Вслед за литературой и театром приближалась к народу живопись и скульптура.

Произведения изобразительного искусства рассылались по провинциальным городам через организованное в Москве Центральное выставочное бюро для ознакомления народа с лучшими образцами. В губернских центрах организовывались выставки, которые далее на-

правлялись в уездные города¹. Все это было следствием генерального ленинского лозунга: «Искусство в массы!».

«Право, — говорил Ленин Кларе Цеткин, — наши рабочие и крестьяне заслуживают чего-то большего, чем зрелищ. Они получили право на настоящее великое искусство»².

С содержанием нового искусства Ленин теснейшим образом связывал и развитие новой формы, которая будет его отличать. Владимир Ильич указывал, что на почве широкого народного образования «должно вырасти действительно новое, великое коммунистическое искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию»³.

Страстные поиски новой, оригинальной формы советского искусства начались уже в самые первые дни после Октябрьской революции. Известно, что они вначале сопровождались формалистическими увлечениями и извращениями. Многочисленные декларации и манифесты часто трактовали проблему формы в полном забвении интересов и стремлений народа, в противоречии с теми указаниями, которые делал Ленин.

Нет смысла описывать здесь различные теоретические и практические ухищрения формалистов того времени, о которых говорилось уже достаточно. Выступая на съезде по внешкольному образованию в 1920 году, Ленин кратко выразил свое отношение к ним, назвав попытки «леваков» «нелепейшим кривляньем» и «несуразностями». Широко известно также отношение Ленина к Пролеткульту, ставшему оплотом меньшевизма в вопросах культуры.

В то время как пролеткультовцы мыслили себе формирование нового искусства в отрыве от политической борьбы рабочего класса, Ленин звал художников на путь активного включения в строительство социалистического общества, направляя внимание молодых художников на произведения классического искусства, добиваясь политической

¹ «Массовый читатель и книга» под ред. Рыбникова, М., 1925.

² «Народное просвещение», 1919, № 9, стр. 5.

³ «Правда» от 7 июля 1918 г.

¹ «Народное просвещение». 1919, № 6 — 7, стр. 90.

² Клара Цеткин. Воспоминания о Ленине, стр. 38.

³ Там же, стр. 38.

актуализации художественного творчества в Советской стране.

14 апреля 1918 года, за подписью В. И. Ленина и И. В. Сталина, публикуется декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции»¹. В декрете указывается на необходимость мобилизовать художественные силы и организовать широкий конкурс по выработке проектов новых памятников, «отражающих идеи и чувства революционной трудовой России».

По мысли Ленина, постановка скульптурных украшений на площадях и улицах городов, прикрепление к отдельным зданиям барельефов с изображениями великих деятелей науки и культуры, установка памятных досок с изречениями величайших умов человечества, — все это должно было стать важным фактором развития нового искусства².

И действительно, Ленин преследовал не только задачу коммунистической пропаганды средствами искусства, но и стремился привлечь наиболее талантливых художников к работе над художественно значительными темами. Это должно было повысить идейность творчества живописцев и ваятелей, приблизить их к коммунистической партии и к ее идеалам. Таким путем можно было помочь найти новую форму, соответствующую социалистическому содержанию советского искусства.

30 июля 1918 г. был утвержден и список лиц, «коим предположено поставить монументы в городе Москве и других городах РСФСР». На первом месте среди писателей был назван Толстой. Ленин в дальнейшем в течение ряда лет неустанно следил за выполнением декрета. Десятки художников работали над монументами, бюстами, барельефами и памятными досками. Однако значительная их часть была испорчена формалистическими ухищрениями. Таковы были далекие от реализма и вызвавшие

резкую критику Ленина памятник Перовской, памятник Марксу и Энгельсу; последние, по выражению Луначарского, напоминали Кирилла и Мефодия и «высовывались как бы из ванны».

Явно имея в виду опыт «монументальной пропаганды», Ленин говорил Кларе Цеткин: «Мы чересчур большие «ниспровергатели в живописи». Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему нам нужно отворачиваться от истинно-прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно «старо»? Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо поклониться только потому, что «это ново»? Бесмыслица, сплошная бессмыслица!»¹.

Исходным пунктом и базой развития искусства социалистического общества должны были, согласно Ленину, стать классические ценности — «истинно прекрасное» творчество. Старое, — оно было неизмеримо важнее для развития нового искусства, чем «псевдоновое» «сочинительство», отражающее в конечном счете распад подлинного искусства. На опыте монументальной пропаганды Ленин показал, по какому направлению должно идти социалистическое искусство в поисках своей формы.

В этом направлении развивается и монументальное искусство наших дней, которое призвано воплотить коммунистические идеалы в величайшем памятнике Ленину — в Дворце Советов. Архитектурные и скульптурные сооружения Дворца, монумент Ильича, увенчивающий здание, живопись, барельефы и фрески, которые украсят его стены, — все это должно служить ярчайшей художественной пропагандой коммунистических идей. Но это должно быть в то же время искусством истинно-прекрасным, о котором мечтал Ленин. К сожалению, не все наши художники прониклись сознанием важности этого дела; свидетельством тому могут служить неудачные проекты и памятники, пред-

¹ «Известия ВЦИК», № 79 (338) от 14 апреля 1918 г.

² А. В. Луначарский. Ленин о монументальной пропаганде, «Лит. газета» № 4—5 от 29 января 1933 г.

¹ Клара Цеткин. Воспоминания о Ленине. Стр. 33—34.

ставленные на последние конкурсы. Идея монументальной пропаганды, выдвинутая Лениным, должна пронизывать всю творческую работу наших художников, ваятелей, живописцев.

Стремясь еще более расширить участие художников в революционных боях, Ленин и партия принимают все меры к включению искусства в борьбу на фронтах гражданской войны. Приказами Реввоенсовета и Наркомпроса все культурное достояние страны, все библиотеки, театры, музеи и лаборатории предоставлялись для обслуживания Красной Армии в первую очередь.

Театральные спектакли и музыкальные и литературные вечера сделались обычным явлением в боевой обстановке. В частях Красной Армии были созданы специальные театральные команды из призывников или мобилизованных актеров. Иногда даже целые театральные организации непосредственно зачислялись в Красную Армию, подобно заводу или верфи, переведенным на оборону страны. Весной 1919 года свыше пятнадцати передвижных трупп объезжало фронты.

Здесь, в этой напряженной, вихревой обстановке героических боев за социализм, зарождались новые идеи и новые темы растущей советской литературы. Здесь выросли и закалились таланты художников, которые в дальнейшем определили своим творчеством характер всего советского искусства. Гражданская война не только дала этим писателям проблематику их произведений, она вручила им материал для художественного обобщения и подсказала формы и методы изображения жизни в искусстве. Отсюда пошли вдохновленные Лениным действительно целесообразные и разум-

ные поиски высокой эстетической формы искусства освобожденной страны.

Великий продолжатель дела Ленина товарищ Сталин развил ленинскую теорию искусства в условиях победоносной борьбы за социализм, выдвинув лозунг социалистического реализма. Первые ростки советского искусства благодаря Сталину распустились замечательным цветом. Если Ленин говорил о первом пробуждении народа к искусству, то в эпоху Сталина широчайшие массы советских народов сознательно творят прекрасные художественные образцы. В тысячах театральных школ, музыкальных техникумов, изобразительных студий создана новая художественная интеллигенция — плоть от плоти и кровь от крови трудового народа. Процесс приобщения масс к классическому наследию, начатый при Ленине, благодаря Сталину приобрел невиданно широкий размах. Он нашел выражение в многомиллионных тиражах изданий произведений Пушкина, Толстого, Гоголя, Шекспира, Гете, в тысячах театров и театральных постановок, кино, радио. Советское кино, развивающееся под непосредственным руководством товарища Сталина, создало изумительные произведения, не знакомые ни прошлому, ни искусству современных капиталистических стран. И как бы отдавая дань преклонения и благодарности своим великим вдохновителям — тем, кому оно обязано своим рождением, своим расцветом, своими лучшими идеями, — наше искусство воплощает образы Ленина и Сталина в самых высоких своих произведениях. Советское искусство, зародившееся двадцать два года тому назад, Сталин ведет к сияющим вершинам коммунизма.

Сила Маяковского

НИК. АСЕЕВ

★

Владимир Маяковский поэт такого масштаба и такого размаха, какие появляются раз в столетие и надолго оставляют свой след в литературе и память в потомстве.

В чем сила его особенного, никакой мерке не поддающегося гениального дарования?

Во-первых, — в своеобразии, непохожести, неповторимости изобразительных средств языка, свободе синтаксиса, широте словаря, первородности создаваемых образов, никогда и нигде до него не использованных, во всем богатстве и разнообразии владения им речью — горячей, неожиданной, убеждающей и страстной, которая никогда и нигде не превращается в холодное слагание стихов, в академически бесстрастную лощенность.

Во-вторых, — в широте диапазона творчества поэта, захватывающего и впечатляющего как самого искушенного и требовательного к поэтической технике читателя, так и непредубежденного, впервые встречающегося со стихотворной речью человека.

И, наконец, в-третьих, — в огромной человеческой глубине, справедливости и емкости его поэтических чувств, которые всегда направлены к самому лучшему, что есть в людских сердцах, к их достоинству, гордости, честности и прямо-те, исковерканных веками рабского существования в недрах эксплуататорского общества, — за новые начала жизни, за конечную цель их расцвета и прояв-

ления, за победу коммунистического общественного строя.

Этими тремя главными особенностями поэтической личности Маяковского и должны будут заняться историки литературы и ученые исследователи поэзии, не упуская из виду ни одной, чтобы не исказить и не обеднить представления о нем, как о величайшем поэте своего времени.

Одно исследование его поэтики, его изобразительных средств, словаря, ритмики, рифмы, синтаксических особенностей при всей благодарности этой работы даст лишь одностороннее представление о нем, как о поэте-новаторе, о поэте-протестанте против существовавших до него литературных форм, не дав понимания того, во имя чего, ради каких целей эти новшества были им введены, какими причинами они вызывались.

С другой стороны, трактовка творчества Маяковского, только как общественного служения, как непосредственного революционного действия, без учета того, какими именно свойствами отличалось оно от предшественников и современников, работавших в том же направлении, — опять-таки будет приводить лишь к общим местам оценки Маяковского, как гражданина, не раскрыв того, что же именно прибавлено им к опыту революционной литературы, предшествовавшей ему и ему современной.

А в этом как-раз и заключается ценность дарования поэта, отличающая его,

определяющая его качества, как лучшего и талантливейшего из поэтов своего великого времени. В свете этих соображений нам кажется особенно важным остановить внимание читателя на второй из перечисленных нами особенностей творческого дарования поэта.

На широте его авторского диапазона, обращенного и к читателю-стиховеду, знакомому со всей сложной технологией стиха, и к случайному потребителю стихов, впервые встречающемуся с непривычными ему строчками.

Общественная значимость работы Маяковского поставлена на должную высоту еще с памятного выступления Владимира Ильича Ленина на съезде металлистов, где им была отмечена политическая зоркость Маяковского. Но секрет его обаяния, тайна его действия на самые разнообразные читательские круги до сих пор еще не раскрыта и ждет своего исследователя.

А только в этом обаянии, в этом постоянном умении подойти к сердцу и уму читателя и могло стать доступным его новаторство и могла активизироваться его общественная роль.

Маяковский, по его собственному молодому определению, «нравился и жегся» самым разным людям, людям самых разных литературных вкусов, предъявлявших до знакомства с ним совершенно иные требования к поэзии.

Что в нем «нравилось» читателям?

Мужество, смелость, прямота, веселость его высказываний; их абсолютная бескомпромиссность, агитационная ясность и яркость наряду с человечностью интонаций, с отсутствием риторических шаблонов, дешевки повтора; их неожиданная убедительность и убежденность.

Что в нем «жгло» непривычного к его манере читателя?

Нетерпимость к старому, горячность в споре, молниеносность доводов, многообразие и острота его посылок. Люди, не привыкшие быстро мыслить и соображать, не поспевали вслед за ходом его умозаключений, обижались и расстраивались враждебно ко всей его манере высказываний.

Отсюда, из среды этих «отставших» и

обидевшихся за свое непосевание читателей и слушателей, и росла та волна глухого недоброжелательства, угрюмого недоверия к искренности поэта, глупых слухов и сплетен, приписывавших Маяковскому нигилизм, грубость, некультурность, паясничанье и другие смертные грехи, которые якобы оправдывали их отрицательное, огульно непримиримое отношение к этому огромному дарованию.

Необходимо иметь в виду, что именно в этот период, период первоначальной популярности Маяковского, общественная значимость поэзии стала понятием условным. Традиция пушкинско-некрасовской линии в поэзии заменилась падающей кривой тютчевско-фетовской умозрительной, созерцательной поэзии, и ко времени расцвета символистов — началу деятельности Маяковского — совсем ушла в глубь самосозерцания. Стоит припомнить хотя бы только названия книг, вышедших в то время, чтобы понять, как далеко от жизни, от народа, от его языка, мыслей и чувств стояла тогдашняя литература, в том числе и поэзия. «Жемчуга», «Четки», «Пепел» — вот названия книг стихов того времени.

И в этом жемчужно-четочном пепле, в этих книгах, отгороженных псевдоклассической мудростью от непосвященных, копошилась символическая, надмирная, надвременная, состарившаяся русская муза. Естественно, что на этом фоне — «Простое как мычание» — название книги Маяковского прозвучало, как удар бича по всей истлевшей эстетической бутафории. Обывательски оскалившейся ухмылке пошляков была брошена пища для не очень высоких острот. «Мычание! От человеческой речи к мычанию!». Ссохшиеся мозги эстетов не могли переварить всего образа целиком. Они усвоили только «мычание». «Простое как» не вмещалось в их узколобые черепа. И заявка на простоту, противопоставляемая вычурности и ложному мудрствованию, была воспринята как грубая выходка невоспитанного выскочки.

Однако эта перестрелка названиями книг не была только литературной рас-



Владимир Маяковский.

«Новый мир», № 4—5.

прей, не была только борьбой вкусов. Дело было глубже и сложнее.

После 1905 г. большинство русской интеллигенции, как известно, отшатнулось от революции. Испуг перед вооруженным восстанием народа надолго разочаровал образованных людей, не говоря уже о всей массе рантье и мелкой буржуазии. Все состоящие на жаловании у государства и промышленности почувствовали вместе с толчками, колебавшими самодержавие, уходящую из-под их ног почву. Традиции революционных разночинцев предыдущего поколения выродились, и от них остались лишь красивые фразы и лозунги. И вот в среде интеллигенции в годы реакции появились те самые герои, которые начали проповедывать в литературе индивидуализм, мистику, порнографию и звать к отступлению от пролетариата под крылышко капитализма. Создалась особая сорта литература безвременья: Розанов, Ремизов, Нагродская, Савинов-Ропшин, ставший впоследствии террористом и диверсантом, книги которых пользовались успехом у раскаявшегося обывателя. В поэзии туман мистики и индивидуалистического самоуспокоения нашел свое выражение в надмирности и отчужденности от всей современности. Глубоко в подполье, подстерегаемая царской охранкой, предаваемая озлобившимися меньшевиками, крепила ряды, подготавливала рабочих к новому взрыву революционной волны большевистская партия. Маяковскому было тогда 20 лет. Он уже побывал в московских тюрьмах. Он прочел «Коммунистический манифест» и «Эрфуртскую программу». Широкими, внимательными глазами впитывал он впечатления от этого мира — мира господ и рабов, черных и белых, эксплуатируемых и эксплуататоров. Он уже знал, с кем ему связать судьбу. Он видел фальшь и лживость искусства, служащего четкам и жемчугам. Он примерял свои силы в самом трудном разделе искусства — в поэзии.

Таким образом, дооктябрьский период поэтической работы Маяковского можно характеризовать, как формирование его юношеского таланта, подготовку его к борьбе, как формирование его творче-

ской индивидуальности в поисках тех ясных и резких средств выражения, которые полностью развернулись, получили широкую возможность их применения только с приходом Великой Октябрьской революции. До нее и без нее его талант не имел развернутых перспектив, не имел твердой почвы под ногами, не мог найти себя в полной мере. Футуризм в той его части, в какой он был воспринят Маяковским, был лишь бессильным протестом богемы против существовавших в обществе и искусстве канонов и традиций. Его социальные корни кончались на поверхности той общественной прослойки, которая, будучи вытолкнута из среды разночинцев и мелких служащих, не имела прочных связей ни с правящими классами, ни с народной массой в целом.

Более широкое понимание русского футуризма как движения в искусстве граничило с общими свойственными реакции чертами пессимизма и разочарования, ухода от больших жизненных задач в узкую область поисков законов искусства. Однако присутствие таких крупных дарований, как Хлебников и Маяковский, в той, повторяем, части русского футуризма, которая была близка этим крупным индивидуальностям, поставила его в несколько иное положение. Эта часть литературной и художественной богемы восстала против узкого специализирования искусства, против комнатного, эстетского понимания его задач и выдвинула лозунг широкого обслуживания улицы своими стихами и картинами. Возвращаясь к примитиву, к вывеске в живописи, к интонационному разговорному языку в поэзии, эти художники тем самым объявляли поход против утонченного, выхолащенного от всякого общественного содержания искусства. Однако общественная значимость этого движения не выходила за пределы узких споров о задачах искусства.

Октябрьская революция раскрыла широкие возможности для тех, кто искренно верил и чувствовал невозможность существования искусства вне связи со своим народом, с его устремлениями и надеждами. Маяковский стал во

главе этих людей, радостно и ото всего сердца рванувшихся навстречу открывшимся возможностям в искусстве. Его последующая деятельность — непосредственное участие в делах революции, в ее тяготах и победных завоеваниях — открыла всех, понимавших искусство как творчество борьбы и побед.

Маяковский становится главарем и застрельщиком поэзии действия.

Созданная им агитационная поэзия не имела себе предшественников по широте участия в жизни. Быт, экономика, политический плакат, лозунг, военное дело, сатирическое разоблачение врагов революции, лирика, театральное представление, выступления на сотнях эстрад, — как бурно и многопланово расцветает творчество Маяковского, как радостно отдаёт он всего себя целиком на служение революции! Его пример захватывал, увлекал, ободрял и подталкивал друзей, устрашал и в порошок смазывал врагов. И наконец монументальный, небывалый по силе и простоте памятник гению революции — поэма «Владимир Ильич Ленин»!

Маяковский в полной мере почувствовал себя хозяином в новом государственном строе Советского Союза, хозяином заботливым и рачительным, многосторонним и неутомимым. Его работа в искусстве была направлена к тому, чтобы поставить поэзию на высоту величия всех дел народа, в равное положение со всеми видами социалистического труда, чтобы отмыть и отчистить с нее те представления «надмирного» занятия и отвлеченной «красивости», которыми покрывалась она за длительные годы пребывания в отрыве от жизни, от волнений народных масс, от радостей и горестей родившей ее страны.

Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.

С чугуном чтоб
и с выделкой стали

О работе стихов,
на Политбюро,

чтобы делал
доклады
Сталин.

Это введение поэзии в жизнь стра-
мы, серьезность и значительность ее

участия в судьбах народа — высшее и современнейшее понимание задач искусства — было свойственно Маяковскому органически. Им он был силен, за него боролся всю жизнь, и отрицание права его на это было сильнейшим средством врагов, выведившим его из равновесия, омрачавшим его полноценную любовь к жизни, к действию, к борьбе.

Я был одним из первых читателей его стихов. Помню, как поразила меня их непохожесть на все до сих пор читанное. Необычная простота близких человеческих слов, соединенных в неожиданные, никогда ранее не встречавшиеся образы, новизна их обращения, не считавшегося с точным, раз навсегда заданным размером строки, — одни строки были короткие, другие длинные, — и все-таки в них был какой-то свой порядок, свой закон, закон глубокого дыхания, закон до конца использованной выразительной интонации, — все это было, как освобождение от какого-то ненужного правила, от муштровки выравненных по-солдатски строк и строф.

И внутри этих внешне размерных строк слова стояли не по ранжиру, не в строго узаконенном, натянутом порядке, а толпились так, как им было сподручней, удобней, свободней. Но главным было то, что слова-то были самые простые, привычные, обиходные, а из них получались необходимые, непривычные сравнения, образы, мысли.

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студия
косые скулы океана.
На чешуе железной рыбы
Прочел я зовы новых губ,
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейтах водосточных труб?

И карта, и краска, и будень, и железная рыба вывески, и водосточные трубы — все это были предметы, окружавшие нас каждодневно, которых за привычностью их даже не замечали, а вот, оказывается, из этих привычных, примелькавшихся слов и понятий можно было составить стихотворение большой взволнованности. И действительно, по-

казалось убедительным, что порция студня, поданная в дешевой студенческой столовке, напоминает колышущуюся глянцеви́тую зелень океанской косой волны. Какую же надо иметь силу наблюдательности и яркость воображения, чтобы через предметы малые и чепри-метные напоминать о большом и внушительном! Какой нужно обладать преувеличенностью фантазии, чтобы маленькую флейту довести до размеров водосточной трубы?! Чтобы вынести само интимное, камерное понятие ноктюрна — на улицу!

Здесь все предметы были конкретны, осязаемы, все понятия слагались в реальные, хотя резко увеличенные, образы. Мир был видим близки и выпукло, как под увеличительным стеклом.

До того времени нам нравились, нас покоряли такие строки:

На полярных морях и на южных
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

Здесь тоже был описан океан, — а какому сердцу он не говорит о дальних странах, о невиданных берегах! — но этот океан все-таки был условный, его «зеленые зыби» воспринимались, как повторение детских впечатлений от Майн-Рида и Купера, — там «шелестели» паруса кораблей, давно смеживших на деле паруса на трубы. А вот здесь у Маяковского «косые скулы» океана поднимались прямо перед глазами, лезли в рот с тарелки поданного студня, напоминали о себе холодной своей глубиной.

И как нравилось то, что поэт заявляет о «сразу смазанной карте будня», будня мелких дел, мелких слов, придушенных страстей и мыслей. Карта будня была известна каждому, ее не надо было осваивать меж трудно представляемых «базальтовых и жемчужных скал». А зовы «новых» губ говорили о чем-то новом, что должно случиться и изменить в корне всю эту размеренность и разграфленность будничных меридианов и параллелей, решеткой отделивших фантазию от действительности. И помимо всего прочего во всем стихотворении — не холодный рассказ, не иллюстрация давно прошедшего, а живой, горячий,

задорный и насмешливый призыв. Вот я вижу мир объемным, реальным, изменяющимся перекликающимися сходствами и напрашивающимися сравнениями: «А вы ноктюрна сыграть могли бы?».

Припоминаю впечатление от одного только этого стихотворения, тогда впервые мною прочитанного; но и все они, одно за другим появлявшиеся, были новым открытием мира, в котором вещи, понятия, чувства были освобождены от механического представления о них; где они снова становятся первоначально осязаемыми, близки, реальны человеческому восприятию. На чем основывалось такое впечатление от стихов Маяковского? На возвращении языку поэзии, условному и отвлеченному, жизненных простых понятий, на выводе ее из тупика символов и аллегорий, которыми она была засорена, превращена в условный шифр для посвященных. Эта работа была начата Маяковским с самых ранних его стихов. Язык русского общества того времени, язык образованного слоя настолько был отличен от языка народной массы, что его коммуникативные, связывающие понятия функции были разорваны и разобщены. Слова настолько не соответствовали действиям и поступкам, что их напыщенная фальшь создавала лишь видимость понятий, не наполненных конкретным содержанием. А язык народа был конкретен, зрим, осязаем. Термины философские и умозрительные, юридические и древнеисторические так уснащали и испещряли речь верхних слоев, что начинало казаться, будто вся эта нарочитая, выдуманная, специальная техника речи внесена ради того, чтобы люди, не прикоснувшиеся к культуре верхов, перестали ее понимать. «Трансцендентальный», «эквивалентный», «космос», «хаос», «надмирный», «вещь в себе», «мир, как таковой», «сумма суммарум», «инферальность» и «теургия» не давали пробиться к смыслу речи пишущего и говорившего, создавая видимость высокой образованности и многоязыких знаний автора. Этому следовала и подражала разговорная речь интеллигенции. Модные, трудно произносимые словечки попадали в речь интеллигентов, щеголявших своей близостью к научной, фи-

лософской мысли. За звонкостью слов скрывался убогий, чаще всего мистический, реакционный смысл. Напуганные революцией, интеллигенты отделяли себя от улицы, от толпы языком своих понятий, оберегая себя от соприкосновения с ними, закапываясь в дебри идеализма, мистических созерцаний, тишины и старины.

Маяковский не был в этом лагере скрывавшихся за занавешенными шторами людей, мнящих себя солью земли. Он оказался на улице с первых же шагов своего творчества, шел и разговаривал от лица этой улицы, громко, свободно, не сдерживая своего голоса, называя вещи их подлинными именами. Это вызвало раздражение. Как он, грамотный человек, да еще претендующий на звание поэта, — значит, плоть от плоти «соли земли», — нарушает принятые общественные приличия, сводившиеся к тому, чтобы притихнуть, прижаться по своим углам, не выходить на улицу, не давать отчета в своих действиях и замыслах «толпе», той самой, которая была еще так недавно близка к разрушению всего общественного строя, привычного и утвержденного в веках.

Маяковскому не могли простить этого. Не могли простить ни шумности, ни веселости, ни полемичности его заявлений, а главное — его упрямого нежелания говорить на их высококультурном, обскровленном, отвлеченном языке. «Весомо, грубо, зримо» прозвучали его стихи с самого начала, в дальнейшем наполняясь все более углубленным революционным содержанием. Вначале Маяковского хотели просто замолчать как явление. Но это не удалось: слишком ярка и необычна была эта фигура, слишком громок и отчетлив был его голос. Симпатии молодежи были на его стороне. Тогда общество по молчаливому соглашению попыталось его освоить, утихомирить, привлечь на свою сторону. Его приглашают в «Сатирикон», самый модный сатирический журнал. Редактор его Аверченко так и сказал ему при приглашении: «Вы пишете, как хотите, это ничего, что звучит странно, у нас журнал юмористический». Так пы-

тались превратить Маяковского в громогласного чудака, говорящего вразрез общим правилам, сделать из него общественного комика, нарушителя традиций, как цирковой аттракцион. Но не так-то легко было обезвредить Маяковского. Ряд его сатирических стихов в «Сатириконе» уже прямо бил по общественной фальши и гнилым устоям общества. «Судья», «О взяточниках» и другие его стихи не только были сатирическими фельетонами. Они со страшной силой били по самым жизненным основам тогдашнего общественного строя. А начавшаяся война показала еще и другого Маяковского — обличителя шовинистического угара, разоблачителя общественно ханжества и лжи, в такой степени пропитавших «соль земли», что она уже потеряла свою силу и свое право быть выразительницей общественных устремлений. Все это не было учтено сразу блюстителями порядка только потому, что казалось слишком странным и необычным для того, чтобы уразуметь подлинную значимость подлинного нового поэтического явления. Маяковский сознательно усиливал эту странность и необычность своих выступлений, конспирируя за ними свои действительные цели. Этим в значительной степени объясняется его вызывающее обращение с публикой на диспутах, его экстравагантность и нежелание идти на разъяснение своей деятельности более мирным путем. Репутация «скандалиста» и «нахала» в значительной мере поддерживалась им самим, ради возможности привлекать на свои выступления наибольшее число слушателей, без излишней расшифровки сущности своих выступлений перед глазами бдительного начальства. Конечно, долго это продолжаться не могло. При всей грубости и невежественности политического надзора царской власти она скоро бы все-таки разнюхала, чем пахнут эти веселые митинги, диспуты, на которых людям прививалась привычка к новым взглядам, к новым понятиям и мыслям, на которых посетители восторженно хлопали стихам и репликам, проникнутым ненавистью к прошлому. И не грянь революция, не наступи Октябрь, — Маяковский, конечно, засел бы в тюрь-

му на более долгий срок, чем во время своего первого и второго арестов.

Октябрьская революция дала возможность развернуть Маяковскому свое дарование во всю его ширину и глубину. Теперь не надо было уже скрывать свои симпатии и вкусы под маской эксцентрики и бравады. Человеческая речь стала раздаваться широко и громко. Люди стали прямой и непосредственной. Голос Маяковского приобрел широчайшую аудиторию, не всегда искусственную в стихах, но всегда умевшую отличить настоящее, искреннее чувство от поддельного пафоса и риторики. Маяковский становится любимцем молодежи. Во Вхутемасе на вопрос В. И. Ленина, кого они читают, молодежь хором отвечает: «Маяковского!». На диспутах и выступлениях с Маяковским аудитории переполняются молодыми людьми. Сияющие глаза, овации, требования читать еще и еще вдохновляют Маяковского на огромную трудоспособность. «Окна Роста», агитки, реклама государственной торговли, радио, театр захватывают Маяковского. И в это же время задумываются и выполняются крупные лирические поэмы.

Но наряду с этим люди, не примиренные с революцией, ожидающие ее краха, люди «отстающего сознания», начинают борьбу со всем новым, что вошло в жизнь, в том числе и с Маяковским. Нам нечего описывать ее перипетии. Они изложены во всей истории существования Союза Советских Социалистических Республик.

Рабочего громады класса враг,
он враг и мой
испытанный и давний,
велели нам итти
под красный флаг
года борьбы
и дни недоеданий.

Непримиримые враги Октября, его тайные недоброжелатели и противники, пробравшиеся в партию и вне ее, всячески отравляли жизнь Маяковскому, распространяя лживые вести о его якобы ненависти к культуре, о его нигилизме и индивидуалистической самовлюбленности, о недоступности его стихов широкому читателю.

С ними мы не собираемся вступать в полемику. Их переспорило время. Но мы помним, на что шла их озверелая ненависть, направлявшая руку убийцы в драгоценное человеческое сердце Ленина, отравившая Горького, заставившая разорваться сердце Дзержинского, подлым выстрелом сзади убившая Кирова. Маяковский для них был достаточно ненавистной фигурой. Эта огромная, живая радиобашня, возвещавшая всему миру силу и мощь, славу и радость Советского Союза, его правительства, его единой ведущей человечество коммунистической партии, — должна была быть убрана с дороги.

Мелкая, ядовитая, настойчивая многолетняя¹ травля Маяковского надорвала ему нервы, вывела его из душевного равновесия. Но сталинские слова прозвучали, и никто не отнимет славы и чести у лучшего, талантливейшего поэта нашей эпохи!

Поэтика Маяковского*

Л. ТИМОФЕЕВ

★

Поэтикой мы называем комплекс художественных средств, при помощи которых писатель создает целостную художественную форму, раскрывающую идейно-тематическое содержание его творчества.

Форма художественного творчества — это образы, т.-е. конкретные картины человеческой жизни, в которых художник обобщает собранный им жизненный материал в определенном идейно-эстетическом его освещении. Поэтикой, следовательно, являются те средства, при помощи которых художник добивается конкретизации образа. Эта конкретизация получается прежде всего благодаря определенной языковой обработке образа (речь персонажа и авторская речь) и, с другой стороны, благодаря его композиционно-сюжетной обработке, т.-е. раскрытию его в той или иной системе событий и поступков, во взаимодействии с другими образами. Следовательно, чтобы понять поэтику писателя, нужно изучить композиционно-сюжетные и языковые, в том числе и стихотворные, особенности его творчества. Однако изучение поэтики писателя не может быть изучением его художественных средств, как таковых. Ведь эти средства могут иметь различную художественную мотивировку, выпол-

нять различную художественную функцию, приобретать различное значение во взаимодействии с другими средствами. Однородное языковое явление может у двух поэтов играть различную роль, и понять его в каждом данном случае мы можем, лишь осмыслив его художественную мотивировку, ту конкретную цель, которой оно подчинено.

Поэтому новаторство поэта, если оно действительно художественно значимо, никогда не является новаторством лишь в области художественных средств; оно вытекает из новаторства самых творческих целей и задач, которые ставит перед собой писатель, т.-е. из новаторства в области содержания, которое он вносит в литературу. Смысл изучения поэтики, следовательно, состоит в том, чтоб понять творческую логику, заставившую поэта обратиться к определенным художественным средствам.

Изучить поэтику писателя — значит осмыслить комплекс его художественных средств в их художественной мотивировке, в их конкретной художественной функции.

Нам и важно попытаться здесь установить прежде всего своеобразие художественных целей творчества Маяковского, то единство средств и целей поэта, которое неразрывно связано с единством формы и содержания в художественном творчестве.

* В полном виде работа печатается в сборнике «Маяковский», выпускаемом Институтом мировой литературы имени Горького.

Маяковский вступал в литературу в период исключительно острой литературной борьбы, в период чрезвычайно резкого расслоения в литературе.

Литература начала XX века должна была ответить на вопрос, который, по сути дела, не стоял перед литературой XIX века. В XIX веке писатель, критикуя неудовлетворявший его порядок жизни, не имел перед собой в самой действительности материала, который он мог бы противопоставить этому порядку как нечто, полностью его исключающее. В жизни не было еще силы, способной построить новый общественный порядок. В XX веке эта сила появилась. На сцену выступил пролетариат, начавший борьбу за создание нового общественного порядка. В жизни появилось новое начало — положительное, жизнеутверждающее, т.е. борьба за социализм. И художнику необходимо было изменить весь строй образов, ибо в этот строй должны были войти образы положительные, утверждавшие новый порядок. Старый метод критического реализма, который в XIX веке был на уровне основных общественных противоречий, теперь оказывался ниже их, ибо он не вбирал в себя решающего в новых противоречиях XX века, т.е. появления силы, действительно способной перестроить мир. Необходимо было, с одной стороны, строить положительные образы из нового жизненного материала, а с другой — и самую критику старого общественного строя давать уже на иной идейной основе.

Литература на этот вопрос эпохи ответила по-разному. Часть писателей, вообще, отшатнувшись от жизни, перешла на последовательные антиреалистические позиции (символисты). Другие остались на старых позициях критического реализма. Но теперь этот реализм уже тормозил их творчество, не позволял видеть решающего, основного в эпохе, выводил на литературный проселок, к «боковым», второстепенным темам. Куприн, Бунин и др. писатели-реалисты XX века по своей непосредственной талантливости не уступали многим из крупных авторов

XIX века, однако реализм в их творчестве деградировал потому, что художники не видели положительного содержания эпохи и тем самым выключали свои образы из центральных противоречий общественной жизни своего времени. Писатели эти, если воспользоваться сравнением Горького, превращались из зеркала мира в осколок этого зеркала.

И, наконец, закономерно развивая и углубляя лучшие традиции критического реализма, Горький выводил литературу к социалистическому реализму, т.е. к методу, становившемуся в уровень с эпохой, вбиравшему в себя ее решающие противоречия. Основной чертой этого метода в то время было изображение страданий человека, которому капиталистическое общество не предоставляло никаких возможностей для сколько-нибудь нормального развития. Образ угнетенного, измученного, забитого человека был в литературе и раньше, но только в творчестве Горького и близких ему писателей он получил огромное обобщающее значение. Показанный, как закономерное и необходимое следствие всего общественного строя, образ этого человека тем самым служил средством полного разоблачения капиталистической действительности. Но революционная литература, опираясь на революционную деятельность рабочего класса, претворявшего в жизнь социалистические идеалы, не ограничивалась только изображением страданий человека. Она призывала к борьбе с этим строем, к революции, создавая образ человека-борца, героя-революционера. От людей «Дна», от персонажей из «Страсти-мордасти» до образов Данко, Павла Власова, Кутузова — такова была глубоко закономерная в своем единстве амплитуда образов Горького, определявшая основные творческие устремления революционной и революционизировавшейся литературы. Острота сюжетных ситуаций, глубочайший трагизм человеческих конфликтов, изображение страданий и гибели людей были здесь неразрывно связаны с мечтой о счастливой и радостной человеческой жизни,

с гордостью за человека, с призывом к революционной борьбе, освобождающей человека.

Но если в области эпоса эти новые творческие устремления были в начале XX века уже с необычайной яркостью выражены М. Горьким и вслед за ним и другими писателями, то в области поэзии они еще не проявлялись. Здесь господствовал символизм и близкие ему школы. Футуризм не подымался выше протеста против буржуазной культуры, при этом протеста, если так можно выразиться, субъективного, не находившего себе художественного выражения в законченных художественных образах.

Значение Маяковского в том прежде всего и состояло, что он закладывал основы поэзии социалистического реализма. Тот основной круг идей, тем, характеров и сюжетов, которые в XX веке проявлялись прежде всего в творчестве Горького, Маяковский творчески переплавлял в лирические образы. Это не значит, конечно, что поэт ученически повторял уже «пройденное». Но он ставил перед собой однородные с Горьким творческие задачи, и эти задачи были вызваны к жизни общим ходом революционного движения в России, определенными общественными настроениями.

Только поняв эту основную идейно-художественную устремленность Маяковского, можно осмыслить его художественные средства в их конкретной функции, в определенной мотивировке. Художественный образ, вообще, есть прежде всего конкретная картина человеческой жизни, типичная для действительности. Лирический образ есть картина конкретного человеческого переживания, по которому мы судим о жизни, вызвавшей такое именно переживание, и устанавливаем тем самым типизм этих переживаний.

Лирическое стихотворение, посвященное, скажем, природе, дает эту природу в форме ее конкретного человеческого восприятия, как непосредственное человеческое переживание, как живую картину человеческой жизни, т.е. образно.

Если мы вдумаемся в тот круг лирических образов, которые создаются Маяковским в первые же годы его творческой деятельности, то увидим, что эти образы, при всем их индивидуальном своеобразии, полностью соизмеримы с образами революционной литературы, они представляют собой однородное явление. Нужно иметь в виду, конечно, не те или иные отдельные моменты в развитии поэта, а основную тенденцию его роста. Первые стихотворения Маяковского были еще чисто эмбриональным выражением его отношения к миру, и не они делали Маяковского Маяковским. Следует вспомнить, что Горький говорил в свое время о первых опытах Маяковского: «Он молод, ему всего лишь 20 лет, он криклив, необуздан, но у него несомненно где-то, под спудом, есть дарование. Ему надо работать, надо учиться, он будет писать хорошие, настоящие стихи». («Журнал журналов», 1915 г. № 1.)

Было бы неверно поэтому придавать первым стихам Маяковского самодовлеющее значение; их можно рассматривать лишь в единстве со всем его творческим путем, и лишь в свете его они могут быть правильно поняты.

Созданный Маяковским круг образов, тот комплекс человеческих переживаний, которые он отразил в своих стихотворениях, не изолирован от литературного процесса в целом, — он органически близок образам революционно-реалистической литературы XX века, хотя и дан в то же время с исключительным индивидуальным своеобразием.

Это своеобразие определялось прежде всего тем, что в эпосе действительность отражалась путем изображения конкретных характеров (типических характеров в типических обстоятельствах), как объективно данных фактов, в лирике же она отражалась путем изображения конкретных и в то же время типических человеческих переживаний, вызванных характерными, типическими для жизни обстоятельствами.

Если, например, у Горького в рассказе «Страсти-мордасти» воздействие достигается непосредственным изображением людей определенного типа, судьба

которых объективно потрясает читателя, то в лирике этот же материал был бы дан путем изображения переживаний человека, потрясенного увиденной им трагической жизненной ситуацией.

Лирический образ у раннего Маяковского определялся прежде всего трактовкой жизни с точки зрения страданий человека в капиталистическом обществе.

Тема страдающего, обездоленного человека — определяющая тема Маяковского:

Легло на город громадноѣ горе
И сотни махоньких горь...

Строки его:

Говорят,
где-то, —
кажется в Бразилии, —
есть один счастливый человек! —

стчетливо свидетельствуют о том, каким воспринимает мир Маяковский. Он настойчиво подчеркивает причины, порождающие эти человеческие страдания, — буржуазный строй, власть капитала над человеком:

Рвань из меридианов
атласа арок,
пенится,
звенит золотоворот
франков,
долларов,
рублей,
крон,
иен,
марок.

Самый пафос, с которым Маяковский говорит о страданиях человека в капиталистическом городе, уже звучит, как протест, как вопль негодования. Но, как и Горький, Маяковский верит в человека, верит в то, что в нем скрыты величайшие силы. Поэтому тема человеческих страданий не превращается у него в пессимистическую тему, ибо за ней стоит его мечта о свободном и радостном человеке:

мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!
Плывать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоты в осле,

Я знаю —

солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Противоречие темы страдающего человека и темы живущего в поэтической мечте свободного человека разрешалось в третьей теме — теме революции. Эти три основных тематических линии в творчестве Маяковского определяют собой основное направление его поэзии в предреволюционные годы, осложняясь, естественно, целым рядом приводящихся дополнительных тем, иногда вступающих в известное противоречие с основной тематикой, но не изменяющих ее определяющего значения.

Новаторство Маяковского состояло в том, что он новые творческие принципы осуществлял в незатронутой до него области — в области создания социалистической лирики. И тут налицо определенное единство между новаторством Горького и новаторством Маяковского. Это ни в каком случае не говорит, конечно, о тождестве творческих позиций этих художников. Их различия сами по себе в достаточной мере очевидны и не нуждаются в подробной аргументации. Понятно, что, в то время как в системе образов Горького определяющее место занимает образ революционера, у Маяковского в дооктябрьский период он еще только намечается в своей определенности; наоборот, тема человеческих страданий у Маяковского доминирует, пронизывает самое авторское восприятие жизни. Элементы романтичности выступают у Маяковского с большей резкостью и обособленностью, чем у Горького, в те годы, когда Маяковский вступал в литературу. Отсюда его стремление к гротескности и исключительности, столь отчетливо проявившееся в ранних произведениях. Наконец именно Маяковскому присуща та полемическая заостренность авторского облика, та демонстративность, с которой он разрушает нормы буржуазного общества, тот подчеркнутый субъективизм, который он вкладывает в свои образы, в отличие от самородности, объективности развития действия у Горького.

Все эти противопоставления легко можно было бы умножать и развивать, но дело не в них, а в том, что при всех этих различиях образы Горького и Маяковского не противоречат друг другу, а стоят в пределах единого литературного течения, в них осуществлены единые творческие закономерности. Образы эти вызваны к жизни однородными общественными настроениями.

Глубокая ненависть к капиталистическому строю, величайшее негодование против него, ощущение надвигающейся революции и понимание ее социальной сущности — вот что в конечном счете сближает между собой образы Горького и Маяковского, определяет их, так сказать, духовную близость. Наоборот, сопоставив образы Маяковского в этом наиболее общем плане с творчеством футуристов, мы легко убедимся в том, что они перекрещиваются друг с другом лишь во внешних, второстепенных своих особенностях, расходясь в основном, решающем; вот почему и нельзя говорить о том, что Маяковский был футуристом в полном смысле этого слова.

Задача Маяковского, как поэта, состояла в создании новой художественной формы, которая вобрала бы в себя новое идейно-тематическое содержание его творчества, в создании нового лирического характера. Он должен был свои основные темы — величайшего сострадания к угнетенному человеку, огромного негодования против угнетателей и громового призыва к борьбе с ними — перевести на язык живых, непосредственных человеческих переживаний, превратить в лирические образы.

Речь шла о необходимости выразить самые высокие человеческие чувства — любовь, ненависть, волю к борьбе с угнетателями — в их самом высоком напряжении накануне революции.

Эпос достигал этого, рисуя человеческие характеры в их объективных проявлениях, ставя их в определенные ситуации, давая их речи и поступки.

И для Горького, и для близких к нему писателей (Серафимович и др.) чрезвычайно характерно стремление показать

человека на пределе, т.-е. именно в наиболее напряженной и острой ситуации, бросающей яркий свет на самый общественный строй, рождающий такие ситуации. Горький ставит своих героев в предельно острые положения («Вывод», «Скуки ради», «Челкаш», «Страсти-мордасти», «Враги», «Мать» и др.), обнаруживая тем самым наиболее глубокие и значительные черты их характера.

Стремление вскрыть решающие противоречия своего времени приводило к изображению таких характеров, которые воплотили бы с наибольшей силой эти противоречия, — характеров угнетенных, угнетателей и борцов с угнетателями. Отображение основных противоречий жизни требовало в свою очередь подбора соответствующих средств, которые помогли бы представить человеческие характеры во всей конкретности, превратили бы их в непосредственные жизненные факты, убеждающие читателя своей правдой, входящие в его собственный жизненный опыт. Не случайно Горький советовал писать так, чтобы заставить читателя ощутить себя непосредственным участником сюжета. Такими средствами и являлись, с одной стороны, исключительно резкие, трагические по своему существу жизненные конфликты, а с другой — эмоциональная напряженность речи. Идеи и темы подсказывали определенные характеры, характеры требовали определенных средств воплощения.

Эту же художественную логику, этот же принцип организации поэтики мы находим и в творчестве Маяковского, но в применении к новой художественной задаче: дать ту же точку зрения на мир, отразить его основные противоречия, но не извне, не в свойственных ему событиях и законченных характерах, а изнутри, путем изображения внутреннего мира человека, потрясенного этой жизнью, в его конкретных проявлениях — в непосредственных переживаниях.

В этом было существенное отличие художественной формы, создававшейся Маяковским, от тех, которые уже были созданы в этот период в прозе. Отсюда перед ним вставала задача поисков но-

вых средств выражения, необходимых для воплощения этой новой формы. Если для прозаика средством создания образа является прежде всего сюжет, система событий, обнаруживающих основные черты изображаемого им характера, затем собственная речь персонажа и, наконец, авторская его характеристика, то для поэта пути создания лирического образа в значительной степени иные. Лирик показывает мир таким, каким он отразился в человеческой душе, в субъективном человеческом восприятии. Для того чтобы переживание поэта приобрело конкретность, оно должно быть выражено в адекватных ему речевых средствах, т.-е. в таких словах, интонациях, ритмах, которые отвечают своей структурой данному переживанию.

Человеческая речь обладает огромной амплитудой интонационной напряженности, начиная от бесстрастного голоса диктора, передающего по радио информацию ТАСС для областных газет по буквам, и кончая, скажем, речью Цицерона против Катилины...

Маяковский должен был определить тот тип речи, в котором его переживания должны были оформиться так, чтобы стать образами, т.-е. непосредственными жизненными фактами, — живыми проявлениями конкретного человеческого характера, воплощающими обобщенный поэтот жизненный материал.

Переживания, в которые облекал свой материал Маяковский, требовали и исключительно эмоционального накала. Тот трагизм, который в прозе выражался в характерах и сюжетах, та сила гнева и протеста, которая вызывалась окружающим миром, — все это Маяковский должен был выразить средствами самого языка, перевести в интонацию, в ритм, столь же погрязающие и столь же гневные.

Ему действительно надо было «мир опромить мощью голоса». Не случайно он говорил об «Облаке в штанах», что в нем «четыре крика четырех частей». Его стих действительно должен был стать криком, но криком, превращенным в определенную эстетическую, ху-

дожественно функционирующую категорию.

Как уже говорилось, в поэзии того времени господствовали антиреалистические течения (символизм, акмеизм). Единственным поэтом, который, несомненно, был близок к Маяковскому по кругу образов, по общей творческой настроенности, можно считать в известной степени Александра Блока.

Образ человека, страдающего в буржуазном обществе, протест против этого общества, вера в человека и стремление услышать «отдаленного восстанья приближающийся гул», — все это было присуще и творчеству Блока. Но Блок шел иным жизненным путем, преодолевал чуждые Маяковскому влияния, был связан с противоположной общественной средой, и весь круг жизненных противоречий, который тревожил его, он воспринимал совершенно в ином аспекте.

Оторванность от народного революционного движения приводила Блока к абстрактно-романтическому восприятию и пониманию революции. Блок обличал буржуазное общество, не столько прямо выступая против него, сколько создавая образ самого поэта — жертвы этого общества, гибнущего в нем человека. Ставя в своем творчестве ряд вопросов, близких к творчеству Маяковского, Блок разрешал их с огромной художественной силой, но в ином совершенно плане: трагическая интонация его стихов имела в известной мере камерный характер, ибо за ней стоял облик поэта-одиночки, оторванного от народных масс. Между тем, каковы бы ни были индивидуалистические нотки, прорывавшиеся в начальном периоде творчества Маяковского, его творчество опиралось на совершенно реальные связи с революционным движением, с народными массами. Круг переживаний, составлявших содержание лирики Маяковского, питался общественными настроениями эпохи нового подъема рабочего движения. Поэтому тема человеческих страданий в трактовке Маяковского приобретает, если так можно выразиться, крайне активный характер. Не случайно Маяковский с первых же стихотворений выступает как сатирик.

Не жертвенность, а негодование определяет основную интонацию его стихов. Образ страдающего человека рисуется им так, что самое изображение этих страданий переходит в нечто большее, чем непосредственное их изображение, становится обличением, протестом, проклятием.

Лирический герой Маяковского — это прежде всего человек, предельно возмущенный окружающим его миром. Он может говорить о капиталистическом мире, лишь возмущаясь и негодуя, презирая его и издеваясь над ним, стремясь к самым грубым и ожесточенным средствам, которые могли бы передать это состояние, почти-что к площадным ругательствам:

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре б.... буду
подавать ананасную воду.

Обнажая ложь и лицемерие буржуазного общества, Маяковский, как и Горький, стремится коснуться самых его отвратительных язв, самого «дна» его. Отсюда тот своеобразный багаж вульгаризмов, с которым он приходит в поэзию XX века. Горький в начале XX века вводил воров и проституток в сюжет, в галерею литературных характеров. В этом был глубокий идейный смысл: характеры эти разоблачали общество, их создавшее, обнажали его язвы. Маяковский язвы буржуазного общества вводил в картины своего субъективного восприятия, переключал в лирический план. Отсюда идут его улица, провалившаяся, как нос сифилитика, проститутки; которые его «понесут на руках», «мужчины, залежанные, как больница», и женщины, «затрепанные, как пословица». При всем конкретном различии «боязнь сюжеты Горького и «боязнь» сюжеты Маяковского были внутренне соизмеримы, были близки и по своей художественной функции, и по идейной основе. Все это отнюдь не было только формальным новаторством, отвлеченно-литературным разрушением эстетики символизма. Это было совершенно необходимым и художественно закономерным обращением художника к таким средствам изображения характера, которые

с наибольшей точностью его индивидуализировали.

Это было созданием такой речи, которая воплощала в себе определенный тип восприятия мира человеком, доведенным этим миром до предела негодования, яростно проклинающим этот мир. Отсюда тот сарказм, та сатирическая интонация, которые столь свойственны Маяковскому.

Отсюда и вытекал новый лексический строй стихов Маяковского. Он противостоял и поэтике символизма — постольку, поскольку противостояли образы Маяковского образам символизма. Человеческие страдания в буржуазном мире раскрывались Маяковским лирически, т.-е. через субъективное восприятие их — через образ человека, потрясенного этими страданиями (трагедия «Владимир Маяковский», например). Здесь лексика должна была передать новые черты лирического характера: интимнейшие чувства потрясенного до глубины души человека — человека, у которого «сплошное сердце»:

И бог заплачет над моей книжкой.
Не слова — судороги, слепившиеся комом;

или:

Слов иступленных вонзаю кинжал
В неба раслухшую микоть.

Маяковский как бы прикрывал грубостью выражений душевную боль лирического героя.

В подчеркнутой грубости лексики, тропов, интонации Маяковский зачастую выражал предельно трагическое состояние человека, уже не находящего слова для того, чтобы выразить свою боль:

Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть —
«Пейте какао Ван-Гутена!»

Грубость языка, таким образом, ставновилась контрастным средством выражения интимнейших человеческих переживаний, так же как интонация крика, вопля зачастую была контрастным средством передачи трагического шопота, ибо контрасты и крайности — характернейшая черта эмоционально окрашенной речи. Строки:

— Приду в четыре, — сказала Мария.
 Восемь.
 Девять.
 Десять —

можно интерпретировать и как интонацию крика нарастающего страдания («Восемь! Девять!! Десять!!!»), можно интерпретировать и в плане трагического безнадёжного шопота («Восемь... Девять... Десять...»). Но и в том, и в другом случае эмоциональный смысл этой фразы будет почти идентичен: крайности — по пословице — сходятся.

Кипение высоких человеческих страстей, которыми был насыщен лирический образ Маяковского, предполагало совершенно новый тип его словесного раскрытия сравнительно с окружавшей его поэтической культурой, ибо в лирике стих — в такой же мере форма, как и содержание. Отсюда — основные темы и образы Маяковского определили его основные лексические комплексы: предельную резкость языка, во-первых; предельную интимность его, во-вторых; предельную пафосность его, в-третьих.

Естественно, что аналогичные явления мы можем обнаружить не только в лексическом, но и в морфологическом, так сказать, строе стихотворной речи Маяковского. Таково использование Маяковским увеличительных и уменьшительных форм: «хлебище», «божище», «адище», «туманище», «мыслишки», «лбенки», «глазенки». Таково его обращение к префиксам, придающим глаголу максимальную действенность: «из», «вы» и т. д., например, «изиздеваюсь», «издинамитить» и т. д.

Все эти морфологические особенности, естественно, вытекают из общей окраски лексики Маяковского, т. е. передают такое восприятие мира человеком, которое требует предельно резкого выражения, максимальной субъективно-оценочной окраски речи.

Известно, что одним из существенных средств усиления субъективной окраски речи поэта служит определенный строй тропов. Перенос значения слова на другое явление — это уже результат определенной авторской его оценки. Естественно и обращение Маяковского именно к метафоре, как к наиболее развер-

нутому и наиболее свободному в сопоставлениях тропу, к гиперболе, к оксиморонным сочетаниям слов, опять-таки создающим резко эмоциональную и оценочную систему речи. И здесь тропы идут прежде всего по линии обличительно-саркастического их построения, по линии нагнетания предельной грубости и резкости:

А я человек, Мария,
 простой,
 выхарканный чахоточной ночью в грязную
 луку

Пресни.

Или:

выбрасывается, как голая проститутка
 из горящего публичного дома.

С другой стороны, они дают предел интимной, эмоциональной выразительности, крайней душевной экспрессии. Характерна настойчиво повторяемая Маяковским метафора — сердца, вырванного из груди поэта:

Расканянем вспоротый,
 сердце вырвал —
 рву аорты.
 ...окровавленный сердца лоскут...
 Вам я
 душу вытащу,
 растопчу,
 чтоб большая.
 И окровавленную, дам как знамя.

Или:

В сердце, выжженном, как Египет,
 Есть тысяча тысяч пирамид...

Маяковский сам отмечал, что резкость его языка отнюдь не является самоцелью: «человеку, действительно размякшему от горести, свойственно прикрываться словом поглубже».

Как его лексика, так и тропы в целом представляли собой на первый взгляд противоречивую, но закономерную систему. В основе ее лежало стремление художника создать такую словесную систему, которая была бы непосредственной, конкретной формой и з о б р а ж е н и я душевного состояния человека, потрясенного буржуазным миром и восстающего против него.

Язык Маяковского представлял собою обобщенную, в то же время гиперболизированную, доведенную до исключительности форму передачи такого состоя-

ния человека, голос которого страдание, боль, гнев и ненависть довели до крика, вопля, шопота, почти хрипа. В этом и была художественная функция новаторства Маяковского, содержательность лексической формы его стиха.

Как известно, чем ярче субъективная окраска речи, тем большую роль играет в ней внутреннее содержание слова, приобретаемое им благодаря самому характеру его произнесения.

Эмоциональная речь характеризуется повышением удельного веса слов в речи, адекватностью его фразе. Отсюда вытекает характерная особенность этой речи: насыщенность ее паузами, в свою очередь эмоционально окрашенными. Кроме того, экспрессивность интонации приводит к тому, что слово становится особенно выпуклым, произносится с особенным ударением; отсюда резко повышается роль ударения, ударных слогов в речи.

На этом и основана интонационно-синтаксическая структура стиха Маяковского. Он не мог для создания той новой художественной формы, о которой мы вначале говорили, использовать средства старого стиха, ибо в этом стихе доминировало фразовое построение. Для Маяковского характерны, наоборот, интонационно-синтаксические конструкции стиха со словами-фразами, с восклицательными и вопросительными и т. п. резко эмоциональными конструкциями. В сущности, даже когда фраза Маяковского более или менее сложна, она распадается на отдельные слова-фразы, создающие конкретный речевой облик задыхающегося, ищущего слова, кричащего вне себя человека. Отсюда — известная ступенчатость стихов Маяковского, требующая, благодаря помещению слова в отдельную строку, его самостоятельного фразового произнесения. Сравним, например:

Эй!	а самое страшное
Господа!	видели —
Любители	лицо мое,
святоотатств,	когда
преступлений,	я
боев, —	абсолютно спокоен?

■ второй отрывок:

Allo!	Ваш сын прекрасно
Кто говорит?	болеет!
Мама?	Мама!
Мама!	У него пожар сердца.

В первом случае перед нами одна фраза, во втором — ряд их. Но каждое слово первой звучит, как самостоятельная единица речи.

Подобно тому, как в лексике Маяковского находил свое типизированное и в то же время индивидуальное выражение лексический строй речи, конкретно раскрывающий лирический образ поэта, его отношение к миру, так и в интонационно-синтаксической его организации раскрывался тот же строй чувств, переходивших в речь. Ибо язык человека, пользуясь определением Маркса, есть его практическое сознание, что всегда следует иметь в виду, изучая язык художественного литературного произведения. Поэтому Маяковский закономерно обращался к построениям такого, например, типа:

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Такие построения чрезвычайно характерны для раннего Маяковского:

Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!

Здесь каждое слово — крик, оно, так сказать, целостное эмоциональное суждение, рисующее всю глубину трагической напряженности образа.

Эти построения опять-таки были необходимым средством конкретизации определенных свойств человеческого характера, которые, в свою очередь, были формой передачи определенного идейного содержания. Содержание переходило в форму, форма, в свою очередь, становилась содержанием.

Те новые требования, которые должен был предъявить Маяковский к слову, реализуя новое творческое содержание, которое он вносил в поэзию, естественно, определяли и новое звучание его стиха, и новые особенности самого лирического жанра, который он создавал.

Стих сам по себе представляет, в сущности, типизацию эмоционально организованной речи, ее художественное обобщение, так же как лирическое стихотворение представляет собой обобщенное переживание.

Глубоко прав был Гюйо, заметивший, что самым обращением к стиху поэт как бы заявляет, что он слишком страдает или слишком счастлив, чтобы говорить о своих чувствах обычным языком. Стих Маяковского всем своим строем говорил, что поэт слишком страдает, слишком ненавидит, слишком горячо мечтает о будущем человеке, чтобы говорить об этом речью, хоть сколько-нибудь близкой к обычной.

Самое отношение его к слову, к синтаксису, к интонации необходимо определяло новое качество его стиха как единства всех этих элементов. Основным здесь являлось необходимое для Маяковского разрушение ритмических норм предшествовавшей ему стихотворной традиции в силу резкого повышения у него удельного веса пауз в стихе и, следовательно, изменения их роли в нем.

Как уже говорилось, фразовость слова приводила к повышению роли ударения, слово начинало звучать резче и энергичнее. С другой стороны, самостоятельность слова разрушала интонационную слитность строки, членила ее на резко отграниченные друг от друга части. Тем самым сильные паузы, которые в традиционном стихосложении располагались лишь на концах строк, у Маяковского входили внутрь строки, становились новым ее структурным элементом. Значение безударных слогов, наоборот, снижалось, так как ударения становились более заметными и, следовательно, ощущались без поддержки их безударными слогами, так или иначе урегулированными.

Для стиха Маяковского, таким образом, была неприемлема старая ритмическая традиция с ее слоговой симметричностью и подчинением слова фразе. Ритм стиха получал гораздо более напряженный характер, он вбирал в себя резкие эмоциональные паузы, позволял слову звучать с большей резкостью, т.е. обнаруживал те самые тенденции, кото-

рые присущи были языку Маяковского вообще. Новым в стихе Маяковского было введение в строку паузы как элемента ритма, во-первых, и превращение слова в самостоятельную единицу, во-вторых. Это необходимо разрушало слоговую симметрию старого, в основном фразового стиха¹, позволяло строить стих лишь на чередовании ударных слогов, поддержанных паузами, разрушало силлабо-тоническую схему.

У нас
 семь дней,
У нас
 часов двенадцать.
...Мы
 спим
 ночь,
Днем
 совершаем
 поступки,
Любим
 свою голову
Воду
 в своей ступке.

Поэтому-то, если в стихе раннего Маяковского и попадаются строки, укладывающиеся в тот или иной классический размер, то в них урегулированность ударных и безударных слогов представляет случайное совпадение, а не является конструктивным свойством стиха. И самостоятельность слова все равно разрушает силлабо-тоническую ткань такой строки.

Например:

Будто вымечтал какой-то новый Бялик
Ослепительную царицу Сиона Евреева.

Здесь в первой (хореической) строке все равно нет фразового произнесения с характерной для хорей иерархией стиховых ударений: «какой-то новый Бялик» произносится здесь с самостоятельным ударением на каждом слове, тогда как в силлабо-тонической системе «какой-то новый» произносилось бы слитно, с полударением на «какой-то», а вся строка лишена характерной для шестистопного хорей цезуры после третьей стопы, опять-таки потому, что в стихе Маяков-

¹ Следует оговориться, что и в стихе фразовом самостоятельность слова гораздо выше, чем в обычной речи; это общий признак стиха вообще, но в стихе Маяковского она дана в предельной форме.

ского сильные паузы введены внутрь стиха.

Маяковский, таким образом, отказывается от традиционной симметричности в построении стиха. Поэтому в нем особую роль приобретает рифма, скрепляющая строки. Не случайно Маяковский не пользуется белым стихом: рифма у него связывает строки, соизмеримость которых в гораздо меньшей мере ощущима, чем в симметрической силлабо-тонике. Эта выпуклость рифмы позволяла придать ей особую смысловую значимость.

«Без рифмы... — писал он, — стих рассыплется.

Рифма возвращает вас к предыдущей строке, заставляет вспомнить ее, заставляет все строки, оформляющие одну мысль, держаться вместе.

...я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало...

Рифма связывает строки, поэтому ее материал должен быть еще крепче, чем материал, пошедший на остальные строки»¹.

Но понятно, что сама по себе смысловая окраска рифмы является слишком общим признаком, отличающим отношение к рифме весьма многих поэтов. Правда, для символистов характерно было подчеркнутое внимание именно к звуковой стороне рифмы, как таковой, и в этом отношении Маяковский противопоставлял им по существу смысловую рифму, возрождая, так сказать, лучшие традиции классической поэзии. Однако дело не только в общей смысловой окраске рифмы, а в качестве этой окраски. И здесь важно отметить в рифме не ее внешние звуковые или синтаксические особенности, а рассмотреть ее своеобразие с точки зрения ее конкретного состава, т.е. самого качества тех смысловых элементов, которые в нее входят.

В этом отношении рифма Маяковского дает очень яркие примеры индивидуального своеобразия и новаторства, отвечающих, естественно, общим вырази-

тельным нормам стиха Маяковского. У Маяковского прежде всего резко повышается интонационная нагрузка рифмы, т.е. в рифму ставится наиболее интонационно значимое слово. Так, например, из ста пятидесяти с лишним восклицательных и вопросительных знаков в «Облаке в штанах» восемьдесят с лишним падает именно на рифмующее слово:

Их ли смиренно просить:

«Помоги мне!»

Молить о гимне.

об оратории!

Мы сами творцы в горящем гимне —

шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,

феерией ракет

скользящего с Мефистофелем в небесном паркетел

Я знаю —

гвоздь у меня в сапоге

кошмарней, чем фантазия у Гёте!

Интонационно-замыкающая роль рифмы у Маяковского настолько велика, что она заменяет иногда собою всю строку, которая стягивается в одно рифмующее слово:

Но мне —

люди,

и те, что обидели, —

вы мне всего дороже и ближе.

Видели,

как собака быющую руку лижет.

На конце строки у Маяковского обычно идут построения, которые интонационно особенно значимы: обращения, обрывы фразы, восклицания и т. п.: «я ни на...», «ты, хоть», «выстони», «распни его», «и ты», «Мотаешь головою, кудластый» и т. д. Рифма, таким образом, закономерно приобретает у Маяковского новое эмоциональное значение, звучала с новой выразительностью.

Новизна ритма Маяковского необходимо вытекала из его нового отношения к слову вообще, из новизны его лексики и интонации. Все здесь было неразрывно спаяно друг с другом, поскольку стих его — целостная система речи, отвечающая определенному типу стоящих за ней и в ней воплощающихся переживаний, лирических образов.

Таким образом, уже в первые годы своего творчества Маяковский вырабатывает своеобразную и целостную по-

¹ В. Маяковский. Полн. собр. соч., 1937 г., т. XII, стр. 141 и 143.

этическую систему, глубоко содержательную и художественно оправданную. Дальнейшее ее развитие, углубление и изменение представляло собой соответствующее отражение и выражение общей творческой эволюции Маяковского. Углублялись его идеи и темы, рос жизненный материал, тем самым усложнялся, рос лирический характер, им рисовавшийся, и отсюда изменялось и практическое сознание поэта, т.е. язык и стих в целом.

В XX веке деградация критического реализма сказалась и в композиционном отношении. Характерная для XIX века большая эпическая форма распалась. Роман превращался или в диалог рассказов («Деревня» Бунина), или в затянущуюся повесть («Поединок» Куприна); Горький, наоборот, шел по линии создания монументальной эпической формы, вплоть до эпопеи «Жизнь Клима Самгина»: значительность характеров, воплощавших в себе основные противоречия эпохи, сказывалась и в том, что самая система конфликтов, раскрывавшихся в сюжете, точно так же приобретала монументальный, так сказать, характер.

Аналогичным образом напряженность переживаний и разносторонность их в лирике Маяковского приводили к изменению самого композиционного построения лирического стихотворения. Оно росло, ширилось, приобретало определенную многосторонность, приближалось к эпическому построению в смысле многогранного изображения характера.

Возникало то, что можно назвать большой лирической формой, монументальной лирикой, лирической эпопеей. Многие поэмы Маяковского не имеют, в сущности, сюжета, столь характерного для классической поэзии («Про это», «Хорошо»). Они представляют собою своеобразную лирическую эпопею, раскрытие, так сказать, многомерного лирического характера, воплощающего грандиозные общественные противоречия. Отсюда вытекало и обращение Маяковского к таким формам, как «Облако в штанах», трагедия «Владимир Маяковский». Эти произведения отно-

сятся к тому же новому жанру лирической эпопеи, который создавал Маяковский, жанру, необходимо возникавшему у него как следствие того, что он разрабатывал новую систему выражения для характера нового типа — социалистического.

Если рассматривать первый, начальный период творчества Маяковского как период поисков творческого самоопределения, то можно сказать, что он заканчивается ко времени создания «Облака в штанах». Здесь уже найдена та монументальная форма лирического жанра, о которой мы выше говорили, здесь установлено то единство содержания и формы, идеи и переживания, переживания и речи, которые искал Маяковский с самого начала. Определился и художественный метод поэта, своеобразно сочетавший в себе элементы реализма и романтизма (как это, вообще, характерно для периода становления социалистического реализма), доведивший типические по своему существу образы до исключительности, до романтического гротеска, до крайней, чаще всего сатирической, гиперболизации, требовавших, в свою очередь, и доведения речевых средств до предела, до исключительной эмоциональной напряженности:

уж обезумевшая,
уж навзрыд
вырываясь, молит душа.

Основной этой эмоциональной напряженности являлись темы страдания, страдания, гнева, протеста, мечта о человеческом счастье, призыв к борьбе. Поэтическое развитие Маяковского и шло по линии углубления и все более острого социального раскрытия этих тем.

В годы создания «Облака в штанах», «Человека», «Войны и мира» Маяковский отражает окружающую его действительность, идя, главным образом, по линии ее разоблачения, изображая переживания поэта, потрясенного глубиной человеческого горя, человеческих страданий.

Маяковский в дооктябрьский период своего творчества воспроизводил в пре-

дельно гиперболизированном виде настроения революционизирующихся широких масс. Правда, он тогда еще не стремился вести их за собой, он не обращался к ним, как трибун. Он был среди масс, а еще не впереди их. Но в то же время и самый идейный рост Маяковского, и разработанная им система поэтики уже подсказывают новый шаг вперед; интонации боли все отчетливее перерастают в интонацию воли. Сила народного возмущения, воспринятого и выраженного Маяковским, такова, что облик лирического героя его поэзии, страдающего за людей, все более и более резко определяется как облик борца за этих людей. Эта поэтическая эволюция Маяковского, естественно, отражает те общественные настроения, которые складывались накануне революции. Великий Октябрь в плане эволюции творчества Маяковского и был тем «скачком», который превращал его в «агитатора», «горлана-главаря», в лучшего поэта революции. Уже разработанная Маяковским система поэтики, построенная на предельной экспрессивности слова, интонации, ритма, теперь должна была подвергнуться творческой переплавке. В ней должны были отпасть все те ее элементы, которые были вызваны к жизни индивидуализмом раннего Маяковского, излишней полемичностью, увлечением словесным экспериментом и т. д. С другой стороны, в ней должны были измениться те ее элементы, которые с особенной силой воспроизводили боль отчаяния, горя, одиночества. Теперь Маяковский уже не мог воскликнуть:

Я одинж, как последний глаз
Идущего к слепым человека.

Соответственно с этим менялось самое качество эмоциональной напряженности стиха поэта.

Вот в этот период стих Маяковского начинает действительно вбирать в себя волевою интонацию оратора и трибуна, ибо оратором и трибуном делала его революция:

Поэтом не быть мне бы,
Если б
Не это пел

В звездах пятиконечных небо
Безмерного свода РКП.

Ораторская интонация появляется у Маяковского именно после Октября. Стих его начинает звучать, как лозунг, как плакат, как прокламация. Он насыщается политической терминологией, получает императивный оттенок, звучит, как политическая речь, естественно включая в себя и органически перерабатывая интонацию политической публицистики.

Не будет.
Не хотим.
Не позволим.

Нациям
нет
врагов наций.
Нацию выдумал мира враг.
Выходи

не с нацией драться,
Рабочий мира,
мира Батрак.

Иди,
пролетарской армией топая,

Штыки
последние
атакой выставь...

Фразы
о мире —
пустая утопия,

Пока
не экспроприрован
класс капиталистов...

Рабочий,
разбойничью ночь

Громи,
ракетой кидая
Горящий лозунг:

— Прочь
Руки от Китая.

Такого типа речевые построения появляются в стихе Маяковского после Октября, они подсказаны ему революцией. Соединение глубокой политической мысли и страстного человеческого горения в лирике Маяковского и делала его поэтом революции, поэтические проблемы он раскрывал через человеческое их восприятие. В этом было и глубокое сходство, и отличие поэтики Маяковского до и после Октября.

Идеи и образы, рожденные революцией, предполагали уже иные средства оформления. Но, поскольку эти идеи и образы были органически связаны с основными тенденциями развития Мая-

ковского до Октября, постольку перестройка поэтики у него была точно так же глубоко органической, в ней не было перелома, а было углубление и развитие одних элементов, ослабление других, отвечавшее новому эмоциональному качеству творчества Маяковского после Октября, новому облику его лирического героя.

В дооктябрьском творчестве Маяковского круг интонаций охватывал лишь определенный круг переживаний человека, оставляя иные стороны его жизни в тени. Не всегда человек в своей речи нуждается в том эмоциональном накале, который был положен в основу поэтики Маяковского. Многие стороны его характера раскрываются в иных, более спокойных формах, дающих основу фразовому типу стиха, иному, менее резкому строю тропов и т. д. Другими словами, стих раннего Маяковского не исключает стиха Пушкина, например. При всем их различии между ними имеется и огромное принципиальное сходство: единство переживания и речи. Их различие — различие переживаний, определяющее различие и речевых форм, в которых они осуществлялись.

Категорически исключая, так сказать, стих типа стиха Пушкина в раннем периоде своего творчества, Маяковский поступал совершенно закономерно, ибо утвердить и развить свою систему он мог, борясь со всем, что ей в той или иной мере противостояло.

Но, утверждая ее, Маяковский не разрушал тем самым предшествующей русской стихотворной культуры, а лишь углублял и расширял ее. И по мере развития творчества Маяковского его поэтика необходимо должна была идти по линии расширения своей интонационной амплитуды.

Определяющим здесь, конечно, являлся октябрьский переворот, освободивший человеческую личность, поставивший человека в совершенно новые условия. То, о чем мог ранний Маяковский лишь мечтать, становилось явью, человек социалистического общества выступал перед ним как многогранно развитая личность. И поэтика Маяковского должна была охватить это новое, стать ре-

чью борющегося за социалистическое общество, побеждающего, радостного и многостороннего советского человека.

Отсюда и вытекало развитие поэтики Маяковского после Октября.

С одной стороны, она развивалась прежде всего в плане углубления ораторско-агитационной речи.

С другой — в плане включения в свою интонационную и лексическую амплитуду новых и радостных переживаний нового человека. Отсюда — поэтика Маяковского приобретала ряд новых черт. Она отказывалась от своей односторонности, становилась и многограннее, и оптимистичнее. Она отказывалась от индивидуалистичности и становилась доступнее и проще. Огромную роль в этой перестройке поэтики Маяковского сыграла, конечно, работа его в «Окнах Роста». Здесь перед ним стояла задача воплотить в простую и ясную, общедоступную форму острое и значительное идейное содержание. «Для меня, — писал он в предисловии к своим стихам из «Окон Роста», — это книга большого словесного значения, очищающая язык от поэтической шелухи на темах, не допускающих многословия» (т. X, стр. 11). После той эмоциональной школы, которую прошел стих Маяковского, он проходил теперь политическую школу. Если раньше выбор данного слова был мотивирован в полной мере его эмоциональной насыщенностью, то теперь этого было уже недостаточно, — слово должно было быть оправдано и с точки зрения его доступности широким читательским массам, которой требовала новая тематика Маяковского:

Рабочий при капитализме работал из-под
палки.

Был он к фабрике придаток жалкий,
Сколько ни проливал пота,
Шла на капиталиста рабочая работа.
А теперь, пролетарий, — все твоё,
Если ты у машины, лоби, понимай ее.
Если ты свой труд поймешь и уллучишь,
Тебе, а не фабриканту, станет лучше.

Не случайно стих «агиток» Маяковского так близок к складу «раешника»

(«Кому и на какой ляд целовальный обряд», «Ни знахарь, ни бог, ни ангелы бога — крестьянству не подмога», «Каждый думающий о счастье своем, покупай немедленно выигрышный заем» и др.), а иногда и к басне. Сохраняя свою эмоциональную напряженность, стих Маяковского реализует ее уже на ином материале и придает ей иное качество:

На польский фронт,
Под винтовку.
Мигем.
Если быть не хотим
под польским игом.

Произведением, в котором уже со всей очевидностью обнаруживаются особенности поэтики Маяковского после Октября, является «Владимир Ильич Ленин». Поэма эта значительно больше по размеру, чем «Облако в штанах» («Облако» занимает 25 страниц, а «Ленин» — 94), но характерно, что число восклицательных и вопросительных знаков в них примерно одинаково. Другими словами, в «Облаке в штанах» процент наиболее напряженных в эмоциональном отношении интонаций примерно в четыре раза выше, чем в поэме «Ленин». При этом в поэме «Ленин» восклицательные интонации использованы сюжетно, т.е. даются комплексно, группами, отвечающими данной сюжетной ситуации.

В поэме «Ленин» Маяковский расширил круг своих интонаций и тем самым отказался от одностороннего выделения определенных интонаций, как основных, почти исключая других.

Крайне показательно, что в поэму «Ленин» Маяковский вводит песни, не ломая ими своего стиха и вбирая их в свою интонацию, в свой ритм:

Знамен
 плывающих
 склоняется шелк
последней
 почестью отданной:
«Прощай-же, товарищ,
 ты честно прошел
свой доблестный путь, благородный».

Не приходится здесь останавливаться на идейно-тематическом росте Маяковского, на исключительно широком его творческом кругозоре, на эмоциональной

амплитуде его стихов: от мягкой иронии до громающей сатиры, от глубочайшей интимности до огромного пафоса, выражавшего полноту чувств и мыслей социалистического человека. О характере своей работы в этом направлении говорил сам Маяковский в своей речи 25 марта 1930 года в Доме Комсомола Красной Пресни: «Поэт не тот, кто ходит кучерявым барашком и блеет на лирическо-любовные темы, но поэт — тот, кто в нашей обостренной классовый борьбе отдает свое перо в арсенал вооружения пролетариата, который не гнушается никакой черной работой, никакой темой о революции, о строительстве народного хозяйства и пишет агитки по любому хозяйственному вопросу... Я прочту вам вещи 12 года. Нужно сказать, что эти вещи наиболее запутанные и они чаще всего вызывали разговоры о том, что они непонятны. Поэтому во всех дальнейших вещах вопрос о непонятности уже встал передо мной самим, и я старался делать вещи так, чтобы они доходили до возможно большего количества слушателей» (т. X, стр. 358—59, изд. 1933 г.).

Развитие поэтики Маяковского в области лексики обнаруживалось прежде всего в самом росте поэтического словаря и вслед за тем в его демократизации. Словарь Маяковского после Октября вбирал в себя самые различные ответвления живой речи, от бытовизмов и профессионализмов самого разнообразного рода до политической терминологии. С другой стороны, в нем резко снижается процент неологизмов и, так сказать, словесных раритетов (библейизмов, славянизмов, синтаксических сдвигов и т. д.). Тропы в его стихе становятся значительно проще, конкретнее, доступнее.

Не отказываясь от найденных новых выразительных возможностей, от тех вершин эмоциональной напряженности, до которых Маяковский довел свой стих, он в то же время значительно расширяет бытовые, юмористические, повествовательные и тому подобные интонационные построения. Рассказ литейщика Ивана Козырева строится, например, на типизации речи рабочего:

Воду
стираешь
с-мокрого тельца
Полотенцем,
как зверь, мохнатым.
Чтоб суше пяткам —
Пол стелется,
Извиняюсь за выражение,
Пробковым матом.
Себя разглядевши
в зеркало вправленное,
В рубаху
в чистую
влазь.
Влажу и думаю:
— Очень правильная
Эта наша советская власть.

Это построение речи персонажа коренным образом отличается от речи персонажа в творчестве раннего Маяковского в частности и потому, что изменилось и самое построение поэтического образа.

Если раньше Маяковский шел от гиперболы, от предельного преувеличения, которое как бы заменяло собой конкретные жизненные явления в их обыденности, то теперь он идет от обыденного факта, в котором уже сквозит обобщение. Меняется самый характер поэтической аргументации, а тем самым и организация речи.

Ритмическая структура стиха Маяковского не могла, конечно, не отразить тех изменений, которые обнаруживались в его отношении к слову вообще. Основным здесь являлось то расширение интонационного строя, которое включало в себя в гораздо большей мере, чем раньше, фразовое построение стиха, в отличие от доминировавшего прежде словесного построения. Опять-таки и здесь та эмоциональная напряженность, которая определяла фразовость слова как основного элемента ритма стиха, постепенно — с развитием творчества Маяковского — обнаруживала свою односторонность, требовала дополнения и обогащения за счет других, более спокойных элементов речи.

Происходило сближение новой поэтики, созданной Маяковским, с традицией классического стиха. Между ними не было антагонизма по существу. Маяковский научил, если можно так выразиться, русскую поэзию с особенной силой

передавать наиболее острые и резкие эмоциональные состояния, он научил ее говорить языком оратора и трибуна. А это требовало создания новой ритмической системы с особенно высоким коэффициентом эмоциональности. Понятны, конечно, те полемические выпады, которые делались Маяковским по адресу классического русского стихосложения, поскольку оно противопоставлялось его стиху, как норма. Но было бы неверно придавать этим выпадам широкое принципиальное значение. Наоборот, сам Маяковский весьма ясно выразил свое отношение к стиху Пушкина, например, в речи на диспуте в Малом театре 26 мая 1924 года: «Вот Анатолий Васильевич упрекает в неуважении к предкам, а я месяц тому назад, во время работы, когда Брик начал читать «Евгения Онегина», которого я знаю наизусть, не мог оторваться и слушал до конца и два дня ходил под обаянием четверостишия:

Я знаю: жребий мой измерен,
Но, чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Конечно, мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет накладывать нам петлю на шею, тысячи раз; учиться этим максимально добросовестно творческим приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли. Этого ни в одном произведении в кругу современных авторов нет. Мы исключительно бросаемся в полемику, и это главный недостаток» (т. XII, стр. 74).

Выше мы уже рассматривали пример из поэмы «Ленин», где традиционная ритмика песен была включена в ритм самой поэмы. Это переплетение двух ритмических систем становилось для зрелого Маяковского закономерным. В целом ряде стихотворений он обращается к ритмике, построенной уже на учете слоговой симметрии, на соотношении ударных и безударных слогов, т.-е. к силлабо-тонической системе, характерной для фразового стиха (например, «Товарищу Нетте», «Юбилейное», «На смерть

Есенина» и др.). Строки и строфы силлабо-тонического типа можно, конечно, найти и у раннего Маяковского. Но выше мы видели, что они теряли свое симметрическое строение, усваивали чисто тоническую структуру.

У позднего Маяковского эта система уже сохраняется. Он сам рассказывает об этом в статье «Как делать стихи», говоря о том, что строка «ни аванса вам, ни пивной» выпала из ритма стихотворения: «эти строки до того отличны от первых, что ритм не меняется, а просто ломается, рвется. Перерезал. Что же делать? Недостает какого-то сложка». (т. XII, стр. 140). Маяковский заменил эту строку строкой: «ни тебе аванса, ни пивной», — строка стала на место и размером; и смыслом. Смысл замены в размере в том, что Маяковский заменил последовательность ударений 3—5—8 последовательностью 1—3—5—9 и ввел ее тем самым в хорейский ритм всего стихотворения. В первом варианте, действительно, «недоставало какого-то сложка» на нечетном слоге. Это использование силлабо-тонического стиха не было, естественно, простым воспроизведением его традиционных ритмических канонов. Та эмоциональная школа, которую прошел стих Маяковского, обнаруживалась прежде всего в характерной для него подчеркнутости слова, придающей ему особенную выпуклость:

«Я пишу:

Пустота...

Летите,
в звезды врезываясь.

«Пустота» стоит отдельно, как единственное слово, характеризующее небесный пейзаж. «Летите» стоит отдельно, дабы не было повелительного наклонения: «Летите в звезды» и т. д.» («Как делать стихи», т. XII, стр. 153).

Но в то же время это подчеркнутое интонационно слово не становилось самодовлеющим интонационным целым, а входило уже в более сложную интонационную единицу как часть ее:

Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась,
Но в конце хочу —
других желаний нету —

встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.

Характерно, что здесь Маяковский не только выдерживает хорейский ритм, но и сохраняет везде одинаковую цезуру после пятого слога. Перед нами уже фразовое строение стиха, не отступающего от силлабо-тонического ритма, а сохраняющего его особенности.

Последняя поэма Маяковского «Во весь голос» явно обнаруживает тенденцию к ямбическому ритму:

Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо,
аримо,
как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима

И здесь обособленность слова не разрушает слитности строки. Стих звучит, как целостная речь, а не как ряд разорванных трагических восклицаний. Примечательно, что в поэме «Во весь голос» всего четыре восклицательных знака. Все это, конечно, глубоко закономерно. Та дистанция, которая отделяла Маяковского, восклицавшего: «Запрусь, одинокий, с листом бумаги я», от Маяковского, с гордостью говорившего:

Я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек,

определяла и соответствующую дистанцию интонаций и ритмов.

«Нельзя работать вещь для функционирования в безвоздушном пространстве или, как это часто бывает с поэзией, в чересчур воздушном, — писал Маяковский. — Надо всегда иметь перед глазами аудиторию, к которой этот стих обращен. В особенности важно это сейчас, когда главный способ общения с массой — это эстрада, голос, непосредственная речь. Надо в зависимости от аудитории брать интонацию убеждающую

или просительную, приказывающую или вопрошающую. Большинство моих вещей построено на разговорной интонации» («Как делать стихи»).

И Маяковский добавлял, что «наша обычная пунктуация с точками, запятыми, вопросительными и восклицательными знаками чересчур бедна и мало выразительна по сравнению с оттенками эмоций, которые сейчас усложненный человек вкладывает в поэтическое произведение» (там же).

Интонационная база стиха позднего Маяковского мыслилась им, таким образом, в неразрывной связи с теми новыми эмоциями, которые давало ему общение с народными массами.

Это и определяло возможность органического слияния его поэтики с поэтикой классического русского стиха, эмоционального, осложненного и переработанного им, ибо в основе этого слияния лежит новый образ лирического героя с разносторонним миром переживаний, требовавшим и соответственно организованной речи.

Принцип единства содержания и формы сохранял здесь всю свою силу. Новые идеи раскрывались в новых переживаниях, новые переживания требовали новой речи.

Для первого периода творчества Маяковского изображение одностороннего в его трагизме человека было и необходимо, и закономерно, ибо через этот образ поэт раскрывал основные противоречия предреволюционных лет. И столь же закономерно было изображение многостороннего в своем оптимизме человека в послеоктябрьский период. Здесь не было отказа от принципов ранней поэтики; приход к ямбу, например, снижение восклицательных интонаций и т. д. — все это не было нарушением прежних творческих принципов; это было переходом к новым элементам выразительно-

сти, позволявшим дать максимально широкую амплитуду переживаний. Логика эволюции поэтики Маяковского — это логика эволюции его идей и образов.

Трудность его поэтики — мнимая трудность. Как только читатель уловит ее художественную необходимость, т. е. увидит, что данное переживание нуждается для своего раскрытия именно в данных словах и оборотах, он будет воспринимать стихи Маяковского в единстве их формы и содержания.

В своем выступлении на вечере, посвященном 20-летию его творческой работы, Маяковский читал самые трудные из своих стихотворений и в заключительном слове отметил, что все стихотворения дошли до аудитории. В авторском чтении с особенной убедительностью обнаруживалась человечность поэтики Маяковского, подчиненность всех ее элементов задаче изображения данного человеческого переживания во всей его конкретности. Весьма частые неудачи, постигающие наших мастеров чтения при исполнении ими стихов Маяковского, происходят потому, что чтецы не вдумываются в то, какую связь имеет данная строка или часть ее с тем переживанием, которое воплощено в стихотворении. Оторванная от этого переживания строка теряет свой конкретный смысл и начинает звучать фальшиво. Эту фальшь исполнители пытаются скрыть при помощи крика. Но чем продуманнее исполнение стихов Маяковского, тем органичнее начинает звучать каждое слово в них. В каждом из произведений Маяковского эта связь слова и переживания — всегда своя, конкретная и неповторяемая; она может быть раскрыта лишь в конкретном анализе. Но принципы работы Маяковского над словом оставались одинаковыми. Мы здесь и пытались обрисовать их в наиболее общей форме.

Лучистая энергия и война

А. ПАЛЬЧУНОВ

★

Человечество ввергнуто в новую военную катастрофу. Еще раз капитализм пытается свои внутренние противоречия разрешить путем войны.

Огромные армии, оснащенные новейшей военной техникой, пришли в столкновение на суше, на море и в воздухе.

Среди военно-технических средств борьбы почетное место отводится империалистами новейшим видам оружия, основанным на применении лучистой энергии во всем ее многообразии.

В тиши лабораторий военных министерств, в генеральных штабах капиталистических армий давно уже идет напряженнейшая исследовательская работа в области электромагнитных колебаний.

Империалисты, пытаясь запугать общественность, публикуют сведения о различных изобретениях, о «лучах», способных поставить на колени неприятельскую страну, и т. п. Отдавая должное досужим вымыслам генштабистов капиталистических армий, попытаемся все же рассмотреть современные возможности создания такого оружия, которое бы на расстоянии способно было уничтожать материальную часть и живую силу противника; рассмотрим также и другие виды технического применения лучистой энергии на войне.

I. НЕВИДИМЫЕ ЛУЧИ

Иностраный технический опыт дает возможность наметить достаточно ши-

рокую область военного применения невидимых ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Несмотря на понятную ограниченность проникающих в печать сведений, все же удастся достаточно подробно рассмотреть как область военного применения невидимых лучей, так и имеющиеся в этом деле конструкции и приборы.

Современной наукой определено, что радиоволны и свет во всем его многообразии — проявление одного и того же электромагнитного процесса в пространстве. Лучистая энергия представляет собой электромагнитные колебания, характеризующиеся гораздо меньшей длиной волны, чем, например, радиоволны, и в наиболее интересном для практики диапазоне эти колебания соответствуют «микроволнам».

Таким образом, все виды лучистой энергии представляют собой электромагнитные колебания различной частоты. Распространяясь в эфире, колебания эти образуют волны различной длины. Чем чаще электромагнитные колебания, тем короче волна, и наоборот.

В огромном спектре лучистой энергии, простирающемся от 343 микрон до 20 ангстрем (микрон — 0,0001 см. ангстрем — 0,00000001 см), лишь небольшой участок лучей оказывается видимым для глаза. Эти лучи, видимые глазом, занимают в электромагнитном спектре полосу примерно от 0,4 до 0,72 микрона. При этом лучи видимого участка спектра производят

различное впечатление. Будучи очень слабым у границ этого участка, зрительное впечатление усиливается при переходе к лучам средней части этого же участка. Максимум спектральной чувствительности глаза, или максимум относительной видимости, лежит при длине волны света в 0,55 микрона. Весь остальной спектр лучистой энергии оказывается недоступным человеческому зрению, и лучи этой части спектра, в большом количестве излучаемые солнцем и почти всеми искусственными источниками света, не производят на глаз никакого впечатления. Короткую часть этого спектра называют ультрафиолетовыми невидимыми лучами, так как они примыкают к фиолетовым лучам, а длинноволновую часть назвали инфракрасной частью спектра.

Инфракрасные лучи начинаются сразу за видимыми красными лучами и простираются до 9 микрон и далее, вплоть до радиоколечаний. Ультрафиолетовые лучи располагаются по другую сторону от видимых лучей до 0,3 микрона и далее до рентгенлучей. Невидимые ультрафиолетовые и инфракрасные лучи имеют как положительные, так и отрицательные свойства. К отрицательным свойствам невидимых лучей относится их подверженность рассеянию и поглощению в атмосфере, содержащей частицы влаги, что приводит, правда, к незначительному снижению дальности действия приборов на невидимых лучах. Но это в большей степени относится к ультрафиолетовым лучам. Проникновение «белого» света через туман и облака пропорционально длине световой волны, т.е. чем длиннее световая волна, тем лучше она проникает сквозь частицы влаги.

Таким образом, проникновение красного света в 16 раз больше проникновения синего, а проникновение инфракрасного света в 16 — 20 раз больше проникновения красного. Вот почему в целях ПВО применяют для освещения улиц и домовых знаков синие лампы, свет которых во влажном воздухе на расстоянии не виден вовсе.

По этой же причине на высоких зданиях, радиомачтах и высоких сооружениях вблизи аэродромов устанавливаются красные лампы, далеко видимые ночью с самолета.

Еще одно отрицательное свойство невидимых лучей заключается в прямолинейности их распространения, что приводит к ограничению дальности действия приборов и устройств, описываемых ниже, так как дальность действия их вследствие этого лимитируется кривизной земного шара. Но, конечно, и такая дальность обычно вполне достаточна для эффективного использования.

Одно из замечательных свойств невидимых ультрафиолетовых и инфракрасных лучей — это возможность использования весьма выгодного фактора — очень острой их направленности, приводящей к полной скрытности действия устройств, генерирующих колебания волн, и обеспечивающей полную гарантию от перехвата противником сообщений и других видов военного применения.

Кроме этого, способность проникать сквозь густой туман делает применение невидимых лучей, особенно инфракрасных, чрезвычайно ценным для работы множества военных приборов и устройств.

Эта способность объясняется уменьшением потерь лучистой энергии на поглощение и рассеивание ее молекулами воздуха и взвешенными в нем частицами при увеличении длины волны излучения.

Закон этот справедлив для ограниченной области длины волн. Многочисленные исследования показали, что, идя от ультрафиолетовых лучей последовательно по спектру (через его видимый участок), максимальное проникновение лучей сквозь туман будет иметь место для инфракрасных лучей с диапазоном длины волн 1,05—2,7 микрона.

Огромное значение в военном использовании имеет независимость работы устройств на невидимых лучах от атмосферных и искусственных помех, которые, как известно, до сих пор

являются для радиотехники настоящим бичом.

Кроме этого, некоторые свойства лучистой энергии допускают создание систем, которые в иных случаях невозможно осуществить никакими другими средствами, в том числе и радиотехническими.

★

Рассмотрим способы и средства генерирования и приема невидимых лучей. Независимо от того, в каком приборе и устройстве используют невидимые лучи, генерируют их и принимают принципиально одинаковыми способами.

Обычная лампа накаливания, имеющая вольфрамовую нить, может служить простейшим образцом излучателя инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Такой генератор лучистой энергии, для большего сосредоточения луча в нужном направлении, располагают в фокусе параболического или сферического зеркала-рефлектора. Ртутные лампы, в которых при прохождении тока светятся пары ртути, обладают очень богатым спектром излучения в области ультрафиолетовых лучей.

Все применяемые на практике источники невидимых лучей обладают значительным излучением в видимой части спектра, что, конечно, недопустимо при секретной передаче в военных условиях. Поэтому перед выходом лучистого пучка из передатчика в атмосферу он пропускается через специальный фильтр, поглощающий все световые лучи и пропускающий инфракрасные или ультрафиолетовые лучи только нужного диапазона длин волн. В качестве таких фильтров применяют «марблит» — стекло, окрашенное окисью марганца и имеющее удовлетворительное пропускание, например, инфракрасных лучей в диапазоне 0,8—2,5 микрона. Высококачественные фильтры характеризуются большой пропускательностью нужного участка спектра и при этом по возможности полным поглощением видимых излучений.

К фильтрам для инфракрасных лучей предъявляются следующие требования:

1) Наименьшая проникаемость для видимых лучей при наибольшей проникаемости для ближайших к ним инфракрасных лучей с длиной волны от 0,76 до 1,6 микрона.

2) Отсутствие в стекле примесей, дающих общее уменьшение проникаемости, или отдельных полос поглощения.

3) Равномерная окраска стекла, дающая одинаковую проникаемость по всему фильтру.

4) Хорошая шлифовка и полировка стекла, уменьшающая потери энергии.

К индикаторам, или приемникам лучистой энергии, относятся фотоэлементы, люминесцирующие (светящиеся) экраны, светочувствительные эмульсии и т. д. Чтобы уяснить, как производится прием на невидимых лучах, необходимо остановиться на устройстве фотоэлемента и сущности фотоэлектрического эффекта.

Фотоэлемент, или, как его справедливо называют, «электрический глаз», — чрезвычайно интересный прибор, обладающий способностью изменять силу тока в зависимости от изменения количества света, которое падает на фотоэлемент. По аналогии с производимой микрофоном работой фотоэлемент может быть назван «световым микрофоном».

Опыты показали, что при освещении незаряженной цинковой пластинки сильными лучами, например лучами солнечного света, последняя приобретает положительный заряд. Этим физическим явлением заинтересовались ученые, которые своими работами неоднократно подтверждали связь, существующую между световыми и электрическими явлениями. Это явление назвали «фотоэлектрическим эффектом», или просто «фотоэффектом».

В первоначальном виде, годном для практических целей, фотоэлемент был сконструирован в 1909 г. Эльстром и Гейтелем. Они нашли, что не все металлы одинаково чувствительны к свету и что наиболее чувствительными к свету оказываются так называемые щелочные металлы: натрий, калий, цезий и др.

В настоящее время явление фотоэффекта хорошо объясняется электронной теорией. Известно, что все тела состоят из молекул. Молекулы сложных веществ состоят из атомов, а последние содержат мельчайшие неделимые, отрицательно и положительно заряженные частицы. Отрицательно заряженные частицы называются электронами. Световые лучи, падающие на поверхность одного из щелочных металлов, сообщают электронам, находящимся близ поверхности, некоторую дополнительную энергию, дополнительный толчок. Получив дополнительную энергию, эти электроны, находящиеся в непрерывном так называемом тепловом движении, начинают двигаться с большой скоростью. Увеличивая свою скорость движения, некоторая часть электронов преодолевает силы, удерживающие их на поверхности металла, и вылетает наружу.

В этом и состоит фотоэффект.

Таким образом, фотоэлемент обладает ценными свойствами:

1. Увеличение силы тока с увеличением падающего на катод светового потока.

2. Чувствительность к невидимым инфракрасным и ультрафиолетовым лучам.

3. Мгновенное реагирование, мгновенное изменение силы тока при изменении количества падающего на катод света, т. е. безинерционность фотоэлемента.

Кроме фотоэлементов, для приема невидимых лучей применяют радиационные термоэлементы—приборы, основанные на явлении термоэлектрического эффекта, особенно для длинноволновых (тепловых) инфракрасных лучей.

Инфракрасные лучи принимаются также люминесцирующими экранами. Здесь происходит явление гашения фосфоресценции инфракрасными лучами. Как один из видов индикаторов лучистой энергии, светочувствительные эмульсии, применяемые в фотографии, обнаруживают чувствительность как к видимым, так и к ультрафиолетовым лучам, а при соответствующей обработке материалов может быть получена чувствительность и в области инфра-

красных лучей в пределах до 1,2 микрона. Уже сейчас выпускаются фотолампы, сенсibilизированные (очувствленные) к инфракрасным лучам.

Во всех случаях применения устройств, работающих на невидимых лучах, необходимо усиление как на приемнике, так и на передатчике. Так, например, для действия устройства на дальнейшее расстояние совершенно необходимо оптическое усиление. Для этого и излучатель в передатчике, и индикатор в приемнике располагают в плоскости главного фокуса вогнутых зеркал («отражательная» оптика) или же линз («рефракторная» оптика). Используют также электрическое усиление сигналов на приемных устройствах, которое осуществляется в форме обычных усилительных схем с катодными лампами.

Резюмируя изложенное, приходим к выводу, что схематически приемно-передающие устройства на невидимых лучах работают так.

Передающая установка на невидимых лучах представляет собой прожектор с отражателем, в фокусе которого располагается первичный излучатель, и фильтром, пропускающим в атмосферу только невидимые лучи, сконцентрированные отражателем в узкий пучок с целью уменьшения потерь энергии и увеличения секретности.

Падая на отражатель приемного устройства, невидимые лучи собираются в фокусе его, производя либо нагревание спая термопары, либо соответствующий эффект фотоэлемента.

★

Наиболее широкое практическое применение невидимые лучи получили в системе военной связи.

Дело в том, что, несмотря на чрезвычайно быстрый рост и совершенствование радиотехники, она, обладая рядом крупнейших недостатков, не в состоянии еще удовлетворить всех требований, предъявляемых к ней, как к средству военной связи.

Выросшая насыщенность боевых участков фронта радиосредствами соз-

дает огромные взаимопомехи в работе, а если учесть, что, кроме них, противник всегда может создавать и искусственные помехи, то отсюда вытекает и сложность организации надежной связи. Это и послужило основанием тому, что в армиях всех стран находят применение и получают развитие оптические средства связи на основе невидимых лучей.

Изучение возможности использования инфракрасных лучей для службы связи было начато еще до первой империалистической войны. Первые приборы, работающие на инфракрасных лучах и предназначенные для полевого использования, были сконструированы во Франции. Передающие устройства тогда состояли из обычных прожекторов, лампой в которых служила электрическая дуга. Они были снабжены экранами из стеклянного фильтра и заслонкой из подвижных пластин, сдвигаемых при помощи манипулятора. Последнее приспособление служило для прерывания излучаемого пучка в соответствии с сигналами азбуки Морзе.

В приемном устройстве инфракрасные лучи собирались и концентрировались при помощи параболического зеркала на детектор инфракрасных лучей, каким является термоэлектрический элемент высокой чувствительности (платинателлур). Элемент включался в цепь первой лампы усилителя низкой частоты, имевшего несколько каскадов усиления, и токи термоэлемента после их усиления подводились к обычному головному телефону, где слышались «точки» и «тире».

Таким образом, зажиганием и тушением лампы передатчика с помощью обычного телеграфного ключа можно передавать знаки Морзе.

При работе такого «светового телефона» для передачи речи на невидимых лучах достаточно обеспечить изменение интенсивности пучка лучистой энергии в соответствии с изменением голоса, вызывающего изменения тока в микрофонной цепи.

Приемник устроен таким образом, что в фокусе его отражателя располагается фотоэлемент, заключенный, как

и передающая лампа, в светонепроницаемый футляр с отверстием, обращенным к отражателю.

Сейчас многие иностранные фирмы (Цейсс, Галилео, Шарбонно и другие) выпускают «оптические» телефоны для разговорной речи и телефонно-телеграфные станции, работающие на невидимых лучах.

Таким образом, принцип всякого прибора световой телефонии в основном состоит в том, что возникающие при разговоре звуковые колебания преобразовываются в электрические. В обычном телефоне эта электрическая энергия отправляется по проводам в аппарат абонента, где, превращаясь снова в энергию звуковую, воздействует на наши слуховые органы. Здесь же эта электрическая энергия при помощи особых модуляционных устройств преобразуется в лучистую энергию, которая в виде видимого или невидимого пучка посылается в пространство к месту приема. Затем эта энергия преобразовывается снова в энергию электрическую и, воздействуя на мембрану телефона, превращается в звуковую. Поэтому основной частью каждой передающей системы является модуляционное устройство, дающее возможность преобразовывать электрическую энергию в энергию световую, т.-е. изменять интенсивность света в соответствии с изменением тока в цепи микрофона.

Исследования показали, что оптические телефоны, работающие на основе ультрафиолетовых лучей, подвержены потерям энергии (рассеяние в среде пыли и частичек воды в атмосфере) больше, чем работающие на инфракрасных лучах. Поэтому последние чаще применяются во всех системах связи и сигнализации.

Передатчики световой телефонии работают, таким образом, по следующему принципу: излучаемый источником света световой пучок, пройдя через собирающую линзу, фокусируется на грани стеклянной призмы; отражаясь от грани призмы, луч выходит из нее расходящимся пучком и, пройдя выходную линзу и фильтр инфракрасных лучей, выходит в направлении прием-

ной станции в виде параллельного пучка невидимых лучей. Призма и электромагнитная система, составляя вместе модуляционное устройство, изменяют интенсивность светового потока с частотой, соответствующей разговорной частоте, воспроизводимой во время разговора перед микрофоном.

Приемные устройства оптической телефонии основной своей частью имеют фотоэлемент, о котором мы говорили выше.

Здесь световой пучок инфракрасных лучей, пройдя фильтр, собирается параболическим зеркалом приемного аппарата и отражается на находящемся в фокусе зеркала фотоэлементе. Колебания света, падающие на фотоэлемент, вызывают в его цепи колебания тока, по частоте и величине соответствующие колебаниям, возникающим при разговоре перед микрофоном передающей станции. Эти колебания тока усиливаются и воздействуют на мембрану телефона, которая и воспроизводит переданные звуки.

Связь, осуществленная на невидимых лучах, дает возможность вести передачу и прием с большой скоростью; она совершенно секретна, так как вовсе лишает противника возможности подслушивания. Эти особенности выделяют оптические средства связи на невидимых лучах в ряды наиболее современных технических средств связи.

Особенно выгодна такая связь в военно-морском флоте. Когда в морских боевых условиях умолкает даже сложно прокодированная (зашифрованная) радиосвязь из-за опасности обнаружения, то возможность непосредственных телефонных переговоров с помощью станций на невидимых лучах без длинных шифров и кодов, без боязни подслушивания и обнаруживания, несомненно, является ценнейшим качеством этого вида связи, которое дополняется еще независимостью от атмосферных или искусственных помех.

В современных морских флотах на боевых кораблях применяют приборы связи на невидимых лучах для обеспечения связи корабля с берегом и для связи между кораблями (внутриэска-

дренная связь). Использование телефонии на невидимых лучах в корабельных условиях осложнено качкой, которая практически всегда в небольших пределах имеет место и не может не нарушать наводку станций друг на друга. Требуемая точность наводки, определяемая углом рассеяния луча передатчика, измеряется долями градуса, что легко достигается хотя и в походных, но рассчитанных для установки на грунте сухопутных приборах оптической связи, и недостижима в корабельных условиях без специальных устройств. Но таковые уже созданы и исключают влияние качки на приборы.

★

Начиная со времени первой империалистической войны в ряде государств начали применять блокирование невидимыми лучами аэродромов, гаваней, линий отчуждения, окопов и укрепленных пунктов. Блокирование невидимыми лучами есть не что иное, как устройство невидимого заграждения, прохождение через которое сопровождается автоматическим сигналом в соответствующем сторожевом пункте.

Уже в 1918 году французы с успехом применяли систему для сигнализации о лодках и легких морских судах, проникающих через входы в порт или через морские заграждения.

В настоящее время в практическом применении имеются две формы использования приборов блокирования, работающих на невидимых инфракрасных лучах:

1) приемное устройство не находится непрерывно под воздействием инфракрасного луча, а сигнализирует с момента столкновения с ним;

2) излучаемый передатчиком инфракрасный пучок направляется на приемник, основной частью которого является фотоэлемент, причем каждое прерывание этого пучка влечет за собой замыкание местного источника тока, сопровождающееся сигналом о прохождении через линию заграждения.

Последняя система нашла применение и в устройстве невидимых маяков.

работающих инфракрасными лучами, для морского и воздушного плавания. В этом случае на судне устанавливается приемник, сигнализирующий при прохождении судна через инфракрасный луч маяка.

Действует такое устройство следующим образом.

Охраняемый объект— будь то аэродром или банковский сейф, линия укрепленного района или дорожка к складу, или же участок государственной границы — замыкается инфракрасным лучом, излучаемым замаскированным передатчиком-излучателем.

Изменение направления луча может быть легко достигнуто при помощи системы зеркал. Этот луч падает на скрытый фотоэлемент, поддерживая, таким образом, циркуляцию тока в обмотке электромагнита, якорь которого удерживается в притянутом к сердечнику положении.

При проходе через защищенную зону человек, как и всякое другое непрозрачное тело, пересечет луч, чем вызовет прекращение тока в обмотке электромагнита, отскочивший якорек которого замкнет цепь, дающую световой или звуковой сигнал тревоги.

Применение оптического усиления и разработка отражателей позволили увеличить дальность блокирования до нескольких километров.

Проф. Шарбонно испытывал разработанную им установку, в которой для детектирования в приемнике был использован принцип гашения инфракрасными лучами фосфоресценции, которая возбуждалась на подвижной ленте, располагавшейся в фокальной плоскости приемного отражателя. От воздействия луча передатчика на светящейся ленте получалась темная черта, прерывавшаяся в случае пересечения луча каким-либо предметом. При опытах в Тулоне в качестве излучателя применялась дуга с отражателем диаметром в 60 см, а приемник располагался в 9,5 км от передатчика. Каждый раз, когда маневрировавший с потушенными огнями миноносец «Порто» пересекал луч, этот момент отмечался на приборе.

Таким устройством, названным «фотоэлектрическим глазом», оборудован так называемый «Свободный порт» в Нью-Йоркской гавани. Дело в том, что один из участков этой гавани отведен для Свободного порта. Сюда, не платя таможенных сборов, может войти любой иностранный пароход для ремонта, перегрузки и т. д. Но эти пароходы являются заманчивым объектом «работы» контрабандистов. Для борьбы с контрабандой «Свободный порт с суши окружен высоким провололочным заграждением. Но этого недостаточно, и вход со стороны моря защищен еще инфракрасными лучами. Здесь на центральной пристани установлен источник инфракрасных лучей, направленных в обе стороны на две крайних пристани. В головной части пристаней инфракрасные лучи попадают на фотоэлементы. Лишь только на пути луча появляется какое-либо препятствие, лодка или даже плывущий человек,—цепь замыкается, дается сигнал сиреной, и автоматически включаются прожектора. Чтобы «световое заграждение» работало исправно, инфракрасные лучи все время должны скользить по самой поверхности воды, преграждая путь всему, что хотя бы слегка возвышается над водой. Но так как в гавани также бывают приливы и отливы, т.-е. уровень воды колеблется, то установка монтирована на специальных подъемниках, уравновешенных поплавками, следующими за уровнем моря.

Проливы Хокс и Хольм, являющиеся входами в бухту Скапа-Флоу (в последней, как известно, сосредоточены все военно-морские силы Англии), оборудованы для прохода надводных судов через минированные пространства инфракрасными «указателями», направляющими суда между мин и скрытых подводных сетей. Для того чтобы пользоваться этими «указателями», суда имеют специальные приемные устройства и подробные карты направления невидимых лучей.

Существуют системы блокирования невидимыми лучами и участков неба в целях ПВО.

Так, известен разработанный в Америке прибор для одностороннего блокирования. Это прибор, названный изобретателем Аланом Фитцджеральдом «петоскопом», действует так.

Изображение предназначенного к охране участка неба или зоны отображается соответствующими оптическими приборами на катодах двух фотоэлементов через решетку, выполненную по принципу шахматной доски, с прозрачными и непрозрачными квадратиками. Два таких фотоэлектрических «глаза» электрически включены навстречу друг другу и скомпенсированы. Появление в зоне наблюдения летящего самолета вызывает декомпенсацию фотоэлементов и сопровождается звуком в телефоне на выходе прибора. Чем быстрее движется самолет, тем выше тон тревожного сигнала. Повидимому, в связи с такими свойствами прибора его шутливо называют «Вотг дог», т.-е. «сторожевой пес».

В отличие от других систем блокирования характерной особенностью такого прибора является совмещенность функций передачи и приема в одном приборе.

Системы блокировки объектов в военных условиях и при использовании по охране государственных границ в мирное время — надежнейшее средство защиты там, где порой даже обученная собака не в состоянии выполнить возложенные на нее функции охраны.

★

Обеспечение безопасности идущего темной ночью или в густом тумане корабля в смысле предупреждения столкновения со встречным кораблем или каким-либо курсовым препятствием, особенно в военное время, когда все огни на борту потушены, проведение корабля по узкому проходу, по специальному створу или при подходе к причалу, дополнительные возможности ориентировки в море — все эти и ряд других задач кораблевождения разрешаются сейчас с помощью невидимых инфракрасных лучей.

Так, фирма «Телефункен» (Германия)

запатентовала систему «створ» для целей кораблевождения. Эта система служит для проведения кораблей по искусственному фарватеру, заданному с берега двумя параллельными лучами, отличающимися по частоте модуляции. Для обслуживания как входа, так и выхода корабля последний снабжается двумя приемниками. Малейшее отклонение от заданного лучами фарватера немедленно приводит к указанию рулевому о необходимой коррекции курса.

Эта же фирма выпустила корабельный пеленгатор, основанный на отражении. На носу корабля устанавливается система из медленно вращающегося передающего прожектора и по бокам — двух вращающихся принимающих вогнутых зеркал с фотоэлементами. В зависимости от местонахождения отражающей поверхности (например, обшивка встречного корабля) приемниками фиксируются два направления на объект, что при известном разное (удалении друг от друга) приемников позволяет даже автоматически решать задачу определения расстояния до отражающей поверхности, поэтому прибор отградуирован прямо в дистанциях.

При плавании в туманную погоду в северных морях большую пользу могут оказать инфракрасные пеленгаторы, заблаговременно оповещающие о приближении айсбергов. Эти приборы конструируются обычно с термоэлементами, одна сторона спая которых обращена в контролируемом направлении (например, по ходу корабля). При приближении айсберга термодары реагируют на разницу температур с противоположных сторон, и возникающая при этом разность потенциалов создает в цепи прибора ток, приводящий в действие сигнализацию.

Невидимые лучи нашли себе применение и в авиационной штурманской практике. Так, еще в 1929 г. Мюллер разработал на основе невидимых лучей самолетный пеленгатор для постоянного контролирования курса при продвижении самолета ночью или в тумане, т.-е. в условиях плохой видимости, вдоль трассы, намеченной с зем-

ли сигналами инфракрасных бакенов. С этой целью он использовал колеблющееся вогнутое зеркало с помещенным в его фокусе фотоэлементом, который во время полета как бы ощупывает землю по обе стороны самолета в пределах некоторого угла. Фотоэлемент питается переменным током таким образом, что во время положительного полупериода зеркало скользит вдоль местности, расположенной по правую сторону борта, а во время отрицательного — по левую. Ток от фотоэлемента после усиления подается на индикатор, который не будет давать отклонений, если только участки по обе стороны трассы имеют одинаковую яркость. Если же в одном из них имеется достаточный источник излучений, например инфракрасный бакен, то прибор покажет отклонение в соответствующую сторону, что и может быть использовано для определения направления полета. Уже в первых опытах была достигнута точность в 1° , а чувствительность позволяла в яркий летний полдень обнаруживать небольшой 80-ваттный самолетный прожектор на расстоянии в 800 метров.

Для штурманской практики представляет большой интерес также секстан на инфракрасных лучах, пригодный для определения высоты солнца даже в том случае, когда оно совершенно скрыто туманом или облаками.

Огромную военную ценность имеет уже сконструированный американцем Архимом (автор изобретения способа цветной телевизионной передачи) бинокль, позволяющий хорошо видеть сквозь дым и туман. Бинокль снабжен устройством, использующим фотоэлектрический эффект инфракрасных лучей. Изображение получается на маленьком флуоресцирующем экране, помещенном в самом бинокле, в результате превращения инфракрасных лучей в лучи видимого спектра.

Особую ценность представляют навигационные устройства, работающие на невидимых лучах, для морского флота в военное время, когда по необходимости корабли ходят ночью без огней, а опасности, даже чисто нави-

гационного характера, резко увеличиваются, так как во время войны гасятся обычные световые ориентиры: маяки, бакены, створные знаки и т. д.

★

Уровень современной техники фотографирования на невидимых инфракрасных лучах позволил применить это ценнейшее достижение в военных целях. Не без влияния генеральных штабов мировые фирмы, выпускающие фотоаппаратуру и фотоматериалы (Агфа, Илфорд, Кодак и др.), достигли больших успехов в этой области.

Дело в том, что еще в начале текущего столетия были открыты особые сенсibilизаторы, очувствляющие фотоэмульсии к видимым красным и инфракрасным лучам. Так, получение материала «трикарбоцианина» сделало возможным очувствление фотопластинок к лучам вплоть до 1,2 микрона. Подобные материалы перед самой съемкой для повышения относительно небольшой чувствительности подвергаются гиперсенсibilизации (сверхочувствлению) промыванием в соответствующих растворах.

Полученные таким образом фотонегативные материалы позволяют резко увеличить дальность фотографирования, так как инфракрасные лучи легко проникают через дымку — туманную пелену, всегда затягивающую даль (горизонт) мутной синевой. Известно, например, как трудно даже на панхроматических пластинках (очувствленных к красным лучам) получить изображение далеких предметов так, чтобы оно не уступало по четкости картине, представляющейся глазу. Это объясняется большим рассеянием в нижних слоях атмосферы световых лучей и особенно коротковолновых синих, к которым чувствительность обыкновенных пластинок как-раз повышена. Наряду с этим через дымку, состоящую в большинстве случаев из относительно мелких частичек, инфракрасные лучи легко проходят и создают возможность получить на соответствующих пластинках четкие фотоснимки даже в тех услови-

ях, когда снимаемый участок совершенно скрывается из глаз во мгле.

Практика аэрофотосъемки в инфракрасных лучах дает изумительные результаты. В то время как при съемке обычным путем на позитиве получалась мутная вуаль, при съемке в инфракрасных лучах эта вуаль исчезала, обнаруживая снимаемый в тумане или темноте объект даже в деталях. Опыты Стивенсона и Вильямса показали, что, пользуясь съемкой в инфракрасных лучах, можно получать изображения весьма удаленных объектов. Так, с высоты 6 000 метров был получен снимок местности, отстоящей от аппарата на 531 километр (масштабы снимка получились, конечно, очень маленькими).

Другим путем пошел проф. Левшин, использовавший для фотографирования в инфракрасных лучах способность их тушить свечение некоторых возбужденных фосфоров. В своих опытах он пользовался отраженным от фотографируемого объекта инфракрасным излучением. В зависимости от интенсивности упавших на фосфоресцирующую пластинку инфракрасных лучей свечение фосфора тушится в большей или меньшей степени. Если такую пластинку положить на некоторое время на фотографическую, то после проявления фотопластинка дает сразу диапозитивное изображение предмета, излучавшего отраженные инфракрасные лучи.

Осуществление инфракрасного фотографирования на дальние расстояния ограничивается только кривизной земли и возможностью последующего дешифрирования полученных снимков. Изложенные особенности фотографирования в инфракрасных лучах создали огромные возможности для аэрофото-разведки, позволяя ей занять исключительно важное место в системе разведывательной службы.

С помощью фоторазведки с самолета в сухопутных условиях можно наблюдать за движением противника, его фортификационными работами, расположением артиллерии, окопов и т. д. В морских условиях аэрофоторазведка

на невидимых лучах позволяет решать, например, такие задачи, как обнаружение береговых укреплений и баз, выбор места для высадки десанта, обнаружение и опознание кораблей противника в море, обнаружение подводных лодок, минных заграждений, проходов в минных полях и т. д.

Сейчас разработаны способы ночной аэрофотосъемки с помощью «освещения» объектов невидимыми лучами посредством сбрасывания специальных бомбочек с самолета. Это дает возможность производить аэросъемку, не выявляя своего присутствия.

Проблема аэросъемки в инфракрасных лучах сквозь толщу облаков также отчасти разрешена. Конечно, официально еще не известна аппаратура, позволяющая фотографировать сквозь многослойную облачность и большую толщину облаков, но опыты сегодняшнего дня показали уже возможность производить аэросъемку сквозь облачность толщиной в 20—30 метров.

Такова техника и способы инфракрасного фотографирования, которому принадлежит огромное военное будущее.

★

Отыскивание в темноте идущего танка, автомобиля, обнаруживание в море неприятельского корабля, следующего ночью с потушенными огнями, отыскивание летящего с приглушенным мотором в темноте самолета при помощи тепловлавления, — несомненно, заманчивая и благодарная задача, к тому же задача вполне реальная и технически несложная.

Но вернемся снова к физике невидимых лучей. Дело в том, что нагретые тела, вовсе не светясь, излучают длинные (тепловые) инфракрасные лучи.

Нагретые трубы кораблей, котлы, выхлопные патрубки танка и автомобиля, конус газов стреляющего орудия и даже движущийся человек испускают длинные инфракрасные лучи, или иначе — тепловые лучи, которые могут быть обнаружены (уловлены) с помощью термо- и фотоэлектрических приемников, помещенных с целью усиления

эффекта в фокусе оптики принимающего устройства.

Сопряжением нескольких приемников, работающих методом засечек, координаты невидимой цели могут быть определены с точностью, совершенно достаточной для действия артиллерийского огня.

Самолет, снабженный инфракрасным устройством на основе теплоулавливания, своевременно извещается о приближении к невидимым в тумане или ночью нагретым препятствиям (дымовые трубы, заводские и термические установки и т. д.). Подобные пеленгаторы позволяют пилоту при наличии специального аэродромного оборудования производить слепую посадку самолета.

Общая идея теплоулавливания сводится к тому, что тепловые инфракрасные лучи, испускаемые котлами и трубами корабля, выхлопными патрубками и мотором танка, самолета и автомобиля, концентрируются с помощью отражателя на расположенном в его фокусе особо чувствительном термоэлементе. Воспринимаемые здесь количества лучистой энергии настолько ничтожны, что необходимо большое усиление их после термоэлемента.

Современные достижения в области теплоулавливания позволяют судить о наличии конструкций, дающих возможность обнаруживать движущиеся предметы на значительном расстоянии.

Во всяком случае, судя по изредка публикуемым в иностранной технической литературе отрывочным данным, интересная проблема теплоулавливания, являющаяся чрезвычайно актуальной для военного использования, практически уже разрешена.

★

В общей системе современных боевых операций, в силу огромного развития военной техники и мощности огневых средств, становятся совершенно необходимыми ночные действия войск.

В силу этого возникает потребность в приборах, которые могли бы обеспечить нормальную боевую деятельность войск ночью.

Стремление обнаружить самолеты, корабли или наступающую пехоту противника раньше, чем они выполняют свою задачу, и заставило изобретателей работать по отысканию способов прямого видения в полной темноте и сквозь туман. Принцип, способ был найден. Тогда спешно начали конструктивно оформлять эту возможность. Была поставлена задача создать портативную аппаратуру, позволяющую видеть в темноте, одновременно не обнаруживая себя. Создание такой аппаратуры вытекало из необходимости иметь средство секретного наблюдения во всякого рода разведывательных частях. Она призвана в военное время сыграть важнейшую роль для морского и воздушного флота, а также мото-мехсоединений и пехоты, как средство управления и наблюдения в темноте, позволяя осуществлять секретные передвижения, разведку и даже целые операции.

Проблема видения в темноте и сквозь туман уже практически разрешена, и только благодаря свойствам невидимых лучей, о которых мы уже говорили выше.

Прежде чем остановиться на принципах и способах видения в темноте, кратко рассмотрим свойства зрительного органа человека — глаза. Как известно, действие человеческого глаза состоит в том, что световые лучи, отражаемые предметами, попадают через глазное отверстие, или зрачок, на хрусталик глаза, который, подобно стеклянной линзе фотокамеры, бросает световые изображения на сетчатую оболочку глаза. Сетчатка, состоящая из множества мелких палочек и колбочек, соединенных с зрительным нервом, под действием света раздражается. Эти раздражения передаются по разветвлениям зрительного нерва в мозговую кору, создавая там впечатление изображения.

О том, какой длины лучи воспринимаются глазом, мы уже говорили выше. Повторим лишь, что только небольшой участок спектра лучистой энергии называется воздействующим на глаз человека, и максимум спектральной чувствительности глаза или максимум относительной видимости лежит при дли-

не волны света в 0,55 микрона. Весь остальной спектр оказывается недоступным человеческому зрению.

Таким образом, проблема видения в темноте сводится к тому, чтобы, используя невидимые ультрафиолетовые и инфракрасные лучи путем той или иной трансформации (превращения), сделать их видимыми для глаза, а следовательно, и получить возможность различать предметы, освещаемые этими лучами.

Основная идея сводится к следующему. Очень мощный прожектор обычного типа закрывается фильтром, пропускающим только невидимые лучи. Эти лучи «освещают» местность или предмет и, отражаясь от них, попадают на фотослой, чувствительный к этим лучам. Фотослой связан с преобразователем света, который преобразовывает невидимые лучи в обычные световые лучи, подаваемые на экран. Поэтому имеется возможность осматривать местность с помощью фотослоя, соединенного со зрительной трубой.

В качестве невидимых лучей вначале были применены ультрафиолетовые лучи, но вследствие того, что они значительно поглощаются атмосферой, перешли на работу с инфракрасными лучами, давшими очень хорошие результаты.

Опыты по видению в темноте уже производились в Англии, Америке, Италии и Германии. В Англии и Америке эти установки были связаны с береговой артиллерией, которая в полной темноте обнаруживала корабли-мишени и обстреливала их. В Германии эти работы ведутся уже около 10 лет. На острове Зильт установлены зенитные батареи, спаренные со сверхмощными прожекторами, работающими на инфракрасных лучах.

Фотохимический способ трансформации невидимого изображения в видимое заключается в следующем. Аналогично с фотографированием, невидимый предмет или картина освещается невидимыми лучами и фотографируется на материале, чувствительном к ультрафиолетовым или инфракрасным лучам. Затем пластинка проявляется, и на ней

получается обыкновенное негативное изображение.

Этот способ имеет тот недостаток, что процесс съемки, проявления и дальнейшей обработки слишком длителен, так что в единицу времени изображение получается уже как прошедшее.

Преобразование невидимого изображения в видимое посредством способа фотолюминесценции отличается от предыдущего выгодным преимуществом — быстротой. Такие устройства состоят из фотоаппарата, в котором на месте матового стекла устанавливают флуоресцирующий экран, обладающий таким свойством, что под действием ультрафиолетовых лучей он начинает флуоресцировать, т.-е. светиться. Чтобы уяснить себе это явление, можно произвести такой опыт: налить в небольшие колбы керосин, раствор сернокислого хинина, раствор флуоресцеина, раствор хлорофилла и осветить эти жидкости светом вольтовой дуги или магния. Освещенные жидкости сами будут светиться разными цветами: керосин и хинин — голубым, флуоресцеин — зеленым, хлорофилл — рубиновым светом. Свечение это делается заметнее, если жидкости освещать через синее или фиолетовое стекло, так как свечение возбуждается фиолетовыми и ультрафиолетовыми лучами, остальные же лучи только мешают наблюдать возбуждение свечения. Это и есть флуоресценция.

В приборах, использующих флуоресценцию для превращения невидимого изображения в видимое при видении в темноте и тумане, применяют урановое стекло, светящееся желто-зеленым светом, «велимит» — силикат цинка и вольфрамокислый кальций (голубое свечение). Оптика в этих приборах изготавливается из специального стекла, пропускающего только невидимые лучи.

Но лучшим, наиболее эффективным способом является трансформация невидимого изображения в видимое посредством фотоэлемента, реагирующего только на невидимые лучи. Здесь фотоэлемент превращает невидимое изображение сначала в электрическое, затем в видимое — световое.

Этот способ позволяет передавать невидимое изображение по проводам и по радио на огромное расстояние.

Новейшим в области видения в темноте в инфракрасных лучах является немецкая аппаратура, позволяющая непосредственно видеть на большие расстояния в темноте, сквозь туман и толщу облаков. В декабре 1939 г. агентство «Интернейшэнел Ньюс Сервис» в Лондоне сообщило, что в Германии на вооружении авиации имеются приборы, работающие на инфракрасных лучах и позволяющие хорошо видеть сквозь густую облачность. Так, например, бомбардировочное соединение, идя на высоте 9 000 метров, хорошо видело сквозь облака детали местности и предметы на земле.

Возможность видеть в полной темноте, не выдавая ничем своего присутствия, — замечательное достижение, имеющее колоссальное военное значение. В будущем дальнейшее развитие этой проблемы позволит ночные боевые действия вести с таким же успехом, как и днем, и никакие атмосферные условия не будут препятствовать выполнению любой боевой задачи.

Таковы достижения и перспективы боевого применения невидимых инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, не говоря уже о самых разнообразнейших функциях промышленно-производственного использования их в мирной обстановке.

II. ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ БОЕВЫМИ МАШИНАМИ

Современная война в значительной степени является войной машин. Но машины управляются людьми, и во многих случаях успешное применение той или иной боевой машины зависит от поведения человека, управляющего этой машиной. В зависимости от подготовленности, по своим политико-моральным или физическим качествам человек может умело использовать боевую машину, довести ее по назначению и выполнить боевую задачу или, наоборот, отказаться от выполнения ее. Вот поче-

му для решения ряда задач на войне военные специалисты за рубежом стремятся заменить человека автоматом, управлять машинами без людей, на расстоянии.

Только этим объясняется такое бурное развитие сравнительно молодой техники — телемеханики, что означает управление на расстоянии (от слова «теле» — далеко). Шум и реклама заграничной общей и специальной печати вокруг мирных методов применения телемеханики, — например, автоматика процессов производства, контроль на расстоянии за работой машин, «роботы», автоматические диспетчеры и т. д., — рассчитаны, разумеется, на то, чтобы скрыть или, по крайней мере, затушевать настоящее значение телемеханики. Возможность использования в будущей войне морских судов, подводных лодок, танков, самолетов, бронепоездов, управляемых не людьми, а невидимой, неуловимой радиоволной, — к этому настойчиво стремятся буржуазные военные специалисты.

Прогресс радиотехники, дающий человечеству все новые и новые методы и разновидности использования радио, позволяет создавать различные механизмы, заменяющие не только физическую, но подчас и умственную работу человека.

Управление на расстоянии по проводам уже давно нашло себе широкое применение в ряде отраслей мирного хозяйства. В качестве примера можно привести систему автоматической сигнализации, централизации и блокировки на транспорте, управление и контроль работы электростанций в энергосистемах и т. д. Однако нигде это достижение техники не получило такого широкого распространения, как в военном деле. Управление на расстоянии по радио — без проводов — находит себе настолько многообразное применение в боевой технике, что недооценивать радиотелемеханику здесь нельзя. За границей не жалеют средств на финансирование работ в области телемеханики и всячески стимулируют развитие этой отрасли техники, которой принадлежит огромное будущее.

★

Схематически управление на расстоянии осуществляется посылкой импульсов тока, которые на приемной части воспринимаются специальными механизмами и превращаются в импульсы управления без участия человека. Таким образом, каждая установка радиотелемеханического управления имеет на центральном командном пункте передатчик. Мощность его соответствует требуемой дальности действия. Затем имеются приспособления для передачи тех или иных команд. На приемной стороне управляемого по радио объекта устанавливается приемник, обладающий достаточной чувствительностью.

Вообще, управлять различными объектами на расстоянии можно двояким путем: по проводам и по радио. В первом случае импульсы электрического тока передаются с пульта управления по проводам. На приемном устройстве они воспринимаются особыми электромагнитными механизмами — реле, которые при поступлении в их обмотку тока переключают местные цепи. В результате замыкаются контакты и пускается ток от местных источников в мощные электромагниты, которые заставляют управляемый объект производить различные манипуляции в соответствии с изменениями тока по силе и частоте.

При радиотелемеханическом управлении импульсы тока передаются без проводов, они излучаются в эфир, а на приемном устройстве, ввиду их очень малой силы, подвергаются усилению, после чего и поступают в реле.

Первые работы и опыты по телеуправлению производились с весьма несовершенной аппаратурой, а целый ряд приборов (например, катодная лампа, фотоэлемент, фильтр) были неизвестны человечеству. Между тем без этих приборов, получивших теперь огромное распространение и совершивших подлинный переворот в ряде областей техники и науки, — радиотелемеханика не могла бы получить широкого развития и законченного технического оформления.

Одной из первых систем радиотелеуправления, практически осуществленных еще в 1922 г., являлась система с вибрирующими пластинами. Принцип действия ее заключался в том, что на передатчике антенной излучался ряд волн, соответствующий тому количеству команд, которое необходимо для управления объектом. На передающей и приемной частях системы находились вибрирующие пластины, настроенные на одни и те же частоты. Пластины на передатчике вибрируют с различной частотой при передаче той или иной команды. Такая вибрация воздействует на радиоволны, которые на приемной части подвергаются усилению и поступают в электромагниты с расположенными перед ними вибрирующими пластинами.

При поступлении радиосигналов на приемную часть вибрирует пластина, настроенная так же, как и на передатчике, на определенную частоту. Достигнув максимального размаха колебаний, она замыкает контакт, в результате чего возбуждается реле, которое в свою очередь замыкает соответствующую данной команде цепь.

В большинстве современных конструкций радиотелеуправления широкое распространение получила система «импульсов волн», имеющая одинаковый принцип с обыкновенным автоматическим телефонированием. Известно, что когда абонент автоматической телефонной станции желает переговорить по телефону, то он вращает диск своего аппарата в соответствии с требуемыми цифрами номера вызываемого телефона. При обратном движении диска, с помощью специального прерывателя, на станцию по проводу посылаются такое количество импульсов, какая цифра была набрана. Поступающие на автоматическую телефонную станцию серии импульсов заставляют работать целый ряд реле и электромагнитов, которые и замыкают соответствующие цепи, в результате чего абонент и получает желаемое соединение. Электромагнитное реле составляет больше половины всего оборудования на автоматических телефонных станциях и применяется абсолютно во всех радиотелемеханических системах.

★

Обратимся к истории вопроса. Своё начало, практическое осуществление и применение на войне, радиотелемеханика ведет на морских объектах. Так, еще в 1899 г. учитель Фоглер в Саксонии получил первый патент на телеуправляемый корабль. Почти одновременно было запатентовано аналогичное изобретение профессора Фитцджеральда из Дублина.

Первые практические опыты по телеуправлению были произведены в 1911 г. Кристофом Виртом, создавшим свою систему, названную «телединамик». Эти опыты производились с моторной лодкой «Принц Людвиг» у Нюрнберга. Лодка была предоставлена изобретателю баварской фирмой «Моторгезельшафт». Команда передавалась по радио с вышки маяка. На управляемой издалека лодке зажигались огни, звонил звонок, револьвер производил выстрелы и т. д. В дальнейшем К. Вирт усовершенствовал свою систему и достиг возможности управлять точным маневрированием лодки, вызвав этим всеобщее восхищение. Но Вирта потом постигла печальная судьба всех военных изобретателей, не являющихся владельцами влиятельных и крупных фирм и концернов. Так, по приглашению Главного флотского союза Кристоф Вирт официально демонстрировал свою телеуправляемую лодку на Ваонзее. В военном министерстве подробно рассмотрели его изобретение, изучили чертежи, планы. Когда же на опытной военной станции в Гравемюнде К. Вирт посвятил морских инженеров в тайны своей аппаратуры, изобретателю отказали в оплате за изобретение и отправили домой. После этого судьба Вирта, как военного изобретателя, была решена. Он забросил опыты по телеуправлению и вернулся к своей прежней профессии учителя.

В 1897 г. англичане Вильсон и Эванс также производили опыты с моторной лодкой, на которой была установлена изобретенная ими система телеуправления. В 1906 г. испанец Торрес Квеведо управлял такой же лодкой с берега. Лодка поворачивалась, меняла скорость

хода и включала световые сигналы. Начиная с 1911 г. в Германии и Англии, а также и в Америке начались широко проводиться опыты по телеуправлению морскими судами. Сначала это были первые, неудачные шаги, но, совершенствуясь, аппаратура открывала все новые возможности, и наконец в мировую войну впервые телеуправляемый катер был применен в боевых условиях. 11 марта 1917 г. береговая охрана союзников заметила, что в гавань Ньюпорта, занятую французскими войсками, идет быстроходный катер и над ним немецкий гидросамолет. Катер, искусно лавируя между бонами¹, направился на бетонную плотину набережной, налетел на нее и, взорвавшись, разрушил ее на протяжении 50 метров. Самолет, сделав круг, ушел. Произведенным тщательным расследованием обломков катера было установлено, что это — немецкий катер «FZ-7», на котором не было вовсе экипажа. Он был оборудован радиоаппаратурой и в носовой части имел большой груз взрывчатого вещества со взрывателем, действующим от удара носа катера о препятствие. Таким образом, это был не катер, а своеобразная торпеда, направляемая невидимой рукой на объект взрыва.

Через семь месяцев после этого два случая помогли союзникам подробно узнать о сущности управления катером-торпедой. Сначала были только предположения. Так, руководитель английской разведывательной службы получил информацию от своих агентов о наличии у немцев «безэкипажного» судна-автомата. К этой информации отнеслись с недоверием. Вот что об этом говорит Ландау:

«...Наконец, один из агентов разъяснил тайну, которую нам давно хотелось узнать. Однажды наш агент в Кадзанде сообщил о маневрах гидропланов в Зеебрюгге, причем в этих маневрах участвовала быстроходная моторная лодка, в которой, как это ни странно, он ни разу не видел рулево-

¹ Боны — пловучее ограждение из бревен, служащее для защиты места стоянки флота от нападения неприятельских катеров и подводных лодок.

го. Вначале я не обратил никакого внимания на эти донесения, приписывая это какой-то ошибке наблюдателя, но он так настаивал на том, что лодка никем не управлялась, что в конце концов ему удалось убедить меня в этом. Спустя некоторое время мне удалось купить за сто гульденов у дезертира более подробные сведения об этой лодке. Я узнал, что лодки — а их было уже не одна — управлялись с гидросамолета. Затем я узнал от них, что моторные лодки имели в носовой части мины. Лодки оборудовались обычными моторами и направлялись в цель с гидросамолетов. Они предназначались для внезапного нападения на английские мониторы, которые периодически появлялись у побережья и обстреливали германские базы и батареи...».

А спустя некоторое время телеуправляемый с гидросамолета катер «FZ-12» нагнал монитор «Эребус» и, ударившись носом о борт его, взорвался, вызвав детонацию пороховых погребов. Монитор «Эребус» пошел ко дну. Англичане поверили тогда в существование катеров, управляемых на расстоянии.

Но еще задолго до этих событий — 11 сентября 1916 г. — англичане были свидетелями того, как немецкий моторный катер с большой скоростью направлялся на мол гавани Ньюпорт. С берега по нему была открыта стрельба, но катер, направляемый летящим над ним гидросамолетом, точнее образом лавировал между разрывами снарядов. Но вдруг он внезапно остановился. На виду у противника гидросамолет снизился, сел вблизи катера, и англичане видели, как вылезший из задней кабины летчик-наблюдатель перебрался в поврежденный катер и быстрым ходом увел его в обратном направлении. Улетел и гидросамолет.

Только потом уже стало известно устройство этих катеров-автоматов. Это были быстроходные катера, нагруженные взрывчатым веществом и минами, расположенными в носовой части. На борту катеры имели радиостанцию и механизмы, связывающие радиостанцию с двигателем. На корме была вышка с прикрепленной катушкой с 15-километ-

ровым, изолированным кабелем, соединенным с берегом. По ходу катера кабель разматывался. Над катером летел самолет, передавая по радио на береговую станцию сигналы, корректирующие движение его. Береговая станция передавала эти сигналы по кабелю на катер, и последний наводился на объект взрыва.

★

Теоретическая возможность управления на расстоянии по радио большими морскими судами, усовершенствование приборов и систем, а также дальнейший прогресс радиотехники заставили почти все страны в последующие за войной годы подойти вплотную к практическим опытам в области телеуправления броненосцами, крейсерами, мониторами и даже авиаматками.

В 1920 г. американский флот вводит в строй свой первый телеуправляемый корабль-мишень. Для этого устаревший линкор «Айова» оборудуется радиоаппаратурой и механизмами.

В 1924 г. итальянцы построили телеуправляемый торпедный истребитель. Затем во все флоты входят в строй радиотелеуправляемые корабли-мишени для тренировки в артиллерийской стрельбе: в Америке — дредноут «Норд Дакота», в Англии — дредноут «Центурион», в Японии — броненосец «Укузи», в Германии — броненосец «Церинген» и т. д. Американский флот позже ввел еще в строй боевых единиц: линкор «Ута» и три истребителя «Боггс», «Килти» и «Штоддерт».

Эти суда уже управляются не по кабелю, а путем передачи сигналов в эфир. Они оборудованы автоматическими топками, радиоаппаратурой, вооружены артиллерией, минами и торпедами. Управляемые с берега, с летящего самолета или с другого корабля, эти суда меняют скорость хода, курс, ведут стрельбу из орудий, ставят минные заграждения, пускают торпеды и производят десятки манипуляций при абсолютном невмешательстве человека на борту, так как экипажа они вовсе не имеют. А некоторые из этих судов способны выполнять сотни команд, ставить

дымовые завесы и совершать многоточные походы. При повреждении антенны артиллерийским огнем или при какой-нибудь неисправности, когда в течение определенного промежутка времени команда с пункта управления не поступает, машины стопорятся, прекращается разведение и подача пара.

Корабли-автоматы можно применить и для постановки мин, для блокирования гаваней, для постановки дымовой завесы, для торпедирования судов неприятеля. При большой скорости хода управляемые по радио суда могут быть использованы и как истребители, таранным ударом разрушающие корабли противника.

Проводятся также опыты и по телеуправлению авиаматками. Это благодарная проблема с точки зрения тактической ценности ее. Такая авиаматка, имея на борту большое количество самолетов-«роботов» (см. ниже), сможет проникнуть глубоко в воды противника, и, выбросив в воздух эскадрилью, уничтожить бомбовым залпом объект, имеющий большое значение на участке фронта.

Не так давно в специальной прессе промелькнули сообщения о ведущихся опытах и испытаниях управляемых (вернее, в данном случае, — направляемых) по радио торпед и подводных лодок.

Французы производили опыты с огромной подводной торпедой, переделанной из устаревшей подводной лодки. Генерал Вильям Митчель (Америка) упоминал об опытах по радиотелеуправлению подводными торпедами, команды которых передаются с самолета на коротких волнах. Этот же Митчель еще в бытность свою главнокомандующим американскими морскими силами говорил о применявшихся на больших морских маневрах подводных торпедах, имевших длину восемь метров. Торпеды могли быть выпущены с расстояния в шесть километров. Они имели в головной своей части сильный электромагнит, который направляет торпеду в последней части ее пути и подводит к металлу торпедируемого корабля.

В Токио французские инженеры по приглашению Японии продолжили опыты с торпедой, какими они уже занимались во Франции на реке Сене. Но результаты этих опытов были превзойдены японскими военными «теоретиками». Эти последние открыли специфически-японский «способ» увеличить надежность попадания и дальность действия торпеды, посадив в нее живого человека вместо гироскопического стабилизатора. Эту «идею» японские империалисты оправдывают следующим аргументом:

«Нам продали орудие убийства, способное в несколько секунд предать смерти весь экипаж крейсера или другого боевого корабля; зачем же заботиться о смерти одного единственного японца, если можно при этом повысить надежность убийства многих сотен врагов...».

Такова «логика» империализма.

Английская «Дейли геральд» совсем недавно сообщала о проекте формирования в одном из европейских государств совершенно нового вида войск — «морской механизированной пехоты».

По сообщению газеты, экипаж усаживается по 3—4 человека на катер, вооруженный двумя торпедными аппаратами, двумя пулеметами и особой конструкции глубинными бомбами для борьбы против подводных лодок. Такое судно имеет 15 метров длины и, при мощности двигателя в 1000 л/сил, дает скорость до 40 узлов в час. В Англии такие суда называются «москитными кораблями». В открытом море эти карликовые лодки должны будут пускаться только с кораблей-маток. Наличие большой скорости хода позволит им нагонять крупные суда и торпедировать их.

Французский тип такой лодки отличается тем, что она меньше размером, но вооружение она имеет такое же. Коротковолновая радиоустановка обеспечивает надежное управление издалека. Экипажа лодка не имеет. В случае наличия помех со стороны передатчика противника управлять лодками можно по кабелю, имеющему длину в 20 километров.

Толчком к развитию скоростных телеуправляемых лодок явился лондонский «пакт великих морских держав» 1930 г., который не делает никаких ограничений для постройки судов тоннажем ниже 600 тонн.

Англия особенно интенсивно работает в области создания таких лодок. Со всем недавно построены и испытаны боевые лодки водоизмещением в 10 тонн; они обозначаются «СМВ-84» и называются «лодками-убийцами». Управляются такие лодки по радио и экипажа не имеют. Тактически используются они так: на бешеном ходу они подвоятся к противнику и выпускают торпеды. В последний момент, вблизи корабля неприятеля, их можно взорвать, так как корпус их начинен взрывчатыми веществами. В этом случае лодка потянет на дно любое крупное судно.

Имеется еще телеуправляемая «торпеда Дависа», у которой в носовой части тонкостенная 20-сантиметровая труба, выбрасывающая в момент толчка в борт корабля неприятеля 130-килограммовую бризантную гранату.

Такова техника и назначение современных телеуправляемых морских судов и подводных торпед.

★

Принцип телеуправления морскими судами может быть использован и для телеуправления танками и бронев автомобилями. В 1913 г. инженер Флеттнер заявил патент на систему телеуправления бронев автомобилем, а в 1915 г. по улицам Берлина двигался один из первых телеуправляемых танков. Он управлялся со следовавшего за ним автомобиля. Танк, не имея водителя, мог преодолевать стрелковые окопы, самостоятельно открывать пулеметный огонь и резать проволочные заграждения. Но так как телеуправляемый танк, движущийся по земле, может внезапно наскочить на скрытые противотанковые препятствия, которые трудно заметить со следующей далеко позади командной автомашины, то применение телеуправляемых танков в войну 1914—1918 гг. не нашло себе места.

Дальнейшее усовершенствование танков (повышение их проходимости, увеличение веса и размеров) по ряду технических причин также не позволило осуществить заманчивую перспективу боевого использования телеуправляемых танков.

Но проблема легко и просто разрешается, если под танком подразумевать телеуправляемую движущуюся на гусеницах гранату. Танк малых размеров предельно простой конструкции загружается взрывчатым веществом и оборудуется простейшей аппаратурой для телеуправления, простейшей, потому что передача команд на такой танк сведена к минимуму: «вправо», «влево» и «взрыв».

При массовом производстве моторов и конструкции таких «ползающих гранат» боевое применение их будет эффективным и рентабельным, особенно при учете важности разрушения таких объектов, как железнодорожных мостов, бетонных сооружений, подземных хранилищ и т. д.

В печать не проникали сведения об опытах телеуправления по радио бронепоездами. Однако задача — оборудовать паровоз автоматической топкой и, установив радиоаппаратуру для телеуправления, заставить артиллерию вести огонь, корректируя его с самолета-водителя, — технически не сложна.

★

В большей степени, в сравнении с морскими и наземными объектами, оказалась конструктивно разрешенной проблема телеуправления по радио в авиации. Объясняется это надлежащей оценкой самолета как средства нападения и защиты, бурным развитием авиационной техники последних двух десятилетий и, наконец, сравнительно давним изобретением и созданием автопилота — механизма, стабилизирующего такую неустойчивую в воздухе машину, как самолет.

Идея управления по радио самолетом имеет свою давнюю историю. Эта идея возникла уже тогда, когда самолет еще представлял несовершенную, малона-

дежную конструкцию, состоящую из хаотического сплетения железных труб, проволоки и фанеры. Но лишь только самолет стал делать короткие перелеты, на него начали смотреть как на машину, имеющую военное будущее, и задумались над возможностью управления самолетом по радио на расстоянии.

В 1913 г. итальянец Эрмано Фиамме впервые конструктивно оформил идею телеуправления самолетом. Он оборудовал двухместный биплан радиоаппаратурой, установил на земле передатчик и заставил самолет неуклюже взлететь. Самолет долго держаться в воздухе не смог: свалившись на крыло, он через пять минут тяжело упал на землю и похоронил под своими обломками длительные творческие усилия изобретателя. Этот неудавшийся опыт доказал все же возможность осуществить идею создания самолета-автомата. И все последующие работы в этой области в Италии основывались на предложении Фиамме.

В 1918 г. во Франции на аэродроме в Шишени уже летал самолет, оборудованный прибором автоматической стабилизации и радиотелемеханическими приспособлениями. На этот раз самолет уже маневрировал в течение 51 минуты и покрыл по сложной кривой свыше 100 километров.

Начиная с 1926 г. работы по исследованию вопроса радиотелеуправления в авиации развернулись во всю широту. Во Франции уже летал самолет, управляемый по радио. В 1917 г. американцы проводят первый интересный перелет трехмоторного самолета, телеуправляемого по радио на расстоянии уже в 400 километров. На нем сначала находился известный летчик Клайд Пэнгборн. Его вмешательство в виде корректирования поведения машины с помощью рычагов управления автоматически регистрировалось специально установленным для этой цели прибором. Этим самым гарантировалась правильная оценка характеристик системы. Вторично эта машина выполнила тот же перелет, но уже без человека на борту.

В 1928 г. во Франции испытывалась ночной бомбардировщик. В этом же

году в Америке телеуправляемый по радио с другого самолета-водителя, тяжелый самолет «Дуглас» прошел над океаном свыше 1 000 километров. Направляясь к контрольному кораблю, он выполнил глубокий вираж над ним и благополучно возвратился на аэродром.

Небезынтересно остановиться на работах по телеуправлению самолетами в Англии. Здесь первые же изобретения в этой области, даже недостаточно разработанные, сразу же рассматривались как объект военного значения и испытывались с точки зрения боевого применения.

В 1917 г., запатентовав систему телеуправления самолетами, англичане сразу же установили ее на экспериментальный самолет фирмы «Де-Хавиланд». Они превратили его в летающую торпеду (он был до предела загружен взрывчатým веществом) и предприняли испытания его как самолета-тарана, предназначенного для уничтожения морских кораблей Германии.

На эти испытания на аэродроме в Фарнборо были приглашены представители армии и флота, офицеры союзных армий, а также много официальных лиц.

Все было рассчитано на произведение морального эффекта. Но испытание этого нового оружия окончилось неудачей и чуть не стоило сотни жертв.

Самолет, не имея на борту летчика, на высоте сотни метров круто развернулся и вдруг начал снижаться в самую гущу зрителей, угрожая взорваться на земле. Оператор-офицер, управлявший с пульта на земле этим самолетом, растерялся и резким движением рычага на пульте пытался выравнить падение его, но ввел самолет в пологое пикирование в самый центр трибун с представителями военных миссий. Началась паника. Только у самой земли оператору, очевидно по счастливой случайности, удалось овладеть управлением самолета и вывести его в режим горизонтального полета. После этого он снова взлетел и, сделав что-то вроде полупетли, упал в поле и взорвался, не причинив никому вреда. После этого случая опыты в Англии были временно прекращены.

Но уже в 1932 г. научно-исследовательский институт воздушного корпуса в Форнборо демонстрировал успешные опыты с телеуправляемым самолетом. И наконец в 1935 году на авиационной выставке в Хендоне англичане демонстрировали несколько самолетов, управляемых по радио с земли, где был установлен пульт и антенна передатчика команд. Эти самолеты, не имея на борту человека, взлетали и, выполнив различные фигуры высшего пилотажа, садилась. По решению правительства в Англии, фирма «Де-Хавиланд» в 1936 г. получила заказ на крупную серию этих самолетов-автоматов, названных англичанами безобидным «Куин-би» («Царица пчел»).

★

По сообщениям военно-технической прессы, производство и использование «беспилотных самолетов» сейчас идет во многих странах. Так, английский журнал «Флайт» приводил данные о серийном радиотелеуправляемом самолете «Куин-уосп» («Царица ос» фирмы «Эрспид»). Это деревянный биплан с мотором Сиддлей «Читта-ХІ», мощностью в 355 л/сил. Колесное шасси легко заменяется поплавками. Как и предыдущая серия таких машин «Куин-би», эти самолеты назначены служить воздушными мишенями для зенитной артиллерии.

В Америке фирма «Реджинальд Денни» выпускает один из трех типов принятых на вооружение телеуправляемых самолетов. Это небольшая машина — биплан с потолком в 5 000 метров и продолжительностью полета в 1 час. Она имеет на борту механизм пилота-автомата и радиооборудование. Кабин на самолете нет. На борту есть большой парашют, раскрывающийся при потере управления самолетом в случае его повреждения при учебном обстреле.

Американская береговая артиллерия имеет самолеты-мишени, обладающие скоростью в 280 км/час, с потолком в 4 000 метров и продолжительностью полета — 2 часа.

Японской фирмой «Осака Чэйн энд машинэри мануфактуринг» выпускается

самолет, управляемый по радио. Это — низкокрылый моноплан с размахом в 5,2 метра. По словам «Индастриал Ниппон», самолет ведет пулеметную стрельбу, фотографирует и выполняет фигуры высшего пилотажа. Кабин и органов управления для человека-пилота не имеется.

Летом этого года ТАСС на страницах нашей прессы приводило сообщение морского обозревателя газеты «Дейли телеграф энд морнинг пост» о состоявшихся вблизи Портланда учебных стрельбах зенитной артиллерии морского флота по телеуправляемому с земли самолету. Автор приходит к выводу, что современная техника управления самолетом по радио настолько совершенна, что позволяет самолету точно и чутко маневрировать под обстрелом зениток, затрудняя попадание снаряда в него или делая попадание вообще невозможным. Обозреватель говорит: «С катапульты крейсера «Ньюкестль» был выпущен управляемый по радио самолет «Куин-уосп», человека на борту его не было. Когда самолет набрал высоту в 15 тысяч футов (фут = 0,3 метра), линкор «Нельсон» открыл по самолету огонь из своих зенитных орудий калибра 4,7 дюйма. Огонь был точным, снаряды разрывались у самолета. Однако последний так лазировал, что не получил повреждений. Потом самолет подвергся обстрелу с линкора «Родней», но также без всяких результатов. Затем открыл стрельбу крейсер «Шеффилд» из 4 зенитных орудий калибром в 4 дюйма. Крейсеру «Шеффилд» также не удалось сбить самолет. В этот день обстрел самолета вели четыре корабля попеременно в течение трех часов. Однако самолет не был сбит, и благополучно сделал посадку у крейсера «Ньюкестль...».

Этот пример достаточно ярко характеризует надежность, точность и чуткость радиуправляемого на расстоянии самолета, когда от звуковой, взрывной волны даже не было повреждено радиооборудование. Само собой разумеется, телеуправляемые самолеты предназначены служить не только воздушными мишенями в учебных стрельбах.

Им, как боевым машинам, принадлежит будущее огромного военного значения.

Возможность производить в особо опасных случаях и на участках фронта, в целях разведки, аэрофотосъемку, бомбардировку земных целей, ведение огня по самолету противника, таранные атаки тяжелых самолетов, наконец взрывание особо важных объектов таранным ударом — вот далеко не полный перечень использования этих телеуправляемых самолетов на войне.

Мысли конструкторов и тактиков уже направлены к созданию в массовом производстве телеуправляемых воздушных торпед, являющихся по существу упрощенными и уменьшенными самолетами.

Такие недорogie «самолеты-торпеды», по современным взглядам, должны представлять собой маленький моноплан, обладающий большой скоростью полета (для преследования и нагона воздушного противника). Носовая часть самолета-торпеды является миной сильного бризантного действия с взрывателем, детонирующим при ударе о препятствие.

На одних из военных маневров в Америке, описанных известным уже нам генералом Вильямом Митчелль, такими торпедами были произведены три выстрела из Гарден-Сити на Лонг-Айленде по кораблю «Трентон» в штате Нью-Джерси, т.-е. на расстояние 110 километров. Эти воздушные телеуправляемые торпеды получали грубую установку от гироскопа и корректировались по радио.

Американские работы заключаются в создании летающих торпед, имеющих бомбовую нагрузку в полтонны, которую бы торпеды могли сбрасывать одновременно или по частям. Старт таких торпед должен производиться с катапульт. Одно время американцы проектировали вооружить такими торпедами два своих дирижабля: «Мэкон» и «Акрон». В этом случае торпеды должны были сбрасываться во время полета дирижабля.

Невозможность определить с командного пункта момент сбрасывания бомб и точной наводки торпеды при таранной атаке объекта противника ставит пред конструкторами задачу снабжать такие

торпеды телевизионными передатчиками, которые позволят наблюдать в телеприемник за положением торпеды относительно атакуемого объекта. Так как от такой телепередачи не требуется художественного восприятия, а только контурное (схематическое) изображение, установка может быть значительно проще и надежнее. По американским данным, такая торпеда должна обладать скоростью в 300 км/час и дальностью в 100 километров.

Японские работы в этой области сводятся к производству воздушных торпед, представляющих собой большую окрыленную бомбу, снабженную авиатором и воздушным винтом. Сама торпеда состоит из взрывчатого вещества и корпуса. Толстостенный корпус изготавливается из сплава электрона, который, сгорая, создает трудно локализуемые пожары.

★

Теперь попытаемся рассмотреть наиболее интересную разновидность телемеханики, а именно: систему управления самолетом по радио, независимо от условий погоды, времени года, видимости и расстояния.

Управление самолетом на расстоянии по радио осуществляет две задачи: 1) обеспечение стабилизации самолета в воздухе, т.-е. сохранение устойчивости и нормального положения самолета в полете, и 2) управление движением самолета на расстоянии, при отсутствии на его борту человека — пилота. Для этого необходимо было, с одной стороны, создать приборы и механизмы, которые автоматически сохраняли бы не только устойчивость самолета в воздухе, но и каждое заданное положение полета вплоть до следующей команды. (В промежутки между командами самолет совершенно самостоятельно и без команды реагирует на всякий порыв ветра и другие атмосферные влияния.) С другой стороны, оборудовать радиотехническую аппаратуру: коротковолновую радиоприемную установку и усилители для сигналов, подаваемых с пункта управления.

Современные автопилоты в лучших своих конструкциях (американский «Spergy» («Сперри»), немецкий «Сименс» и советские «АВП-3» и «АВП-12») полностью разрешили проблему стабилизации самолета в полете в любых условиях. Современный автопилот действует на все нарушения нормального равновесия самолета практически мгновенно, так как заложенные в основу автопилота гироскопы (чувствительные элементы механизма) имеют свойство быстро и точно улавливать малейшие отклонения от заданного положения в пространстве. В наши дни автопилот нашел себе широкое применение почти на всех самолетах воздушных линий США и других стран. Многие советские самолеты, курсирующие на линиях союзного значения, оборудованы отечественными автоматами, зарекомендовавшими себя с наилучшей стороны. Особенно ценно применение автопилотов на воздушных линиях, где атмосферные условия вынуждают вести машину слепым полетом. В длительных перелетах автопилот имеет также огромное значение. Он экономит физические ресурсы летчика, избавляя его от затраты большого количества физической и умственной энергии на монотонную и утомительную работу по длительному пилотированию самолета в режиме прямолинейного полета. Автопилот, мгновенно выравнивая самолет, выведенный любыми причинами из равновесия, позволяет в длительных перелетах вздремнуть летчику на 15—20 минут даже тогда, когда тот летит на одноместной машине.

Чтобы понять, хотя бы в общих чертах, устройство и работу автопилота, необходимо вкратце ознакомиться с гироскопом и его свойствами, заложенными в основу гироскопических авиаприборов и автопилотов.

Само слово «гироскоп» происходит от двух греческих корней: «гирос» — вращение и «скопейн» — наблюдать («жироскоп» — французское произношение этого слова). В лабораторном понятии гироскопом называется прибор, при помощи которого можно наблюдать свойства вращающегося тела. Гироскоп в авиаприборах и автопилоте представ-

ляет массивный ротор, идеально сбалансированный и выверенный. Этот ротор подвешен в трех кольцах так, что имеет «три степени свободы», т.-е. может вращаться в этих кольцах во всех трех измерениях пространства, — «свободный гироскоп». Если придать достаточно быстрое вращение ротору свободного гироскопа, он приобретает способность сохранять свое положение в пространстве неизменным. Это — основное свойство гироскопа. Если к одному из колец подвески гироскопа во время вращения его ротора приложить внешнюю силу, стремящуюся повернуть главную ось ротора, гироскоп будет сопротивляться этой силе и возвратится к прежнему положению, в котором он находился до приложения этой внешней силы. На этом же свойстве гироскопа основана, например, детская игрушка — волчок. Если волчку придать быстрое вращение, он держится на гонкой ножке. Легкий толчок не сбивает его; он чуть покачается и снова возвратится в положение равновесия.

В автопилоте гироскопы, вращаясь электричеством или посредством вакуума со скоростью до 25 000 оборотов в минуту, приобретают свойство удерживать свою ось постоянно в одном направлении, которое им было задано. И как бы ни накренился, ни переворачивался и ни вращался самолет в воздухе, это положение в пространстве гироскопы сохраняют постоянно.

Как же автопилот осуществляет управление самолетом?

Процесс пилотирования самолета человеком разделяется на три стадии:

1) оценка положения самолета на основании зрительных ощущений (в обычном полете — по видимому горизонту, а в слепом полете — по показателям приборов);

2) передача принятого решения органам, исполняющим механическую работу, т.-е. рукам и ногам;

3) мускульная работа летчика рулями самолета.

В соответствии с этими процессами устроен и работает и автопилот. Он также осуществляет три элемента управления:

1) реагирует на всякое изменение в положении самолета через гироскоп;

2) передает импульсы гироскопа на силовую установку автопилота посредством электрических контактов;

3) непосредственно приводит в движение рули самолета через силовую установку (сервомоторы или сжатый воздух).

Таким образом, схематически работа автопилота заключается в следующей последовательности. Автопилот имеет два свободных гироскопа: один — ведающий контролем высоты, другой — направлением полета. Около главной оси каждого гироскопа помещены два электрических контакта. При сохранении самолетом заданного режима полета (курс и высота) оси гироскопов не касаются контактов, и электрическая цепь разомкнута. Допустим, что самолет под влиянием ветра начал поворачивать вправо, — ось гироскопа (ведающего направлением полета) останется на месте, а контакт повернется вместе с подвесом ротора и самолетом, и под левый конец оси гироскопа подойдет левый контакт. При этом цепь замкнется, и приведенная в действие силовая установка повернет руль поворота влево.

Конечно, это только грубая схема. В автопилоте процессы эти чрезвычайно сложны, так как механизм автомата состоит из целого комплекса весьма чувствительных, точнейших и сложных приборов.

Современный автопилот имеет так называемую «следающую систему». Это — гениальная по идее и простая по конструкции часть механизма, заменяющая не только координированные действия человека-летчика руками и ногами, но и зрительное восприятия его и умственное решение задачи. Это — истинно мозг автопилота. Дело в том, что в обычном полете летчик не только видит, в какую сторону и каким рулем нужно действовать, но и на основании своего опыта и знания машины учитывает, на какой угол надо повернуть руль и как долго нужно держать его отклоненным, чтобы вернуть самолет в первоначальное положение. Пример: если самолет сбился с курса, летчик действует рулем пово-

рота, но не держит его все время в одном и том же положении, пока самолет выйдет на правильный курс, а еще до этого постепенно возвращает руль в нейтральное положение. Если бы летчик не поступал именно так, то самолет, разворачиваясь, по инерции перешел бы нужное положение и отклонился в другую сторону.

Автопилот благодаря наличию следающей системы, точнее образом контролирующей все движения его механизмов, действует так же, как и живой пилот.

В данном случае действие следающей системы заключается в том, что движение рулей самолета под влиянием импульсов гироскопа так связано с органами передачи импульсов, что вызывает в этих органах сначала ограничение их рабочего хода, а затем выключение их и даже рабочий ход в обратную сторону. Наличие следающей системы позволило применять один и тот же автопилот на самолетах с различными летными качествами.

В самолетах (нетелеуправляемых), на которых имеется автопилот, можно выполнять различные эволюции и фигуры высшего пилотажа, совершенно не касаясь рукой органов управления, а только нажимая на панели автопилота соответствующие кнопки: «подъем», «снижение», «правый поворот», «левый поворот», «петля», «вираж» и т. д.

★

Наземное (или на другом самолете) оборудование телеуправляющей станции обычно состоит из коротковолнового радиопередатчика, излучающего через обычную антенну волны различной длины, соответствующие, однако, определенному реле на приемном устройстве телеуправляемого самолета. Эти реле, возбужденные определенной длины волной (на приемнике), ведают взлетом, газом мотора, планированием, креном, поворотом и т. д.

Контрольный аппарат (пульт) на командном пункте имеет клавиатуру по числу команд, передаваемых на телеуправляемый самолет. Сбоку каждого

клавиша устанавливается маленькая контрольная лампочка. Пульт управления соединен кабелем с передатчиком.

Оператор, нажимая клавишу «планирование», заставляет передатчик излучать в эфир волну, действующую на приемнике самолета на реле, которое ведает двумя процессами: сбавлением оборотов мотора до малых и рулем высоты, ставящим самолет на угол планирования. Автомат, получив эти импульсы, уменьшает газ мотора и вводит самолет в планирование. Допустим, что в этот момент вдруг испортился передатчик и самолет не в состоянии принять дальнейшие команды. И тем не менее автопилот, уже получивший импульсы планирования, все равно снизит самолет до высоты трех, четырех метров от земли, т.-е. до высоты, где надо машину при посадке выравнять. На этой высоте автоматически, благодаря свисающей за борт антенне, мотор и все радиооборудование выключаются, и автопилот осторожно подводит самолет к земле. Но вернемся к моменту планирования. Самолет уже совсем приблизился к земле. Нажатием клавиша «посадка» радиопередатчик излучает импульсы, действующие на реле, ведающее посадкой, т.-е. дросселируется мотор, и руль высоты ставится в нейтральное положение, а затем немного на подъем. Этим самолет немного задирается вверх и, плавно подойдя к земле, начинает делать пробежку. В момент, когда шасси коснется земли, специальное устройство включает колесные тормоза и сокращает пробежку самолета по земле. Пробежка окончилась. Посадка произведена.

Не забудем, что здесь мы приводили лишь схематически процесс посадки. На

самом деле, эта сложная операция происходит при работе большого количества электромагнитных, пневматических и радиоустройств телеуправляемого самолета.

★

Резюмируя изложенное, можно сделать некоторый прогноз в области будущего применения радиотелемеханики в авиации.

Не будет утопией предположить, что в недалеком будущем радиотелемеханические самолеты регулярно будут перевозить почту и грузы. Полеты не будут зависеть ни от погоды, ни от времени года и суток, так как самолеты будут снабжены приспособлениями, обеспечивающими им автоматическую устойчивость, а значит и безопасность.

Радиотелемеханические самолеты могут оказаться основным, более рентабельным и современным видом транспорта. В военном деле телеуправляемые самолеты, морские корабли, вездеходные танки и др. технические средства могут иметь большое значение. Однако не следует забывать и того, что всякое действие вызывает противодействие.

Поэтому одновременно с радиотелемеханическими системами изобретаются и средства обороны. К таким средствам относятся прежде всего установки, посылающие непрерывные мощные радиосигналы. Эти сигналы могут вносить путаницу в команды, передаваемые по радио телеуправляемому объекту, и вынуждать этот объект или к полной остановке, или выполнять задачи, не отвечающие намеченному плану.

Редколлегия: Ф. В. Гладков
Л. М. Леонов
В. П. Ставский
М. А. Шолохов

Ответственный редактор В. П. Ставский

Редакция: Москва. 6. Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»

Уполн. Главлита А—24237. Слано в набор 20/III—14/V—40 г. Подписано к печ. 21/V—40 г.
24 печ. листа. Тираж 80.000. Зак. 1353. Технический редактор И. К. Костиков.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва.